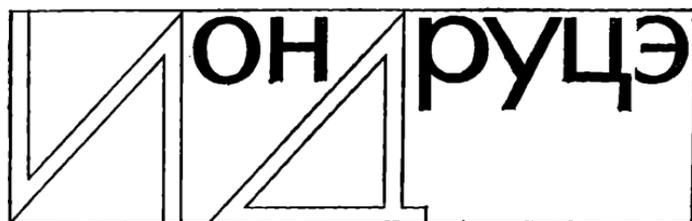


ИОН РУЦЭ  
2



Избранное

ТОМ

2

Романы

Москва  
«Молодая гвардия»  
1984

84Мол7  
Д 76

Оформление Ю. БОЯРСКОГО  
Рисунки Ю. ИВАНОВА

Д  $\frac{4702010200 - 254}{078(02) - 84}$  82-84

© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.

# Белая Церковь





# Ничего святого

*Нужно сделать государство  
грозным в самом себе и вну-  
шающим уважение соседям.*

*Екатерина II*

*Утверди шази мои на путях  
Твоих, да не колеблются сто-  
пы мои.*

*Давид*

Время было выбрано удачно. Яссы издавна славились бесконечными осенними дождями. С середины октября молдавская столица, расположенная, подобно Риму, на семи холмах, вымирала совершенно. И вот однажды дождливой осенней ночью несколько всадников появились в городе. Неслись они, должно быть, издалека, ибо грязь залепила их так, что ни масти лошадей, ни лиц всадников было не разобрать. Проскакав по главной и единственной площади города, они свернули в переулок, спускавшийся по холму, вдоль речки, и скрылись за высокими воротами большого каменного дома, в котором располагалась резиденция капуджи, официального представителя султана при молдавском государе.

Через какие-нибудь полчаса ворота снова открылись, выпустив всадников, и они с той же поспешностью покинули город, скрывшись в сторону Соколы, где размещался отряд янычар, ведавших охраной представительства. И снова над семью холмами онустилась бесконечность длинной осенней ночи, и над городом по-прежнему каючил мелкий, морозящий дождь. Это нудное море влаги, стекая по соломенным, по дранковым, по черепичным крышам, нагоняло такую глубокую дремоту, что никакое событие в мире, казалось, не в состоянии было поднять с постели православного христианина и заставить подойти к окну.

Но нашлось-таки в этом городе окошечко, мимо которого всадники не смогли проскочить незамеченными. Хотя и оно, подобно многим другим окнам города, об эту пору уже не светилось, из-за занавесочки пара глаз держала на примете всю обзереваемую из окна тьму. Как всегда во время осенней сырости, господина Зарзаряна донимали приступы подагры. При острых болях он предпочитал сидячее положение лежачему, поэтому по вечерам ему подвигали плетеное кресло к окну, укутывали теплыми одеялами, и он целые ночи просиживал за белой

занавеской в ожидании чего-нибудь смешного, что хоть как-то скрасило бы его маету.

Поначалу налет всадников глубокой ночью показался ему чрезвычайно забавным. Все это обещало обернуться любопытным анекдотом, который можно будет рассказать зимой в кругу семьи, но чем больше он в эту историю вникал, тем менее смешной она ему казалась. Во-первых, турки не любят так поздно хаживать друг к другу в гости. Это раз. Во-вторых, странным было то, что всадников впустили без обычных стуков, расспросов, осмотров. Похоже, их там дожидались. Но в таком случае, почему дом погружен в такую темень?! Обычно по вечерам сквозь закрытые ставни тут и там просачивались косые полоски света, а в ту ночь ни единого светлого пятнышка ни до приезда всадников, ни во время их пребывания там, ни после отъезда. И наконец, что за безумные скачки! Они не столько въехали, сколько влетели в те ворота, и оттуда их не то что выпустили, а выбросили. Неужели вся эта безумная спешка придумана только для того, чтобы скрыть, сколько всадников въехало и сколько выехало оттуда?

На улице идет дождь, старый армянин, сидя у окна, тихо молится про себя, а благодаря таким вот мелочам иной раз получает гласность Великая История. Ибо, в самом деле, события той далекой ночи, несомненно, канули бы в вечность следом за другими важными событиями, о которых мы так никогда ничего и не узнаем, если бы осень не была такой дождливой и если бы скромный торговец мануфактурой в Яссах господин Зарзарян, арендовавший лавку неподалеку от турецкого представительства, не страдал бы такими тяжелыми приступами подагры.

Особенно в том году ему доставалось. С томиком великого Нарекаци на коленях, песни которого, по преданию, помогали при недомоганиях, он целые ночи просиживал у окна, тихо повторяя про себя слова древнего поэта-монаха, приглядываясь при этом к ночной жизни улицы в надежде увидеть что-нибудь смешное, ибо без улыбки, по мнению господина Зарзаряна, человек не столько живет, сколько доживает.

По совершенной случайности из окна спальни, расположенной на втором этаже, над лавкой, ему были на редкость хорошо видны дом, двор и все службы турецкого представительства, размещенные во дворе. Родившись в Константинополе и прожив там добрую половину

жизни, господин Зарзарян, хоть и не питал особых симпатий к туркам, тем не менее сжился с ними и был настолько знаком с их языком, обычаями, ходом мышления, что ему доставляло неизъяснимое удовольствие следить за этим оттоманским гнездом, истолковывая про себя каждое происшествие, чтобы угадать возможный ход дальнейших событий.

Ночные гости озадачили его. Он готов был поклясться на томике великого Нарека, что въехало пятеро всадников, а выехало только четверо. Судя по всему, турки тайно забрасывали какое-то важное лицо в это маленькое, разоренное бесконечными войнами государство. Кого именно они закинули и с какой целью — вот истинно достойная загадка для истинно армянской головы.

«Так, так, так», — сказал сам себе господин Зарзарян. Это происшествие увлекло его настолько, что утром он даже не встал за прилавок своей маленькой лавки. Передав торговлю мануфактурой в руки зятя, он двое суток проторчал у окна в том же плетеном кресле и только к полудню третьего дня тихо, в ужасе, воскликнул про себя: «Пресвятая дева, да у них ничего святого!»

Он узнал среди бесконечно сновавшей по двору прислуги того пятого всадника, который, въехав во двор, так там и остался. То был Махмуд — знаменитый палач султана Абдул Хамида, гроза многих правящих династий, отуреченный грек по кличке Слезливый Орел. Высокого роста, он отличался такой худобой, что казалось, это не человек, а дерево, над которым уже тысячи лет не пролилось ни единой капли влаги. Смуглый, с горбатым орлиным носом, он тем не менее вопреки своему жестокому нраву славился добрым, умиленным выражением лица, откуда и прозвище пошло — Слезливый Орел.

Его приезд означал наступление тяжелых времен для молдавской столицы, хотя, казалось, дальше было уже некуда. В самом начале столетия господарь Молдавии, писатель и ученый Дмитрий Кантемир, почувяв начало распада Оттоманской империи, предпринял отчаянную попытку освободить свою страну из-под вассального ига Константинополя. Войдя в тайные сношения с Петром Великим, он согласился предоставить свободный проход русским войскам через свою страну и присоединиться к ним со своей армией, с тем чтобы вместе напасть на главные турецкие силы, расположенные на Дунае.

Как известно, этому плану не суждено было осуществиться. Предупрежденные кем-то, турки вышли на-

встречу. Православные армии потерпели тяжелое поражение у Станилешт, на Пруте, и сам Петр чудом избежал пленения. Для России это обернулось горьким уроком, для Дмитрия Кантемира — пожизненными скитаниями, ибо страну свою он так больше и не увидел, а для Молдавии это означало наступление самого жестокого периода во всей ее истории — так называемой «эпохи фанариотов».

Фанар — это квартал Константинополя, в котором тогда проживали золотых дел мастера, торговцы, ростовщики, по преимуществу греки. Коварные, жадные, жестокие, эти жители Фанара, шнырявшие в поисках поживы по всему свету, знали много языков, и власти Константинополя нередко прибегали к их услугам в качестве переводчиков и информаторов о состоянии дел в тех или иных краях. Со временем оттоманы стали пестовать из жителей Фанара чиновников среднего класса, а, обогатив их, турецкие визири, жадные до золота, начали продавать фанариотам должности собирателей налогов в вассальных землях. И наступали черные дни для края, куда опускалась саранча из константинопольского квартала. В Молдавии фанариоты обессмертили себя налогом на дым. Когда в обнищавшей стране облагать налогами было уже нечего, они додумались при наступлении холодов облагать налогом каждую дымящуюся печную трубу.

Петр Великий строил новую державу и на все просьбы своего сенатора и советника Кантемира идти войной против турок откупался наградами и милостями, потому что интересы державы переместились и война с Турцией, хоть и неминуемая, все время откладывалась. Прошло более полувека, прежде чем русские полки снова появились на Днестре. На этот раз генералу Румянцеву, по слухам, незаконнорожденному сыну Петра, удалось одержать блистательные победы при Кагуле и Ларги, где он сокрушил в десять раз превосходившие силы противника. В конечном счете ему удалось вытеснить турецкую армию за Дунай, за что он и получил фельдмаршальский жезл и титул — Задунайский.

По заключенному в деревне Кючук-Кайнарджи миру Россия закрепляла за собой Азов и Кинбурн. Крым и Кубань становились независимыми от Порты, и, что было самым главным, русские корабли получали право свободного плавания в Черном море. Для Дунайских господарств Молдавии и Валахии, еще продолжавших оставаться в вассальной зависимости от Порты, был выторго-

ван ряд весьма существенных льгот и привилегий. Казалось, судьба улыбнулась, можно бы и передохнуть чуток, но вдруг поздней дождливой ночью в Яссы залетает Слезливый Орел.

Проторчав еще некоторое время у окна, чтобы убедиться, что это был именно он, старый армянин при помощи дочери и зятя оделся, ибо подагра все еще не отпускала, и, взяв под мышку рулон голубого шелка, вооружившись палкой, поскольку в молдавской столице той поры бродячих собак было полным-полно, направился во дворец господаря. Идти было недолго, но попасть к господарю оказалось затруднительно, потому что толпы нищих, голодных монахов осаждали дворец со всех сторон.

— Откуда вас пригнало, отцы святые?

— С Буковины, братец, с Буковины...

Турция, хоть и потерпела поражение на Дунае, осталась достаточно сильной, чтобы быть верной себе. Для турок самыми унижительными в Кючук-Кайнарджийском мире были пункты, предписывавшие определенные ограничения по отношению к вассальным землям Молдавии и Валахии. Несомненно, Молдавия как возможный союзник России на Балканах беспокоила Константинополь, и, чтобы как-то ослабить этот край, турки поддались настоятельным уговорам Венского двора и под предлогом уточнения границ уступили Австрии всю верхнюю часть Молдавии, так называемую Буковину, край, который особенно славился буковыми лесами.

Тысячи и тысячи беженцев шли из Буковины, чтобы поставить себя под защиту своего государства. Укрыть на зиму такую уйму народа было делом нелегким, но еще труднее оказалось приютить монахов. Почти все православные монастыри Буковины, не желая подвергаться преследованиям со стороны униатов, снялись со своих обжитых мест, и теперь, накануне зимы, молдавская столица была наводнена бесприютными монахами. Разместить беженцев — одно дело, но куда деть монахов, которые по своему уставу должны иметь совместное житие хоть при каком-нибудь да храме?

Проникнув внутрь дворца и пользуясь рулоном голубой ткани как пропуском, господин Зарзарян в конце концов вошел в кабинет господаря Григория Гики. Помимо господаря, в кабинете находились еще митрополит Молдавии Гавриил и болезненный на вид старец отошедшего к Австрии монастыря Драгомирны отец Паисий Величковский. Разговор между ними, судя по всему, был нелег-

кий, потому что, когда господин Зарзарян вошел, они молча все трое прогуливались по кабинету. У каждого из них была своя тропка, свои мысли, которые совершенно не соприкасались с тропками и мыслями других.

— Что там у тебя? — спросил наконец господарь, заметив в дверях господина Зарзаряна.

— Голубой шелк.

— А если подробнее?

Лицо у господаря было крупное, одутловатое, сплошь покрытое черной полусвалявшейся щетиной. Правя Дунайскими господарствами в третьем или даже в четвертом поколении, эти Гики настолько усвоили искусство дипломатии, что западные консулы, аккредитованные в Яссах, называли их сфинксами. И в самом деле, подумал господин Зарзарян, ну совершенное каменное изваяние у гробницы фараона.

— Если подробнее, — сообщил он более тихим голосом, — то новости у меня плохие, ваше величество. Тому три дня в дом капуджи ночью прибыл гость из Константинополя.

— Что за гость?

— Кровавый Махмуд, ваше величество. Палач султана по кличке Слезливый Орел.

Старик митрополит, туговатый на ухо, воспользовался разговором с армянином, чтобы отдохнуть в ореховом кресле у окна, но Паисий Величковский, слышавший разговор, в ужасе осенил себя крестным знамением. Лицо господаря по-прежнему оставалось спокойным и бесстрастным.

— Ты полагаешь, — спросил он, — что это для меня плохая новость?

— Слезливый Орел, — сказал армянин, — залетел сюда не случайно. Он за чьей-нибудь головой да прилетел.

— За чьей же? — спросил все так же безучастно Гика.

— Боюсь, что за вашей.

— Зачем султану моя голова?

— Она слишком громко возмущалась захватом Буковины.

Гика рассмеялся. Смеялся он вкусно, широко, от всей души, как смеются обычно люди с чрезвычайно развитым чувством юмора, которые по разным причинам не всегда могут себе позволить эту роскошь. Засмеялся вместе с ним и господин Зарзарян. Ему нравился господарь имен-

но из-за его пристрастия к юмору, и если бы не эта его слабость, кто знает, где бы сегодня господин Зарзарян торговал мануфактурой.

— Передай казначею, — сказал господарь, отсмеявшись, — пусть купит у тебя этот шелк по назначенной тобой цене и впредь пусть покупает все, что ты найдешь достойным для меня и всего моего дома...

Зарзарян стоял наострив уши, но больше ничего не последовало, и тогда он вынужден был уточнить:

— Вы имеете в виду опять же шелк или можно и шерсть, и английское плотное сукно?..

— Любую ткань, какую ты найдешь нужным, в любое время суток.

Искусство дипломатии само по себе родственно балансированию на туго натянутом канате, но то, что происходило в последней четверти XVIII века в Молдавии, напоминало уже не хождение по канату, а танец на краю пропасти. Вступившему на престол с согласия Петербурга и Константинополя Григорию Гике предстояло что ни день испытывать на прочность Кючук-Кайнарджийский мир, а мир этот был шаток, потому что время было смутное и воевали едва ли не все державы мира.

Турки видели в этом договоре обыкновенный клочок бумаги, смысл которого — выиграть время, необходимое для сбора новой армии, и потому ждали от своего вассала, к тому же служившего в свое время при султанине драгоманом, то есть переводчиком, такого же понимания ситуации и соблюдения интересов своих хозяев.

Россия, получившая наконец право свободного плаванья в Черном море, ждала от православного господара самого широкого толкования полученных от турок льгот, с тем чтобы сделать Молдавию в будущем прочным своим союзником при неминуемых столкновениях на Балканах.

Втянутый в соперничество двух великих держав, умело балансируя между Константинополем и Петербургом, господарь вдруг спохватился, что Австрия отсекла всю Буковину. Вместе с ней отходили не только богатые плодородные земли, древние села, но и много прославленных монастырей, среди которых был и самый маленький, но, пожалуй, самый знаменитый из них, Путна. Потерю Путны особенно тяжело переживала страна. В этом небольшом монастыре покоились останки Штефана Великого, с

именем которого был связан золотой век молдавского государства. Уход в другую державу этой маленькой Путьны с мраморным гробиком, с вечно горящей над ним лампадой глубоко оскорблял не только национальные, но и религиозные чувства народа, ибо Штефана Великого уже тогда почитали святым. И что это за страна, о великий боже, от которой в любое время может быть отсечена любая ее часть, и что это за вера, при которой даже святые не ведают покоя под вечными лампадами!..

С молчаливого согласия Петербурга Гика выразил энергичный протест против захвата Буковины. Австрия была крайне шокирована этим протестом. Озабоченная проникновением России на Балканы, она поручила своему посланнику в Константинополе втолковать султану, что молдавский господарь никогда бы не осмелился высказать голос против Порты, если бы не Петербург; по дорогам из Ясс на север, в русскую столицу, все время носятся курьеры, в то время как пути из Ясс на юг, в Константинополь, остаются в полном запустении.

У султана Абдул Хамида было достаточно проблем, помимо могилы Штефана Великого. Звезда оттоманов была на редкость стремительной и недолгой. Завоевав в середине XV века столицу Византии Константинополь и наскоро заглотав руины Римской империи, Порта теперь тратила массу энергии и средств, чтобы удержаться в своих границах, а развал между тем надвигался как рок. Восстаниям греков не было конца. Багдадский наместник Ахмед-паша, видя слабость султана, объявил себя независимым от Порты. Восстала северная Албания. Правитель Египта Мохамед-бей отказался платить дань. В этих условиях сообщение о том, что молдавский господарь счел возможным возмутиться фирманом своего повелителя, уточнявшего границы небольшого вассального княжества, привело султана в такой гнев, что решено было немедленно отправить в Яссы Слезливого Орла.

В самом начале октября во дворец господаря явился сонный каймакам турецкого представителя и бесцветным, скучным голосом сообщил, что Мустафа-бей, посол самого блистательного, солнцеподобного, вовеки немеркнувшего и тому подобное султана, имеет честь низжайше просить господаря пожаловать к нему на чашку кофе. Когда? О, когда ему будет угодно! После чего, низко поклонившись, каймакам покинул дворец в сопровождении двух

секретарей, даже не удосужившись узнать, принято приглашение или нет.

«Наш Вода донашивает последнюю рубашку», — говорили промеж себя бояре, с содроганием представляя, чем это приглашение может кончиться. Весь высший свет во главе с митрополитом советовал господарю не принимать приглашения. Русский консул тоже считал, что разумнее всего обойтись без этого кофе. Даже старец Паисий Величковский, не успев толком устроиться со своими последователями в запущенном Секульском монастыре, прислал монаха с письмом, в котором сообщал господарю, что видел — ну сон не сон, поскольку истинного покоя старец уже давно не ведает, так, подремлет за ночь часок-другой, и то хорошо, — так вот, во время одной такой дремы виделась ему жуткая картина, а именно отсеченная голова, и он просит господаря ни в коем случае, ни под каким предлогом...

Здрavo рассудив, Гика решил отклонить приглашение капуджи и занялся делами, благо их было полно. В обнищавшей, раздетой стране он надумал основать ткацкую фабрику, а это требовало и энергии и средств. Увы, шло время, и с каждым днем господарю становилось все более и более очевидным, что этой чашки кофе ему не миновать. Единовластный правитель не может, ссылаясь на соображения безопасности, отклонить приглашение на чашку кофе в своей собственной столице. Править под висящим над тобой топором невозможно, и вот однажды, возвращаясь с удачной охоты на лисиц, он, минуя дворец, подъехал к дому капуджи.

— Вы останетесь здесь, — сказал он арнаутом, составившим его личную охрану. — Если через два часа я оттуда не выйду, входите в дом силой и рубите всех подряд...

— Вай, вай, вай, — говорил между тем Мустафа-бей, стоя на крыльце своего каменного дома. — А где же пехота? Артиллерия ваша где? Кто в наше время ходит на чашку кофе всего с одной сотней арнаутов?

Гике было в высшей степени присуще чувство юмора. Он знал, что он вассал, что для него это непростительная роскошь, но таким он уродился, и тут уж ничего нельзя было сделать. Стоя перед турком, он вдруг увидел смешную сторону этой затеи — идти на чашку кофе с вооруженным до зубов отрядом! Отпустив охрану, за исключением двух-трех конвойных, он вошел в гостеприимный дом, уселся на мягкие подушки. Хозяин и гость долго пи-

ли кофе, курили чубуки, обсуждали тонкости охоты на лисиц и сложности при постройке ткацких фабрик. Поздно ночью разомлевшему от кофе, сладостей и чубука подарю вдруг почудилась какая-то возня у ворот представительства. Похоже, кто-то вскрикнул, потом послышался гулкий стук копыт.

— Позвольте, ваша светлость, поблагодарить вас за гостеприимство.

Мустафа-бей удалился ненадолго в соседнюю комнату и, вернувшись, перекинул гостю через плечо большой белый шарф.

— Подарок нашего султана.

— О, для меня это такая честь, выше которой...

— Мой повелитель дарит его для того, чтобы вам было в чем нести свою голову, когда выйдете отсюда...

В ту же секунду Гика услышал тихие, вкрадчивые шаги за спиной. Смуглый горбатый нос, взмах кривым кинжалом, смертельный холодок меж лопатками, и в последнее мгновение успелось подумать — ну ничего святого...

В полночь дежуривший у своего окна господин Зарзрян увидел, как было выброшено с крыльца чье-то тело. К утру во дворе представительства был вкопан шест, и долго, около трех недель, провисел на том шесте обезглавленный господарь. Просоленная голова по обычаям тогдашнего времени была отправлена в Константинополь султану.

Екатерина Вторая пришла в великое негодование при известии об убийстве молдавского господаря. Единственно достойным ответом на это злодеяние могла быть война, причем немедленная, но, связанная по рукам и ногам различными обстоятельствами, Россия не могла начать военные действия. Москву лихорадило. С Болотной площади дожди еще не успели смыть кровь казненного Емельяна Пугачева. Страна с трудом приходила в себя после великого потрясения, имя которому было — пугачевщина. А ветер тем временем доносил из-за границы искры новых смут. Парламент, духовенство и французская знать разрывали меж собой нерешительного Людовика XVI. Заморские колонии Англии, нанеся поражение британской короне, объявили какую-то Декларацию, и из-за Атлантического океана выявляла свое чело новая держава. Шведские корабли не спускали глаз с русского

флота в Северном море. Безумство, казалось, охватило весь мир, и первой заботой всадника было удержаться на коне. Любимец и правая рука государыни, наместник и губернатор Новороссийского края Потемкин трудился в поте лица. Заселение отнятых у турок земель было в самом разгаре, и затевать в этих условиях новую войну казалось совершенно невозможным.

Тем не менее война с Турцией была неизбежной, и на одном из совещаний с губернаторами и наместниками Екатерина распорядилась, чтобы в месячный срок ей были представлены самые полные сведения о численности мужчин, которые могли бы в случае надобности взять в руки оружие.

— Ваше величество, с какого примерно возраста изволите распорядиться вести счет?

— Ну, думаю, лет с десяти-двенадцати.

— Разве отрок в десять лет способен поднять оружие да еще вскочить с ним на коня?!

— Сегодня он еще не может, но настанет день, когда судьбу державы решат именно эти десяти- и двенадцатилетние.

Вечером того же дня военный министр и воспитатель будущих царей фельдмаршал Салтыков, сидя за карточным столиком, произнес в задумчивости:

— В рассуждении о грядущих временах, ваше величество, мне хотелось бы предостеречь вас от излишне поспешных решений.

— А именно?

— Мне кажется, нам должно избегать столкновений на Балканах, пока не заручимся союзом с европейскими державами.

— О нет! Нам пришлось бы слишком долго ждать. Европа бедна на союзников как никогда.

— Да почему же?!

— Англия слишком многое потеряла, для того чтобы на нее можно было положиться; опалевшая французская колесница с переломленной осью несется бог весть куда. Пруссия без конца будет высчитывать возможный выигрыш против возможного проигрыша. Остается Вена.

— Ну хотя бы Вена!

— Пока она обещает нейтралитет, но, сдастся мне, если подружится с Иосифом, мы могли бы рассчитывать и на его союз.

— Это самое малое, что нам нужно для того, чтобы

начать выяснять отношения с турками. Самое малое! — повторил еще раз фельдмаршал, прощаясь с хозяйкой дома.

А время между тем поджимало. Нота протеста императрицы по поводу убийства молдавского господара в Яссах была воспринята Константинополем как признак слабости России. Собрав свежую стотысячную армию и снабдив свой неповоротливый флот легкими судами, султан в ультимативной форме потребовал от Петербурга признания вассальной зависимости Грузии от Турции. Екатерина отвергла это наглое требование. В ответ на отклонение ультиматума турецкий флот напал на русскую эскадру в Черном море, вынудив ее укрыться в Кинбурнском порту.

— Mon Dieu! — в гневе воскликнула Екатерина при получении сего сообщения. — Да у этих турок в самом деле ничего святого!

При таких обстоятельствах началась в августе 1787 года вторая русско-турецкая война.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

# Час умного безмолвия

*Я очищу нашим монахам  
путь к раю хлебом и водою, а  
не стерлядями и вином.*

*Петр I*

*Мы обязаны монахам нашей  
истории, следовательно и про-  
свещением.*

*Пушкин*

Высоко в Карпатах еще стоят холода, а предгорья уже дышат оттепелью. Ночами на низины накатывает туман, и увлажненные леса задумчиво роняют капель на залежалый снег. В полночь, когда все сущее замирает, глубоко под снегом воркуют ручейки. Эти робкие голоса оживающей влаги, которым со временем суждено стать грозным половодьем, согревают душу новыми надеждами. И хотя темень за окном по-прежнему стоит стеной, часы ночного бдения становятся короче, задумчивей, добрей. Земля выплывает из ночи осененная, благословенная, и, когда под утро одинокий пастух, зимующий в горах, разводит костер, прозрачный дымок его заветных раздумий долго стелется по низинам, будоража дух людской.

— О господи...

Отец Паисий размахисто крестится, низко опускает

седую грешную голову. Все-таки, что там ни толкуй, идет весна... И еще одно волнение, и еще один грех. Каж же не грех, когда пожары воспоминаний снова опустошают его усталую, измученную душу. И снова бежит на тебя босоное детство Полтавщины, безвинные забавы в коридорах Киевской духовной академии. Дальше следуют странствия по монастырям и скитам, долгие годы нищества и постижения путей господних на святой горе Афон. Прожить заново в его-то годы еще одну жизнь — труд нелегкий, ибо дикий табун былого начисто уничтожил ту каплю энергии, которая согревала старца в тот поздний час, и теперь грюда всевозможных немощей, как отец Паисий представлял сам себя, маялась в кресле, охваченная унынием.

Ибо, если вдуматься, до чего красива и божественно величава поступь весны! Какое море духа людского она вдруг выпускает на солнечные просторы из плена зимней скованности! Какое обилие семян, залежавшихся в мерзлой земле, обретет себя в новом поколении! Какое множество живых тварей, преодолев зимнюю спячку, возрадуются земной суете! Но, едва встав на ноги, они тут же почувствуют тяжкое бремя собственного бытия, ибо мир не так уж прекрасен, как был задуман господом, и не так уж справедлив, каким он мог бы быть.

Скупые старческие слезы, блеснув на худых скулах, тут же гаснут в огромной седой бороде. Две белые свечи тихо догорают над большим столом, заваленным книгами и рукописями. По предгорьям долго перекатывается хрипый лай одинокой собаки, ночная тьма глядит в окно недобрыми глазами, и на сердце старика начинают давить невеселые думы.

Возрадуйтесь, сказал господь, отпущенным вам благам. Благо тепла, может быть, величайшее из дарованных нам благ, но как часто мы теряем и истинные пути господни, и пожалованные нам блага! Около семидесяти чудес весеннего раскрепощения выпадало на долю отца Паисия, но всегда оно почему-то проходило стороной. А он всю жизнь терпел холод. В долгие зимние ночи, полные трудов и молитв, он мечтал о встрече с этим расчудесным миром тепла, но мелочность, ничтожность жизни всегда уводили его в сторону. Глядь, а кругом все уже расцвело, весна в полном разгаре, вот-вот лето нагрянет. Теперь, кажется, он впервые в жизни подкараулил этот великий час, ему впору бы выйти, открыть ворота, да что толку, когда дух устал и тело немощно...

«Господи, не суди нас по грехам нашим, а единственно по великой доброте своей...»

Еще раз перекрестившись, отец Паисий вернул себя к длинной, им самим сочиненной молитве. Как всегда в минуту большого волнения, его разговор с богом, начатый громко, постепенно переходил на шепот по причине слабеющего на старости голоса, а затем и шепот утихал, и только ритмическое качание головы выдавало нелегкий труд сотворения молитвы.

Наконец старик совсем затих, окаменел, углубленный в себя, созерцающий самого себя. Увидеть себя изнутри — труд немалый, осмыслить себя нелегко. Стояла темень за окном, пахло туманом, в тишине ночи дозревала весна, но старик оставался неподвижным, как изваяние, и от продолжающейся работы духа его нарастало такое напряжение, что казалось, вот-вот, с минуты на минуту, случится землетрясение. Постепенно ощущение возможной катастрофы уступило место покою, но старец по-прежнему сидел неподвижно, низко, смиренно опустив голову. Это и был знаменитый час умного безмолвия, который Паисий Величковский принес в христианскую церковь. Упадок веры, охвативший XVIII век, объяснялся, по мнению отца Паисия, все увеличивающейся мирской суетой. В этих условиях молитва не приносила молящемуся должного успокоения. Поток мелких забот не выпускал из своих цепких лап душу верующего, и для обретения полного душевного покоя, по мнению отца Паисия, после свершения молитвы должен был непременно последовать еще и час умного безмолвия.

Увы... Мирская суета и непрощенные грехи заводили в такие топи, что, случалось, уже ни молитва, ни час умного безмолвия не возвращали старику душевного покоя. А без душевного покоя продолжать труд над святыми книгами — грех тяжелый. Догорали свечи, на столе лежали странички несравненного Иоанна Дамаскина «Об образе божьем в человеке». Множество раз в своей жизни отец Паисий принимался перекладывать эту поэму с греческого на славянский, теперь он уже был близок к завершению труда, но вот опять не рождается нужное слово. Душевный покой был утерян, потому что с гор скатились пахнущие хвоей туманы и ночь за окном стала мягкой, задумчивей, добрей.

— О, грехи наши тяжкие...

Когда бессонная ночь и одиночество начинали смущать дух, тогда наступала очередь пречистой девы Ма-

рии — чудотворной иконы, хранившейся в главном храме монастыря и подаренной, по преданиям, византийскими императорами. Преодолевая постоянную ноющую боль, отец Паисий поставил себя на ноги. Ему не то что идти куда-то, ему просто так стоять и то казалось не под силу, а между тем непременно нужно было идти. Приближалось время полуношницы — службы, совершаемой глубокой ночью, а в возглавляемом им монастыре вся братия, отошав от великого поста и старческих своих недомоганий, спала беспробудно.

О, как надоели ему эти старики, сколько раз он зарекался не воспринимать более на себя старшинство ни над одним из монастырей, если в нем не будет хотя бы одной трети молодых монахов. А и то сказать, где ты тех молодых монахов наберешь, когда в мире царит безумство и молодого юнца, у которого еще материнское молоко на губах не обсохло, уже обучают размахивать саблей и стрелять из пистолета.

— Так где же моя псалтирь?

Даниил, монах, которому поручено было дежурить по ночам у покоев работавшего над святыми книгами старца, храпел в соседней приемной. Печь, в которую он должен был изредка подбрасывать поленья, остыла. То-то, подумал старец, у меня всю ночь дробился почерк и буквы в слове качались.

— Сын мой!

У отца Паисия была старенькая псалтирь, переписанная им когда-то на святой горе. В те далекие годы нищенства на Афоне он летом жил главным образом на подаяниях, а зимой, когда паломников становилось меньше и на одни подаяния не проживешь, он, чтобы как-то свети концы с концами, переписывал псалмы. Почерк у него тогда был красивый, некоторые навыки, приобретенные в типографии Киевской духовной академии, тоже шли в дело, и его псалтири расхватывали как свежечвыпеченный хлеб.

Основав скит пророка Ильи, он уже, разумеется, псалмы не переписывал, но книги его голодной молодости разошлись по всему православному миру. Со временем, перебравшись в Молдавию, отец Паисий часто скучал по службам на Афоне, по паломникам тех святых мест, по тем «голодным» псалтирям, которые он переписывал когда-то. Афонский Пантократиевский монастырь, в котором отец Паисий не раз служил литургии, подарил ему в

день его шестидесятилетия выкупленную за большие деньги одну такую «голодную» псалтирь.

Отец Паисий обрадовался потрепанным страничкам, точно молодость веры вернулась к нему. Обтянув томик кожей, он не ходил более ни в храм, ни в трапезную иначе как со своей псалтирью. И вот поди ж ты... Перебрав все на столе, он наконец вспомнил, что накануне пели допоздна псалмы в трапезной. Должно быть, там на столике и оставил. Что ж, если память становится дырявой, ноги за это должны платить. Эту поговорку он недавно услышал от трансильванского послушника, и она ему очень понравилась. Народная мудрость — вот истинно божья благодать.

Отец Паисий взял свой сучковатый посох, которым обычно ощупывал каменный пол внутренних галерей монастыря, и, выйдя из своих покоев, направился в трапезную. От бесконечных трудов над святыми книгами зрение его настолько ослабло, что ему и днем все предметы виделись как бы в тумане, а уж о почаях и говорить нечего. Медленно продвигаясь в крошечной тьме, старец все время молился, благодаря бога каждый раз, когда удавалось найти ступеньку, угадать поворот, нащупать ручку.

В трапезной, сразу у входа, с правой стороны, горела свеча. Отец Паисий вынул ее, теплую, заплывшую, из подсвечника и, светя себе под ноги, долго шел вдоль длинного братского стола. Справа едва угадывались в темноте очертания высоких окон, слева чуть светились несколько иконок в серебряных оправах. Вдруг, когда он уже ощупью нашел свой столик, стоявший во главе большого стола, из темного зева ночи донеслось:

— Благословите, отче.

От неожиданности отец Паисий чуть не уронил свечу, но потом, спохватившись, подумал, что положение второго после митрополита духовного лица Молдавии не позволяет ему так уж поддаваться чувству страха. Только отодвинув стул, сев и ощупью обнаружив на столе псалтирь, спросил:

— Кто ты есть, сын мой?

— Послушник Иоан.

— Это тот, которого Горным Стрелком зовут?

— Тот самый.

Отец Паисий вздохнул — вот тебе и молодые... А ведь он связывал немалые надежды с этим трансильванским пареньком. Прибился он к ним года два назад, когда они еще ютились в скромном соседнем монастыре Секуль.

Обитель та была бедная, народу собралось сверх всякой меры — ни еды, ни жилья не хватало... А из-за гор, из Австрии, шел поток беженцев. После подавления крестьянского восстания в Трансильвании все ущелья, все переходы в Карпатах были битком набиты народом. И, конечно, где бедным христианам искать защиты, хлеба и крова, как не в своем же монастыре?..

В Секуле от тесноты все наружные ограды были облеплены самодельными кельями, но все равно приходилось по два монаха на одну койку, так что решили никого более не принимать. Для этого юноши было сделано исключение. У него было чистое лицо и гордое, чуть откинутае назад тело, точно он все время во что-то целился, отчего и прозвище ему монахи придумали. Времена были тяжелые, уныние стояло повсюду великое, но этот юноша, сотворенный трансильванскими крестьянами во дни какого-то веселого языческого праздника, похоже, и не собирался падать духом. Решили оставить — пусть хоть одно светлое чело на все это море беспросветного уныния...

Правда, мучились они с ним несказанно. Веселый свист баловня сельских красавиц и свободный нрав человека из народа буквально захлестнули монастырь. Полутысячной братии с трудом удавалось управлять этой стихией. Отец Паисий любил его за острый язык, за всегда свежее и неожиданное направление мысли, он почитал для себя святым делом за него заступиться, но вот по-ди ж ты...

— Сын мой! Тебя, сколько помню, нарядили на дальнюю овчарню. Неужто и там, среди послушных божьих тварей, ты не смог преодолеть искушение плоти? Стыдно сказать — не прошло еще и половины великого поста, а я уже в третий раз застаю тут наших братьев, блуждающих в поисках завалившейся корки...

Послушник обиженно засопел в темном углу.

— Святой отец, я не ради корки сюда пришел. Раз в неделю нас меняют, чтобы мы смогли поклониться Пречистой Деве, и я, спустившись к вечерне...

— Так ведь вечерня-то когда кончилась! Обитель спит, наглухо заперты ворота. Я вон зашел за псалтирю, чтобы отслужить полуношницу, а ты все еще здесь!

— Простите, святой отец, но у меня нынче так тяжело на душе, что с этой тоской не под силу стало подниматься в горы.

— Разве спасение от тоски лежит в трапезной?

— Где же еще?

Отец Паисий улыбнулся — он вдруг вспомнил, что было время, когда они всю зиму, ночь за ночью, сживали с братьями в трапезной, но это же было совсем другое время!

— Сын мой, то было от великой бедности нашей! Чтобы не дать впасть во грехи тем, кому негде было главу преклонить, мы их собирали в трапезную и до утра пели и толковали псалмы. Это, однако, вовсе не означает, что, как только у кого затоскует дух, надо непременно бежать в трапезную! Теперь мы, слава богу, живем по-человечески, и во дворе нашего монастыря два великолепных храма...

— Простите меня, святой отец, но, думая о боге, я чаще вижу перед собой секульскую трапезную, чем эти два богатых храма.

— Отчего так?

— Не знаю... Должно быть, при той бедности мы духом были богаче и истинной веры в нас было больше.

«Гм», — удивился про себя старец и призадумался.

Он и сам знал, что вера в возглавляемой им обители поослабла. Что поделаешь! За все в мире надо платить, и за крышу над головой тоже. Почему-то именно с крышами ему не везло, и всю жизнь, сколько себя помнил, какой-то рок гнал его с места на место. Основанный им скит пророка Ильи на Афоне разросся настолько, что сам патриарх Константинопольский не в состоянии был помочь, и тогда молдавский господарь Калимах предложил им пустовавшую на Буковине Драгомирну. Едва устроились, едва обжили, и вот уже захват Буковины Австрией и новые скитания. В конце концов остановились на крошечном, запущенном Секуле у подножия Карпат, и думал отец Паисий, что это уже надолго, до конца дней, но его слава как православного подвижника была так велика, что она никак не вязалась с обликом бедного монастыря, в котором он пребывал с монахами. Теснота и бедность Секуля задевала престиж государства, и потому ему предложили переехать в расположенный по соседству Немецкий монастырь.

Отец Паисий всячески сопротивлялся этому переезду. Во-первых, ему приходилось смещать действовавшего в Нямеце настоятеля. Во-вторых, в первопрестольном монастыре всегда слишком много гордости, богатства, парада. По большим праздникам в Нямец на службы приезжали сами господа со всей своей челядью. После каж-

дой службы поздравления и угощения. За чаркой монастырского вина, как известно, дела духовные кончаются и начинаются мирские. А в это время по монастырю снуют разодетые дамы в поисках молодого монаха, чтобы сделать его своим духовным наставником. Найдут они себе подходящего наставника или нет, а все-таки возникала неустойчивость и угроза падению нравов среди монашеской братии. Какое уж там умное безмолвие...

— А отчего душа твоя затосковала, сын мой?

— Австрийская конница, святой отец, переходит Карпаты.

— Разве она может покинуть свои пределы и войти в чужую державу?!

— Если война, может.

— Как война?! Кто против кого?!

— На этот раз, говорят, Россия с Австрией против турок.

Отец Паисий, опустив на глаза воспаленные веки, прошептал: «Господи, да не покинет нас милость твоя в этот час». Прикрыл желтое, в рябых пятнах лицо такими же желтыми и тоже в рябых пятнах руками, но вдруг послушнику показалось, что за скрюченными пальцами творится радость и даже как будто донеслось слабое, еле уловимое: «Наконец...»

— Святой отец, разве не сказано, что поднимающий меч...

— Грешен, сын мой, прости, что согрешил, но истинный пастырь не может не радеть о своем стаде. Ты вон в горах печешься о своих овечках, а у меня тут свои живые души. Отчего гибнут овечки, ты, полагаю, знаешь, а отчего гибнут народы?

— Ну, от голода, от болезней всяких...

— Нет, сын мой, народы гибнут, когда слишком долго остаются неотомщенными. И потому в этом краю каждая травинка, каждый росток только тем и живет, что вот-вот придут единоверцы с востока и принесут избавление. И в самом деле, как там ни толкуй, а прошедшая война принесла-таки некоторое облегчение балканским христианам. Может, на этот раз две великие державы одолеют кривую оттоманскую саблю.

— Одолеют они ее или нет, это еще неизвестно, но война будет идти на наших землях, и страданиям народа воистину не будет конца.

— Что ты можешь знать, сын мой, в свои двадцать с небольшим о страданиях народных?

— О, я знаю больше, чем вы думаете, святой отец... Я ведь поначалу прибился к вашему монастырю не ради спасения души — я из острога бежал...

Отец Паисий удивленно вскинул брови на высоком лбу. Прожив почти всю жизнь на Балканах, занятых Оттоманской империей, он научился быть крайне осторожным в делах политических и не только себе, но и своим собеседникам не позволял излишней откровенности. Увы, этой отчаянной рыжей голове, кажется, все было нипочем.

— За что тебя в острог заточили?

Гордый послушник, выйдя из своего угла, стал посреди трапезной, чуть откинув назад свое мускулистое тело, точно и в самом деле во что-то целился.

— Я из восставших.

— Вот как! Кем же ты там у них был?

— Поначалу певчим, потом в охране.

— Зачем повстанцам певчие? Разве им еще и службы правили?

— Как же без служб! У нас были свои священники. По воскресеньям в лесах на открытом воздухе служили литургии... Перед пасхой исповедовались и святое причастие принимали.

— А в охране был при ком?

— При нашем предводителе, Хории.

Тяжелые времена накатывают, подумал старец. Половина монастыря — беженцы из-за гор, видевшие в Австрии своего главного притеснителя. Теперь вот Австрия вступает в пределы Молдавии как освободительница, но эти бедные люди, они слишком хорошо знают в лицо этого освободителя...

— Плохо вы защищали своего вожака, — сказал старец.

Послушнику показались эти слова обидными. Подойдя к столику старца, он опустился на колени и сказал дрогнувшим от слез голосом:

— Нет, мы хорошо его защищали, но нас была горсточка, а их была тьма. Я по меньшей мере четыре раза спасал Хорию от гибели и, только когда его четверговали, решил бежать через горы. Но если вы считаете, что я вел себя там недостойно, я приведу людей, которые видели мой меч обнаженным, и они оправдают меня...

Старец улыбнулся.

— Я догадывался о твоём прошлом, — неожиданно для самого себя сознался он, — но решил оставить при монастыре, потому что мне обличье твое понравилось.

Протянув к нему руки, он кончиками пальцев очертил лик юноши, почти не касаясь его.

— Спасибо, святой отец.

— За лик, сын мой, благодарить не полагается. Это не твоя заслуга.

— Чья же?

— Лик — это символ рода, из которого человек происходит. Еще, пожалуй, на нем лежит печать всевышнего благословения, когда, конечно, эта печать на нем лежит.

Откуда-то из самой сердцевины ночи прорвался горластый петух. Словхватившись, что время позднее, отец Паисий взял псалтирь, свечу и направился к выходу. Он шел, но что-то его удерживало, какая-то негласная христианская заповедь не позволяла ему покинуть помещение, в котором продолжал оставаться на коленях его духовный сын. Оплавившая свеча на его столе ни за что не хотела возвращаться в подсвечник, на свое старое место, и отец Паисий долго провозился с ней.

— Сын мой, а почему тебя все еще не представляют к монашескому чину? Уж скоро два года, как ты у нас послушничаешь, а отец Игнат все не заводит о тебе речь...

Перемена разговора позволяла послушнику покинуть свой угол, не теряя при этом достоинства, но упрямый трансильванец продолжал оставаться на коленях.

— Рано мне в монахи, святой отец. При виде любой несправедливости моя правая рука ищет меч на левом бедре. Нужно время, чтобы я смог успокоить дух в себе и, не думая более о мирских делах, направить свои помыслы к богу.

Это рвение Горного Стрелка несколько озадачило отца Паисия.

— Быть христианином, — сказал он задумчиво, — еще не значит быть безответной овечкой. Мне обличье твое именно потому понравилось, что при всем благообразии ты готов за себя постоять. Несите бога в себе, сказал апостол, но умеете отстоять то, что вы несете, сказано у него.

Послушник медленно, долго вникал в эти неизвестные ему слова, после чего, поднявшись с пола, попросил:

— Святой отец, побудьте эту ночь со мной и в память о нашем бедном старом Секуле растолкуйте хотя бы один псалм.

Внутренний дворик монастыря ожил. Слабый свет лампадок замелькал в окошках келий, добрая сотня дверей

запела на разные лады. Разбуженная духовниками монастырская братия уныло поплелась на полунощную молитву.

— Признаться, сын мой, и во мне тоскует дух, и если тебя прислало проведение, то да сбудется воля господня.

Вернувшись к столу, отец Паисий положил перед собой псалтирь. Осенив себя крестным знамением, сказал:

— Приготовь стол к беседе.

Достав в углу тяжелую корзину со свечами, послушник прошел с ней вдоль длинного стола, расставляя их, затем обошел стол еще раз, зажигая. Когда напротив каждого пустого стула загорелась свеча, он вернулся в угол и замер в почтительном ожидании. После небольшой паузы, наполненной треском свечей и мягким шелестом страничек, отец Паисий сказал, обращаясь через весь стол к одиноко стоявшему послушнику:

— Братья мои... Не по праву игумена монастыря, отвечающего перед миром за эту обитель, и не по праву священнослужителя, отвечающего перед богом за вверенное мне братство, а как последний грешник на этой грешной земле прихожу я к вам в этот поздний час, чтобы покаяться в грехах и вместе с вами еще и еще раз приобщиться к немеркнущему свету мудрости слова Его.

— Аминь, — прошептал, крестясь, послушник.

— Аминь, — ответил ему старец и замер.

На главной монастырской башне начали бить к полунощнице. Деревянные молотки, разбежавшись по деревянной же доске, вязали удивительно стройную дробь. Разбуженный деревянными молотками, ахнул из больших своих глубин главный колокол монастыря. И треснула ночь пополам, и дрогнул первородный грех, заключенный во плоти живой, и замер меч, занесенный над жертвой.

— Галилейские рыбаки, — сказал отец Паисий, — наши первые христиане, чтобы не потерять бога в себе, вставали глубокими ночами и, закрывшись в своих лачугах, молились. То были тяжелые времена. Свет учения Христова, казалось, угасал, но эту угасающую каплю удалось спасти. Ее спасли не полководцы, не золоченые храмы, не мудрые толкователи древних заветов, а одинокие рыбаки, встававшие по ночам молиться. Наша церковь многим обязана этим рыбакам и, чтобы увековечить их подвиг, постановила в своих канонах навсегда сохранить полунощницу, то есть обязательную службу, которую мы должны совершать глубокой ночной порой.

На монастырской башне, разбуженные главным коло-

колом, подали голос средние колокола. Не успев вникнуть в суть, средние тем не менее были на редкость верны своему владыке и, добившись нужного меж собой согласия, принялись споро помогать главному в создании того таинственного моста, по которому издавна все временное и земное тяготеет к вечному, небесному.

— Сирийские пастухи, — продолжал отец Паисий, — наши первые христиане, грамоты не знали, церковей своих не имели. Храмами им служили выжженные солнцем небеса, а молитвами для них были песни царя Давида, которые они заучивали наизусть. Они могли прожить в горах год, а то и более года с одной-единственной песней. Потом, выменяв ее у других пастухов на другую песню, опять уходили в горы, и опять на целые годы. В память об этих сирийских пастухах во время полуношниц мы обычно не читаем псалтирь в узаконенной последовательности, а, открыв книгу, остаемся на протяжении всей службы с той единственной песней, которая явится очам нашим на случайно открытой странице.

На монастырской башне наступила тишина, и та тишина, должно быть, разбудила маленькие колокола. Они мелко, серебристо, тревожно защебетали, и, чтобы успокоить их и вернуть под свою отеческую власть, снова подал голос главный колокол.

Отец Паисий взял потрепанный томик, открыл его наугад и, отыскав начало псалма, прочел:

— «Тридцать восьмая песнь царя Давида. Я сказал — буду я наблюдать за путями своими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый стоит предо мною...»

Положив на столик открытую книгу, отец Паисий поднял седую голову, воинственно выставив ее навстречу наступавшей со всех сторон темноте.

— Братья мои! Отложим пока начало песни и постоим, призадумаемся над сущностью нашего брэнного мира. С чего мы начали свою молитву? Пав ниц перед всевышним, мы признались ему в том, что, достаточно пожив в этой жизни, мы вдруг опомнились и сказали себе — все, будем отныне следить за путями своими, будем обуздывать уста свои, доколе нечестивый стоит пред нами. О многострадальный род человеческий! Как несовершенен этот мир и как древне его несовершенство! Эта песня была сложена за тысячу лет до прихода Спасителя. Притом был сын божий среди нас, было распятие, и вот уже скоро две тысячи лет после его вознесения, а мы

по-прежнему просыпаемся по ночам и говорим себе — довольно. Отныне надо следить за путями своими и обуздывать уста свои...

Тяжело, глухо застонал главный колокол. Это был даже не звон, это был вопль горя народного, и, втянутый в каменные ущелья, раздробленный на мелкие куски, он разошелся далеко по низовьям и верховьям. Стои могучего владыки заставил средние колокола броситься ему на помощь; за ними полетели, сами не ведая куда, их младшие братья. Эти малявки летели долго-долго, а там, далеко внизу, обозначив им место падения, глухо трещали деревянные молотки.

Старец вернулся к начатому псалму.

— «Я сказал — буду я наблюдать за путями своими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый стоит предо мною. Я был нем и безгласен и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась...»

— «Подвиглась», — спросил послушник, — это значит, сколько было, столько и осталось?

— Нет, сын мой. «Подвиглась» — это значит скорби стало много больше, чем было.

— Каким образом?

— О сын мой, в том и суть. Хлебнув горя снолна, мы заставили умолкнуть в себе то, что даровано нам было свыше. Умолк небесный глас, оборвалась связь с окружающим нас миром. И что же, много мы на этом выиграли? Да вряд ли, потому что, перестав видеть зло, которое нас окружает, мы перестали видеть и то доброе, что у нас было. А приучив свой глаз не видеть более ни злое, ни доброе, мы потушили огонь сознания в себе, мы стали наравне с травой, с песком, с морем, наравне со всем тем, что хотя и было создано богом, но не было одухотворено им. Великая потеря порождает великую печаль, и потому, осознав свое падение, мы сознаемся богу, что «скорбь наша подвиглась...».

Вдруг оборвался срезанный на лету монастырский перезвон. Какое-то время еще блуждали по ущельям отголоски недавних слез и стенаний, но вот утихли и они. Осталась одна только темнота за окном, да долгая ночь, да длинный ряд догорающих свечей.

— Крещеные македонянки, — продолжал отец Паисий, — наши первые христианки, пуще всего боялись недопонятых слов. После толкования каждого неясного слова они начинали молитву сначала. Не будем и мы пре-

увеличивать свои слабые возможности запоминать великие истины и начнем сначала свой тридцать восьмой псалом...

Долго, и долго, и долго молчали колокола на монастырской башне, и только когда немота ночи стала им совсем немотою, только тогда подал голос главный колокол. Это даже нельзя было назвать звоном — просто так в темноте, охваченный порывом ветра, колокол тихо, про себя, о чем-то вздохнул.

— Подумаем, — сказал отец Паисий, — как мудро создал всевышний человека, как глубоко поместил он в нас свой небесный дар, если мы при всей низости, при всей подлости своей не смогли тот дар погубить. Правда, поначалу мы свой внутренний голос сокрушили, но и в то время, когда нам жилось покойнее, лучше, богаче, и тогда под нашим благополучием тлел заглушенный нами божий дар. Небо не дало нам погибнуть, и настал день, великий день, когда воспламенилось сердце, в мыслях возгорелся огонь. Мы стали опять самими собой, но, господи, сколько драгоценного из того небольшого количества времени, отпущенного нам, мы отдали своей немоте и глухоте! И потому, обретя заново самих себя, мы снова пришли к всевышнему, чтобы спросить про число дней наших и про век наш.

И снова, как уже было тысячу и тысячу раз на этой грешной земле, из ничего, из темноты, из угасающего по ущельям смутного гула, из пахнущих хвоей туманов, из одиночества пастушьего костра, из мягкой задумчивости весенней капли вознеслись голоса деревянных молотков. Заливаясь и перегоняя друг друга, они побежали по деревянным ступенькам все выше и выше, и вот рука пошла шарить в темноте, нашла веревку, рванула к себе. Могуче, вечно засветился благовестный перезвон, и праздник его разошелся на все четыре стороны света. Нет, что ни говорите, пока жив Дух и живо Слово, с нами ничего непоправимого случиться не может.

— Ниццим иудеям с римских окраин, промышлявшим сбором битого стекла, — сказал отец Паисий, — нашим первым христианам, встававшим по ночам в своих бедных кварталах за Тибром, чтобы молиться, приходилось дорого платить за свое общение с богом. Иногда это стоило им жизни, но они верили в свое спасение, верили в царстве небесное, и потому, когда по ночам гонители слова господня стучали в двери их лачуг...

Вдруг послушник перестал внимать словам настояте-

ля. Выйдя из своего угла, он направился к отцу Паисию, но шел почему-то на цыпочках, мелкими шажками, все время к чему-то прислушиваясь. Наконец и отец Паисий услышал гул наступающей конницы. Грохот армады все нарастал, нарастал, пока вдруг не умолк, срезанный каменными стенами монастыря. Несколько секунд переводили дух люди и кони, после чего, крикнув что-то по-турецки, властно постучали в железные ворота.

— Святой отец, — сказал послушник, дрожа от возбуждения. — У нас есть одна большая выгода — высота! Я соберу молодых монахов, мы выйдем на гребень стены прямо над воротами и опрокинем им на голову...

— Сын мой, — сказал растроганный старец, — ты забыл, что ты в монастыре, а не на поле брани. У нас действительно есть выгода, но наша выгода — молитва, а не высота. Смирись, сын мой, и давай воспользуемся своим истинным преимуществом...

Удивительно, подумал послушник, тяжелые времена всегда действуют на старца успокаивающе. И чем невозможнее положение, тем глубже и совершеннее покой, который его охватывает. Вот и на этот раз, просветленный, освобожденный от тревог этой бесконечной ночи, отец Паисий направился к отсвечивавшим в серебряных окладах иконкам, опустил на колени. Он уже не молился, не крестился, не клал поклоны, но такое озарение на него свизошло, что, глядя на него, можно было подумать — вот истинно счастливый человек, проживший истинно счастливую жизнь.

Вдруг, приоткрыв глаза, он увидел все еще стоявшего рядом послушника.

— Сын мой, разве ты не хочешь вкусить от того великого блага, имя которому — час умного безмолвия?

— Какое безмолвие, святой отец, когда вот-вот монастырь снесут!

— Сын мой, не суетись, когда в душе твоей слагается молитва.

— А если они сломают ворота и ворвутся в монастырь?

— И ничего без воли всевышнего не произойдет.

Подумав, послушник подошел, опустил на колени. Бесперывный гул сводил его с ума, он вздрагивал от каждого удара в железные ворота, а тем временем уста его принялись творить «Отче наш». Тысячелетиями освещенное чередование простых слов, выстроенных в простую речь, обращенную к богу, медленно смывало с него

царящую вокруг тревогу. Он мало-помалу успокоился, после чего и в самом деле от этих обычных, с детства выученных слов повеяло тем незыблемым покоем, по которому так тоскует наше земное начало и без которого дух не в силах воспрянуть и обрести себя.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ



# Две Екатерины

*За мной стоят 16 тысяч верст  
пространства и 20 миллионов  
верноподданных россиян.*

*Екатерина II*

*Мчатся тучи, вьются тучи...*

*Пушкин*

Огромное облако пыли, распластавшись над выгоревшими от засухи пустырями, медленно ползло с востока на запад. В полуденном пекле, проклиная судьбину и глотая пыль, шли гренадерские и мушкетерские полки. За пехотой на усталых, взмокших от длинных переходов лошадях шли эскадроны кирасир, драгун, гусар. По флангам, прикрывая армию, тащились в невообразимом беспорядке, упиваясь вольницей, донские, уральские, запорожские казаки.

За первым валом, не давая поднятой пыли улечься, катил второй вал. Медленно двигались на воловой и конской тяге тяжелые орудия для осады крепостей. За артиллерией следовали магазины — на длинных фурах покачивались мешки с провизией для солдат, фураж для лошадей и множество всякого другого груза, сопутствующего армии во время наступления.

За пищей телесной на некотором расстоянии следовала пища духовная в виде огромных палаток, наваленных кое-как на телеги и предназначенных для свершения походных молебнов. За ними шли, опять же на почтительном расстоянии, груженные хмельным своим товаром маркитанты, а уж за маркитантами пешочком плелись, замыкая шествие, те, кого обычно называют солдатскими подружками в военное время и более грубым, но более точным словом во времена мира.

— С богом! — сказала императрица в своем манифесте о начале военных действий против Турции, и вот Украинская армия, разбившись на четыре колонны, шла через Подолию, чтобы, переправившись через Днестр, стать

лагерем в ожидании встречи с главными силами неприятеля.

Дорога была адова. Между Бугом и Днестром лежала заросшая бурьяном степь. На этой принадлежавшей Турции земле в мирное время кочевали крымские татары, но с тех пор, как Крым отошел к России, эта территория, все еще принадлежа Турции, оказалась зажатой в клещи русскими владениями, почему и пустовала. Идти по полудичалой земле было тягостно и тоскливо. Ни дымка человеческого жилища, ни петушиного крика, ни собачьего лая. Ковыль, да пырей, да полынь, сторовшая от засухи в пору своего первого цветения. Дымятся потные спины, пыль скрипит на зубах, а солнце знай себе припекает. С утра оно бьет солдата в затылок, в полдень прожигает темя, а от полудня и до последнего отблеска за холмами слепит глаза.

— Добьет, паскуды, ни за грош, — жаловались друг другу солдаты, перекидывая с плеча на плечо мешок с сухарями, десятидневный запас которых должны были нести на себе. Это был бывалый крепостной люд, тот самый, про который полковники говорили своим капитанам: вот тебе три рекрута, сделай мне из них одного доброго солдата. Теперь эти собранные из троих солдаты еле плелись в густом облаке пыли, потому что пустынная степь, солнце и жажда измучили вконец.

Только на третьи сутки, после полудня, колонны наконец увидели у кромки длинного покатога холма блестящий на солнце пояс живительной влаги. «Хлопцы, Днистр!!!» — завопили на флангах казаки, и гигантская туча пыли, замершая было от удивления на гребне холма, стала дробиться, растекаясь, словно выбежавшее тесто, по склону, и все накатывала раз за разом, пока не уткнулась в самую воду.

— Ну, ну, — произнес ворчливо фельдмаршал Румянцев-Задунайский и, выбравшись из коляски, повел своим мясистым носом, как бы к чему принюхиваясь. Это был врожденный поляководец, и интуиция была главной картой, по которой двигалась его армия. Заметив неподалеку от готовившейся переправы пустой бочонок, он подошел, водрузил на него свое грузное тело и потребовал у адъютантов подзорную трубу. Хотя его первоначальным намерением было осмотреть готовившийся к переправе мост, что-то ему там, на том берегу, показалось подозрительным, и, вооружившись подзорной трубой, он принялся изучать правый берег. Там, на том берегу, на-

чиналась Молдавия, но, поскольку страна эта находилась в вассальной зависимости от Порты, для каждого солдата там, на том берегу, начиналась война.

— Что-нибудь любопытное, ваше сиятельство?

Фельдмаршал не ответил. Он вообще мало говорил и часто, занявшись каким-нибудь пустячным делом, ставил в тупик окружение своим бесконечно долгим молчанием. К тому же в жару какие разговоры...

Тем временем пыль на берегу улеглась, и окружавший фельдмаршала штаб пришел в волнение, потому что ничего не осталось от сорокатысячной армии. По всему левому берегу, сколько хватало глаз, до самых низовьев реки валялись разбросанные в беспорядке, как после тяжелого боя, пушки, телеги, амуниция, а из воды торчали в неземном блаженстве головы солдат и лошадей.

— Этак, ваше сиятельство, при неожиданном нападении мы могли бы понести самое конфузливое поражение, — предположил кто-то из адъютантов.

— Пускай их купаются, — разрешил фельдмаршал, и видно было, что, пока он сидит на пустом бочонке и смотрит в подозрную трубу, никто напасть на его армию не посмеет. Тело, правда, заныло от неподвижности. Грузный полководец сполз с бочонка, долго его исследовав, чтобы выяснить, отчего ему нехорошо на нем сидится. Перекатил чуть поодаль, перевернул другим дном кверху, взобрался на него и снова принялся обозревать правый берег.

Штабные офицеры молча сопели рядом под нещадно палящим солнцем. Они понимали, что все это неспроста. Что-то, должно быть, встревожило командующего, но, сколько они ни всматривались, решительно ничего достойного внимания не могли обнаружить на том берегу. В отличие от левого, пологого, правый берег был высокий и крутой. Громады из ракушечника и мела стояли, выстроившись в ряд, точно стадо загадочных доисторических животных, сбжавшихся на водопой. Обросшие тут и там рыжеватым мхом, с белесыми расщелинами, размытыми дождями, эти громады без конца пили воду. Черневшие у основания гор пещерки, едва выделяясь над водой, чем-то напоминали ноздри громадин и создавали ощущение неутолимой жажды.

— Можете выкупаться, если кому охота, — разрешил вдруг князь.

Северяне трудно переносят жару, но стоять в этом пекле в состоянии беспрекословного подчинения — вещь по-

чти что непосильная. Конечно, на то он и фельдмаршал, чтобы смотреть в подзорную трубу, в то время как вокруг люди изнывают от зноя, но вот, однако, позволено было... И хотя никто не рискнул воспользоваться полученным разрешением, слова командующего приободрили начавший было скисать штабной мир, после чего все эти секунд- и премьер-майоры принялись с новым усердием помогать фельдмаршалу в обозревании правого берега.

А был он по-прежнему пуст и безлюден. На верху тех громад чахли от зноя невысокие вишенки. Тут и там из-за одиноких деревьев выглядывали побеленные известью, крытые соломой домики. Местами, где кромка высокого берега, скашиваясь, спускалась к реке, просматривались запущенные поля, темные, покрытые дубовыми лесами дали.

— Никак красотку какую заприметили? — спросил веселым голосом генерал Эльмпт, командир третьей дивизии, которой предстояло первой переправиться на тот берег.

— Судьбу высматриваю, Иван Карлович. Цыганка как-то нагадала, что суждено мне дожить свой век в глинобитной молдавской хате, и вот ищу, где она, та хатка...

Штабные офицеры молча переглянулись. Губернатор Малороссии фельдмаршал Румянцев-Задунайский был одним из богатейших людей своего времени. Поговаривали даже, что частично эту сорокатысячную армию он содержит на свои средства, делая императрицу своей должницей, и решительно было невозможно представить себе этого богача доживающим свой век в глинобитной хатенке, крытой соломой.

Генерал Эльмпт, однако, иначе посмотрел на это дело.

— А что вы думаете, ваше сиятельство! При таком пекле посидеть на завалинке где-нибудь в тенечке с кружкой прохладного винца...

— Посидим, даст бог, за Прутом, — буркнул Петр Александрович. — Там и дома попросторнее, и завалинки пошире, и вино получше будет.

Все-таки он явно был не в духе. Десять лет назад, во время первой русско-турецкой войны, ему суждено было стать главным воином России, карающим ее мечом. Ему первому удалось поставить турецкую империю на колени. Гром его побед был настолько оглушитель, что государыня предложила встретить его в столице триумфальными арками, как встречал некогда Рим своих полководцев-победителей. Румянцев отказался от пышных почестей и

удалился в свои малороссийские имения в ожидании, когда его снова позовут на поле брани и отечество вручит ему в руки свою судьбу, но, увы, ничто не вечно под луной...

Екатерина была молодой государыней. Она любила пышные балы, роскошь, театральные представления, питала особую слабость к военным мундирам, а за все эти удовольствия, конечно же, приходилось платить. Еще в ту войну она часто посылала Румянцеву молодых своих фаворитов, деликатно намекая, что для нее было бы чрезвычайно приятно, если старания ее подопечных окажутся полезными России.

Румянцев относился с отеческим пониманием к этим просьбам государыни и, причислив к своему штабу того или иного любимца, вспоминал о нем, когда появлялось не особо трудное дело, и после выполнения задания не забывал представить его к награде, чтобы сделать государыне приятное. Один из ее любимцев, правда, его несколько озадачил. Молодой генерал Григорий Потемкин был на голову выше всех остальных фаворитов, но отличался при этом такой жадностью к славе и наградам, что просто ставил в тупик командующего. Кто бы мог подумать, что через десять лет он вытеснит Румянцева совершенно, и именно его, Потемкина, государыня предназначит в главные герои начавшейся кампании!

Правда, вытеснить знаменитого фельдмаршала оказалось не так-то просто. Когда новое столкновение с Турцией стало очевидным и был срочно заключен союз с Австрией, Военная коллегия, которой было поручено составить план будущей кампании, создала две армии: одну под началом Потемкина, другой назначен был командовать Румянцев-Задунайский. Но если армия Потемкина насчитывала около ста тысяч человек, армия Румянцева едва достигала сорока; если австрийцы осаждали знаменитый Хотин, а Потемкину было приказано взять очаковскую твердыню, то армия Румянцева сразу была отодвинута в резерв. Перейдя Днестр, фельдмаршал должен был разбить лагерь на речке Куболте и ждать развертывания дальнейших событий. Его действия были поставлены в зависимость от успехов или неуспехов осады двух крепостей. В рескрипте Военной коллегии, правда, говорилось, что Украинская армия, стоя на Куболте, будет сковывать главные турецкие силы, расположенные на Дунае, но это было вставлено явно для того, чтобы пощадить достоинство героя минувшей войны, ибо какое

там, к черту, скывывание! Где Куболта, где Дунай! Другой, может, и не принял бы этого назначения, но Румянцев-Задувайский был еще и крупным государственным деятелем, считавшим себя в ответе за судьбы державы, почему и сидел в эту жару на пустой бочке и обозревал правый берег.

— Бегут, однако, — тихо удивился кто-то.

Офицеры из окружения фельдмаршала уже давно приглядывались к странной возне, начавшейся на правом берегу. На окраинах деревушек начали вспыхивать грибки пыли, которые затем, медленно растягиваясь, уходили на запад длинными лисьими хвостами.

— Оно и правда разумнее, — сказал вдруг фельдмаршал. — Пускай уходят в свои кодры. Подальше от греха.

— Странно, однако, — заметил Эльмит. — Мы несем им освобождение, а они от нас бегут.

— Бегут они не от нас, а от турок.

— Да где же турки-то?!

— Перед нами, Иван Карлович, народ-мученик, народ-заложник. Наша переправа через Днестр дает повод туркам обнажить меч, а уж он у них долго без дела не останется.

— Что же, в таком случае давайте смотреть переправу.

— Давайте, — соглашается фельдмаршал, а сам сидит на том же бочонке и не спускает глаз с правого берега. Тем временем сорокатысячная армия, выбравшись из воды, расположилась лагерем. Мирно пасутся лошадки, дымятся кухни. Казаки, увлеченные стиркой, с гоготом ловят готовые вот-вот уплыть по Днестру портики. Солдаты из инженерного корпуса приготовили понтоны к спуску на воду. Было самое время произвести осмотр будущей переправы, а грузный фельдмаршал все сидит на своем бочонке. Уже и лисьих хвостов не видать, и деревни опустели вчистую, а он все смотрит в трубу. Причем изучает уже не сам берег, а его основание, вернее, те поздраватые нещерки, что выступают над кромкой воды. С некоторых пор эти нещерки стали дымиться, и создавалось впечатление, что эти доисторические гиганты выходят из себя.

— Разрешите, ваше сиятельство, выяснить...

— Ну извольте.

Четверть часа спустя двое офицеров в сопровождении небольшого казачьего конвоя уже выбирались из воды на том берегу. Правый берег, по сути, был двойным. Пона-

чалу шел низкий, так называемый малый берег, за ним простиралась узкая, заросшая лопухами и лебедой полоска шагов в сто, и только за ней уже поднималась на дыбы громада доисторических чудовищ. На узкой полосе земли паслись чьи-то козочки, и даже кому-то удалось тут, в низине, слепить хижинку. Так, дом не дом, а все-таки жилище, родные стены и крыша над головой.

— Ну что там? — спросил адъютант, которому была поручена операция.

Двое казаков, выбравшись из крайней, густо дымившейся пещерки, стояли в глубокой растерянности.

— Ничего нету, ваше благородие... Глубокая яма, заваленная гнилыми пнями, сверху зачем-то камни сложены... Дымиться эта холера будет дня три, не меньше...

— Потушить.

Едва казаки принялись засыпать песком тлевшие пни, как из другой пещерки вышла женщина с крупными чертами лица. И на лбу, и на щеках у нее красовались темные разводы сажи. Платок, сбитый набок, при воинственной спешке делал ее очень смешной, но добрые, приветливые, умные глаза не допускали снисходительно-го к себе отношения.

— Кто такая?

— Так... Женщина...

— Ну ясное дело... Зовут-то как?

— Екатерина.

Голос низкий, густой, волнующий. Воины помрачнели. Когда твою государыню зовут Екатериной и ты, молодой офицер, мечтающий о славе, встречаешь в чужой стране этакое чучело, которое, с позволения сказать...

— Да ты хоть знаешь, как зовут нашу императрицу?

— Знаю. Екатеринам повезло.

Улыбнулась широко, от души, но, поскольку воины совсем не собирались разделить ее великую радость по поводу своего везения, она тут же скрылась в одну из пещер. Немного погодя вышла. На этот раз сажи и в помине не было. Волосы подобраны, платочек аккуратно повязан, а кроме того, она вынесла большой кусок белого камня, который протянула одному из офицеров.

— Известь, — сказала она, как бы оправдываясь.

— Зачем тебе известь?

— Побелить.

— Что белить?

— Храм.

— Какой храм?

— Там, наверху...

Запрокинув голову, Екатерина указала на крайний домик, крытый соломой, который стоял так близко к кромке обрыва, что казалось, вот-вот сорвется оттуда. Это был самый обыкновенный деревенский домик, и только если внимательно к нему приглядеться, можно было заметить висевший на шесте небольшой деревянный крест.

— Церковь ваша, что ли?

— Храм спасителя.

Казаки рассмеялись. Офицеры же, помня наказ государыни, что они вступают в дружественную православную страну, сдержали себя. Собственно, Екатерину мало занимало, кто как относится к ее храму. Не спуская глаз с крошечного, крытого соломой домика, она, широко перекрестившись, отвесила лачуге, ютившейся над их головами, глубокий поясной поклон.

— Зачем опустевшему селу побеленный храм?

— Почему опустевшему?..

Встревоженная, замерла, прислушиваясь. В самом деле, оттуда, с горы, доносился сухой треск — били деревом по дереву, и этот треск привел женщину в глубокое волнение.

— И-и-ра! — всплеснула она руками и, забежав в тот единственный стоявший в низине домик, тут же выбежала. Перевязываясь на ходу уже другим, совершенно чистым платочком, побежала вверх по крутой тропке. Казаки глотали слюну, глядя, как движется под выгоревшей на солнце ситцевой юбкой молодое и крепкое женское тело.

— Ишь как чешет! Молодуха, в самый раз!

— Молода-то она молода, а глянь, сколько их натаскала!

Из-за высокого лопуха выглядывала целая шеренга перепуганных головок.

— Ну, если смолоду поставить себе домик в низине, подальше от села, можно и побольше прижить.

— Голосистые, они до любви охочи.

— Жаль, что часу нету, а то меня тоже бог голосом не обидел.

Взбежав на гору, Екатерина замерла в глубокой растерянности. Оказалось, по подвешенной в церковном дворе доске, служившей вместо колокола, лупила тяжелой палкой женщина, причем была она в нее, сидя на гру-

женной всяким скарбом телеге. Ввиду чрезвычайной поспешности она прямо на телеге подъехала к акации, на которой висела доска, благо ни ворот, ни забора, ничего вокруг той церквушки не было. С лицом окаменелым, безучастным женщина поднимала нескончаемую тревогу на всю округу, и видно было, что, если ее не остановить, она будет колотить до второго пришествия.

— Матушка, вы мне, что ли, стучите?

— Как же, — сказала женщина на телеге, не обращившись, — стала бы я из-за тебя руки отбивать... Батюшку вон никак из храма не вытащу... Уже и казаки в Днестр полезли, а он все копошится, старая курица...

Фамилия священника была Гэинэ, то есть курица, и селяне его в самом деле за глаза звали старой курицей, но чтобы сама матушка... Екатерина стояла, не зная, что и думать, а двери храма меж тем, настезь открытые, как будто звали на помощь. Какой-то тревогой, какой-то бедой несло оттуда, и, перекрестившись, Екатерина смиренно вошла в храм.

Собственно, какой там храм! Глиняный пол, три покосившихся окошечка, пропускавшие так мало света, что нужно было долго привыкать к царящей внутри полутьме. В центре несколько вытянутого в длину помещения красовался столб, подпиравший прогнувшийся потолок, но у крестьян ничего не может пропасть даром, и к верхней части столба была приделана поперечина, так что это был одновременно столб, подпиравший потолок, и крест, которому можно молиться.

В глубине помещения небольшой, в человеческий рост, алтарь, собранный из обыкновенных досок, побеленных известью и покрашенных синькой. Временами из-за перегородки выглядывала голова крайне озабоченного старца. Он все кряхтел, суетился и тяжело дышал, что-то там собирая. С улицы сидевшая на телеге матушка торопила его поминутно. Когда треск становился невыносимым, страдавший одышкой отец Гэинэ выглядывал из-за перегородки и кричал в сторону открытых дверей:

— Да иду же, сию минуту иду!

Едва переступив порог, Екатерина направилась в заветный угол поклониться святому Николе-угоднику, покровителю крестьянок, но, дойдя до заветного места, ахнула. Серое, пыльное, затянутое паутиной пятно вместо защитника земных тружениц!

— Да вы, батюшка, с ума сошли! Вы обобрали храм



как ляжку! Пусть бог простит мне мои слова, но даже турки, даже татары во время своих набегов...

Старый, измученный спешкой священник подошел и обнял крест-подпорку, ибо, видит бог, этого ему только недоставало! Там, на улице, одна сводит его с ума, тут появилась другая...

— Глупая твоя голова, — сказал он как можно спокойнее, — разве не видишь, сколько войск спустилось к Днестру и готовится к переправе? А грозные янычары, думаешь, сидят на Дунае и чубук курят? Да завтра-послезавтра огненный смерч будет гулять над всем этим краем! И во дни тяжких испытаний что остается маленькому народу, кроме горных тропок да густых лесов?..

Екатерина стояла нахмурившись и думала о той великой северной императрице, имя которой по воле случая носила и она.

— А вот русская царица, сказывают, молится тому же богу, что и мы! Теперь что же получается — они, православные, идут к нам на помощь, а мы, тоже православные, улепетываем? Да это же все равно, что пригласить к себе человека в гости, а самому, заперев дом, сделать вид, что идешь на ярмарку!

С улицы растрещалась подвешенная к акации доска, и этот треск святой отец совершенно не в силах был перенести.

— Да иду же, сию минуту иду!

Вспомнил, что еще что-то важное нужно взять. Вернулся через боковую дверь алтаря, но, пока шел, забыл, за чем шел.

— Вот, — пожаловался он Екатерине, вытянув голову через край жерегородки, — и ты меня ругаешь, и матушка торопит. А между тем село снялось с места, люди подались в леса, и я как пастырь не могу не последовать за своим стадом. Иконы и утварь вынужден взять, потому что война может затянуться до осени, и там, в лесу, всякое может случиться — и роды, и панихиды, и похороны. Чем же справлять церковную потребу, если не взять все это с собой?

Екатерина стояла посреди храма, и ее карие глаза медленно, как степные родники, наполнялись влагой.

— Теперь что же? — спросила она. — Все лето, до наступления холодов, на дверях храма будет висеть замок?

— А что, и повисит. Может, даст бог, не украдут.

Широкое лицо Екатерины, ее тяжелый мужской лоб медленно стали наливать упрямством, и это не предвещало старику ничего хорошего.

— А разве в священном писании сказано, что, когда прихожане бегут в лес, священник непременно должен бросить свой храм и бежать за ними?

— Птичьи твои мозги, сама подумай, что для господ важнее — сотня живых душ или эта хибара, крытая соломой?

— А вот монахи из соседнего монастыря никуда не бегут.

— Фасолевое твое соображение, каменные монастыри нарочно для того в виде крепости и построены. В случае чего они могут наглухо запереть ворота и занять круговую оборону, а что мы можем на макушке этого холмика?

— Ну, во-первых, — сказала Екатерина, — это не холмик, а круча, высокая круча над рекой. Монастырям пыхтеть да пыхтеть, чтобы этакую себе стену поставить. Во-вторых, с запада село укрыто лесистыми холмами, и, хотя особых укреплений нету, я думаю, в случае чего мы смогли бы...

Отец Гэинэ рассмеялся, но это был не смех, а некий вид нервной разрядки, вызванной тупостью человеческой. Потом, осознав свой грех, перекрестился, попросив у бога прощения, и, запутавшись вконец, изрек тоном, не допускающим возражений:

— Закинь своих птенчиков на мою телегу и айда — времени в обрез.

— Как хотите, отец, а я останусь защищать свой храм.

— Дура ты длинноволосая, не смей больше при мне называть эту хибару храмом! Бедность нас унизила, оглушила, но вера в нас еще жива! Неужели ты никогда не видала, в каких прекрасных храмах с золочеными куполами обитает истинный господь? Что же от нашего бога останется, если мы его вечно будем держать в такой хибаре?

Перекрестившись, чтобы замолить свой несомненный грех, Екатерина начала медленно отступать.

— Ну не спорю, — созналась она, — наш храм давно пора обмазать глиной и побелить. Этими днями я как раз собиралась братья за побелку, для того и заложила новую печь, чтобы хорошую известь выжечь...

— Воробьиные твои мозги! Сколько эту лачугу ни бе-

ли, потолок не выровняется и дырявая кровля не перестанет протекать!

Екатерина стояла смущенная, виноватая, но верующая.

— Толкуйте как хотите, а это все-таки храм. Тут мы венчаемся, тут крестим своих ребятешек, тут отпеваем своих близких и не можем, ей-ей, не можем бросать его на произвол судьбы! Бог нам этого не простит.

Отец Гэннэ вдруг понял, что потратил массу времени впустую.

— Ребятишки твои в низине или тут, на горе? Матушка меня еще с вечера за тобой посылала — как-никак ты моя единственная певчая, и без тебя ни литургии, ни вечерни. Собери свою ораву и давай, пока я не уехал.

С тяжелым узлом в одной руке, с железным замком в другой он направился к выходу. Екатерина помогла дотащить мешок до дверей, но перед выходом, отдав священнику мешок, взяла у него замок и заявила:

— Если у вас так мало веры, что вы, чуть что, даете деру, так вот назло вам останусь...

— Сорока ты дремучая, — прошептал в ужасе священник, — а ты подумала, что ждет тебя, единственную в селе женщину, к тому же молодую, после того как вся эта армада переправится через Днестр?

— Ничего, у меня шестеро ребятешек. Они меня защитят.

— Да чем тебя те малолетки защитят?

— Чистотой и непорочностью.

— А если не смогут?

— Если не смогут, меня защитит этот храм.

— Если ты еще раз назовешь эту хибару храмом, я уеду, даже не дав тебе своего отеческого благословения...

Ее глаза, чистые степные родники, переполнились влагой.

— Да как не называть мне его храмом, когда вон сколько раз в зимнюю стужу тут на наших глазах рождался младенец! Сколько раз с этого амвончика доносилось слово господне! Сколько раз мы плакали, когда наступал час распятия, и содрогались от счастья, когда Иисус, воскреснув из мертвых и смертью смертью поправ, выходил оттуда в белом одеянии...

— Откуда выходил?

— Да вон из той боковой двери...

Отец Гэйнэ стоял над мешком, разинув рот, — такого с ним еще не бывало. Чтобы его прихожанка утверждала, что видела своими собственными глазами...

— Дочь моя возлюбленная... В трудные времена судьбу нашего народа решала не голова, а ноги.

— Вы думаете, мы бегством спасали себя?

— Чем же?

— Тем, что держались за эту глину и за этот крест.

Матушка на улице уже не стучала — она вопила в полный голос.

— Да иду же, вон он я, в дверях стою! Не знаю, — добавил священник, несколько понизив голос, — не знаю, дочь моя, может, я и не совсем прав, выбрав паству, а не храм, но выбор уже сделан, так что прощай, глупое мое дитя. Пусть в эту лихую годину бог хранит тебя, и твой очаг, и твою землю, и эту бедную...

— И этот храм.

— Ну хорошо. И этот храм.

Тяжелое, крупное лицо Екатерины озарилось счастьем.

— А если это храм и вы нас покидаете на столь долгое время, почему бы вам не вернуть хотя бы часть церковной утвари?

— Милая моя ягодка, что я могу вернуть, когда тут всего полмешка добра!

— Хоть бы Евангелие оставили. Какой это храм без слова господня!

— А то ты не знаешь, что у нас всего одно Евангелие, за которое я еще в позапрошлом году отдал кобылу с жеребенком и с тех пор на одной кляче езжу. Стыд и срам.

— А псалтирь?

— Псалтири у нас сроду не было.

— А вон там лежало несколько листочков?

— Там лежали всего три псалма, переписанные мной в молодости, когда еще рука не дрожала. Я их храню как свидетельство своей грамотности, вдруг проверка какая будет, но, если ты уж так просишь, я их тебе, пожалуй, оставлю. Только смотри, береги от огня, от влаги и не давай ребятишкам ими играть.

Завладев листочками, женщина положила их там, где они всегда лежали, и, вернувшись, встала в дверях, загородив собой выход.

— А... светить?

— Что светить?

— По вечерам, говорю, когда мы соберемся на вечерню и народ опустится перед алтарем на колени, а я выйду петь на клиросе...

— Да какое тут может быть пение?!

— Самое обыкновенное. Крещенье, как-никак, и, когда солнце пойдет к закату, а со стороны монастыря позовут к вечерне, мы соберемся, оставшиеся в селе прихожане, я раскрою перед собой те листочки, и как мне тогда без свечки?

— Воска у меня нету, — сознался отец Гэинэ.

— Зачем тогда листочки подарили? Как я их в темноте читать буду?

— Дочь моя, какая свеча поможет тому, кто грамоты не ведаёт!

— Как не ведаю? Да сколько раз я тут, на клиросе, читала Часослов?

— Это потому, что, будучи от природы смышленной, ты выучила все наизусть и шпаришь по памяти.

— А вдруг в один прекрасный день бог смилуется, и буквы передо мной откроют свои тайны? Как я в ту тайну проникну, если в церкви будет темно!

Отец Гэинэ перекрестился и, запрокинув голову, признался всевышнему:

— Господи, какие у меня муки с этой дурой, какие муки!

Подумав, покопался в мешке, достал оттуда несколько огарков, завернутых в тряпочку.

— Воску тебе в жизни не видать, его у меня всего одна капля, и теперь, с этой засухой, неизвестно, насоберут ли его пчелы или нет. Вот возьми эти огарки. Дома скатаешь из них свечу. Да не надо мне руки целовать, они у меня в пыли да в грехах...

— Мы будем молиться за вас.

— Прощай, глупое дитя, и да пребудет с вами господь...

Проводив священника, Екатерина спустилась к одиноко стоявшему в низине домику. Развела огонь в печи, собрала свою ораву, быстро всех перемыла, причесала, обстирала. Пока она приводила своих птенчиков в божеский вид, воск тихо плавился перед огнем в глиняном черепке. Нарядив ребят, Екатерина смастерила из расплавленного воска одну-единственную свечку и, молча кивнув ораве, двинулась вверх по тропке. Она шла впереди, дети цепочкой семенили за ней, а замыкала это шествие шустрая и верная собака Ружка.

В каждом уважающем себя селе есть место для отрады души человеческой. Околина гордилась красивым видом, открывавшимся с обрыва, на котором стоял храм. Придя в церковь, прихожане, как правило, выгадывали минутку-другую, чтобы постоять, полюбоваться оттуда, сверху, на реку, на заречье, на те далекие голубые дали, которые, кажется, родственны душе твоей, отчего и ты по ним тоскуешь, и они без тебя измаялись...

Екатерина была толковой матерью. Она заботилась о том, чтобы ее дети не голодали, но и без причастия к миру прекрасного она их не оставляла. Почти не было случая, чтобы она с ними проскочила в храм, не постояв над обрывом, не полюбовавшись Днестром. Обычно перед вечерней тут было не протолкнуться, но теперь они были совсем одни. Оставленные пастырем и односельчанами, они стояли и долго заворожено глядели на левый берег, туда, где в лучах заходящего солнца в большой спешке спускали мост на воду.

Собранная из понтонов, бочек и связанных вместе плотов, гигантская ящерица долго и неохотно к воде привыкала. Солдаты, пушки, лошади. Крики, вопли, ор. Затем вдруг все умолкло. Мост поплыл наискосок по реке и, зацепившись носом за правый берег, стал выравниваться. Все шло хорошо, мост уже был готов, уже первую пушку начали по нему переправлять, когда вдруг, неизвестно с чего, гигантская ящерица закапризничала. То выгибает спину, как разъяренная кошка, то, наоборот, исходит лаской, уводя середину моста под воду. В конце концов все это сооружение не выдержало напора воды. Несколько сорванных понтонов вместе с бочками, кувыркаясь, понеслись вниз, к морю. Зычный голос завопил во всю мощь:

— Ло-о-ви-и!

За поворотом понтоны были выловлены и вытащены на сушу. Запрягли лошадей и поволокли обратно, чтобы начать все сначала. А времени было в обрез. Фельдмаршал, угрюмый и недовольный, осматривал остатки моста и распекал инженерную службу. Разведка донесла, что со стороны Орgeeва движется вверх по правому берегу турецкая конница, направлявшаяся, вероятно, на выручку осажденной Хотинской крепости. Откладывать переправу было нельзя, и Румянцев приказал, построив третью дивизию, свершить молебен.

— И-и-ра! — всплеснула руками Екатерина, когда полковые священники при последних лучах заката вышли

в золоченых ризах перед своими полками. Вечерня была уже на исходе; они засиделись, очарованные заречьем, а между тем за спиной давно ожидал опустевший храм.

Едва переступив порог, дети кинулись по углам, куда они обычно прятались, чтобы не быть другим помехой, но то было при переполненном храме! Теперь, слава богу, места было полно. Более того, незаполненное пространство нагоняло тоску, и, поскольку эти шестеро ребятишек были единственными прихожанами, оставшимися вместе с ней верными храму, Екатерина собрала их из углов, вывела к алтарю, поставила на коленки рядышком.

Теперь наступил черед свечки, ибо без нее какая вечерня! Подумав, Екатерина прилепила свечку к подокопнику. Зажгла, с минуту постояла над ней, следя заворонженными глазами, как крошечная капля света плавит воск, слизывая его по краям и тут же роняя горячие капли. Пахло ульями, весной, лесами и той неземной благодатью, которая витает над сотворенным миром.

Перекрестившись, Екатерина вернулась к своим ребятишкам, стала за их спинками на колени, опустила им на плечи теплые руки и запела:

Святой Боже,  
Святой Крепкий,  
Святой Бессмертный,  
Помилуй нас.

Сначала испуганно, робко, а затем все слаженнее и слаженнее дети принялись ей подпевать и вот наконец запели в лад. Свечка, слово, голос, живая святая душа и, стало быть, чем не храм, чем не вечерня?..

А на Днестре тем временем переправлялась дивизия генерала Эльмпа. В густой тьме огромная лавина бросилась в воду и поплыла наперерез быстрой волне. Плыли лошади, солдаты, какие-то грузы на плотках. Глотали воду, ругались, тонули, прощаясь с жизнью, и выныривали, заново обретая ее.

Из темноты, белея размытыми ущельями, медленно двигался им навстречу правый, высокий берег. Он был весь в тумане, и только на самой макушке мигал огонек. Эта крошечная капля света то вздрогнет, то вот-вот потухнет, то, глядишь, опять дышит во мгле.

Огромная живая масса плыла по бурной реке, и слабый огонек церковной свечки представлялся каждому счастливейшей звездой. А увидев свою звезду, кто не содрогнется от счастья и не поплывет ей навстречу?

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

# 3 Запретный плод

*Naturalia non sunt turpia* \*.

*История оценит влияние ее царствования на нравы...*

*Пушкин*

В феврале 1790 года Петербург праздновал взятие Очакова. Героя этого сражения, державшего в железном кольце турецкий гарнизон почти полтора года, князя Потемкина встречали с почестями, подобающими его фельд-маршальскому чину. Два морских батальона и кирасирский полк, носивший его имя, вышли далеко за городскую черту, чтобы встретить светлейшего. Гремели колокола на соборах и храмах, палили пушки кораблей, стоявших в устье Невы, и весь Невский, до самого Зимнего, был празднично убран.

Государыня была счастлива. Она сумела поставить дело так, что люди умирали с ее именем на устах, но уж зато, когда наступал черед чествования, она и это умела устроить как никакой другой монарх. Теперь, стоя у окна и глядя на несметную толпу, заполонившую Дворцовую площадь, она спросила своего камердинера Захара Зотова, услугами которого нередко пользовалась, чтобы узнать, что думают ее верноподданные.

— Что, Захар, сильно любят князя в народе?

— Нет, ваше величество, — спокойно ответил Захар. — Никто его не любит.

— Как так? — удивилась государыня. — Да ты подойди к окну, посмотри, что на площади творится!!!

— Пустое, ваше величество. Это все от скуки, от желания какого-нибудь праздничка себе, а на самом деле любят его только вы да бог.

— Что ж, — сказала Екатерина после некоторого раздумия, — бог да я — это не так уж мало.

Вечером в Зимнем был дан бал в честь победы русского оружия. У западных послов разбежались глаза. Екатерининский двор блистал как никогда, и, по правде говоря, он действительно был одним из самых изысканных в Европе. Государыня тратила на его содержание

---

\* Естественное не может быть постыдным (лат.).

примерно столько же, сколько уходило на русско-турецкие войны. Прекрасно осведомленная о внутреннем положении державы, императрица не прочь была пустить пыль в глаза, причем чем сложнее было состояние дел империи, тем больше пыли она пускала. А двор был в этом деле первым ее помощником. Потому-то Екатерина всю жизнь строила для него дворцы, награждала, обогащала, увлекала.

Созданный руками императрицы, воспитанный в ее духе, екатерининский двор, конечно же, был верен себе. Он прекрасно понимал, на чьи деньги, для чего и как он существует. Не зря Суворов, всегда державшийся в стороне от шумной придворной суеты, писал к концу своей жизни, что он шесть раз был ранен на войне и двадцать раз — при дворе. Безнравственность буквально разъедала этот блистательный двор, и Екатерина, всячески его опекая, несомненно, догадывалась, что за овощи росли в ее огороде.

Собственно, в дни больших празднеств, да еще в присутствии западных послов екатерининский двор вел себя безукоризненно, и императрица была воистину счастлива. В те холодные февральские дни она праздновала двойную победу — и над турками, и над своим двором, вернее сказать, над завистливыми противниками Потемкина. Почти три года, с тех пор как она поставила светлейшего во главе стотысячной армии, при дворе шли бесконечные споры и неудовольствия по поводу ведения войны. Сам военный министр фельдмаршал Салтыков и вся его Военная коллегия считали, что главный воин России — Румянцев-Задунайский. Ему, собственно, и должны быть переданы все войска и предоставлена вся свобода действий.

Екатерина не могла согласиться с их доводами, потому что она любила Потемкина. Она обязана была ему доброй половиной своей славы, она наметила его в главные герои той войны и никакие резоны не хотела принимать в расчет. С короной на голове нетрудно быть правой, ибо наступает день, когда все факты так или иначе работают на тебя.

Теперь государыня торжествовала. Она готова была простить фельдмаршалу Салтыкову и его окружению все их заблуждения, все неудовольствия и мелкие уколы в свой адрес, и единственное, что ее расстраивало, был сам Потемкин. Светлейший что ни день появлялся каким-то неприкаянным, грустным, задумчивым. В день куль-

минации праздничных торжеств в придворном театре, где давали премьеру по пьесе государыни «Горе-Богатырь», светлейший так раскис, что просидел полвечера с опущенной головой.

— Mon cher, — тихо спросила сидевшая рядом императрица, — что с вами происходит?

— Кровь... — прошептал Потемкин, тяжело вздыхая...

— Что кровь?

— Слишком много было ее пролито при взятии Очакова...

«Поразительный человек, — подумала Екатерина. — Берет крепости, сокрушает целые вражеские армии, а обыкновенную человеческую кровь видеть спокойно не может...»

На пятый или шестой день после прибытия Потемкина решено было отслужить в соборе Николы Морского торжественную панихиду по воинам, павшим при взятии Очакова. Императрица сама пожелала присутствовать, а это означало, что должен был присутствовать и весь двор. Служил митрополит Серебрянников, главный священник армии Потемкина — новая должность, выхлопотанная князем у государыни.

В соборе было холодно и мрачно. В ту зиму весь Петербург был простужен, и густой кашель то и дело нарушал красоту и величавость богослужения. Екатерина, будучи тоже простуженной, краешком глаза следила за лагерем противников светлейшего, смотрела просто так, чтобы доставить себе удовольствие. Вот там, в углу, стоит, делая вид, что молится, вечно брызжащий Салтыков. Ничего, пусть молится. Замаливать ему есть что. Рядом с ним этот самый, как там его, но что такое!!! Подле Салтыкова государыня вдруг заметила у крайней колонны справа красивого молодого ротмистра. Он обращал на себя внимание тем, что, будучи хорошего среднего роста, был еще и по-девичьи строен. Нежная кожа тоже как-то по-девичьи отсвечивала, но волос был крутой, вороной, так что на фоне серой мраморной колонны его облик в какие-то мгновения казался флорентийской иконой, изображавшей ангела-хранителя.

«Ах!» — воскликнула про себя страстная почитательница французских романов, потому что слабость к сладким прегрешениям даже теперь, в шестьдесят, не давала ей покоя. Кто знает, может, о таком вот ангелочке ей и

мечталось в длинные сырые ночи престольного одиночества, да где уж там...

Почувствовав на себе чей-то внимательный взгляд, она мигом выпустила из поля зрения тот искустельный лик. Некоторое время слушала панихиду, потом взгляд ее снова вернулся к красивому юноше. Интересно, подумала она, кто повесил перед моими глазами этот вкусный запретный плод и какова может быть его цена? То, что красавец ротмистр стоял рядом с Салтыковым, как будто указывало на вероятное попечительство фельдмаршала, но возможно ли, чтобы этот примерный семьянин, воспитатель ее внуков, человек, нравственность которого никогда, никак и никем...

И все-таки... С точки зрения искусства было что-то поразительное в том, как живая кожа гармонировала с мрамором. Это было так красиво, что государыня с риском оказаться в плену собственной слабости снова и снова возвращалась к этому ангельскому ротмистру. Слов нет, хорош собой. Пожалуй, он смог бы произвести фурор в любой европейской столице, при любом дворе, но, увы, он был не в ее вкусе, совсем не в ее вкусе...

Поскольку это происшествие занимало ее больше, чем могла себе позволить императрица, чтобы освободить себя, Екатерина в тот же вечер спросила свою старую приятельницу Нарышкину, не был ли кто из посторонних, помимо протокола, приглашен на заупокойную в соборе. Нарышкина, державшая в руках почти все любовные интриги двора, уклончиво ответила, что, по ее мнению, никого из посторонних не было, но, если это важно, она может тотчас узнать у князя Барятинского, гофмаршала двора, ответственного за протокол.

— И никакой надобности, душа моя!

Тем не менее этот юный красавец имел наглость той же ночью присниться государыне. Он стоял вместе с соборной мраморной колонной на высокой крепостной стене. Со всех сторон наседали турки, а он был один, и так его государыня жалела, так ей хотелось его защитить! На следующий день после долгого совещания с Потемкиным по внешним делам державы она села за новую комедию, но действие не набирало занимательности, потому что государыня опять думала о нем. Ее занимали две вещи — чья это была идея и что за этим скрывалось. За время своего долгого пребывания на престоле она утвердилась в том, что случайно попадаются государям на глаза одни курицы да облака — все остальное есть не



что иное, как результат тонко организованных нечаянностей.

Она заботилась о своем дворе, а двор заботился о ней. За четверть века пребывания на русском престоле она уже свыклась с тем, что, когда ее очередное увлечение начинало сходиться на нет, тут же в ее поле зрения появлялся новый человек, способный увлечь государыню. Но Екатерина была по-своему нравственна, и она бы никогда не простила своему двору, если бы он надумал просто так, забавы ради, подзадорить ее любопытство.

Появление этого красивого ротмистра в ее поле зрения могло означать окончание еще одной главы в ее жизни, а начать новую ей уже было не под силу. В шестьдесят никто не жаждет перемен. Она любила своего тихого и ласкового Сашу Мамонова, или Мамона, как его называли при дворе, и, какие бы интриги ни плелись против него или против светлейшего, она и думать ни о чем не хотела. Но этот юнец возле мраморной колонны — нет, как хотите, это было неспроста. Тут была какая-то тайна, какой-то намек провидения.

Между тем приближение летней кампании требовало возвращения светлейшего в действующую армию. Проводив его в начале мая, государыня тут же, через несколько дней, переехала в Царское Село. Хотя было еще холодновато, она знала, что на природе легче преодолеть тоску, которая ее всегда охватывала после отъезда князя. К тому же, хоть она и государыня и самодержица всея Руси, Екатерина отлично знала цену мелким хлопотам, связанным с переездом. Поначалу кажется, что ты утонул в них и больше никогда не выплывешь, но наступает день, когда они тебя отпускают и, к своему удивлению, обнаруживаешь, что за мелкими хлопотами ты и сам успокоился и многое из того, что представлялось неразрешимым, очень даже просто может быть улажено.

К середине мая вдруг потеплело. В течение одной недели набухли почки, начали зеленеть газоны в дворцовом парке, и однажды в полдень, гуляя со своей любимой болонкой по аллеям, государыня опять оказалась лицом к лицу с тем красавцем ротмистром. На этот раз непохоже было, что встреча была кем-то подстроена. Ротмистр куда-то бежал по делам службы и в спешке чуть не сбил ее с ног.

Растерявшись, он отдал честь, после чего раскраснелся так, что казалось, его вот-вот хватит удар.

— Простите, ваше вели...

— Ничего, пустое, — сказала государыня, спокойно продолжая свой путь, успев, правда, при этом удивиться его ресницам. Ну зачем ему, боевому офицеру, такие большие, как метелки, ресницы! Ну мужское ли это дело, могут ли они украсить истинного воина?! Спору нет, может, где-нибудь при других дворах такие ресницы и имели бы успех, но это не в ее вкусе. Увы...

Возвращаясь с прогулки, государыня свернула к дому Нарышкиной, которая только накануне переехала в Царское. Заглянула на минутку, чтобы посмотреть, как устроилась ее старая приятельница. Анна Никитична, совершенно ошарашенная посещением, тут же подала Екатерине чаю и, угадав нюхом старой придворной интриганки, чего от нее ждут, начала издаലെка:

— Уж что творится вокруг, ваше величество, что творится! Поначалу я ушам своим не поверила! Причем ведь мало сказать — молодо-зелено, она же совсем еще ребенок! Мы, признаться, даже удивились про себя, когда вы, по своей доброте, в столь юном возрасте пожаловали ее фрейлиной. Кто бы мог тогда подумать, что эта бабочка с глазами горной косули...

— Да вы о ком, душа моя, поете-то?

— О княжне Щербатовой.

— Разве за ней было замечено что-нибудь предосудительное? — спросила государыня спокойно, но ее напудренные ноздри начали воинственно хватать воздух. Длинные заходы, которые Нарышкина заготовила, мигом улетучились, и, ссутулившись, точно ей предстояло ступать по очень тонкому и хрупкому льду, Анна Никитична пролепетала как можно слаще:

— Я, правда, сама не видела, но говорят, они с вашим воспитанником в дальних аллеях парка с утра до вечера... Говорят, — добавила Нарышкина совсем тихо, — она от него без ума!

Екатерина вдруг расхохоталась, причем смеялась она так заразительно и громко, как это могут себе позволить только государи в своих столицах, да еще, пожалуй, пастухи в глухих горах.

— Ну, — сказала Екатерина, — рассмешила ты меня, право, рассмешила...

— Но, ваше величество, — стояла на своем Нарышкина, — говорят, и сам воспитанник небезразличен...

— К чему безразличен? — строго спросила государыня.

— Ну не знаю, во всяком случае, так говорят...

— Для того чтобы быть безразличным, — внушительно сказала государыня, — сначала нужен предмет, к которому можно будет свое безразличие афишировать.

Допив свой чай и пригрозив хозяйке отдать ее в руки Шешковскому за роспуск сплетен о ее дворе, государыня попрощалась и ушла. И хотя вышла она в прекрасном расположении духа и идти было недалеко, к себе она вернулась усталой, задумчивой. Сашу Мамонова, еще недавно никому не известного майора, раскопал в армии сам Потемкин. Он выбрал его главным образом за привлекательность и добрый, покладистый характер. Государыня полюбила его всем сердцем, чуть ли не на второй после сближения день сделала генералом, хотя что-то он быстро начал к ней остывать. Какие-то подозрения и у нее самой были, временами ей казалось, что она с кем-то делит его добрую натуру, но нет, нет и тысячу раз нет. Если во всем копаться, если всему верить, настанет день, когда и жить не захочешь. В конце концов, мужчина есть мужчина. Сама природа предоставила ему большую, чем женщине, свободу действия.

На следующее утро, вызвав князя Барятинского, государыня распорядилась по случаю переезда в летнюю резиденцию отпустить на трое суток всю мужскую часть двора, выдав им внеочередное жалованье в виде наградных. Трудно описать восторг, вызванный этим распоряжением. Хорошо ли, плохо ли, но почти вся знать тогдашнего Петербурга была одолеваема страстью к кабакам.

Как правило, по субботам, как только освобождались от дел, все, начиная с самых маленьких канцелярских крыс и до самых влиятельных вельмож, пускались в загул. Даже такие столпы общества, как Безбородько или тот же Потемкин, по субботам, переодевшись в простое платье обывателя, покидали свои дворцы и со ста рублями в кармане отправлялись до понедельника в самые низкие притоны. Там они пили, играли в карты, развратничали, дрались, а в понедельник, чуть свет вернувшись домой и приняв ванну, надевали золоченые мундиры и шли исполнять свои важные должности.

Случалось, что и приближенные к государыне люди, ее камердинеры, помощники, секретари, не лишены были этой слабости. О Храповицком, секретаре Екатерины, рассказывали, что однажды в каком-то кабаке он подрался за картами с шулером, причем оказался пострадавшей стороной и покинул кабак с огромным синяком под правым глазом. Волей-неволей пришлось в понедельник идти на службу в таком неприличном виде. Каково же было его удивление, когда в числе первых к нему явился на прием один из губернаторов Поволжья, в котором Храповицкий признал своего вчерашнего обидчика. Ночные гуляки посмеялись над своими приключениями, и, к чести Храповицкого, он решил удовлетворительно дело губернатора, не придав никакого значения понесенному урону.

На второй же день после предоставленного государыней внеочередного отпуска Царское Село опустело. Из мужчин остались одни дежурные по штабу офицеры, камердинеры, срочные курьеры и солдаты караульной роты. Заволновались придворные красавицы — глазки мечутся, слова летят невпопад. Это ужасно сместило государыню, но после обеда прибежала та же Нарышкина, чтобы сообщить, что не все мужчины воспользовались полученным отпуском. Воспитанник государыни предпочел никуда не уезжать — он и теперь гуляет в отдаленной аллее в обществе той же бабочки с глазами горной козули...

— Так, — сказала государыня и, изменившись в лице, молча ушла в свой покой.

Через несколько дней присматривавший за состоянием ее здоровья врач Роджерс обратил внимание государыни на то обстоятельство, что период коликов, от которых она страдала, может повториться, и, чтобы избежать его, прописал ежедневные мочкины.

Однажды перед обедом во время продолжительной прогулки по парку со своей приятельницей Нарышкиной государыня опять наткнулась на того красавца ротмистра. На этот раз он уже не растерялся и никуда не спешил. Кем-то вымуштрованный, он делал невероятные усилия, чтобы казаться хладнокровным, но в конце концов растерялся и, отдав честь, тут же опустился на одно колено.

— Простите мне мою неловкость, ваше величество...

— Ничего, пустое...

Едва они отошли, как Нарышкина принялась петь:

— Ах, ваше величество, как он вас любит, знали бы вы, как он вас любит! Он буквально боготворит вас!

— Да скажите мне наконец, кто этот ретмирстр?

— Платон Зубов, ваше величество. Командир караульной роты дворца. Не правда ли, писанный ангел!

— Не знаю... Странный он какой-то, этот ретмирстр...

— Что же в нем странного, ваше величество?

— Эта девицья стройность, эти реснички... В самом деле, не мужчина, а херувим какой-то...

— О, не спешите, ваше величество. Иногда из этих херувимчиков такие дьяволы вылушливаются, такие дьяволы, что не приведи господи...

— Ах ты старая греховодница, — пожурила ее государыня. — Вот возьмусь я за вашу сестру и выведу на сцену перед всей публикой в новой комедии...

— О нет, ваше величество! Все, что угодно, только не это!

Согласившись отложить публичное высмеивание сплетниц, государыня вернулась в свой рабочий кабинет и распорядилась вызвать к себе генерала Дмитриева-Мамонова и фрейлину Щербатову. Двор замер. Надвигалась гроза.

Они вошли перепуганные, пали перед ней на колени и молвили в один голос:

— Понцадите, ваше величество.

Екатерина встретила их стоя. Дав им постоять на коленях, она прошла в дальний угол кабинета, взяла с круглого мраморного столика табакерку с портретом Петра Великого. Понюхала табачку, мельком взглянув на ставший для нее родным облик Петра. Чихнула. Прошла медленно, задумчиво из конца в конец кабинета, и вместе с ней нескончаемая вереница русских цариц задумчиво прошептывала в огромных венецианских эзеркалах, украшавших стены кабинета.

— Милая княжна, — спокойно, доброжелательно начала государыня, — около года тому назад ваш батюшка, известный историк и литератор, обратился к нам с нижайшей просьбой определить его единственную дочь при нашем дворе с тем, чтобы она на наших глазах получила должное завершение своего воспитания. Скажите, мой друг, было ли в той просьбе только естественное в таких случаях радение родителей о своих чадах, или это в какой-то мере совпадало и с вашими собственными желаниями?

Бедная княжна — сам факт обращения к ней государыни привел ее в такой трепет, что, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Стоя на коленях, она беспомощно озиралась, потому что от волнения никак не могла вникнуть в смысл заданного ей государыней вопроса. Александру Дмитриеву-Мамонову потребовалось немало времени, чтобы успокоить свою подругу и помочь ей понять, о чем ее спрашивали.

— О нет, ваше величество! — ответила наконец княжна. — Прежде родительского было мое собственное желание, и у меня до сих пор нету слов, чтобы выразить то счастье, которое меня охватило, когда я в первый раз...

— Если счастье было в самом деле столь велико, как вы о том толкуете, то чем объяснить, что, не прослужив и года при дворе, вы уже стоите передо мной на коленях?

— А это потому, что мы любим друг друга, ваше величество.

Екатерина подумала, что и в самом деле ее черные, чуть раскосые глаза чем-то напоминают глаза дикой козули. Еще раз прошлась из конца в конец зала. Заприметив вереницу шествовавших вместе с ней по зеркалам императриц, вспомнила, что французский посол уговаривал ее на днях переменить прическу. Высокий кок, утверждал он, утяжеляет лицо, подчеркивая мужские черты ее характера, в то время как опущенные волосы прибавили бы женственности. Слов нет, Сегюр прав, но он при этом упускает из виду, что, переменяв прическу, она потеряла бы в росте. Из двух альтернатив — красота или рост — женщина бы выбрала красоту. Государыня обязана выбирать рост.

— Граф, — спросила она вдруг, не дойдя до угла и резко обернувшись через плечо, — за три года пребывания при моем дворе вам был обеспечен голос при разборе всех важных государственных вопросов. Вы выказали при этом незаурядные способности, за что получили, кажется, почти все награды и знаки отличия, какие были в нашем распоряжении, но скажите, граф... Может быть, вы чем-то обижены, но не решаетесь, по причине мягкости своего характера...

— О ваше величество, как вы могли об этом подумать! Ваша доброта и ваша щедрость по сравнению с моими скромными заслугами воистину не знали границ. Более того, говоря по совести, я чувствовал себя недостой-

ным тех чрезвычайных милостей, которыми был вами осыпан, и стал было подумывать, не попроситься ли в действующую армию, дабы там, на поле брани, хотя бы отчасти искупить те звания и награды...

— Если вы собирались на юг, чтобы участвовать в деле и тем доказать свою преданность мне, то почему вы стоите предо мной на коленях рядом с этой зеленой дурой?

— Потому что мы любим друг друга, ваше величество.

Это он нарочно подхватил ее слова, подумала государыня. Хочет прикрыть своим громким голосом первозданную глупость этого лепета. Должно быть, страх, что я могу сгноить в Сибири, ожесточил их и они стали проявлять стойкость, на которую еще вчера вряд ли были способны. Надо бы сначала их успокоить, иначе мне этого дела не решить.

— Милая княжна, — сказала государыня как можно ласковее, — считаете ли вы, что благодарность есть великое чувство, возвышающее человека над всеми прочими тварями, или вы думаете, что это пустое сочетание звуков?

— О ваше величество, это великое, святое, вечное слово...

— В таком случае, почему же...

— Потому что мы любим друг друга, ваше величество.

Гуляя по кабинету, Екатерина подумала, что капли, которые ей вчера прописал Роджерс, вряд ли полезны. Даже, может статься, противопоказаны. От них пошла какая-то странная ломота во всем теле и отяжелели ноги — такое ощущение, что вот-вот начнутся колики. Дай бог дотянуть до конца эту дурацкую историю — и сразу в постель.

— Александр Матвеевич, — сказала она с чувством бесконечной грусти, — известно ли вам, что государи — самые одинокие люди на свете?

— О ваше величество, кому, как не мне...

— Так, — сказала Екатерина более энергично, более густо, чем говорила до сих пор, и после этого восклицания ее голос с каждым шагом наливался крутой царской властью. — А известно ли тебе, Саша, как трудно мне в этом году, когда я вынуждена вести две войны сразу, при постоянной угрозе внутренних смут, при полном запустении хозяйства, при том положении дел, когда чуть

ли не я сама должна набирать рекрутов, отливать пушки и собирать фураж для армии?

— Мне известно все, ваше величество.

— А коль тебе известно все, то почему, позволь спросить, в этот трудный час ты валяешься у меня в ногах вместо того, чтобы стоять рядом со мной и помогать мне?!

— Потому что мы любим друг друга, ваше величество.

Длинный ряд венецианских зеркал на миг потускнел, и государыне показалось, что ей делается дурно. Слава богу, миновало. Больше всего в жизни она ненавидела смелость простых истин и напористость честных людей. Она была уверена, что все люди думают одно, а говорят другое. Ей это даже представлялось талантом, отпущенным всевышним, она восхищалась теми, кто этот дар довел до совершенства, и, когда при ней вдруг кто-нибудь говорил твердым голосом то, что думал на самом деле, это ставило ее в тупик, потому что она вдруг оказывалась вне игры. Для Екатерины, чтобы сказать то, что она думает, нужно было бы заново на белый свет родиться.

Коленки, однако, дают о себе знать. Оглянулась, па что бы присесть. Рядом была любимая голубая софа, на которую она обычно забиралась с ногами, укрывалась теплой шалью, и, зажмурившись, сочиняла реплики для своих будущих комедий. В какой-то миг она подумала: а что, если выгнать их вон, забраться на софу, укрыться шалью... Увы, могущество питается волей. Сев на самый краешек голубой софы и прямо, как в юности, держа спину, она призадумалась. Конечно, в шестьдесят трудно держать спину, точно тебе шестнадцать, но ее соперница следила за ней во все свои раскосые глаза, и Екатерина обязана была давить на нее не только могуществом, но и статью.

— Милая княжна... Вам, должно быть, известно, что мне приходится почти все время воевать. Мы вынуждены отдавать ратному делу лучших своих сыновей, ибо, как мудро говорил Петр Великий, через ратные дела мы вышли в люди и с нами, с которыми раньше в Европе и знаться не хотели, теперь почитают за честь за один стол садиться.

— Известно, ваше величество.

— К сожалению, войны имеют и свою дурную сторону — они почти всегда ведут к падению нравов. И не только в пределах государства или самой армии. Даже

в столицах среди знати, даже при моем дворе можно наблюдать это чрезвычайное падение нравов.

— Мне и это известно, ваше величество.

— Вы также, должно быть, знаете, что я, будучи занята важными государственными делами, мало обращаю внимания на эти флирты. Что ж, люди молодые, это так естественно. Влюбляются, строят интриги, ссорятся, мирятся. Не беда, если какой-нибудь пылкий драгун и переночует у какой-нибудь не в меру горячей фрейлины, лишь бы об этом не слишком много сплетен пошло. Что ж, и согрешат, и покаются потом — стоит ли мне в это вникать?

— Мне известно о таком вашем отношении, ваше величество.

— А если и это вам известно, то почему, позвольте спросить...

— Потому что мы любим друг друга.

Екатерина поднялась с голубой софы, подошла к рабочему столику, и ее рука потянулась было за белым колокольчиком, которого все до смерти боялись. Белый колокольчик означал вызов Шешковского, домашнего палача государыни, под кнутом которого не раз содрогалось и корчилося от боли достоинство России. У Екатерины была минута слабости, ей захотелось, чтобы тут же, на ее глазах, их били бы кнутом до полного бесчувствия, но потом рассудок взял верх. Это было слишком малой мезью за то оскорбление, которое они ей наносили.

— Саша, — сказала она тихо, — скажи, есть хоть какая-нибудь возможность вернуть все в прежнее состояние дел?

— Невозможно, ваше величество.

— Да почему невозможно-то?

— Потому что мы любим друг друга.

— Что ж, — сказала государыня, — на этом давайте и кончим. Идите оба и оставайтесь на своих должностях вплоть до получения высочайшего решения по вашему вопросу...

В воскресенье после литургии государыня дала большой обед, на котором объявила о предстоящей свадьбе генерала Дмитриева-Мамонова с княжной Щербатовой. Еще через неделю сыграли свадьбу. Подарки государыни были вистину царские — две с половиной тысячи душ и сто тысяч рублей с непременным, однако, условием, чтобы после свадьбы, причем сразу же после свадьбы, молодые навсегда покинули столицу и уехали в Мо-

скую, где им было определено место постоянного жительства.

Почти все лето государыня прожила одна, как говорили при дворе, холостячкой, но в течение того лета она много работала, и дела империи как будто пошли на лад. С юга поступили наконец добрые вести. В сентябре Суворов, бросившись со своим корпусом на помощь австрийцам, вырвал две блистательные победы. Фокшаны и Рымник переломили ход войны в пользу России, и только рано наступившие осенние дожди спасли турок от полного поражения. Как известно, в те времена войны велись кампаниями, с весны до осени.

В течение всего того лета государыня чаще, чем обычно, иногда два раза в неделю, писала на юг Потемкину. Печать какой-то тревоги лежит на всех ее письмах. Женя своего фаворита Мамонова, она, хоть и не по своей воле, ослабила позицию Потемкина при дворе, потому что в том хрупком состоянии политической устойчивости державы очень важно было, чей человек фаворит и к какой партии он примыкает.

Светлейшего это мало беспокоило, он сообщал в письмах, что как раз занят поисками нового воспитанника для государыни. Он не знал, что воспитанник уже найден и умная Екатерина, наученная за четверть века пребывания на русском престоле ничего не брать из чужих рук, пока эти руки не станут своими, просто дожидалась своего часа.

И он настал. Однажды под вечер, представляя списки офицеров к присуждению очередных званий, фельдмаршал Салтыков вдруг замолвил слово за скромного ротмистра, командира караульной роты дворца.

— Я и сама успела заметить его старание, — сказала императрица, — но если не возражаете, поговорим об этом завтра, после заседания Совета.

На Совете, состоявшемся на следующий день, Екатерина достала давно заготовленный проект о слиянии двух южных армий в одну под командованием Потемкина. Это означало отставку для главного воина минувшей войны — Румянцева-Задунайского и утверждение в этом звании князя Потемкина. Долгие годы Салтыков и слышать не хотел об этом, но теперь государыня предлагала сделку. Отдать Потемкину всю армию на юге, чтобы самой иметь возможность получить из рук Салтыкова этого херувима. Военному министру цена показалась разумной, и план был утвержден.

В конце сентября, перед возвращением в Зимний, как никогда довольная собой Екатерина предприняла длинную прогулку по парку в обществе той же старой приятельницы Нарышкиной. Во время этой прогулки они опять наткнулись на молодого красавца. Теперь он уже не краснел так безбожно. За лето похорошел, возмужал и, не теряясь более, молча отдал честь.

— Ваше величество, простите мне мою нескромность, — вдруг произнес он, когда женщины прошли было уже мимо.

— Да в чем же вы усмотрели эту свою нескромность?

— В непростительно долгом лицемерии той, что сияет подобно, подобно...

«Ба, да он у нас еще и поэт!»

Тем временем красавец снова плюхнулся на одно колено, опустив свою грешную головушку, не до конца освоившую правила построения поэтических метафор. А волосы у него были и вправду хороши — с таким ровным блеском, прямо так и хочется потрогать их рукой... Екатерина с трудом заставила себя перебороть это искушение, она уже отходила прочь, но Нарышкина, попридержав ее за локоть, прошептала:

— Пощадите его, ваше величество... Видите, в каком он состоянии. Еще, чего доброго, скончается на наших глазах...

— Да отчего он может так вдруг, на наших глазах скончаться?

— От любви, ваше величество! Неужели вы не видите, как он измучен томлениями так и не находящего выхода великого чувства своего?!

— Да что ты говоришь?!

Сделав несколько шагов по направлению ко все еще стоявшему на колене Зубову, Екатерина правой рукой, обтянутой белой перчаткой, взяла его за подбородок, как обычно берут малых детей, и, запрокинув его лицо перед своими уже выцветшими голубыми глазами, долго в него всматривалась. Лицо было красивое, точеное, нервное, чуть-чуть женственное, но черные, с цыганским блеском глаза смотрели смело, по-мужски и, кажется, уже были посвящены во многие земные прегрешения.

— Дозвольте, ваше величество, в знак вашего прщения хотя бы прикоснуться...

Зубов впился губами в кончики ее пальцев, и, почувствовав сквозь ткань перчатки его горячее дыхание, Ека-

терина поняла, что это судьба, а от судьбы, как известно, не уйдешь.

— О, да вы в какой-то горячке, ротмистр... По-моему, вы больны. Я непременно сегодня же пришло к вам своего доктора...

— Да я совершенно, ваше величество, то есть совершенно...

— И слушать не хочу! Это вам только кажется по молодости лет, а Роджерсу виднее...

Они разошлись. Зубов летел в свое караульное помещение как на крыльях. От Нарышкиной, также хлопотавшей за него, он знал, что посещение врача государыни было началом приближения к ее величеству. После Роджерса кандидат в фавориты переходил в распоряжение статс-дам — они обучали его манерам, придворному этикету. Завершала подготовительный период некая Перекусихина, известное при дворе лицо под кличкой Пробедама.

Продвижение Платона Зубова в фавориты проходило крайне успешно. На всех этапах он выказывал незаурядные способности, и почти сразу же после возвращения двора в столицу произошло сближение. Увлечение государыни было столь велико, что ее глаза постоянно сияли, хорошее настроение искало выхода, отчего она что ни день приглашала гостей и устраивала вечеринки. После шумных представлений и роскошных ужинов садились играть в карты, но уставшая за день государыня часам к одиннадцати — никак не позже — прощалась со своими гостями. К великому удовольствию присутствующих, молодой двадцатилетний Зубов, поднявшись следом за государыней, храбро следовал за ней в ее внутренние покои.

А что же та влюбленная пара, улетевшая на крыльях любви во вторую столицу? Была ли она счастлива, прожила ли она долгую, счастливую жизнь? Увы, нет, потому что месть государыни была воистину ужасающей. Одурманенные взаимным влечением, они казались себе первозданно чистыми, но государыня прекрасно знала, что, пожив при дворе, они уже достаточно вкусили там райских яблок, а если сами не вкушали, то слышали их хруст на каждом шагу...

В Москве юная Щербатова заскучала — оказалось, Саша совершенно не способен заменить собой блеск и пышность двора. И никаких тебе балов, театральных

представлений, сплетен. Молодая супруга начала запи- раться в своей комнате, плакала целыми днями. Раздоса- дованный ее поведением супруг тоже стал подумывать — а не сваял ли он дурака с этой свадьбой? Ведь было же время, причем совсем недавно, когда он мог оказывать решающее влияние на ход государственных дел! Его расположения домогались послы иностранных держав, его заваливали подарками, его остроты обходили Петербург. Кланялись в пояс губернаторы, поэты сочиняли оды ко дню рождения, и на что же он все это променял? На длинный домашний халат, на мятые туфли и на бесконеч- ные пререкания с этой и в самом деле зеленой дурой!

Всего через несколько месяцев после свадьбы пошли слухи, что молодые живут плохо, ругаются и даже де- рутся. Потом стали поговаривать, что бывший фаворит написал государыне письмо, слезно прося вернуть его к прежним милостям. Екатерина не ответила, и он, вы- ждав какое-то время, снова написал, позаботившись че- рез своих людей, которые все еще оставались при дворе, чтобы это письмо дошло до адресата в самый для него приемлемый день, когда ее величество будет пребывать в наиболее приятном расположении духа...

Увы, все было напрасно. Государыня бросала его письма в камин, не читая. У нее было много хлопот по управлению страной, она была увлечена сочинением но- вых комедий. Все свободное время она посвящала Пла- тону Зубову, который оказался умным, задушевным, му- жественным и, конечно же, конечно же, конечно же...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

# Вифлеемская звезда

*Страна моей печали, страна  
моей любви...*

*Не заграждай рта у вола мо-  
лотящего.*

*Эминеску*

*Второзаконие*

Лес ты мой зеленый, отыскать бы путь-дорожку и тропинку для себя... Едва ли не половина молдавской на- родной поэзии посвящена кодрам, густым дубовым лесам, укрывавшим в лихую годину этот народ и не раз спаса- нным его от полного уничтожения. Признательность про- стого сердца не ведает границ — ах, лист зеленый, лес густой, как живешь ты, милый мой!

Кодры — что им делается? Живут могуче, прочно, вечно, но увь... Наступает день, и час, и мгновение, и пожелтевший зубчатый лист, мягко отделяясь от матери-ветки, долго кружит в голубом прозрачно-осеннем воздухе. Устав в этом парении, он покорно стелется, хороня сам себя. И лежит он, сердечный, плашмя, лежит беспомощный, бездыханный, и пройдет по нему кто угодно, когда угодно, куда угодно...

Опавшая листва вместе с прохладой осенних ночей приводит в движение гигантский мир беженцев. Теперь стоянки раскрыты, и видно за много верст, кто где коротал лето. Весь этот покатый склон, например, занимали Петрешты. В низине, над ручьем, жили Штефанешты, а на той стороне обосновались Варзарешты. О эти бедные, эти многострадальные наши села... У нас еще не было и, кажется, уже никогда не будет полной хроники хотя бы одного села, чтобы проследить, через какие муки пришлось пройти этим карпатским горцам, ассимилированным римлянам, объединенным деревянным крестом над своей церквушкой и многочисленными горестями и бедами, захороненными в названии самой деревушки.

И снова кликнула судьба, и снова запрягаем... Провозившись со своими скудными пожитками всю ночь, чуть соснув только под самое утро, деревни прощаются с кодрами ранней-ранней зорькой. Длинные колонны безропотной бедноты растекаются ручейками по склонам, по пустырям и, прощаясь на ходу село с селом, человек с человеком, уходят — кто на восток, кто на запад, кто на телеге, кто пешком. Небо затянуто тучами, солища совсем не видать, и, прикидывая время больше по наитию, люди спешат. За годы бесконечных смут поля заросли сорняками, стали чужими и колючими. Ни дорог, ни колодцев, ни памятки никакой — только одинокие могучие орешины высятся над заросшими пыреем полями, напоминающая народу о его прошлом, да покосившиеся распятия над высохшими родниками, напоминая народу о его вере.

Пронзительно скрипят давно не смазанные, никуда и ни за чем не ездившие колеса. На телеге, груженной всяким скарбом, покачиваются вместе с многочисленными узлами четверо ребятишек. Поначалу, пока выезжали из леса, они сладко спали вповалку, но затем простор открытых полей прорвался сквозь их детский сон, разбудил, и они, не в силах по-настоящему проснуться, без конца оглядываются и, бледные, переболевшие за лето всем на

свете, мигают и не могут взять в толк, то ли они в самом деле возвращаются, то ли им это долгожданное возвращение домой только снится.

Рядом с лошадкой плетется с кнутом под мышкой задумчивый глава семейства, господарь, как он сам себя называет. Идет этот господарь медленно, удрученно, потому что вспашка, сев и уборка — это единственное, что он в жизни умеет, единственное, ради чего живет. А между тем уже три года он не пашет, не сеет и не собирает урожай. Семья живет впроголодь, запущенная земля одичала под ногами, а войне ни конца ни края. И оттого, что его воля как человека ни на что более не влияет, ни на чем более не сказывается, он начинает тупеть на глазах. Бесконечно несчастный, неумелый и невезучий, опротивевший сам себе, плетется господарь рядом со своей лошадкой, вместе составляя библейски печальное целое.

К задку телеги привязана коза — единственное, что у них, помимо лошадки, осталось. За козой идет, подгоняя ее хворостинкой, господина. Она шепчет про себя какую-то молитву, часто оглядывается на уплывающие вдаль леса, следит, чтобы из телеги что не выпало, и кажется, вот-вот заплачет. Для деревенских женщин отъезды и приезды — сущая мука. Господь их знает — то ли все дело в том, что женщины обычно прикипают к любому месту, где они пробыли более суток, то ли гложет эту бедную господину, что на телеге всего четверо ребятишек, а весной, когда убегали в лес, было шестеро... Две могилки так и остались там, в укромном месте, под старым дубом, и, покидая лес, она, должно быть, клянется, что каждый год в день поминовения навестит своих кровинок.

Но, может статься, расстроил ее истощный собачий вой, доносившийся с лесной опушки. В той нескончаемой собачьей печали, конечно же, слышится и голос того самого Гривея, который весной семенял за их телегой. За лето собаки в лесу одичали, зажили стаями, перестали отзываться на свои клички, перестали своих узнавать. Теперь вот воют. Должно быть, спохватились, что их бросают. Вспомнили, что уходящие вдаль люди как-никак не чужие. Было время, эти люди делили с ними последние крохи. Теперь вот уходят, а они остаются. Хоть и одичали, трагедии этого подлунного мира доходят и до них, и, сев на опушку леса, задрав мордочки к небу, собаки воют пронзительно, истощно, неземно, словно судьба, словно рок какой-нибудь.

Осенний день короток, а путь долог. Колонны идут днем, идут ночью, потом начинают дробиться на ходу, и, измотанный бездорожьем, каждый ищет свой путь, полагаясь главным образом на свою клячу и на бога. Еще верста, еще перелесок, еще ночь, и вот родные холмы начинают ранним утром выплывать из тумана. Еще один спуск, еще один, последний подъем, и вдруг из-за пригорка вместо крыши родного дома медленно выплывает обугленный дымоход. Сердце останавливается, замирает дух. Не скрипят более колеса. Тяжело, с натугой дышит лошадь, замерла чем-то удивленная коза, и дети на телеге напряженно вытянули тонкие шейки.

— О арс? Сгорел? — с дрожью в голосе спрашивает господина, ибо, будучи женщиной, она не решается поднять глаза, чтобы не умереть тут же, на обочине дороги...

— О арс... — с досадой роняет государь и, похлопав по загривку свою лошадку, продолжает путь.

О эти наши бесхитростные, глинобитные, побеленные известью домики! Через какие только испытания, через какие только муки они не прошли! Слепленные крестьянами по своему образу и подобию: на побеленном фасаде — двери вместо носа, два окошка вместо глаз, соломенная крыша вместо шапки, — этим двойникам труженников земли тоже доставалось в те годы. Когда подкатывала смута, хозяева подавались в кодры, а их домики-слепки оставались. Мертвые, пустующие деревни раздражали и отступающих, раздражали и наступающих. Защитить свои деревни было некому, да и практически невозможно, поскольку фронтов тогда не было. Главные воюющие силы концентрировались в крепостях, а между этими крепостями круглое лето шныряли отряды янычар, и круглое лето языки пожаров пылали над молдавскими холмами.

Представим теперь, как выглядел он тогда, тот отчий дом, поздней осенью, когда наши предки возвращались из своих дальних скитаний. Сгорела соломенная крыша, тушить было некому, и сгорели окна, двери, сгорело все, что было в доме. А тушить по-прежнему было некому, и сгорел хлев, припасенные на зиму дрова, кизяк, обрезки виноградной лозы с прошлых лет. А тушить по-прежнему было некому, и сгорел плетеный забор, калитка, сгорели две вишенки и черешня. Потом, когда уже и гореть было нечему, над теплым еще пеплом прошли сильные летние дожди. Под напором обильной влаги размок и провалился потолок, так что теперь, в полдень,

когда солнце стоит в зените, оно светит через сгоревшую крышу, через провалившийся потолок прямо в дом.

После дождя наступили теплые, благодные дни прорастания. Распаренная земля задымилась, и ожили чудом уцелевшие после пожара семена. Теперь поди ты угадай, что где уцелеет, что где прорастет. Подорожник, одуванчики — им ни о чем ни война, ни турки, ни пожары. Бузиной и лопухом заросли дорожки вокруг дома, чертополохом заершились завалинки, а одинокий куст овечьей полыни, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть через оконный проем в дом. А чего туда заглядывать, когда и так все открыто, и у порога стоит в качестве хозяина дома красивый, стройный, поздно взопевший и потому поздно расцветший подсолнух.

Вот так вот. В сенцах каким-то чудом уцелело семечко, после дождя взросло, и теперь подсолнух радушно улыбается вернувшемуся господарю, господине, всем чадам их улыбается, потому что хоть и скуп, но все-таки светит солнце. А приехавшие из дальних далее хозяева стоят перед расцветшим подсолнухом окаменевшие, и, кажется, пройдут тысячи лет, прежде чем они смогут сделать шаг или проронить хотя бы слово.

О эти наши предки, эти наши герои, эти наши мученики... Мы так и не узнаем, как успевали они за считанные дни, когда зима была уже на носу, и потолок заново застелить, и дом перекрыть, и обмазать его, и побелить. Не узнаем мы, откуда вдруг появились двери, чем было заменено окно, из каких тайников были добыты эти запасы кукурузных зерен, но вот загудели жернова, задымилась крыша над деревней. Споровистые хозяйки в вечерних сумерках сварили мамалыжку, собрали вокруг нее, как вокруг солнца, всю семью, и этим паром земного бытия, и добрым словом, и улыбкой возвращали своим близким веру в благодность мира и надежду на лучшие времена.

Казалось невероятным, немислимым казалось, чтобы эта дотла сгоревшая деревня когда-нибудь ожила, но вот не прошло еще и недели, а по утрам поет кем-то сохраненный петух, брешет где-то щенок, оставшись верным своим хозяевам, и выбежавшие поутру к колодцу хозяйки на миг замерли, наострив уши, потому что в воздухе повисло что-то, похожее на деревенскую сплетню.

К полудню начинают собираться в укромяные, прогре-

тые солнцем затишки сельские ребята. Поиграв немного, они становятся кружочком, долго о чем-то шепчутся меж собой, составляют какие-то планы. Тайны, тайны и снова тайны, затем, как только в воздухе закружатся первые снежинки и наступит заветный день, они заполняют своими ватагами всю деревню.

Войдя в чей-нибудь двор и спросив у хозяина позволения, они становятся кружочками под окна и тонкими голосками начинают рассказывать о трех великих магах, из дальних далей пришедших поклониться младенцу, родившемуся в яслях.

Потому что их водила  
Вифлеемская звезда...

Отец Паисий, сам колядовавший в детстве, на старости лет писал: а задумался ли ты, любезный читатель, почему это праздник рождества Христова приходится на начало зимы и мы его празднуем при первых зимних холодах? Думал ли ты, почему это всевышний, сотворивший такую бесподобно красивую землю, с таким множеством красок, запахов и благодатью, выбрал для прихода к нам своего единственного возлюбленного сына именно то время года, когда земля лежит мертвой, и все сущее придавлено холодом, и человеческий дух мечется в поисках сути своей? Думал ли ты, человеке, почему народный здравый смысл выбрал именно ребятишек, чтобы они колядками своими возвестили миру о наступлении этого великого праздника?

В сущности, пение детей — это и в самом деле величайшее чудо мира. Вот их дружная колядка идет, поднимается по сильно заснеженному западному холму, но тут же, сорвавшись, скатывается обратно. Такой подъем ей не под силу, но сдаваться будущим мужчинам тоже не к лицу. Переведя дух, они несутся дальше и опять становятся под чьими-нибудь окнами. Окрепшая их колядка воинственно возносится на вершину уже другого, восточного холма, откуда, говорят, весь мир увидеть можно.

Холмы, о которых идет речь, и в самом деле были трудны для подъема. В сущности, это была пара слонов-гигантов, лежавших рядом с незапамятных времен. В этом своем долгом лежании они, преисполненные нежности, вдруг прильнули мордами друг к дружке и своим неосторожным движением чуть не полностью закрыли уютно

расположенную меж ними долинку. Все-таки небольшие воротца после их любезничанья оставались — ровно столько, сколько пужно для маленькой речки, чтобы выйти на простор, и сколько нужно для разумной дороти, по которой могли бы две телеги свободно разъехаться, сохраняя при этом взаимное уважение и чувство собственного достоинства.

Эту незыблемую для любой нации первооснову — взаимное уважение и чувство достоинства — нужно упомянуть, потому что в той чаще стояла, растянувшись вдоль речки, деревушка с нежным названием Салкуца. Должно быть, когда-то в этой долине росли плакучие ивы. Потом они ушли, как уходит все в этом мире. Их место заняли дома, но сами ивы тоже не исчезли насовсем, подарив свое имя деревне. Укрытая влюбленными словами, Салкуца жила себе припеваючи. Холмы были на редкость плодородны, а кроме того, они благотворно влияли и на сам дух селян, всемерно расширяя их горизонты, ибо с восточного холма видно было до Днестра, а с западного в ясный погожий день из-за других холмов выглядывали припрутские поймы.

Высота и месторасположение этих холмов не прошли, разумеется, мимо внимания воюющих сторон, и не было ничего удивительного в том, что при заключении соглашения о зимнем перемирии было решено над Салкуцей поставить два дозора: на восточном холме — русский, на западном — турецкий.

Поначалу все шло тихо и гладко. В положенные часы дозоры менялись, деревушка в низине жила своей жизнью. Казалось, росшие тут на берегу плакучие ивы передали деревне, помимо имени, еще и некоторые черты своего характера, ибо трудно было сыскать на всем белом свете другую такую тихую деревню. Под утро чуть подымят крыши, поскрипят колодцы, полагает чей-то щенок, и уже тихо. Под вечер опять же чуть подымят крыши, полагает щенок, и снова тихо, теперь уже до самого утра. В праздничные дни зазвенит колокол в церквушке, расположенной по ту сторону речки, за мостом, на небольшом выступе. В ответ на его зов дружно по мосту пройдут прихожане. Поднимутся по тропкам к своему храму, помолются, тут же побегут обратно, и опять тихо.

Но вот наступило рождество, а праздник рождества, как известно, тихо пройти не может. Крыши дымятся без конца, колодцы скрипят, собачка лает. В церкви

двери открыты с утра до вечера, и по деревне сплывают ватаги ребятишек, которые, став под чужими окнами, начинают ведать миру о трех удивительных магах. Их колядка, как уже говорилось, карабкается вверх то по склону восточного, то западного холма, а дозоры слушают, наматывают на ус.

— Плачут, — предположил турецкий дозор, — кого-то хоронят.

— Колядуют!!! — завопили казаки на восточном холме. — Братцы, стало быть, рождество и, стало быть, с рождеством Христовым вас, братцы!

Проторчать полсуток на ветру, обозревая белую пустыню, дело скучное, зябкое и одинокое. Тем более если ты христианин и в расположенной в низине деревушке справляют рождество. Завет этого светлого дня наводит озябшего воина на мысль спуститься в долину и поздравить народ с праздничком. При этом можно будет и погреться, и покурить, и, кто знает... Говорят, из лесных ягод, если взяться за это дело умеючи, можно приготовить такую холеру, что одна только чарка, и уже все хорошо...

Турецкие янычары были крайне озадачены поведением русского дозора, который вдруг спустился с холма, разошелся по домам и неслыханно долго, возмутительно долго, преступно долго не возвращался на свой пост. Турки мерзли на ветру и обзывали весь мир свинячьим корытом, потому что, если вдуматься, какой из двух дозоров имел больше прав спуститься в деревню и погреться? Русские, хоть и православные, все-таки тут чужаки, в то время как турки находятся на своих вассальных землях, другими словами, у себя дома. И вот, поди же ты, хозяева мерзнут, а гости гуляют. Да неужели, если они решат спуститься с холма, им откажут в хлебе и в тепле?!

Желание выяснить истинное положение вещей, а заодно и погреться стало подталкивать турецкий дозор испытать свое счастье. И вот в сумерках в деревню, в которой уже гуляли казаки, спустились турки. К их величайшему удивлению, они тоже были хорошо приняты, потому что было рождество, праздновали приход в мир учителя смирения и доброты.

После этого дозорная служба пришла в полный уладок. То есть днями она кое-как еще велась, а по ночам оба холма пустовали. Бывало, в одном доме сидят русские, в другом — турки. Бывало, в одном и том же доме

сегодня греются русские, завтра — турки. Принимая и тех и других, люди угощали чем бог послал, приглашая при случае еще заглянуть, потому что праздник рождества тянется долго, до самого крещения. Бедным салкучанам и в голову не приходило, какой смертельной опасности они подвергают себя своим гостеприимством. Да и самих воинов, казалось, мало заботили последствия. Солдату что — поел, погрелся — и был таков. А между тем рок уже витал над Салкуцей...

В первую же рождественскую неделю, когда над холмами завывали метели и мороз придавил так, что дыханье схватывало, в двери крайней в селе избытки постучали. В доме как раз грелись янычары. Хозяин, добрая христианская душа, открыл. Вошли четверо подвыпивших казаков, которые, преисполненные веселого настроения, решили обойти с поздравлениями всю деревню, дом за домом. Не успели они толком переступить порог, рта раскрыть не успели, как янычары повисли на них, перевязали, выволокли из дому, перебросили поперек своих седел и поскакали через холм в Бендерскую крепость, находившуюся в то время в их руках.

Генерал Каменский, стоявший гарнизоном в Кишиневе и отвечавший за соблюдение перемирия, пришел в ярость от этого сообщения. Человек он был суровый, деспотически относившийся к собственным сыновьям, не говоря уже о подчиненных. Вызвав к себе полковника Головатого, казаки которого вели дежурство над Салкуцей, он долго распекал его за это упущение, после чего приказав устроить засаду и увести в плен ровно столько турок, сколько было взято казаков.

— Слухаю, вельможный пане.

Головатый взялся сам возглавить эту операцию, и, когда он выехал со своей сотней из Кишинева, метели кружили вовсю. Валивший сверху снег подхватывали шнырявшие над самой землей ветряные ведьмы. Они долго гоняли его по низинам, по оврагам, после чего, устав, принимались складывать в сугробы. Но, как и у всех старых людей, настроение у ведьм быстро портилось, и, не успев толком наместить сугробы, они тут же раскидывали их по всему полю и снова принимались гонять снег с места на место. В этой снежной карусели потонуло решительно все, и трудно было разобрать, где земля, где небо, когда утро, когда вечер.

— За мной, бисовы диты!!

Захватив пленных, турки почему-то не спешили возобновлять дозорную службу. Прождав двое суток, Головатый решил оставить Салкуцу и подойти поближе к крепости. Покидая село под покровом ночи, его сотня растянулась длинной цепочкой по склону, но долго еще кружила внутри чаши, все не покидая ее. Неожиданно утихла метель. На темно-синем небе выплыла огромная луна, залив сказочным светом все это вдруг утихшее на полуслове гигантское белое море. Какое-то чутье подсказывало Головатому не торопиться. Он все кружил и кружил со своей сотней внутри чаши, пока одна из разведок не донесла, что со стороны Бендер движется конный отряд. Похоже, идет дозор под прикрытием конвоя.

— Хлопцы, слухай сюда!

У Головатого давно был разработан план — все зависело от того, сколько их появится и с какой стороны. То, что их было не больше двух десятков, его устраивало; то, что они двигались со стороны Бендер, тоже входило в его расчеты. Мигом разбив сотню на три отряда, выскочив через горловину, обогнули западный холм и устроили засаду, с тем чтобы ударить турок с тыла и с флангов, одновременно отрезав им путь к отступлению. Важно было только одно — проскочить незамеченными по этому лунному свету под самым носом у турок.

Турки шли беспечные и самодовольные на остатках крепостной сытости и тепла. Могуче похрапывали в морозной ночи чистокровные арабские скакуны, грозно качались на поясах кривые сабли-ятаганы, да и сами турки, должно быть, чувствовали себя молодцами из молодцов. Заняв пост, они обнаружили, что Салкуца полностью занесена снегом, и увидели в этом справедливую кару небес.

Чтобы отвлечь внимание от засады, русский дозор на противоположном холме развел костер. Солдаты шумно грелись у огня, и турки пустились злословить по этому поводу — что, дескать, вояки, приходится самим себя согрывать? Не с руки стало больше скатываться по склону холма с рождественскими поздравлениями? Ни тебе винца, ни грецких орешков. О, давно бы так! Другой раз будете башкой шевслить, прежде чем на задницах сползать в долину, поросячьи хвосты в сметане, и, пока турки зубоскалили, вдруг увидели, как с тыла и с флангов несутся на них во весь опор казаки Головатого.

— О аллах! О аллах! О аллах!

То ли сдуру, то ли с перепугу турки, вместо того чтобы пытаться прорваться к своей крепости, стали, наоборот, спускаться по склону холма к занесенной снегом деревне. Этого только и нужно было Головатому, чтобы по ходу коней опрокинуть их в котловину и там поднять под себя. Однако янычары на середине спуска как будто сообразили, что делают не то. Остановившись у каких-то хилых кустиков, едва высывавшихся из белого моря снега, они выстроились замкнутым кольцом и как будто собирались дать бой.

— Руби их, неверных! — вопил Головатый на полном скаку.

Янычары молча ждали. Вихрастыми клубами пара отдувались лошади, сталь обнаженных мечей слепила бликами при ярком лунном свете. Казаки неслись единым духом — еще пятнадцать, десять, пять секунд, и вспыхнет бой. Но вдруг в последнюю секунду, о великий боже, сотня Головатого исчезла, точно земля ее проглотила. Гигантское облако вскипевшей белизны, и со дна этой лавины одни шапки казаков да морды фыркающих лошадей выглядывают.

Увы, этот бой они проиграли. Занесенный снегом склон холма скрывал в себе глубокие скаты и провалы. Сообразительные турки сумели использовать эту ситуацию. Ориентируясь по одиноким чахлым кустикам, они остановились там, где у лошадей была еще твердая почва под копытами, в расчете на то, что казаки рано или поздно провалятся.

И они-таки провалились. Огромные вихри снежной пыли заполонили собой поле несостоявшегося сражения. Сбитые с боевого строя, люди и лошади с трудом выбирались из этого месива. Трудно было разобраться, где чей конь, где чья шапка и что, собственно, произошло? Получив столь нужную передышку, турки осторожно начали спускаться по склону холма, как бы все еще не изменив своему первоначальному намерению войти в деревню, но вдруг у окраины села свернули, проскочили через узкую горловину и понеслись в сторону Бендерской крепости.

— Догнать их, душу мать!!

Эти грозные крики Головатого мало чем могли помочь, потому что время было упущено. Пока вытащили коней, пока успокоили, пока поправляли сбрую, пока прыгнули в седла, турки уже едва чернели точками на гребне соседнего холма. Догнать по следу было немисли-



мо, решили идти наперерез, но плохо сосчитали угол встречи, и вот они опять, в который раз, уходят.

Смирившись с неудачей, сотня Головатого попридержала коней в ожидании команды повернуть обратно. Один только старый чудака по кличке Кресало, безудержный и неумный казак, в одиночку все еще преследовал неприятеля. Вот турки скрылись за соседним холмом, но он, отчаянная голова, ни секунды не колеблясь, выдвигается следом за ними. Какое-то время о нем ни слуху ни духу. Кажется, погиб, уже, кажется, самое время панихиду по нему справлять, но вдруг его кобылка взлетает на гребне холма и старик кричит тоненьким фальцетом:

— По-то-ну-у-ли-и-и!

— За мной, бисовый диты!!

На той стороне холма янычары плавали в такой же гигантской чаше, из какой недавно выбрались казаки Головатого. Окружив янычар, казаки, наученные горьким опытом, не спешили уходить с твердого пласта, на котором лошадь копытом чувствовала землю. Турки, видя свою гибель, успокоили коней, собрались в середку поглотившего их обрыва и молча ждали развязки.

Головатый скомандовал бой, но его команда повисла в воздухе, потому что лошади ни за что не хотели во второй раз влезать в это крошево. А время работало на турок, время близилось к утру. Рядом, за холмом, была крепость. Видя, что конвой не возвращается, турки наверняка отправят отряд ему на выручку. Вдруг тому же неумному Кресалу пришла мысль. Спешившись, взяв свою кобылку левой рукой за поводок, правой занес саблю и так шаг за шагом вместе со своей лошадкой пошел в наступление.

— Руби басурмана!!

Казаки мигом спешили, взяли лошадей за поводки, обнажили сабли. Янычары приняли бой. Это был тяжелый, кровавый, неслыханный по своей жестокости бой. Под огромным куполом тихого ночного неба, на девственно белом, залитом лунным светом снегу люди и лошади, сцепившись, грызали, рубили, душили друг друга, при этом все время продолжая плавать в снежном крошеве. Земля то появлялась, то опять уплывала из-под ног. Звенела сталь, вопили войны, ослепленные снежной пылью ржали кони и рвались вон.

Ярость, похожая на безумие. Раненых никто не видел, никто не слышал и, ступая по трупам, по окровавленному снегу, по дымящимся лошадиным внутренностям, руби-

ли, рубили, рубили. Где свои, где чужие, кто кем сражен и кто кого одолевает — все это выяснится потом, а теперь нужно было одно — рубить. Рубить, чтобы выжить, рубить, чтобы победить; и, плавая по пояс в снегу, солдаты снова и снова шли на неверных, размахивая окровавленной саблей и неся в левой руке поводок давно затоптанной в снегу лошади.

Турки начали отступать, но было уже поздно. Да, собственно, и отступать-то особенно уже было некому. Из двух десятков их осталось всего пятеро. Расколов эту пятерку, казаки повалили четверых в снег, перевязали, потому что приказано было их живыми взять. Оставался еще один, и вот тот, пятый, ну насмерть стоит, паскуда.

К удивлению казаков, тот, последний, был на редкость храбр. Один против целой сотни, он и не думал сдаваться. Ловкий, с повадками дикой кошки, вооруженный ятаганом и кинжалом, он то наскочит, то отступит, и невозможно было угадать, каково будет его следующее движение. В какое-то мгновение казаки им залюбовались — ну до чего силен, до чего храбр, подлюга! И тогда самолюбивый полковник возымел желание взять его в одиночку.

— Не трожь! — крикнул он казакам. — О-то я его визьму. О-то мий буде турок.

Вывел своего коня на твердый пласт, разогнал, так чтобы конем молниеносно сбить его с ног, но, пока он это проделывал, детина вдруг с чего-то вырос на две головы, и казаки ошарашенно оглядывались — с чего он вдруг стал таким длинным? Оказывается, все наскакивая и отступая, турок не переставал при этом выбираться из чаши. И таки выбрался. Теперь ему доброго коня, и поминай как звали. Покинувшие поле боя лошади стояли рядом, в ожидании седоков. Турок поздней почувствовал возможность свободы. Всего один бросок, лишь бы ухватиться за гриву...

Но нет, пожалуй, не спасется. Головатый, разогнав своего жеребца, уже летит на него. Крик, вошь, удар, и на секунду турок исчез под копытами головатовского жеребца. Он, несомненно, погиб бы, если бы попытался уклониться от удара, но храбрый и ловкий турок, наоборот, нырнул коню под брюхо. Жеребец полковника, дико заржав, вдруг стал беспомощно оседать на задние копыта.

— Ах ты, антихрист... Моего верного друга...

Выпрыгнув из седла, Головатый схватил турка и по-

чему-то непременно хотел его удушить. А турок был сильный, не давался, и, пока руки Головатого добирались до его кадыка, полковник уже сам лежал в снегу, и турок замахнулся кинжалом. Три шага было до них, но эти три шага сделать дольше, чем ударить кинжалом. И когда казакам показалось, что уже ничто не спасет сотника, рядом как из-под земли вырос все тот же Кресало с поднятой саблей, а сабля, как известно, бьет точнее и быстрее, чем кинжал.

— Не убивай!!! — крикнули пленные. — Он сын хана! Лучше нас убивай!

Кресало, говорят, был туговат на ухо, а к тому же у него было правило, в силу которого в бою он не слушал никого, кроме бога и своей руки. И лежит молодой турок в снегу с расколотым черепом. Пленные в один голос оплакивают его, а Кресало, выбравшись из снега, по-хозяйски поправляет седло на своей кобылке, потому что до утра еще далеко, ехать долго.

В этот великий миг победы, в этот горький час поражения почему-то вдруг всех охватило уныние. Умолкли пленные, утихли лошади, замерли казаки. Реквием великой печали взмыл над полем брани. Оставался один только запах остывающей на морозе крови да трупы воинов и лошадей, выглядывавших тут и там из перемолотого снега. Вечная слава и вечный покой подавали друг другу руку, а над миром по-прежнему светит луна, переливаясь синевой, играют в лунном сиянье засыпанные снегом поля. Небо чуть потемнело, вот-вот луна уйдет за далекие холмы, а из низины медленно поднималась по склону холма сложенная из детских голосков тысячелетней давности песенка о трех магах, которые пришли из дальних далей поклониться младенцу.

Потому что их пленила  
Вифлеемская звезда...

В тех же рождественских заметках немецкий старец вопрошал: а задумался ли ты, любезный читатель, почему это младенец родился зимой, в дороге, при полной неприкаянности беженской жизни? Думал ли ты над тем, что этих зимних беженцев никто приютить не хотел? К тому же в те дни как раз шла перепись населения в царстве Иудейском. Вифлеемские гостиницы и дома для приезжих были переполнены. С трудом нашлась добрая душа, согласившаяся принять Иосифа и Марию, но, поскольку места в доме уже не было, поместили их на

ночь в хлеву. Мыслимое ли дело, чтобы господь, благословивший постройку стольких великолепных храмов, предназначил своему единственному сыну обрести земное обличье в хлеву?!

Генерал Каменский, выслушав сообщение о ночном бое, пожелал лично взглянуть на сына каушанского хана, привезенного Головатым с поля боя. Двадцатилетний юноша лежал на деревенских розвальнях, застеленных соломой, и юное прекрасное лицо было все еще озарено решимостью вести битву до конца.

Вернувшись в штаб-квартиру, генерал взял листок и написал несколько строк, которые стали украшением всей той четырехлетней войны. «Не как российский генерал, — писал он каушанскому хану, — а как отец, имеющий двоих сыновей на этой войне, я возвращаю вам, светлейший хан, тело вашего сына и склоняю свою седую голову пред мужеством его».

В тот же день в сопровождении полкового священника тело юноши было переправлено в Бендерскую крепость. Через день священник вернулся с ответом: «Велико горе человека, потерявшего единственного сына. Утешаюсь только тем, что мой сын погиб достойно, защищая себя и своих товарищей...»

После этого обмена письмами, хотя особого уговора не было, обе стороны во избежание дальнейших недоразумений убрали свои дозоры с холмов, стоявших над Салкуцей. Но, увы, было уже поздно. Жребий был брошен, и судьба этой деревушки была предрешена.

Оттоманская империя описана достаточно, и трудно что-либо добавить к существующему в мировой литературе ее портрету. Потеряв отряд в двадцать человек, похоронив с почестями сына каушанского хана, еще раз перечитав письмо генерала Каменского, турки наконец сообразили. Русские, сказали они себе, хорошо зимуют на своих квартирах, им и в голову не пришло бы нарушить перемирие, если бы не гнусные интриги той маленькой Салкуцы. Что значит, о великий Магомет, они и тех принимают хорошо, и этих принимают неплохо! Ну, допустим, православные, рождество и все такое, но праздник кончается, а поздравления продолжают? Уж, кажется, время бы понять, что там, где греется турок, русскому делать нечего, так же как и турку делать нечего там, где

принимают русского. А если кто строит козны и сеет семена раздора, то пусть меч возмездия падет на их голову!

Бедные салкучане, они долго после той катастрофы не могли прийти в себя, и, передавая шепотом из поколения в поколение сказание о постигшем их бедствии, они всякий раз намекали на то, что этого могло бы и не случиться, будь у них настоящий пастырь.

Что и говорить, со священниками им в самом деле не везло. Отец Никандру, прослуживший всю жизнь в этой долине, был прозван за свое пристрастие к виноградному хмелю отцом Канэ, ибо к старости опустился до того, что стал уже ходить по селу с пустой жестяной кружкой, привязанной к поясу. Бывало, другой и хотел бы угостить, да лить было не во что, один кувшин в доме, и в подобных случаях отец Никандру доставал свою привязанную к поясу кружечку-кану...

Его любили в селе, он был добрейшей души человек и обладал притом таким могучим басом, что по праздникам приходили из соседних сел нарочно, чтобы послушать его службы. Спору нет, к старости он уже совсем спился, и было бы, может, лучше, если бы его сместили, но салкучане привыкли к нему. Так все шло и шло, пока однажды заезжий епископ не попал в храм на службу, когда отец Никандру, будучи в нетрезвом виде, пытался произнести проповедь.

Тут же на глазах своей паствы он был лишен сана священника. С него даже сняли большой медный крест, символ пастырского призвания, но прихожане, присутствовавшие при этом, заступились, настаивая на том, что крест, мол, личная собственность самого священника. Заполучив обратно крест, который он всю жизнь проносил на груди, обернув в белый платочек, старик брел по деревне и плакал горькими слезами, потому что ему шел уже восьмой десяток и он был не в силах расстаться со своим храмом и со своей паствой.

Новый священник, присланный епископом, был молодой валах из монахов. Не обладая особым голосом, он был на редкость хваток и, кажется, умел все на свете. Службы он справлял на церковнославянском языке, и, хотя салкучане мало понимали в тех службах, они полюбили молодого священника за молчаливость, за хозяйственность. В течение нескольких лет они перестроили храм, подняв его крышу на три аршина, перекрыли, достали небольшой колокол, и по воскресным и праздни-

ным дням любо было слушать, как клокотала вся долина от его бойкого звона.

Одно было плохо — священник был родом из Валахии, и, как только наступали времена смуты, он прощался с паствой и уходил в свой монастырь. Салкучан, когда нагрянула эта война, охватил ужас — остаться в такое время с закрытым храмом! Посоветовавшись, они пошли всем миром на окраину села к низенькому домику, обвитому виноградной лозой, ибо только лоза росла во дворе отца Никандру, только она и задерживала его еще в этом мире.

Выйдя к своим односельчанам, отец Никандру отказался возглавить паству, ибо, будучи лишенным сана, он даже не имел права входить в алтарь, а без алтаря какая там служба! На что миряне ему отвечали: бог с ним, с алтарем! Оставим его до лучших времен. Мы вас нанямаем для того, чтобы петь. Как то есть петь? Да вот так. Вы станете на краю амвончика, мы все будем перед вами. Вы скажете: дети мои, пойте вместе со мной. И мы будем вместе с вами петь, и отблагодарим вас за эти ваши труды кто чем сможет.

Старик сдался. Повесил на шею медный крест, благо это была его личная собственность, и в сопровождении своей паствы направился через мостик в храм, в котором прошла вся его жизнь.

Был праздник крещения, когда грянуло это великое бедствие. Для отца Никандру водосвятие было одним из любимейших праздников. Посреди службы, увлекшись собственным пением, он забылся до того, что вошел в алтарь, облачил себя в золоченую ризу и в той ризе прошеествовал во главе своей паствы до самой речки. Там, у выдолбленных во льду воронок, он отслужил еще одну литургию, благословил паству, покропил ее святой водицей, налил каждому в посуду кто сколько пожелает, и только по свершении всех этих обрядов он вдруг опомнился и увидел себя в золоченой ризе... Господи, прости нас и помилуй! Отпустив паству, он вернулся в храм, аккуратно положил ризу на место и, став на колени перед алтарем, долго, со слезами на глазах молил бога о прощении сего тяжкого греха...

Салкуца то ли потому, что был ясный, морозный день и она замерзла там, на речке, то ли потому, что после крещения время так или иначе, а уже идет к весне и па-

харю пужно копить силу, но она несколько раньше обычного затопила печи, поужинала и улеглась. Когда над селом опустились сумерки, село уже спало глубоким сном, и только в церквушке за мостом все еще горела свеча и бесконечно грешный священник плакал перед алтарем и клал поклоны.

Вдруг он умолк. Какой-то гул ему померещился, какой-то необъяснимой тревогой повеяло со всех сторон. Поднявшись с пола, он подошел к окошку и замер — на той стороне, за речкой, село было в огне. А конные янычары меж тем неслись по селу с горящими факелами, поджигая все, к чему огонь не успел еще сам дойти. Отец Никандру вышел в сени, нащупал в темноте веревку, ведущую наверх, к колокольне, и принялся что было сил звонить.

Те, кому удалось пережить эту трагедию, потом вспоминали, что их достал сквозь сон не топот копыт, не дым, не треск огня, а единственно набат, доносившийся из-за речки. Ополумевшие от ужаса люди повыскакивали на улицу кто в чем был. Босые, раздетые, они неслись по морозу, по скрипучему снегу на этот звон, как несутся бабочки на свет костра. В считанные минуты в церкви набилось народу столько, чтодохнуть было невозможно, а отец Никандру все звонил, звонил, звонил.

К полуночи огонь пошел на убыль. Снег, начавший было таять вокруг горящих домов, снова покрылся коркой льда. Тут и там дымились свалившиеся на дорогу крестовины, остатки плетеной калитки, а из прозрачной дымки увыло глядели на свет божий обугленные коробки домов. Теперь уже не белые дома, а одни нелепые дымоходы шли гуськом вдоль речки, повторяя все ее изгибы. Господи, во что этим плакучим ивам суждено было превратиться!

Когда село выгорело дотла, янычары ленивой цепочкой перешли мост и направились к стоявшей на выступе церквушке.

— Дети мои, — стараясь перекричать всех, грохотал с амвона отец Никандру, — дети мои! Не дайте себе впасть в отчаяние, не забывайте всевышнего, ни на минуту не забывайте всевышнего и пойте за мной: господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, услышь нас и помилуй!

От страха, от ужаса, от отчаяния переполненная церквушка взывала единым воплем к небесам. Дребезжало стекло в окошке. Сотрясались стены от вопля, а отцы

семейств, их кровные, родимые, упрятав женщин и детей под защиту храма, остались, полураздетые, снаружи, у его стен, и, окруженные конными янычарами, синели, корчились от холода и отходили в мир праведных.

О, как им не хотелось умирать, как плакали эти мужи, как скрежетали зубами в святой ярости! Потом вдруг какая-то странная сонливость начала на них накатывать. Они с чего-то вдруг начинали добреть, зевать и, сгорбившись под стенкой, засыпали друг возле дружки вечным сном.

Сомкнув строй вокруг этих несчастных людей, одетые в теплые тулупы янычары, сидя на сытых лошадях, лениво переговаривались, споря меж собой, кто из крестьян сколько протянет — кто умрет раньше, кто позже, а кто может дотянуть и до утра. Земля взывала к небесам, христианская церквушка вопила о помощи, но не было ни милости, ни пощады, ни спасения...

На следующий день казаки Семенова, возвращаясь из ночной вылазки, обнаружили около ста трупов мужчин, окоченевших у стен храма. Женщины и дети все еще продолжали выть в церкви, а на той стороне, за речкой, чернели развалины деревни. Натаскав хворосту, казаки развели большой костер во дворе храма, разморозили кусок земли, вырыли большую братскую могилу.

— Дети мои, — сказал отец Никандру после того, как казаки уехали. — Сегодня крыша нашего храма — единственная уцелевшая крыша села. Я думаю, бог простит нас и примет под своим кровом, пока мы не воспрянем духом и не обретем себя. Устраивайтесь, живите здесь и берегите только алтарь — в него ни за что не входите. Выберите из своей среды несколько наиболее крепких женщин, снимите со стен иконы и отправьте их в соседние села просить милостыню. Берите все, что вам ни дадут, и, какую бы малость ни собрали, возвращайтесь и делитесь с оставшимися в храме во имя Христа.

— Да неужели вы нас покидаете? — завопила какая-то старушенция. — Да мы без вас пропадем!!!

— Даст бог, не пропадете, — сказал отец Никандру и после некоторого раздумья добавил: — Я должен хоть ненадолго вас покинуть, потому что мы не сосульки, свисающие с застрехи, не куст плакучей ивы, не холм пустой и бесплодной глины. Мы народ, и, помимо бога,

у нас есть еще и Водэ. Мы хоть и бедная, но держава, и я пойду к нашему владыке, к нашему господарю, поклонюсь ему в ноги и скажу: «Ваше величество! Погибшая деревня взывает к отмщению...»

Он шел четверо суток днем и ночью, по заснеженным полям, по лесам, по оврагам. Он шел один и, чтобы преодолеть страх и одиночество, распевал во всю широту заснеженных полей отрывки из церковных служб, псалмы, акафисты. На пятый день к полудню, когда его нагнали дворовые помещики Мовилэ, это был уже не человек, а привидение. Весь заиндевший, оборванный, обезумевший, он едва переступал ногами и старался, любой ценой старался донести хриплым голосом детскую колядку:

Потому что им светила,  
Потому что их пленила...

Дальше колядка не шла — то ли он слов не помнил, то ли они были неподвластны его обмороженным губам. Мужики перевозили солому из дальних поместий к главной барской усадьбе. Шесть фур, запряженных волами, медленно ползли по заснеженному полю, когда вдруг перед ними возникло это странное привидение.

— По-моему, это поп, — сказал один из мужиков, разглядев сквозь лохмотья большой крест на его груди.

— Какой же это поп, когда он помешанный!

— Да при чем тут помешанный, когда он весь в лихорадке! Еле стоит на ногах!

Остановили волов, собрались вокруг него.

— Отец, откуда идешь и куда путь держишь?

Странник долго на них смотрел, но все они двоились в его глазах, и, не сумев их толком разглядеть, не сумев осмыслить, о чем они его спрашивали, он снова и снова возвращался к той недопетой колядке:

Потому что их пленила,  
Потому что их водила...

— Помрет, — сказал старик, поставленный старшим над остальными погонщиками. — Если оставим его тут, в поле, погибнет, и большой грех будет на нас...

В последней фуре под соломой перевозили мешки с картошкой для нужд хозяйства. Поскольку соломы там было меньше и взобраться на воз было проще, они залез-

ли, вырыли воронку в соломе и в ту воронку упрятали найденного в поле попа. Согревшись, он тут же на их глазах стал засыпать, и встревоженные мужики подумали — а что, если он так и не проснется? Нужно было как-то не дать ему уснуть, но чем отвлечь его от этой гибели?

— Мош Гицэ, — сказал молодой погонщик, — ты поройся там в торбочке, может, чего и наскребешь...

Неделю назад, когда их отправили в путь, по случаю холода и дальней дороги им был выдан из барских подвалов кувшин вина. Пока выезжали, вино замерзло и кувшин лопнул. Посоветовавшись, погонщики отдали фиолетовый лед на хранение прижимистому мош Гицэ, который тут же упрятал его в свою торбу, и стояло больших трудов уговорить его достать осколочек льда, чтобы разморозить его во рту.

Увы, все это баловство довольно быстро кончилось. Вот уже третий день они получали решительные отказы, хотя мош Гицэ все еще не соглашался на глазах у всех вывернуть торбу наизнанку. Теперь ввиду чрезвычайного обстоятельства мош Гицэ снова принялся рыться в той пустой торбе, и путем невероятных усилий ему таки удалось наскрести там пригоршню фиолетового снежка. О, эта наша легендарная скупость...

Отец Никандру уже похрапывал и ни за что не хотел принять угощение. Посоветовавшись, погонщики насильно открыли ему рот и набили его винным крошевом. Как-то силы, видимо, еще теплились в старом священнике, потому что это крошево немного погодя стало таять у него во рту. Струйка красного вина начала медленно стекать по опухшей посиневшей нижней губе, и — чу! — что-то в той нижней губе дрогнуло.

Она еще помнила вкус этого божественного напитка, та нижняя губа. Теперь она была бессильна удержать эту ценность, но нет, такое добро не должно пропасть, и вот уже верхняя губа пошла ей на выручку. И хотя вино еще не совсем растаяло во рту, эти посиневшие, опухшие губы властно и неукротимо пошли навстречу друг другу. Еще рывок, еще усилие, и вот они наконец сомкнулись.

— А пил он лихо, этот поп, — сказал не без зависти мош Гицэ.

На этой глубоко оскорбительной для него фразе отец Никандру очнулся. Оглянувшись, пришел в себя и все понял. Ему захотелось как-то поблагодарить этих добрых

людей, но рот был полон ценнейшей влаги, которую он ни проглотить, ни выпустить не мог. Глаза наполнились слезами. Старик мигнул благодарно, но почему-то из двух глаз выкатилась всего одна слезинка, и та тут же исчезла неведомо куда.

— Ну и на здоровье, — сказал мощь Гицэ.

Накинув на него сверху еще немного соломы, погонщики спустились с воза и погнали своих волов дальше, здраво рассудив меж собой, что, если бог даст, поц, несомненно, выживет. Ну а если ему суждено умереть, все-таки лучше умереть в соломе, чем в пустом, заснеженном поле.

Дальше они уже шли молча, изредка ласковым словом подгоняя волов, и все время прислушивались к глухой тишине полей, потому что, странное дело: напечатав простуженным голосом, в какой-то лихорадке, колядка ожила в их душах, и из далекого поля, из далекого детства кто-то принялся им напевать:

Потому что их водила,  
Потому что их пленила,  
Потому что им светила  
Вифлеемская звезда...

Много перевидевший на своем веку отец Паисий спрашивал в тех рождественских заметках: а задумался ли ты, любезный читатель, над тем, что в ту далекую холодную зиму рожденного в холодном хлеву младенца согревали своим дыханием буйволы? Столько прекрасных, холеных, изящных зверей создано всевышним! Какими прекрасными, дорогими мехами наградила их природа, но, когда было зябко спасителю, не красота и совершенство, а эти добрые, глупые, терпеливые, неповоротливые буйволы пришли его согреть...

Запряженные волы, низко опустив головы под тяжестью ярма, шумно дышат, волоча за собой свой пожизненный груз. Погонщики, призадумавшись, медленно плетутся за своими фурами, и как-то грустно у них на душе, потому что ни в поле, ни в воспоминаниях уже никто не колядует. Да и то сказать — рождество когда прошло! На носу уже великий пост, и он в самом деле так велик, что из-за шести недель еле-еле виднеется страстная неделя, за которой грядет светлое воскресенье.

# Начальник хора

*Если он командовал полком, а теперь, на старости, нуждается, то, стало быть, он был плохим полковником.*

*От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно.*

*Пушкин*

*Екатерина II*

Императрица любила по вечерам проводить часок-другой за картами, которые были, по ее словам, незаменимы для отдохновения от государственных дел. Играла не спеша, тщательно контролируя свои эмоции, не рвалась к выигрышу любой ценой, но брала каждую копейку, которую можно было выжать при ее картах. Старые придворные шельмы, промотавшие за игорным столом не одно состояние, склонны были видеть в государыне врожденного игрока и очень жалели, что не удастся вывести ее на крупную игру с большими ставками. Екатерина, однако, выше рубля в банк не ставила, а настаивать на увеличении взноса считалось нарушением этикета.

Красота золота не в его количестве, а в его блеске, говаривала Екатерина, но ее верноподданные были явно другого мнения, и за годы ее правления погоня за лучезарным металлом лихорадила Россию как никогда. Круглый год вечер за вечером тот, у кого водился хотя бы грош в кармане, шел испытывать свое счастье. Игнали дома, игнали в гостях, игнали в дороге. От бар стали заражаться этой страстью слуги, от слуг — крепостные. Игнали в трактирах, на почтовых станциях, в казармах, на кораблях, в острогах. Крупнейшие западноевропейские типографии не успевали выполнять заказы русских купцов на изготовление красочных игральных карт; когда власти попытались ограничить их ввоз через таможенный контроль, их стали ввозить контрабандным путем в еще большем количестве.

И настал день, когда государыне открылось, что эта невинная забава не так уж невинна. Хозяйство страны пришло в полный упадок. Голодали Север и Поволжье. Вечно не хватало провианта для армии, приходилось закупать его за границей, а плодороднейшие земли пустовали, потому что, в самом деле, кому о них печься, если баре сидели за игорными столами, а поместья не успе-

вали переходить из рук в руки. Армии угрожал полный разброд, ибо, когда начальник садится играть за одним столом с подчиненными, действие устава прекращается и вступают в силу законы карточной игры. Каторжники играли со своими конвоирами, чиновники сделали вечеринки с картами одной из главных статей дохода, ибо на вечеринке трудно проследить, кто кому проиграл, а кто дал взятку.

В конце концов Екатерина вынуждена была издать свой знаменитый манифест, запрещающий азартные игры, в том числе игру в карты. Во избежание искушения полиция конфисковала около ста тысяч колод, публично сожгла их, но ни сам манифест, ни публичное сожжение разжалованных дам и валетов не дали желаемого результата. Строгости строгостями, а между тем всей державе было известно, что вечерами государыня любит проводить часок-другой за картами. У России тоже были свои слабости, она тоже нуждалась в разрядке, и потому, как только наступали сумерки, зажигались свечи, зашивались окна и начиналась раздача. Для везунчиков и шулеров наступали счастливые минуты, но для огромного большинства часы отстукивали приближение неминуемой катастрофы...

Поручик Бярятинский добрался до Ясс только к полуночи. Отпустив сопровождавшую его команду, он направился через дорогу к дому своего полковника, чтобы доложить о прибытии. С этим нелегким докладом можно бы, конечно, и повременить, но нервы у бедного поручика были на пределе, и он решил бросить судьбе вызов: да — так да, нет — так нет.

У крыльца полковничьего дома, сметая снег с сапог, он услышал доносившийся из дому капризный, истерический фальцет, и этот голос полковника лишил поручика последней надежды. Благоразумно обогнув дом, он вышел на главную улицу уютного, расположенного на семи холмах, сладкого, как говорят молдаване, города.

«Ну что за невезение, бог ты мой, что за дикое невезение!»

Мятый, небритый, Бярятинский в свои двадцать два года чувствовал себя совершенно раздавленным судьбой. При таких обстоятельствах, рассуждал он, боевому офицеру разумнее всего пустить себе пулю в лоб, но невозможно покинуть этот свет и явиться на тот, по крайней

мере предварительно не помолвившись, желательно в каком-нибудь храме.

Поплутав по окраинам города, подергав ручки многих запертых на ночь церквей, он вдруг вспомнил рассказ какого-то солдата, заядлого курильщика, который говорил, что как-то ночью в поисках огонька он добрал до монастыря Голии — в соборном храме, дескать, служба идет беспрерывно... Поручик сомневался в правдивости этого рассказа, но на всякий случай, пробравшись через узкую калитку внутрь двора, двинул плечом огромную тяжелую дверь...

Храм был открыт. Тускло горели лампы, скудное пламя свечей едва дотягивалось до ликов святых, а посреди храма высился на носилках гроб. Кругом ни души. Проходя вдоль стен, старательно приглядываясь к святым, Барятинский вдруг обнаружил, что не может молиться по той простой причине, что не помнит молитв. Ни «Отче наш», ни «Царю небесный», ни «Верую», ну ни единого святого слова... Господи, подумал он, если бы бабушка увидела, до какой жизни я дошел, она бы умерла с горя...

Вдруг ему почудилось какое-то движение в алтаре. Осторожно покашлял два раза. Немного погодя открылась одна из боковых створок алтаря, и вышел оттуда монах низенького роста, сутулый, страдающий одышкой.

— Слушаю вас, сын мой...

«Да он что, смеется?!» — подумал Барятинский. Никогда, ни под каким видом он не смог бы признать свое родство с этим убогим человеком.

— Мне нужен молитвенник, — сухо сказал поручик.

— У вас горе?

— Я не исповедоваться сюда пришел.

— Молитву-то вам по какому случаю?

— То есть как по какому случаю?

— Ну, бывают молитвы человека больного, одинокого, отчаявшегося...

Поручик задумался.

— Мне бы молитву человека обреченного...

Монах внимательно посмотрел на него и чуть заметно улыбнулся, потому что был тот Барятинский до того юн и лицо его было до того прекрасно своей первозданной чистотой, что с него иконы бы писать, а он возглавлял молитвы обреченного. Тем не менее, подавив улыбку, монах сделал ему знак следовать за собой. С правой стороны алтаря, рядом с клиросом для певчих, стояло в угол-

ке распятие. Это древнее деревянное распятие было сделано, может, и не очень умелой, но истинно верующей рукой. На кресте висел пригвожденный такой печальный, такой измученный спаситель, что рядом с его страданиями все другие беды казались сущими пустяками. Около распятия стояла конторка, на конторке, слабо освещенной одной-единственной свечой, лежал раскрытый молитвенник, сплошь закапанный воском. Поручик наклонился над книгой и, отметив пальцем выбранную строчку, прочел: «Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида».

«Нет, — сказал себе Бярятинский, — помолиться мне сегодня не суждено». Страдания распятого спасителя сводили на нет все его горести. Покойник посреди храма тоже угнетающе на него действовал. К тому же это странное место в молитвеннике: «Начальнику хора. Не погуби...» Это таинственное «не погуби» как будто что-то обещало...

«Если хорошенько подумать, — стоя перед алтарем, размышлял про себя поручик, — то непременно должен какой-нибудь выход сыскаться! Ну, положим, полковник — каналья. Полковник тут же отдаст под суд, но есть же, на наше счастье, «хоровое начальство» и выше! Любой офицер знает, что, в чем бы он ни провинился, если пройти во дворец Маврокордата, в котором расположена главная штаб-квартира, и пасть ниц перед всемогущим князем, рассказав ему все как на духу, светлейший может и простить. У Потемкина все зависит от настроения, от таинственного расположения созвездий, и если угадать хорошо время, то самое что ни на есть скверное дело может в один миг получить благоприятное разрешение».

Оставив храм, поручик опять пошел бродить по ночному городу. Выход как будто бы найден, но добраться до главнокомандующего — вот задача. Поручику всегда нелегко дойти до фельдмаршала, особенно когда он кругом виноват и сам сознает свою вину. Морозно скрипевший под ногами снег далеко и остро отзванивал в глубине темных кривых переулков. Вид унылого, задавленного ночной теменью и холодом города нагонял жуткую тоску.

Тут что-то не так, подумал Бярятинский. Должно быть, в его отсутствие произошли какие-то чрезвычайные события. Мыслимое ли дело, чтобы в столь ранний час город уже спал? Две недели тому назад об эту пору в Яссах только-только начиналась жизнь. Сани и кареты, за-

пряженные дугом, неслись во всех направлениях, предстоящие балы и вечеринки придавали всему азарт и красоту. Празднично сверкали окнами каменные особняки на всех семи холмах, артиллеристы пускали фейерверки, толпы живописнейших зевак наводняли улицы. Теперь всего только первый час ночи, а дороги пусты, сани и кареты окоченели во дворах, заваленные снегом, и редко где мелькнет отражение горячей печки в темном пространстве окна.

Штаб-квартира главнокомандующего, этот вечно распираемый весельем двухэтажный дворец, на сей раз тоже как-то затих, замер, потонул вместе со своими неиссякаемыми затеями в холодном мраке ночи. Всего четыре окна светились — два на первом, два на втором этаже. На первом свет горел у дежурного адъютанта, а на втором, подумал поручик, должно быть, спальня главнокомандующего.

«Никак опять хандра?»

За свою недолгую службу поручик уже свыкся с тем, что временами на Потемкина находила хандра. Недели две или три фельдмаршал валялся на кожаном диване, никого не принимая, ничего не желая слушать, ничем решительно не интересуясь, и тогда такая тоска опускалась на армию, на молдавскую столицу, что хоть волком вой. Главное, решительно было невозможно предугадать заранее причины, по которым у светлейшего возникали приступы хандры. Какая-нибудь пустячная новость, каприз какой-то дуры, далекое, ничего не значащее воспоминание детства — все могло в одну минуту произвести глубочайший переворот в настроениях этого гиганта.

«А не сходить ли к грекам, разнюхать, в чем дело?..»

Сразу за монастырем по склону холма тянулся длинный ряд погребков, в которых ночи напролет лилось вино, жарилось мясо и пели цыганки. Содержали эти погребки греки, тоже по преимуществу константинопольские. Эти носатые бестии, думая поручик, сдирают шкуру с посетителя, но к ним охотно идут, потому что там можно хорошо выпить, хорошо закусить и далее, смотря по средствам, все, что душа пожелает.

Как ни странно, атмосфера всеобщего уныния, царившего в городе, докатилась и до греков. И хотя под прокопченными каменными сводами по-прежнему горели свечи, звучно лилось вино из глиняных кувшинов, всюду пахло фрингурикой, жареным мясом с отличной острой подливкой, народу было мало, а знакомых так просто ни-

кого. Только в третьем или даже в четвертом погребке Бярятинский откопал сидевшего в уголке прыщавого интенданта своего полка.

Охмелевший малый, усевшись за отдельным столиком, следил как завороченный за движениями молодой цыганки, разносившей вино и угощение. Когда цыганка подходила совсем близко, к соседнему столику, за которым шумно гуляла компания драгун, переполненный эмоциями интендант становился совсем невменяемым.

— Что, гуляем, капитан? — спросил Бярятинский, без особых церемоний присаживаясь к его столу.

— Размышляем, — уклончиво ответил интендант, раздосадованный тем, что гость мешает свободному процессу созерцания.

— Послушай, — вспомнил вдруг Бярятинский, — ты же не вернул мне карточный долг. С тебя сто рублей причитается!

Интендант на миг прищурился, припоминая, когда и по каким делам поручика командировали. Усмехнулся каким-то своим догадкам, точно хотел сказать: разве я не говорил, что этим дело и кончится?! После чего ответил несколько высокомерно, поучительно:

— К грекам ходят не для того, чтобы долги возвращать.

— Да я его с тебя и не требую. Хотя, знаешь что? Десять золотых — и черт с тобой.

— Нуждаешься? — спросил интендант.

— Очень.

— Золотой возьмешь?

— Рубль вместо ста рублей?

— Рубль вместо ста.

Поручик отметил место на этой распахобной роже, по которой следовало двинуть кулаком, но, увы, карта не шла больше к нему в руки. Делать было нечего.

— Давай сюда.

Получив новенькую золотую монетку с профилем Екатерины, отекаленную в честь вступления русских войск в пределы Молдавии, Бярятинский заказал кувшин «Монастырской полыни», фринтуру и калач, великодушно отказавшись как от сдачи, так и от возможности совсем близко поглазеть на роскошные формы молодой цыганки.

О, как давно он не пил вина, как давно не ел мяса! С каждым глотком, с каждым куском он медленно, виновато возвращался откуда-то из немыслимой дали. Он

вкушал эти земные блага, точно это была первая трапеза в его жизни. Новизна возвращения была для него так неповторима, так дорога, что он, дабы не заглушить в себе эту праздничность, и мясо не доел, и вино не допил.

Барятинский собирался уже покинуть погребок, когда шумная компания драгун за соседним столом привлекла его внимание. Сквозь бурный поток солдафонских непристойностей начала вырисовываться какая-то странная история, о которой поручик ничего не знал, но которая, судя по всему, владела умами молдавской столицы. Речь шла о невероятном любовном приключении какой-то красавицы. Поручик подумал было, что это проделки графини Софии Витт, красивой гречанки, державшей Яссы в напряжении вот уже второй год, но вдруг над шумным драгунским застольем взлетел молодой майор с повязкой на лбу.

— Господа, — завопил он на весь погребок, — все они плюхи! Они отдаются кому попало, но, господа! Среди этой дикой вакханалии нашлась-таки одна, которая не согласилась отдаться без любви. Удивления достойно, господа, что женщина эта — красивейшая дочь России, а мужчина, которому она отказала, могущественнейший и богатейший из сильных мира сего. Так выпьем же, господа, за женщину, достоинство которой не уступает ее красоте!

— О ком речь? — спросил Барятинский у прыщавого интенданта.

— Отстань, — огрызнулся тот, не спуская глаз с молодой цыганки.

Драгуны за соседним столом кричали «ура!», потом спели «Многая лета». Окрыленный успехом драгунский майор стал оглядывать погребок, чтобы выяснить, как воспринята окружающим миром его здравица. Заметив за соседним столом двух скучных офицеров, которые как будто вовсе не разделяли его восторга, он немедленно вышел из-за стола и направился к ним.

— Разве вы, господа, не цените достоинство красивых дам?

— Извините, — сказал Барятинский, — я не знаю, о ком речь.

— О княгине Екатерине Долгоруковой.

— О, за княгиню-то я выпью!

И, вскочив на ноги, заявил:

— Многие ей лета, господа!

Прыщавый интендант, ополоумевший, должно, от долгого томления, сидел сонный за столом, не проявляя никакого интереса ни к майору, ни к последним событиям яесской придворной жизни.

— А вы, господин капитан?

— Я не поддерживаю здравец, которые прямо или косвенно могут быть истолкованы как свидетельство неуважения к моему вышестоящему...

— Ах ты мельничная крыса!..

Поручик Барятинский не стал ввязываться в драку — с него было достаточно и того, что на нем уже висело, и потому, выбравшись из погребка, тут же направился в главную штаб-квартиру. Сгореть, так по крайней мере на большом костре, а не в дохлой печке старого, выжившего из ума полковника.

У подъезда стояли чьи-то роскошные сани. Тройка лошадей дожидалась, видимо, так давно, что кучер укрыл коней попонами, уже и попоны все в снегу, а сани все ждут у подъезда. Несколько конных курьеров дремлют на лошадях в ожидании срочных распоряжений, и светятся все те же четыре окошка — два на первом, два на втором этаже.

Что ж, сказал себе поручик, трус в карты не играет. Ввалившись в дежурку, не видя перед собой от волнения ни лица, ни чина дежурившего адъютанта, он вытянулся по уставу и выкрикнул каким-то чужим голосом:

— Господин адъютант! Прошу немедленно доложить светлейшему, что по чрезвычайному, личному и срочному делу, от которого зависит, можно сказать...

К величайшему своему удивлению, вместо обычного сухого, казенного: «В чем дело, поручик?» — он вдруг услышал:

— Алеша, голубчик, да что с тобой?!

Голос, о бог ты мой, голос далекого друга, но, однако, откуда тут мог взяться Чижиков, и в самом ли деле это он? Сделав несколько шагов в глубь слабо освещенной комнаты, он увидел друга и однокашника по конно-гвардейскому полку.

— Вольдемар, — сказал он тихо, и подбородок его обиженно, по-детски задрожал, — я погиб, Вольдемар. Будучи командированным в Подолию для закупки лошадей и фуража, я проиграл все отпущенные мне суммы.

— О господи... Что ж не попробовал отыграться?!

— Много раз. Я проиграл все, что на мне было, все, что было у сопровождавших меня солдат. Уже возвращаясь, столкнулся на Днестре с турецким конвоем, пленил его, продал пленных, вернулся в Подолию и опять же проиграл. Мне дико не везет, Вольдемар, две недели подряд набираю карты, и все мимо!

— Мало ему казенных растрат, он еще и пленными торгует! Кому же ты их загнал, отчаянная твоя голова? Где нашел покупателей на этом собачьем холоде?

— Какой-то архиерей в монастыре тут, под Яссами, купил...

Дежурный адъютант стоял растерянный. Потемкин терпеть не мог ходатайств. Девиз фельдмаршала был — каждый должен стоять сам за себя; чуть только кто-нибудь о ком-нибудь попросит...

— Алеша, друг, ты попал в самое неудачное время. Послушай, что у нас тут творится...

Со второго этажа, словно далекий гул, доносилось усталое ворчание. Светлейший в самом деле стонал, лежа в своем кабинете на диване. Собственно, он не то что стонал, а постанывал, как бы убаюкивая свое горе, но при могучем телосложении Потемкина и при его густом басы эти постанывания превращались в мрачный рык, наводящий ужас на весь дворец.

Шумный обычно кабинет теперь был сиротлив и пуст. У изголовья в тяжелых золоченых подсвечниках горели две свечи, отбрасывая на противоположную стену изящный силуэт красавицы, сидевшей в ногах князя в качестве сиделки. То была знаменитая графиня Софья Витт, la Belle Phanariote, как ее называли всюду. О ней ходили легенды, и действительно, ее жизнь была замешена на самых невероятных приключениях.

Гречанка по происхождению, она родилась и выросла на окраине Константинополя, в том же Фанаре. В тринадцать лет она отличалась такой удивительной красотой, что ее невозможно было выпускать одну на улицу, а поскольку ее мамаша была занята своими делами, она сочла за благо продать дочь польскому посланнику в Константинополе, который коллекционировал юных красавиц для своего короля, Станислава Понятовского.

Но, однако, в тот безумный, не признававший ничего святого восемнадцатый век оказалось невозможным довести это прелестное создание из Константинополя до Варшавы. По дороге ее перекупили за тысячу рублей

золотом сын камеец-подольского коменданта, Иосиф Витт. Женившись на ней, он тут же вывез ее в Париж, где красивая фанариотка, отличавшаяся, помимо красоты, еще и умом, стала любимицей высшего света. По возвращении из Парижа она изъявила желание быть представленной Потемкину. В результате этого знакомства Иосиф Витт получил должность коменданта Харькова, но его красивая супруга не пожелала последовать за мужем к месту его новой службы и была оставлена Потемкиным при своем дворе.

Пресыщенный женской красотой, Потемкин быстро остыл к графине, но продолжал держать при себе, пользуясь ее услугами для проникновения в европейские дворы. Кстати, в окружение Потоцкого, за которого она впоследствии вышла замуж, графиня проникла тоже по поручению Потемкина; это ему она обязана тем, что вошла в историю как графиня Софья Потоцкая.

В свободное от тайных поручений время графиня поражала Яссы своими необычными любовными похождениями, своими выдумками, своим веселым характером и здравым умом. Ценя эти ее качества, Потемкин при тяжелых приступах хандры посылал за ней.

— Не надо, ваша светлость, — говорила гречанка низким, грудным голосом, когда стоны светлейшего становились невыносимыми. — Не стоит она ваших страданий...

— Слов нет, не стоит, но, однако, как поемела?! Она же мне обязана всем! Ей не было еще двенадцати, когда я заприметил этого бесенка, резвившегося в аллеях Царского Села. Я тут же предсказал ей славу первой красавицы России. Я настоял на том, чтобы ее отец, гофмаршал двора, человек пустой и недалекий, отправил эту козочку на два года в Париж, к своему дяде, нашему посланнику Барятинскому, дабы этот алмаз там отшлифовали и придали ему неповторимый блеск...

— Париж ее испортил.

— Да нет, конечно, нет! То, что мы получили из Парижа, не поддавалось описанию! Когда ей исполнилось шестнадцать, для того чтобы достойно вывезти такую красавицу в свет, я устроил в Аничковом дворце гигантский бал-маскарад. Он обошелся мне в полмиллиона. Я собрал весь цвет столицы, иностранных послов, я предоставил ей неповторимый шанс...

— Моя мама говорила: начинать с высокой цены — значит испортить самому себе торговлю.

— Ну, не скажите. Она свой шанс не упустила. Будучи тут же пожалована фрейлиной, она вышла замуж за генерала Долгорукова, но мне уже было тяжело с ней расстаться. Я повсюду таскал за собой этого олуха, так как не мог отказаться от общества юной красавицы. Я отдал этому пустозвону лучшую из своих дивизий, вношу его во все наградные листы, саму княгиню не устаю одаривать, и что же она в ответ на все мои заботы?..

— Цену себе набивает.

— Да о какой цене может идти речь, душа моя! Под видом празднования именин императрицы я каждый год праздную именины княгини Долгоруковой! В этом году я ложками отсыпал бриллианты дамам из бокала; ей как имениннице высыпал все, что осталось в бокале, там было тысяч на триста, не меньше. И что же? Дрогнуло сердце, вспылала плоть? Да ничуть. Когда я пригласил ее осмотреть мои покои, она отказалась, сказав, что если когда и согрешит, то не иначе как в обыкновенной солдатской землянке...

— Завезли бы в землянку какую-нибудь...

— Ну нет, до землянки я ни за что не опущусь! Как можно, чтобы главнокомандующий, фельдмаршал, граф священной Римской империи...

Вдруг неожиданно взметнулось пламя обеих свечей. Фельдмаршал, оторвав голову от подушки, выжидательно посмотрел в сторону чуть приоткрытых дверей. Дежурный адъютант Чижииков едва успел просунуть голову и пролепетать:

— Ваша светлость, по очень срочному, чрезвычайному...

— Во-он!

И поскольку адъютант замешкался, Потемкин, нагнувшись, нащупал на полу комнатную туфлю и запустил ею в дежурного. Туфля была еще в воздухе, когда створки дверей сомкнулись, и она, шлепнувшись, осталась лежать у порога. Графиня Витт, гибкая и грациозная, поднялась и пошла за ней. Растроганный Потемкин поцеловал ее обнаженную ручку.

— О моя красавица, стояла ли эта туфля вашего внимания...

— Стоила, потому что на ваших комнатных туфлях бриллиантовые застёжки...

— Черт с ними, с бриллиантами. У меня их много.

— Сколько бы их ни было, вам не следовало бы ими

швыряться, не выяснив истинных аппетитов своей избранницы.

— Вы думаете, все еще возможно? Думаете, она вернется?

— Отчего же ей не вернуться? Дубоссары по сравнению с Яссами — дыра. К тому же это почти рядом, сутки езды.

— Да, но сутки — это долго, а у меня все нутро горит, понимаешь, горит...

— Не волнуйте себя понапрасну. Настанет день, и она вернется. Женская красота без богатства — это алмаз без оправы, и о каких бы землянках она ни лепетала, ей вечно будет сниться золотая оправка, и она непременно к вам вернется, потому что алмаз у нее, а оправка у вас.

— Когда? — спросил князь.

— Что — когда?

— Мне нужно точно знать день и час ее возвращения. На мне огромная армия, на мне же неоконченная война, на мне вся держава, и я не могу, я попросту не имею права оставаться долго в неведении. От этого дело может пострадать!

Около полуночи, успокоив светлейшего, графиня покидала дворец. Спускаясь со второго этажа по широким мраморным лестницам, она наметанным глазом светской тигрицы заметила у входа стройную фигуру прапорщика, его продолговатое, нервное, тонкой лепки лицо. Подойдя ближе, она заметила, что прапорщик небрит, и тут же потеряла к нему интерес. Небритые мужчины вызывали в ней отвращение. Но сам прапорщик, похоже, дожидался именно ее. Открыв ей тяжелые входные двери, перед тем как выпустить ее, он тихо прошептал:

— Графиня, вы когда-то пообещали мне свою любовь...

Чернобровая гречанка гордо пронесла мимо него свою соболью шубу. Поручик, однако, не отставал. На улице, уже садясь в сани и еще раз мельком взглянув на точный профиль поручика, графиня так же тихо спросила:

— Когда я тебе обещала?

— О, это было, разумеется, шуткой, но было сказано на самом деле два года тому назад, в Петербурге, на Разъезжей, в доме моей двоюродной сестры...

— Княгини Долгоруковой, что ли?

Поручик едва заметно кивнул, но этого было достаточно для острых глаз пронырливой фанариотки. Отодвинувшись, она освободила место рядом с собой, приглашая юношу сесть. Они долго катились по спящему городу. Проникшись сочувствием к молодому поручику, графиня повезла его к себе, заставила побриться, накормила, усадила перед горящим камином, после чего сказала:

— Есть только один выход. Напиши княгине, чтобы она немедленно, сию же минуту, вернулась в Яссы.

— Вы хотите, — спросил поручик, содрогаясь от нивости, на которую его, по-видимому, толкали, — вы хотите, чтобы я свою двоюродную сестру затащил своими руками в постель к этому сатрапу?! Да я лучше застрелюсь!

— Не будь глупцом, — сказала графиня. — Чего ее туда затаскивать, когда она еще в детстве сживала у него на коленях! Просто ей хочется сначала помучить своего будущего любовника. Есть у нашей сестры такой каприз — помучить человека, довести его до белого каления... Так стоит ли из-за того, что у нее такой каприз, пускаться себе пую в лоб?

— Нет, — сказал поручик. — Уступит она или нет — это ее дело. Я в это вмешиваться не буду.

— Подожди, — сказала графиня после некоторого раздумья, — если ты так уж заупрямился, я сама позабочусь о ее возвращении. Но, по крайней мере, несколько слов можешь ей написать?

— О чем?

— Ну, о том, что ты жив, что любишь ее, гордишься ею...

— О, это сколько угодно...

Получив от поручика ничего не значащую записку, она ушла в соседнюю комнату и там под его строчками дописала по-французски: «Княгиня! Над Алешей нависла смертельная угроза. Только мы с вами можем его спасти. Приезжай поскорее». Запечатав письмо, написала на пакете — срочно, курьером, в Дубоссары, генералу Долгорукову, для его супруги, княгини Екатерины Федоровны.

Отправив пакет, она вернулась в каминную, подошла к разомлевшему у огня поручику и сказала воркующим голосом:

— Что до давних моих обещаний, то я никогда от своих слов не отказываюсь...

Всю ночь до утра, а затем еще день курьеры скакали в Дубоссары. В полночь письмо уже было в руках княгини, а еще через сутки в Яссы въезжали голубые крытые сани княгини Долгоруковой. Целый божий день ушел на переговоры. Сани Софии Витт метались как угольные от штаб-квартиры главнокомандующего до дома боярина Стамати, в котором обычно останавливалась княгиня Долгорукова. И снова дворец, и снова дом Стамати.

К концу дня соглашение было достигнуто, и вздохнула наконец полной грудью молдавская столица. И снова достаем вино из подвалов и варим голубцы. Улицы полны народа, в церквях и храмах идет служба, празднично светятся окна домов на всех семи холмах, и звон бубенцов сыплется из всех переулков.

Через несколько дней причисленный к штабу главнокомандующего поручик Барятинский, выходя из дворца Маврокордата, увидел в сером ночном небе огромный купол соборного храма Голии и почему-то смутился. Была некая тайна между ним и этим храмом. Там, возле клироса, в уголке стояло деревянное распятие, которое знало, чего никто в мире не знал. Не навестить, не отблагодарить, не помолиться было не по-христиански, и, не откладывая этого дела, благо храм бывал открыт постоянно, поручик направился к узкой калитке меж двумя каменными столбами...

На этот раз в храме было полно народу. Прихожане пели псалмы, и, протискиваясь сквозь толпу, поющую на непонятном для него языке, Барятинский в конце концов добрался до древнего распятия. Увековеченный в минуты высших страданий спаситель так и продолжал висеть, пригвожденный чужими грехами ко кресту. Увы, тут уж никакой начальник хора помочь был не в силах. Потухший взор, печальный лоб, скулы, обостренные последними земными страданиями, и этот миг запечатлен человечеством на века, чтобы напоминать людям, что ничего нету вечного в мире, все суета сует.

В состоянии крайнего замешательства Барятинский осенил себя крестным знаменем, склонился над лежавшим на той же конторке молитвенником и принялся подбирать святыя слова с закапанных воском страничек. Тяжелым глаголом выстраданных судеб псалмы ведали о страданиях человеческих, а тем временем юная душа поручика продолжала резвиться, ликовать, и кто-то, под-

нявшись на дыпочки, из-за тех закапанных воском страничек его же голосом повторял без конца: «Слава богу, пошла карта! Наконец-то очко!»

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

# Мера за меру

*Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество вам перечить, кто предпочитает ваше доброе имя вашим милостям.*

Екатерина II

*...в длинном списке ее любимцев, обреченных преарению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории.*

Пушкин

Дворец князя Маврокордата весь сиял от предчувствия предстоящего празднества. Юные, только что завезенные из Парижа танцовщицы спешат по высоким мраморным лестницам на последнюю репетицию, но у них слетают туфельки. Присев, они их аккуратно надевают, но туфельки снова слетают, и присутствующие при этом штабные офицеры исходят истомой:

— Позвольте, мадемуазель, предоставьте такую редкую возможность...

— Ах, сделайте одолжение, мсье...

На втором этаже светлейший полулежит на том же кожаном диване в своем знаменитом вишневом халате, обшитом золотом. Человек пять прислуги одновременно ухаживают за ним — массируют, укладывают, подпиливают, пудрят, примеривают. Попов, помощник светлейшего, явившись для ежедневного доклада, перелистывает у окна последние донесения штаба, а в дверях стоит, понуря голову, худенький монах из Палермо.

— Нет, каков мерзавец! — воскликнул вдруг Потемкин, орлом взглянув на своего помощника. — Он, видишь ли, не расположен, он, видишь ли, хотел бы откланяться.

И вдруг свирепо, уже обращаясь прямо к монаху:

— Да я тебя, подлеца, с самого начала спросил — готов ли ты вести со мной ученый диспут о догме триединства — Отце, Сыне и Духе святом? О том, как его понимают католики и как его следует понимать в духе учения православной церкви?

— Какая диспут, какая триединство, когда я вас ожидаю два месяца! Я не могу отсутствовать свои паства такое долгое некоторое время!

Ответ Потемкину понравился. В этом был резон. Но, однако, какой нахал! Как он смеет так разговаривать с главнокомандующим?

— А чего бы ты хотел? Чтобы я бросил воевать с турками и засел бы тут с тобой разбирать догмы церковные? Ты хоть и монах, должен иметь соображение, должен по крайней мере понимать, что я человек занятой. На мне огромная сухопутная армия, на мне Черноморский флот, весь Южнороссийский край, оборона Кавказа, и на мне еще и эта печень, будь она неладна.

— Когда вы говорите о своей печени, у меня есть смех.

— То есть как у тебя есть смех? Что же я, по-твоему, жаловаться на свое здоровье не могу?

— У вас бил хандра, и я не могу оттого, что у вас хандра, ожидает все свое жизнья.

Князь поднял огромную, взлохмаченную голову, не знавшую, кроме пятерни, другой расчески, и долго, удивленно смотрел на монаха.

— А это уж не твое собачье дело, чем и как я болел. Твое дело — ждать при штабе моего вызова. Или, может, тебя плохо содержали?

— Моя пища есть только бог и слово его.

— Бог богом, но, как мне сказывали, эти два месяца ты жрал за двоих и даже, говорят, винцом баловался.

— Один раз я биль простужайт и попросил немного вина.

— Ну, неважно для чего, важно, что попросил. И, стало быть, хлеб мой ел, вино пил, а когда я наконец пожелал вступить с тобой в ученый диспут, тыходишь ко мне в кабинет и говоришь в лицо такие гадости, за которые тебя, подлеца, повесить и то мало!

Оскорбленный монах вдруг выпрямился как свеча. Теперь не только нос с горбинкой и идеально округлый череп, теперь весь он с головы до ног был гордым римлянином.

— Обязанность христианина, — сказал он, — есть говорить правду и никого, кроме бога, не бояться. Ви можете мне за те слова прощайт, ви можете меня казнить. В любом случае позвольте откланяться.

— Но, — грозно закричал Потемкин, — как воспитанный человек ты, конечно, понимаешь, что после сказанных тобою слов ты не можешь так запросто откланяться и уйти?

— Как же мне в таком случае ретироваться?

— Ретироваться ты можешь только будучи вышвырнутым вон. Поди сядь в тот дальний угол.

— Зачем?

— Как зачем? Вот чудак. Что мне за удовольствие вышвыривать тебя вон, когда ты и так стоишь у дверей? Не успел за шиворот сцапать, а тебя уже и след простыл. Нет, ты сядь вон туда, в дальний угол, чтобы я тебя через всю эту залу поволок...

Став пунцовым от нанесенного ему оскорбления, монах тем не менее гордо прошествовал в указанное место и сел.

«А он, между прочим, ничего, — подумал Потемкин. — По крайней мере, не трус».

— Василий Степанович, — сказал он вслух своему помощнику, — поди и выбрось вон. Неохота с утра руки марать.

Положив приготовленные для доклада бумаги на стол, Попов грубо схватил монаха за ворот, поволок его через всю залу, но в дверях, груженный неудобной ношей, столкнулся с штабс-капитаном Чижиковым.

— Боярин Мовилэ, ваша светлость, просит срочного приема.

— Как?! — возмутился Потемкин. — Этот наглец, этот предатель посмел явиться да еще и требует срочного приема?!

Попов мигом вытолкнул монаха за дверь.

— Григорий Александрович, — сказал он как можно примирительней, — Мовилэ был и остается одним из самых верных наших союзников. К тому же он фигура чрезвычайно влиятельная среди молдавских бояр.

— Да я и сам люблю его, — сказал Потемкин, — но что толку, раз он меня предал! Надо же быть таким ослом — именно когда матушка-государыня слила обе армии в одну, назначив меня единым главнокомандующим, именно тогда этот Мовилэ не нашел ничего лучшего, как предложить смещенному Румянцеву дом под Яссамж, посадив мне, таким образом, этого старого мерина под бок.

— И все-таки, ваша светлость, его надо бы принять. Грибовский располагает секретными данными, что в Петербурге денутация молдавских бояр ищет возможности приема у государыни.

— На какой предмет?

— Просить императрицу о скорейшем заключении мира с турками.

— Что-что-что? Да это же удар в спину! Передайте им, что мира не будет, пока на развалинах Оттоманской империи не будет провозглашена возрожденная Византия!

— Весьма возможно, — продолжал Попов, пропустив мимо ушей ораторскую патетику своего главнокомандующего, — весьма возможно, что депутация была благословлена в этот путь фельдмаршалом Румянцевым.

— Жареных голубей он ему готовит, — вдруг вспомнил Потемкин. — Нет! Гнать Мовилэ в шею, и дело с концом.

— Ваша светлость, — сказал Попов, — боюсь, что у меня не поднимется рука выталкивать боярина как обыкновенного монаха.

— Это почему же?

— Да уж по одной той причине, что из этого корня вышел пресвятейший Петр Могила, основатель Киевской духовной академии...

— Да разве тот Могила и этот Мовилэ...

— ...один и тот же господарский род.

— Вон!!! — завопил вдруг фельдмаршал и, скинув с себя всю когорту прихорашивающих его слуг, поправил халат, надел на босу ногу туфли с бриллиантовыми застежками и сказал дежурному адъютанту: — Проси.

Основательный, грузный, добропорядочный Мовилэ, едва переступив порог, поклонился в пояс и начал длинное, цветистое приветствие, от которого фельдмаршал уклонился. Поднявшись с дивана, разведя свои огромные лапы, пошел навстречу своему гостю, обнял его и облобызал.

— Рад видеть тебя, мэрия та. Так, кажется, у вас величают. Извини, что мое изучение молдавского языка остановилось на этих двух словах, что поделаешь — война! Вот сокрушим турок, твоя боярыня, даст бог, в очередной раз разрешится от бремени, ты позовешь меня в кумовья, я посажу всех твоих чад на колени, и побей бог, если не заговорю с ними на самом что ни на есть вашем языке!

— До того дня еще нужно дожить, — сказал Мовилэ, и голос его дрогнул.

— Ты пришел ко мне с плохими новостями?

— Никаких новостей, кроме той, что погибла Салкуца.

— Салкуца — это княжна ваша какая-нибудь?

— Салкуца — это деревня.



— И что с той деревней стряслось?

— Ее больше нету. Она сметена с лица земли.

Потемкин склонил набок огромную нечесаную голову и долго, как произведение искусства, изучал опечаленного боярина. Вот уж действительно нехстати — впереди бал, впереди первая красавица России, мечта его жизни, а тут опять эти распроклятые дела...

— По существующему соглашению, — сказал он, — ее императорское величество гарантирует возмещение всех понесенных убытков.

Мовилэ грустно улыбнулся.

— Речь не об этом, ваша светлость. Возвращают копейку к рублю, возвращают слово к песне, возвращают ребенка к матери при условии, что есть к чему возвращать. А если порушен корень, если сама основа порушена...

— Друг мой, деревни продаются и покупаются наравне со всем прочим товаром, разве это не так?

— Продаются и покупаются — это так, но отправленные на тот свет деревни обратно не возвращают.

— Запросите штаб, — сказал главнокомандующий, несколько понизив голос, Попову.

— Нет надобности, Григорий Александрович. Я только что на ваших глазах знакомился с донесением об этом деле.

— Почему не доложили по разряду «чрезвычайное»?

— Ничего чрезвычайного в этом не усмотрел. Турки пленили один наш дозор. Генерал Каменский их наказал, разбив целый конвой. Поскольку обе операции произошли неподалеку от деревни Салкуца, турки заподозрили ее в кознях против них. Напав ночью, они сожгли ее, уничтожив при этом мужское население, которое, впрочем, было не так уж велико.

— О, если бы все было так кратко, если бы все было так просто, — вздохнул Мовилэ.

— Тогда расскажите подлиннее и посложнее, — предложил Потемкин.

Мовилэ начал с другого конца. Он рассказывал, как его люди нашли в поле полуобмороженного попа, как, отогрев, отпоив его, они узнали, что, собственно, с тех самых колядок все и началось... Потемкин слушал, откинув назад огромное туловище, слушал не мигая, не дыша, и только его единственный зрячий глаз метался в каком-то отчаянном прыжке, пытаясь настичь уже происшедшие события и повлиять на них. Увы, сто человек

так и гибли, прижатые холодом и янычарами к стенам своего храма, и одинокий поп долгую неделю блуждал по заснеженным полям...

— Что ж, — сказал фельдмаршал, — я дал клятву сокрушить эту империю, и я не уйду из жизни, не сокрушив ее.

— Это и будет вашей резолюцией? — спросил Мовилэ.

— Тебе этого мало?

— По сегодняшнему дню — мало.

Это вывело Потемкина из себя — нет, каков наглец!

— Да что может быть выше этой победы, дурья твоя голова?!

— Выше любой победы стоит мир, ваша светлость.

— Нет, друг мой, о мире забудьте! Слишком много крови пролито, чтобы довольствоваться ничем не значащим миром. Война до конца и великая, на всю эпоху победа!

— Боюсь, что до той великой победы моя страна не дотянет и, может статься, разделит участь Салкуцы...

— Забудь на минуту о Салкуце, — сказал Потемкин, — и давай посмотрим, что творится вокруг. Мороз, метель, и в такую холодину мои солдаты зимуют в палатках. Пробовали в землянках — от тесноты и испарины одни болезни. Вернули армию в палатки. Ну, занесенная снегом палатка — это еще ничего, а как ты в ней перезимуешь на пустой желудок? Союзники вон предали, не хотят больше продавать провианту. Мы не в состоянии даже раз в сутки дать теплую похлебку своим воинам. Выдаем по сухарю и по пригоршне крупы в день в надежде, что как-нибудь тот солдатик изловчится и сам себе кашу сварит. А как ты ее сварить, когда снег метет, отовсюду дует! Вот он и стоит, мой бедный рекрут, по пояс в снегу, с котелком, крупой и двумя хворостинками. Стоит и прикидывает, как бы так подгадать, чтобы и ветер крупу не унес, и вьюга бы искру не погасила, и хворостинки бы дружно занялись. Твои люди худо-бедно зимуют в теплых глинобитных домиках, а ты поди посмотри, как зимует моя армия!

— Я это видел, — сказал Мовилэ...

— Видел — и что же?

— Содрогался.

— Так, — сказал Потемкин, довольный направлением, которое принял их разговор. — А коли ты видел страдания моей армии и содрогался, что же ты идешь ко мне

со своей болью, прежде нежели принять, как то подобает истинному христианину, сначала мою боль в свое сердце?

— Вашу боль я давно ношу с собой.

— Ну, тогда и я твою боль принимаю в свое сердце. — Обняв и троекратно расцеловав гостя, он пожаловался Попову: — Вот, сам не знаю за что, а люблю его. Предал он меня, а я его все равно люблю!

Проводив боярина, Попов приблизился с приготовленными для доклада бумагами, но Потемкин вдруг отошел к затянутым толстым ледяным узором окнам, долго вслушивался в однообразный, унылый вой слабой метели за окном.

— Вась, а что, если бросить все это к черту и уйти в монастырь? Я ведь уже был около года монахом и как хорошо вспоминаю то время...

— Что ж, — сказал Попов, — в проигрыше не будете. Ваша стихия — сила, а монахи тоже сила, причем немалая... Они живут за своими каменными стенами, как у Христа за пазухой! Харч свой, вино прелестнейшее, свое, монашки, прелестные в своем роде, свои, золото, и притом немалое, свое...

Потемкин нахмурился. Что-то он поручил разузнать относительно монастырского золота, что-то очень важное...

— Выяснено, кому поручик Барятинский продал пленных?

— Как же! Хушскому епископу Стамати.

— Разве Стамати так богат, что может позволить себе бросать деньги на ветер?

— Глухой старик, ваша светлость. Уже купив их, он наконец сообразил, что они ему ни к черту, и, поразмыслив, решил подарить их турецкому султану, отправив в Константинополь с особым от себя письмом.

— Глуп-то он глуп, спору нет, но если при этом принять во внимание, что депутация молдавских бояр ищет приема у государыни, чтобы склонить ее к миру, может оказаться, что епископ не то что глуп, а умен и, может быть, даже не в меру. Чей он человек?

— Я думаю, об этом лучше всего спросить у главного священника армии, митрополита Амвросия.

— Послать за ним, — сказал светлейший, — и немедленно.

Едва Попов вышел, как с первого этажа донесся глухой удар, сопровождаемый звоном разбитого стекла. Немолодой уже солдат, согнувшись в три погибели, стоял под тяжестью огромного бревна. Он внес его в дежурку и,

ошалев от бремени, ничего не видя вокруг, проткнул им насквозь застекленный шкаф, в который обычно вешали одежду дежурные.

Штабс-капитан Чижиков был в отчаянии:

— Ну, куда ты прешь, дуб неотесанный!

— А сказали, чтоб несть сюда.

— Что несть сюда приказали?

— Ну то, что вы и говорите — нетесанный дуб...

В минуту полного взаимного непонимания в дежурку вошел грузный инженер-майор и, видя, что солдат с бревном застрял в какой-то дискуссии, спросил сурово:

— В чем дело?

— Он шкаф разбил, — сказал дежурный.

— Черт с ним, со шкафом. Нам приказано — к обеду оборудовать в кабинете светлейшего солдатскую землянку в натуральную величину. Стены из дуба. Настил — дуб. На полу — высушенный в печах дерн, на дерне — сухой дубовый лист, на листе — персидские ковры. Сказано — к обеду.

— Да вы бы хоть бревна эти обтесали, что ли!

— Ни в коем случае! Приказано — даже двери, выходящие из кабинета в большую залу, заменить дверьми из грубо сколоченных досок, какие обычно навешиваются в солдатских землянках.

— И все это вы будете таскать через мою дежурку?!

— Непременно. И просьба не мешать, а всячески содействовать.

Вдруг, увидев перед собой солдата, который все еще сопел под бревном, крикнул:

— Ну пошел же, дубина!

Молельня Потемкина представляла собой несколько вытянутое в длину помещение в два окна, чем-то напоминавшее монашескую келью, если бы, конечно, не обстановка. Собственно, вещей было мало. В глубине, на столике, небольшой складень из трех позолоченных икон. Отдельно от них стояла икона благословляющего Христа — это был подарок государыни в день назначения Потемкина наместником Новороссийского края, и он возил эту икону с собой всюду, уверенный в ее чудодейственности.

В тяжелых бронзовых подсвечниках горело несколько свечей. На высоком пюпитре лежало раскрытое Еван-

гелие. Огромный голубой ковер с белыми летящими ангелами на весь пол, атласная подушечка под колени во время молитв.

— Благословите, — сказал Потемкин, входя к ожидавшим его пастырям.

— Пусть бог единый...

— Так. Теперь скажите мне, святой отец, штурмовать мне Бендерскую крепость или нет? Аккерман брать или нет? Спустить флотилию из Черного моря в устье Дуная? Начать штурм Измаила или нет?

Митрополит Амвросий обожал своего горячего главнокомандующего. За годы войны он привык ко всем его капризам, но такое начало его совершенно огорчило.

— Ваша светлость, будучи лицами духовного звания...

— А я вас как лиц духовного звания и спрашиваю. И не просто как лиц духовного звания, а как главу, экзарха молдавской церкви спрашиваю — готово ли молдавское духовенство поддержать наш решительный прорыв к Дунаю?

Недоумевающий митрополит переглянулся со своим викарием, епископом Банулеско.

— Наше дело, — сказал он наконец, — молиться богу о победе вашего славного оружия. В молитвах мы всегда рядом с вами. Что до остального, то, я полагаю, если командование примет решение, войско и произведет движение, какое ему будет указано.

— Это все так, спору нет, но мне как главнокомандующему, прежде нежели принять решение, крайне важно знать, что думает молдавское духовенство по этому поводу. С падением вышеозначенных крепостей я вывожу армию за Дунай. Впереди Константинополь, мечта моей жизни. Но для того чтобы овладеть Константинополем, я должен прежде укрепить тыл. А мой тыл уже не Россия, нет, я слишком далеко из нее вышел. Теперь мой тыл — Молдавия и Валахия. С целью укрепления тыла я намерен сразу после переправы армии через Дунай провозгласить на этих землях возрожденную державу, поднять над всей Европой корону этого нового государства. И не как военных, а именно как лиц духовного звания я спрашиваю — готово ли духовенство обоих государств к провозглашению себя возрожденной Дакией?

— Война идет слишком долго, — после некоторого

раздумья уклончиво сказал митрополит: — Эти маленькие страны почти полностью истощены, и не следует ожидать от них особого восторга...

— Ну а церковь?

— Молдавская церковь, как и весь нынешний христианский мир, переживает период глубокого упадка. Война всегда отбрасывала человечество назад, к варварству, тут уж ничего не поделаешь. Конечно, среди местного духовенства есть разные настроения...

— Это вы называете настроениями?! — вдруг взорвался Потемкин. — Под вашим носом хушский епископ перекупает у моих кирасир пленных турок и с особым от себя письмом препровождает их турецкому султану в качестве презента, а вы это называете настроениями?!

— Что ж, — сказал спокойно митрополит, — если епископ Стамати так понимает свой христианский долг...

В соседней с молельней зале шла генеральная репетиция хора. Григорий Александрович, вдохновитель всех художественных представлений при своем дворе, ведя спор с митрополитом, все время прислушивался к спевке. Некоторые фрагменты, исполненные хором, его как будто удовлетворяли, другие, ничем не хуже первых, буквально выводили из себя.

— Да зачем обрывать, зачем басы обрывать?! — кричал он кому-то через стену. — Басы должны тихо, как летний закат, гаснуть вдаль! — Но, поскольку послать туда было некого, вернулся к прерванному разговору: — Христианство христианством, но меня тревожит мысль — не скрывается ли за этим христианством хитрый политический расчет? Русским, должно быть, подумал Стамати, и на этот раз не удастся сломить сопротивление турок. После заключения мира турецкий полумесяц опять повиснет над Карпатами. А если это так, то не лучше ли заранее открыть ворота с юга...

— Это, конечно, тоже не исключено, — согласился митрополит.

— Теперь, если идти дальше в направлении этого рассуждения, нетрудно догадаться, что сам по себе епископ никогда не решился бы на такой дерзкий поступок, не будь у него сильной поддержки.

Митрополит вопросительно посмотрел на своего vicария, трансильванца по происхождению, который, разумеется, был лучше знаком с подспудными течениями

в среде молдавского духовенства. Потемкин напряженно ждал ответа.

— Как известно, — сказал викарий, — епископ Стамати — ученик, причем любимый ученик старца Нямецкого монастыря Паисия Величковского. Поговаривают, что он не раз ездил с посланием от Паисия к константинопольскому патриарху.

— Разве Паисий настолько близок к патриарху, что состоит с ним в переписке?! — изумился светлейший.

— Они в большой дружбе, — сказал митрополит. — Это одна из легенд всего христианского мира. К прославившемуся своей святостью монаху пришел сам патриарх, поклонился и омыл ему ноги. Потом они часто вдвоем служили литургии в Пантократиевском монастыре на Афоне. С тех пор дня не проходит, чтобы они не молились друг о друге и не писали бы друг другу.

— Ба, ба, ба! — воскликнул вдруг Потемкин. — А почему мне до сих пор не представили этого Паисия?

— Невозможно, ваша светлость. По причине старости отец Паисий уже не покидает монастырь.

— Когда идут кровопролитные бои между мирами христианским и мусульманским, каждый носящий на себе знамение креста должен сделать чрезмерное для себя напряжение. В числе прочих и монахи. Или, может, туда, в Нямец, война еще не дошла? Может, они предпочитают стоять в стороне от той великой борьбы, которую мы ведем?

— Нет, зачем же, — ответил епископ. — В стороне они не стоят. С начала военных действий под каменными стенами монастыря круглый год, день за днем, варится в огромных котлах мамалыга и фасолевая похлебка для беженцев.

— Мамалыга и фасолевая похлебка — это прекрасно, но не слишком ли это мало? Мы вправе были ждать от Нямецкого монастыря гораздо большей помощи, тем более что во главе монастыря стоит полтавчанин. И как бы он ни одряхлел на старости лет, думаю, в решительную минуту голос славянства, голос родины возьмет в нем верх!

Светлейший произнес это, точно выстрелил, и, застыв в полуобороте, сверлил своим зрячим оком митрополита, что обычно означало, что он произнес главное, составляющее суть беседы, и теперь ждет ответа.

— Видите ли, Григорий Александрович, — сказал мягко, несколько даже виновато митрополит. — Паисий

Величковский вышел так далеко навстречу богу, что для него земные дела...

— Разве монах — это человек без роду, без племени?

— Нет, конечно. Но, как сказано, для истинного христианина не существует ни эллина, ни иудея...

— Да, но когда идет война, и палат пушки, и льется кровь!!

— Истинный христианин, — сказал уклончиво митрополит, — всегда должен находиться под сенью божьей благодати независимо, стоит ли мир, идут ли сражения...

Глубоко верующий фельдмаршал долго рассказывал по молельне, стараясь привести в соответствие христианские догмы с интересами своего отечества. Нет, благодать — это свято, это трогать невозможно.

— Ах как он мне сегодня нужен, этот старец, с его огромным авторитетом, с его умом, с его близостью к патриарху... Послушайте, — осенило Потемкина вдруг, — а может, он на нас обижен? Может, мы ему чего-то недодали? Держава мы щедрая, а у щедрых одна забота — кому-то можешь не додать...

— Не додать ему немудрено, поскольку он вообще ничего не берет.

— Если не берет мирское, закажите церковное. Позолоченное Евангелие, пастырский крест с крупными бриллиантами. Титул какой-нибудь... Привяжите его к моей армии так, чтобы это было навеки. У него есть Белый клубок?

— Какой клубок! — сказал викарий. — Его пять лет уговаривали принять сан священника. Поговаривают даже, что на Афоне он оказался потому, что бежал от священнического сана. Когда его наконец уломали, он плакал как дитя... Мне, говорит, трудно перед богом за одну свою душу держать ответ, куда мне еще и чужие грехи на себя взваливать...

— Но потом он получал милости и звания от патриарха!

— Какие милости, какие звания, когда он до сих пор не имеет права рукоположения!

— Он что, даже не архимандрит?

— Да откуда у него архимандритство!

— Попов! Немедля отправить курьера в святой Синод...

— Ваша светлость, — встревожился митрополит, —

для начала надо бы получить его согласие. Представляете, в каком положении мы окажемся, если мы ему присвоим, а он возьми да выплюнь изо рта...

Потемкин прошелся еще раз по молельне.

— А давайте, — сказал он, — прижмем старика в угол! У них когда престольный праздник?

— На вознесение, — сказал vikарий.

— Прекрасно. На вознесение будем и мы участвовать в празднествах. Наша армия будет представлена вами, святой отец. Вы отслужите вместе с Паисием литургию, после чего с амвона при всем соборе объявите о присвоении старцу звания архимандрита. Старик у деваться будет некуда.

— Как вы считаете, сын мой? — спросил митрополит епископа.

— Это может получиться, — сказал vikарий, — если делать все не торопясь...

— Торопить не будем, — сказал Потемкин, — но вас, отец vikарий, как человека местного, знающего язык и обычаи, я попрошу позаботиться о том, чтобы весь цвет Молдавии, все, что еще от нее осталось, присутствовало на вознесении в Нянце. Вы что на меня так уставились? — спросил он вдруг.

— Какая-то печаль вас гложет, ваша светлость.

— Да вы что! Оглянитесь вокруг — все кипит во дворце, у меня сегодня гигантский бал!

— И все-таки я вас уже третий раз на этой неделе наблюдаю, и все время какая-то печаль гложет...

— Отец vikарий, послушайте моего доброго совета, — сказал, несколько понизив голос, Потемкин. — Никогда не беритесь читать на лбу вашего начальства больше того, чем позволяет вам ваша должность.

Дверь молельни приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить длинный артистический нос Сарти, известного итальянского композитора, украшавшего собой и своим искусством жизнь многих европейских дворов и приглашенного к концу жизни в Россию.

— Ваша светлость, не пожелаете ли присутствовать на последней, так сказать, генеральной...

— Да непременно, друг мой, как можно такое пропустить! Святые отцы, пойдемте с нами, право, не пожелаете...

— Что вы, Григорий Александрович, как можно такое предложить лицам духовного звания...

— Ну тогда благословите — и с богом!

Не дождавшись благословения, он тут же выскочил из молельни и, подхваченный цветником готовых к выступлению танцовщиц, исчез в сумраках длинного коридора.

На первом этаже перед вконец взмокшим от хлопот этого дня штабс-капитаном Чижиковым уселись два полковника.

— Мне чтобы инструкция была, — сказал полковник-пехотинец.

— Какая инструкция?

— Я готов, — продолжал полковник сердито развивать свою мысль, — готов выстроить в каре любое количество солдат, но мне должно быть строго указано место и образец построения. Не надо думать, что многократное «ура!» может быть произведено где угодно и как угодно.

— С вашего позволения, — подал голос более миролюбивый полковник артиллерии, — и я желал бы получить разъяснения. Уж если пехота нуждается в инструкциях, то мне, по крайней мере, нужна схема расположения орудий и система сигнализации. Двадцать шесть артиллерийских залпов — это уж как-никак малая канонада...

— Да зачем многократное «ура!»? Кому нужна малая канонада?

Полковники переглянулись — он что, с луны свалился?

— Готов разъяснить, — сказал полковник артиллерии. — Количество залпов, говорят, определено возрастом той особы, в честь которой дается бал. Без точной сигнализации мы не сможем увязать канонаду с наступлением того решительного момента...

— Да какой решительный момент может быть во время бала?

— Он совсем еще дитя, — пожаловался полковник артиллерии полковнику пехоты.

— Видите ли, господин штабс-капитан, — сказал более напористый, но и более щедрый на подробности пехотинец, — по существующему расписанию во время этого бала двое лиц, не будем их называть поименно, должны удалиться в некое подобие землянки. В дверях землянки будет дежурить Боур, самый посвященный из всех адъютантов фельдмаршала. При наступлении ре-

пьющего момента он должен подать сигнал на улицу, и тогда последует многократное «ура!», сопровождаемое двадцатью шестью артиллерийскими залпами...

У Чижикова лицо побелело и вытянулось. Такое поведение было равносильно смещению с должности.

— Погодите минутку. Я сбегая наверх и выясню.

Едва он вышел, как в дежурку ввалился усатый капитан. Поглазев на обоих полковников, он в конце концов обратился к тому, который сидел поближе:

— Господин полковник, разрешите доложить! Братья Кузьмины доставлены мной с Кавказа и ожидают дальнейших распоряжений.

— Братья Кузьмины?! — переспросил полковник пехоты. — В каком они звании?

— Рядовые оба, но прославили себя тем, что изрядно пляшут цыганочку.

— Позвольте, как они могут плясать цыганочку, будучи оба мужского пола?

— А это ничего. Один из них повязывается платочком, надевает юбочку и легко сходит за цыганочку. У них все свое — и платочек и юбочка.

— Но позвольте, — не унимался полковник, — если взглядеться, разве не видно, что это никакая не цыганочка, а переодетый солдат?

— Если взглядеться, оно, конечно, видно, да зачем взглядываться?

— Интересное вы мне дело предлагаете — посмотреть цыганочку, не взглядываясь, однако, в сам предмет!!

Более миролюбивый и потому более склонный к юмору полковник артиллерии спросил:

— Что же, за этими двумя плясунами вы ездили на Кавказ?

— На самый что ни на есть. Шесть недель пути — три туда, три обратно.

— И кому они тут, в Яссах, понадобились?

— В точности не могу доложить, но, говорят, у светлейшего есть одна красавица, обожающая цыганские пляски. Говорят, что ни покажи ей, все не то. И вот, прослышав от штабных лекарей, что на Кавказе есть такие братья Кузьмины, князь отдал приказ немедленно выехать за ними...

А тем временем с верхнего этажа летел по мраморным лестницам штабс-капитан Чижиков. Все уладилось, он продолжал оставаться при своей должности.

— Господа, вот схема размещения солдат, а вот выделенные места для артиллерии. О сигнализации узнаете дополнительно вечером. Слушаю тебя, капрал.

— Господин штаб-капитан! Братья Кузьмины доставлены мной...

— Наконец-то! — завопил Чижиков. — Наконец-то! Светлейший уже который раз о них справлялся...

Ровно в десять в переполненную гостями залу под звуки фанфар вошел светлейший. Его встречали как коронованную особу. Гости, выстроившись вдоль стен в два ряда, замерли в глубоком поклоне, а он шел по образовавшемуся проходу, кого-то высматривая своим единственным глазом, но нет, он ошибся, если думал, что та, которую он высматривал, будет дожидаться его в толпе гостей.

Когда он дошел до середины зала, появилась наконец княгиня Долгорукова. Она шла с противоположной стороны. Это была неслыханная наглость — войти уже после хозяина бала, но княгиня была так хороша, так грациозна, светлейшему ее так не доставало, что, даже если бы она с потолка свалилась, он бы все равно ее принял благоговейно на вытянутые руки.

Она медленно шла, одетая на манер греческих богинь — в светло-вишневом хитоне, ниспадавшем свободно с плеч до самого пола. Точеный нос, гордый профиль римлянки, тугий узел черных волос удивительно сочетались с этой вишневой мантией. К тому же сама мантия была в некотором смысле одеянием условным, потому что при движении сквозь боковые разрезы выглядывал дымчатый костюм одалиски.

— Бог ты мой! — воскликнул светлейший, неисправимый раб женской красоты. — Поклониться — и помереть!

Грянул оркестр, и долгожданный праздник вырвался на волю. Более четырехсот музыкантов, находившихся на содержании князя, принялись показывать свое искусство. Венгерские скрипачи, молдавские свирели, еврейские и цыганские оркестры. Бал разворачивался во всю удаль потемкинских загулов. Сверкал хрусталь, блистали мундиры, в гипнотических разбоях упражнялись украшения придворных дам. Добротное сукно мундиров чередовалось с тончайшими восточными шелками, французская речь тут и там спотыкалась о непередаваемые русские

обороты, белое, розовое, красное шампанское клубилось в бокалах, труппа молодых парижских танцовщиц исполнила на редкость смелый дивертисмент, доведя винную хмель до апогея.

Весь вечер Долгорукова танцевала только со светлейшим. Частые выступления на сцене придворного театра научили ее долго и тонко управлять всеобщим вниманием. Глаза светятся азартом, лихостью, выдумкой. Она только-только разошлась, когда вдруг сама же первая заметила, что грузному, не совсем еще поправившемуся после болезни фельдмаршалу становится все тяжелее и тяжелее выдерживать ее молодой задор.

Славившаяся не только красотой, но и умом, княгиня, улучив минуту в разгар всеобщего веселья, спросила Потемкина громко, на весь зал:

— Князь, не дразните нас нашим же любопытством! Скажите наконец, что там у вас за дверьми из грубо сколоченных досок?

Она любила ошарашивать, или, как тогда говорили, фразировать гостей. Но и Потемкин был не последним по этому делу мастером. Приняв предложенную игру, он ответил тоже громко, на весь зал:

— Душа моя, за теми дверьми находится то, что вы пожелали увидеть в моем доме, — солдатская землянка в натуральную величину. Одна из тех, в коих проходит жизнь нашего воинства.

— А можно мне одним глазком взглянуть?

— Она ваша!

Княгиня подошла к дверям, посмотрела в щелку.

— Брр, да там страшно и темно. Горит всего одна свечка.

— Что поделаешь, — сказал князь, — в землянках канделябры не вешают, им по уставу там не полагается быть.

— А вдруг мне там станет скучно или страшно? — не сдавалась княгиня. — Я могу туда кого-нибудь с собой пригласить?

— Я полагаю, — сказал светлейший, тяжело дыша от нахлынувших чувств, — я полагаю, тот, на кого падет ваш выбор, будет счастливейшим человеком...

— В таком случае, возьмите это счастье себе.

То ли выпитое шампанское подействовало, то ли кровь молодая взыграла, но княгиня решительно дернула створку дверей и скрылась за ними. Бал притих, гости замерли. События разворачивались с невероятной бы-

стротой. Светлейший подошел к столу, взял бокал с шампанским. Около пятисот гостей молча подняли бокалы, как бы поздравляя главнокомандующего с этой невероятной победой.

Адъютант фельдмаршала Боур, дежуривший в дверях землянки, подал на улицу первый сигнал, и морозная ночь взорвалась мелкой дробью полковых барабанов. Глубоко вздохнув, расправив богатырские плечи, орлиным оком окинув зал с гостями, всю державу, весь мир, гордый и счастливый баловень судьбы отпил несколько глотков вина и направился в землянку.

Когда он уже был в дверях, вдруг откуда-то выросла перед ним фигура неповоротливого Чижикова. Он стоял до того глупо, неловко, что могло создаться впечатление, будто он хочет преградить светлейшему путь в землянку.

— Прочь, — тихо, одними губами приказал князь.

— Ваша светлость, — пролетел Чижиков, — очень вас прошу, всего одну минуточку, ваша светлость...

Он говорил и все смотрел куда-то в глубь зала. Потомкин повернул туда голову и увидел семенившего к нему Попова.

— Ваша светлость, — сказал взволнованный Попов, — срочный пакет из Петербурга.

— Нашел, дурак, время для доклада. Вон!

— Ваша светлость, на пакете помечено рукой государыни: «Вскрыть немедленно при получении».

«Либо шведы напали, — подумал князь, — либо Пруссия объявила войну. В любом случае приятного мало».

— Ну, князь, что же вы? — спросили из землянки.

На улице мороз. Барабаны бьют, многотысячная толпа замерла в переулках, прилегающих к дворцу. Гости стоят с поднятыми бокалами, греческая богиня волнуется за дверьми из грубо сколоченных досок, а светлейший князь, склонив огромную голову набок, прищурился своим единственным зрячий глаз, размышляет.

— Отнесите пакет в молельню. Я ознакомлюсь с его содержанием тотчас, как только освобожусь.

— Но, — сказал Попов тихо, — это тоже невозможно сделать. Пакет все еще находится в руках курьера государыни, и он настаивает, чтобы непременно в ваши руки...

— Кто таков?

— Поручик Зубов.

— И ты не можешь отобрать пакет у поручика Зубова?!

— Затруднительно, ваша светлость, по той причине, что с некоторых пор поручик Зубов состоит среди самых доверенных лиц ее величества...

— Да с каких это пор Зубовы стали известной фамилией на Руси?! — захохотал на весь зал Потемкин.

— Ваша светлость, — залепетал совсем уже тихо Попов, — за время вашей болезни произошли важные события, о которых в виду вашего самочувствия не было вам своевременно доложено.

Потемкин стоял огромный, свирепый. Он готов был выпшвырнуть в окно своего помощника, но усилием воли сдержал себя. Хоть и главнокомандующий, хоть и могущественнейший вельможа, друг и, по утверждению многих, супруг государыни, Потемкин прекрасно понимал, что нету в мире ничего быстротечнее власти. И чем больше ты ее накопил, тем большая вероятность ее потерять, ибо сам процесс накопления власти сверх всякой меры есть начало ее потери.

— Если за время моей болезни, — сказал Потемкин, чеканя каждое слово, — произошли какие-то чрезвычайные события, о которых мне не было своевременно сообщено, доложите немедленно.

— М-м-м... — начал было Попов, но Потемкин прервал его:

— Короче.

— Князь Дмитриев-Мамонов, друг и воспитанник государыни, как известно, получил отставку.

— Это для меня не новость. Пустой был малый. Теперь я сам подыскиваю подходящего друга для нашей матушки.

— Поздно, ваша светлость. Этой старой лисе, Салтыкову, удалось продвинуть своего ставленника.

— О ком речь?

— О командире караульной роты ротмистре Зубове.

— Как?! Да возможно ли, чтобы ротмистр...

— Генерал, ваша светлость, генерал-адъютант ее величества.

— Что, уже и генерал?

— Генеральство — это что? Ему, говорят, оказывают такое доверие, он, говорят, вошел в такой фавор, что вознамерился переменить направление всех государственных дел. Не случайно же он дошел в своей наглости до

того, что направил своего родного брата с донесением к вам...

— Поручик с пакетом его родной брат? Гм. Пакет придется принять.

Штабс-капитан Чижиков крикнул:

— Поручика Зубова!

Другой адъютант, дежуривший над мраморными лестницами, повторил команду, и вот через весь зал несется розовощекий, красивый поручик, сияющий от мороза, от молодости, от предчувствия предстоящей блистательной карьеры.

— Ваша светлость! Поручик Валериан Зубов с личным от ее величества государыни пакетом.

Получив пакет, Потемкин тут же, не распечатывая его, передал Попову. Взялся было за створку дверей, там его ждала красивейшая женщина России, но поручик пожирал его глазами, выклиная хоть какое-нибудь слово в награду за долгий путь из Петербурга в Яссы. Гости следили, не дыша, за этим наглецом.

— Скажите, — нарочито высокомерно спросил фельдмаршал, — вы родственник того самого ротмистра Зубова, который, сколько мне помнится, командовал караульной ротой дворца?

— Так точно, ваша светлость. Родной брат генерал-адъютанта Платона Зубова.

— Кому же он, получив генеральский чин, передал свою караульную роту?

— С вашего позволения, командовать караульной ротой дворца поручено мне.

Князь долго разглядывал розовощекого нахала.

— Что ж, — спросил он наконец, — много вас, Зубовых?

— Четыре брата, не считая отца, который еще находится на службе и тоже, вообразите себе, возымел желание быть представленным ее величеству.

— Ну, еще бы, еще бы... При таких молодцах! Ладно, поручик, — сказал он наконец, — отдохните с дороги, а завтра чуть свет вас будет ждать ответ для государыни.

— С вашего позволения, светлейший князь, я хотел бы остаться при вашей армии. Кстати, государыня тоже просит об этом.

— Вот как! Вы имеете доступ к содержанию писем ее величества?

— Государыня меня балует, — признался, краснея,

поручик. — Они меня ужасно как балуют. В день моей отправки стояли на редкость сильные морозы, и государыня в знак особого ко мне расположения... Оставьте меня, князь, при своем штабе. Право, не пожалеете.

— Хотите большой чин получить в деле?

— До большого чина я вряд ли дослужусь, потому что, как известно, и дел-то особых тут, на юге, не предвидится.

— Откуда вам, поручик, может быть известно, предвидятся ли тут, на юге, большие дела или нет?

И вдруг этот юный птенец, расправив тощие крылышки, пошел на всесильного орла.

— В своем письме, — сказал он несколько назидательно, — государыня настаивает на том, чтобы как можно скорее заключить мир с турками и вернуть армию в собственные ее пределы.

Поскольку фельдмаршал стоял оглушенный этой наглостью, поручик, передохнув, двинулся еще дальше:

— Государственные дела, светлейший князь, начинают принимать другое направление.

— Уже?

— Уже.

С досады рука светлейшего потянулась к дверям землянки, но сам он все еще раздумывал. Нет. Предстояло многое осмыслить, прежде чем войти туда, и потому, аккуратно прикрыв двери, бледный, усталый, он прислонился к ним, потому что его вдруг качнуло. Болезнь, видать, все еще не отпускала. Надо бы выпить глоток и пожевать чего-нибудь, чтобы успокоить нервы. Полтысячи народу у него в гостях, и никому в голову не придет подать бокал, потому что всем бесконечно сладко смотреть, как всесильный Потемкин вдруг качнулся. Ах, продажные вы твари...

Медленно, неохотно вернулся к столу. Гости встретили его возвращение с недоумением и на всякий случай высоко подняли бокалы. Потемкин подумал, что, вероятно, с той же готовностью, с которой они сегодня поднимали бокалы, завтра они будут гулять на балу у Зубовых. Близится это времечко, увы, против этого ничего предпринять невозможно. Он давно предчувствовал неминуемость перемен, даже, можно сказать, способствовал их приближению, но чтобы так вдруг...

Эпохи создаются личностями, в этом князь был уверен, потому что сам всю жизнь в поте лица созидал то, что принято было потом именовать екатерининской эпо-

хой. Беда, однако, в том, что не только крупные личности создают эпохи. Сильные личности, как правило, опираются на то, что есть сильного в народной массе; серые впитывают в себя всю бесцветность эпохи, ну а ничтожества взлетают на гребень волны, опираясь на то ничтожное, что заключено в человеческой природе.

Теперь вот опять смена караула... Больше всего светлейший боялся, что на русском небосклоне появится некое заведомое ничтожество, которое засучив рукава рьяно примется за дело, и полетят к дьяволу все его замыслы, все его труды. Кто бы мог подумать, что это наступит так скоро и что ими окажутся эти прохвосты Зубовы...

— Где мои щи? — спросил вдруг князь, побродив до этого своим единственным глазом по заморским яствам своего стола.

— Мы полагали, — пролепетал главный распорядитель, — что по случаю чрезвычайного бала...

— Мной было велено, — грохотал князь, — чтобы в любой час дня и ночи подле моей правой руки неотлучно дежурила литровая кружка кислых щей. И я в недоумении спрашиваю...

— Вот она, голубушка!! — докладывал между тем лакей, выросший как из-под земли с огромной фаянсовой кружкой.

Осушив ее одним духом, вытерев рот рукавом, князь глубоко вздохнул и, обратясь к своим гостям, вдруг заговорил устало:

— Кто из вас смог бы мне объяснить, что есть жизнь человеческая? Возьмем, к примеру, меня. Хотел славы — имею все знаки отличия, какие только существуют. Хотел власти — меня всюду встречают как государя. Хотел богатства — и нету счета моему золоту и моим именьям. Хотел, чтобы меня всегда окружали искусство и красивые женщины, и вот они, рядом, они все мои, но скажите, почему во все эти дни побед, благополучия и всяческого удовлетворения меня все время грызут черви земные, повторяя без конца, что все это суета сует и всяческая суета. Я тружусь день и ночь, я строю новый мир, в моих руках этот мир обрел черты, дыхание, а мне без конца кричат в оба уха, что все это есть суета сует и ничего более!!!

Сказавши это, он вдруг схватил со стола гигантскую вазу с фруктами, поднял ее над головой и что было силы грохнул об пол. Осколки хрустала разлетелись брызгами во все концы залы. Дежурный у окна, сообразив, что

остальная часть программы отменяется, подал на улицу сигнал отбоя, но дежуривший на улице офицер, ожидавший совсем другого сигнала, автоматически скомандовал начало триумфа.

В темной морозной ночи целый полк завопил многократное «ура!», после чего за монастырской стеной стали падать пушки. Растерявшиеся гости не придумали ничего лучшего, как считать вслух залпы. Их было в самом деле двадцать шесть. И когда умолкла канонада, скрипнула дверь и в залу вошла, щурясь от обилия света, виновница торжества, воистину красивейшая женщина державы.

— Что случилось, ваша светлость? — спросила она встревоженно. — Чем объяснить столь раннее «ура!» и ничем не обоснованные залпы?

Потемкин подошел к ней, грузно опустился на одно колено, поцеловал край вишневой мантии и ту таинственную дымчатую ткань.

— Душа моя, это прямо рок какой-то. Меня всю жизнь обвиняли в медлительности, в нерешительности при осаде и штурме крепостей. Похоже, и на этот раз я дам пищу моим врагам оклеветать меня, но поверьте, душа моя... Отложить штурм — это еще не значит отказаться от лавров победителя.

— Ну, это еще куда ни шло, — ответила княгиня. — А то я поначалу, услышав эти вопли, подумала: неужели светлейший по дороге ко мне нашел себе другую?

— Любовь моя, отпусти ненадолго, дай сокрушить Оттоманскую империю, и я не то что землянку во дворце, я, наоборот, в землянке для тебя дворец построю...

Последовала минута глубокого оцепенения. Как-то так получилось, что этот блистательный бал оборачивался началом зимней кампании, а такая перспектива решительно никому не улыбалась. Один только Боур, любимый адъютант Потемкина, лучше всех разбравшийся в сложных переходах потемкинских настроений, подошел к нему и вытянулся в струнку.

— Приказывайте, ваша светлость.

— Поднять по боевой тревоге войска гарнизона. Выдать солдатам трехсуточную норму питания и по фляге водки. Оставить в Яссах один батальон для охраны магазинов и лазаретов. Легкую и тяжелую артиллерию, весь запас фуража, питания и снарядов, все немедленно перегрузить и, выстроив войска в маршевые колонны...

— Ваша светлость, — попытался было вмешаться

в события Попов, — это будет равносильно нарушению заключенного на период зимы перемирия. Можем ли мы взять на себя ответственность, не согласовав...

Потемкину только этой реплики и недоставало, чтобы выплеснуть клокотавшую в груди лаву:

— Мы не можем предаваться удовольствиям, когда наши братья во Христе гибнут мученической смертью, прижатые к стенам своего храма! Всевышний нам этого не простит. Мера за меру, сказано в писании, и мы обнажим свой меч пред обнаженным мечом неприятеля.

— Да, но государыня... — все еще лепетал в забытьи Попов.

— В обращении к молдавскому народу по случаю начала войны государыня писала: «Се тот день, се тот час!» Да будет вам известно, господа, что слова эти обращены не только к молдаванам. Эти слова обращены и к нам, русским, и ко всему православному миру, и потому, принимая сегодня решение начать штурм последних турецких крепостей на Дунае, я повторяю за нашей государыней и говорю вам: «Господа! Се тот день! Се тот час!»

После мучительно долгой паузы княгиня спросила:

— И что же? Ратные дела в который раз задувают наши свечи?

— Ни в коем случае! — сказал князь. — Праздник продолжается.

— Но каким образом? Ведь назначен сбор! Мужчины уходят, а бал, состоящий из одних дам, очень быстро превращается в скучный базар, на котором всё продают и никто ничего не покупает.

— Какая может быть скука, душа моя! Да у меня такой сюрприз приготовлен, что пальчики оближете! Дежурный, где там братья Кузьмины? Сарги, кинь этим молодцам под ноги пару огненных цыганских переплясов...

В зимней ночи за окном трубачи играли тревогу. Ржали кони, неслись курьеры во всех направлениях, строились в маршевые колонны полки. Артиллеристы грузили на сани снаряды, огромные армейские фуры с трудом, со скрипом снимались с места. Хмурая, придушенная холодом армия, кляня судьбину, уходила куда-то в ночь, а во дворце Маврокордато двое солдат, привезенных с Кавказа, на удивление, на заглядение всем, легко и лихо плясали цыганочку.

# Блага земные

*Всякий народ имеет свой Бог помочь вам, друзья мои...  
смысл.*

*Екатерина II*

*Пушкин*

Всю зиму продержались холода, а к весне екатеринская шестерка тяжело и долго болела. Особенно меньшому досталось. На страстной неделе казалось — все, отдаст богу душу, тельце совсем остыло. Обливаясь слезами, Екатерина прижалась щекой к его головке и уговаривала — пусть он чего-нибудь да загадает, пусть пожелает себе чего-нибудь, а уж она постарается ему это достать. Посиневшие губы мальчика пролепетали — сладку ягодку хочу...

Екатерина бросилась на колени перед образом пречистой девы — она с ней обращалась как с живой соседкой, с госпожой, с повелительницей. Она так любила своего меньшого, что готова была для него на все, но в том-то и беда, что, по ее представлению, просить у бога о земном не пристало. Бог есть наш отец, но отец небесный, а не земной. И все-таки... Господи, исполни свою благодать на наши земли, сады, виноградники...

Времена были тяжелые, у бога просили обо всем со всех сторон, и только к концу войны судьба улыбнулась исстрадавшемуся миру сельских беженцев. После знойного, засушливого лета наступила мягкая, печально-задумчивая осень, и по дубовым лесам прошел слух о небывалом урожае на виноградниках. Бедные люди! В своих вечных скитаниях они и думать забыли, что есть такое чудо на свете — виноградная лоза, груженная сладкими гроздьями, но вот поди же ты...

Заброшенная вместе с отчим домом, запущенная вместе с родными полями, забытая вместе с мечтой о лучшей доле, эта славная лоза в назначенный срок нашла в себе силу и выпрямилась, расцвела, завязала плод и теперь стоит счастливая, согнутая в три погибели под бременем своего сладкого, хмельного груза. Вместе с ней ожил, заулыбался мир тружеников земли. Задумчиво, любовно светятся глаза в теплых лучах заката, и грезится каждому



счастливая доля, и на старых, забытых дорогах опять замаячили несбыточные мечты...

Страна ожила. Вот уж когда воистину оправдалась народная поговорка, гласившая, что, даже погибая, виноградная лоза плодоносит. Приняв этот небесный дар как подтверждение мудрости своих предков, сельские беженцы на этот раз задолго до опадания дубового листа начали возвращаться к своим очагам. Спешили, потому что виноградная ягода чуть что и уже осыпается. А еще спешили потому, что, как там ни толкуй, жизнь у каждого своя, и такая единственная, и такая недолгая, и так мало радостей на долю каждого перепадает, что если упустить и этот самым богом дарованный случай, то с чем же виться на тот свет, чтобы предстать перед всевышним?

Стучите, и вам откроется, просите, и вам воздастся... Околичане первыми спустились к Днестру мыть бочки, первыми начали снимать урожай, и над их селом первым взметнулся сладкий дух виноградного сока. Неповторимая, божественная пора уборки винограда! Господины, взяв себе в помощники малышню, собирают гроздь. Господари, пользуясь своим весом, закатав штаны до коленей, дают ягоду в большой дубовой кадке. Сыновья постарше несут и разливают эту размолотую массу по бочкам, и тихими лунными ночами кисло-сладкий запах только что нарождающегося вина наполняет надеждами приднестровские селения.

Выше голову, сказали виноградники, и ожили днестровские долины. Даже праведная Екатерина, унаследовавшая от родителей домик в низине и прозванная односельчанами «полевичкой», поскольку там, у реки, виноградник не особенно идет, и то собрала со своих пяти-шести кустов около двух-трех ведер гроздьев. Накормив досыта ребятишек, чтобы они потом всю зиму помнили, как в тот день наелись сладких ягод, она раздавила оставшиеся гроздья руками и оставила на пару дней бродить. Едва только сладкий сок начал подщипывать кончик языка, она собрала свою славную шестерку и тихим голосом, точно речь шла бог знает о какой тайне, поведала им, что это и есть знаменитый «тулбурел», то есть молодое вино. Пить его много нельзя, это грешно, да и голова потом болеть будет, но если так, глоток-другой для бодрости духа, тогда можно...

Угостив ребятишек, она подумала, что хорошо бы немного вина сохранить для нужд храма. Весной ей не раз приходилось бегать по селу. Она, бывало, выпечет просфо-

ру, а хорошего вина для причастия нету, потому что, хоть и много виноградников в селе, пьют его в три глотки, а то, что остается на дне бочки, стыдно нести в храм.

Хорошей пшеницы у нее немного было. Еще в начале войны отец Гэивэ дал ей на хранение миски две, и она из года в год высевала ее и убирала, но притрагиваться к ней не смела, потому что считала ее «храмовой». Теперь важно запастись хорошим вином с осени. Не особенно надеясь на свои винодельческие способности, Екатерина, взяв пустую бутылку, пошла по селу, с тем чтобы выпросить для нужд храма. Бог им дал так много, неужели они на самую малость поспеются?..

— Да какой там храм, — отвечали ей охмелевшие селяне. — Та наша церквушка, она же совсем развалилась! Лучше знаешь что? Давай танцевать. Говорят, ты кого хочешь перетанцуешь. Но не ме-ня! А то знаешь чего? Полюби меня. Полюбишь не задаром, я человек порядочный, вот те крест...

У виноградарей есть одна великая радость в жизни — рождение, как они говорят, молодого вина. Дожив до этого славного дня, Околина медленно погружалась в трясину сладкого хмеля, и то ли от вина, то ли от радости околичане как бы слегка ополоумели. У хмельного, как это давно замечено, язык становится неповоротливым, человек старается изъясняться как можно короче, приблизительней. В этой слабости Околина зашла так далеко, что даже, как это показалось Екатерине, стала изъясняться на каком-то странном, непонятном наречии. Во всяком случае, при всех своих стараниях они никак не могли уразуметь, о чем их эта бедная женщина просит, так же как и сама Екатерина не могла понять, что они такое несут в ответ. Потеряв половину дня, она вернулась домой удрученной и с пустой бутылкой.

Околина была не просто селом, в котором Екатерина жила. Околина была смыслом ее жизни. Если бы ей предложили на выбор — переехать в другое село или броситься в Днестр, она, ни секунды не медля, кинулась бы в воду. Ради Околины и ее храма она оставалась с шестью ребятишками с весны до поздней осени на берегу реки. В долгие мучительные ночи одиночества, когда село пряталось в кодрах и околичане дичали там в бездомности, она чувствовала себя воином, охранявшим обжитые Околиной кручи, могилы предков, храм, наливающиеся соком

гроздь. Бедная Екатерина! Никогда, даже в самые черные дни, не могла себе представить, что настанет день, когда она пройдет с детьми по селу, как по бесконечной, опустошенной хмелем пустыне...

— Это все наша вина, — пожаловалась своей шестерке Екатерина. — Прежде чем просить отца небесного о благах земных, нам следовало хотя бы храм перекрыть. Теперь, пока не опустошат бочки, они не придут в себя, а у хмельного какая уж там забота...

— Что же, хмельные, они совсем бога не боятся?! — спросила в ужасе Марица, старшая из ее дочерей.

— А это мы сегодня же выясним, — заявила Екатерина и, быстро убрав дом, выкупав в Днестре ребятишек, взяла небольшую икону пречистой девы, единственное, что осталось от их сельского храма, и пошла по селу. Приливы отчаяния у нее, как правило, чередовались с приливами мужества.

Впереди торжественно, с пониманием важности своей миссии шла сама Екатерина, неся икону, обращенную лицом ко всем встречным. Следом за ней, чуть поотстав, шла смущенная своим, как ей казалось, непомерным ростом Марица, старшая из ее дочерей, девочка светлая, разумная, молчаливая, готовая в любую секунду кинуться Екатерине на помощь. За ней брели две смугленькие, застенчивые сплетницы. Они шествовали, взявшись за руки, и все, что видели их глаза, тут же превращалось в сплетни, которые они немедленно передавали друг дружке. За сплетницами шагали два худеньких мальчика. Шли они дружно и похожи были друг на друга как две капли воды, но видно было, что они находятся в конфликте.

Замыкал это шествие независимого вида мальчик — виновник всего этого обидля в Околинэ, четырехлетний карапуз, которого наряжали главным образом в то, что оставалось от старших. В соответствии с доставшимися нарядами у него менялись имена — то он числился у них как Ницэ, то его звали уже Аницей. По правде говоря, неустойчивость пола, в котором он пребывал, его совершенно не тяготила, и теперь он шел в свое удовольствие, хозяйственно разглядывая рассыпанные по склонам домики. Увлечшись каким-нибудь щенком, он часто отставал, к великой досаде девочек-сплетниц, которые должны были всякий раз, когда он исчезал из виду, прерывать на минутку-другую свои сладкие перешептывания и возвращаться за ним.

— Я вхожу в ваш дом с ликом пречистой девы Марии, единственно сохранившимся образом нашего храма, которому молились ваши деды и прадеды...

Околина вся была в хлопотах. Туго налитые сладостью и хмелем гроздья ложатся в корзины, тяжелые корзины качаются на умеющих носить тяжести плечах. Забрызганные розовым соком ноги давят ягоду в кадках, а из гигантской бочки, охваченной тайной брожения, мутные струйки уже переливаются через край. У хорошего хозяина, однако, эти струйки тоже даром не пропадают. Как бы они ни растекались, в конце концов попадут в желобок, выдолбленный в камне, на котором стоит бочка. По желобку они собираются в большую глиняную миску, и по старому закону виноградарей, кто бы ни проходил мимо, может зайти, поднять миску и причаститься к трудам и радостям дома сего.

Для хозяев же эта миска с вытекшим соком — нужнейшая вещь: по ней можно составить себе более или менее точное представление о таинственных процессах, происходящих в бочке, а кроме того, вкусно ведь как! Другой раз прямо нету сил пройти мимо без того, чтобы не поднять эту липкую миску, потому что в ней, кажется, все, чего ты в жизни хотел, все, чего ты в жизни добивался...

— Я вхожу в ваш дом с образом пречистой девы Марии, последней иконой, оставшейся у нашей общины, чтобы смиренно просить вас прийти завтра чуть свет помочь нашему храму подняться из руин, дабы и он, в свою очередь, помог нам встать на ноги...

Опустив тяжелую миску, вытерев фиолетовые губы рукавом, околичане, раздобревшие, как никогда, приходили в восторг от ее посещения. Нет, вы посмотрите, какая умница, вы только послушайте, как красиво она говорит. А и вправду от той старой церкви одна только эта иконка осталась? Хорошо хоть ее сохранили. Также могла пропасть. Она же ее и сохранила — умница, ну прямо совсем молодчина. А то, что все это время, пока идет война, она торчит в пизине со своей ребятней, думаете, даром пропало? Думаете, бог не увидел ее, не услышал ее молитвы? Думаете, свалилась бы на нас эта манна небесная, если бы она с этими вот крохами не пела бы псалмы в той полуразваленной церкви?! Екатерина, милая ты наша, положи иконку на травку, ничего с ней не сделается. Возьми вот эту кружку, зачерпни из той вон крайней бочки — ну до чего вкусно, прямо сил никаких... А отчего

не хочешь? Ну, если ты фасоны при этом выказываешь, тогда вовек тебе остаться без храма. Скажи пожалуйста, мы к ней всей душой, а она фасонит! Короче говоря, выпьешь полмиски, придем завтра. Не выпьешь, сама же и меси ту проклятую глину, мало мы ее перемесили на своем веку, вон все ноги перекалечены...

Два раза сй все же пришлось уступить. Первую кружку она выпила в доме старого Пасере, и, видит бог, деваться было некуда. Старику Пасере, настоящая фамилия которого была Крунту, шел восьмой десяток. У него давно повыпадали зубы, нижняя челюсть подходила к кончику острого носа, но шальные глаза по-прежнему смотрели молодо и воровато, откуда и прозвище пошло — Пасере, то есть птица. Человек он был коварный, разумнее всего было с ним не связываться, но у него были три здоровенных сына, живших с ним под одной кровлей. И хотя сыновья, как и их папаша, были смурными, все они славились силой и хваткой. Без их помощи и думать нечего было о восстановлении храма.

— Я вхожу в ваш дом с образом пречистой девы Марии, последней иконой, оставшейся от нашего храма, и смиреннейше прошу вас...

— Чего-чего-чего?

У старика Пасере был лучший в Околинe виноградник, и он тоже давил за домом ягоду в кадке. Почти совсем оглохнув на старости, он сохранил звериный нюх, когда дело касалось его добра, и, стояло хотя бы тени коснуться его забора, он уже был тут как тут.

— Чего она такое говорит?

Сыновья, сидя на завалинке, обставленные со всех сторон кружками с молодым вином, чистили свою амуницию. Совместно с русской армией в сражениях участвовало несколько полков молдавских добровольцев, так называемых арнаутов. Сыновья старика Пасере тоже были арнаутом. Кроме добытых в бою трофеев, они получали от русской царицы по рублю в месяц, харч и фураж для лошади. В зимнее время, когда воюющие стороны заключали меж собой перемирие, сыновья Крунту возвращались к отцу и всю зиму зубоскалили, попивая вино, вплоть до наступления следующей летней кампании.

— Чего она хочет-то?

Будучи глухим, старик каким-то образом слышал решительно все, что говорили сыновья, и пользовался обычно их услугами, когда нужно было с кем-нибудь объясниться.

— Народ созывает, — крикнул старший из сыновей. — Хочет церковь починить.

— Чего ее чинить, когда она развалилась.

— Без церкви нам нельзя, — передала ему через сыновей Екатерина.

— Ясное дело, нельзя. Но это дело не наше. Это дело попа.

— У нас нету священника, — ответила тем же способом Екатерина.

— Чего она такое говорит?

— Говорит, попа нету.

— Ну а если попа нету, зачем нам церковь?

— Чтобы замаливать грехи.

— Что она сказала?

— Говорит, грехи замаливать!!

— Да какие могут быть грехи во время войны? — хихикнул старик. — Во время войны один капитан ответчик перед богом, а все остальные пей да гуляй!

При этих словах старик Пасере вспомнил, что был тут где-то еще один бочонок, который он совершенно упустил из виду, а этого ни в коем случае делать не следует... Первые же глотки привели его в состояние совершенного восторга. Зачерпнув полную кружку, он направился к Екатерине.

— Ну что вы, как можно...

— А почему нельзя?

— Потому что при мне дети, при мне образ пречистой девы.

— А что такого? Вино, если хочешь знать, это самое что ни на есть чистое дело. Разве не сказал господь: пейте, это моя кровь...

— Он сначала сказал — ешьте, это мое тело, и только потом сказал о вине.

— Хлеба ты спроси в соседних селах, у полевиков, мы этим не занимаемся.

— Ну так вы придете завтра помочь?

— Выпьешь — придем.

— Вчетвером?

— Если до дна выпьешь, вчетвером.

И она выпила. С трудом, давясь, захлебываясь. Дети, собравшись вокруг, в ужасе следили во все глаза, потому что кружка была огромная, и в кислотовато-мутном соку плавали кожица от ягод, темные зернышки и бог знает что еще. От начавшей бродить массы человек не пьянеет, но у него слабеют ноги, они вдруг становятся совсем как

важные. Идти дальше по селу после своего грекопадения Екатерина уже не могла и, выбравшись из Околины, долго шла по днестровской круче в сторону леса.

Вторую кружку ей пришлось выпить в доме некоего Тайки, родича старика Пасере. Его фамилия тоже была Крунту, но в селе никто фамилий не признавал, обходясь прозвищами. Этот Тайка жил в двух верстах от села у самого леса. Судьба вынудила Екатерину метаться меж этими двумя Крунтулами, ибо если у первого, по кличке Пасере, было трое крепких сыновей, да и сам старик был еще в силе, то второй Крунту, по прозвищу Тайка, был богат. Каким образом и откуда к нему пришла удача, так никто толком и не знал, и злые языки утверждали, что он потому и перебрался к самому лесу, чтобы это навсегда оставалось тайной.

Собственно, большой тайны тут не было, ибо если у Пасере нос был острый, то у Тайки он был крупный, мясистый, всегда в работе. Этот нос, по утверждению многих, из-под земли мог разнюхать все, что угодно, и Екатерине, надумавшей хоть как-нибудь поправить храм, нужно было не столько богатство Тайки, сколько его большой мясистый нос...

Шла она к нему долго. Во-первых, ноги были как чужие, во-вторых, дети все время отставали, в-третьих, Тайка был для нее большой загадкой. Он совершенно не почитал храма, никогда туда не показывался, даже детей своих жена крестила без него, ссылаясь на то, что муж в отъезде. Но при всем своем безбожии он по каким-то таинственным причинам глубоко уважал Екатерину, никогда не проходил мимо, не обменявшись с ней хотя бы двумя-тремя словами. Екатерина была уверена, что, о чем бы она его ни попросила, он это сделает, но, будучи верующей, считала большим грехом брать что-либо у язычников, как она обычно называла людей, не признававших бога. Она и теперь ни за что бы не пошла, если бы не та кружка вина...

Единственное, в чем Екатерина была уверена, это что ее там не заставят пить мутную брагу, ибо у Тайки не было ни одного виноградного листочка во дворе. Весь свой двор Тайка засадил сливами. И перед домом, и за домом, и в глубине, за хозяйственными постройками — всюду, где можно было втиснуть сливовое деревце, оно было втиснуто, причем не тот распространенный всюду в Молдавии чернослив, а другие, низенькие, мясистые, завезенные им из Валахия...

Осенью, собрав горы слив и дав им чуть подгнить, он начинал гнать из них особую водку, называемую цуйкой. Долгие недели курился дымок над хозяйственными постройками, потом полные бочки цуйки зарывались в землю, чтобы отбить запах, затем в середине зимы или ближе к весне Тайка доставал те бочки и снова принимался перегонять цуйку, и снова закапывал в землю.

Кроме слив и цуйки, у него была еще одна страсть в жизни — интриги. Его огромная голова, похожая на спелую тыкву, распираемую собственными соками, казалось, была нарочно создана для того, чтобы прикидывать, кого на кого можно натравить. Он с малых лет знал, кто с кем не ладит, но помирится, а кто с кем хоть и дружит, но станет со временем смертельными врагами. В пятнадцать лет ему Околины уже было мало, он стал шнырять по соседним селам, а потом ему и днестровских долин было уже мало, и он, как утверждали злые языки, стал заглядывать через забор в соседние страны.

Это было похоже на правду, он действительно по временам исчезал. То были странные, загадочные исчезновения. И хотя он с пустыми руками уходил и с пустыми руками возвращался, достаток его каким-то образом рос после каждого такого путешествия. Вероятно, именно для того, чтобы скрыть эти свои дальние исчезновения, он и построился далеко от деревни и, расположив кругом дом с постройками, соединил их меж собой высоким каменным забором, который потом обмазал глиной, отчего все это заведение подле леса и было прозвано в селе глиняной крепостью.

Война для Тайки была самой что ни на есть горячей порой. Он ни у кого ничего не выпрашивал, ни от кого ничего не пытался узнать, но, когда его толстый, мясистый нос говорил ему, что пора отправляться в путь и именно в ту вот сторону, он грузил на телегу бочки с цуйкой, запрягал и, кажется, за все годы войны не пропустил ни одно крупное сражение.

Трофеи, как известно, играли в те войны большую роль, и, одолев врага, солдаты тут же, на поле брани, начинали дележ и распродажу имущества, захваченного в бою. Основной разменной монетой было крепкое вино, и Тайка, по слухам, разбогател неслыханно. Из одной очень удачной поездки он даже привез с собой молодую, красивую монашку. И хотя у Тайки жена была еще молода, здорова, бывает же, чтобы в богатых домах жили еще какие-то женщины на каких-то правах, а если это водилось

в других богатых домах, почему это не может водиться и у Тайки?..

— Я вхожу в ваш дом вместе с образом пречистой девы Марии, последней иконой, сохранившейся в нашей общине, чтобы просить вас прийти завтра помочь нашему храму подняться из руин, дабы и он, в свою очередь...

Тайка стоял в чуть приоткрытых воротах своей глиняной крепости и, занятый сверх всякой меры, морщился оттого, что никак не мог взять в толк, чего она от него хочет. В длинном, почти до земли, грязном переднике он был похож на кузнеца, и только его огромные, волосатые, сильные руки были в сливовой жижице. Четверо отчаянных шавок пытались проскочить меж его ног и броситься на Екатерину и ее малюток. Тайка отпихивал их ногами обратно во двор, злился оттого, что тратит время впустую, но уйти, не выяснив, что нужно Екатерине, не мог, потому что какие-то смутные инстинкты требовали проявлять почтение к этой женщине.

— Я вхожу в ваш дом с образом пречистой девы просить вас помочь...

— Да ведь та церквушка совсем развалилась, — сказал Тайка.

— В том-то и дело, что развалилась... — вздохнула Екатерина. — Потому-то и ходим по домам.

— А чего тут ходить! — сказал рассудительно Тайка. — Если что развалилось, ну, так тому и быть...

— Но она не вся, не до конца развалилась, — возразила Екатерина. — Стены еще стоят, и крыша тоже. И я подумала, если вы придете, и если братья Крунту придут, а они тоже обещались прийти, то вы все вместе обязательно придумаете, как ее починить.

— С ними придумаешь, как же, — сказал Тайка, презиравший своих родичей до того, что отрицал всякое с ними родство. — Они только и знают, что сосать круглый год эти кислые помои... У тебя отчего губы посинели? Неужто и тебя они совратили этим пойлом?

— Угостили.

— Чем занимаются, олухи... Народ спаивают.... И еще намекают на то, что, мол, их род основал Околину... Они ее по миру пустили, а не основали!

У Тайки была слабость — он до смерти хотел быть чего-нибудь да основателем. Он и с родичами ссорился из-за времени и обстоятельств основания Окоliny. В конце концов село прозвало его Тайка, то есть папаша, как

бы признавая, что он в самом деле когда-то что-то основал. Без этого показываться сюда было нечего, и Екатерина, притащившись из села, желая всей душой отстроить церковь, вынуждена была в разговоре вскользь намекнуть, что, хотя она и дала себя угостить старику Пасере, истинные околичане прекрасно знают, что, когда и кем было основано...

Преисполненный внутреннего удовлетворения, Тайка исчез ненадолго в глубь двора и тут же вернулся.

— Вот, — сказал он, протянув ей жестяную кружку с какой-то теплой жидкостью, — за помин предков, основавших, так сказать...

Бедную Екатерину мучило от одного вида, от одного запаха, но она прекрасно сознавала, что, откажись она, и порвется та таинственная ниточка, которая связывала ее с этим человеком, а жизнь впереди была еще такая долгая, и дети были такие маленькие...

— За помин всех наших, — храбро заявила она и, взяв кружку, куда-то уплыла вместе с ней. Екатерина почти не помнила, как вернулась домой. Под утро ее начало рвать так, что казалось, все, отдаст концы, но, отлежавшись на печи, встала чуть свет, вспомнив, что создала село, быстро собралась и вместе с сонной ребятней, вместе с верной Ружкой взбежала по крутой тропке наверх. Пока за Днестром занималась заря, она натаскала воды, замочила гору глины, сложенную прямо посреди крама, заткнула край юбки за пояс и залезла ногами в эту холодную массу. Шел час за часом, она месила глину медленно, усердно, все ниже опуская голову, чтобы дети не видели ее растерзанной, чтобы дети не видели ее печальной, чтобы дети не видели ее плачущей...

Увы, плачущей, ибо солнце уже глядело из-за Днестра во все оконные проемы, а она по-прежнему трудилась в одиночку. Она месила глину и думала про себя: господи, кто бы мог знать четыре года назад, что, прощаясь с отцом Гэинэ, она видит его в последний раз! А между тем как взобрался он тогда на ту телегу, так она его больше и не видела. Тем же летом, застудив свои старые болячки, он помер где-то там, в лесах. Унесенную им утварь поделили меж собой бесприходские попы, хоронившие его в лесу. Говорилось, правда, поначалу, что они берут все это временно, как бы на хранение, а генерь неди поинци, где та утварь, где те попы.

Евангелие, за которое в свое время отец Гэинэ отдал кобылку с жеребенком, матушка, оставшись с детьми на

руках, выменяла на мешок кукурузной муки, потому что, перебираясь жить к своей сестре в соседнюю деревню, не могла же она пойти туда с пустыми руками. В конце концов от всей околинской церкви осталась одна икона пречистой девы, Екатерина забрала ее к себе домой, чтобы и та не пропала. А между тем война все шла, и сельские храмы делили участь полей, участь сел, участь народа, молившегося в них...

Стали налетать дикие голуби из соседних лесов. Они и раньше налетали, эти дикие голуби, и покойный отец Гэинэ, царствие ему небесное, целыми днями сиживал на церковных ступеньках и гонял их, чтобы не садились на крышу храма. Кидал в них камнями не хуже сельских мальчишек, так что в деревне по этому поводу похихикивали. Сама Екатерина, грешным делом, корила его — слыханное ли дело кидать камнями в голубей, когда в священном писании сказано, что дух святой снизошел над спасителем в виде голубя?!

После смерти отца Гэинэ дикие голуби день и ночь гуляли по соломенной крыше околинского храма. Они обжили ту крышу до того, что стали пролезать в щели на чердак, вили себе там гнезда, выводили птенцов. Радости Екатерины не было конца — целые тучи сизокрылых налетали, гуляли по крыше церкви в свое удовольствие, а между тем они своими розовыми лапками размололи ту крышу в труху, и, когда пошли обильные дожди, потолок церкви провалился вместе с опустевшими гнездами диких голубей.

Все следующее лето бедная Екатерина очищала храм от мусора. Она таскала на себе балки, куски глины, утешая себя тем, что, покуда стоят стены, алтарь и окна, все еще поправимо. Вон в соседних селах чуть ли не в каждом доме проваливались потолки, и что же? Принимаются люди из-за этого заново отстраивать дом? Даст бог, кончится война, созовут в Околинне клаку, это когда весь народ кидается на выручку, чтобы сразу порешить с каким-нибудь делом. А когда Околина собирается на клаку с хорошим настроением, да еще заведет длинную старинную песню, она может за день не то что потолок — новый храм не поставить может!

А между тем война все шла. И по-прежнему поздней осенью возвращались беженцы в свои полуразрушенные, опустошенные огнем деревни. Зимовать в доме без окон и без дверей — дело невеселое. Нужно что-то придумать. Уж так устроен глаз мужика, он все берет на примету,

все помнит, и, когда прижал холод, вспомнили, что в соседней, не горевшей еще ни разу ОкоLINE церковь полуразрушена, но окна и двери там сохранились.

Он уходил в небытие, этот скромный околинский храм, а жизнь в селе, в котором нету храма, казалась Екатерине немислмимой, невозможной, непостижимой. Потребность хотя бы два раза в день опуститься перед иконой на колени, чтобы очистить свой дух покаяниями, для нее была так же органична, как потребность в хлебе и в воздухе. Каждый день она готовилась к возрождению храма. Она накопала самой лучшей глины, какой только можно было найти, она натаскала мелкой соломы и конского навоза, чтобы было с чем глину перемешать. Она рассчитала свою жизнь до того дня, когда соберется село, чтобы возродить храм, но вот этот день настал, а она месит глину в одиночку, низко опустив голову...

Шестеро ребятшек, присмирев, сидят у стен на корточках и, наклонив шейки, стараются разглядеть снизу, как там матушка — сильно ли убивается или, может, отлегло? Чувствуя на себе их взгляды и будучи не в силах совладать со своим горем, Екатерина опускала голову все ниже, ниже и вдруг неожиданно вздрогнула, выпрямилась, и залитое слезами лицо, открыв себя, замерло от удивления.

Ангел возвестит тебе-е-е...

Каким-то чудом все вдруг ожило, высветилось, осмыслилось. Развален храм — ну так что же? А мы на что? Не бросилось село на помощь — ну так что же? А мы на что? Упали духом? А дух на что? Все это и еще многое другое вместил в себя удивительный по красоте, по чистоте голос, который вдруг взметнулся под съехавшей набок крышей полуразрушенной церкви. Стоя посреди глиняного замеса, Екатерина принялась быстро креститься. Ребятишки дружно пошли за ней работать правой ручкой, и только тут Екатерина увидела в проеме одного из окон, служившем теперь второй дверью, красивую молодую монашку.

Она пела не так, как обычно поют в сельских храмах — стоя кое-как, сложив руки на животе. Она развела руки в стороны ладошками вверх, точно держала на них огромный таинственный сосуд. Держа этот сосуд, обратив свой взор к высокому небу, проглядывавшему сквозь дырявую, съехавшую набок крышу, она пела ров-

но, красиво, торжественно, и ее голос, возвышенный мелодией и словами, казался храмом уже сам по себе.

С заткнутым за пояс подолом юбки, по колени в мокрой глине, Екатерина стояла с открытым ртом, потому что никогда еще божеское чудо и божеская милость не казались ей столь явными и близкими. А монашка все пела. Темная юбка и такая же кофточка скрывали крепкое молодое тело, которому это пение было в радость, и только на самых высоких нотах монашка чуть откидывала назад юное, сохранившее детские черты лицо, и на ее высокой шее показывались дрожащие в такт псалму тонкие прожилки.

«Господи, — подумала про себя Екатерина, — да ей петь в первопрестольных соборах, а не в этой развалине... и я как дура торчу в глине во время такого божественного пения...»

Выскочив на улицу, вымыла ноги у колодца, заново повязала платок, вернулась, готовая хоть целую вечность слушать удивительное пение, но, когда она вернулась, монашки уже и след простыл.

— Куда же она девалась?

Дети пожимали плечиками.

— Стояла вот тут, а теперь и нету ее...

В конце концов Екатерина ее отыскала. Монашка уходила высоким берегом вниз по Днестру, к той глиняной крепости возле леса. Должно быть, это и была та монашка, которую Тайка откуда-то привез и про которую в селе говорили какие-то гадости. Господи, о ком в селе гадостей не говорят! А между тем праведные околичане торчат с утра у своих бочек и носа не кажут, а именно эта монашка, хоть и чужой человек, пришла и божественным пением осветила развалины...

От отца Гэинэ Екатерина знала, что, когда знаменитые певчие посещают храмы и поют, им за это полагается вознаграждение. Увы, храм у них был бедный, совсем разрушенный, но все-таки это был храм, и его доброе имя, его достоинство не позволяли, чтобы после такого пения человек ушел просто так, без никакой благодарности.

— Ребятки, пошли домой...

В том году хорошо уродила в глубине двора «храмовая» пшеница, и она имела полное право воспользоваться ею. Недолго думая, Екатерина кинула мерку в свои маленькие жернова, смолочила, замесила тесто, развела огонь в печи. Поздно ночью, когда ребяташки спали, она до-

стала из печи прелестный румяный калач, и то, что ей этот калач особенно удался, она тоже отнесла за счет всевышнего благоволения.

Всю ночь ребятишки маялись, их тревожил сквозь сон запах свежеспеченного хлеба, священный запах жизни земной. Чтобы не мучить их, Екатерина, пока они еще спали, завернула калач в чистое полотенце, перевязала узелком, вышла из дому и отправилась вниз до Днестру к той одинокой глиняной крепости. Чем ближе, однако, она подходила, тем больше ее охватывало какое-то странное волнение. Что-то там, около леса, происходило этим ранним утром. Не дымится больше задворки, псарня умолкла, ворота настезь открыты...

Какое-то чувство подсказывало не спешить, и она, приловившись к створкам открытых ворот, выглядывала из этого укрытия, чтобы уяснить себе, что же там происходит. А там ничего особенного и не происходило. Просто напросто мясистый нос куда-то в большой спешке собирался. Посреди двора стояла готовая в дорогу телега с крытым верхом. Кроме запряженных лошадей, другая пара запасных была привязана к задку телеги. Жена Тайки и обе его дочери стояли на завалинке, как обычно стоят жены, отправляющие в дальний путь своих близких, а голосистая монашка, стоя посреди двора, по-мальчишески посвистывала, давая выход своему хорошему настроению. Она была в той же кофточке, в той же юбочке, но, увы, ни следа от вчерашнего благочестия. Теперь она казалась этакой мясистой, глупой кобылкой, ни о чем, кроме как о пастбище и водопое, не помышлявшей.

Стоя посреди двора, она насвистывала и при этом зазывно качала бедрами, как это делают женщины, когда хотят выяснить, не слишком ли длинна у них юбка. Это ее ритмическое раскачивание бедрами было настолько заразительно, что Тайка, несмотря на крайнюю спешку, проносясь однажды мимо, не смог удержаться, чтобы не шлепнуть кобылку по ляжке. Девушка с ангельским голосом приняла шлепок как должное, и только отмеченная хозяином ляжка азартно дернулась, как бы говоря — а попробуй еще...

«Мамочка, да это же грешница, каких мало!» — в ужасе подумала про себя Екатерина и, благо никто ее не заметил, тихо-тихо, спиной стала отходить от глиняной крепости. Когда она была уже довольно далеко, Тайка наконец выехал со двора. Рядом с ним на правах компаньонки сидела монашка. Грузенная бочонками телега булькала

вовсю на ухабах, но очень снешивший Тайка погнался прямо по полям, на запад, туда, куда вел его мясистый нос в поисках удачи и счастья.

Проводив их, Екатерина возвращалась кружным путем. Она шла по деревне такая одинокая, такая растерянная, что все ей виделось как в тумане. К тому же этот на славу удавшийся калачик своим бессмертным запахом поджаренной хлебной корки добивал ее шаг за шагом.

— Ты откуда идешь такая разнесчастливая?

Братья Крунту, сидя на завалинке, отмечали очередную чистку амуниции большим кувшином, который попеременно переходил из рук в руки. Обиженная на них Екатерина еще вчера поклялась, что в жизни с ними не заговорит, но теперь она была в таком смятении, что любое человеческое лицо, любой голос были в помощь и в радость.

— Знали бы вы, откуда я иду...

Братья Крунту выслушали историю испеченного калача, хохоча во все горло.

— Дура, как ему ее не шлепать, раз он с нею живет?

— Как живет?

— Ну, не знаешь, как мужик с бабой живут? Ложатся оба...

— Так он же венчаный!

— Ну, то жена. А то содержанка.

— Что значит — содержанка?

— Ну, кормишь бабу, содержишь и за то живешь с ней.

— Разве так можно?

— Если у кого есть лишние деньги, отчего нельзя!

— Но ведь это же грех!

— Ничего, Тайка и на том свете не пропадет! Он взял себе монашку в расчете на то, что, перед тем как пойти по рукам, она там, в монастыре, хоть сколько-нибудь да молилась...

— Вы сказали — перед тем как пойти по рукам?!

От хохота братья Крунту чуть не уронили кувшин.

— Да они оба на пару торгуют! Чуть только мясистый нос учует, что дело идет к заварухе, тут же грузятся на телегу. Он со своим товаром, она со своим, и живо, чтобы поспеть к окончанию баталии...

— Вы думаете, что и сегодня, выезжая со двора...

— То есть как выезжая? — наострили братья уши. — Разве он куда-нибудь собирается?

— Собирается? Да он уже бог знает где!

Братья замерли — сукин сын, опять надул их.

— Ты слышал, папаша? Мясистый нос улизнул. Только что.

Вся Околина знала, что у старика Крунту и его сыновей, помимо виноградника и походов на войну, была только одна забота — следить во все глаза за Тайкой. Приладившись к нюху своего родича, они довольно успешно устраивали свои собственные дела, но случилось, что эта bestия их надувала, сматываясь в одну секунду.

— Что будем делать? — спросил старший.

— По коням! — скомандовал старик. Он помог им быстро собраться в дорогу, проводил до ворот и после множества советов и наставлений крикнул вдогонку:

— Без монашки мне не возвращаться!

«Скажи на милость, и этот туда же! Господи, — взвыла про себя Екатерина, — отвернись от нас, когда мы придем к тебе просить о благах земных...»

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

# Свершение невозможного

*О, если бы вместо всех этих юбок имела бы я право природное носить штаны!*

*Екатерина II*

*Словесность отказывается за нею следовать, точно так же, как народ...*

*Пушкин*

После четырех лет кровопролитных боев русско-турецкая война вошла в ту драматическую стадию, при которой ни войны, ни мира. За четыре года были взяты основные турецкие крепости, прикрывавшие Оттоманскую империю с севера, — Хотин, Бендеры, Аккерман, а по Днестру все еще не шли баржи со снаряжением и провиантом для армии. Согласно первоначальному плану, разработанному в Петербурге, взятие упомянутых крепостей должно было открыть снабжение стотысячной армии по воде. Выйдя через днестровский лиман в Черное море, поток грузов должен был войти в устье Дуная, чтобы обеспечить армию на территории Болгарии, а между тем все это не происходило, потому что Измаил все еще оставался у

турок, а стратегическое положение крепости было таково, что, у кого Измаил, у того и Дунай.

Турки, несомненно, подозревали, что главное сражение произойдет именно здесь, и беспрерывно закреплялись в устье Дуная. К концу войны, защищенный гигантским земляным валом, обеспеченный запасами провианта и вооружения в расчете на самую длительную осаду, насыщенный отборнейшими войсками, Измаил в конце концов превратился в железный кулак Порты на Балканах, и эта крепость стала камнем преткновения во второй русско-турецкой войне.

На предварительных переговорах о мире, или прелиминарных переговорах, как их тогда называли, Измаил играл главенствующую роль. Хотя саму эту крепость старались не упоминать, за каждой фразой, за каждым пунктом, за каждой недоговоренностью скрывался Измаил. Измотанная четырехлетними боями, хронической нехваткой провианта и амуниции, русская армия была не в состоянии штурмовать Измаил, и турки это прекрасно знали. С другой стороны, турки, теряя эту крепость, проигрывали решительно все, ибо до самого Константинополя им не на что было рассчитывать.

Западная Европа, чрезвычайно встревоженная неожиданным расширением русских пределов, следила за балканскими событиями во все глаза. Представители Франции, Пруссии, Великобритании и Швеции оказывали на Константинополь чрезвычайный нажим, пытаясь заставить турок ожесточить свои позиции на переговорах. Порта, раздираемая внутренними смутами и военными поражениями, заявляла, что ей нужны не советы, а конкретная помощь. В результате группа французских инженеров все лето проработала над усилением оборонных сооружений Измаильской крепости, особенно ее артиллерии, и к осени 1790 года Измаил считался одной из самых неприступных крепостей Европы.

Петербург в лице военного министра фельдмаршала Салтыкова настаивал на штурме и взятии Измаила. Потемкин отвечал, что без серьезного пополнения сделать это невозможно. Петербург требовал свершить невозможное. Вообще если с этой точки зрения посмотреть на русскую историю, сплошь и рядом можно встретить критические ситуации, при которых свершить какое-либо дело невозможно, но крайне нужно. И тогда возникает заманчивая идея свершения невозможного.

Потемкин отвергал эту идею как таковую. Воспитан-

ный Екатериной в духе немецкого педантизма, он любил длительные подготовки операций, в результате чего многие историки склонны видеть в нем скорее мастера подготовки к войне, нежели полководца. Увлеченный затеями и интригами собственного двора, он всячески откладывал штурм Измаила, но в конце концов, уступив давлению из Петербурга, поручил генералу Репнину возглавить операцию. Адмиралу Дерибасу приказано было войти с кораблями в устье Дуная и отвлечь турецкую флотилию, прикрывавшую крепость, а Гудовичу тем временем начать сам штурм. Стоял ноябрь, лили сплошные дожди. Дерибас заставил турецкую флотилию отплыть вверх по Дунаю, но Гудовичу никак не удавалось преодолеть глиняные склоны гигантского вала.

Турки, как только начался штурм, покинули стол переговоров. Петербург настаивал на привлечении к осаде Измаила всех имеющихся на юге резервов. По достоверным сведениям, полученным из Константинополя, турки готовили к новой летней кампании свежую стотысячную армию. Потемкину рассчитывать на пополнение своей армии в течение зимы не приходилось — шведские и польские дела забирали у государыни все резервы. Чем меньше было шансов его выиграть, тем неминуемей становилось это сражение. При любых условиях оставлять Измаил в руках неприятеля было недопустимо, а брать его не хватало сил. И в создавшейся ситуации волей-неволей возникала мысль о свершении невозможного.

В южной армии была одна отчаянная голова, готовая каждую минуту идти в бой, и чем опасней, тем охотней, но Потемкину было очень непросто решиться поручить ей это дело. Взаимоотношения главнокомандующего с одним из самых одаренных своих генералов были крайне сложны и запутанны. Суворов, несомненно, любя главнокомандующего, пронично относился к его полководческим талантам. Потемкин, в свою очередь, бесконечно уважая Суворова, опасался его острого языка и безрассудства в бою. При штурме Очакова Суворов на свой страх и риск предпринял атаку под носом у Потемкина, не согласовав с ним это движение. И хотя бой был выигран и сам Суворов в том бою был ранен, Потемкин не мог простить ему этого своеволия и в качестве наказания подолгу томил его в бездеятельности, прекрасно зная, что для горячего генерала бездеятельность на войне хуже смерти.

Блистательные победы Суворова при Рымнике и Фокшанах, в которых он совместно с австрийским принцем Кобургом сокрушил едва ли не половину турецкой армии, мало что изменили в отношении главнокомандующего к строптивому генералу. Воздав должное победителю, он снова запер его в мертвой зоне. Всю долгую осень Суворов томился со своим корпусом под Фокшанами в ожидании распоряжений. Солдаты Гудовича мокли под стенами Измаила, турки готовили свежие силы, Петербург требовал решительных действий, а из штаб-квартиры главнокомандующего все не поступало рескрипта о выступлении.

Наконец в последних числах ноября к Суворову в Фокшаны прибыл курьер от главнокомандующего, молодой капитан с чистым, иконописным лицом. Суворов, распечатывая пакет, удивился про себя — скажи, какой красавчик! Прямо не штабной курьер, а ангел с доброй вестью. А не может ли так случиться, что судьба его послала, чтобы породниться? Дело в том, что у Суворова была любимейшая дочь, Суворочка, как он ее называл, и когда ему попадались на глаза стоящие молодые люди, он себя спрашивал — не этот ли? В данном случае — очень даже могло быть.

Не дочитав до конца полученную реляцию, Суворов приказал поднять корпус по тревоге. Собственно, и читать там особо было нечего. В туманном письме Потемкин разрешал Суворову сняться с места и идти на Измаил. С прибытием на место он назначался командующим всеми сухопутными и морскими силами, но вопрос о том, штурмовать крепость или нет, главнокомандующий представлял решить самому Суворову. Крепость эту, по нашему мнению, писал Потемкин, брать невозможно, но крайне нужно.

— Ответ будет, ваше сиятельство? — спросил курьер, пожирая Суворова влюбленными глазами.

— Ответ только после штурма.

— В таком случае разрешите мне, ваше сиятельство, остаться при вашем корпусе и участвовать в деле.

— Друг мой, штурм — это не бал во дворце.

Капитан Алексей Барятинский покраснел — должно быть, этот старик видел его где-то на балу.

— Ваше сиятельство, я хоть и не прочь при случае потанцевать, но проходил службу и получал офицерский чин в конногвардейском полку.

— В штыки умеете драться? — спросил Суворов.

— Я умею все, что мне прикажут, ваше сиятельство.

— Ну смотрите. На ваше усмотрение.

По дороге к Измаилу Суворову начали попадаться потрепаннные русские части, отступающие в беспорядке после очередного штурма. Подозвав Барятинского, он приказал ему:

— Из этих отступающих сколотите мне на ходу команду, причем имейте в виду, что дело может решить каждый лишний штык...

Главный вал Измаильской крепости тянулся в общей сложности на шесть верст, причем местами его высота достигала четырех сажен. С юга крепость защищалась волнами Дуная, вокруг остальной части был вырыт глубокий ров, наполненный водой. В конце ноября, к прибытию Суворова под стены крепости, вода во рву начала застывать тонким слоем льда, но лед был хрупок и обманчив. Чуть ступил, и он трещит, сука, на всю округу, а уж оповестив турок о твоём прибытии, не отпустит, пока не провалишься.

Приняв командование, Суворов начал разрабатывать план штурма. Оказалось, что в царившей суматохе не нашлось даже толкового плана крепости. У Дерибаса, храброго испанца, состоявшего на службе у императрицы, было около полудюжины затопленных турецких кораблей, которые он достал со дна моря и снабдил тяжелыми осадными орудиями. С них Суворов и решил начать.

Приказав подойти как можно ближе к крепости и открыть усиленную пальбу, имитируя начало штурма, он тем временем забросил с противоположной стороны команду толковых инженеров, которые, легко взобравшись на вал, составили обстоятельнейший план крепости со всеми внутренними постройками, переходами, мостами, складами, так что со временем многие историки склонны были в этом плане усмотреть главное условие, обеспечившее Суворову самую, может быть, блистательную победу за всю его долгую солдатскую жизнь.

Изучив доскональнейшим образом внутреннее расположение крепости, Суворов отвел войска вверх по Дунаю и в пятнадцати километрах соорудил точно такую же крепость, с таким же валом, с таким же рвом, затопленным студеной декабрьской водой. Разделив свои войска на колонны, Суворов начал репетицию штурма.

Семь суток, с утра до ночи, суворовцы, проклиная судьбу, карабкались по мерзлым отвесным стенам, падали

в ров, выплывали и снова лезли паверх, любой ценой, когтями, зубами, лишь бы добраться до того треклятого гребня, где, собственно, и должен был начаться настоящий бой.

Впоследствии участники штурма Измаила вспоминали эту репетицию с ужасом и благодарностью. Зимнего обмундирования все не было, а легкое летнее изорвали в клочья, карабкаясь по мерзлым склонам. Тем временем сверху беспрерывно лило: то дождь, то снег. С хлебом было крайне туго. Во всем мире войны, сумятицы, революции; почти никто не пашет, никто не сеет. Интендантам приходилось закупать по неслыханным ценам зерновые отходы — перемывать уже было некогда. Словом, сняв мешки с телег, тут же мололи, месили тесто на полковых кухнях, а чуть свет уставшие солдаты собирались в ожидании горячего хлеба, потому что, если упустишь время, хлеб с песком пополам закаменеет, и его уже невозможно разгрызть, а без хлебушка как ты на тот вал полезешь?!

Седьмого декабря, вернув тридцатитысячную армию под стены Измаила, Суворов предложил сераскиру Айдозле сдать крепость без боя. Предложение было отвергнуто с негодованием, и Александр Васильевич собрал военный совет. Он понимал, что потери будут крайне тяжелыми, и взять перед историей всю ответственность на себя ему не хотелось.

— Брать Измаил мы не можем, — сказал он на военном совете, — а не брать не имеем права. Предоставляю вам решать. Как решите, так и будет.

Военный совет постановил штурмовать крепость. Перецеловав всех членов совета, Суворов сказал:

— Сегодня учиться, завтра молиться, послезавтра — победа или смерть.

Десятого декабря шестьсот орудий начали обстрел Измаила. Турки ответили огнем. Непрерывные гулы накатывались раз за разом в течение всего дня, так что в сумерках горел уже весь город Измаил, да и сама крепость горела. С наступлением темноты начали штурм. Это было сражение, равного которому, вероятно, не знал весь восемнадцатый век.

В дыму и грохоте солдаты перекидывали через ров заготовленные накануне фашины, но фашины не выдерживали груза, тонули, и солдатам приходилось добирать-



ся вшасть. Прислонив к стенам крепости гигантские, заготовленные заранее лестницы, они гроздьями забирались по ним наверх, но наверху их ждали ухмыляющиеся турки. Шестами оттолкнув от вала лестницы, басурманы развлекались, следя за тем, как обвешанные воинством лестницы летят в ров с ледяной водой. Однако через минуту-другую, выплыв, солдаты снова прислоняли лестницы к валу и снова карабкались наверх.

К утру казачьему сотнику майору Нехлюдову, командовавшему егерями, первому удалось взобраться на северный вал. Следом за ним на восточный вал взобралась колонна, которой командовал Кутузов. Сопротивление турок было столь сильным, что вторая колонна, едва взобравшись, дрогнула и, казалось, вот-вот скатится обратно в ров. Кутузов запросил срочную помощь. В ответ он получил от Суворова записку, в которой сообщалось, что он назначается комендантом крепости. Как ни странно, этот клочок бумаги помог второй колонне удержаться.

Сразу после восхода солнца на западный вал взобрался Полоцкий полк. Стрелки сражались уже внутри крепости, когда прямым попаданием снаряда на их глазах разорвало на куски командира полка. Потрясенные этим зрелищем, солдаты, главным образом рекруты, дрогнули и в панике начали быстро спускаться обратно в ров. И тут завопил во весь свой дяконовский бас священник Полоцкого полка:

— Сто-о-ой!

— Командира убило, — отвечали ему в ужасе солдаты.

Сняв с себя крест, высоко подняв его над головой, священник крикнул:

— Вот ваш командир! За мной!

Связанные рукопашными сражениями внутри самой крепости, турки несколько ослабили давление на флотилию Дерибаса. Тонкий слух испанца сразу уловил эту перемену: он приказал кораблям подойти вплотную к стенам и высадить морской десант. Умолкли орудия, утихла ружейная стрельба. Оставались сабля, и штык, и зубы, и воля всевышнего, потому что никакой надежды, кроме как на бога, и никакой подмоги, кроме самого себя.

— Штыком! — кричал Суворов, взобравшись вместе со своим штабом в крепость, как только началось сражение. — Коли штыком неверных!

Этот нехитрый на первый взгляд маневр оправдывал себя. Суворов был уверен, что Измаил можно взять тем-

ко в штыки. Турок в пешем бою не умеет драться. Ему подавай кривую саблю да еще хорошего коня, чтобы его разогнать вместе с той саблей, а перед русским воином, стоящим с ружьем наперевес, он бессилен. Важно было только своих солдат довести до ожесточения, до белого каления, до того немыслимого состояния, при котором человек действительно совершает невозможное.

Измаил превратился в сущий ад. На небольшой в общем площадке был размещен гарнизон в сорок тысяч человек. К ним следует добавить не менее десяти тысяч гражданских лиц, искавших вместе со своим добром защиты в крепости. В разгар штурма на эти пятьдесят тысяч была брошена почти такая же армия, и эта масса народа, связанная единым узлом в смертельной схватке, вся в крови, в ярости, в пороховом дыму, металась на замкнутом пятачке.

Бой шел с утра до полудня. Вся территория крепости была завалена трупами. Около тридцати тысяч павших, каждый третий был убит, а бой между тем все еще продолжался, и солдаты ступали в буквальном смысле по трупам, потому что иначе передвигаться было невозможно.

Упорнейший бой шел возле подвалов с боеприпасами. Русские почти полностью ими овладели, но неожиданно один из подвалов взлетел на воздух, захоронив под своими обломками добрую половину взявших эти подвалы солдат.

Ободренные таким поворотом дела, турки пошли в контрнаступление, и склады стали попеременно переходить из рук в руки. А между тем их нужно было удерживать любой ценой, без этого и думать нечего было о победе.

Разгоряченный зрелищем всеобщего сражения, Суворов, подобрав ружье с примкнутым штыком у умирающего солдатика, сам кинулся в бой.

Когда склады были окончательно отбиты и Суворов уже подумывал отправить курьера с донесением об одержанной победе, вдруг ему с чего-то почудилось, что во время боя среди трупов на какую-то долю секунды он заметил удивительно знакомое, красивое, успевшее стать родным юношеское лицо. Ему почему-то понадобилось тут же вспомнить и отыскать, непременно отыскать его. Да вот же он! На гигантской насыпи свежей глины, перевороченной взрывом, угасало мертвенно-бледное лицо Барятинского.

— Лекаря!

— Не падо, ваше сиятельство, — тихо прошептали посеревшие губы юноши. — Я ведь уже на том свете, но бог сподобил меня увидеть, как следует сражаться в штыки... Благодарю вас... — Улыбнувшись, добавил: — Погубил-таки начальник хора...

Юный Барятинский закрыл глаза и умолк. Такое было впечатление, что там, в этой гряде свежей глины, гуловища вовсе не было — просто голова лежала на насыпи и каким-то чудом, собравшись с силами, произнесла последние слова, без которых живые не могут покинуть мир живых...

«Господи, — подумал Суворов, — что за жуткая судьба командовать людьми в час их кончины...»

Крепость была уже взята, только одна двухэтажная казарма все еще отстреливалась, не сдавалась. Около двадцати пашей вместе с отрядом отборных янычар держались до самого вечера, но русским удалось поджечь крышу, и вот они выходят, подняв руки. Ожесточение было столь велико, что солдаты кидались на них, едва те успевали появляться в дверях.

— Не трогать! — сказал Суворов. — Мы солдаты, а не разбойники! Мы воюем, а не убиваем.

Их было около четырехсот, пленных, весь командный состав, штаб Измаильской крепости, и среди них сераскир Айдозла, только накануне отвергнувший предложение Суворова о сдаче. Их нужно было немедленно переправить в Яссы. За их головы можно было купить любой мир, причем немедленно, но вдруг молодой казак завопил: «Коли нехрестей!»

Их перебили до единого на глазах у потрясенного Суворова.

— Это нужно было предвидеть, — сказал печально Александр Васильевич. — Бывают состояния, при которых воин выходит из повиновения, и это тяжелое зрелище...

Всю ночь, а потом еще один день и одну ночь очищали крепость от трупов. Турок сбрасывали прямо в Дунай, своих хоронили в братских могилах. После чего Суворов, бесконечно грустный, усталый, пошел пешком в городок, стоявший при крепости. По дороге ему попала на глаза церквушка, наполовину снесенная прямым попаданием снаряда, так что один только алтарь выглядывал из руин. Пробравшись сквозь развалины, став на колени перед чудом уцелевшим алтариком, Суворов мо-

лил, клал поклоны, а Измаил тем временем дымился, гудел и ликовал.

В крепости вдруг обнаружили пашские конюшни. К моменту штурма в Измаильской крепости было около шестидесяти пашей, а главный атрибут пашского могущества — великолепный конь с золоченой сбруей. Всеобщее восхищение вызвал белоснежный скакун, принадлежавший самому сераскиру Айдозуле. Бело-дымчатый красавец прямо завораживал. Длинное изящное тело, казалось, было создано больше для полета, чем для бега, а тонкие высокие ноги несли его легко, почти не касаясь земли.

Поначалу подвыпившие солдаты, чувствуя за собой некоторую вину, решили подарить жеребца Суворову. Они нашли своего командира там же, в полуразрушенной церквушке. Прервав ненадолго молитву, он поднялся, выслушал солдат, поблагодарил, но от подарка отказался, заявив, что на своей донской кобылке приехал и на ней же, даст бог, вернется.

Посоветовавшись, солдаты решили бросить жребий. Красавец конь достался рекрутику Полоцкого полка, впервые участвовавшему в деле, и тот юнец, окосев от привалившего счастья, тут же выменял лошадь на два ведра какого-то горячего пойла и тут же принялся угощать своих дружков с тем, однако, непременным условием, чтобы пить из ведра, раз, как говорится, жеребец угощает...

Потемкин пребывал в благостном ожидании получения рапорта о взятии Измаила. Было решено отпраздновать эту победу как никакую другую. Известно было, что поздно ночью Суворов прибыл в Яссы, и к утру следующего дня дворец Маврокордата готовился к встрече с легендарным героем. К сожалению, никто толком не знал, у кого Суворов остановился. Шел снежок, время было уже позднее, а его все не было.

Наконец около полудня из глухого переулочка показалась длинная молдавская телега — каруца. Она так безбожно скрипела и грохотала по замерзшей, запорошенной снегом грязи, что половина города повысыпала на улицу. На передке старик молдаванин, управлявший своими клячами, почему-то норовил как можно ближе подъехать к дворцу Маврокордата. Каково было изумление гостей светлейшего князя, когда из глубины этой самой

каруды показался сидевший на кучке полуобглоданных стеблей кукурузы герой Измаила.

Изумленный князь вышел ему навстречу. Выбравшись не без труда из этой допотопной телеги, Суворов подошел к фельдмаршалу и отрапортовал усталым и грустным голосом:

— Ваша светлость, Измаил взят.

Разведи свои огромные ручищи, Потемкин загрохотал:

— Друг мой сердечный, иди, я тебя расцелую...

Суворов стоял не двигаясь, и тогда светлейший сам сделал несколько шагов навстречу.

— Скажи, чем мне тебя наградить?

Получалось как-то так, что, отдав за Измаил несколько тысяч лучших своих воинов, Суворов теперь явился за наградой.

— А наградить меня вы никак не можете, — заартачился он вдруг.

— То есть почему не могу?

— Потому что взятие Измаила есть дело невозможное.

— Положим, так, но ты же свершил это невозможное дело! Почему же мне тебя в таком случае не наградить?

— Потому что за свершение дел невозможных наградить может один только бог.

Эта реплика стоила Суворову фельдмаршальского жезла, который он должен был получить за взятие Измаила и которого он, конечно же, не получил. Что подделаешь! Свобода человеческого духа иной раз запрашивает за миг рожденное хлесткое слово совершенно немислимую цену, и тому, кто этой свободой дорожит, приходится платить.

К новому году глухо звякнула черпалка, задев дно бочки, и сникла Околина. А какое было славное вино, какие были славные деньки... Увы. Впереди маячила долгая, голодная, холодная зима, и как дожить до теплого лета — уму непостижимо. Во дни этих тяжких раздумий неожиданно хорошая весть взбудоражила деревню. В доме старика Пасере затевалась свадьба, а уж какое у него вино и сколько там того вина еще оставалось, это знали решительно все.

Правда, слухи об этой свадьбе были неустойчивые и

метались как пламя свечи на ветру. Это нервировало Околину. Докопавшись до сути дела, Околина, к своему изумлению, узнала, что жениться надумал сам старик. Невесту ему отыскивали сыновья. Получив от старика наказ без монашки не возвращаться, они решили не гнать коней до Измаила. Пошастав по лесам, понахватав что где плохо лежало, они где-то под Бельцами подобрали какую-то глупую толстушку и прискакали с ней домой.

По правде говоря, она была ничем не хуже той монашки. Тоже в теле, голосистая, покладистая, но водилась за ней одна странность. В минуты близости она спрашивала с придыханием: «А потом ты женишься на мне? Поклянись, гад, что женишься потом...» Сыновья старика Пасере, жившие с ней попеременно, посмеивались и не скупилась на обещания, но однажды, когда их не было дома, старик тоже решил попытать счастья. Его, разумеется, в критическую минуту тоже спросили — женится ли он после или нет. Старик сказал — женюсь и по возвращении сыновей заявил, что он всегда был хозяином своего слова и верным ему останется и на этот раз.

Сыновья потешались над ним. Они высмеивали отца перед всей деревней, но старик твердо стоял на своем. Околине до смерти хотелось побаловать себя стаканчиком хорошего вина, и Околина неожиданно приняла сторону старика. А если это любовь, а если это судьба, а если они в самом деле не могут друг без друга?!

В конце концов назначили свадьбу.

И надо же — был прелестный зимний день, и свадьба выдалась на славу. Играли лучшие музыканты, каких только можно было в ту пору сыскать. Околина, забив до отказа двор старика Пасере, пила отличнейшее вино и, не выпуская кружек из рук, пускалась в пляс. Это как-то не понравилось жениху. То есть то, что село, едва дождавшись веселых мелодий, чуть что пускалось в пляс, было очень даже неплохо. Хуже было то, что кружек не выпускали из рук. При таком стечении народа и при такой охоте к веселью можно было за одну ночь опустошить подвалы, а старику, как бы он ни был привязан к молодой невесте, не хотелось остаться до весны с пустыми бочками.

Ему везло, ему всю жизнь везло, этому старику Пасере, и удача не отвернулась от него и на этот раз. Вдруг в какой-то миг пресеклось дыхание у трубачей, и

замер кувшин над недолитой кружкой, повисла в воздухе нога, которой танцор собирался припечатать землю так, чтобы это было навеки. Свадьба стихла, люди, стояли, разинув рты и боясь, как бы эти тишину не вспугнуть, музыканты спрашивали друг у друга — что случилось?

А тем временем по переулку вдоль чахлого плетня величественно плыла пара армейских волов. За ними, покачиваясь на ухабах, со скрипом плыла груженная всяким добром огромная фура. Следом за первой фурией показалась еще одна пара волов. Те волокли фуру еще побольше и тоже груженную всяким добром, а на самом ее верху полулежала уставшая от своих ратных трудов, укутанная в дорогие меха голосистая монашка. Замыкал это шествие сам Тайка. Ехал он верхом на белодымчатом жеребце такой удивительно сказочной масти, что замерла Околина...

Надо отдать должное жениху — несмотря на свои преклонные годы, он первым сообразил, что к чему. «Только его цуйка может спасти мои подвалы от полного опустошения», — сказал он себе и, отложив старые счеты и обиды, схватив кувшин и глиняную кружку, вышел и стал посреди дороги так, что его можно было раздавить, но объехать было невозможно.

— Глубокоуважаемый, высокочтимый, защитник наш и покровитель...

Первая пара волов — ну волю, чего с них возьмешь — поперла прямо на него, и действительно, не успеет он вовремя прижаться к плетню, было бы худо. Вторая пара волов выказала к жениху точно такое же пренебрежение. Но что ему эти глупые волю, когда следом за ними не едет, а плывет тот главный гость, родич и, несомненно, основатель...

— Глубокоуважаемый, высокочтимый, отец родной и кормилец...

Тайка величественно проехал мимо этого цветистого обращения, не видя ни жениха, ни его протянутой кружки. Сосуны несчастные. Погода им показалась ужасной, до Измаила им показалось далеко. Теперь вот будут всю зиму гнуть спины и лебезить. Он настолько презирал старика и его сыновей, что предпочитал во все их не замечать. Собственно, по причине такого презрения он и гостей не заметил и ехал себе своим путем, понятия не имея о том, что где-то там, в селе, справляют свадьбу.

Волы медленно ступают по мерзлой земле, фуры поскрипывают следом за ними. Утомленная монашка полужелжит в дорожик мехах, отчего она кажется таким странным заморским зверем, высматривающим добычу. Сам Тайка, замыкая это шествие, дремлет, углубленный в себя, и в мыслях медленно распутывает то, что его мясистый нос успел за эту поездку разнюхать.

Жених не отставал. С непокрытой головой, с кувшином и кружкой в руках он так и семенял рядом с белым жеребцом. Сыновья как будто вышли угговорить старика отказаться от такого унижения, но не догнали, и получилось, что и они идут следом за женихом приглашать знатного гостя. За сыновьями шла невеста, за невестой — гулявший на свадьбе народ, так что вмиг крутуловский двор опустел, и все село выстроилось в гигантскую процессию. Впереди две фуры на воловьей тяге, за ними Тайка на красивом жеребце, а там жених, а там невеста, а там румяные, веселые в ожидании новых приключений свадебные гости...

«Господи, — простонала тихо про себя Екатерина, — что же я одна у тебя такая несчастливая...»

Она пришла в тот день с малышами счищать снег с церковных развалин. Ей все почему-то казалось, что развалины — это все-таки храм, и грешно оставлять его неубранным, заваленным снегом. Работалось им тяжело — ни лопат, ни варежек. Намерзшись за день, уже собирались домой, когда вдруг увидели выплывавшую из переулка странную процессию. Поначалу ей показалось, что весь этот разгоряченный вином народ — сытые, счастливые, облагодетельствованные богом люди, и только ее почему-то всевышний держал в горечи и нищете...

«Господи, — взывала она, — где же твоя хваленая справедливость?!»

Вдруг, поравнявшись с полуразваленной церквушкой, шествие остановилось. Белый жеребец, послушный поводку, всхрапнул и встал как вкопанный. Оказавшись в центре внимания, Екатерина механически нащупала под подбородком узел платка. Неистовая в работе, она всегда увлекалась, и этот треклятый платок все время сползал набок. По этой причине Околина и прозвище ей придумала, обидное такое прозвище, и кто знает, как бы ее жизнь сложилась, если бы не это дурацкое прозвище...

— Что же ты, Катинка, на свадьбу не пошла?

По законам какой-то древней, таинственной общины Тайка все еще признавал в ней человека, равного себе.

— Надо же кому-то вызволить храм из-под снега, — ответила Екатерина сухо, все еще помня ту отраву, которой он ее поил.

— Да на кой ляд разгрести с него снег?

— Мы народ крещеный и не можем оставаться без святой обители.

— Да кто тебе сказал, что не можем? Вот нету больше у нас в селе святой обители, и что же? Усох Днестр? Накатила чума? Отвернулась от нас удача? Да нет же! Наоборот! Вон уродили виноградники. Люди ожили, повеселели, свадьбу справляют. Я вот после долгих трудов возвращаюсь домой, и тоже не с пустыми руками...

— Думаете, — сказала Екатерина, тяжело дыша и сама удивляясь той твердости, которая вдруг овладела ею. — Думаете, стоял бы тут храм, посмели бы вы возвращаться по этой дороге со всем своим добром?

— Почему бы не посмел?

— Бога бы побоялись.

— Почему я должен его бояться?

— Потому что бог, хоть и не копается в чужом достатке, всегда отличает то, что добыто трудом, от того, что подкинуто лукавым.

Тайка умолк. Это было его больным местом. Пуще всего он боялся, что начнут копать — откуда, что да как. Бог — да, это сила, которая вмиг может заставить выпустить все из рук. И может, никакое не родство, а самый обыкновенный страх заставлял его при встрече с этой глубоко верующей женщиной останавливаться и вступать с ней в разговор. Что-то было в ней такое, чего в нем при всем его богатстве не было; что-то она такое знала, чего он при всем старании уразуметь не мог. Мясистый нос ему подсказывал, что эта женщина в конце концов может оказаться тем самым единственным и главным основателем...

— Да что ты дуру эту слушаешь! — завопил жених, став между Тайкой и Екатериной, как бы загораживая собой одну из спорящих сторон. — Что ты связываешься с ней! Нашел кого слушать! Сотни лет стояла тут церквушка, и ничего с ней такого не происходило, но взялось за ней присматривать это пугало огород-

ное, и за какие-нибудь пять-шесть лет храма как не бывало...

Из всех его слов Екатерина услышала только обидное до слез прозвище свое — пугало огородное. Выпустив лопату, она обеими руками схватилась за платок — неужели он, поганец, опять съехал набок? Это ее движение развеселило Околину — ржали гости, ржал жених, смеялась невеста, в конце концов и сам Тайка, сидя на прекрасной лошади, улыбнулся.

Искра благородного негодования всколыхнула маленького Ницэ, и, подобрав с земли камушек, он крошечными шажками пошел на обидчиков своей матери.

— Нет, вы посмотрите на эту сосульку! — ржала деревня. — Вы на него посмотрите!

Мальчик остановился на полпути, растерянно посмотрел на хохотавшую толпу, перевел взгляд на белое лицо матери и заплакал. Екатерина взяла его на руки.

— Не нужно, сынок. Мы не из тех, кто поднимает камень. Бог отомстит за нас.

«Да она еще и грозитя!!!»

И тут Тайка наконец заметил торчавшего у стремени с кувшином и кружкой престарелого жениха.

— Глубокоуважаемый, высокочтимый основатель наш и защитник...

— Да разве таким пойлом приглашают?

— Угостите другим. Вовек признательны будем.

— И угошу.

— Меня или всю мою свадьбу?

— И тебя, и твою свадьбу. Слава богу, есть откуда.

Волы передней фуры, услышав решимость в голосе хозяина, двинулись в путь. За ними последовала вторая фура, следом Тайка на лошади, и вот длинная вереница свадебных гостей пошла вниз по Днестру, по направлению к глиняной крепости...

Осмеянная и оплеванная односельчанами Екатерина, собрав свою ребятню, тихо спустилась по заледенелой тропке к одиноко стоящему домику. Ее вдруг охватила какая-то странная дрожь. Войдя в дом, она залезла на печь, забралась под старое, драное одеяло, которым по ночам укрывалась вся семья, но ее все трясло.

Перепуганная ребятня разревелась. Старшая дочка кое-как их утихомирила, затопила печку, сварила мамалыжку, накормила всех, даже Ружке, возившейся в сенях, достались кое-какие крохи. Екатерина есть отказа-

лась, не отвечала на вопросы и по-прежнему молчала, трясясь под лоскутным одеялом. Намерзшиеся за день дети залезли к ней на печь, забились под одеяло, согреваясь друг от друга и засыпая друг возле дружки.

Наступила долгая зимняя ночь. Где-то вдали слышны пьяные песни возвращающихся со свадьбы гостей. В сенцах на соломенной подстилке рычит сквозь соп Ружка. За окошком веет ветер, кидая снежной крупой в окошко, но к полуночи все утихло. Замерли днестровские долины — ни ветра, ни метели. Одна нескончаемая серебристо-белая пустыня, и казалось, что минуют тысячелетия, прежде чем сойдут эти снега и задышит земля под ними.

Из-за косогора показалась луна. Она не то что взошла — она взлетела как-то вдруг, вся разом, и, откопав в днестровской долине маленький, затерянный в сугробах домик, нашла окошко, и вот золотистый луч, нащупав в темноте припечку, медленно потянулся к уснувшему в горе и страдании семейству.

— Мам, ты спишь? — вдруг донеслось из-под одеяла.

— Нет. А что?

— Мне страшно.

— Иди ко мне.

Сонный Ницэ, переползая через спящих братьев и сестер, добрался наконец до Екатерины, свернулся калачиком у самой ее груди. Она обняла его, согревая своим телом, и только тогда из глаз брызнули обильные, освобождающие душу слезы.

— Не плачь, — говорил Ницэ. — Погоди, я подрасту, стану сильным, я за тебя им заплачу.

Мягкий, задумчивый свет луны, ползая по припечке, неожиданно вздрогнул, точно обжегся, точно хотел воскликнуть — как! Пролететь сто пятьдесят миллионов километров, пронзить такую бездну пространства, и все это лишь для того, чтобы в конце концов уткнуться в это драное одеяло?

Собственно, а почему бы и нет? Если луна несет в себе очарование богом созданного мира, если эта маленькая семья, окаменевшая в своем горе, есть тоже дело божьих рук, то когда же этим вечным началам соединиться, как не этой ночью, на берегу этой реки, под этой старой кровлей?!

# Лавры победителя

*Я люблю доставлять удовольствие своим друзьям.*

*Екатерина II*

*Если царствовать, значит знать слабости души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства.*

*Пушкин*

Измаил потряс до оснований клонившуюся к закату Оттоманскую империю. Отпраздновав взятие этой крепости, изнуренная, обескровленная Россия жила ожиданием предстоящего мира. Тем более что на этот раз турки сами предложили возобновить переговоры. Велись они в Галацах, маленьком придунайском городке, причем турецкая сторона проявляла такую стоворчивость и уступчивость, что северная столица ожидала хорошие вести буквально со дня на день.

Мир нужен был до зарезу. Миф о процветающей империи можно было еще поддерживать летом, частично весной, иногда осенью, а зима предпочитала называть вещи своими именами. Бедность смотрелась бедностью, убогость убогостью, тоска тоскою, а уж зима в том году выдалась на редкость суровая. Сразу после крещения накатили сильнейшие морозы, а если они ослабевали чуть-чуть, то не иначе как для того, чтобы открыть путь метелям и заносам. Переживших морозы и метели добывала дороговизна. Офицеры писали из Ясс, что за одну курицу приходится платить четыре пиастра, что составляло полтину золотом. Две курицы на рубль — это было неслыханно, при том что за полгода до этого за два рубля можно было целого быка купить.

В России после двух лет засухи начался голод, особенно сильно страдали от недорода Поволжье и северные губернии. Мир нужен был немедленно, а мира все не было, и лучшие умы России гадали — отчего все эти наши громкие победы уходят как вода в песок? В чем тут тайна? В чем загвоздка?

По занесенным снегом пустырям, по великому зимнему бездорожью, в мороз, в пургу, днем и ночью скакали срочные курьеры из Петербурга в молдавскую столицу. Письма, писанные рукой самой государыни, запро-

сы Военной коллегии, рескрипты Коллегии по иностранным делам, меморандумы Сената и святого Синода, частные послания от друзей, от противников, от иностранных послов — все это ложилось, что ни день, беспорядочной горкой на стол главнокомандующему, но Григорий Александрович к ним не прикасался. Он снова пребывал в глубокой хандре и в ответ на поступление очередной партии корреспонденции кричал со своего кожаного дивана:

— Мира не будет, пока турки не примут все мои условия!!!

А четких условий не было — они все еще находились в состоянии выработки. И тут наконец в России поняли, что дело вовсе не в жесткой позиции турок. Просто светлейшему по каким-то своим резонам до поры до времени не хочется заключать мира. А что такого? Не хочет человек, и все. У него был на руках главный козырь — стотысячная армия, и тут уже, как говорится, надо считаться с реальностью.

Фельдмаршал проводил целые дни, запершись в своем кабинете, и убивал время, выкладывая из драгоценных камней карту созданного его руками Новороссийского края. Вот серыми печальными опалами обозначаем гигантскую пустошь от Днепра до Приазовья, от Полтавы до самого Черного моря. По этим одичалым, заросшим ковылем да полынью степям пробиваются обозначенные красными рубинами дороги. Днем и ночью по пыльным огненным шляхам тянутся обозы с бедными пожитками поселенцев. Идут темпераментные сербы и хмурые венгры, шумные казаки и печальные валахи, строптивые католики и неистовые раскольники — да, черт возьми, и раскольники идут, ибо не кто иной, как он же и выпросил у государыни позволения заселить эти южные края староверами, ибо хоть и внесли они смуту в нашу веру, по умеют, как никто другой, пускать корни и обживать новые земли.

Спокойные лазуриты обозначают береговую линию Черного моря, уникальнейшая бирюза, зависть коллекционеров Европы, обозначает Крым, и это не только полуостров, нет, это венец Российской державы, опущенный в воды Черного моря красоты и сохранения своего ради. А новым трудам конца-краю не видать. Потоки грузов текут по рекам с севера на юг. Крупные изумруды обозначают закладку новых городов — Херсон, Екатеринославль, Николаев.

Пашутся земли, пекутся хлеба, строятся храмы, люди женятся, заводят детей, и вот уже идут колонны остриженных наголо рекрутов, потому что жизнь — это сила, а сила — это войско. Гранатная россыпь обозначает пятнадцать полков, обученных для державы этим краем, стотысячная конница готова к защите новых завоеваний. Когда он принял от государыни наместничество над этим краем, оно насчитывало менее миллиона душ. Теперь население возросло в десять раз, эта новая Россия способна была сама себя кормить, обувать, одевать, и каждый год нескончаемые обозы со всяким добром, огромные баржи с хлебом шли вверх, в северную часть державы.

Успехи были столь оглушительны, что летом 1787 года, перед самой войной, императрица в сопровождении послов Англии, Франции и Австрии пожелала познакомиться с этим вновь приобретенным краем. Потемкин был вдохновителем этой поездки, и отсюда ему было радений увековечить один анекдот о якобы показанных государыне несуществующих деревнях.

Но вот и добрались до главного, ибо в любом деле главного не миновать.

Светлейший замер. В руках медленно туманится от теплоты пальцев Фортуна — алмаз, которому, по сути, не было цены. При ее появлении вмиг поблекла вся эта россыпь на атласной подушке. Фортуне надлежало обозначать столицу этого края, может быть, столицу новой державы, и вот она мечется по всему югу, по Балканам, по Кавказу, но столицы рождаются не так-то просто. Запотевшую Фортуну князь опускает в воды Черного моря до поры до времени, пока не будет найдено место для столицы. Но богиня человеческих судеб не терпит неопределенности, не терпит отлагательства!.. Догорают, гаснут драгоценные камни на черной атласной подушке, и от всех его трудов, от всех его замыслов остается разве что пригоршня разноцветных стекляшек, разбросанных по черному бархату.

— Что за дьявол! — возмущается князь. — Неужто не судьба?! Неужто кому-то другому суждено жениться на невесте, которую я хохлил, ласкал и лелеял вот уже столько лет!

Перемешав заново камни, стряхнув пыль с черного бархата, князь принимается заново застраивать юг, с каждой минутой отдаваясь власти былого. Вот она ночь,

великая ночь июньского переворота, и он, молодой еще подпоручик, вместе с теми, кто возводит императрицу на престол. А вот и он — поначалу покровитель, друг, потом, как водится, противник, Григорий Орлов. Никто не думал, что Потемкину удастся его свалить, но он его одолел и стал вторым человеком империи. В свое время ходил отличный анекдот по Петербургу, и он не был плодом досужего вымысла трактирных зубоскалов. Это случилось на самом деле. В дни своей бурной молодости, вытеснив из сердца и из постели государыни Орлова, Потемкин однажды явился во дворец. Поднимаясь по мраморным лестницам Зимнего на второй этаж, он встретил своего поверженного соперника, который как раз спускался со второго этажа. Сохраняя видимость дружеского расположения, Григорий Александрович первым поздоровался и спросил, что нового во дворце.

— Что тут может быть нового! — ответил ему Орлов. — Ты вот поднимаешься, я вот спускаюсь — вот и все наши новости...

Любишь кататься, люби и саночки возить — все это так, ну а что делать тому, кто просто не рожден, чтобы возить санки? Природа не наделила Потемкина этим в высшей степени христианским даром. Он скорее согласился бы погибнуть, чем спускаться со второго этажа, и всю свою жизнь строил с таким расчетом, чтобы никогда не изведать этого унижительного шествия. Его способности, его чрезвычайные заслуги позволили ему бесконечно долго оставаться рядом с государыней, в некотором роде супругом государыни. Появление молодого красавчика Зубова отодвигало его хоть и не намного, но все же вниз.

Разумеется, государыня и теперь все еще горой стоит за него, но вся эта дружба немного стоит. Природа женщин имеет свои особенности. Бывают минуты, когда они примут все, сделают все, лишь бы им до конца хорошо было. У пустых натур это даже прелестно в своем роде, но Екатерина тверда и по-своему честна. Она привыкла быть хозяйкой своего слова, и это опасно, потому что любое ночное перешептывание грозит на следующий день обернуться новой государственной политикой. Ведь сказал же этот сопляк в присутствии всех его гостей — государственные дела, князь, принимают другой оборот... И сегодня, разумеется, им не столько нужен мир, сколько эта стотысячная армия нужна, чтобы показать, на что ротмистры способны. Конечно, стать генералом, не про-

служив ротмистром, невозможно, но эти ротмистры, за ночь дорвавшиеся до генеральства, это же бич России!

Екатерина прекрасно понимала тревоги светлейшего и, несомненно, догадывалась, почему так долго в Галапе не подписывается мир. На ее письмах, отправленных той зимой на юг, лежит печать осознанной вины, и она изо всех сил старается умиротворить князя, выдавая Зубовых за самых преданных его союзников. Господи, до чего же она в этой переписке не доходила! Сначала мельком, как бы между прочим похвалит своего Платошу, потом заставит его писать светлейшему, но по слогу видно, что письма эти писались под ее диктовку. А то ей еще взбредет в голову фантазия: на одной стороне листа пишет она, на другой — Платон.

«Утоли печаль мою», — отвечает ей Потемкин с юга, и это библейское выражение звучало в его письмах как крик души. Ему хотелось как можно скорее привезти свою тоску в столицу в надежде, что государыня избавит от нее.

Ясские послания ставили Екатерину в крайне затруднительное положение. Ее всю жизнь обвиняли в том, что она попустительствует Потемкину. Теперь, если он вернется посреди зимы, не заключив мира с турками, разразится скандал. Кроме того, нужно было подумать и о своем покое. Всем был известен крутой нрав Потемкина. При появлении одних его курьеров замирала жизнь при дворе и братья Зубовы мельчали, усыхали у нее на глазах, пока не становилось известным содержание потемкинских депеш.

Собственно, умная Екатерина не запрещала Потемкину приехать в столицу, неоднократно повторяя, что приезд или неприезд фельдмаршала — это его дело. При этом, правда, государыня присовокупляла, что теперь, как она полагает, время работает на турок и вряд ли стоит оставлять блистательные победы нереализованными, дать туркам возможность собрать новое войско, вместо того чтобы форсировать столь необходимый России мир. Это были просто милые советы, не более того, но она прекрасно понимала их вес и потому была уверена, что Потемкин не осмелится ее ослушаться. За всю долгую жизнь у него одно было свято — государыня, которой он служил. Никогда он не сделал шага, слова не произнес, которые могли бы идти вразрез с ее волей.

Увы, то, чего не случалось прежде, произошло теперь. Поздно ночью, когда она, доиграв партию в фараон, возвращалась в свои покои, один из ее тайных агентов, ко-

торых она держала повсюду, где у нее были особые интересы, донес через камердинера Захара Зотова, что поезд светлейшего князя покинул Яссы и мчится по направлению к Петербургу. В слабо освещенной проходной зале, где ей сообщили эту новость, Екатерина сначала вдрогнула, но потом нашла в себе силы собраться с духом и даже улыбнулась.

— Что ж, — сказала она как можно любезнее, — я очень рада. Мы встретим светлейшего как истинного героя...

Надо отдать ей должное — она любой проигрыш умела оборачивать в свою пользу. Создав особую команду, которая должна была следить за передвижением княжеского поезда, чтобы не упустить время его приближения к столице, она засучив рукава принялась за дело. У въезда в Петербург выросла как из-под земли гигантская арка, украшенная стихами в честь победителя, стихами, которые подобрала сама государыня. Рапорты, парады, фейерверки, колокольный перезвон — все это, несомненно, произведет должное впечатление на мнительного фельдмаршала.

У Потемкина было несколько собственных дворцов в Петербурге, но он по обыкновению предпочел остановиться в покоях, сохраненных за ним пожизненно в Зимнем. О восточном крыле Зимнего — Эрмитаже, занятом Потемкиным и обставленном им с неслыханной роскошью, говаривали как о восьмом чуде света. Картины, скульптуры, редчайшие образцы мебели, ковры, вазы — все это вызывало у екатерининского двора черную зависть. Утверждали даже, что по ночам сюда хаживал Платон Зубов, чтобы повздыхать в окружении этого богатства.

Почести и милости, которыми Петербург встретил фельдмаршала, превзошли все его ожидания. Ему было пожаловано звание генерал-фельдцейхмейстера, лично от императрицы был пожалован фельдмаршальский мундир, украшенный по шитью алмазами и другими драгоценными камнями, общей стоимостью в двести тысяч рублей. Сверх того была вручена копия указа императрицы, в котором государыня поручала Сенату построить светлейшему за государственный счет дворец, будь то в столице или в другом месте, где он пожелает, и воздвигнуть перед тем дворцом монумент — памятник фельдмаршалу Потемкину.

— Чего еще возиться с этими бумагами? — сказал Потемкин при вручении ему копии с указа. — Подарите мне, ваше величество, Таврический, да и дело с копцом.

Екатерина улыбнулась — он все еще оставался дьяволом, и как она его любила за то, что он был и оставался дьяволом!

— Быть сему.

В столице известие об этом подарке вызвало множество кривотолков. Дело в том, что государыня однажды уже дарила этот дворец князю по случаю присоединения им Крыма к России. Как-то, нуждаясь в деньгах при строительстве полотняных заводов, светлейший продал государыне этот дворец за полмиллиона, но расстаться с ним ему не хотелось, потому что очень уж место было красивое там, за Конногвардейскими казармами.

Столица, никогда особенно не жаловавшая светлейшего князя, называвшая его за глаза князем Тьмы, на этот раз держалась дружелюбно. Экипаж светлейшего петербуржцы встречали приветствиями, и все ждали от князя решительных действий, ибо он один мог освободить их от деспотизма Зубовых. Конечно, у Екатерины всегда были фавориты, но эти Зубовы оказались настолько ничтожными и алчными, что все трепетали за свой завтрашний день.

У Потемкина, старого придворного волка, не было никакого резона сразу же идти войной против Платона Зубова. Наборот, тактика борьбы требовала хотя бы поначалу создать видимость взаимного предрасположения, но беда была в том, что князь его совершенно не выносил. Мало того, наперекор здравому смыслу он совершенно не скрывал своих чувств. Потемкина, например, бесило, что этот желторотый юнец успел усвоить замашки всесильного вельможи. Особенно скандальным этот Зубов бывал по утрам. По тогдашнему придворному этикету в приемные значительных особ часам к одиннадцати собирался цвет общества, чтобы поздравить с добрым утром и попытаться хоть чем-нибудь обратить на себя милостивое внимание.

Потемкин как истинный воин, привыкший к неудобствам походной жизни, не любил эти толпы подхалимов, собиравшихся в приемных по утрам. К тому же у него был свой прочный распорядок дня. Проснувшись, он на час залезал в холодную ванну, после чего шел в молельню, потом завтракал, потом принимал помощников и

адъютантов — ему некогда было с утра отвечать на поклоны и раздавать милости.

Зато Платон Zubов обожал понежиться в постели и искренне считал, что значение, вес того или иного лица в обществе определяются толпой, собирающейся по утрам в его приемной. Именно поэтому Zubов сам составлял список лиц, имевших право дожидаться его пробуждения, причем время от времени эти списки подвергались чистке — исчезали одни имена, не заслуживавшие более такой чести, на их месте появлялись другие.

По утрам приемная Платона Zubова была битком набита генералами, губернаторами, князьями, иностранными послами. Даже старик Державин тратил тут драгоценные утренние часы, потому что время шло, а Платона Александровича все не было. Только к двенадцати еще не совсем выпавшегося молодого генерала начинали умывать, одевать, кормить. Пока вокруг сновали слуги, во внутренние покои допускались по два-три человека из приемной. Он принимал поздравления и пожелания доброго утра, совершенно не глядя на тех, кто его поздравлял, отпуская, не прощаясь с ними, и, кажется, весь этот парад утренних гостей был нужен только для того, чтобы помочь его светлости окончательно проснуться.

Потемкин высмеивал фаворита на весь Петербург. Партия Zubовых, оскорбленная в своих лучших чувствах, жаловалась императрице. Измученная этим трудным соперничеством, государыня предприняла на страстной неделе еще одну попытку примирить враждующие стороны. Зная глубокую набожность Потемкина, она уговорила братьев Zubовых, Платона и Валериана, воспылать хотя бы раз в жизни истинно христианскими чувствами. Замысел императрицы состоял в том, чтобы обоим Zubовым говеть, исповедаться и принять причастие совместно с князем в небольшой дворцовой церкви. Не может быть, подумала она, чтобы зрелище этих двух примерных прихожан не повлияло хоть в какой-то степени на настроение светлейшего...

Скандал разразился перед самой пасхой. Народу в церкви было много, человек сорок, присутствовала и сама государыня. Служба была редкостная по красоте и торжественности. Пели монахи, приглашенные из Невской лавры, обители, в которой в свое время сам светлейший монашествовал. После службы архиепископ, выйдя с золотым сосудом на край амвона, поклонился и замер в ожидании.

Причащавшихся было трое — светлейший, Платон и Валериан Зубовы. Светлейший стоял в середине, Зубовы по правую и по левую руку. Между этой тройкой и архиепископом не более двух-трех шагов, но нужно было кому-то первым подойти и принять причастие. Разумеется, первенство светлейшего никто не собирался оспаривать, но у Потемкина была одна странность — он считал себя лицом духовным. Перед тем как принять причастие, он выжидал долгую паузу, чтобы дать священнику время проникнуться сознанием того, кто перед ним стоит.

Платон Зубов, будучи человеком недалекого ума, решил, что Потемкин хочет уступить ему право первому принять причастие, имея в виду то особое положение, которое он теперь занимает. Собственно, он этого давно ожидал, это и было бы, по его представлению, истинно христианским поступком. Говорят, Платон Зубов не только наклонил туловище вперед, чтобы сделать шаг, он, говорят, даже ногу было занес, чтобы ступить. В последнюю секунду, заметив краешком глаза побагровевшего фельдмаршала, он успел отдернуть ногу, не коснувшись ею пола. Увы, было уже поздно. Уловив сделанное движение, Потемкин широким жестом пригласил:

— Пожалуйста, я с удовольствием приму причастие после вас.

Но Зубов, поняв, какого он дал маху, стоял намертво.

— Нет, только после вас.

Хор умолк, пауза в службе становилась конфузивно долгой.

— Тело и кровь Христовы ждут, — тихо, но твердо проговорил архиепископ.

И вдруг бойкий Валериан, любимец государыни и баловень петербургских красавиц, решив, что заминка связана с тем, что хлеб с вином не особенно привлекательны на вкус, заявил громко, на всю церковь:

— А я вот это дело люблю...

И первым пошел причащаться. Через несколько минут они вышли из церкви непримиримыми врагами, врагами дожили свой век и врагами покинули этот мир.

Время шло, а Потемкин и не собирался возвращаться на юг. Свалить Зубовых с первого налета ему не удалось, но в том-то и дело, что фельдмаршал был мастером неспешного затяжного боя, и, если он не собирается на юг,

значит, вся борьба еще впереди. Петербург слишком хорошо знал этого великана и следил за ним во все глаза.

Видимо, чтобы дать северной столице отвести душу, светлейший решил затеять праздник. Бал, какого еще не видывали! Приготовления начались с того, что был снесен целый квартал, мешавший виду из окон Таврического на окрестности. Внутри подковообразного дворца тоже вовсю шла работа. Кажется, одни наружные стены да крыша остались нетронутыми. Вокруг был расширен английский парк, в большой спешке был создан зимний сад, превосходивший по размерам и великолепию сад Зимнего дворца.

Лучшие умельцы столицы, мастера по дереву, камню, стеклу, металлу, были собраны в Таврическом. Несколько сот художников и скульпторов трудились с утра до ночи. По эскизам и рисункам, разработанным самим князем, украшали зал за залом. Перебрали все лавки, скупали прямо со складов хрустальные люстры, китайские вазы, а если чего не хватало, брали в долг у тех, кто славился вкусом и богатством. Со стекольных заводов самого князя были завезены большие, во всю стену, зеркала.

К пасхе приготовления были окончены. Перед обновленным дворцом на площади были построены гигантские качели для простого народа. За качелями полукругом стояли игрушечные разноцветные лавки. В этих лавках во время празднества бедный люд должен был получать не только еду и угощение, но также и обувь, одежду — словом, все, что по тем временам могло облегчить жизнь человеческую.

В день праздника стояла великолепная солнечная погода. Большие события, как известно, порождают множество слухов, и, хотя съезд гостей ожидался только к шести, уже рано утром девятого мая гигантская толпа собралась на площади перед Таврическим дворцом. Целый день провел этот люд в долгом, томительном ожидании, лишь бы в минуту раздачи оказаться поближе к лавкам.

Согласно заранее разработанному расписанию бесплатная раздача в лавках должна была начаться, как только карета государыни подъедет к крыльцу дворца. Появление первых экипажей с гостями вызвало сильное волнение в толпе. Ожидание было столь велико, что в потоке подъезжавших экипажей кто-то принял карету одно-

го из вельмож за карету государыни. Завопив многоголосое «ура!», толпа кинулась к лавкам, но лавки еще не получили распоряжение открыться. Сутолока и давка приняли такие угрожающие размеры, что, когда наконец карета государыни, запряженная шестеркой белых лошадей, появилась в переулке, она не смогла подъехать к дворцу и вынуждена была с четверть часа прождать, пока успокоят толпу.

Таврический поразил Екатерину роскошью и изяществом. Из довольно скромного, тесноватого вестибюля раскрытые двери вели в огромную, вытянутую в длину залу. Главным украшением залы были выстроенные вдоль стен в два ряда мраморные колонны. Между каждой парой колонн — ниша, в глубине которой гигантское, во всю стену, зеркало, благодаря чему эти ниши превращались в сказочные беседки. В каждой из этих беседок была своя мебель, свой стиль, свое изящество.

Следующее помещение было предоставлено театру. Места для зрителей были расположены полукругом. Едва государыня и ее приближенные заняли места, как опустились шторы, погас свет и началось представление. На огромном черном фоне возшло гигантское зарево, в центре которого сияли вензеля «Е» и «В», что, конечно же, означало Екатерина Великая. Представители всех народов, которым, по мнению организатора празднества, государыня принесла свободу и счастье, выходили в национальных костюмах и с песнями и танцами поклонялись этому солнцу.

По возвращении гостей в колонной зале была устроена искуснейшая иллюминация. Сотни лампад из разноцветного стекла вдруг осветились, гирляндами ниспадая с потолка, причем каждая из этих лампад представляла собой особый цветок. Вся эта масса разноцветного огня, отражаясь в доброй полусотне огромных зеркал, преломлялась в люстрах, и каждый хрусталик, впитав в себя каплю света, устраивал сказочное цветочное пиршество. Впечатление было столь сильное, что сама Екатерина, никогда ничему не удивлявшаяся, спросила светлейшего:

— Разве тут мы уже бывали?!

Празднество началось знаменитым маршем «Гром победы раздавайся». Пушечные выстрелы, фейерверки, вопль ликующей толпы на площади. Двенадцать пар гостей, среди которых были и внуки Екатерины, великие князья Александр и Константин, показали на сцене заранее разученную кадрили — уму непостижимо, как это

Потемкину удалось уговорить будущего царя России, Александра Первого, ходить к нему в Таврический на репетиции кадрили...

Екатерина была уверена, что никто в мире не смог бы превзойти светлейшего вкусом, размахом, гостеприимством. За ужином она все оглядывалась, с кем бы поделиться, и вдруг заметила рядом человека совершенно сникшего, растерянного. Увы, то был ее любимец, ее воспитанник, Платон Зубов. Он сидел одинокий, подавленный. О нем, казалось, никто больше не помнил, никто не нуждался в нем.

«Ах, вот оно что!» — сообразила вдруг государыня, и все ее хорошее настроение вмиг улетучилось.

Оказывается, война между светлейшим и Зубовым продолжалась. Оказывается, это была просто видимость бала. На самом деле светлейший продолжал наступать на ее любимцев. Теперь он давил их богатством, размахом, артистизмом. Он их почти раздавил, и если они еще живы, то не ее ли святая обязанность первой кинуться им на помощь?

В разгар пиршества государыня вдруг спросила громко, через весь стол:

— А что, светлейший, нашли покупателей для своего Могилевского имения?

У Потемкина было одно из крупнейших в России, самой же государыней подаренное имение. Двенадцать тысяч душ, более сотни деревень и хуторов. Управлять таким громадным имением по тем временам было невозможно, не раздробив его на ряд более мелких поместий. Потемкину некогда было возиться с Могилевом, он все искал, кому бы его продать. Найти покупателя было нелегко, потому что оценивалось оно приблизительно в миллион рублей.

Государыня временами посмеивалась над светлейшим, говоря, что она нарочно повесила ему на шею этот Могилев, чтобы ему некогда было бегать за красавицами. Но вот императрицу осенила какая-то мысль, и замерла гигантская зала. Утихли разговоры, не слышен больше звон бокалов. Озадаченный хозяин двора принялся своим единственным глазом сверлить мраморную колонну в глубине, потому что нужно было быстро, в одну секунду, угадать, что скрывается за этим вопросом государыни.

— Позвольте, ваше величество, сначала полюбопытствовать — с чего это вы вдруг вспомнили о Могилевском имении?

— Хочу купить его у вас.

О, эти сильные мира сего... Как могут они в одну секунду возвеличить человека, и как вдруг они, опять же в одну секунду, могут разрушить все, чем он жил. Цвет северной столицы замер и не дыша следил за этим поединком. Юное, по-женски красивое лицо Платона Зубова начало изнутри светиться ощущением надвигающегося счастья. По мере того как оживало лицо Платона Зубова, мрачнело лицо светлейшего. Государыня сохраняла беспристрастное выражение, и только начавшие выцветать голубые глаза засветились былым озорством. Играть так играть.

— К сожалению, ваше величество, Могилевское уже продано.

Полторы тысячи гостей ахнули, ибо государыне, даже когда имение и продано, не говорят об этом, если давица заявляет о своем желании его купить. От неожиданности Екатерина дернула своей высокой, седой, украшенной красной лентой и крупными бриллиантами прической.

— Кому же вам удалось сбыть это огромное имение?!

Потемкин в отчаянии стал оглядываться. Совершенно случайно ему попался на глаза камер-юнкер Голынский.

— Да вот ему и продал.

Екатерина улыбнулась. Как блефует, подлец, как блефует! Она слишком хорошо знала этого скромного юношу, совсем недавно пожалованного ко двору. Знала о заложенных имениях и бесконечных долгах его родителей, известны ей были и вздыхания этого юнца по поводу одной из фрейлин. Правда, и сама фрейлина была к нему равнодушна, но жениться они не могли, потому что нельзя же в самом деле начать строить жизнь ни на чем. Государыне как-то намекали, что небогатый свадебный подарок мог бы составить счастье этой пары, и она начала было над этим подумывать, но чтобы такой поворот...

Екатерина улыбнулась Голынскому улыбкой матери родной и спросила:

— Сознайтесь, юнкер, что светлейший шутит?

Голынский размышлял. Конечно, ответив, что это не более чем шутка, можно было рассчитывать на хороший свадебный подарок со стороны государыни. Но, с другой стороны, каков бы ни был этот подарок, одна мысль, что при некоторой удаче он мог бы стать хозяином Могилевского имения...

Дитя своей эпохи, самой же государыней возвращенное, Голынский, к великому разочарованию своей повелительницы, заявил:

— Увы, ваше величество, не хотелось бы мне вас огорчать, но имение действительно куплено мной.

— Что ж, — сказала государыня, — поздравляю вас с хорошим приобретением.

Когда Екатерина покидала дворец, светлейшего охватила паника. Какое-то чутье говорило ему, что никогда в жизни он уже не сможет избавиться от тоски, от печали, пожиравшей его душу. Государыня была единственным человеком, который мог поддерживать в нем величие духа, но она его покидала...

Проводив государыню до коляски, он опустился перед ней на колени, целовал ей руки, плакал, как дитя, и видно было: что-то рухнуло в этом гигантском исполине. Возвращаться к гостям ему не хотелось. С отъездом государыни все теряло смысл. Он презирал всю эту праздную толпу, да и что ему в ней, если среди них не найдется ни одной души, готовой протянуть ему руку, чтобы вытащить его из трясины бесконечной печали... Хотя нет, погоди... В ту секунду, когда государыня спросила про Могилевское, он мельком заметил за одним из столов ту очаровательную древнегреческую богиню, которая так долго светила и манила его издалека...

— Попова ко мне!!!

Помощник прибежал запыхавшись, ибо поручено ему было в тот день носить за светлейшим его шляпу. Праздничная шляпа Потемкина была украшена таким количеством бриллиантов и драгоценностей, что надевать ее не было никакой возможности — она весила около десяти фунтов, и потому поручено было носить ее следом за фельдмаршалом. Прибжав, Попов тут же протянул свою ношу, но Потемкин оттолкнул это дурацкое сооружение:

— Где она?

— Уехала, ваша светлость. Тут же, следом за государыней отбыть изволили.

— Карету!!!

В третьем часу утра по залитому удивительным сиянием белых ночей Петербургу неся во весь дух экипаж светлейшего. Остановились у белокаменного дома на

Разъезжей, у Пяти Углов. Там и только там он сможет перевести дух, там и только там он сбросит с себя оковы этой черной тоски.

В огромном дворце гофмаршала двора, князя Барятинского, в котором жила и его дочь, похоже, уже спали. На окнах были опущены шторы, как всюду в Петербурге во время белых ночей, но эти шторы нисколько не смутили светлейшего, привыкшего, что все в жизни начинается с него. Растолкав сонных слуг, он с неожиданной для своей комплекции живостью взбежал на второй этаж, дернул одну дверь, вторую, третью...

И вдруг перед ним встал в смешном халате, в чепчике гофмаршал двора. Он не любил Потемкина, но боялся его. Теперь, кажется, он его и не любил и не боялся.

— Сожалею, князь, но в доме у меня все уже почивают...

— Это не беда. Почивающему встать недолго.

— Да, но еще проще не ко времени заглянувшему гостю...

Оскорбленный до глубины души Потемкин выпрямился как струна — неужели эта придворная крыса осмелится? Все его состояние, и состояние его дочери-красавицы, и сам этот каменный дом, и халат, и чепчик — все было нажито при прямой или косвенной поддержке князя. Увы... в ту секунду, когда государыня покидала дворец, вместе с ней покидал его весь высший свет.

— Неужели вы осмеливаетесь мне указывать?..

— О нет, ваша светлость, как вы могли такое подумать! Я единственно хотел обратить ваше внимание на то, что, поскольку время позднее...

Потемкин спустился вниз. Выйдя на улицу, он не стал садиться в дожидавшийся экипаж, а пошел пешком. Он шел грузно, медленно и думал, что, несмотря на огромные затраты, празднество ничего не дало, потому что в России испокон веку битвы выигрываются и проигрываются по воле государей. Остальное неважно. Экипаж следовал на некотором расстоянии за ним: вдруг князь устанет и сделает знак подъехать, но он его не замечал. Один раз, за Мойкой, чуть не разминулись — экипаж, думая, что князь идет к себе, в Зимний, свернул на Невский, но князь пересек Невский и направился в Таврический.

С той ночи он никогда более не возвращался в свои покои при Зимнем дворце. Отныне Таврический становил-

ся его домом. Хотя, если по правде, и этот дом был ему уже ни к чему, ибо, добравшись до дворца, он не пошел к гостям, которые все еще гуляли, а остался на площади с тем забытым богом людом, который догуливал на жалких крохах, доставшихся ему от того славного праздника.

Подсев, князь вместе с ними пил, плясал, пел грустные песни, рыдал на чьих-то плечах. Ему вспомнилась Смоленщина, бедный обветшалый двор, никогда не унывавший дух юности, и, странное дело, за этой скудной трапезой, за старинными песнями эти люди каким-то образом умудрились снять с его души часть той неутолимой печали, которая пожирала его.

Вздыхнув наконец полной грудью, расцеловав всех на прощание, Потемкин вернулся в свой опустевший к тому времени дворец. Сел в глубокое кресло, в котором еще недавно, играя в карты, сидела государыня, и, положив огромную нечесаную голову на зеленое сукно игорного стола, уснул мертвецким сном.

Часа через два проснулся от какого-то толчка. Подняв голову, увидел перед собой озадаченного поручика Голынского.

— А, покупатель пришел, — сказал Потемкин, зябко поеживаясь. — Давай выворачивай карманы, что там у тебя...

— Две деревеньки в шестьсот душ и одна тысяча рублей, при условии, конечно, что папенька и маменька...

— Хорош покупатель... Долго искал.

— Что подделаешь, вапа светлость. Обстоятельства... — общипнически ухмыльнулся юнкер.

Потемкин измерил его острым глазом.

— Да неужто ты шуток не понимаешь?!

— Я... шу... по... — только и смог выговорить Голынский.

Потемкину вдруг стало его жалко — господи, до чего слаб человек! Как мало нужно, чтобы сделать его счастливым, и как мало нужно, чтобы уничтожить его.

— Вот что, — сказал он после некоторого раздумья, — поезжай в казенную палату, возьми ссуду под Могилевское имение. Тысяч сто они должны тебе под это имение отпустить. Вот эти деньги принесешь, а там пользуйся, раз фортуна улыбнулась...

Голынский стоял ни жив ни мертв. Потом, кивнувшись на колени, схватил руки князя, но сонному Потемкину были ни к чему его благодарения.

— А отпустят они мне, ваша светлость, такую сумму?

Порывшись в карманах, князь обнаружил лоскуток какой-то бумаги и, расправив его на своем колене, вывел простым карандашом: «Сему Голынскому выдать сто тысяч в залог под Могилевское имение».

Отдав записку, тут же уснул. Спал сладко, как никогда. Снилось ему, будто дает он новый бал для своих вчерашних гостей, но уже не в Таврическом, а на огромном корабле в водах Черного моря. Пока гости гуляли, светлейший, подозвав адмирала Ушакова, приказал незаметно вывести корабль с гостями далеко в море. В самый разгар бала он, спустившись с Ушаковым в шлюпку, приказал ударить прямой наводкой со всех батарей по этому разгулу человеческого отребья, но что такое? С обреченного корабля высунулись две крысиные мордочки и самыми что ни на есть человеческими голосами принялись его усовещевать... Мол, где это видано, чтобы изо всех пушек, да еще прямой наводкой, да еще по своим же гостям...

— Что-что-что?! — взревел Потемкин и проснулся.

Майское солнце купалось в зеркальных стенах Таврического дворца, и это обилие света, преломляясь в люстрах, расплывалось бесчисленными радугами. И сквозь все это великолепие Потемкин опять разглядел все того же растерянного Голынского, стоявшего с запиской в руке.

— Они отказали, ваша светлость, — сообщил он упавшим голосом. — Сказано было — такая крупная сумма не может быть выдана без соответствующего формуляра, скрепленного подписями.

— Разве там моей подписи нету?

— Есть, но, сказали, мало.

— Сукины сыны!!! — завопил вдруг Потемкин. — Да знают ли те канцелярские крысы, что моя подпись сегодня все еще означает мир или войну, жизнь или смерть для целых народов! Как смеют они из-за каких-то паршивых ста тысяч...

Взяв у Голынского записку, расправив ее на том же колене, он тем же карандашом вывел на обратной ее стороне: «Денег дать... вашу мать».

Весной, сразу после переезда в Царское Село, государыня запросила последние донесения о положении армии на юге. Оказалось, что от Репнина, замѣнявшего князя, давно никаких известий нет. Стали выяснять, в чем дело. Доложили, что в конюшнях кирасирского полка скопилось множество курьеров с юга. Не имея более под рукой курьеров, Репнин был не в состоянии поддерживать связь со своим главнокомандующим, загулявшим в столице.

Это уже меняло дело. Там, где интересы державы затрагивались в самой основе, Екатерина переставала быть женщиной, союзницей, любовницей, становясь грозной императрицей, столпом государства. В полночь из Петербурга был вызван в Царское начальник канцелярии Потемкина Попов. Этот вызов был скорее похож на арест — никто не знал, кто зовет, и почему среди ночи, и по какому вопросу.

Екатерина приняла Попова в шестом часу утра, и по всему видно было, что не ложилась в ту ночь.

— Верно ли, — спросила она Попова, — что целый эскадрон курьеров с юга задерживается вами в столице?

Плутоватый полковник быстро соображал. Продавать своего главнокомандующего он не смел и не хотел, однако же надо было и о себе подумать.

— До десяти, пожалуй, наберется.

— Зачем не отправляете их?

— Нет приказанія.

Екатерина прошлась по кабинету, взяла с мраморного столика золотую табакерку с портретом своего великого предшественника. Нет, подумала она, удержать власть, полагаясь в основном на пряники, невозможно. Прянику должен вечно и неизменно сопутствовать кнут. В этом, так же как и во всем остальном, Петр Алексеевич был, безусловно, прав.

— Передайте своему князю, — сказала она, — чтобы сегодня, и непременно сегодня, он ответил что понужнее Репнину. Как только будет исполнено, немедленно известите меня запиской, сообщив, в каком часу и каким числом курьеры отправлены на юг.

Попов поклонился и вышел. Его экипаж летел птицей в сторону Петербурга. Гуляя по пустынному парку, государыня долго еще слышала удалой перезвон поповских колокольчиков. Поначалу это ее как-то успокоило, но расторопность Попова оказалась обманчивой. Прождав целый день и так и не получив ожидаемой записки, государыня

созвала Совет с участием всех коллегий и Сената. Бурное заседание длилось почти всю ночь, и под утро Екатерина зачитала ему самой составленное постановление, в котором светлейшему князю в самых категорических выражениях предписывалось немедленно вернуться на юг в действующую армию, завершить мирные переговоры с турками и вернуть армию в собственные пределы.

У Потемкина так же, как и у государыни, повсюду были свои люди. Узнав о заседании Совета, он незамедлительно сел в экипаж и покатил в Царское. По проницательности судьбы именно тогда Екатерина зачитывала постановление, карета светлейшего подъезжала к занимаемой им части дворца. Зная буйный нрав Потемкина, все ожидали, что он с минуты на минуту ворвется на заседание. Ужас сковывал высокопоставленных вельмож, когда им предложили высказаться в пользу или против зачитанного постановления. Государыня, однако, была непреклонна. Она не допускала никаких двойственностей, никаких увильваний и тем самым заставила Совет принять постановление. Когда оно было принято, императрица предложила, чтобы кто-нибудь из сановников прошел в покои князя и ознакомил его с содержанием принятого решения.

Как будто это было так просто сделать — взять постановление и пойти. Конечно, пока государыня рвет и мечет, а сам светлейший не в себе, это дело верное. А ну как завтра они помирятся и все пойдет опять как по маслу? Да ведь тогда тому, кто сегодня войдет с этим постановлением, навряд ли головы не снести!

В конце концов императрица, поставив свою подпись под постановлением, поднялась и сама направилась в покои светлейшего. Она шла медленно, кружным путем, через Зимний сад, и все время старалась припомнить того подпоручика, который, участвуя в заговоре ночью 28 июня, почти тридцать лет назад, подъехал к ней на лошади и предложил свой темляк. Государыня была в ту ночь одета в форму офицера, но в суматохе ей забыли надеть темляк на саблю. Немка по происхождению, Екатерина чувствовала себя неуютно, если порядок бывал хоть в чем-то нарушен. Заметив, что государыня проявляет беспокойство, Потемкин подъехал и, узнав, в чем дело, снял со своей сабли темляк и надел на эфес императорской сабли...

Господи, целая вечность прошла с тех пор! Кто бы мог подумать, что младший офицер, протянувший свой

темляк молодой взбунтовавшейся царице, со временем наберет такую силу, такую власть, что будет в состоянии угрожать самим основам...

— Извольте ознакомиться, светлейший князь, — начала Екатерина и осеклась. Хотя давно уже рассвело, в кабинете светлейшего были опущены шторы, и она не сразу увидела хозяина. Он лежал на тахте с перевязанной полотенцем головой — очевидно, никак не мог выбраться из очередного перепоя. С трудом преодолевая боль, он поднялся с тахты, кое-как доплелся до государыни, опустился перед ней на колени, стал ловить ее руки, чтобы поцеловать, а тем временем слезы градом текли по его крупным, мясистым щекам.

Оставив князю постановление, государыня, одинокая, задумчивая, провела весь день в бильярдной, гоня шары. Она не была уверена, что поступила правильно, вынуждая, в сущности, тяжело больного человека ехать на юг, но, с другой стороны, иного выхода не было и, стало быть, что сделано, то сделано. Если интересы державы того требуют, то и толковать не о чем.

Вечером, чтобы как-то успокоиться, она пригласила нескольких приближенных сыграть партию-другую в карты. Вечеринка, как это всегда бывает с этими наспех импровизированными вечеринками, выдалась на славу. Камин пылал, буйное пламя гуляло по зеркалам, а за игорным столиком бушевали страсти. Хотя ставки были небольшие, государыне удалось выиграть около десяти рублей. Уже решилась судьба третьей партии, а у нее, похоже, опять была сильная карта в руках.

— Не мучьте, ваше величество. Покажите, что у вас.

— Два туза.

Старик Салтыков только руками развел.

— Как, однако, везет нашей матушке!

Екатерина воинственно тряхнула седыми локонами.

— Богу небось ведомо, кому деньги до крайности нужны. На Северном море вот-вот появится неприятельский флот. На Дунае застряла целая армия. Для того чтобы выкрутиться из всех этих передряг, мне нужна пропасть денег, а вам они зачем?

Гофмаршал Бяратинский, не устававший угождать своей повелительнице, тем не менее осмелился заявить:

— Все-таки, ваше величество, выигрывать приятнее, чем проигрывать.



— В таком случае не садитесь с государями за один стол.

Острота имела чрезвычайный успех. Гостям было так хорошо и весело, что жалко было их отпускать, и хозяйка предложила:

— А что, если сыграть еще партию? Давайте еще одну. Напоследок.

Едва карты были розданы, как в кабинет ворвался в своем вишневом халате светлейший князь Тавриды. Отославшись за день, он наконец расправил на коленке постановление, принялся читать, и первые же строчки привели его в неистовство.

— Ваше величество, как следует понимать это оскорбительное для меня решение?.. Как понимать, что лично вы, своей рукой...

Платон Зубов, сидевший тоже за игорным столом, поднялся и на правах хозяина спросил:

— А как понимать, светлейший, ваше неурочное появление в кабинете ее величества?

— Что-о-о?! — взревел Потемкин.

— Друзья мои, — сказала Екатерина, поднявшись из-за стола, — давайте ненадолго прервем игру. Платон Александрович, покажите гостям коллекцию, только что доставленную мне из Голландии. Я, правда, собиралась представить эти работы при дневном освещении, но, думаю, при свечах они будут выглядеть романтичнее. Тем временем мы со светлейшим обговорим наиболее спешные дела. Приятной вам прогулки и передайте Захару, пусть неотлучно дежурит у моих покоев.

Оставшись наедине, светлейший опустился перед своей повелительницей на колени, поцеловал ей руки и сказал:

— Ты стала бояться меня, матушка. Раньше, когда у нас бывали разлады, ты никогда не оставляла дежурить слуг. Даже в самые худшие времена, когда мы желали остаться наедине, мы действительно бывали одни.

Екатерина мягко высвободила руки, прошла в дальний угол кабинета и, бледная, взволнованная, села в кресло.

— Ты сильно постарела за этот год, матушка.

— В седине есть свое очарование.

— Пожалуй, — сказал князь, — но наступают времена, когда седина уже печально выглядит рядом с вихрастой шевелюрой на одной и той же подушке.

Этого шестидесятилетия Екатерина перенести не

могла. Любое, даже косвенное осуждение последней любви приводило ее в негодование.

— Я всю себя, без остатка, — прокричала она, чекая каждое слово, — отдала служению моей державе! А что до моей частной жизни, то это никого не должно касаться!

— Заблуждаешься, матушка, считая, что частная жизнь монарха к делам управляемой им державы некасается! Это побеги единого древа! И с того самого вечера, когда молодой ротмистр стал провожать тебя в твои внутренние покои, совершенно по другим ценам стали продавать овес в Тамбове.

— Да при чем тут цены на овес?!

— А очень просто. Обыватель — он как рассуждает? Рядом с государыней ротмистр стоять не может, ему придется дать генерала, а за генеральский мундир должно хоть какое-нибудь да сражение выиграть. Пешему на войне побеждать долго, на войне нужен конь, а без овса на том коне далеко не уедешь.

— Вас-то почему повышение цен на овес так занимает?

— Да потому, что моя армия сидит на тощих, плохо зимовавших лошадях. Без дополнительного фуража перейти Дунай мы еще можем, но нанести решающий удар по Константинополю и овладеть им — уже не в силах.

— Разве кто-нибудь требует от вас, чтобы вы непременно овладели Константинополем?

«Господи, — подумал Потемкин, — до чего запоздалая любовь может довести шестидесятилетнюю женщину! С ней положительно стало невозможно говорить!»

— Матушка, — сказал он как можно мягче и ласковее, — в нашей с тобой совместной жизни был день, великий день, вернее, была ночь, великая ночь, когда мы поставили себе сразить Оттоманскую империю и возродить на ее развалинах древнюю Византию. Это было нашей мечтой. Я всю жизнь обживал юг, строил корабли, налаживал торговлю и производства, чтобы обеспечить себя тылами, я даже проложил дорогу из Харькова на Балканы. И ты ведь не случайно нарекла своего новорожденного внука Константином. Теперь великий князь Константин танцует у меня на балу, он вполне способен носить корону нового государства. Стотысячная армия стоит у Дуная, до Константинополя рукой подать, а ты требуешь от меня незамедлительного

заклучения мира и возвращения армии в пределы! Это ли не предательство!

Екатерина улыбнулась. Все-таки она его любила. Был полет, была удасть, был размах во всем, что говорил и предпринимал светлейший. Но, с другой стороны, бог ты мой, до чего временами нелепыми оказывались и эта удасть, и этот размах...

— Князь, не мне вам говорить, что время берет свое, интересы державы перемещаются то в ту, то в другую сторону. Не может страна, если она не безумна, все время гнуть одно и то же. Еще древние говорили, что все в мире течет, все изменяется.

— Но существуют же особые ценности, никаким колебаниям не подвластные!

— Таких вещей в природе нет.

— А бог?

— И боги меняются и перемещаются в той степени, в которой меняются и перемещаются верующие в них люди.

— Но душа, по крайней мере, моя бедная душа, которая то ликует, то плачет, она, я полагаю, все та же?!

Екатерина подошла, виновато прислонила свой лоб к его могучему плечу.

— Я соскучилась по тебе, — сказала она тихо.

— Вели Захару идти спать, — предложил князь.

— Я его задержала единственно с тем, чтобы созвать гостей. Мы же перед твоим приходом только что роздали карты.

— Как? И после всего этого ты будешь еще в карты играть?!

— Но, — сказала Екатерина растерянно, — игра не может быть брошена! На столе лежат розданные карты, в банке деньги собраны...

Потемкин, глядя куда-то в пространство, долго и обреченно качал своей огромной, лохматой головой.

— Матушка, иногда я узнаю в тебе немку, и меня оторошь берет.

— Оторошь вас берет совершенно по другому поводу, — сказала Екатерина. — Вы боитесь, что я умру раньше вас и что вы останетесь наедине с моим сыном, который вас ненавидит, так же, впрочем, как и вы его. Вам кажется, что, когда вы останетесь с ним наедине, вас не спасут ни заслуги, ни богатства. Вот вы и ищите, за что бы спрятаться. То вы хотите византийской короной себя защитить, то в мантию духовника себя об-

лечь. Так вот что я вам скажу, князь. Успокойтесь. Я даю вам слово, что раньше вас из этой жизни не уйду. На этом давайте и порешим.

Сочтя разговор исчерпанным, она подошла к игровому столу, заняла свое место и крикнула Захару:

— Ну, где там мои гости?

Встревоженные этой неожиданной прогулкой, гости вернулись, но игра уже не клеилась. Неудовлетворение продолжало висеть в воздухе кабинета ее величества и давило на гостей как предгрозовая духота. К тому же фельдмаршал стоял посреди кабинета, занимая собой все пространство. Видно было, что он не в духе и это надолго. Карты тихо ложились на стол. Выиграла опять государыня. Поздравив ее с необыкновенным везением, гости стали прощаться.

И вот они остались втроем — Он, Она и еще один Он. Знаменитый треугольник, обошедшийся человечеству дороже любой другой геометрической фигуры. Собственно, треугольником это называется просто из чело-веколюбия. На самом деле острота его в том и состоит, что один из трех должен избавить остальных двух от своего присутствия. Потемкину и в самом деле пора было уйти вслед за гостями, но он все стоял посреди кабинета, и трудно было предположить, что он когда-нибудь сдвинется с места. Должно быть, ему хотелось посмотреть своими глазами, как шестидесятилетняя женщина удалится в свой покой в сопровождении молодого фаворита. Екатерина, с ее чувством такта, прекрасно понимала щекотливость положения и не спешила прощаться.

— А что, если выпить по капельке рома? — предложила она вдруг. — Помните, в юности, живя на острове, где мой отец служил комендантом, в длинные холодные вечера мы, сидя у камина, баловали себя капелькой рома, и, право, это очень скрашивало нам жизнь! Захар!

Ром был принесен, но не имел успеха. Екатерине он показался слишком крепким, и она не допила рюмку. Потемкин не стал себя растравлять такой малостью. Один Платоша опрокинул в себя то, что ему было предложено, после чего молодцевато повел плечами и неожиданно для самого себя обратился к Потемкину:

— Вы совершенно напрасно, светлейший князь, пре-

небрегли проявленным к вам расположением. И дело вовсе не в том, что это может кого-то обидеть. Беда в том, что из-за этого может пострадать ход государственных дел.

— Не вижу, — сказал князь, вернувшись опять к догорающему камину и грызя ногти, отчего его речь, пущенная сквозь пальцы, становилась глуховатой и невнятной. — Не вижу, каким образом наша взаимная неприязнь может отразиться на государственных делах.

— Очень даже просто. Мы втроем на сегодняшний день представляем мозг и волю державы. У каждого из нас свои виды, свои прожекты, но мы не можем начать их осуществление, не согласовав их.

— Мои прожекты, — прорычал Потемкин, — суть победы русского оружия последних двадцати лет на суше и на море. Если у вас тоже есть какие-нибудь прожекты, рад буду с ними ознакомиться.

— Могу поделиться. Впрочем, я готов даже кое-что прочесть. Из своего, разумеется...

Государыня, видя, как далеко заходит дело, поспешила приготовить светлейшего:

— А знаете, князь, у нашего Платоши открылся прелестный литературный стиль! Он, правда, отлынивает, но я его заставляю работать, и теперь по утрам мы оба садимся за работу — он за своим столиком, я за своим.

— Что ж, — сказал Потемкин, прекрасно знавший, когда и при каких обстоятельствах просыпается Зубов, — ничего удивительного. Дворцы и роскошь всегда располагали к сочинительству.

Достав нужные бумаги, картинно встав перед своими слушателями, Платон Зубов набрал полные легкие воздуха. Хотя, гм, небольшая заминка.

— Вступление тут у меня на французском, оно еще недостаточно отшлифовано. Начнем с пункта первого. Общих исторических мест рассуждение относительно устройства столиц, династий и дворов. По завершении всех наших побед в мире мусульманском, католическом и лютеранском преобразованная Россией Европа должна иметь суть следующие столицы — Москва, Астрахань, Вена, Константинополь, Берлин, Стокгольм, Копенгаген и Варшава. Хотя каждая из этих столиц будет иметь свой особый двор, сами эти дворы, однако, будут оставаться под началом главного петербургского двора. Что касается армии, финансов и таможенного контроля...

— Но позвольте! — вскричал князь. — Вы называете в качестве вассалов столицы ныне здравствующих держав! Куда, по-вашему, эти державы денутся?

Это был тяжелый удар для самолюбивого фаворита. Из всех существовавших тогда правительственных учреждений ему почему-то особенно приглянулась Коллегия по внешним сношениям. Он подчинил ее себе полностью, но, плохо разбираясь в межгосударственных отношениях, слабо владея языками, совершенно запутался во внешней политике России. На заседаниях Совета его укоряли в том, что у него нету единой концепции в ведении иностранных дел. Провозглашаемые теперь идеи должны были стать основой его иностранной политики, и вдруг такой удар в самом начале! Куда эти страны денутся...

— Для могущественной державы, — сказал вызывающе Платон Зубов, — какой является наша, это не может составить проблемы.

— Спору нет, для могущественной державы это не может составить проблемы, но для державы христианской, притом что и остальные державы христианские, это очень даже может составить проблему. Причем гигантскую, неразрешимую проблему!

— Христианство есть религия, — сказал, подумав, фаворит. — А религия к делам политическим некасаема.

— Нет, друг мой! Христианство есть формула нравственности, а уж нравственность составляет фундамент любого цивилизованного государства.

— Христианство есть религия, и только, — заявила вдруг Екатерина.

— Не соглашусь, матушка! Христианство есть такое состояние нравов, при котором вот оно — как будто и можно, но на самом деле нельзя!

— Если можно, то почему нельзя? — спросил в недоумении фаворит.

— Потому что над нами бог. Призывая его в судью и вершителя всех наших земных дел, мы тем самым как бы признаем относительность всех наших деяний. Человек предполагает, а бог располагает. Это речение витать не только над церковными нищими, но и над сильными мира сего. Перед богом все равны. И не зря в народе про человека, не признающего духа всевышнего, говорят с ужасом — креста на нем нету...

— Если об этом все время помнить, то невозможно

будет даже роту солдат поставить во фронт, — усмехнулся Зубов.

— А если забыть об этом, — вскричал князь, — то можно родную мать поставить по стойке «смирно» и забыть о ней на добрую сотню лет!

У Зубовых были какие-то нелады в семье, особенно в отношениях сыновей к матери. Собственно, и сам Потемкин был в ссоре со своей матерью, так что обе стороны на миг ослабили давление друг на друга.

— Ах, мужчины-мужчины, — вмешалась вдруг императрица. — Вам бы все саблями размахивать да о боге спорить. А мне вот завтра нужно пшеницу смолоть и выпечь пять тысяч мешков сухарей для моих солдатиков. Пшеницу достала — смолоть негде. Смелешь — выпечь негде. Выпечешь — высушить негде. Прямо рок какой-то на этой державе — никогда не бывает так, чтобы все было и чтобы все сразу получилось.

Несколько раздосадованный тем, что ему не удалось представить свое сочинение должным образом, фаворит упрятал листы обратно в стол и, чтобы как-то замять конфузность ситуации, сказал примирительно:

— Передышка нужна. Мир нужен. Вот что сегодня главное.

Императрица с жаром его поддержала:

— Право, князь, заключите скорее мир с турками и возвращайтесь. Помимо всего прочего, я просто соскучилась без вас.

— Я, со своей стороны, тоже очень просил бы вас об этом, — неожиданно заявил фаворит.

— Вам-то что за радость в моем возвращении?

— Радость для меня, конечно, относительная, но мне нужна армия. Согласно принятому постановлению войска, бывшие под вашим началом, поступают в мое распоряжение.

— Помилуйте, — завопил светлейший, пораженный этой новостью, так как он никогда ни один документ не дочитывал до конца, — зачем вам, в ваши двадцать пять лет, стотысячное войско?

— Вы думаете, — ехидно спросил фаворит, — без стотысячного войска возможен выход через Персию к теплomu Индийскому океану?

— Да зачем вам Индийский океан?!

— Вы забываете, светлейший, что выход через Персию к Индийскому океану — естественное устремление России. Правда, персидский поход Петра окончился не-

удачей, но наша великая государыня, завершив почти все великие предначертания своего предшественника, не может оставить без внимания проект выхода к Индийскому океану. И не исключено, что его выполнение будет поручено мне.

— Друг мой, — сказал Потемкин, изобразив на своем лице улыбку, — лень и неспособность заняться каким-либо полезным делом привели тебя к тому, что ты стал бредить неосуществимыми, химерическими планами...

— Уж коль скоро зашла речь о химерах, — задиристо заявил фаворит, — то это скорее ваша Византия и все эти ваши дела на юге.

— Юг — это будущее России.

— Не будем спорить. История нас рассудит.

Как-то так получалось, что все у них было на равных. Обоих в свое время государыня допустила к себе и возвысила, обоих обогатила, дала власть, армии, а что до разности их планов...

— Да как ты смеешь, сопляк, равнять себя со мной?! Я присоединил южный край и Крым к России, я вывел державу к Черному морю, я четыре года сражаюсь против турок, я поставил на колени эту империю! А что ты придумал в свои двадцать пять лет, кроме того, что спишь до полудня, и пока ты в постели нежишься, твоя обезьяна в приемной скачет по головам посетителей, грызет парики и мочится на них? И эти олухи вместо того, чтобы схватить за задние лапы это чудовище...

Побелевший Зубов подошел к столу, достал из выдвижного ящика массивный английский пистолет.

— Что-о-о? — завопил Потемкин. — Ротмистр поднимает оружие против фельдмаршала? Да я тебя голыми руками...

В ярости, не помня себя, он схватил тяжелое ореховое кресло и высоко поднял над головой. В какую-то секунду оба замерли — один с поднятым креслом, другой с наведенным пистолетом. Дело в том, что, помимо них, в кабинете находилось еще одно лицо, и, при несомненном могуществе сцепившихся сторон, абсолютной властью обладало именно то третье лицо, и от его поведения многое зависело в этой схватке. А третье лицо тем временем спокойно сидело в углу за отдельным столиком и кушало яблоко. Екатерина с юных лет завела себе привычку начинать и заканчивать день яблоком, и она его аккуратно, с удовольствием вкушала.

Доев, бросила сердцевину с зернышками в изящную, нарочно для этого поставленную хрустальную вазочку, пошла в другой конец кабинета, взяла золотую табакерку с нюхательным табаком. Петр с миниатюрного овального портрета смотрел на нее весело и дерзко. Взяв привычную порцию табака и отправив в напудренный нос, государыня чихнула, закрыла табакерку, еще раз посмотрела на своего великого предшественника. А как бы поступил ты на моем месте? Петр нервно дернул усиками и усмехнулся. Было бы о чем говорить! И то правда, подумала Екатерина, — было бы о чем говорить!

— Ну, — сказала она, опустив табакерку на стол, — поболтали о всяких пустяках, теперь пора и на покой. Спокойной ночи, князь.

Она медленно, величественно стала удаляться в свои апартаменты. Платон Зубов, мигом спрятав оружие, незамедлительно последовал за государыней.

Оставшись один, светлейший вернулся к потухающему камину, сел на пол и заплакал.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

# Возвышение в сан

*У нас чудотворные иконы на каждом шагу.*

*Екатерина II*

*В России... дуhovenство всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством.*

*Пушкин*

Построенный в виде четырехугольной каменной крепости, с высокими стенами, с бойницами для стрелков, Нямецкий монастырь в случае необходимости становился неприступным для врагов, но эти его достоинства в дни больших праздников оборачивались недостатками. Небольшой внутренний дворик почти полностью был занят двумя храмами. С трех сторон в этот сумрачный дворик подслеповато глядели расположенные на двух этажах монашеские кельи. Обращенный на юг главный корпус с двойными железными воротами, с тремя большими колокольнями использовался в основном для общих монастырских нужд — трапезная, библиотека, гос-

тиница для приезжих. Свободного пространства внутри монастыря оставалось только для монашеских тропок, чтобы пройти в храм на службу и вернуться обратно. И то в праздники, чтобы не создавать излишней толкотни, наказано было монахам двигаться главным образом по коридорам своих этажей и спускаться во двор лишь перед самым входом в храм.

Монахи — народ разумный, спокойный, терпеливый. В обычные и даже воскресные дни им как-то удавалось скрыть отсутствие свободного пространства внутри монастыря, зато по большим праздникам ноге ступить там было негде. Пройти в храм и выйти из него стоило таких трудов, что от праздничной службы и от самих молитв мало что оставалось.

В тот год на вознесение приехал сам митрополит Амвросий Серебряников. Поскольку митрополит занимал должность экзарха, то есть главы местного духовенства, он, по обычаю православной церкви, был встречен всем собором, вышедшим ему навстречу далеко в поле с Евангелием и чудотворными иконами. От самого городка Нямец и до монастыря, верст пятнадцать, по обеим сторонам дороги толпился народ.

Погода была на редкость. У подножия Карпат стояли те волшебные дни, когда ранние деревья в садах уже отцвели, уже и плоды завязались, а поздние все еще никак не отцветут. С высоких гор медленно скатывалась голубизна огромного, необъятного, божественно величавого неба. Уж тут ее, этой прозрачной голубизны, полно, а она все катит и катит сверху. Солице светило празднично, согревая всех и каждого, и те, что так долго недоедали, мерзли и страдали в зимнюю стужу, вдруг ожили, заулыбались.

Нямецкий монастырь задышался от наплыва мирян. Внутри обоих храмов теснота была такая, что гасли свечи и лампы. Все, что было еще живо в Молдавии, все, что еще дышало, собралось с силами и приползло сюда, потому что Нямец был не просто монастырь — это был символ нации, единственная святыня, оставшаяся нетронутой. И к каким бы партиям бояре себя ни причисляли, в какой бы столице мира они ни свили себе гнездышко на черный день, каждый год на вознесение они вместе со своей челядью приезжали в Нямец. Из своих разоренных поместий, из долгих скитаний по свету, из Львова, Киева, Москвы, Вены, Константинополя и еще бог весть из каких далей слетались они, чтобы хоть

раз в году почувствовать себя народом, воспрянуть духом и спокойно посмотреть в глаза завтрашнему дню.

Времена были тяжелые, монастырь был старый, и теснота образовалась такая, что не только сами храмы, но все проходы внутри монастыря, все лесенки, приступочки — все было забито народом. Престарелые священники, голоса которых уже не звучали в алтарях, справляли тут, на воздухе, службы, пели псалмы для тех, кто опоздал или не смог попасть внутрь храма, потому что вознесение для всех должно быть вознесением.

Но это была только малая часть гостей. Основная масса народа, та, которая даже в монастырь не смогла протиснуться, стояла на площади перед обителью, в прилегающих к монастырю садах, и дальше по склонам гор, сколько видел глаз, стояли люди. Они стояли с горящими свечами, слушали праздничный перезвон, крестились и тайно ждали угощения, которым по большим праздникам эта обитель их баловала.

В главном храме, построенном Штефаном Великим, служили двенадцать священников, по числу апостолов, причем шесть из них пели на молдавском, шесть на славянском языке, и это придавало литургии особое очарование. Но конечно же, как всегда на вознесении, украшением праздника были хоры, знаменитые мужские хоры Нямецкой обители. Разделенные на две части, они пели в обоих храмах, но, поскольку это все-таки был один хор, временами, когда мелодика литургии совпала, эти хоры взрывались таким могучим единым пением, что, по утверждению многих, перекрывали колокольный перезвон.

Отец Паисий, служивший вместе с митрополитом в главном соборе, выглядел в этой массе народа маленьким, жалким, растерянным. Он всю жизнь страдал бессонницей, а теперь к ней прибавились еще и хлопоты, связанные с вознесением. В конце концов вся эта суета привела к тому, что старец потерял молитву. Для отца Паисия это было трагедией. Тысячи томов священных книг, горы великих истин, моря поэзии, крылатых слов и изречений — все это теперь проносилось мимо, ибо душа, как выжженная солнцем пустыня, не принимала в себя ни единого зернышка, а если оно случайно туда попадало, все равно толку никакого.

Шутка сказать — за две недели ни разу не соснуть. Помимо чисто хозяйственных забот, ему не давали обрести покой толпы народа, начавшие стекаться к

монастырю задолго до праздника. Не имея другого пристанища, они оставались на ночь там, на площади перед монастырем, куда выходили окна покоев старца. Всю ночь отец Паисий помимо воли своей слушал их молитвы, их пересуды, их жалобы, и уснуть посреди этого моря великих горестей народных было совершенно невозможно.

Утром в день вознесения он еле-еле протиснулся в храм, и это его тоже расстроило. Отец Паисий был уверен, что большое скопление народа противно жизни человеческого духа. Когда царит теснота и жмут со всех сторон, тогда о душе никто не помышляет, все думают о теле. И как бы ни пел хор, о чем бы ни говорилось с амвона, прихожанин, стоя в битком набитом храме, только и будет думать о том, что вот кто-то теснит его и, чтобы не оказаться в убытке, ему бы и самому кого-нибудь потеснить надо, а уж при таких мыслях куда как далеко до бога!

Божественная литургия на какое-то время увлекла старика. Из всех церковных служб Паисий особенно любил праздничную литургию. Это ритмическое раскрепощение духа его совершенно зачаровывало. Бог, которого он славил и благодарил в эти минуты, не был для него где-то там, на небесах, а тут, рядом, и, может быть, поэтому во время литургии отец Паисий достигал такой глубины и искренности, что слезы градом катились по его щекам. На его литургиях собирались огромные толпы народа, ибо отец Паисий умел, как говорили, приблизить бога. Этому его дару удивлялся даже константинопольский патриарх, и, пока отец Паисий был на Афоне, паломники буквально высаживали двери храмов, в которых он служил.

Теперь, увы, годы не те. Немощное тело еле передвигается, голос сел, дух ослаб. Службу в храме правил сам митрополит. Он же как экзарх молдавской церкви должен был обратиться с проповедью к прихожанам. Епископ Банулеско, тоже участвовавший в службе, вопреки своему серьезному, ученому виду, выказывал какую-то озабоченность. Кому-то что-то сообщалось, с кем-то о чем-то советовались, и все их окружение находилось в несколько суетном состоянии, из чего отец Паисий заключил, что митрополит, должно быть, выступит с проповедью чрезвычайной важности.

— Братья во Христе! — возвестил по окончании ли-

тургии митрополит. — Я благодарен богу, что сподобился сегодня служить в этом храме вместе с истинным апостолом, гордостью нашей церкви, земляком нашим, отцом Паисием Величковским. Наша императрица Екатерина Великая, священный Синод совместно с командованием русской армии передали через меня слова отеческого любвеобилия отцу Паисию за его долгую и верную службу православию, за сподвижничество и верность христианскому духу. Как экзарху молдавской церкви мне доставляет особую радость наградить отца Паисия золотым крестом и вместе с божьей благодатью возвысить его в сан архимандрита.

Нямец воссиял — вот она, наша вера, вот оно, наше достоинство! Под неумолкавший гул колоколов в обоих храмах единым дыханием взорвалось «Верую». Пели хоры, пели прихожане и монахи, стиснутые тесным двориком, пели нищие и богомольцы на площади, пели кучера, оставленные при каретах, пели пастухи на склонах холмов, пели из той дальней дали, откуда Немецкий монастырь был еле виден, а колокола его еле слышны, и единственный, кто не пел, был сам отец Паисий.

Он не пел по той простой причине, что его уже не было в храме. С быстротой и проворством, какого вряд ли можно было от него ожидать, он покинул службу и, выйдя через боковую дверь, низко опустив седую грешную голову, с трудом протискивался сквозь поющую толпу. Ему помогали золоченые ризы, в которых он покинул храм, лысый череп и огромная седая борода, единственная такая на весь православный мир. Люди из последних сил ужимались, чтобы пропустить его. Вот они, ступеньки, а там коридор, а там уже недолго добраться до своего жилья.

Состоявшие из двух комнат покои старика были пусты. В первой, просторной комнате, так называемой приемной, висела всего одна икона и горела перед ней вечная лампада. Любимые отцом Паисием лики святых были в его келье, но он был так потрясен происшедшим, что ему не хватило сил дойти до них. Пав ниц перед иконкой в приемной, он вознес руки к небу и зарыдал:

— Господи! Они хотят отнять у меня все мои страдания, все мои долгие поиски путей к тебе, всю радость общения с тобой, опорочив все это шумным вознаграждением. Господи, дай мне крепость духа, изначальную твою чистоту, освети меня разумом вечного покоя...

После «Верую» внутри храмов, так же как и внутри

самого монастыря, наступила долгая, загадочная пауза. По лицам блуждало удивление: всем было ясно, что произошла какая-то заминка, а какая именно — никто не знал. Пошептались в алтарях, обменялись удивленными взглядами, и вот по коридору и галереям расходятся торопливые шаги монашеской братии. Прервав молитву на полуслове, отец Паисий поднялся с пола, вошел в келью и запер за собой дверь.

Тем временем депутация монахов громыкает по деревянному настилу коридора, вот она все ближе и ближе. Постояли в растерянности в приемной, потом осторожно потянули ручку двери.

— Ну, чего стали? — сердито спросил страдавший одышкой и потому шедший сзади боярин Мовила.

— Заперто, — ответил белый как лунь монах и, прилавившись к щелке дверей, долго и подслеповато вглядывался в келью старца.

— Ну, чего он там?

— Молится. Чистая, святая душа! — умиленно сообщил белоголовый монах, не отходя от замочной скважины.

Боярин был вне себя от возмущения.

— Святые отцы, да вы в своем уме? Обабдели тут на мамалыге и постном супе. Наша бедная Молдавия раздавлена, она разорена, она не в силах без посторонней помощи оторвать голову от земли! И тут такая удача! Великая держава, спасительница наша, протягивает нам руку. Она находит возможным наградить и возвысить старца нашей обители, тем самым как бы оказывая честь нашему монастырю, нашей вере, нашей стране. И что же мы? Как дикари убегает из храма прямо в золотых ризах? Не поклонившись, не приняв дара, не поцеловав руку дарующего?!

Белоголовый отец Онуфрий, сидевший на полу у замочной скважины, ведал делами монастырской больницы. Он славился своим милосердием, но мог быть и твердым, если того требовали обстоятельства. Оскорбленный обвинениями боярина, он поднялся с пола, прислонился спиной к дверям кельи, точно приготовился жизнью защитить своего духовного отца. И, не переставая при этом улыбаться, как и полагалось во дни вознесения, сказал боярину:

— Простите меня, но эти дела так не делаются. Отец Паисий — старый и больной человек. Он мой духовный наставник, он знает всю смуту духа моего, но я

его лекарь, я знаю всю немощь тела его. Всю прошлую ночь мы омывали старца ромашковым настоем и готовили к сегодняшней службе. Мы собирали его для божественной литургии, а не для того, чтобы вешать на нем награды...

— Глухие вы люди, когда же еще награждать духовных лиц, как не на праздничных службах?

— На праздничных, но предупредив, испросив заранее позволения.

— Да что отцу Паисию это архимандритство — камень на шее, что ли? Ну получил и забыл. И с той же ноги топай себе дальше.

— С той ноги уже не получится.

— Почему?

— Потому что предметы отличия гнут нас к земле, к ее богатствам, к ее славе, а мы дали обет служить небесам.

Полный, похожий на бочку с вином боярин только руками развел:

— Послушать вас, так вы единственные христиане в этом мире. А наградивший старца митрополит, думаете, не такой же христианин, как и вы? Думаете, он не давал обета служить небесам?

В храмах завершились службы. Стихли под высокими сводами звуки псалмов, умолкли колокола, догорают свечи и лампы. Под тихие, редкие вздохи главного колокола праздничная литургия выпустила из-под своей власти эту огромную массу народа. Наступила недолгая, похожая на растерянность пауза, после которой послышался гул толпы, покидающей храмы. Людское море медленно текло через настежь открытые ворота на волю, на воздух, на солнце, и монахи, ведавшие праздником, поднялись, встревоженные, к своему старцу. Наступало время угощения, бесед, проводов, каждую минуту возникали тысячи проблем, и именно в это время монастырь остался без твердой руки старца, без его светлой головы.

Отец Ипатий, главный распределитель на вознесении, был так озабочен, что попытался силой отгеснить от дверей белоголового брата Онуфрия, но Онуфрий оказался сильнее.

— Молится, — сказано было Ипатию в качестве утешения.

— По важному, по срочному, по не терпящему отлагательства делу!!! — взмолился Ипатий.

— Важнее молитвы у монаха дела нет.

Уступив, однако, всеобщему давлению, отец Онуфрий посмотрел в замочную скважину.

— Молится и плачет, — сообщил он радостно. — Отец наш сердечный...

— Глупые вы старики, — сказал Мовилэ, — совсем одичали тут у подножия Карпат. Посмотрите, сколько народу собралось в этом году на вознесение, посмотрите, с чем этот народ пришел к вам! Да знаете ли вы, что все эти люди собираются из года в год в Нямец не просто для того, чтобы участвовать в службах ваших храмов...

— Боюсь, что угощения на всех не хватит, — поразмыслил вслух отец Ипатий. — Придется открывать подвалы и кладовые.

— Ну и открывайте, если считаете нужным, — сказал Онуфрий.

— Без позволения старца не имею права трогать запасы, а делить один орех на двух паломников унизительно для такой обители.

— А может, квестир, — предложил кто-то из гостей.

Отец Онуфрий изобразил на лице мученическую улыбку.

— Какой квестир может помочь человеку, у которого с молодости гниет и кровоточит правая половина тела! Ромашковый настой и чистые полотенца — вот единственное, что его еще держит в этом мире.

— Что же, ромашки у вас нету?! — загрохотал Мовилэ.

В этом пункте отец Онуфрий уступил, наказав своим помощникам, толпившимся в приемной, принести из больницы пару ведер ромашкового настоя и стопку чистых полотенец. Увлеченный этими распоряжениями, он чуть отошел от дверей, и тут же его место занял отец Ипатий. Постучав сильно, тревожно, он спросил громко, так что не услышать его было невозможно:

— Святой отец, прием для гостей устраиваем или нет? Паломников угощаем или нет?

Увы, ответа не последовало, и судьба главного престольного праздника повисла на волоске. Воистину положение было отчаянное. Пезор висел над главной обителью Молдавии, над всей страной, и в этом смятении боярину вришля мысль.

— Послушайте, а нет ли у вас в монастыре этакой

святой души, которая в любое время имела бы доступ к старцу?

Ипатий сказал:

— Вот Онуфрий. Лекарь и друг. Ближе у старца никого нету.

Но сам Онуфрий был несколько иного мнения.

— Есть тут один послушник при скотном дворе. Он родом из-за гор, из Трансильвании. Не припомню сейчас, как его мирское имя, но старец прямо светится весь, когда видит его, и долго потом мне пересказывает, о чем они меж собой говорили...

— Это Горный Стрелок, что ли? Да он только что во втором храме пел рядом со мной...

— Так пошлите же за ним!

Мовилэ метался, не зная, как сдвинуть с места эту колымагу. Пока разыскивали послушника, он подошел к окну, выходявшему на площадь перед монастырем, долго следил за людской толчеей, потом сказал убитым голосом:

— Кучерá его преосвященства запрягают.

Отец Ипатий, постучав еще раз, ввернул-таки несколько соображений в замочную скважину.

— Святой отец, есть дела, которые не терпят отлагательства, и, поскольку вы не отзываетесь, я данной мне властью вынужден единолично принять ряд решений, о чем и ставлю вас в известность. Во-первых, из-за наплыва важных гостей прием из трапезной переносу на открытый воздух, в сад монастыря. Во-вторых, по случаю возвышения вас в сан архимандрита полагается самое праздничное угощение паломникам и мирянам. Я вынесу из подвалов еще десять бочек вина, пять бочек брынзы, две бочки меда и двадцать мешков орехов. Если в чем нарушил вашу волю, пусть бог меня простит, но времени у меня в обрез!

Поспешность, с которой этот монах уходил, несколько успокоила боярина.

— Ну, при хорошем угощении, если к тому же достанут драгашанского вина, дело еще может быть поправимо... Но, братцы мои, когда же вы раскопаете того послушника?

— Да вот он в дверях стоит. Брат Иоан, о тебе речь.

Иоан, молодой, рыжеватый деревенский парень со следами не до конца сошедших веснушек, прошел в приемную, по ходу дела переставив ведра с ромашковым

настоем, которые, по его мнению, не там стояли. Было в нем что-то лихое, веселое, и, увидев его, невозможно было не улыбнуться.

— Сын мой, — обратился к нему Онуфрий, — помоги нам. Вот старец наш то ли расстроился, то ли занемог — закрылся и никого не впускает. А нам крайне важно уладить с ним несколько дел, связанных с праздником. Постучись, может, он тебе откроет.

— А с чего это я к нему постучусь? — заартачился послушник. — У меня к нему дел никаких.

— Во деревенщина! — возмутился Мовилэ. — Ты постучись, пусть старец откроет, а там уж не твоя работа.

Подойдя к дверям, Иоан постучал ногой раза два, после чего позвал голосом вялым, явно носившим на себе печать неохоты:

— Святой отец! А святой отец!

Это возмутило даже Онуфрия.

— Что ты скучным таким голосом зовешь! Веселей, а если что и соврешь, не беда! Отец любит твою перченую домашнюю речь...

— Боюсь, — сказал Иоан, — что сегодня ни на что веселое я не способен. На душе погано как-то...

Вдруг за дверьми старца послышался шорох, потом голос, откашлявшись, спросил:

— Тебе-то почему нынче тяжело на душе?

— А что хорошего, когда вон в главном храме женщину задавило...

— Да будет тебе сплетни разносить! — возмутился Онуфрий. — Не могут отличить обморок от кончицы!

— Разве та женщина жива?!

— Да конечно же!

— И где она теперь?

— У нас в больнице. Видать, шла издалека. К тому же, как полагается идущим на богомолье, постилась. Конечно, не успела толком протиснуться в храм, как тут же свалилась в обморок. Мы ее отпоили, отогрели, накормили. Теперь она молится в отдельной келье и плачет.

— Отчего плачет? — спросил из-за запертых дверей старец.

Онуфрий был счастлив — слава богу, оживает. Разговорился.

— Я думаю, — сказал он, — от радости великой плачет. Шутка ли сказать — деревенская женщина, ни-

чего в своей жизни не видевшая, и вдруг такая обитель, такое стечение народа, такое празднество!..

За закрытыми дверями долго молчали. Потом вздохнули.

— А я думаю, она не потому плачет. Попросите ту женщину прийти ко мне. Я хочу с ней поговорить.

— Вы позволите, святой отец, присутствовать и нам при этом?

— Нет, я хочу поговорить с ней наедине. Пусть послушник, раз он здесь, остается.

Она стояла в дверях растерянная, усталая, сникшая и все переминалась с ноги на ногу, потому что никак не решалась войти. Опущенные плечи, проседь в волосах, и перед каждым словом заминка, порожденная сомнением в справедливости этого прекрасного, богом сотворенного мира. Она была из той горемычной бедноты, у которой новых нарядов сроду не бывает, а то, что на ней было, совсем поизносилось в пути. Один только платочек, недавно выстиранный в соседней Озани, был без заплат. Большие крестьянские ступни опухли от ходьбы. Стояла она на них неуверенно, постоянно переминаясь с ноги на ногу.

— Входи же, дочь моя...

Екатерина слабо качнулась, как былинка на ветру, удивилась сама тому, как она качается, но продолжала стоять.

— Я не могу к вам войти, святой отец. Не смею.

— Отчего же не смеешь, дочь моя?

Женщина раздумывала, как бы ей получше ответить; она соображала с той же опрятностью, с которой носила свои белые платки.

— Потому что я бедная, духом павшая грешница... Меня вот даже односельчане прозвали «пугалом огородным»...

Послушник улыбнулся меткости народного глаза, потому что и в самом деле было что-то от пугала в этой женщине, но отец Паисий посмотрел на послушника с укоризной. Уловив эту игру взглядов, Екатерина добавила миролюбиво:

— Нет, я на свое прозвище не обижаюсь. Кто знает, может, они и правы. Я и в самом деле несуразная какая-то... Все, что со мной происходит, почти всегда смешно. Мне больно, а они смеются. Вот и теперь, что-

бы увидеть ваш храм, шла пешком две недели. В дороге так поотбивала ноги, что они у меня все время кровоточат. Там, где я стою, остаются следы. Но если сказать об этом вслух, засмеют.

— Что же, у тебя никакой обуви?

Екатерина вздохнула, опустила голову и ничего не ответила.

— Войди, дочь моя, не смущайся. Скрывать свою боль недостойно верующего, а если от твоих ног останутся следы в моих покоях, я сам уберу за тобой, и это будет лучшим днем в моей жизни.

Екатерина робко, с опаской переступила порог. Послушник поставил два стула друг против друга — для старца и для его гостя. Отец Паисий долго устраивал свою больное тело на стуле, а женщина все стояла, никак не решаясь сесть. Послушник энергичным кивком хозяина показал ей на стул, и Екатерина подумала, что эти рыжие всегда с сумасшедшинкой. С ними лучше не связываться. Села на самый краешек, облегченно вздохнула, радуясь тому, что ноги получили небольшую передышку.

— Как тебя зовут, дочь моя?

— Екатерина. В селе иногда прибавляют — Маленькая.

— Маленькая — почему?

— В насмешку. Есть же еще одна Екатерина. Великая.

— Я вижу, народ у вас смешливый.

— Виноградников много. А там, где вино, там и смех.

— Уж это так.

Старческими, обесцвеченными, потерявшими зоркость при переписке святых книг глазами отец Паисий принялся внимательно и долго ее разглядывать. Он не любил толпу, она была ему противна. Он часто повторял, что бог не создавал толпы, он создал всего двух человек — Адама и Еву. Это уж потом они сами, расплодившись, стали расами, народами, государствами, толпами. Именно поэтому, говорил отец Паисий, если хочешь найти след божьего замысла, никогда не ищи его в толпе. Только в отдельно взятом человеке его еще удастся найти, конечно, когда удастся.

— Откуда ты родом, дочь моя?

— Из Околины. Село есть такое на Днестре, чуть выше Сарок.

— Бог ты мой, да оттуда ближе будет до Киева, чем до нас!

Екатерина благодарно улыбнулась — люди, хотя бы отдаленно слышавшие что-либо о ее родине, казались ей добрыми, умными и воспитанными.

— Раньше и вправду наши чаще ходили на богомолье в Печерскую лавру, но теперь война. Такое опустошение и безбожие кругом, что я с чего-то подумала — надо бы куда-нибудь подальше.

— Зачем дальше-то?

— Ну как же... Сказано ведь — ищите да обрящете.

— Воистину так, дочь моя, ищите да обрящете. Но, однако, сколько же ты к нам шла?

— Вчера исполнилось две недели.

— Две недели, и все пешочком? Не было попутных? Не попадались?

— Не поларается, идя на богомолье, ездить на попутных.

— Ну, это когда у человека есть силы, но если у него ноги изранены... Или стыдно было проситься в чужую телегу?

— Дважды, святой отец, поддалась искушению и напросилась.

— Не взяли?

— Один взял, подвез версты три, другой проехал мимо.

— Есть у тебя дети?

— Шестеро.

— Кто твой муж?

— У меня нет мужа.

— Погиб на войне или в миру затерялся?

— У меня его никогда не было.

— Но, дочь моя, шестеро ребятшек?!

— То сиротки, святой отец. Не знаю, как тут у вас, а у нас была страшная чума. В какие-то две недели сковила больше половины села. Моих близких всех бог прибрал. Я их похоронила, заплакала над их могилками, все ждала, когда и меня бог приберет, но время шло, а смерти нет и нет, хоть плачь. Когда мор совсем утих, я наконец поняла, что это была божеская милость, проявленная ко мне. В благодарность решила постричься в монашки. Пока искала монастырь, пока сговаривалась, оставшимся после чумы сироткам куда деваться? Известное дело — бедность к бедности пристаёт, сирота к сироте. Потом из монастыря меня уже

стали звать, а куда мне девать сироток? Пошла советоваться с нашим священником, отцом Гэйнэ. Выслушал он меня и сказал: «Дочь моя! Если хочешь истинно служить господу нашему, Иисусу Христу, расти этих малюток и никуда не ходи». Что делать! Кого усыновила, кого удочерила, благо от родителей остался домик на берегу Днестра. Место там красивое, но хлопотное — весной по две-три недели не спим.

— Отчего не спите?

— Воду караулим. Вдруг разольется река! Тогда хватай пожитки и беги наверх, просись к чужим людям, пока вода не стихнет и не войдет опять в русло. А так живем хорошо. Дружно живем.

— Чем же вы кормитесь?

— Известью.

— То есть как известью?!

— Отец покойный был хорошим каменщиком и к тому же умел обжигать известь. Я ему с малых лет помогала и при нем научилась этому ремеслу. Там, рядом с нашим домом, глубокие пещеры, и в тех пещерах у меня все свое — и камень, и печка для обжига. Нагаскаю гнилых пней, возьму молот, а через два дня выхожу оттуда с готовой известью.

— Что же, твою известь хорошо покупают?

— Раньше она была нарасхват, но теперь, поскольку война... приходится самой ходить по селам. В два-три дня любой дом обмажу глиной и побелю. Руки, правда, страдают. Иной раз кажется — еще немного, и они у меня так же, как и ноги вот, начнут кровоточить. Ну да что же делать?

— Теперь, отправившись к нам, ребятишек на кого оставила?

— Сами остались. С Ружкой.

— Ружка — это кто?

— Собачка наша.

— Но, дочь моя... Оставить шестерых ребятишек на одну глупую собачку?

— Не говорите так, святой отец, потому что недолго и согрешить... Ружка у нас умница, она все понимает, одно только что словами выразить не может. Если хотите знать, и меня сюда на богомолье Ружка отправила...

Послушник вдруг захохотал молодым, здоровым смехом. Екатерина вздрогнула от неожиданности. Вот уж никак не думала, что это может быть смешно. Хотя,

кто знает, может, и смешно. Потом ей стало стыдно за свою оплошность — лицо пошло пятнами, голова сникла. Господи, подумала она, и тут надо мной смеются. Так уж, видно, на роду написано.

— Не обращайтесь внимания, — сказал отец Паисий. — Он еще молод, и бог ему простит излишнюю смешливость, хотя, с другой стороны, дочь моя... Проведя почти всю жизнь по монастырям и скитам, приняв и исповедав великое множество народа, я, признаться, впервые встречаю христианку, которую домашняя собачка послала на богомолье...

— Я не то хотела сказать. Вернее, не так сказала.

— Скажи иначе. Мы охотно слушаем.

— Да, но... Я собиралась было об этом своему духовнику поведать.

— Так расскажи нам теперь, и пусть это будет твоей исповедью сим святым местам.

Некоторое время Екатерина смотрела на них поочередно — то на старца, то на молодого послушника.

— А разве для исповеди обязательно, чтобы в храме и чтобы наедине со священником?

Отец Паисий улыбнулся.

— Дочь моя, исповедаться можно всюду и везде, если только есть у тебя потребность в исповеди и ты нашел душу, готовую принять на себя твои грехи.

— Ну, если это у вас так... — сказала задумчиво Екатерина. Видно было, что она не совсем одобряет такой порядок вещей, ну да что делать. В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходят. Отдохнув немного, она начала издалека, как все крестьянки:

— Великий грех лежит на мне, святой отец... Этой весной, как только спала вода в Днестре, просыпаюсь я как-то от тяжелого духа. Ну прямо, извините, вонь какая-то стоит в доме. В сенцах, слышу, Ружка что-то грызет. Выхожу, вырываю у нее ту падалину и кидаю через забор, в помойную яму. До утра, однако, так и не смогла соснуть. Все кошмары какие-то накатывали, все похороны какие-то снились. Утром встаю сама не своя. Все валится из рук. Тяжелый дух так и стоит в доме. Вспомнила про Ружку и с чего-то подумала — дай-ка посмотрю, что она там ночью приволокла и грызла. Заглядывая через забор и глазам своим не верю — рука человеческая от локтя до самых пальцев.

Отец Паисий, вздрогнув, осенил себя крестным знаменем.

— О господи... Откуда собака могла ее утащить?

— С поля боя.

— Разве павших не хоронят?

— Хоронят, когда лето и легко землю копать, а если случится бой зимой, тогда, говорят, чуть засыплют сверху мерзлой землей... Весной талая вода вымывает из могил эти трупы, и они плывут по разлившимся рекам. Голодные волки вместе с одичавшими собаками выволакивают трупы из воды, растаскивают по лесам, рвут на части...

Послушник стал часто осенять себя крестным знаменем, но старец продолжал оставаться в болезненной, окаменелой неподвижности.

— То-то, весной какой-то тяжелый дух докатывается даже до нас. Но, дочь моя, как я полагаю, то были турки!

— Ну так что же?

— Как что же?

— А вы знаете, святой отец, говорят, еще недавно турки вносили дань живой кровью. Из подвластных им православных земель они вывозили в плетеных корзинах тысячи мальчишек до двух лет. Сажу я так и думаю — а вдруг это наши братья, перекрещенные турками, наученные ими военному делу, пришли в наши края, пали в сражении, всю зиму пролежали захороненные кое-как, а потом, когда их стали волки растаскивать по лесам, захотели хотя бы одной рукой дотянуться до отчего дома... А я, дура, спросонья бросила ту руку в помойную яму. Если это в самом деле так, то, святой отец, прощения мне не будет!

— Господи, пусть милость твоя пребудет с нами, — произнес, перекрестившись, отец Паисий. Потом, после некоторого раздумья, спросил: — Ты поведала об этом священнику?

— У нас нету священника. Когда села подались по лесам, он пошел за своим сеном и там, застудив свои белячки, скончался.

— Что же, на его место никого не нашли?

— Не нашли, потому что храм у нас развален. То есть если бы село захотело, его еще кое-как можно починить, но люди не хотят.

— Отчего же?

— Они не веруют больше в бога, святой отец. Мне это горько говорить, но это так.

— Что же, — спросил Паисий, — без молитв, без отпущения грехов, без светлых праздников так и живете?

— Так и живем, — созналась женщина, и голос ее дрогнул. — Так и живем, — повторила она. — И уже не всем селом, а так, каждый сам по себе. Сегодня каждый сам по себе, и завтра каждый сам по себе, и послезавтра каждый сам по себе. Иной раз кажется, что уже ничто — ни храм господень, ни имя его — ничто и никогда не смогут нас объединить... А в одиночестве что за жизнь...

И она заплакала. Плакала долго, безутешно, как дети в раннем детстве плачут. Потом так же неожиданно умолкла.

— Если правду сказать, село наше совсем одичало, святой отец. И, живя среди этих опустившихся людей, иной раз подумаешь — а что! Пройдет год, и два, и три, и мы, ей-же-ей, впадем в варварство! И опять будем идти друг против друга, и опять будем ступать по живому и не видеть ничего, кроме своей выгоды, точно никогда и не было сына божьего среди нас.

Помолившись иконке в приемной, отец Паисий стал засучивать рукава.

— Сын мой, поставь эту лохань сюда, налей в нее ромашкового настоя и помоги мне опуститься на пол...

С чувством крайнего удивления Екатерина следила за тем, как рядом с ее ногами ставится лохань, как льется в нее теплая, пахнущая лугами желтоватая настойка, как святой отец, кряхтя, опускается на пол.

— Дочь моя, дозвожь мне омыть твои ноги. Дозвожь прикоснуться к страданиям твоим, дабы вернуть своему духу его христианское достоинство.

— Что вы, святой отец! Да ни за что! Да я лучше умру!

— В этом нет ничего постыдного, дочь моя... Наш спаситель на тайной вечере омыл ноги своим ученикам, сказав при этом — раб не должен быть выше своего господина, а что есть пастырь, как не раб своей паствы?

Видя, что эта канитель грозит затянуться надолго, послушник пододвинул лохань ближе к Екатерине и без



особых церемоний сунул поочередно ее ноги в теплый ромашковый настой. Екатерину трясло как в лихорадке.

— Господи, святой отец, посмотрите, что он делает?!

— А что?

— Да ведь меня еще не касалась мужская рука, я дала себе зарок, что покуда те малютки не подрастут...

— Мое прикосновение не опорочит твою невинность, дочь моя.

— Тогда, — сказала Екатерина, — если у вас так уж полагается, пусть лучше тот молодой монах...

— Дочь моя, он не священник, он даже не монах в полном смысле слова. Он послушник.

— Что же он тут торчит?!

— Потому что его любит бог. И еще потому, что я без его помощи не в силах ни опуститься на пол, ни подняться.

— Ну, если вы ему позволите и он вам помогает...

Отец Паисий долго, с любовью и состраданием мыл ее натруженные в пути ноги. При этом он вспоминал свое детство, родную мать и рассказывал обо всем этом Екатерине с болью, потому что чувствовал себя виноватым перед своими родными. Особенно перед покойной матерью. О, сколько он ей принес горя и страдания, убегая в монастыри, — она его так долго искала, что в конце концов сама постриглась в монашки. Екатерина, забыв все на свете, сидела не шелохнувшись и слушала, стараясь слова не пропустить, потому что исповедь духовника — вещь редчайшая и ради нее действительно стоило две недели идти пешком. Кончив мыть ноги Екатерине, старец окутал их сухими полотенцами, дав им отпариться вволю, и наконец, закончив все, с помощью послушника поднялся с пола.

Екатерина низко ему поклонилась, поцеловала обе его руки, затем поцеловала руки послушника. Пора было уже прощаться. Но она все не уходила. Она ждала. Сказано ведь было — ищите да обрящите. Она проделала такой длинный, такой трудный путь, что отпустить ее ни с чем значило изменить тому богу, которому они все трое поклонялись.

— Святой отец, — сказал наконец послушник, — позвольте мне покинуть монастырь и уйти с этой женщи-

ной в мир. Мы не можем отпустить ее, не попытавшись помочь ей и ее народу обрести себя.

Старческие глаза Паисия наполнились слезами. Подойдя к юноше, он наклонил к себе рыжую молодую отчаянную голову и поцеловал ее.

— Сын мой, не скрою от тебя, что ты один из самых возлюбленных мною чад в этой обители. Из-за своей старческой немощи я часто падаю духом и нуждаюсь, как никто другой, в светлом слове, в хорошем настроении. Но, как говорит преславный отец Дамаскин, чего бы стояла наша вера, если бы мы отдавали только то, что нам не надобно. Иди, любимый мой сын, я отпускаю тебя. Обитель наша богата. Расспроси эту женщину про их бедности, обойди все наши службы, именем моим возьми все, что им надобно и сколько им надобно. От себя же вместе с отеческим благословением я дарую эту старую псалтирь, переписанную мной когда-то в юности на святой горе Афон...

Иоан долго прощался со старцем. Он было растрогался, губы от волнения дрожали, но его рыжая голова уже вращалась в эту новую, нелегкую для него жизнь. Уже перед тем как покинуть покои старца, он как-то нехотя обронил:

— Что до нужд той деревни, то, как я полагаю, туда либо нужно брать очень много, либо ничего не брать.

— Ты-то сам к чему склоняешься?

— К тому, чтобы ничего не брать.

— О сын мой, не зря я тебя полюбил. На своем веку я много раз убеждался, что золото, употребленное для облегчения жизни человеческого духа, в конце концов порабощает то, что должно было спасти. Только сам дух может освободить и возродить себя. И потому возьми вот эту книгу древних песен царя Давида, мое благословение и иди к тем грешникам. Дели с ними крышу и хлеб, опустись во все их низости, во все их прегрешения и вместе с ними сгинь или возродись вместе с ними.

Еще раз поцеловав их обоих, отец Паисий наконец подошел к открытому окну. Тысячи и тысячи глаз уже давно были нацелены на его окна, и появление старца было встречено воплем ликующей толпы.

— Мир вам! — сказал отец Паисий и, выйдя из своих покоев, стал медленно спускаться к гостям и мирянам, чтобы принять поздравления по случаю своего возвышения в сан архимандрита.

Р  
ИСК

*Мужику незачем мыть тело,  
которое ему не принадлежит.*

*Чего тебе надобно, старче?..*

*Пушкин*

*Екатерина II*

Днестровские долины издавна славились своими конокрадами. Злые языки объясняли это тем, что римский император Траян, завоевав низовья Дуная, заселил их латинскими головорезами, которых к тому времени в римских тюрьмах было предостаточно. Дело, я думаю, вовсе не в этом. Лошадей в днестровских долинах угоняли задолго до появления римлян, а возможно, и до всемирного потопа.

О древности этого занятия говорит совершенство, до которого оно было доведено, ибо кража лошадей — это не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Пришел, увидел чужую клячу, оседлал и был таков. Воровали, конечно, и так, но истинный конокрад никогда до этого не опускался. Воровство лошадей, как и любая другая осмысленная человеческая деятельность, имеет свои правила, свою этику и, разумеется, свои сферы влияния.

Конечно, непрерывные войны, нанося ущерб всем мирным занятиям, приводили к некоторому застою и в конокрадстве. Пока шли бои в низовьях Дуная, и штурмовались крепости, и делились богатые трофеи, на Днестре царило относительное спокойствие, ибо охотники до чужих скакунов гонялись за более лакомыми кусочками. Разграбленный Измаил был апофеозом сладкой жизни. С падением этой крепости военные операции пошли на убыль, золота в карманах противника резко поубавилось, и в долинах Днестра опять наступили тревожные ночи, когда умный человек без крайней надобности из дому не высунется.

Таинственный свист, топот копыт, выстрел — и вот уже по темным волнам уплывает в ночь чужая жизнь. Увы, без человеческих жертв не обходилось, ибо для настоящего конокрада угон лошадей есть дело второстепенное. Главным же их занятием было сведение личных счетов. Характеры любителей чужого скота крепили и му-

жали в бесконечных внутренних распрях. О левом, турецком, берегу разговору не было, на него никто и не посягал, а вот за правый, обжитый берег шла яростнейшая борьба.

Как и ожидалось, к окончанию русско-турецкой войны борьба за сферы влияния пошла по новому кругу. Старый, так сказать, довоенный раздел был всеми отвергнут. За годы войны некоторые шайки понесли тяжелые потери и теперь очутились на грани распада, другие, наоборот, из ничего входили в силу и нагоняли страх. Борьба шла за каждое селение, за каждый перелесок, за каждую тропку, по которой можно было угнать уворованное, за каждого запоздалого путника, с которого хоть и взять особо было нечего, зато припугнуть можно было.

Огромным и разномастным был мир этих конокрадов, шнырявших по днестровским долинам от Польши до самого Черного моря. Вынужденные спецификой профессии работать по ночам, эти головорезы знали друг друга главным образом по прозвищам, по праву, по стилю нападения и не изъявляли желания знакомиться ближе. Как говорится, береженого бог бережет.

Изредка, однако, обстоятельства вынуждали их встать лицом к лицу. В дни огромных ярмарок, куда конокрады пригоняли уворованный скот, они должны были подолгу пялить глаза друг на друга. И великое разочарование охватывало их, ибо оказывалось, что Ободранный Петух вовсе не петух и вовсе не ободран; Цыганская Серьга вовсе не серьга и отнюдь не цыган; что до Нечистой Силы, то тут можно было живот надорвать, ибо эта Нечистая Сила не умела торговаться как следует и упустила покупателя, которого любой дурак не упустил бы.

Самой удачливой считалась Могилевская ярмарка. На ее окраине стояли в ряд покосившиеся избушки корчмарей, и любая хорошая сделка оканчивалась за стаканчиком вина. Особенно любили собираться конокрады в крайней корчме, у Марицы. Собственно, корчма принадлежала какому-то хмурому греку, как говорили, бывшему монаху, а Марица была его содержанкой, подобранной на беженских дорогах военной смуты, чтобы разносить в корчме вино и угощение. Острый язычок, ямочки на щеках и всегда хорошее, ровное настроение привели к тому, что грека никто знать не хотел. Все называли корчму «Ла Марица». Сбыв с рук то, что так или иначе связывало, получив вместе с барышами столь необходимую свободу, конокрады собирались у Марицы и

опять начинали выяснять отношения, опять начинали делить тот растреклятый правый берег и не уступали друг другу ни единой пяди, иначе какой же тогда смысл...

То, что братья Крунту садились на коней и выезжали на ночь глядя со двора, а возвращались только под самое утро, никого особенно не удивляло, ибо и их папаша, когда его подбородок еще не доходил до самого носа и о прозвище Пасере не было и речи, тоже, бывало, уходил до утра и за свою долгую разбойничью жизнь оставил сыновьям в наследство прекрасный участок для грабежей — от Могилева и до самых Сорок.

Увы, воистину ничего святого в этом мире... Четыре года войны, и весь берег от Могилева до Сорок оказался в чужих руках. С севера их прижал к самой деревне Ободраный Петух, с юга на них напирала Нечистая Сила. Дело дошло до того, что, стыдно сказать, их вообще после сумерек не выпускали из села, и любая попытка трех братьев вернуться к старой профессии оканчивалась стрельбой.

Жизнь конокрада, если он вытеснен со своих законных владений и в дни больших ярмарок не может выйти в свет с двумя-тремя клячами, явно ему не принадлежавшими, это уже не жизнь, а жалкое коптение неба. Доведенные до отчаяния братья Крунту, чтобы хоть как-то восстановить свое доброе имя, стали гоняться по лесам за одичавшими лошадьми, благо их после четырех лет войны было великое множество. Подкараулив одичавший табун у водопоя, они без особого труда поймали двух только что ожеребившихся маток. Конечно, для потомственного конокрада прийти на ярмарку с ожеребившейся кобылой — честь невелика, но это все-таки лучше, чем ничего.

Могилевская ярмарка собиралась по воскресным дням, а кобылки им попались в пятницу, так что нужно было думать, куда бы их на день-два припрятать. У каждого знающего толк в своем деле конокрада есть тайник, в котором он держит угнанных лошадей до наступления ярмарки. У братьев Крунту тайник был в ущелье, чуть выше Окоliny. Место это было завоевано в свое время еще стариком, причем уплатил он за него высокую цену. Укрытое ивовыми зарослями со стороны реки, это ущелье уходило, петляя, на запад сквозь меловые нагромождения и в глубине, когда оно, казалось, неминуемо сойдет на

нет, вдруг выходило на крошечную полянку, укрытую со всех сторон высокими каменными громадами. И хотя само это место несколько походило на колодец, дно этого колодца освещалось в полдень солнцем, так что и травка тут была, и родничок был.

Но тайник — это, конечно, не только место, куда конокрад прячет уворованное. Тайник — это его второй дом, иной раз роднее родного, и братья Крунту, которым давно пора было отделиться, сумели обжить его, приложив к нему и смекалку, и хозяйственный пыл. Был тут шалаш с сеном на случай непогоды, кувшины с вином, зарытые в землю на черный день, чугунок, кукурузная мука, а в ту пору, как известно, человека не спрашивали, где его дом, а спрашивали, где его чугунок и где его кукурузная мука.

Увы, падение нравов в днестровских долинах дошло до того, что у братьев Крунту угнали из ущелья накануне самой ярмарки обеих кобылиц вместе с жеребятами. Мало того, эти выкормыши Ободранного Петуха учинили форменный петром в самом тайнике. Звериным нюхом выманив из-под земли запасы спрятанного на черный день вина, они его распили, а кувшины разбили, так что всюду валялись черепки. Кукурузную муку скормили лошадям, в чугунок отлили выпитое вино, и, покидая тайник, эти ублюдки не поленились повырнуть ивы, укрывавшие доступ в него со стороны Днестра, так что теперь любого дурака, оказавшегося на берегу, мучила догадка — а что там, в том ущелье?!

Чувство оскорбленного достоинства заставило братьев Крунту поскакать на Могилевскую ярмарку в поисках пропавших кобылиц. Как известно, на ожеребившихся кобылках еще никому не удавалось далеко уехать. Не успели они обойти ярмарку, как тут же нанали на след. Хотя было еще далеко до полудня, их кобылки уже раза по три переходили из рук в руки и наконец были выведены с ярмарки каким-то цыганом-барышником. Это не обескуражило трех братьев, ибо, обнаружив двух перекупщиков, нетрудно было установить, нем кобылицы были приведены в торговый ряд.

Когда ярмарка пошла на убыль, братья Крунту окружили корчму «Ла Марица», где гуляли все три шайки. Загородив выход, они достали оружие и предъявили претензии. К их величайшему удивлению, все три шайки охотно

сознались в угоде ожеребившихся кобылок. Ободранный Петух дошел даже до такой наглости, что спросил:

— А где их папаша?

— Чей папаша?

— Ну, малюток тех, которых вы словили.

— Почему мы знаем, где их папаша!

— Га!!! — завопил Ободранный Петух, распираемый чувством совершившейся несправедливости. — Они лошадиные семьи разбивают и при этом говорят — почему мы знаем! А то, что теперь бедные папашаи носят по лесам и, обливаясь слезами, ищут своих малюток, на это им наплевать! Да вы-то хоть видели в глаза плачущего жеребца?

Марица, разносившая вино, прыснула, и это глубоко задело младшего из братьев, которому часто снился по ночам этот бесенок с ямочками на щеках.

— Видели! — огрызнулся младший, потому что нельзя было и это еще проглотить.

— Га! — завопили в один голос конокрады. — Так почему до сих пор жеребец Айдозлы-папи жует овес и бунтует в конюшне у вас под самым носом? Если видели плачущую лошадь, почему не освободили ее, почему опозорили наше святое ремесло?

— Хозяин того жеребца — наш близкий родственник, — рассудительно заметил старший из братьев.

— Ну и что? — возразил Ободранный Петух. — Кто сказал, что у родственников угонять лошадей не полагается? Да с родственников мы все и начинали!

— К тому же дом родича стоит в поле, закрыт со всех сторон. Его прозвали в селе глиняной крепостью.

— Дурья ты башка, откуда легче угнать коня, — спросил Цыганская Серьга, — из одиноко стоящего в поле домика или из середки большого села?

— Есть там еще одна сложность... — поддустил было тумана младший из братьев.

— Какая сложность?

— Там целая псарня...

Старая корчма «Ла Марица» тряслась от хохота. Братьев Крунту буквально выперли за дверь. Когда они, возвратившись, попытались вернуть честную компанию к разговору о двух пропавших кобылицах, им, помимо огромного морального ущерба, пришлось понести некоторый физический урон. Особенно на долю младшего, который малость зазевался, выпало много пинков, так что, выехав из Могилева, он сидел в седле совсем уж на боку.

Они возвращались униженные, опозоренные и за всю дорогу не проронили ни слова. Подъезжая к ущелью, лошадь старшего сама свернула к разоренному тайнику. Видимо, это была умная лошадь и знала, куда везти хозяина, когда он у нее совсем уж падал духом. А может, этой неглупой лошади припомнилось, что где-то там должен был остаться еще кувшин вина, припрятанный на самый-самый черный день. Как выяснилось, лошадь оказалась права.

Расседлав коней, собрав хворосту, братья развели костер и достали тот единственный кувшин. Сидя у огня, они пили горькое вино, оставленное на самый-самый черный день, и каждый думал свою черную думу. Наконец старший из братьев, которому на роду было написано подавать голос первым, вздохнул:

— Жеребца у Тайки так или иначе, а угнать придется. Без этого мы не сможем встать на ноги.

— У него угонишь, как же.

— И все-таки, — сказал старший, — мы на это пойдем. Без денег жить тяжело, но можно. Без хлеба жить еще тяжелее, но тоже можно. А вот без того, чтобы угнать чужую лошадь, без этого, братья мои, жизнь совершенно немыслима!

— Надо с кем-нибудь войти в пай, — заметил средний. — Втроем не одолеем.

— Можем одолеть, — предположил младший, — если связать себя святой клятвой.

— Давай, — согласился после некоторого раздумья старший. — Клятва поможет нам в трудный час.

Младший, в обязанности которого входило сочинение разных клятв, перекрестился и произнес:

— Клянемся правым берегом Днестра...

— Нет, — сказал старший, — сначала нам нужно отвоевать свою долю, чтобы потом иметь право на такую клятву.

— Тогда — пусть одинокая могила нашей покойной...

— Нет, — запротестовал средний, — матушку ты не трогай. Она всегда была в стороне от наших дел. Отец, уходя на самые рискованные дела, никогда ни словом...

— Клянемся... — опять начал было младший, мучительно при этом соображая, чем бы таким поклясться, и, пока он соображал, откуда-то сверху, с уходящей ввысь громады чуть слышно донеслось:

— Котлами преисподней...

— Ты что? Хочешь нас угородить?!

— Это не я сказал! Это оттуда, сверху.

— Ты чего городишь, дурены.. Что значит — сверху!

— Тсс! — цыкнул на них средний и, вскарабкавшись на выступ за их спиной, с которого виднелась вся вздыбленная громада, напряженно во что-то всматривался. Он долго изучал все наросты на высившейся перед ним стене, все трещины, складки и, вернувшись к костру, сообщил старшему:

— Как перед богом скажу, еще в прошлый раз, когда мы приходили за кобылами, мне показалось, что оттуда, сверху, кто-то за нами следит.

— Откуда? Из Драконовой пасти?

— Угу. Я давно догадывался, что там кто-то живет. Как-то ночью собственными глазами видел искры — не иначе огонь высекали.

Оставив костер, все три брата взобрались на выступ и принялись изучать то, что в Околине и во всех близлежащих селах называлось Драконовой пастью. Дело в том, что северная часть этой каменной громады, суживаясь, уходила вверх и своими очертаниями напоминала какое-то странное чудовище, поднявшееся над всеми приднестровскими холмами, чтобы осмотреть свои владения. Наросты на этой скале похожи были на скулы, узлы в каменных наслоениях шли вместо глаз, еле видневшиеся сверху чахлые деревца напоминали растительность на голове, а вот то, чего чудовищу еще не хватало, появилось с помощью человека.

В раннем средневековье много странствующих монахов подолгу жилали в днестровских долинах, облюбовав каменные громады ракушечника главным образом потому, что в них легко было вырубить себе келью, маленькую часовню, а то и небольшую церквушку. Места здесь были в ту пору совершенно пустынные, дикие, и, чтобы защитить себя от зверя или недоброго глаза, одинокие монахи долбили себе кельи в самых невероятных местах. Одному из них пришла даже в голову мысль поселиться в утробе этого дракона, и там, где, сообразно человеческому разумению, должна быть пасть этого чудовища, появилось маленькое сводчатое окошко, снизу казавшееся совсем крохотным, а на самом деле, как утверждали многие, оно было в человеческий рост.

Много сотен лет легенды и были северной части Молдавии окутывали дымом эту Драконовую пасть, и немало сельских мудрецов пытались разгадать, каким это образом одинокому монаху удалось там, посреди скалы, выру-

бигь себе келью. Ведь, надо думать, за что-то он держался, когда бил молотком! Каким-то образом он попал туда ж себе по вечерам и как-то по утрам оттуда уходил...

— Эй ты, — крикнул старший из братьев на всю ту каменную громаду, — покажись!

Крикнул больше так, для острастки. Каково же было их изумление, когда в сводчатом окошке показалась такая же маленькая, как и само окошко, человеческая фигурка.

— Мир вам! — донеслось из Драконовой пасти, и этот одинокий голос так загрохотал по ущелью, точно небеса обрушились на землю.

— Низко кланяемся тебе, отец, — в некотором смущении ответил старший из братьев. — Спустись к нам, люди мы добрые...

Змейкой брошенная из окошка веревка взвилась, потом повисла вдоль побуревшей скалы. Они и охнуть не успели, как рыжеватый монах дикой кошкой спустился к ним. Достав ногами землю, он поколдовал над своей веревкой, и вдруг она оттуда, сверху, отошла, точно кто-то бросил ему конец. Аккуратно намотав ее на руку, как обычно крестьяне наматывают вожжи, рыжий монах, чуть откинув назад свое крепкое, пружинистое тело, точно целился во что-то, воскликнул:

— Матерь божья, да у вас тут пир горой! Пригласили бы, что ли, к огоньку! Может, даже винцом угостите? Правду сказать, совершенно оочеченел в той каменной утробе.

— Чего вас туда занесло?

— А молился.

— Тут на земле мало места для молитв?

— Места много, да покоя мало. Сказано в святом писании: оставь суету за порогом своего жилища, закрой дверь, встань на колени и выикни в самого себя...

Братья Крунту смотрели на него как на привидение — никто и никогда еще не видел живого монаха, вылезшего из Драконовой пасти. Что-то в этом было сверхъестественное, и старший из братьев, преодолевая смущение, вызванное столь неожиданным знакомством, спросил:

— Отец, как вы спускаетесь оттуда, мы уже видели. А как попадаете обратно? Веревка же у вас?

— С божьей помощью, — уклончиво ответил монах.

Голос у него был густой, вычный, чуть-чуть с хрипотцой, как бы немного простуженный. Средний из братьев

долго прислушивался к этому чуть простуженному голосу, после чего спросил:

— Отец, вы в нашем селе, в Околине, бывали?

— Не помню. А что?

— Соседка наша, Ильяна, рассказывала как-то на днях. Идет она к Днестру белить полотно. Когда шла мимо домика Екатерины Маленькой, услышала, как дети к ней пристают — когда придет отец, куда ты его подевала? Она им — откуда я его вам возьму? А дети упрямо стоят на своем. Мы, дескать, во сне слышали, когда вы с ним вернулись из монастыря. И он вам что-то сказал, и вы ему ответили, и сидели вы оба тут под окошком, на завалинке, и голос у него был такой громкий, простуженный...

Рыжий монах воссиял.

— Кто бы мог подумать — сквозь сон слышали!

Младшему из братьев чувство оскорбленного достоинства не давало покоя, и он, став на колени лицом к огню, шепотом продолжал составлять заветную клятву. Его поведение удивило монаха, и, чтобы объяснить суть дела, старший вынужден был отчасти приоткрыть свои карты.

— Святой отец, — начал он медленно, издали, ибо дело это было деликатное. — Раз уж тебя бог тут над нами поселил, ты небось многое про нас знаешь. Тебе, конечно же, известно, что у нас большое горе. Может, ты даже видел, как нас обокрали. Теперь вот еще и опозорили, и втягивают в такое дохлое дело, из которого, может, и не вылезем. Потому вот вынуждены, так сказать, святой клятвой...

— А, не смешите меня! — сказал монах, вернув кувшин, из которого выпил всего несколько глотков. — Для угона какой-то клячи им еще и клятва нужна!

— Это не кляча, — заявил обиженно старший. — На этом жеребце ездил сам Айдозла-паша.

— Да хоть бы и сам султан на нем гарцевал! Лошадь есть лошадь. С каких это пор трое рослых мужиков перед тем, как лошадь угнать, должны себя священной клятвой связывать!

Старший из братьев почесал затылок. Замечание о ненужности клятвы задевало его авторитет.

— Без клятвы на это дело идти нельзя — оно может стоить человеческой жизни.

— Тогда не ходите.

— А не ходить тоже не можем — вот в чем штука. Тайку нужно наказать. Это нам поручили конокрады со

всего правого берега Днестра, но, кроме того, есть у нас и свои с пим счеты.

— Чем он насолил конокрадам?

— Видите ли, отец, у каждого есть свой огород, своя коммерция. Мы промышляем лошадьми. Он сливовой водкой. Мы ему торговлю не портим, но и он за это не должен в наши дела свой нос совать. А он, хоть и держится в стороне, как только увидел в Измаиле жеребца, от которого Суворов отказался и на которого солдаты бросали жребий, хватъ и спал его. И приводит, сука, домой, прячет под семью замками, тем самым как бы оскорбляя и нас, и нашу профессию...

— Ну это обиды конокрадов. А у вас какие счеты с ним?

— Он антихрист. У него за душой ничего святого.

— Все мы в грехах, и смуту наших душ знает один господь.

— Нет, отец, ты ни себя, ни нас с ним не сравнивай. Послушай сначала, что это за человек. Он русский лазутчик. Он не раз ходил туда к ним, в Полтаву, он на этом состоянии нажил.

— Если, помогая своему народу избавиться от иноземного ига, ему приходилось идти по пустынным землям к другой православной державе, то это никак нельзя назвать худым словом.

— Вы погодите, не спешите, отец. Что же он делает, когда та держава идет к нам на помощь? Садится на коня и берет меч в руки? Нет, квасит сливу в бочках и гонит крепкое мутное пойло.

— Ну, не все рождены для ратных подвигов.

— И опять же не спешите. Уживаясь вокруг воюющей армии со своей сливовицей, этот Тайка каким-то образом вынюхал от пьяных солдат, что победы так или иначе не будет. Русские вернутся к себе, мы опять попадем под турецкий полумесяц. Что и говорить, для нас, связавших себя с русской армией, участвовавших в войне против турок, наступают тяжелые времена. Тайка меч в руки не брал, ему ничего такого не грозит, но у него другая забота: как бы сберечь накопленное богатство. А накопил он за эту войну немало. И когда Суворов отказался от коня, и солдаты бросили жребий, он вдруг сообразил, что пашский жеребец может его спасти. Выдержать его в конюшне до прихода турок и выйти к ним навстречу в знак покорности и миролюбия. Выйти с этим красавцем навстречу нашим мучителям!

— Я понимаю ваше возмущение, — сказал после долгого раздумья рыжий монах. — Я, может, и сам в какой-то мере его разделяю, но, братья мои! Разве эти дела так делаются?

— А как? Научите. Помогите, и мы для вас все, что захотите, сделаем.

— Новую келью в этой скале выдолбим! — заявил младший. — А хотите, целый монастырь построим! Нас тут много, вы не думайте!

— А что вы хотите с тем жеребцом сделать, после того как угоним?

Лицо старшего посветлело — кажется, дело идет на лад.

— Что хотите, то и сделаем. Хотите — вам подарим.

— Вот что, — сказал наконец послушник, — я пойду с вами на это дело, но только при одном условии: угоним жеребца, переправим через Днестр и выпустим на волю.

Старший из братьев посмотрел на него осоловело, точно кто-то обухом ударил его по голове.

— Как выпустим?

— Что значит — выпустим?

— Да для чего его выпускать-то?!

— Нет, — с явным огорчением сказал старший, — мы на это идти не можем. Скажут про нас, что мы губошлепы. Нас и так вон у Марицы засмеяли.

— Ну, — более примирительно сказал послушник, — в таком случае давайте вернем его солдатам, бравшим Измаил. В сущности, это их лошадь.

Старшему из братьев эта мысль показалась более или менее приемлемой, хотя, с другой стороны...

— Где они теперь, те суворовские войска!

— Ну, необязательно, чтобы суворовским — любым войскам, подчиненным русской императрице. Разве тут поблизости нету москалей?

— Да стоит тут одна рота под Могилевом, — сказал не без иронии старший. — Обтесывают бревна, готовят переправу на случай мира.

— Вот давайте им и подарим жеребца.

— Что, просто так взять и отдать? Такого коня?!

— Ну, если вам не хочется просто так отдать, садитесь с ними в карты играть. Я слышал, обыграть их невозможно.

— Да что это будет за игра! Курам на смех. Ну мы поставим на жеребца, а они на что поставят? Это же

бедные строители, у них, кроме топоров и щенок, ничего за душой.

— Сваи еще есть, — съехидничал младший. — Сиротки-коротышки.

— Что значит — сиротки-коротышки?

— Видите ли, отец, — рассудительно заговорил старший, чтобы как-то смягчить легкомысленное впечатление, оставшееся от ехидства младшего брата, — они хоть и строители, но строить небольшие мастаки. Всю зиму валили дуб, готовили опоры под будущий мост, а весной Днестр возьми да подыми свои воды аршина на два, так что те опоры оказались негодными. И опять валют лес, готовят сваи подлиннее.

— А коротышки куда подевались? — спросил послушник.

— Да лежат там навалом. По бедности своей они, говорят, хотели их загнать, искали покупателей, да не нашли.

— А согласились бы они, — спросил послушник, — взамен жеребца отдать их нам?

— Да они бы нас расцеловали за такой торг, только зачем нам они?

— Перевезем и построим церковь для Околины.

— Гм! Да ведь на один перевоз этого леса нужна тысяча пар лошадей! А народу сколько нужно!

— Зачем нам лошади, зачем нам люди! Сплавим лес по воде, и дело с концом. Мы ведь живем ниже по течению.

— Ты разве умеешь править плотами?

— Умею.

Братья Крунту, сидя у потухающего костра, многозначительно переглянулись. Скажи на милость, и плотами умеет править. Переговоры вступали в деликатную фазу.

— Строить церковь будет кто?

— Мы вот вчетвером и построим.

— Ты что же, и плотничать умеешь?

— Что тут мудреного! Я родом из Трансильвании, а там у нас говорят, что топором так же просто орудовать, как и ложкой.

Старший рассмеялся.

— Нет, — сказал он, — мы степные. Мы одной ложкой.

— А интересно бы попробовать, — размышлялся младший.

Средний из братьев, наиболее коварный, спросил:

— Слушай, отец, а ты не будешь требовать, чтобы мы потом в той церкви еще и молились?

— Разве вы не молитесь?

— Мы, конечно, молимся, но изредка. Когда охота или когда совсем уж прижмет. А чтобы так, день за днем, да еще по праздникам бегать на службу — это мы не любим. Не мужское это дело. К тому же за эту войну в каких только храмах мы не побывали, но что-то не похоже, чтобы хотя бы в одном из них пребывал господь.

— Кто вам сказал, что в храме пребывает господь?

— Для чего же тогда храмы строят?

— Для людей.

— А бог в таком случае где?

— Он внутри человека. Внутри тебя. И внутри его. И внутри меня. Человек сам по себе есть храм, сотворенный богом, и это единственный храм, в котором пребывает господь.

— Зачем же тогда церкви строить?

— Видите ли, — сказал послушник, — жизнь трудна, суетлива, и в мелких заботах человек часто теряет бога в себе. Противостоять в одиночку всему трудно. Потому и создана церковь. Как вы сами понимаете, церковь — это не здание, не колокольня и не крест над ней. Церковь — это прежде всего братство людей, собравшихся вместе, чтобы помочь друг другу. Ну а когда это братство существует, тогда и храм приходится строить, ибо должны же эти люди где-то встречаться на совместных молитвах.

Такой поворот показался братьям Крунту забавным. Поднявшись по знаку старшего, они отошли в сторону шагов на двадцать и там долго меж собой совещались. Доводы послушника их почти убедили, но у них за спиной оставалась профессия, которая со временем могла прийти в противоречие с религией, а без того, чтобы изредка не угнать какую-нибудь клячу и не выпить стакан вина у Марицы, без этого они себя не мыслили.

— Вот что, — сказал старший из братьев, когда совещание кончилось, — уговор такой: за угон жеребца мы помогаем тебе строить церковь. Но как только стены подвели под крышу, как. Пути-дорожки разошлись.

— Давайте так, — предложил послушник, — угоняем жеребца и начинаем строить. Если после окончания работ вы не почувствуете себя связанными с храмом

и вам самим не захочется хотя бы изредка в нем помолиться, ну тогда...

Сделка состоялась. Оставалось только угнать жеребца. Старший, уступая монаху первенство, спросил:

— Сколько нужно собрать народу?

— Да никого не нужно — вот вчетвером и пойдем...

— А вооружение какое брать?

— Да и вооружения не надо. Пустой мешок, веревка и лопата. Веревка вот у меня есть, пустой мешок там в келье, я на нем сплю, ну а лопатку по дороге у кого-нибудь займем.

— Отец, — спросил старший из братьев, не в силах скрыть своего разочарования, — ты когда-нибудь в жизни украд хотя бы одну клячу?

— Нет. Но я выводил коней из осажденной крепости под носом у австрийских солдат, и можете не сомневаться, знаю, как это делается. Вот погодите минутку, я бегаю наверх, возьму мешок, помолюсь, и двинем потихоньку...

Братья Крунту наострили уши. Появлялась возможность увидеть, как монахи забираются в ту Драконову пасть. Поначалу, правда, все это выглядело пустым делом. Послушник взял веревку и тут же скрылся за кустами орешника, рассыпанными по склонам каменных громад. Изредка его рыжая голова мелькала в зарослях то тут, то там. Вот она выше, еще выше, вот показалась на драконовой макушке...

— Мамочка ты моя родная...

Привязав веревку к корням старой сливы, он бросил ее в пропасть. После чего, присев на корточки и вытянув шею, поглядел, хорошо ли она повисла. Висела она не особенно удобно, но, перекрестившись, он начал спуск. Снизу человек, спускавшийся по веревке, которая едва доходила до середины скалы, вызывал чувство ужаса. К тому же веревку ветром относил куда-то в сторону. Монах, стараясь ее выровнять, раскачивал сам себя, а при качании металась слива наверху и казалось вот-вот...

— Да я бы ни за какое золото... — в ужасе прошептал старший.

— И я бы. Ни за что! — сознался средний.

Вдруг качавшийся на веревке монах исчез. Казалось, сорвался, рухнул в пропасть, но нет, вот один конец веревки ушел туда, в Драконову пасть. И опять дрожит и вьется веревка, и снова снялась с тех старых слив, повисла книзу.

— Ну, глазам своим не поверишь!

О, знали бы они там, внизу, каких ему это стоило сил!

Он был весь в поту, дрожал от пережитого ужаса, и только в глазах начинала медленно светиться радость от чуда спасенной жизни. Опустившись на колени, поставив перед собой подаренную псалтирь, служившую ему иконой, он вознес руки к небу и сказал:

— Господи! Велико уродство, в котором пребывает созданный тобою мир. В этой темени моя душа не может найти путь к свету твоему, и, если нету других путей возвращения к тебе, иначе как через те же тяжкие преступления, благослови нас хотя бы на этом неверном пути.

Угнали они жеребца той же ночью. Угнали довольно простым, но не лишенным остроумия способом. Младшему из братьев была поручена самая легкая роль. С мешком полуобглоданных костей он караулил стены глиняной крепости и, как только шавки во дворе поднимали тревогу, перекидывал через забор кость, после чего на какое-то время наступало затишье.

Остальные два брата вместе с монахом трудились в поте лица. Под конюшней, выходявшей одной стеной в поле, сделали подкоп. Разобрав каменный фундамент и подкопав под ним еще аршина на два, они в полночь вошли к лошадям. Обнаружив белого красавца, они легко повалили его, перевязали веревками, точно младенца запеленали, и в таком виде протащили через сделанный под стеной подкоп. Бедное животное! Вырвавшись из своего долгого заточения, встав на ноги, конь повел точеной ноздрей по ветру, вздохнул глубоко, и такое победное, раскатистое ржание огласило ночь, что пришли в ужас все три конокрада и сам их рыжий предводитель.

Братья вскочили на коней, взяли за поводок жеребца и исчезли. Когда топот копыт совсем стих, послушник пошел укладывать на место камни в фундамент, после чего принялся засыпать подкоп. Приученный с детства к хозяйству, он все делал старательно, как для самого себя. Только под утро оставил он эту глиняную крепость и пошел к реке. На берегу разделся, прыгнул в воду и долго плыл против течения, предоставляя Днестру смыть с него усталость и грехи той немислимой ночи.

Выбравшись из воды, он подумал, что до утра еще есть время. Хорошо бы немного отдохнуть. Когда он шел купаться, заметил уютный выступ, будто нарочно создан-

ный для того, чтобы можно было растянуться на нем и отдохнуть. Нашел его, лег на траву, прильнул усталым телом к теплой неподвижности земли.

Из темной бездны ночи медленно выступали мягкие очертания днестровской долины. Сначала вырисовывались верхние контуры чаши, потом долго, через края, переливались сумерки, теснимые рассветом, и только когда в чаше оставалось совсем немного ночной мглы, тогда на дне ее начинал блистать серебристый пояс реки. Он выплывал из ночи с тем изумительным изгибом живого существа, при котором мгновенно рождается душевный трепет, когда ты живой и река жива...

Днестр ты мой, Днестринушка,  
Священная вода...

Река медленно плыла вниз, на юг, к морю. Она плыла всю ночь, она и теперь, и завтра, и всегда, во веки веков, будет плыть на юг. Крутые волны спросонья лениво облизывали друг другу загривки, играя, таяли вдаль вместе с рекой, вместе с ее берегами в той утренней дымке, которую мы часто видим, но дойти до которой нам так и не суждено. С каждым шагом эта удивительная красота дали, скидывая с себя дымку, становится уже чем-то иным, поэтому остается одно из двух — либо восхищаться ею издали, либо следовать за ней, с каждым шагом разрушая ее.

«Велик сад твой, господи, и велики чудеса твои!..»

Вдруг отцу Иоану показалось, что кто-то следит за ним. Странно, подумал он. Такая тишина, такая пустыньность вокруг! Один плеск волн в низине да шелест кустарника — откуда взялась эта тревога, это ощущение, что кто-то не мигая выслеживает его?

Только при первых лучах солнца он увидел ту, что так долго не спускала с него глаз. Это была невысокая, сравнительно молодая вишенка. Она росла неподалеку. И до восхода он ее, конечно, видел, но она ничем не привлекла его внимания. Но вот взошло солнце, и в густой листве показались огненно-красные, тяжелые, спелые ягоды. Увенчанная главным смыслом своего бытия, вишенка стояла, охваченная печалью, потому что, как известно, во время войны дети не бегают по полям, не лазают по деревьям. Который уж год эта вишенка осыпала прямо на землю свои плоды. Вот и это лето уходит, и опять впустую, и на самом последнем сроке она вдруг увидела живого человека — могла ли она его упустить!

— А и вправду, как давно мы вишен не ели!

Спустившись к реке, послушник нарвал листьев лопуха, при помощи ивовых прутьев смастерил из них ведро. Собрав урожай, поблагодарил вишенку за угощение и, аккуратно неся полное ведро, медленно пошел вверх по Днестру, к тому одинокому домику, где, как ему сказали, так давно и так долго его дожидаются.

Хотя было раннее утро, Екатерина, как и все господины Молдавии, уже хлопотала по дому. Во дворе на летней печке варилась мамалыга. Чуть дальше, сторожа тропку к дому, лежала, растянувшись на влажной от росы травке, Ружка. Должно быть, она помнила послушника еще с того ночного прихода, потому что на его появление со стороны Днестра она слабо, один-единственный раз гавкнула, что, впрочем, можно было принять и как предупреждение хозяйке, и как приветствие гостю.

Екатерина, увидев его, выплывающего из высокого, в человеческий рост прибрежного разнотравья, вздрогнула и чуть не уронила тыквенную мисочку, с которой куда-то шла по хозяйству. Уж никак она не ожидала его именно в тот день, да и со стороны Днестра, да и с ведром ягод...

Гость, не замечая ее растерянности, прошел мимо Ружки, сел на завалинку, аккуратно поставив рядом с собой ведро. Наконец, улыбнувшись, спросил:

— Ну, где они там, эти наши дети?

В Молдавии, как и повсюду в мире, дети просыпаются долго и неохотно. Екатеринина семья еще спала на той же печке, под тем же драным одеялом, но, бог ты мой, как глубоко ранит детское сердечко неполнота отчего дома, как велико ожидание отца, когда его нету!

Мигом встрепелась сонная шестерка. Полетели с печки очертя голову, шепотом спрашивая друг у друга, чей это голос, потому что опять слышен был мужской голос во дворе. Бедная Екатерина! Стоя в сенцах, она ловила их и силой возвращала обратно, с тем чтобы вымыть, причесать и в это время шепнуть им на ушко, как следует предстать перед своим родителем. Какие слова он может тебе при этом сказать и что ты сам должен произнести в ответ...

И вот они наконец выходят из дому. Идут друг за дружкой, целуют Иоану руку, а он, в свою очередь, гладит их по головкам, стараясь каждому сказать что-ни-

будь хорошее и, главное, смешное, потому что оно незаменимо при этой первой встрече — хорошее и чуть смешное слово... Тем временем Екатерина вынесла из дому маленький столик, расставила стульчики вокруг. На столик опрокинула мамалыгу, в миску из-под тыквы пересыпала вишни. И это теплое угро, и эта мамалыга, и эти вишни стали свидетелями рождения новой семьи.

На следующий день, в воскресенье, чуть свет, вымытые и наряженные во что бог послал, они шли длинной вереницей вверх по Днестру. Впереди шла Екатерина, за ней, чуть отстав, шел отец Иоан. Дальше шли их девочки и мальчики. Замыкал шествие небезызвестный Ницэ, который на этот раз был в просторной холщовой рубашке и мог до конца лета оставаться под своим собственным мужским именем.

Шествие этой восьмерки, да еще в такую рань, вызвало удивление. Крестьяне обычно не любят долго оставаться в неведении и, встретив их, прямо спрашивали у Екатерины, куда это они в такую рань собрались.

— Идем в Каларашевский монастырь на службу.

Тем же, которые, удивляясь, не решались спрашивать, отвечал сам Ницэ, причем ответы его, не в пример ответам Екатерины, были куда обстоятельнее:

— Тата с мамой идут венчаться, нас взяли дружками, а Ружку посадили на цепь и оставили дома.

Еще через две недели Иоан был рукоположен в том же монастыре, но он и не собирался принимать привычное в то время обличье сельских священников. В том же старом подряснике, весь в трудах, весь в заботах, он был неистов в своих начинаниях, и вот настал день, когда жители приднестровских сел высыпали на берег посмотреть, как по Днестру плывут гигантские плоты. На них стояли братья Крунту, двое москалей и рыжий — ну, монах не монах, поп не поп, но что-то в нем такое было, потому что слушали его и братья Крунту, и москали, и плоты, и даже, казалось, сама река.

— Все это — не без бога, — говорили старики и размашисто крестились, потому что воистину неисповедимы пути господни! Иной раз дуб, которому, кажется, на роду написано стать у основания храма, чуть что — и уже в печке; другой раз лес, поваленный, чтобы лечь под колеса и копыта, на твоих же глазах спускается по воде и поднимается на гору, чтобы превратиться в храм!

# Черниговский колокол

*Честь подвергает опасности частных лиц, а не государство.*

*Екатерина II*

*...греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.*

*Пушкин*

Черниговский храм Иоанна Богослова славился огромным, шестисотпудовым колоколом, который таинственная случайность возвысила над всеми прочими колоколами города. Десяток черниговских колоколен звонили к утрени, звонили к вечерне, но все это как-то шло мимо уха, мимо сердца прихожан, и, только когда подавал свой голос Иоанн Богослов, утренняя становилась утреней, вечерня — вечерней.

— А щоб ему лыхо...

Существовало множество легенд относительно происхождения богословского колокола, поговаривали даже о неких переменах в его голосе, которые впоследствии оказывались пророческими. Может, поэтому, что ни день, перед закатом вокруг богословского храма собирались целые толпы, ибо согласно молве народной именно на срезе дня и ночи богословский колокол начинал вещать, и правоверные миряне, запрокинув головы и глядя в вечернее небо, откуда с вышины доносился звон, шепотом гадали, к чему бы это.

Потемкин питал слабость ко всему странному, загадочному, таинственному. О богословском колоколе он, должно быть, наслышан был от главного священника армии, митрополита Амвросия Серебряникова, служившего некогда в черниговских храмах. Занятый, как всегда, другими делами, он удивился этому чуду и тут же забыл о нем. Легенда эта тем не менее занимала его своими намеками на провидческий дар, и изредка, охваченный хандрой или печалью, светлейший вдруг ошарашивал своих собеседников тем, что вот-де и в Чернигов никак не соберется, а ему крайне нужно там побывать.

Очевидные знамения небес — это было именно то, чего, по мнению князя, крайне не хватало России для утверждения ее могущества, и теперь, сидя на полу в горьком одиночестве перед потухающим каминном, он сно-

ва вспомнил о богословском колоколе, но на этот раз ничего откладывать не стал, приказав своим помощникам продумать путь на юг так, чтобы непременно проехать через Чернигов.

Выехал князь рано утром, в четыре часа, ни с кем не простившись. Его власть и могущество все еще оставались незыблемыми. Его встречали у въезда в свои пределы губернаторы, духовенство, представители высшего сословия. Толпы праздничного, ликующего народа, пушечная пальба, созвездия местных красавиц. Фельдмаршал, однако, спешил на юг, ему некогда было принимать почести, и его поезд следовал мимо тщательно подготовленных встреч, приемов и проводов.

Губернии мелькали одна за другой, поезд светлейшего летел, не останавливаясь, день и ночь, пока на четвертые сутки, подъезжая к Чернигову, князь не уловил в густом колокольном перезвоне голос того единственного, неповторимого богословского колокола. «Ах, что за диво!» — воскликнул он и, не выходя из своего дормеза, приказал ехать прямо на звон, пребывая в глубоком волнении, пока наконец экипажи не остановились на площади перед храмом.

Прекраснейший старинный город, стоявший на высокой круче, совершенно его не интересовал. Едва ступив на землю, усталый, невыспавшийся, он вошел в сопровождении губернатора и митрополита прямо в храм. Служили как раз вечерню. Наспех были приготовлены сидалища для светлейшего, но сесть он не пожелал. Постояв под куполом храма некоторое время, начал рыться в карманах. Что-то нашел, кинул в рот и принялся жевать. Почесал спину, мучительно доставая через плечо место, которое чесалось. Посмотрел вверх на все четыре оконца и сказал вслух губернатору:

— Церковь недурна. Отчего, однако, звонить перестали?

Выяснилось, что звонили все время, но в самый храм звон доходил приглушенным. Это озадачило Потемкина, считавшего себя, помимо прочего, и специалистом по акустике. Обойдя внутренность храма, не особенно обращая внимания на службу, он вышел обратно в притвор. Там он заметил одноглазого монаха, стоявшего за конторкой и торговавшего свечками.

Будучи сам одноглазым, Потемкин ощущал дружеское расположение ко всем, кто по тем или иным причинам лишился половины своего зрения, и не было слу-

чая, чтобы он прошел мимо кривого, не одарив его вниманием.

— Тебя как величают, отче?

— Пафнутием, ваша светлость. Брат Пафнутий.

— Каково торгуешь?

— В храме не торгуют, ваша светлость. Так. Балуюм копеечными свечками.

— Но за деньги, я полагаю?

— За деньги, ясно.

— Ну так чего мудришь! Все равно торговля.

Пока они выясняли принципы товарообмена, с колокольни опять донесся звон, но в притвор храма этот звон почему-то доходил во всей своей первозданной красоте. Монах, торговавший свечами, при каждом вздохе колокола чуть вздрагивал, прерывал себя на полуслове и осенял крестным знамением. Потемкин, считавший себя знатоком канонических служб православной церкви, спросил удивленно:

— Разве вечерня требует того, чтобы каждое слово колокола сопровождать крестным знамением?!

— Если речь стоит того, почему бы и нет?

— Тебе нравится ваш кол кол?

— Больше жизни, ваша светлость.

— И давно ты его слушаешь?

— С тех пор как помню себя.

— А как ты полагаешь, — спросил вдруг светлейший, — о чем он ведет речь?

— О последнем долге христианина, ваша светлость.

— И каков последний долг христианина?

— По моему скромному разумению, — сказал Пафнутий, — наш последний долг — отдать земле то, что было в нас земного, и вернуть небесам то, что даровано было небом.

— Другими словами, тело — глине, дух — небесам?

— Именно так, ваша светлость.

Выждав паузу в колокольном перезвоне, Потемкин спросил:

— Но, брат Пафнутий, зачем об этом твердить так часто и с такой настойчивостью? Разве кому-нибудь удалось уклониться хотя бы на самое малое время от выполнения сего последнего долга?

— Уклониться, это верно, никому не удалось, но откладывать исполнение этого долга пытались почти все.

— И ты тоже?

— Аз емь последний из грешных, ваша светлость.

Потемкин улыбнулся, вышел, сел в свой экипаж и уехал в отведенную для него резиденцию. В тот же день по случаю пребывания светлейшего в Чернигове было устроено празднество. Народные гуляния с показом малороссийских песен и танцев, катание по реке на лодках в сопровождении пасторальных мелодий, скачки, в которых участвовали все соседние губернии.

Вечером был дан бал во дворце губернатора, грандиозный бал с балетными и театральными представлениями, с цыганами и заезжими иностранными знаменитостями, но князь сидел понуря голову и был так грустен, точно все печали мира вдруг обрушились на него. Ни роскошный стол, ни танцовщицы, ни скачки, ни карточная игра — ничего его более не занимало. Единственная его отрада в тот вечер был богословский колокол, и, рассматривая бокал с вином на свет или заглядываясь на какую-нибудь черноокую красавицу, он вдруг восклицал:

— Но как можно заниматься великими деяниями, когда тебе твердят: тело — глине, дух — господу!

По распоряжению губернатора во все время пребывания Потемкина в Чернигове звонили на Богослове. Потемкин слушал колокол непрерывно, с разных точек, на разных высотах, и, если звон хоть на минуту умолкал, потому что пономари, как известно, живые люди, князь тотчас же вопросительно смотрел на губернатора, губернатор вопросительно смотрел на градоначальника, и уже летят курьеры по каменным мостовым через весь город к Иоанну Богослову, чтобы выяснить, в чем дело.

Четыре здоровенных пономаря, поочередно сменяя друг друга, прозвонили почти сутки. В полночь встревоженные этим гулом горожане повысыпали на улицу, собрались вокруг богословского храма, глядели на колокольню и спрашивали друг у друга — что стряслось? Те, у кого было меньше веры и больше юмора, хихикали: «Должно, светлейший звонит сам по себе».

И он прозвонил, тот богословский колокол, он прогудел всю ночь и почти весь следующий день. И даже под вечер следующего дня, когда светлейший уже отбыл из Чернигова, с Богослова, по распоряжению губернатора, все еще звонили, потому что светлейший, покидая пределы, мог пожелать еще раз, на прощание, насладиться этим таинственным чудом.

И в самом деле! Отъезжающий князь каждые три-четыре версты останавливал поезд, выходил из дормеза

и, став на обочину пыльной дороги, долго смотрел в синюю вечернюю дымку, на высокий крутой берег, откуда из-за стройной дружины туманно-сизых тополей выглядывали колокольни черниговских храмов. Потемкин стоял, большой и одинокий, на обочине проселочной дороги, слушал дальний, приглушенный полями звон, и слезы градом текли по его бледным, обвисшим щекам...

Но что такое? На одной из остановок, когда солнце уже опустилось за тонкую линию заката, но над полями все еще горели остатки долгого летнего безоблачного дня, светлейший, стоя на обочине дороги и глядя на все еще угадывавшийся в дальней дымке Чернигов, больше не услышал голоса черниговского храма. Ни печального, ни задумчивого, ни обыкновенного, ну совершенно никакого звона не было слышно.

— Да это же равнозначно оскорблению! — завопил он. — Разве так Потемкина провожают?!

— Може и звонят, но мы слишком далеко отъехали, — предположил кто-то.

— Я околдован тем звоном и не могу уже себя лишить того удовольствия... Как быть?

— Проще простого, — заявил никогда не унывавший Попов. — Этот Чернигов — он же совсем обнаглел! Разве ему по чину такое диво!

И вот уже летит курьер обратно в Чернигов, и снимают в большой спешке с Иоанна Богослова колокол, грузят его со всеми предосторожностями на специальную платформу и отправляют на юг, следом за поездом светлейшего князя Тавриды. Осиротел, приуныл древний Чернигов, но что поделаешь! Покой маленьких городов стоит в прямой зависимости от покоя сильных мира сего, и тут уж, как говорится, не выгадывай, а то прогадаешь.

Над молдавской столицей висела пыльная жара середины лета, и в то раннее утро, когда коляска светлейшего остановилась у подъезда его штаб-квартиры, духота была такая, что измученный в пути фельдмаршал не смог без посторонней помощи выйти из экипажа и подняться на второй этаж. Дышать было нечем.

— Репнина ко мне.

Генерал Репнин явился с хорошими новостями. Накануне прибытия Потемкина, за день или за два, в Галаце был наконец подписан проект мирного договора, который представили светлейшему на утверждение. По свидетель-

ству историка Петрова, светлейший пришел в такое негодование, что на глазах у Репнина разорвал проект, устроив генералу неслыханный разнос.

— Прежде чем заключить мир, — кричал ему Потемкин, — вам надлежало бы выяснить общую ситуацию на театре военных действий! А между тем турки сломлены не только на суше, но и на море! Вице-адмирал Ушаков разбил полностью турецкий флот, пушки наших кораблей слышны в Константинополе! Мы должны были втрое больше вырвать у турок против того, что вы тут наторговали!

Впрочем, он так был утомлен пребыванием в Петербурге, дорогой и душным летом, что его неистовства хватило ненадолго. Поразыскав, он не стал полностью отвергать заключенное соглашение и лишь потребовал вернуть турок к столу переговоров. В Яссах, далеко от северной столицы, он снова обретал столь желанную свободу действий и, ощутив в своих руках всю ту мощь, которая, как ему казалось, вот-вот готова была удплыть, он почувствовал, что допустил некоторую неловкость по отношению к Репнину. Все-таки он на него оставил армию, и войска все это время сражались, побеждали... Чтобы как-то смягчить отношения, он напросился к Репнину на обед, но сидел за столом растерянный, молчаливый, угрюмый.

— О чем закручинились, ваша светлость?

— Не выщипте, князь. Грусть какая-то временами накатывает, ну прямо туча черная. Даже вот мыслю — не бросить ли все это к черту и податься в монахи?

— А что, — сказал Репнин, — тоже недурное дело. При вашей умелости и везучести сегодня, глядишь, иеромонах, завтра — архимандрит, а там и до Белого клобука недалеко. Будете благословлять нас обеими руками на ратные подвиги, а мы будем целовать у вас правую.

— Нет, — сказал Потемкин, — я хотел бы уйти в монастырь не для того, чтобы подниматься вверх, а для того, чтобы вниз сойти.

— Для чего вниз-то?

— Чтобы исполнить извечный христианский долг — вернуть земле то, что было в нас земного, и небесам отдать то, что было в нас небесного.

— Ну, до этого библейского раздела, ваша светлость, вам еще жить да жить! Вы просто измаялись, устали с дороги и, как все люди, крупные не только духом, но и телом, плохо переносите жаркий южный климат.

Мы здесь вот спасаемся охотой на уток. Садимся в лодки, заплываем в камыши и сидим в прохладе. Выстрелил, сам же поплыл за добычей, а там, посвежевший, опять сидишь в лодке с ружьем и караулишь небо...

Для того чтобы сподручнее было руководить мирными переговорами, светлейший переехал на некоторое время в Галац. Поскольку пребывал он по-прежнему в подавленном настроении, решено было устроить охоту на уток. Тишина, мягкий шелест камыша на рассвете, взлет перепуганных уток под острым углом, мгновение выстрела, всплеск падающей в реку дичи, и опять тишина, покой, долгий шелест камыша... Два дня охоты как будто восстановили силы светлейшего, но они же приблизили его кончину, ибо там, в дунайских плавнях, возобновились приступы знаменитой молдавской лихорадки, которой светлейший страдал уже давно.

Лихорадка эта трепала через день. Сутки трясла так, что зуб на зуб не попадал, сутки давала передохнуть. Когда трясла, на больного клали меховые шубы, он задыхался под ними и все кричал, что мочи нету, холодно. На следующий день больной, весь измочаленный, лежал, обливаясь потом, вспоминал кошмары прошедшего дня, но не успевал он толком дух перевести, как снова накатывала трясучка.

Помимо всего прочего, светлейший был еще и чрезвычайно мнителен, и его мнительность получила новую пищу в Галацах. В начале августа скончался от полученных ран брат великой княгини принц Вюртембергский. Светлейший присутствовал на заупокойной в местном соборе, но, будучи сильно ослабевшим от лихорадки, не доставя службу, вышел. По какому-то недоразумению вместо кареты были поданы похоронные дроги, и светлейший по рассеянности сел в них. Он долго сидел и удивлялся, отчего не едут. В конце концов недоразумение обнаружилось. Потемкин пересел в свою карету, но скрипучие похоронные дроги продолжали его преследовать и мерещились во все дни лихорадок.

Прошедшие накануне его приезда в окрестностях Галаца бои делали жизнь в городе невыносимой. «Место сие, — писал Потемкин Репнину из Галаца, — наполненное трупами человеческими и животных, более походит на кладбище, нежели на обиталище живых. Недуг меня замучил совершенно, и я теперь в крайней слабости».

Ввиду болезни главнокомандующего была достигнута

договоренность перевести переговоры из Галаца в Яссы. Лихорадка, однако, усиливалась. Теперь она давала больному передохнуть только после двух дней на третий. Перебравшись во дворец, светлейший все равно был не в состоянии заниматься делами, пришлось переехать в имение своего друга Маврокордато под Яссами. Пыльное, сухое, жаркое лето медленно перерастало в такую же пыльную, сухую, жаркую осень, и это было для страдающих малярией невыносимо.

Императрица была крайне встревожена сообщением о тяжелой болезни Потемкина. Чувствуя за собой некоторую вину, она писала ему что ни день, а то и по два письма в день. Светлейший плакал над ее посланиями, но отвечать собственноручно был уже не в силах. Государыню совершенно не устраивали письма под диктовку, и она начала спешно искать себе надежного человека, которого следовало бы немедленно отправить на юг. Этот надежный человек должен был все время находиться при светлейшем и сообщать государыне каждый день самым подробным образом о его самочувствии. В конце концов выбор пал на Александру Васильевну Браницкую, одну из племянниц светлейшего. Поскольку Александра Васильевна, выйдя замуж, проживала в Киеве, императрица попросила ее немедленно бросить все и выехать на юг к тяжело больному дяде.

Надо сказать, что из четырех или даже пяти племянниц-красавиц, обогащенных Потемкиным сверх всякой меры, одна Александра Васильевна, выданная замуж за богатого польского магната Франциска Браницкого, сохранила чувство искренней привязанности к своему могущественному дяде и, получив письмо государыни, немедленно отправилась в Яссы.

Увы, приехала она слишком поздно, потому что жизнь покидала Григория Александровича. Трое врачей — Тиан, Массо и штаб-лекарь Санковский — сбивались с ног, но все впустую. Против молдавской лихорадки, как, впрочем, и против любой другой, существовало тогда, да и теперь существует, только одно действенное средство — хинин. Изабалованный и пресыщенный организм светлейшего яростно противился этому лекарству. Уж с чем только врачи его не мешали, чем они его не сдбировали, все было напрасно. Как только до утробы фельд-маршала добиралась горечь хинина, тут же начиналась рвота, и кризис не проходил, пока организм полностью не освобождался от этого снадобья. После приступов рвоты

князь лежал неподвижный, казалось, даже бездыханный, и нужно было долго дожидаться, пока в конце концов обнаружится пульс.

Эти три недели, проведенные светлейшим под Яссами, были, может быть, самыми тяжелыми в его жизни. Огромный, беспомощный, опустошенный, он лежал целыми днями неподвижно, ни во что больше не вникая, и единственное, что все еще его занимало, был черниговский колокол. Он все прикидывал, на какую бы из яских колоколен его пристроить, но колокола все не было, и вот он опять вызывает Боура, которому было поручено следить за передвижением платформы.

— Ну где же он..

Доклады Боура, как правило, бывали оптимистичными, обстоятельными, но, выслушав его, фельдмаршал вздыхал:

— И все-таки долго. Слишком долго они его везут.

В конце сентября светлейшего, по его просьбе, перевезли в город. Его попытка вернуться, хотя бы частично, к делам ни к чему не привела. Он был настолько слаб физически, что не смог даже поставить свою подпись под наградными листами особо отличившихся при взятии Анапы. Эта невозможность овладеть гусиным пером вогнала князя в панический страх пред близкой кончиной. Попросил принести из молельни любимую икону, голубого благословляющего Христа, подаренного государыней при его назначении наместником Новороссийского края. Он считал эту икону чудотворной. Но, увы, человек слаб, а чувство признательности — ноша нелегкая. Тяжелые дни проходили, и голубого Христа снова отправляли в молельню к прочим иконам до наступления следующих тяжелых времен, когда без него было не обойтись.

Теперь, лежа на кожаном диване, беспомощный и одинокий, светлейший подолгу размышлял. В самом деле, думал он, сколько народов, во скольких поколениях падали ниц пред спасителем, взывая о помощи. Выбравшись из беды, они забывали о нем до следующих тяжелых времен. А он не помнил зла, и снова ждал их, когда они придут с молитвами, и снова помогал им, и в этом, пожалуй, он был не столько сыном земли, сколько сыном небес.

В те долгие ночи страданий светлейший сочинил двенадцать канонов, посвященных спасителю, которые в су-

матохе, связанной с его кончиной, затерялись. Понов, записавший их под диктовку, хотя и был сыном казанского священника, оказался не в состоянии запомнить и восстановить их.

В начале октября, в полдень, светлейший вдруг представил себя в том же дворце лежащим в гробу, и это невесте откуда взявшееся видение привело его в неистовство. Умереть в этом пыльном городишке, в котором и дышать-то нечем? Да как он раньше не понял, что ему тут не короноваться, а испустить дух суждено, а если это так, почему он его не покинет сей же час?

Был срочно вызван Боур.

— Я не хочу умирать в Яссах, — сказал ему Григорий Александрович. — Я вывезу свой гроб отсюда, повезу его в свой любимый, своими руками построенный Николаев. Вели вынести меня немедленно!

— Но, ваша светлость, даже экипажи еще не готовы...

— Пусть готовят, пока будут спускать меня по лестнице...

Выехали через несколько часов в безумной снежке и суматохе. Для Потемкина идеально было бы вообще никогда не вылезать из экипажа. У него была страсть к путешествиям. Часто зимой в Петербурге, когда изводила бессонница, он катался два-три раза из столицы в Царское Село и обратно и все гонял лошадей, гонял, пока благостный дар отдохновения не снисходил на беспокойного седока. Кто знает, думал светлейший, может, и на этот раз, пока доедем до Николаева, в пути меня смотрит хороший, крепкий сон...

Увы, после двухмесячной лихорадки в нем вымерло и ощущение дорожного уюта. Не успели отъехать от Ясс, как верст через пятнадцать ему опять стало плохо. Лихорадка так трясла, что, казалось, вот-вот выбросит из кареты. Переехав Прут, остановились и стали совещаться. Неподалеку от дороги стоял домик. Просто так, в поле, на обочине дороги, стоял небольшой, опрятный снаружи молдавский домик. Был он совершенно пуст. Жители, видимо, еще не вернулись из своих странствий. А может, погибли или ушли, как и многие другие, просить милостыню. Быстро прибрались в доме, подмели, занесли кожаные подушки. В самой большой и просторной комнате устроили светлейшего. С наступлением темноты лихорад-

ка как будто отпустила. Докторам даже показалось, что князь заснул, и, измотанные долгими бессонными ночами, его помощники свалились как убитые.

Часа через два, однако, светлейший проснулся. Было душно. Попросил открыть окна, но все его окружение спало мертвым сном. Тогда он поднялся сам, чтобы отворить их. Оказалось, что открыть их невозможно. В той давней Молдавии бедный люд, которому не на что было купить дорогое тогда оконное стекло, заменял его мутноватой пленкой, представлявшей собой не что иное, как высушенный мочевой пузырь крупного рога-того скота.

Задыхаясь от духоты, ступая через свое спящее окружение, князь кулаками протыкал те пузыри насквозь. Свежий воздух, однако, по-прежнему не поступал, и тогда он вышел на улицу. То, что и на улице стояла такая же духота, его совершенно добило. Он вдруг начал искать, к чему бы прислониться, потому что не было сил даже на ногах стоять, и в это время какая-то тень отделилась от стоявших неподалеку экипажей.

— Прикажете, ваше сиятельство! — сказала тень хриплым старческим голосом.

Потемкин узнал отчаянного старого казака по прозвищу Кресало. Наслышавшись от Головатого о его подвигах, он пожелал иметь его в своем конвое, и теперь, едва держась на ногах, обрадовался ему. Хоть и был Кресало старый, какая-то неуемная, неистребимая сила обитала в нем, а Потемкину, как никогда, этой силы-то как раз и не хватало.

Опершись о его костлявое плечо, отдохнул немного. Тяжелая пыльная духота не давала вздохнуть полной грудью. Ни малейшего дуновения ветерка. Огромное звездное небо низко висело над тающими в ночи очертаниями холмов, и только где-то там, вдали, на склоне какого-то дальнего холмика, таинственный огонек то мигнет, то уйдет надолго в душную бездну ночи, то сиять мигнет.

— Вот туда, — сказал Потемкин старику Кресало, — туда, и непременно, сей же час вези меня туда!!

А был тот огонек обыкновенным пастушечьим костром, и ничего таинственного в нем не было. Как известно, у степных пастухов хвороста мало, и, чтобы сократить ночь, они подкидывают в огонь овечьи орешки.

Огонь при этом не столько горит, сколько тлеет. Когда он совсем уже на последнем издыхании, пастухи кинут две-три хворостинки, пламя вспыхнет, на миг озарив окрестности, и костер опять начинает тлеть.

У замеченного Потемкиным костра сидело двое пастухов — старик и его молодой помощник. Старик не спалось, и он призадумался той тяжелой, сладко-печальной думою, при которой молдаванин сливается со своим горем, и так ему от этого единения хорошо, что ничего другого в жизни не надо. Молодой, напротив, был еще полон сил и каких-то смутных замыслов. Он все к чему-то прислушивался, куда-то собирался, и вообще на месте ему не сиделось.

— Ты, дед, сразу скажи — даешь займы деньгу или нет?

Старик скинул с себя на минутку сладкую дремоту, чтобы улыбнуться молодому помощнику.

— Несуразный ты парень! Деньга, которую я вчера нашел на обочине дороги, ее и деньгой-то по-настоящему назвать нельзя. По-русски она зовется пятак, то есть пять копеек. Вся ценность ее в том, что она круглая и ветром ее не унесет.

Молодого пастуха эти никчемные рассуждения только выводили из себя.

— Ты не рассказывай мне, что такое пятак, это я и без тебя знаю. Ты одолжи мне его, так чтобы эта деньга в моем поясе лежала, а уж как и на что я ее истрочу — не твоя забота.

Старик вздохнул. Расстаться с деньгой ему не хотелось, а дать себя втянуть в длинный спор по пустячному поводу — значило растерять ту сладко-печальную дремоту, которой он так дорожил.

— Ну положим, что это хорошая, славная деньга. И куда ты теперь среди ночи кинешься на нее курево покупать?

— И это тоже не твоя забота, — сказал молодой. — Если у меня будут деньги, я как-нибудь курево себе раздобуду. Вон тракт в двух шагах. Вдруг проедет почта! Да у тех кучеров почти всегда можно курево разжиться!

— Какая там почта в военное время! Раз в неделю покажется и то несется как очумелая, моля бога, чтобы пронесло.

— Слушай, дед, а может, ты все это по скупости своей?..

Старику стало немоготу. Покопавшись в карманах, он достал свой пятак. Молодой, заполучив его, тут же упрятал в кожаный пояс, так называемый кимир, и пришел в такое волнение, что весь превратился в слух, готовый в любую секунду сорваться с места.

— Смотрю я на тебя — смурной ты малый, — сказал старик.

— Тсс!

— Что, таки едут?

Молодой стоял неподвижно, как изваяние, просеивая нескончаемую ночную тишину в поисках хоть чего-нибудь похожего на конский топот или дребезжание колес, но тишина была величественная, непочатая, первозданная.

— Бросил бы ты эту маяту, — посоветовал дружески старик. — Нам, пастухам, нельзя всяким слабостям поддаваться. На нас живые божьи твари. Другой раз кончится у тебя табак, а кругом одни пустые холмы, и что ты будешь делать? Бросишь овец и пойдешь курево искать? Да когда ты вернешься, одни копыта останутся от твоей отары!

— Я бы бросил, — вздохнул молодой, — да что толку, когда уже затянулся и дым в себя пустил.

— Что, с одной затяжки пошло?

— С одной затяжки.

Они еще поговорили о разных пороках и страстях, караулящих бедное человеческое существо, о том, как и при каких обстоятельствах эти пороки пристают к человеку, от каких можно еще избавиться, а какие, считай, уже до гроба, но чу...

— Что, таки едут?

Молодой разочарованно вздохнул.

— Главное, я уже деньгу взял в зубы, чтобы бежать на тракт...

— Смотри, не надумай сдачу просить, — сказал старик, — а то совсем опозоришься.

— Ты вот, дед, смеешься, а если попадется курящий человек, он сразу поймет мою тоску. Случается даже, что курящий курящему просто за так дает покурить. Если хочешь знать, я этот пятак больше для храбрости у тебя выпросил...

— Ничего, потерпи немного. Вот, даст бог, заключат мир, отведем овец на зимовку, отпущу тебя в Яссы. Там у греков запасешься куревом на целый год.

— Думаешь, заключат мир?

— А непременно. Когда две державы никак не могут одолеть друг друга, тогда что остается? Мир. А будет мир, заживем и мы потихоньку.

— Думаете, дадут?

— Дадут, — сказал старик уверенно. — Для новых войн нужны солдаты, а чтобы бабы нарожали новую армию, нужно дать небольшое послабление народу. И пока бабы будут нянчить малышню, можно будет и самим чуток пожить.

Молодой хотел было что-то возразить, но вдруг сорвался с места и пулей кинулся по склону холма к проходящему в низине тракту. Со стороны Прута несло несколько экипажей в сопровождении конвоя. Достав свою деньгу, пастух стал посреди тракта, готовый скорее погибнуть, чем сойти с него.

Лошади переднего экипажа шарахнулись в сторону, чуть не опрокинув карету. Поддавшись, тревоге, остановился весь поезд. Старый казак Кресало, обнажив саблю, выехал галопом в голову поезда, чтобы выяснить, в чем дело.

— Ну, что там такое? — спросил раздраженно генерал Голицын, сопровождавший светлейшего в этой поездке.

— Глупость какая-то, ваше благородие, — ответил разочарованно казак. — Пастух просит покурить.

Выбравшись из своей кареты, генерал подошел к экипажу, в котором ехал светлейший.

— Поедем дальше или отдохнем немного, ваша светлость?

— Странно, — сказал Потемкин. — Очень странно. Не случилось ли чего с ним в дороге?

— Да что с такой громадой может случиться?

— Ну, опрокинуть могут по неосторожности или, переправляя через водные преграды...

— Какие там водные преграды! — возразил Боур. — Через Днепр он переправлен давно, ну а что касается Днестра, то еще вчера, когда вы распорядились ехать в Николаев, мы послали курьера, чтобы и черниговский колокол направили туда.

— Поздно, — сказал, подумав, светлейший. — Теперь уж поздно. К тому же он умолк. Я его больше не слышу, а если он для меня свое отавонил, зачем с ним возиться? Пускай возвращают обратно в Чернигов. И непременно, сию минуту отправить курьера.

Приподнявшись, он ждал, пока подадут нужные рас-

поражения, потом долго слушал, как утихает в ночи топот одинокого всадника.

— Да и нам ехать дальше незачем, — заявил он вдруг. — Выньте меня из коляски. Я как-никак воин и хочу подобно воину принять смерть в поле.

Вынесли из кареты кожаные подушки, разложили неподалеку от дороги, на склоне холма, застелили ковриком. С трудом вынесли на руках огромное, холодное, почти безжизненное тело князя. Врачи попытались прощупать пульс, но он попросил оставить его в покое. Правда, племянница притащила из кареты пузырек одеколона, предложив князю еще раз попытаться самому вылечить себя. От всех болезней князь лечил себя одинаково — на макушку, прямо на взлохмаченную шевелюру, выливался флакон одеколона, который он сам же растирал по голове огромной лапой. Всю жизнь это средство помогало, но, увы, на этот раз...

Улегся, дав себя укутать одеялом. Некоторое время спустя спросил племянницу:

— Что тут рядом? Шумно кто-то вздыхает.

— Отара. Овечки вздыхают во сне.

— Костер у них там, что ли? Дымком тянет.

— Пастухи коротают ночь.

— А что, — спросил князь после долгой паузы, — тому пастуху, который нас остановил, дали покурить?

Стали выяснять. Оказалось — не дали. Подозвали молодого пастуха, и старый казак насыпал ему из кисета немного табаку. Потемкин следил, как пастух неумело закуривает, потом попросил повернуть его на спину. Какое-то время лежал молча, укачанный огромным ночным небом.

— Сап, а Сап... — позвал он тихо племянницу.

— Что?

— Видишь вон ту маленькую звездочку?

— Вижу.

— Это моя любимая звезда. Всю жизнь она меня манила, всю жизнь она была ко мне благосклонна, и кто бы мог подумать, что в самый-самый зенит...

— Что ты, дядюшка? Еще как она нам будет светить, еще как мы заживем!

Глаз светлейшего наполнился печалью.

— Поди принеси мне голубого Христа.

Племянница ушла к каретам, и, пока она там копалась, светлейший принялся разглядывать низкорослую, сутулую фигуру старого казака, стоявшего с ружьем у



его ног. Было что-то бесконечно горькое и одинокое в его тяжелой думе.

— Поди сюда, солдат.

Казак вздрогнул, точно его застали бог весть за каким проступком, и, вытянувшись по форме, замер.

— Ты, солдат, прости меня, — с трудом проговорил фельдмаршал.

Кресало сухо глотнул, посмотрел куда-то в поле, затем молвил тихо:

— Не судья я вам, ваше сиятельство. Если что и было промеж нами, пусть бог простит.

— Я часто бывал излишне суров с тобой, солдат...

— Так ведь служба — это не дружба...

— Гонял тебя по всем дорогам...

— На войне без этого не обходится...

— Излишне часто заставлял кровь проливать...

— Мы за бога, за веру нашу стояли, и тут уж, как говорится, потери не в счет.

Князь облегченно вздохнул, точно свершил самое трудное из всего того, что ему предстояло.

— По дому небось соскучился?

— А и то сказать, ваше сиятельство. Пора поля засевать.

— Ну и с богом, — как-то неопределенно, ни к кому особенно не обращаясь, выговорил наконец светлейший.

Тем временем вернулась Браницкая с иконой. Потемкин целовал голубого Христа, плакал, опять целовал, после чего утих, прижав его к груди. Казалось, засыпает, но вдруг он отчего-то вздрогнул несколько раз. Графиня Браницкая, кутаясь в теплую шаль, подумала про себя, что это хворь из него так выходит, но старый казак, дежуривший у ног князя, перекрестился и сказал:

— Отходит, слава богу...

— То есть как отходит?

— Ну, помирает то есть.

— Да ты что, глупая твоя голова, как можно!!!

Бросившись к светлейшему, она принялась его обнимать, целовать, затем, положив себе на колено его громадную голову, принялась дышать ему в рот, чтобы вернуть к жизни, и при этом истерически кричала:

— Нет, этого быть не может, мы этого не должны допустить!

— Оттяните ее от покойника, — сказал спокойным голосом казак. — Бабы, они при смертях бедовые...

Конвойные стояли, не смея притронуться к графине, и тогда молодой Голицын, подняв ее на руки, понес к каретам. Браницкая вопила, вырывалась у него из рук, но Голицын был крепким, мускулистым, и его решимость подействовала на нее отрезвляюще. Через несколько минут, окончательно придя в себя, она сама вернулась к покойнику и, сев чуть поодаль, тихо, по-бабьи завывала.

Светлейший лежал, запрокинув голову, и своим единственным, теперь тоже незрячим оком все еще вглядывался в бесконечность звездного неба. Кресало, волею обстоятельств ставший свидетелем нелегкого прощания тела с духом, подошел к покойнику, положил его голову на подушку, сказав при этом:

— Нужна монета, чтобы глаз прикрыть, пока веко не остыло.

Они выехали из Ясс в такой поспешности, что трудно поверить, но ни у кого не оказалось при себе золотой монеты. Стали искать хотя бы серебро или медь — ничего, ни копейки ни у кого. И тогда молодой пастух, подойдя, протянул свою денгу. Казак взял ее, прикрыл начавшее уже остывать веко, и скромный пятак, потерянный кем-то на обочине дороги и найденный молдавскими пастухами, лег на единственный глаз богатейшего и могущественнейшего из сильных мира сего.

Время шло, потрясенное случившимся, окружение князя пребывало в глубоком оцепенении, и единственным, сохранившим в эти минуты присутствие духа, был все тот же казак по прозвищу Кресало. Встав во фронт у ног фельдмаршала, подождав, пока к нему пристроится остальная конвой, скомандовал:

— Честь!

Генерал Голицын обнажил шпагу, солдаты зарядили ружья, и два десятка выстрелов раскололи прохладное предутреннее небо. После чего казак скомандовал:

— Молитву!

Никого из духовенства не было, и Сартти, бесконечно любивший светлейшего, решил, что это его обязанность. Опустившись на одно колено и поцеловав икону спасителя, он театрально вознес руки к небу и принялся декламировать:

— О всевышний, всемилостивейший, прими душу нашего главнокомандующего, фельдмаршала, светлейшего князя Тавриды, графа священной Римской империи, гетмана Великой Булавы...

— Не надо так красиво, ваше благородие, — пре-

рвал его казак. — Сколько тут ни нагрузай, всё равно на тот свет приходим без чинов и наград. Перед богом все рядовые.

Сконфуженный Сартг поднялся и отошел. Старый казак, заняв его место, сложил на груди руки и обыденным голосом простого человека, свершающего свою ежедневную молитву, произнес:

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя...

Князь лежал неподвижно и, казалось, внимательно слушал молитву старого казака. Дух отмаялся, страдания улеглись, и лик осенился покоем христианина, исполнившего свой долг до конца.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

# ань вечности

*Паша и сей — и будешь правьж.*

*Народное*

*...красота почти равноценна добру и правде.*

*Ренан*

А Днестр по-прежнему катит свои тяжелые холодные волны, точно мир еще не был отмечен тайной рождения и по нему не гуляла старуха с косою; точно дух наш не познал еще безбрежности слова, и рука не постигла радости деяния; точно мы еще не отправлялись за истиной вечной и не возвращались в который раз с пустыми руками.

Да и то сказать — что для древней реки, век которой исчисляется тысячелетиями, наши маленькие земные дела!

Днестр ты мой, Днестришущка,  
Священная вода!  
На берегу высококом —  
Цветы да лебеда...

Голубой пояс живительной влаги, величественно огибая древние холмы, движется как будто с нами, как будто и без нас, ибо, если вдуматься, чего только не видали эти волны, кого только не встречали и не провожали эти берега! В ущельях этих тяжелых громад прятались геты и сарматы. В водах этой холодной реки тонуло чудовищное племя гуннов. На этом высоком берегу порабощенные

дакийцы, пав ниц перед своими завоевателями, просили пощады для своих кровинок, но Рим был непреклонен в своей решимости истребить мужское население этой воинственной державы, и вот легионеры отрывают малышей от материнской груди и сбрасывают с высокой кручи в реку.

Впрочем, все в мире относительно. Относительной была и победа римского императора Траяна над вождем гето-даков Децебалом, ибо вместе с римскими легионерами под теми же шлемами и на тех же конях шел в наступление на мир язычников мир христианства. Это христиане углубили пещеры, чтобы, спрятавшись от чужого глаза, творить в темноте и одиночестве молитву тому одинокому назаретянину, которому со временем поклонятся последние правители Рима.

Что есть истинная ценность и что есть ценность относительная, что есть вечное и что есть тлен? Увы, над этим вопросом человечество не уставало биться на протяжении своей истории, а дни шли, проходили столетия, солнце по-прежнему всходило и заходило, и с утра до вечера лежащие на берегу Днестра доисторические животные из мела и ракушечника думали свою вечную думу, лениво грея на солнце свои бока. Есть какая-то тайна в их угрюмой задумчивости, чем-то они завораживают глаз, какое-то чутье подсказывает, что там, в глубинах этих громад, куда не проникает луч солнца, бродит белая вечность, и сами эти громады покоятся, должно быть, на белой вечности, ибо не может вечное не на вечном стоять.

Днестр ты мой, Днестринushка,  
Священная вода!

А и правда, думала Екатерина, воистину священная. Проживешь век рядом с этой рекой, и, хотя ты идешь своей дорогой, а река своей, она твою судьбу держит на примете и в тяжелую минуту непременно бросится на помощь. Ну кто, скажите, смог бы, кроме Днестра, такую уйму леса перетащить из-под Могилева до самой деревни, причем так ладно подогнать плоты, что вот ты достаешь из воды бревно, и тут же тропка, по которой его надо тащить наверх.

Не успели и половины перетащить, как начали строить. Околинским мужикам не терпелось испытать свою судьбу, а может, они просто не знали, что их ждет, ибо созидание — дело не столько рук, сколько духа челове-

ского. И поди попробуй, когда все помешаны на разрушениях, когда разрушениями клянутся и разрушениями бредят, остановить себя и начать подгонять бревно к бревну. Попробуй, когда круглый год вокруг пылают деревни, убедить себя, что созданный тобою кров будет стоять вечно, и ни огню, ни воде он неподвластен. Найди в себе силу поверить, что вначале было слово, и для того слова ты строишь храм, и это в то время, когда все вокруг тебя вопят, что вначале была сила, и потом тоже была сила, и всегда, всюду, во веки веков пребудет одна сила...

Ничего удивительного в том, что, не успев толком начать, тут же выдохлись. Стук топоров доносился все реже, тише, глуше. Работа топором — дело тяжелое, на мамалыге и постном супе много не наработаешь. День работника начинается с кормежки, эта истина стара как мир, а что кинуть в тот проклятый чугунок, когда четыре года шла война? И в этот трудный час кто бы, вы думали, пришел Екатерине на помощь? Да тот же Днестр. Собрав ребятишек со всей округи, Екатерина побродила с ними по своим заветным уголкам, набрала два ведра ракушек, и с тех пор не проходило дня, чтобы детвора чего-нибудь не натаскала строителям храма.

По вечерам, преодолевая усталость, плотники шли к тем же водам Днестра. Скинув с себя пыльные лохмотья, войдут в воду такими клячами, что отворачивается пристыженный глаз, а через полчаса выходят из воды такими гогочущими молодцами, что все село выбегает им навстречу. И такие выдавались славные вечера в Околинне, и так добрела и искрилась речь смешинками на каждой завалинке, у каждой калитки, возле каждого колодца, точно вместе с этими вытащенными из воды бревнами сам смысл жития выбрался на берег после долгих скитаний.

Один только отец Иоан не спешил по вечерам возвращаться. Выкупавшись, он садился на старую, дырявую, перевернутую вверх дном лодку и долго смотрел туда, на запад, где остались родные Карпаты, и Трансильвания, и отчий дом... Должно быть, сама эта река, несущая в себе чистоту и прохладу Карпатских гор, казалась ему приветом той далекой малой родины.

«Опять начинает тосковать... Господи, что я с ним буду делать? Чуть что — и уже начинает тосковать...»

Быстро потушив огонь в печке, накрыв стотовленный ужин, Екатерина надевала чистый платочек и спешила

к одиноко стоявшей на берегу старой лодке. Как она его любила, как жалела, когда бежала по вечерам к той старой лодке! Завидев его еще издали, она все шла и сокрушалась, потому что, господи, как он исхудал! Низко, печально опустилась еще недавно такая бедовая, такая рыжая голова! Да и что удивительного! Легко было спросить тем летним утром — где там наши дети? А попробуй взвали на себя заботу о них, раздобудь муку для двух мамалыг в день, одну утром, другую вечером, причем отнюдь не маленьких, потому что их шестеро, не считая Ружки, которая тоже сидит вот поодаль, не спускает с тебя глаз, и детская душа нет-нет да и встревожится — достанется ли что Ружке?

Жить в низине и строить наверху — морока, хуже которой не придумаешь. За день намотаешься так, что уж какой там из тебя работник. Что делать? Из остатков старого храма отец Иоанн довольно быстро соорудил там же, наверху, рядом со стройкой, домик с двух комнат. Едва перекрыл, едва поставил окошки и навесил двери, как Екатерина тут же перетащила семью наверх. В одной комнате живут, другую Екатерина штукатурит. Не успела та обсохнуть, переселились и уже в той штукатурят. Глина тут, глина там. На лице, на столе, на постели — всюду глина, шагу ступить невозможно без сырой глины.

И все это так, между прочим, потому что главным делом был храм, и там отца Иоана ждала самая большая неприятность. Оказалось, к его великому удивлению, что не все способны разумно орудовать топором. Бывают возрасты, когда человека еще можно этому обучить, а бывает — поздно. Братья Крунту принадлежали к той части человечества, которой от рождения это ремесло противопоказано. Они, правда, старались, но чем раньше они принимались за дело, тем меньше проку было в их трудах.

Во дворе строящегося храма валялась уже целая гора изуродованных бревен, и для отца Иоана, горца, выросшего в окружении леса, знавшего и любившего лес, этот навал искалеченной древесины был таким грехом, смириться с которым он не мог. Часто по ночам, когда выглядывала луна, он тихо вставал, шел на стройку и стучал топором часок-другой, чтобы хоть пару бревен привести в божеский вид.

Когда работы прибавилось, так что им вчетвером было уже не под силу, стали взывать к помощи односельчан.

Люди откликались слабо и шли неохотно, потому что стояла осень, у каждого свой виноградник, свои заботы. Заглядывали изредка соседи. Придут под самый обед в надежде, что Екатерина усадит за стол. Если за трапезой попадет в ложку кусочек мяса или вкусная гуща какая-нибудь, тогда ничего, а если одной пустой сун, тогда к концу трапезы уже начинают косить глазом по сторонам. На следующее утро, глядишь, две-три заготовки как ветром сдуло.

От этих пропаж у отца Иоана прямо руки опускались, ибо были они связаны с его главными плотничьими замыслами. В его голове не укладывался храм, у которого нету колокола. Он готов был идти на любую жертву, лишь бы над храмом высилась, вырастая из самой крыши, небольшая колоколенка. Он умел такие колоколенки строить, их было там, на его родине, немало, сооруженных его руками. Эта, околинская, должна была стать лучшей из них. Он не успевал подбирать и копить для нее материал, ему и в голову не приходило, что его заготовки так и просятся в печку. Большую сваю в 'одиночку не утащишь, а если утащишь, нужно еще топором поработать, а эту взял — и сразу в печку.

«Опять он у меня падает духом», — сокрушалась Екатерина, сворачивая с тропки к старой лодке. Щадя его тоску, его одиночество, она подходила такими неслышными шагами, что, казалось, откуда-то сверху пушинкой, занесенной ветром, опускалась рядом с ним.

Поначалу она молча сидела, стараясь смотреть туда, куда он смотрит, вздохнуть о том же, о чем он вздыхает, увидеть его глазами и эту реку, и эти горы, и пелену туманов за Днестром. Потом она начинала вместе с ним тосковать по его малой родине, хотя она ту Трансильванию и в глаза не видела.

После чего она начинала тихо плести слова о том о сем и ни о чем. Рассказывала, например, то, что знала наверняка об этой реке, передавала то, что слышала от других, а то принималась излагать, чего сама не знала и от других не слышала, но о чем ей подумалось в те долгие ночи одиночества, когда жила с шестью малютками тут, на берегу реки.

Тосковавшего по своему краю отца Иоана эти рассказы мало занимали, но, воспитанный среди простого народа, исконно уважающего слово собеседника, он, думая о своем, оставлял уши открытыми. Екатерине только того и нужно было. Завладев его ушами, она кидала в них

сказки, легенды, небылицы и, одаренная от природы, в этой стихии рассказчика достигала такого мастерства, такой красоты, что наступала минута, когда создаваемый ею мир соприкасался с миром, по которому тосковал отец Иоан, становясь единым целым. Сбросив с себя тоску, отец Иоан обнимал ее за плечи, долго смеялся какому-нибудь случаю, образу или словечку.

— Ну и рассмешила ты меня, ну и рассмешила!

С реки хоть и шли молча, видно было, что идут не просто двое — идет семья, причем семья, благословенная взаимопониманием, а это значило, что век ее будет долгим.

Дома, поужинав, Екатерина укладывала ребятшек, а отец Иоан в это время молился в соседней комнате. Потом они ложились на пахнущую свежим сеном постель, и, перед тем как соснуть, измотанная усталостью бесконечно долгого дня, Екатерина кидала в темноту так, на всякий случай.

— Она у нас будет белой.

— Кто? — спрашивал, засыпая, отец Иоан.

— Церковь наша.

Эта мысль о белой церкви до того его смешила, что он принимался ее усовещевать:

— Ну как она может быть белой, если строится из дуба? Видела ты когда-нибудь белый дуб?

Поскольку белого дуба Екатерина не видала, отец Иоан по-доброму, отечески завершал разговор:

— Ты уж меня извини, матушка, но белой она быть никак не может.

— Почему не может?

— Потому что дуб по природе своей может быть серым, может быть коричневым, может быть черным, но белым он быть не может.

Екатерина сопела, размышляя. Она была человеком степным, многие поколения ее предков рождались, проживали свои жизни и умирали в глинобитных домиках, побеленных известью. Для нее белый дом — это был честный дом, вечный дом, святой дом, а бревенчатое строение — ну бревенчатое, и ничего более.

— А если те дубы оштукатурить и побелить?

— Живой дуб мазать глиной и белить?!

— А что? И обмажем и побелим.

Добытое с таким трудом согласие грозило обернуться новой ссорой. К счастью, усталость разнимала их на полуслове, и они засыпали, так и недоговорив. Всю ночь

их укачивал доносившийся из долины еле слышимый говор днестровских волн, а под утро, чуть только петухи прокричат зорьку, Екатерина, просыпаясь, заявляла:

— Как хотите, отец, а она у меня будет белой.

— Кто?

— Церковь наша.

— Да каким образом она делается белой, если она из дуба? Ты видела когда-нибудь храм из дуба?

— Видела.

— И что, разве он не был красив?

— Слов нет, красота там великая, но как перед богом сознаюсь! Когда я на него смотрела, у меня прямо руки чесались, чтобы взять лопатку, ведро и тут же начать штукатурить и белить.

— Да зачем красоту живого, вечного дуба мазать глиной и белить?!

— А чтоб еще красивее было.

После четырех лет новостей, связанных так или иначе с человеческими жертвами и разрушениями, весть о том, что где-то там, на Днестре, какая-то деревушка строит церковь, всколыхнула весь обозримый из Околин христианский мир. Господи, неужели выживем? Из-под Прута, из-под Сирета, от Подолии и от самого Черного моря шли люди поклониться этим бревенчатым стенам, ибо согласно народному поверью есть надежды и есть грехи, которых никому, кроме как возводящемуся храму, не должно доверять. На выставленный для подаяний стол с утра до вечера приносили узелочки, медные гроши, куски домотканого полотна, живых цыплят, груши, картофель, а то и просто венок пахучей лесной мяты.

Отец Иоан, занятый на стройке, переложил весь этот странствующий люд на плечи Екатерины. Она их охотно принимала, выслушивала, делилась с ними. Долгие годы одиночества в низине, у реки, открыли ей, какое это великое счастье — сострадание, когда ты его находишь в других и другие находят его в тебе.

— Да ведь, матушка, этот храм наверняка будет выше турка с саблей!

Дело в том, что на своих вассальных землях турки предписали строить храмы не выше стоящего на своей лошади янычара с поднятой кривой саблей в руке. И так бедные селяне страдали от этого предписанного ограничения — господи, хоть бы та сабля ровная была, можно бы

крест повыше поставить, — но где там, все не как у людей!

Отец Иоан был трансильванец, он не жил под турками, в его жилах не было ни капли страха перед янычарами. Он строил свой храм таким, каким он ему виделся, а там, что же, поживем — увидим.

— Как бы они его не снесли!

— Даст бог, обойдется.

Наговорившись с гостями, Екатерина принималась дальше хлопотать по хозяйству, а паломники рассаживались на обтесанных заготовках, отдыха после долгого пути, набираясь сил перед дальней дорогой. Они сидели задумчиво, молча, боясь шевельнуться, ибо, пока они сидели и дышали запахом свежих стружек возле этого строящегося храма, великая река по имени Время медленно вытаскивала их из трясины разрушения, приобщая к нелегкому, но святому делу созидания. И каждый стук топора наказывал им верить и жить. Жить и верить.

К осени околинская церковь начала обретать тот облик, с которым ей предстояло прожить век. Вот они, тяжелые, прочные стены, крыша из наколотой дранки и над крышей игрушечная колоколенка, приводившая всех в восхищение. Она была восьмиугольной, с остроконечной конусной крышей, с четырьмя крохотными окошечками, по одному на каждую сторону света.

— Ну прямо загляденье!

Пока ее не было, этой колоколенки, о самом колоколе речи не было, но как только она появилась, пришла в волнение Околина, весь мир паломников и, конечно же, сама Екатерина. Она так полюбила ту колоколенку, что, едва раскрыв глаза, бежала к ней. Затем днем вдруг скинет с себя спешку и суматоху, чтобы посмотреть, как она там. Даже ночью, бывало, выскочит на нее полюбоваться. Теперь ей тоже казался невозможным храм без колокола, а взять его было неоткуда, и единственной надеждой был тот же отец Иоан — не может быть, чтобы, смастерив такую чудо-колоколенку, он не подумал о самом колоколе.

О этот наш древний немилосердный бич, эта наша бедность!..

Издавна, когда строительство храма начинало выдыхаться, священник вместе с несколькими прихожанами отправлялся собирать подаяния. Собирали на крышу, на

алтарь, на колокол. У отца Иоана была небольшая лошадка, выловленная братьями Крунту, чтобы перетаскивать бревна потяжелее с места на место. Поразмыслив, отец Иоан решил, что поздней осенью, когда работать внутри храма будет уже холодно, запрягут лошадку и поедут недели на три-четыре по селам собирать на колокол. Поначалу охотников ехать набралось великое множество, но он не принимал их всерьез, потому что говорилось это в пору брожения сладкого сока, а выпивший человек чего только не наговорит!

Когда выпал первый снег, отец Иоан смастерил небольшие санки, оделся потеплее и стал прощаться с семьей. Провожали его всемером — девочки тихо плакали в кулачок. Ницэ ревел во все горло и жаловался судьбе, что его, мужчину, не берут на такое важное дело. Ружка, добрая душа, благо ей ни одежды, ни обуви не нужно было, почти до самого леса бежала за санями.

И начались долгие дни скитаний. Вокруг ни души. Белое заснеженное поле, белые горизонты и белая, почти невыносимая для человеческого одиночества тишина. Холод, бездорожье, запустение... Погибающие от голода и эпидемий деревни. Полуодичалый, забытый богом край... Господи, куда он только в ту зиму не попадал, куда его только не заносило! Подъезжает, бывало, к деревне. Останавливает лошадку у крайнего домика. Никто не откликается. Полуоткрытые двери, занесенные снегом сеницы... На печи лежит вповалку вымершая семья. Кругом тиф, помогать некому! Ну что ж! Заезжает во двор. Топит печь, хоронит, закрывает домик и едет дальше.

В одной деревне кое-как соберет полмешка какого-нибудь добра, а в соседней — опухшие от недоедания дети, и как ты можешь с ними не поделиться? А то, бывало, и тебе ничего не дают, и другим тебе дать нечего, но едешь полем и видишь — стоит человек. Стоит оборванный, посиневший, спиной к дороге, потому что глаза его не хотят больше глядеть на мир божий, дух его не верит больше ни во что. Что делать! Вылезает из саней, стоишь и мерзнешь рядом с ним. Ни о бже, ни о войне, ни о мире слушать он больше не хочет, но сам человеческий голос обладает даром успокоения и, отогрев отчаявшегося, усадив в сани, везешь его до первой деревни...

Потом наступил день, когда самого отца Иоана нужно было спасать. Выследив по полозьям, что сани едут не порожняком, на него напали в низине, меж двумя деревушками. Попытки отца Иоана отстоять пожертвова-

ния своему храму привели к тому, что его зверски избили, и он, верно, погиб бы в снегу, если бы горемычная старушка, возвращавшаяся из лесу с вязанкой хвороста, не наткнулась на него. Не успел встать на ноги, выехать из села не успел, как у небольшого перелеска лошадь свалилась. Лежит на дороге, глаза красные, морда в пене. Все советуют бросить ее, но если эта божья тварь строила вместе с тобой храм и таскала тебя по всем этим белым пустыням, как ты можешь бросить ее?

Бедная Екатерина — всю зиму ходила она на тракт, всех прохожих выпрашивала, пока, наконец, удалось получить весточку, и горькая была та весточка, как полынь в начале лета. Сообщили ей, что видели отца Иоана в Бельцах, собиравшего подаяние. Стоял он с кружкой у моста и был так худ, и лошадка была до того облезлая, что невозможно было пройти мимо, не подав, а между тем народ все шел и шел, а в той кружке ну почти что ничего...

Там, у того моста, его и заметил боярин Мовилэ, возвращавшийся откуда-то в расписных санях. Вернее, заметил он не столько отца Иоана, сколько его клячу, дремавшую рядом. Лошадь была без гривы и хвоста, она явно побывала уже на том свете, и боярин удивился — скажи пожалуйста, выходили!

— Мэй, Гицэ! — крикнул он своему кучеру. — Поди и позови того, что стоит с облезлой клячей у моста...

Отец Иоан бежал что было сил.

— На колокол собираем, ваша светлость.

Боярин покопался в карманах, кинул в кружку какую-никакую мелочь.

— Твоя кляча?

— Моя.

— Чем болела?

— Да прихватила где-то какой-то заразы, — сознался отец Иоан.

— Заразу понемножку не хватают. Ее когда берут, берут сполна. Как же ты ее выходил?

— А... молитвами.

Тут только боярин вспомнил, что видел эту рыжую голову в Нямце на вознесении. Даже, помнится, за ним нарочно посылали. Ах, да он же помог тогда спасти праздник! А что, если он и в самом деле наделен чем-то таким свыше?

- Много насобирал?
- Пока на одну только веревку для колокола.
- Не густо. А ты бы согласился поехать в мое имение, помолиться за мой скот? Если к тому же твои молитвы помогут, я, пожалуй, нашел бы, к чему ту веревку привязать...

Еще долгих семь недель отец Иоан провел в конюшнях боярина Мовилэ. Запущенный, зачумленный скот корчился в грязи, и стоял такой рев, что всего два раза в день удавалось произнести «Отче наш». Остальное время проходило в трудах. С утра вместе со скотниками таскали за хвост павшую скотину и сжигали в поле. Затем, вернувшись, варили травы и целый день чистили, кормили, поили, и так до следующего утра, когда опять надо было таскать за хвост и сжигать.

С начала оттепели чума как будто стала отступать. Во всяком случае, в поле сжигали все меньше и меньше скота, а к концу апреля, когда выживший молодой уже был выпущен на пастбище, случилась и с отцом Иоаном беда. Как-то после обеда, зайдя за конопляную перегородку в углу конюшни, где по ночам отдыхал часок-другой на старой рогожке, он вдруг рухнул. Самое поразительное было то, что, падая, он улыбнулся и в его воспаленном лихорадкой мозгу промелькнуло удивленное — скажи пожалуйста, не получилось!

Отец Иоан, как и все натуры энергичные, деятельные, воспринимал жизнь с каким-то озорством, азартом и перед каждым начинанием в глубине души вопрошал себя — получится или не получится? Одолеет или не одолеет? Затем, сколько бы его труды и рдения ни длились, тот поставленный им самим вопрос висел в воздухе, и ответом на него могло быть только завершённое дело. Что и говорить, в каком-то смысле отец Иоан был баловнем судьбы, ему удавались вещи поразительные, немислимые, непостижимые. Может, потому он уверовал, что у него всегда все должно получиться, и кто бы мог подумать, что одно-единственное невезение в главную, критическую минуту жизни затмит все его былые удачи.

Богобоязненный Мовилэ из опасений, как бы у него в хлеву не скончалось лицо духовное, послал срочно в Могилев за колоколом, который тут же повесили в конюшне на перекладине так, чтобы отец Иоан, когда горячка позволит, смог бы увидеть, хотя бы в тумане

не, честно заработанный им новенький церковный колокол.

Его спасли барская кухарка и висевший на перекладине колокол. Он был так истощен горячкой и раздумьями о жизни, что не в силах был даже повернуться с боку на бок. Тетушка Линка ухаживала за ним, как за малым ребенком, и долгие ночи дежурила у изголовья больного с теплыми настойками, молитвами и огарком свечи — так, на всякий случай, потому что очень уж слаб он был. Тем не менее отец Иоан выжил и много лет спустя, на старости, сознавался, что истинно христианским духом он проникся не в монастыре и не во время строительства храма, а в углу старой барской конюшни, на жесткой рогожке, слушая в бредовом забытии далекий голос матери и мычание скота вперемежку с колокольным перезвоном.

Уже отцветали вишни, когда отец Иоан вернулся в Околину. Было раннее утро, и он не постучался в свой дом, а пошел прямо в недостроенный храм. Долго возился наверху, в колоколенке, и с первой утренней зорькой мягкий, задумчивый звон побежал по днестровским долинам. Екатерина выскочила на улицу в чем была, всплакнула от радости, обняла исхудалого, обросшего щетиной, почти чужого ей человека и с дрожью в голосе спросила:

— Отец мой, а она будет белой?

После целой вечности, проведенной в бессарабских степях, отец Иоан понял, что белое в этом краю — это не просто цвет. Это еще и судьба.

— Ну конечно же, — сказал он, входя в дом и обнимая ребятишек, которых не видел добрых полгода. — Какой же ей еще и быть, если не белой?

И околинская церковь действительно стала белой. Она белела зимой в полдень, когда падали первые снежинки; она белела в непогоду, глухими темными ночами, когда ни земли, ни неба было не видать. Она белела в веселее время, когда над Днестром стелился мягкий густой туман; она белела поздней осенью, когда все утопало в грязи. Она белела во время засухи, во время чумы, во время грозы; она последней опускалась в ночную тьму и первой из нее выплывала.

Она белела так долго, так ярко, так настойчиво, что

в конце концов путники и странники вместо того, чтобы говорить — Околина, говорили — то село, что при Белой церкви, а то и просто Белой Церковью звали. Некоторое время село жило с двумя названиями — Околина и Белая Церковь. Но, конечно, все понимали, что победит одно из них. Околина по-молдавски означает поворот, и село действительно стояло у изгиба, у поворота реки. Теперь получалось так, что могучая река вступала в спор со скромной женщиной за право дать имя селу. Победили предки, принявшие христианство.

Впрочем, нам предстоит еще раз туда вернуться, ибо, проследив воздвижение этого храма с начала его начал, мы не можем его покинуть, не побывав, хотя бы мельком, на службе по его освящению. Тем более что служба та состоялась в том же году, на вознесение, и была она настолько славной, что о ней долго потом рассказывали в северных селах Молдавии.

Церковь была битком набита. Немецкий монастырь прислал в дар очень красивый голубой алтарь, и теперь переполнившие храм околичане крестились и заглядывали в глаза привезенным из-под Карпат иконам, соображая свои мелкие житейские делишки со строгостью прибывших издали апостолов. Под высоким потолком плыл дым от свечей и кадил. Голос отца Иоана, вырвавшись наконец из плена земных забот, сотрясал своды церкви, и косые лучи полуденного солнца, пробившись сквозь высокие оконца, медленно плыли по макушкам, одинаково милуя и праведных и грешников.

Хотя, раз уж зашла речь о нечестивцах, нужно сказать, что освящение храма не обошлось без курьеза, ибо, как это уже давно замечено, в Молдавии ни одно святое дело не может завершиться, оставаясь святым до конца. Весь сыр-бор разгорелся из-за Тайки, хозяина той глиняной крепости, которого мы оставили спящим, когда у него угоняли папского жеребца.

Он, разумеется, потом проснулся, попытался даже догнать воров и вернуть свое добро, но было уже поздно. К тому же солдаты, стоявшие под Могилевом, успели продать скакуна какому-то проезжавшему через Могилев иностранному посольству. В конце концов Тайка нашел разумный выход и передал под опеку всевышнего все свое состояние, раз обстоятельства вынудили раскошелиться на строительство храма.

Правда, поначалу он не слишком баловал эту стройку своим вниманием и решил было даже на службу по



освящение храма не ходить, дабы не придать ей излишнего веса. Потом, видя столпотворение вокруг церкви, подумал — а не может ли так случиться, что, не видя его, эти конокрады со временем забудут, кто есть истинный основатель?!

К сожалению, пока он добирался, свободного места впереди не оказалось, и ему пришлось довольствоваться скромным местечком у окошка. Там было душно, солнце било прямо в глаза, и со всех сторон давило сознание совершающейся несправедливости. Два или три он попытался незаметно протиснуться в первые ряды прихожан, но каждый раз его запикивали обратно. В конце концов, выведенный из себя, он встал посреди храма, прямо напротив царских врат, и забубнил голосом, каким обычно заговаривают с соседями через забор, когда ничего хорошего им не собираются сообщить:

— Отец Иоан! А выдь-ка сюда на пару слов!

Певчие из соседних сел, приглашенные на освящение храма, ахнули — как, во время службы?! Отец Иоан, однако, не дал себя смутить и, сняв золоченую ризу, вышел через боковую дверку и спросил:

— Что случилось, сын мой?

— Отец Иоан, я вижу тут несправедливость, в которой, кажется, участвует и церковь, а церковь должна нести мир, а не раздоры.

— Какую же ты усмотрел несправедливость, сын мой?

— Ну, взять хотя бы этих братьев Крунту. Мало того, что они втроем — ну, некоторые говорят, вчетвером, но чего не видел, про то не скажу, — так вот, мало того, что они втроем угнали у меня жеребца, за которого я выложил кучу золота! Мало того, что они выменяли его на дуб, хотя эту церковь дешевле и проще было строить из камня. Так вот, я говорю, мало им всего этого, они еще и пихаются, когда я прихожу как основатель и хочу занять подобающее мне место...

— Если ваша обида только в том и состоит, что вам непременно хочется быть в первом ряду...

— Не в этом дело. Просто я не могу дольше глазеть на их поганые спины! Мало того, что они у меня угнали...

— Сын мой, — сказал отец Иоан, — стоявший в вашей конюшне жеребец возвращен русскому воинству, той самой армии, которая взяла Измаил. Лес на постройку храма мы получили от вопнов, строивших мост, и их дарственная лежит под алтарем. Эти три брата работали тут со мной день и ночь, и если бы не их старания...

— Но, отец Иоан, церковь не должна плодить несправедливости! Если я не умею работать топором, ну не дал мне бог такого таланту, это вовсе не значит, что я должен стоять у окна и печься на солнце! Не предки этих пьянчуг, а мои собственные предки основали тут, на высоком берегу...

— Сын мой, не спору, велики ваши заслуги и в основании самой деревни, и в основании этого храма, и если вы так уж настаиваете, я попрошу братьев Крунту потесниться, хотя лично я, будучи на вашем месте, не настаивал бы на этом.

— Почему?

— Потому что сказано было — тот, кто хочет быть первым там, на небесах, должен быть последним тут, на земле, и тот, кто будет первым тут, на земле, последним окажется на небесах...

Поразмыслив, Тайка сказал более примирительно:

— По правде говоря, мне и там, у окошка, неплохо, но меня прямо переворачивает, когда я вижу перед собой три затылка, три спины и три, извините за выражение...

— Сын мой, у вас не должно быть недоброго чувства по отношению к своим братьям...

— Да какие они мне братья?! Случайно носим одну и ту же фамилию, а так глаза бы мои на них не глядели.

— Сын мой, не торопитесь грешить, не спешите бросаться тяжелыми словами, ибо настанет день, когда вам откроется, что все мы братья...

— Ну если я сам до этого дойду, тогда другое дело, хотя сомневаюсь, очень я в этом сомневаюсь, отец...

— Если вы, сын мой, в самом деле основатель этого храма, молитесь и верьте. Храмы воздвигают не для того, чтобы сомневаться, а для того, чтобы верить.

По окончании литургии отец Иоан вышел на амвон со старенькой псалтирью, подаренной некогда старцем Паисием в Нянце, и сказал:

— Братья и сестры... Мы прошли долгий и трудный путь из страны нашего отчаяния, из страны нашего одиночества, из страны наших тяжких прегрешений к сегодняшнему празднику. Мы начали, может быть, неловко и неумело, но начали, убежденные в том, что если собрать воедино всю нашу бедность, все наше отчаяние,

все наше одиночество, но собрать именем бога, то получится храм.

Жребий нам выпал нелегкий. За долги годы бедствий одичала земля под нашими ногами, и скуден стал наш хлеб, и темен стал наш дом, и пустующие люльки заброшены на чердаки. И все же при всей нашей бедности мы нищими почитать себя не можем, потому что у нас есть храм, а храм — это прежде всего надежда.

И подобно тому, как в весеннюю пору каждый росточек, пробившийся сквозь земной покров, кажется робким, беспомощным, обреченным, наши сегодняшние надежды тоже могут выглядеть нелепыми и смешными. Но наступит время теплых дождей, и задымится распаренная земля, и наши надежды обрастут корнями, ибо сегодня мы не просто какая-то там деревня на Днестре. Сегодня мы народ, живущий на своей земле, при своем храме и, стало быть, при своей судьбе.

Сегодня мы уже не слепые, ибо с высоты нашего храма виден мир далекий: и не безгласные мы, ибо при нашем храме есть колокол, и в трудную минуту, когда он позовет, будет услышан, ибо от жарких стран земли господней до вечных снегов далекого севера вся земля полна такими же храмами, которые соседствуют в дружбе и согласии.

Примите же эту церковь в сердце своем и отныне, собираясь сюда на молитвы, стряхивайте у порога пыль с ваших ног, а вместе с ней скиньте всю суету, всю маету, все то темное, что, быть может, таится в душе вашей. Входите в храм чистыми, опрятными, светлыми, как и подобает войти в дом отца своего. Аминь.

— Аминь, — хором ответили прихожане.

Светило высокое полуденное солнце. Тяжелыми жгутами крутых волн холодная река спешила к теплomu морю. Медленно грели на солнце свои бока таинственные доисторические громады, и на верхушке одной из них, подняв крест на все четыре стороны света, белела церковь. Мягкий звон ее колокола медленно плыл по днестровским долинам, забираясь в самые глухие дали.

Как раз в те дни русские войска после заключения мира возвращались в свои пределы. Услышав церковный перезвон, солдаты, сняв шапки, размашисто крестились. Затем, отыскав по звону в голубой дымке, на высокой

круче уютную, отливающую на солнце белизной церквушку, переговаривались меж собой:

— Гляди-ко, молдаванцы куда забрались!

— А такова планида человеческая! Чем ниже гнет тебя судьбина, тем выше дух взлетает!

Дальше они уже шли молча, стуча истоптанными сапогами по деревянному настилу, а над темными водами Днестра, над его залитыми солнцем долинами высоко в голубом небе медленно текли с севера на юг и с юга на север, с востока на запад и с запада на восток тысячелетия.

*1975—1981*

**В**ремя нашей доброты



# Молда

А снег все шел. Он шел певуче, празднично, торжественно, и все было так ново для этой давно вступившей в свои права зимы, что вдруг почему-то глаз человеческий встрепетнулся и стал совершенно по-иному воспринимать все вокруг. День стоял безветренный, мягкий, печально-задумчивый. Крупные, нежные, замораживающие глаз снежинки все неслись и неслись из бездонной выси, и каждая шла своим летом, по-своему играя, по-своему кружась, чтобы затем мягко и неслышно опуститься на пуховую шаль, которой, казалось, ни края, ни конца.

— Такие снегопады, — говорили старики, — еще нужно заслужить, такие снегопады приходят раз в жизни, чтобы завести наш грешный дух на тропку покаяния.

И правда, какая-то торжественность, какая-то храмовость, какое-то священнодействие витало надо всем, так что и не говорилось, и не слушалось. Было удивительно покойно и сладко стоять под этим снегопадом наедине со своими мыслями, со своими бедами, со своими далекими, полузабытыми грезами. И пусть бы он так шел и шел, и ты стоял бы и стоял. Это зимнее колдовство длилось над севером Молдавии целый божий день, и к вечеру, когда небеса стали проясняться, в мягко петлявших долинах, где еще недавно стояли села, вместо домов замаячили одни белые шапки, подвешенные к голубому небу тоненькой ниточкой дыма; верхушки занесенных снегом акаций привязывали эти степные жилища к земле, а еле мигающий огонек лампы помогал пахарям не затерять своих соседей в этом бесконечном пространстве.

— Не к добру все это, — говорили вечно ворчливые старики. — Каяться не хотели, теперь наплачемся.

И в самом деле, после того снегопада как-то все круто повернуло в другую сторону. Поначалу слегка заглодало, и как только эти океаны свеж звыпавшего сне-

га затянулись тонкой корочкой, ударили уже настоящие морозы при сильнейших ветрах. И все неслись эти орды стужи с гиканьем и свистом то с востока на запад, то с запада на восток; и все облизывали и шлифовали бескрайнюю корочку льда, так что в конце концов если сухой кукурузный лист, выкатившись из чьей-нибудь овчарни, попадал тем ветрам в зубы, они в мгновение ока перегоняли его от Могилева до самих Бельц, разве что где-то в пути тот листок зацепится за верхушки занесенных снегом раkit.

— Это все наказание господне, — говорили озадаченно старики, ибо трудно было угадать, чем мог провиниться тот кукурузный листочек, и если с ним, с безгрешным, так поступают, что будет с остальными?

Ждать долго не пришлось. Как-то ночью по занесенным снегом селам, сквозь тоскливые завывания ветра прорвался другой, совершенно осмысленный, не обещавший ничего хорошего вой. И заскулили домашние шавки, заметалась скотина в хлеву, расплакались дети во сне, а серые разбойники знай себе паштают по дворам, по крышам овечьих загонов. Грызутся меж собой, налетая стая на стаю, воют с голода, с тоски, со злобы, а потом, нагнав страху, подходят к самим домам и лапой так по доске скребутся...

Налеты волков в лютую стужу на хлебобродные края случались и прежде, и люди как-то умудрялись отстоять свое добро, свое достоинство. Теперь же одна паника царила вокруг. Главное, взяли их неожиданностью. Эти тихие снегопады разбередили душу, разбудили в каждом человеке поэта, и как только мир поэтов расправил крылья, тут они и нагрянули. То ли холод сдул их с горных круч, то ли голод вытянул из глубин лесных, но с первого же налета, с первого воя они пошли в наступление и отступать уже не собирались.

Сплошным мучением стали не только долгие зимние ночи, но и светлые деньки, ибо, вопреки своему нраву, к утру волки и не думали возвращаться в леса до наступления следующей темноты. Чуть откатившись за село, забравшись на какой-нибудь холмик, откуда село просматривалось как на ладони, они целый божий день зыркали своим недобрим желтым глазом, подмечая, где что хрюкает, блеет, мычит.

Ружей в селах было мало, а те, что были, конфисковали урядники после крестьянских смут. С вилами и топорами, как известно, на волков не ходят. Правда,

какой-то чудак из Нуелуш, у которого как раз опоро-силась матка перед зимой, опасаясь за свое добро, решил скоротать ночь в хлеву. Доносившееся из-за дверей поросячье похрюкивание довело волков до иступления. Они буквально разгрызли входную дверь, и когда под утро хозяин, сморенный, чуть прикорнул, то вдруг увидел сквозь сон: серый хвост, а за ним задние лапы мягко вползают в хлев. Как известно, волки задом входят к своей жертве. Чтобы не искушать судьбу, хозяин схватил хищника за хвост, и началась борьба: тот рвется уйти, этот не пускает. В конце концов серый вырвался-таки, оставив половину хвоста в руках своего противника, но это была победа относительная, потому что как раз после этого случая волки пошли настоящей войной.

Страх — это великий тиран в истории рода человеческого. Трагичность положения состоит в том, что он, парализуя волю человека, заставляет принять все как данность. Что ж, говорят умные люди в таких случаях, чему быть, того не миновать. Сорокский край бог тоже не обидел умными людьми, они тоже, поразмыслив, решили, что чему быть, того не миновать, присовокупив, правда, при этом: если не произойдет чуда какого. Ибо замечено уже давно, что в самых безвыходных ситуациях иной раз происходит некое чудо, и все вдруг меняется к лучшему. После чего умные люди ходят в умных, храбрые так и остаются храбрыми, ну а трусы — так ведь это известный народ, — что с них возьмешь.

В Молдавию чудеса нет-нет да и заглянут. Повезло и на этот раз. Как-то утром горемычная старушка из Сату-маре обнаружила, что топить печку нечем. На старости лет холод особенно трудно переносится, и старушка, говорят, сказала в сердцах: «Да холеру на голову тех волков, чтобы я мерзла из-за них!» И бойко пошла в лес. Собрала вязанку хвороста, а на обратном пути вдруг обнаружила двух задранных хищников. Они, видать, устроились в засаде и ждали ее возвращения, но еще до появления старухи кто-то на них напал. Побоище было жуткое — кругом перемолотый снег, весь в крови.

Жертв всегда принято жалеть. А может, на морозе старуха несколько подобрела, потому что рассказывала об увиденном с содроганием. Мол, живые куски содрали с волков, и они, уже оочеченевшие, все еще скалились, и в зубах у них торчали клочки какой-то рыжеватой шерсти. Эта рыжая шерсть буквально ставила в тупик свет-

лые головы сорокского края. Кто он мог быть, этот защитник старушек, у которых вдруг вышло топливо?

Еще через день была обнаружена бездыханной матерая волчица в селе Сату мик, а затем в Боянке, прямо на прудах, чуть ли не на виду всего села, три хищника были скошены, прямо как будто молнией прошло их, и в зубах все те же клочки рыжеватой шерсти.

— Не иначе как бог их карает, — говорили не совсем уверенно старики, потому что ставили их в тупик клочья рыжеватой шерсти. Предположить, что божья кара может быть облачена во что-то мохнатое, да еще рыжее, казалось кощунством, святотатством, а между тем вот поди ж ты...

Как бы там ни было, села снова стали выбираться па древний шлях народного оптимизма — ничего, выкрутимся, и не такое бывало, и то выкручивались. Единственное, что не давало той весной людям покоя, это тайна, которой был окутан их спаситель. Кто тот смельчак, что не поддался всеобщей панике и напал на хищников? Как и чем бы его отблагодарить? Крестьянину приходится и об этом думать, потому что, когда долг превышает твои возможности, очень легко из одной кабалы попасть в другую.

Дни шли, лавры ждали победителя, за ними никто не являлся, и это было очень даже удивительно, ибо молдаване не так гонятся за лучшей долей, как за пусть хоть маленькой, хоть какой-нибудь, да славой. Еще не было случая, чтобы легенды витали в бесформенном состоянии по причине отсутствия главного героя. Не будем, однако, торопить время. В мире все меньше и меньше загадок — откроется, стало быть, и эта...

Однажды, в великий пост, когда предвесенние хлопоты вынудили сельских философов слезть с теплых печей, двое нуелушан возвращались светлой лунной ночью с какой-то ярмарки. То ли они что-то там продали, то ли что-то приобрели — во всяком случае, было что-то такое, за что полагалось выпить магарыч, а за стаканчиком вина, как известно, время быстро бежит. Когда они наконец спохватились, что пора возвращаться, начало темнеть, и они, чтобы скоротать путь, пошли полями, благо лед на прудах стоял еще крепкий, ночь была теплая, лунная, идти одно удовольствие.

О волках они, возможно, запомнили, и в этом не

было ничего удивительного, если учесть, что вино, которое они пили на ярмарке, было очень и очень неплохое. А может, они решили, что раз дело идет к весне, то это касается не только рода людского, но вообще всех существ на земле тварей. Волкам небось тоже пора отыскать свое логово, найти спутницу жизни, подумать о потомстве, и, слово за слово, так они все шли, а когда выбрались из Кайнарской долины, вдруг увидели на гребне холма три пары свечей. Над каждой из пар торчали острые ушки, превратившиеся в слух, а под свечами похоже было, что облизывались в предвкушении такой приятной и такой неожиданной встречи.

— Сожрут, — предположил тот из нуелушан, у которого был прутик.

— Может, выберемся, — сказал тот, у которого и прутика не было.

Постояв некоторое время в раздумье, нуелушане вдруг сделали вид, что им нужно совсем в другую сторону, но волки тут же двинулись с места, предлагая себя в полутчики. Нуелушане остановились — и свечи замерли. Посовещавшись, нуелушане стали тихо откатываться обратно в долину, и, видя замешательство в рядах своих врагов, волки, недолго думая, пошли прямо на них. Бедные люди — они уже начали прощаться с родней, с близкими, но вдруг что-то примерещилось волкам. Отказавшись от своих намерений, оскалившись, они тут же принялись лапами разгребать снег, истощно рыча при этом.

И тут они ее наконец увидели. Она шла медленно, царственно, с достоинством по затянутой льдом речке Кайнары. Должно быть, в ее роду, были и волки, и собаки, и еще какие-то странные, неизвестные нам хищники, оставившие ей в наследство длинное, почти что с теленка, тело, но ноги были тонкие, короткие, а может, это только так казалось, потому что перебирала она ими мягко, крадучись, точно выслеживала добычу и с минуты на минуту должна была ее настичь.

Самым же удивительным и самым жутким во всем ее облике была голова. Огромная, смурная, недобрая и прекрасная в одно и то же время. Пока луна светила в полную силу, она была рыжей, но как только луна уползала за тучи, она тут же начинала темнеть, становясь почти черной. И тогда дикое, хищническое подминало под себя красоту зверя, и становилось жутко.

Волки, видимо, решили уступить свою жертву доб-



ровольно, но было уже поздно. Едва они попали в ее поле зрения, рыжая вся напружинилась, и теперь уже ни малейшее движение серых не проходило мимо ее внимания. Поскольку расстояние меж ними неминуемо сокращалось, волки в конце концов решили, что бег хоть и постыден, но для здоровья полезен. Рванулись в сторону леса, но уже им наперерез неслась рыжая мстительница, и видно было, что в беге, так же как и во всем прочем, она их превосходила.

Соединение рыжего с серым дало ослепительно яркую вспышку на тихих холмах под мягким лунным светом. Живой комок с воем и клаяньем метался на небольшом пятачке. Рыжая не понимала ни юмора, ни меры. Один из волков остался лежать навечно, двое других, прихрамывая, понеслись к черневшему вдали лесу. Победа была полная, безоговорочная, и тем не менее минуты две она стояла, высоко подняв свою огромную смурную голову и соображала; догнать ли, отпустить ли с богом? Отпустила. После чего устало, уныло как-то поплелась прочь, уселась неподалеку от своей жертвы, села на снег и принялась зализывать раны, ибо, как известно, бой есть бой.

Преисполненные чувства признательности, ярмарочные ходоки, порывшись в торбочках, наскребли пригоршню-другую хлебных крошек и направились к рыжей, чтобы выразить ей свою, так сказать, глубочайшую, но, увидев их, воительница за правое дело показала им окровавленную пасть, обшитую по краям такими клыками, что бедные нуелушане, осенив себя крестным знаменем, тихо обошли ее и уже до самого дома не уставали благодарить бога за чудесное спасение.

Время неукротимо шло к весне — кому новая тяпка, кому семена, кому просто поглазеть на мир хочется — как тут без ярмарки обойдешься. Ярмарки собирались что ни день, то возле одной деревни, то возле другой, а на тех ярмарках купля-продажа была делом второстепенным. Главным было поразведать, поразузнать, что нового, ибо за ту бездну времени, что холод держал весь степной люд в домах, наверняка что-то новое произошло в мире. А новость на всех ярмарках была одна — рыжая кара небес и та месть, которую она учинила серым хищникам, державшим в страхе Сорожскую степь.

Велика была радость всего православного мира — о, эта собачья верность такому неверному человеческому племени, и это бескорыстие, эта ее скромность! Хотя

изредка она позволяла полюбоваться собой издали. То пройдет тихим вечером по длинному косогору, и все идет и идет до самого леса, до самого заката, и нету ей равной в мире, потому что это было истинно божье творение, гуляющее по истинно божьей земле. А то вдруг вырастет над селом, станет на каком-нибудь голом гребне как изваяние и стоит так часами, не шелохнувшись, глядя оттуда, с высоты, на людей, на их мелкие житейские хлопоты.

Казалось, что-то давешнее, родное в ней вот-вот проснется, но стоило окликнуть ее, как она тут же сматывалась. Любила, что верно, послушать издали человеческие голоса, и люди — господа, чего они ей только не плели! Какие только прозвища не придумывали! Чем только не пытались заманить, но, увы, — на расстоянии все шло гладко, но вот сделан шаг, и все сгорело, и все нужно начать сначала.

Людская молва была в те годы всем — судьей, поэтом, сознанием народным, и вот уже начала степь обрастать легендами. Говорили, что рыжая мстительница — выгнанная пастухами собака, которая не смогла уберечь стадо, и теперь мстит. А еще говорили, что это волчица, постигшая горе людское и предавшая своих ради справедливости. Утверждали даже, что по ночам она меняет не только окраску, но и обличье, и не следует удивляться, если встретишь ее бог знает в каких краях, бог ведает, в каком обличье. Еще немного, и она исчезла бы в область фантастики, но вот под осень по степным ярмаркам разошлась другая, прямо-таки невероятная новость. Жители какой-то глухомани хвастали, что в один прекрасный день эта рыжая мстительница, оставив свои счеты с хищным миром, забросив свои разбойничьи тропы, вошла к какому-то мужику во двор и стала самой обыкновенной домашней павкой.

— Да быть такого не может!

А между тем вот поди ж ты... И что обиднее всего — ну, выбрала бы хоть село посытней, понадежней, что ли, а то одно название, что село, а если вдуматься, то и название не бог весть что — Чутура. Скорее всего в той долине был колодец с большой деревянной бадьей вместо ведра — вот та самая бадья и называется Чутура. Со временем вокруг колодца стали строиться, но место для поселения тоже было не ахти какое. Долина была узка и коротка — всего двести домиков, и уже осталь-

ным приходится строиться в голом поле. Простора много, но ни соседей, ни уюта...

Ну, рассуждали меж собой светлые головы, положим, приглянулась ей Чутура, в конце концов, собака, что с нее возьмешь, так ведь и в той деревне можно было получше устроиться! И дом можно было выбрать попримечнее, позажиточнее, со скирдами соломы, со стогом сена, с амбарами и скотом, так, чтобы и стеречь было что, и вздремнуть было где, и стянуть было что.

Так нет. Вот, назло всем, прошла село насквозь и выбрала неприметный, скромный, одинокий домик, стоявший за деревней. А по правде — так даже и не домик, а времянку, потому что жили только в одном крыле — остальное было еще в глине. Одни стены да крыша, хотя и крыша и стены — видит бог...

Стоял тот домик одиноко в поле, и вокруг никакого хозяйства, один битый кирпич да остатки от старых замесов. Впрочем, бедность, когда люди еще совсем молоды, зовется не бедностью, а началом. В конце концов, не такое уж хитрое дело взять лопату в руки, посадить рядом с домом пару орехов, пять-шесть вишенок, купить козу и накосить стожок сена, чтобы было чем той козе зимовать. Степное житье — дело не такое уж мудреное, но в том-то и беда, что молодой хозяин, хоть и веселый и острый на язык чутурянин, вечно норовил дойти до всего своим умом, а свой ум, как известно, может завести куда угодно.

Собственно, Чутура уже высказалась о его уме, придумав ему прозвище, вернее сказать, обозначив его возможные параметры, ибо в настоящей молдавской деревне перед появлением прозвища сначала освобождается некая площадка, создается необходимая атмосфера. Так вот, в данном случае площадка бы: а уже освобождена и атмосфера создана.

Харалампие и Онаке, двое закадычных друзей, сведенных вместе странными созвездиями, давшими им такие необычные для православного мира имена, надумали в одну осень, в одно и то же воскресенье жениться. Жить со своими не хотелось им, а строиться в селе было уже негде, и им предложили строиться в поле. Казалось бы, что тут такого! Нашли хорошее местечко, поставили два домика, и живите себе на здоровье, но тут уже начинается Молдавия. Они разошлись в выборе места. Харалампие, молчун и тугодум, все откладывал выбор места для застройки, Онаке терпеливо ждал, пока в один

прекрасный день по деревне не прошел слух, что Харалампие со своими уже строятся к западу от села. Там, мол, и земли получше, и лес поближе, и речка в низине. После такого предательства достоинство молодого Карабуша не позволяло строиться там же, рядом, и он сказал себе: ладно, поставим домик на востоке. Мне, дескать, лишь бы глазу было привольно, так, чтобы на много верст окрест видно было, лишь бы солнце первым по утрам в мои окна заглядывало. А то, что земли там, на востоке от села, где он построился, глинистые, что воды мало и до любой большой дороги идти да идти, — этого веселому балагуру в голову не пришло. Быстрота, с которой они разбежались в разные стороны, позволила Чутуре тут же перейти к прозвищам. Харалампия Чутура прозвала Умным. Онаке она никак не прозвала, хотя любому было ясно, что только чувство такта помешало селу произнести то, что уже вертится на языке...

Последовавшие события подтвердили меткость глаза и глубокий ум Чутуры. У Харалампия Умного дела пошли сразу же в гору, а у Онакия Карабуша покатались вниз. Наладить очаг непросто. Молодые испокон веку строитивы — недоразумениям и обидам конца и края нет. И когда все оказывается в тупике, приходят взрослые, мирят враждующие стороны. Умному повезло — от села идет на запад бесконечное множество тропок, люди спуют с утра до вечера, нет-нет да и заглянут, а увидев неладное в доме, тут же, засучив рукава, принимаются мирить. Онаке со своей Тинкуцей, провоевав целые дни меж собой, в конце концов были вынуждены мириться сами, с тем чтобы тут же затеять новую свару.

Ему-то, правда, все как с гуся вода, он ничего не принимал близко к сердцу, а у Тинкуцы работа не ладилась, потому что она все время ходила с заплаканными глазами. Была она девушка статная, приветливая, общительная, к ней многие сватались, и кто бы мог знать, что судьбе угодно будет закинуть ее в поле, трудиться целые дни, слыта только завывание ветра да собственный голос. О голосе мужа говорить не стоит — Онаке бесил ее одним уже тем, что вырвал из деревни и заставил строиться, как говорила она, у черта на куличках.

В тот день Онаке Карабуш с чего-то решил, что пора мастерить калитку. Была у него такая мечта с детства — построить дом, обнести его забором, смастерить

калитку напротив крыльца и пригласить хороших людей в гости. Дом, худо-бедно, а уже стоит. С забором спешить никогда не следует, ну а что до калитки, то, по его представлениям, было самое время за нее взяться. Чуть свет сходил в лес и приволок на себе два стояка, потом сходил в Куболтскую долину и притащил две связки желтой лозы, чтобы было из чего ту калитку сплести.

Тинкуда, штукатурившая в тот день дом снаружи, не уставала его пилить. И что это у нее за господарь! И что у него за голова! Дом построили — одна срамота. Ни окон, ни дверей, да и над той кровлей пыхтеть да пыхтеть. Во дворе, куда ни помотришь, одна тоска — хоть бы живность какую с хвостом, хоть бы пару слив, хоть бы вишневое деревцо откуда приволок. Нет и нет. Вот, бросил все и мастерит калитку. Да если бы он ей сразу честно сказал, с чего он хочет начать свое козьяство, она бы в жизнь замуж за него не пошла! Ну, положим, сделает он за день ту калитку. Положим, получится она у него, но, боже милосердный, на кой ляд человеку калитка, когда вокруг дома ни забора, ни ворот!

— Забор подождет, и ворота подождут, — отвечал ей, занимаясь при этом своим делом, молодой супруг. — А калитка ждать не может. Вот с минуты на минуту зайвится в гости тетка Ильяна.

Она что ни день навещала их. Но как она приходила! То заявится со стороны села, то уже идет со стороны поля, а то как снег на голову валится — глядь, а она уже сидит в гостях, хочешь не хочешь, а оказывай той сплетнице почтение...

— Не смей трогать мою тетку.

— Господь с тобой, чтобы я возился с той вороной, но речь о другом. Наш дом, какой бы он ни был, а требует к себе почтения. Не имея калитки, трудно требовать к себе уважения, а вот я ее сплету, обозначу тот единственный путь, по которому твоя тетка сможет к нам пройти, и пусть она в другой раз заявится, не постучавшись предварительно в калитку, не спросив, можно ли ей к нам войти!

— Да мы ей в ножки кланяться должны, потому что, если бы не она, мы бы околели тут с тобой в поле... Мы бы даже не знали, когда какой день!

— А ты думаешь, что она знает? Да она сама у меня каждый раз спрашивает, какой нынче день, вот нарочно последи за этим...

Слово за слово, а работа спорится, и к вечеру все было готово. Нужно сказать, что калитка и в самом деле получилась славная. Очищенная от коры лоза действительно белела на все поле, нижние и верхние концы, чтобы легче было их согнуть, он прокалил на огне, отчего лоза, чуть прихваченная пламенем, смотрелась на удивление мастеровито. Уж на что Тинкуца была настроена против той калитки, и то раза два моргнула, как бы глазам своим не веря, после чего низко, виновато опустила голову, как она опускала ее всегда, когда вдруг Онаке заводил разговор о нежных чувствах.

Довольный собой и своей работой, Онаке вдруг набрал полные легкие воздуха и завопил на все четыре стороны света:

— О-го-го-гооо...

На западе день еще догорал, а на востоке небо стало уже прохладным, синим, обещая светлую лунную ночь. Долетев до опушки леса, голос Карабуша затем, оттолкнувшись от начавшей уже желтеть высокой стены дуба, эхом прокатился по полям и стих где-то далеко в Приднестровье. Тинкуца была ошеломлена тем, как дали отозвались на голос ее непутевого мужа, и Онаке, ободренный таким отношением жены, заставил свой голос еще несколько раз эхом прокатиться по всем дальним далям.

Должно быть, его молодой и сильный голос добрался до самых лесных глубин, кого-то он там разбудил, и тут же крупное, мохнатое, рыжее существо, покинув лес, пошло полями прямо на них. Поначалу, пробираясь сквозь перелески, оно то появлялось в поле зрения, то снова исчезало, но вот оно выкатилось на еле начавшее зеленеть поле озимого хлеба, и уже дух перехватило, потому что это была, конечно же, та самая легендарная...

— Онаке, мы погибли...

— Ничего, на худой конец, пустим на нее нашего кота...

— Господи, да если она волков рвала на куски, что ей наш маленький котенок?!

— Ты только не нагоняй паники. Ты со мной, и тебе нечего бояться. В случае чего так и скажешь: я, мол, с ним, я его законная жена. А там, даст бог, все обойдется...

Балагурил он больше по привычке, потому что вдруг у него начали сдавать коленки и во рту пересохло. Уж очень она была грозной. Походка зверя одичалого, глаз

педобрый, голова смурная — рука сама тянется к вилам, а хватать их нельзя, потому что как-никак, а живая легенда... Народная молва взяла ее под свою защиту.

— Онаке, а может, огнем ее припугнуть?

— Глупая твоя голова — ну, спалим мы дом, а она не уйдет, тогда что?

Когда она была уже совсем близко, они умолкли, словно оцепенели, а она все шла и шла и, пройдя через только что сколоченную калитку, прошла во двор, обошла дом, но ничего нужного ей в хозяйстве не обнаружила. Наткнувшись на кучку трухлявой соломы, приготовленной, чтобы замесить глину на следующий день, она забралась на ту соломку, несколько раз покрутилась вокруг собственного хвоста, свив себе гнездышко, свернулась калачиком, вздохнула необыкновенно тяжело, как человек, после немислимых скитаний вернувшийся наконец в свой дом родной, и тут же уснула.

— Вот видишь, глупая твоя голова! А ты все пилила — мол, никакой живности, никакого хвоста во дворе. Да такого хвоста ни у кого до самого Днестра!

— Онаке, но мы же не сможем выйти ночью, если по своей нужде...

— Отчего же? Кто стесняется своих собак?!

Тем временем из Чутуры уже плелась к ним тетушка Ильяна. Она была сторонницей строительства домов на западе, о чем и заявила Онаке сразу же после свадьбы, и поскольку Онаке ее не послушался, она всюду трубила о неудачном замужестве племянницы и вынашивала планы расстроить их брак. Сплетница каких мало, она таскалась к ним вечер за вечером в надежде застать большую ссору у них в доме, с тем чтобы сделать потом Чутуру союзницей в войне против Онакия.

Тинкуца, однако, любила своего Онаке, и, хотя ссорам и обидам конца-края не было, как только на горизонте появлялась тетка, она становилась примерной молодой хозяйкой, довольной и мужем, и жизнью, и вообще всем на свете. Так бывало в прошлом, так было и на этот раз. Стоя возле новой калитки, они потолковали о том о сем, затем тетка, собираясь уже домой, как-то неожиданно сострила и рассмешила сама себя. А смеялась она громко, по-лошадиному как-то, глубоко закидывая голову назад, и это ее лошадиное ржание разбудило рыжую мстительницу. Вдруг из самой сердцевины трухлявой соломы подняло голову такое чудовище, что смех был обо-

рван на самой высокой ноге, причем сама тетка, присев, вцепилась в подол собственной юбки — увы, за женщинами числится такая слабость, и при внезапном чувстве страха они могут осрамиться, если сразу же не вцепятся в подол собственной юбки.

— Да она же вас на куски...

— С чего это она нас будет делить на куски, когда это ваша собака, — сказал гордо Онаке и добавил: — Тинкуда, принеси из дому чего-нибудь, мы же ее еще не кормили на ночь.

Бедная Тинкуда, чтобы не пасть в глазах собственной тетки, вынесла из дому кусок остывшей утренней мамалыги и трясущимися руками протянула ее мужу. Онаке смело подошел к кучне тухлявой соломы, бинул кусок. Рыжая достала его с лета, проглотила разом, прижмуригла глаза от удовольствия. И Онаке, чтобы уж совсем доконать тетку своей жены, подошел и погладил свою гостью по рыжей латаной и перелатанной в боях, смурной голове.

— Да чтобы меня озолотили, чтобы я хоть одним пальцем...

Всю ту ночь Чутура не ведала покоя. Тетушка Ильяна из яростной противницы вдруг превратилась в такую же яростную союзницу Онакия. Она обошла село дом за домом, она поставила всех на ноги, и уже на следующий день длинные вереницы чутурян шли на восток, к одиноко стоявшему в поле домику. Приходили отдавать должное мужеству и смелости этой рыжей, приходили позавидовать, поудивляться, поохать. Приносили, у кого что было в доме, ибо много ли одной собаке нужно? Но ведь вот пакость какая — ни у кого ничего не берет, никого к себе не подпускает, и только когда Онаке направится к ней, начинает как-то вдруг теплеть, и вздыбленная шерстка становится гладкой, прямо так и просит ласки...

Надо отдать должное Онаке — он не злоупотреблял ее дружбой, не надоедал, не перекармливал, и только раза два, от силы три раза в день, когда собиралось особенно много народа, он, взяв что-нибудь съестное, шел к ней, кормил из рук и при этом тихо ей что-то нашептывал, а чего он ей там шептал — никто не знал.

— Это наши с ней дела, — говорил он. — Других это не касается.

И настал день, когда была посрамлена Чутура, ее меткий глаз, ее мудрость. Трудно себе представить, по сам Харалампие, прозванный деревней Умным, в один

прекрасный день, отложив все свои дела, поплелся через всю деревню на восток, чтобы самому увидеть то, во что трудно было поверить.

— Слушай, и чего это она у тебя застряла? Что она тут у тебя нашла? Да у меня огромный стог сена, не то что эти соломенные отрепья; у меня корова, она бы у меня как у бога за пазухой...

— Ей голос твой не подходит.

— При чем тут голос?!

— А ты думаешь, откуда она взялась? Я подал голос, она его услышала и пошла на него.

Так все и повелось — от чутурян узнали соседние села, от них по ярмаркам слух пошел еще дальше, и уже тащились из тех дальних краев, о которых в Чутуре и не слыхивали. Тинкуца прямо вся расцвела — и дом, и двор были полны народа с утра до вечера. И все у них как-то стало спориться, налаживаться. Появился и забор, и стожок сена, и две-три овечки.

Уже под самой зимой, перед первым снегом, заглянули пастухи. Были они горцами из Карпат, и одежда, и походка, и напевность речи, все у них было свое. Гнали отары из Заднепровья в горы, на зимовку. Непогода застигла их в поле, и, согнав отары, они попросились к Карабушам ночевать. Увидев рыжую, один из пастухов воскликнул:

— Боже мой, да это же Молда!

— Это моя собака, — строптиво заявил Онаке.

— Ну, конечно же, твоя, но как она похожа на Молду!

— Это вы о какой Молде?

Время было уже позднее, Тинкуца, сварив мамалыгу, пригласила гостей в дом. Там за ужином они и узнали от пастухов легенду об основании нашего края. Драгош-воевода, живший в Карпатах, любил охотиться со своей дружиной на востоке. В ту пору места здесь были дикие, сплошные леса. Однажды, гоня раненого зубра, в одной из бурных рек утонула любимая гончая воеводы по имени Молда, и Драгош назвал ее именем реку, в которой она утонула. Река и теперь так называется — Молдова. От реки имя перешло ко всему краю, отсюда и мы стали молдаванами.

— Ну кто бы мог подумать! — сокрушалась Тинкуца, большая любительница легенд и всякой старины.

После ухода пастухов Онаке стал звать рыжую Молдой, и, как ни странно, она сразу же стала откликаться на это имя. Прожила Молда в доме Онаке Карабуша всю зиму, и весну, и часть лета. Однако через год, тоже так под вечер, когда она лежала на стожке сена, что-то ей в той дали почудилось, голос или зов какой, но встала она вдруг и, не глядя на своих хозяев, прошла через ту же калитку, потом долго шла по полю, и, как вошла в лес, — так больше ее и не видали.

— Дурья твоя голова, хоть бы калитку догадался закрыть, хоть бы на цепь посадил ее, что ли!

Тинкуца была в отчаянии. Она была без ума от своей Молды, она не представляла себе, как они дальше будут жить. Сам Онаке тоже ходил весьма удрученный, и, чего с ним никогда не бывало прежде, и балагурство, и остро словие — все как-то вдруг выдохлось. Главное, он не знал, как объяснить людям, почему это вдруг, в один прекрасный день, ни с того ни с сего...

Освободила их от этого горя все та же тетка Ильяна. Как-то под вечер приплелась встревоженная. Долго переводила дух, выпила кружку воды, и оказалось, что никому уже нету дела до рыжей Молды, потому что другая великая беда шла уже полным ходом на род человеческий. Началась война.

## лес ты мой зеленый

После долгих пяти лет потрясений, однажды в сумерки, с правого, высокого берега донесся долгий, протяжный вой. По каким-то таинственным законам, сложившимся на протяжении долгого совместного существования, вой одинокой собаки нагоняет на человека глубочайшую тоску. К тому же годы войны, народные смуты, суровая зима совершенно размыли тот крохотный островок, на котором еще обитало присутствие духа, и этот неведь откуда взявшийся вой одинокой собаки вогнал приднестровские деревни в глубочайшую панику. Опустели улицы, глуше стала речь, ступевались слабые отсветы печей в окнах. А собака все выла. Выла она тягуче, хрипло, беспросветно, и, когда было уже далеко за полночь, когда, казалось, все, угомонилась, на нее снова накатывало и,

задрав морду к небу, доставала сквозь тревожный сон измученные души хлебопашцев.

— Не иначе — беда какая...

И не спится уже до самого утра, и трудно себе представить, какие еще беды могли бы сюда нагрянуть, ибо за прошедшие годы войны с этой Бессарабией произошло, кажется, все, что только могло произойти. Вступив в первую мировую войну в качестве самой западной губернии царской России, она затем, охваченная бурей социальных переворотов, около десяти недель просуществовала как самостоятельная республика, но не была признана другими державами и теперь вот выходит из войны в качестве самой восточной провинции королевской Румынии.

За годы войны бессарабские деревушки бесконечное количество раз переходили вместе со своими землями, скотом и пожитками то по одну, то по другую линию фронта. Рубили леса, поджигали поместья, делили земли, затем, охваченные страхом перед сильными мира сего, покидали обжитые места в поисках более покойных, более сытых краев, но не находили их и снова возвращались. Голодали, болели тифом, хоронили близких, и когда, казалось, все, чаша переполнена, вдруг эта тварь завyla с высоких днестровских круч.

— А, чтоб ей пусто было!

Этот вой прямо выбивал землю из-под ног, ибо села были в ту пору сплошное ожидание. С трепетом и страхом ждали возвращения своих близких с фронта, потому что установленная на Днестр граница оставляла за пределами государства, на востоке, множество бессарабцев, отбывавших службу в царской армии. Ждали, когда наконец все в мире успокоится и жизнь простого человека вернется в свое русло; ждали прощения грехов после бушевавшего народного гнева, ибо опять стали появляться хозяева былых поместий; ждали избавления от бесконечных хворей, ждали, когда на их земли снизойдет былое плодородие, ждали хороших знамений на небе, и вдруг на все это море бесконечного ожидания...

— Да хоть бы кто палкой, хоть бы кто камнем ее отогнал оттуда!

— Ее отгонишь, как же!

Поговаривали, что она была одичавшая или какая-то на редкость хитрая, потому что никак не удавалось ее выследить. Днем она, должно, отсыпалась в зарослях, а к ночи взбиралась на какую-нибудь голую скользкую

кручу, и поди достань ее оттуда. К тому же она все время меняла места своего великого плача. То добиралась со своим горем до самого Могилева, и случалось, у Сорок ее уже почти не слышно было; то вдруг, под утро, ворвется сквозь самый сладкий сон и начнет терзать душу людскую.

— Да ведь это же моя собака! — заявил на пятые или шестые сутки долговязый солдат в шинели, прятавшийся на левом берегу в надежде отыскать окошко и проскочить через границу. Верное окошко что-то не попадалось, а тем временем в Карпатах начал таять снег и, переполненный мутным половодьем, вздыбленными льдами, Днестр стал грозен, крут, вот-вот готовый вырваться из берегов. Попробуй сунься. А с другой стороны, откладывать тоже нельзя. Там, за рекой, его дожидались, там кому-то он нужен был до зарезу, ведь не зря же эта рыжая громадина сотрясает днестровские долины своими воплями...

— О-о-олл-да-а-а!

Вой утих. Еле видимое с другого берега качание кустарников, шум сбитых на ходу камней, рыжий клубок мелькнул в лушном свете, несясь очертя голову, и вот она уже в низине... Вид грозного Днестра вдруг ее остановил. Собака тявкнула раза два и жалобно заскулила у самой кромки воды.

— Ты, дура, в воду не лезь! — крикнул ей Онаке с того берега. — Погибнешь ни за что. Стой там и жди. Вот он я. Иду к тебе.

И, перекрестившись, прыгнул в мутный, свирепый поток. Плыл он трудно, неумело. То ухватится за какую-то льдину, то вот уже его вместе с той льдиной относит в сторону, — он ее бросает, но сам уже окружен другими льдами, которые, казалось, вот-вот сойдутся над его головой. Но он, должно быть, родился в рубашке, ему все время везло. На середине реки, правда, он совсем было выбился из сил, уже подумывал, не повернуть ли обратно, когда вдруг увидел рядом, в мутной пене, огромную, мокрую, родную, улыбающуюся рыжую морду.

— Да ты с ума сошла!

Правый берег не хотел его принять — выстрелил дважды, но не попал. Левый берег не хотел его отпускать. Молодой солдат целился долго, чтоб наверняка, но в ту самую секунду, когда должен был раздаться выстрел, солдат постарше, тоже державший перебежчика на мушке, повернулся к молодому и сказал удивленно:

— Нет, ты только посмотри! Его, сказывается, еще и встречают!

Они лежали оба, человек и его собака, в прибрежной яме, заваленной гнилой листвой, и тряслись так, что, казалось, крышка. Собака, правда, еще ничего, но человек был совсем на пределе. Мокрый, униженный, затравленный, он лежал на куче заплесневелой листвы и думал: а стоила ли игра свеч? Принять на себя такие муки, пройти через все, чтобы в конце концов оказаться в яме с мусором? В свои двадцать с небольшим он успел и в окопах перезимовать, и по лазаретам валялся, и в плен попал, и награды имел. Но все эти годы голос милой родины не давал ему покоя, и вот он чуть ли не с самой персидской границы пробирается по охваченной революцией и гражданскими смутами России.

Теперь, пройдя все эти круги ада, он лежит наконец на своей родной земле, но его трясет, его тошнит, и какой-то дьявол все допытывается: а в самом деле, стоило ли? Ну конечно же, стоило, сказал себе наконец Онаке, ибо, кто знает... Может, весь земной шар — одна сырая глина, если нету той родной частицы земли, согретой твоими прадедами и переданной тебе, чтобы и ты, прожив свою жизнь, передал ее другим.

Река уже выходила из берегов. С верховьев доносился сплошной гул, похожий на землетрясение, и Онаке подумал, что самое время покинуть укрытие. Когда разливаются реки — и служба на границе идет на убыль. Поманив за собой собаку, Онаке долго блуждал по скользкому берегу, пытаясь вырвать из темноты хоть какую примету, чтобы сообразить, в какое примерно место занесла его нелегкая. А кругом одна темень, да кручи, да скользкие тропки...

Предки Онакия были родом отсюда, из Приднестровья, но они, пережившись, осели на пахотных холмах, между Днестром и Прутом. Они покинули эту реку так давно, что вот один из их потомков уже и плавать научился, и линию высокого берега не умеет читать в темноте. О родичах на Днестре и говорить не приходилось: эти корни чем тоньше и ветвистей, тем легче стираются из памяти, уступая место родне поближе...

Хотя, к великому удивлению, у Карабушей все еще

оставалась тут, на берегу Днестра, дальняя родственница — странная, одинокая, замкнутая в себе женщина, которую почему-то все называли монашкой. Возможно, она когда-то и монашествовала, верны были и догадки, что потом у нее была семья, потому что оставалось какое-никакое хозяйство — домик на самом краю обрыва, над Днестром, телега, плуг, лошадка и около полудесятины земли, которую она почему-то из года в год засеивала только кукурузой.

Карабуши об этой своей тетке давно позабыли, да и она, судя по всему, не особенно по ним тосковала, но вот однажды весной, после очень трудной зимы, когда ни на стол класть было нечего, ни землю нечем было засеивать, вдруг въезжает во двор на допотопной телеге эта странная приднестровская тетка. С вечно опущенными долу глазами, как то и подобает истинной монашке, давшей обет не поддаваться суете мирской, она скинула с телеги мешок зерна, сказав ворчливо-густым, почти что мужским голосом:

— Вот, берите, я ваша родственница. За помин, как говорится, всех наших.

И, развернув свою старую, скрипучую телегу, уехала опять на долгие-долгие годы. Онакию было тогда лет пять-шесть. Сначала они подумали, что монашка, возможно, с кем-то их спутала, но потом она еще раза два их навещала. Наезжала в самые что ни на есть трудные времена, выгружала самое что ни на есть сущее на свете — кукурузные зерна, и одаривала она их тогда, когда зерна кукурузы стоили столько же, сколько стоила жизнь человеческая, ибо они и являлись жизнью. И, ворчливая, вечно всем недовольная, глядя себе под ноги, каждый раз упрямо заявляла, что я, мол, ваша родственница, за помин, так сказать, всех наших. Разворачивала допотопную телегу и уезжала опять на годы.

Уже подростком Онакию однажды довелось увидеть дом той странной тетки на берегу Днестра. Он был тоже как-то хмур и замкнут в себе, как и его хозяйка. Навестить ее Онаке постеснялся. Строгость родственницы как-то не предполагала тот род привычных отношений, при которых можно запросто ходить в гости друг к другу.

Теперь вот снова трудная полоса в его жизни и, как ни странно, опять та тетка выплыла из небытия. Добравшись до Днестра и уткнувшись в границу, Онаке понял,

что домик тетки на том берегу — дар божий. Несколько дней, пробираясь незаметно по левому берегу, он отыскивал на правом высоком берегу теткин дом, пока однажды под вечер не выловил его из тумана. Он нашел не только дом, он увидел даже и саму тетку, тащившуюся из леса с вязанкой дров, — совсем постарела, уже в три погибели согнуло ее, но вот ведь труженица — не сидится ей, все тащит в дом... Точно все рассчитав, он и бросился в реку намного выше села, с тем чтобы, если снесет течением, снесло примерно напротив теткиного дома, но вот он блуждает по оврагам с собакой за собой, а теткиного дома нет как нет.

Оказалось, что слишком далеко отошли от берега, и теперь входили в село с запада. Целые своры местных шавок кинулись вдогонку за рыжей Молдой, но, умная от природы, верная Карабуцу, собака шла тихо за своим хозяином, ни на что не реагируя, как бы боясь упустить то великое счастье, которое у собак называется возвращением хозяина.

Онаке стучал долго в окошко, но, как оказалось, тетка ушла чуть свет к родникам за непочатой водой, и, когда он собирался было уже уйти, боясь, что его настигнет свет на этом берегу в русской шинели, тетушка вдруг откликнулась из глубины двора, куда вела еле различимая в тумане тропка.

— Это ты? Входи. Не заперто.

Она вошла следом, неся на коромысле два неполных ведра, и все было так просто, обыденно, точно они еще вчера виделись и вот теперь по каким-то своим делам он заглянул снова. Собственно, она не любила говорить, и, может, потому слова у нее были какие-то бесцветные, без игры, без намеков. Она не была человеком слова, она была человеком дела. Хоть и постарела, все делала медленно, аккуратно, в присутствии ее ритме и ни разу от дела не отвлеклась.

Онаке она видела, по его подсчетам, лет десять назад, в доме его отца; он был тогда еще подростком. Конечно, десять лет — срок большой, особенно для дальней родни, особенно для человека в годах, и Онаке еще там, на левом берегу, заготовил длинный, обстоятельный рассказ, чей он сын и с какой стороны он ей родней доводится, но тетка и не собиралась его ни о чем расспрашивать. Один только раз, зажигая лампаду перед образами, спросила, стоя спиной к нему:

— С войны?

— С войны, — печально ответил Онаке.

— Дрова в сенах, — сказала она, подливая масла в лампадку. — Принеси и растопи. Когда печь нагреется, верхнее просупишь, остальное высохнет на тебе.

Прекрасные дубовые поленья: — ах, какое это великое чудо — дуб, и как славно, что мы связали свои судьбы с ним! Пока Онаке растапливал печку, тетка принесла в сени охапку соломы. Кинула рыжей Молде пару остывших, оставшихся с вечера ломтей. Проголодавшаяся Молда, слотав, залезла на принесенную солому и, вертясь вокруг собственного хвоста, свила себе гнездышко, в котором тут же уснула.

После чего тетка накормила гостя, уложила спать возле теплой печки и перед уходом сказала, перевязываясь бесконечными платками, так как очень боялась нервной ветряной простуды, которую она почему-то называла «хорбалиц».

— Я новешу на дверях замок и уйду на целый день. Если кто постучит, не отзывайтесь. Как стемнеет, даст бог, отправитесь в путь...

Вечерком, вернувшись, накормила их еще раз. Онакию она дала свой посох, старый, выпрошенный у кого-то тулуп и ведра два кукурузных зерен, перехваченных в полупустом мешке посерединке так, чтобы можно было тот мешок нести, закинув на плечо, — половина груза впереди, половина — на спине.

— Это вам на семена.

— Вы думаете, у нас тоже, и в этом году...

— Сейте кукурузу из года в год и берегите ее. Она — наша святая бедность, а бедность свою надо уметь беречь. Богатство все равно что роса; тут она есть, тут уже нету ее, а бедность — это то, что нас держало из года в год, из века в век...

— Право, и не знаю, чем мне вас отблагодарить...

— Да ведь мы же как-никак родня. За помин всех наших.

И тут она впервые подошла близко, подняла голову, посмотрела на него своими большими темно-кариими глазами, и Онаке наконец убедился, что, как ни странно, она его помнила. И еще более странным было то, что, похоже, она его ждала. Поцеловав обе ее руки, он, закинув на плечи мешок, пошел оврагами в тот огромный, необъятный мир, имя которому — Сорокская стена.

Сорокская степь!.. Здесь все могло быть. Говорят даже, что много тысяч лет назад стояло тут широкое, ласковое море. Но и у морей есть свои сроки, они тоже в положенное время собирают свои пожитки. Ушло и это море, оставив степи в наследство широкий, огромный простор с мелкой, едва прописанной волной.

А еще говорят — давным-давно шумели здесь глубокие, дремучие леса. То ли бури их снесли, то ли пожары буйствовали над ними, но пришло время, отцвели они в последний раз, наказав всему зеленому миру цвести, и с тех пор степной чернозем все ищет влаги, солнца и семян, чтобы прикрыть густым шелестом обожженное тело свое.

А может статься, дымились здесь когда-то высокие, всемирно известные горы. Время ли их не пожалело, земле ли не под силу было их нести — ушли они дорогой гор, и только степные орлы все еще пропадают целыми днями в головокружительной синей высоте, отыскивая древние кручи исчезнувших вершин.

Сорокская степь...

Наказано было этой земле кормить, и она кормит. Она старательно носит сотни лет, от зерна к зерну, вкус хлеба насущного. Тихий, торопливый говор, умеющий одинаково складно благодарить и проклинать, смеяться и плакать. Прослезившиеся морды старых волов, осужденных всю жизнь таскать одну телегу по одной и той же дороге: утром — в поле, вечером — домой.

А кругом, насколько хватит взгляда и еще много дальше, до самой слезинки, широкие горизонты с синими мелкими холмиками. Не то они в самом деле есть, не то они сияют тебе. А меж этими широкими проломами неба — волнующаяся бескрайняя степь. Около тридцати деревень — то ли они бежали куда, то ли прибежали откуда-то и вдруг, увидев степь, замерли, да так и стоят. Одинокие деревья, рассыпанные по всей степи, задумчиво грустят, выискивая глубокий смысл в своем вынужденном одиночестве. Дороги. Новые и старые, безымянные и с громкими именами, проселки, тропинки и перекрестки — весь этот ползущий, идущий, бегущий мир лежит, намертво сцепившись друг с другом, как вздувшиеся вены на руках старого землепашца.

Сорокская степь...

Широкое бескрайнее поле, четыре тополя возле вокзала и уйма сцепленных дорог — это и получают степ-

ные пахари в день своего рождения, с этим они и прощаются последним сознанием своим. Большого у них не было в жизни, а меньшего им не хотелось.

— О-о-олда-а-а!

Когда огибали сударкский лес, чтобы выйти к большой дороге, вдруг в темноте растворилась Молда. Едва задышали леса вдаль, она стала беспокойной — то отстанет, то нырнет в темноту, а он сиди и жди, и тихо, чтобы не выдать себя, подзывай... После одного из побегов она так и не вернулась. Что ж, рассудил Онаке, если хозяин со своей собакой потеряли друг друга ночью в поле, легче собаке найти своего хозяина, чем ему самому отыскать ее.

Он шел усталый, одинокий и думал: вот уж странная загадка в его жизни эта Молда. Вот она есть, и все у тебя есть, вот нету ее, и ничего у тебя нету. Он шел и шел, размышляя над таинственными явлениями человеческой жизни, а душа его тем временем пела и торжествовала.

Холмистые поля текли куда-то на запад и, окутанные теплым туманом, в этой задумчивой тишине грудью вскармливали первые почки. Ветер разносил во все стороны запах сочно налитых ив. Маленькая тучка, одна-единственная на всем небе, бегала от звездочки к звездочке и сплетничала. Должно быть, рассказывала, кто такой этот солдат и из каких далей возвращается. Онакию Карабушу такая осведомленность очень понравилась. Он улыбнулся и спросил:

— Ты-то откуда меня знаешь, детка?

А время шло, и Карабушу нужно было спешить. Румынские пограничники долго себе не простят, что потратили на него два патрона. Они, может случиться, запомнили его длинную русскую шинель и захотят с ним познакомиться. Идти по дороге было опасно, и Карабуш шел напрямик, пахотой.

Теплый туман слегка дурманил голову, и Карабушу хотелось напиться им до самых чертиков. Рваные немецкие ботинки, искупавшись в Днестре и напившись воды в лесных низинах, сыто отрыгивали и плевались во все стороны. Карабуш успокаивал их:

— Погодите, то ли еще будет! Вот приду, заброшу на чердак, и будете вы у меня мышами плеваться!

За четыре года Карабуш научился балагурить с самим собой. Человек он был веселый, убежденный сторон-

ник хорошей шутки, его улыбающееся нутро не признавало других форм бытия. А война — это не посиделки. Кругом сновали люди, изъяснявшиеся на других языках. Они упорно не давали Карабушу рассмешить себя. Правда, за все эти годы он встретил несколько молдаван изпод Измаила, да несмешливые были.

— В жизни не улыбнутся, черти! Даже если пощекотать их, только носы задерут кверху и бровями пошевелят...

Четыре долгих года гадал Карабуш: выберется — не выберется обратно в свою степь? Теперь все ясно. Выбрался. Степь лежала, раскинувшись на сотни верст кругом, степь плавала в теплом тумане. Под сырыми немецкими ботинками осыпались комочки свежей пахоты, дышало кругом то единственное, что он умел и считал важным в жизни. В Чутуре где-то под навесом стояла тележка и старый плуг. И в сердце вдруг зашевелилось множество красивых песен, незаменимых во время весенней пахоты. Больше всех ему помогала идти за плугом песня «Лес ты мой зеленый!..»:

Лес ты мой зеленый!  
Заведи себе дорогу  
И тропинку для меня...

Вдруг далеко, над утопающими вдали холмами, вспыхнуло какое-то зарево и глухо загудел колокол. Ему ответили колокола из соседних деревень, и полчаса спустя густой перезвон гулял по всему северу Молдавии.

«Что бы это могло значить?»

Тяжелый, тревожный гул не давал Карабушу допеть до конца свою песенку, и, заметив выглядывавшую чуть в сторонке окраину какой-то деревушки, сказал себе:

«А заверну-ка я туда. По-моему, это Нуелуши, а в Нуелушах мне еще ни разу не доводилось побывать».

Он долго блуждал по нуелушским кривым переулкам, стараясь не вызвать излишнего любопытства. Отбивался от какой-то шавки, и у него с правой ноги соскочил ботинок. Нащупывая его в темноте, чуть не свалился в чей-то погреб. Наконец с великим трудом добрался до низенькой и пухлой колокольни.

Человек десять стояли во дворе церкви, прислонившись к заборам. Некоторые молча курили, другие наблюдали, как это делать, если делать умеючи, и только один старик, присев на корточки возле ворот, после каждого удара звонаря одобряюще кивал головой.

Карабуш встал рядом, что-то спросил, старик ответил, но надтреснутый колокол вовремя заглушал слова. По-

дождали. Когда звонарь остановился и поплевал себе в ладони, Карабуш спросил:

— Пасха, что ли, завтра у вас?

Старик вздохнул, поднялся на ноги и подошел к нему так близко, как только близоручие подходят. Сказал грустно:

— Боже мой, хоть бы нас миловало, а Чутуре, видать, суждено было.

— А что случилось с Чутурой?

— Сгорела. Этой ночью, вот только что сгорела.

Онакий Карабуш улыбнулся. Это было так нелепо и так неожиданно, что он ничего не смог придумать, как только улыбнуться. Чутура, его родная Чутура, эта маленькая деревушка, снилась ему долгими ночами, она манила его, привела бог знает из какой дали. Из-за нее его чуть не пристрелили вчера ночью, чудом выплыл из этого мутного потока, и вот, когда было уже рукой подать, она взяла и сгорела.

Надтреснутый колокол загудел снова, оглушив всех, но Карабуш был чутурянин, ему нужна была тишина, чтобы собраться с мыслями, и он поспешил нащупать в кармане мокрый окурок, оставленный им на самый что ни на есть черный день. Посасывая окурок, прошел он через высокие ворота и выбрался обратно в поле.

А полями уже идти не смог. Теплый весенний туман вдруг запах гарью. Немецкие ботинки глубоко вязли в сырой пахоте. Нужно было все время оглядываться и соображать, верно ли идет. Он сильно устал, и ему захотелось встретить хоть одного земляка, хоть какого-нибудь знакомого, чтобы пожаловаться ему.

В темноте попалась полевая стежка, и, хотя, по его расчетам, она не вела в Чутуру, поплелся по ней. Подул ветер, за клубился туман. Единственная тучка таяла где-то далеко на западе, предутренние звездочки замигали, бледненькие, как после болезни. Наконец надтреснутый колокол в Нуелушах смолк. Кругом стало тихо, и вдруг нагло всем чертям кто-то далеко-далеко, за мелкими холмами, запел голосом самого Карабуша:

Лес ты мой зеленый!  
Заведи себе дорогу  
И тропинку для меня...

Карабуш остановился, сплюнул мокрый окурок. Улыбнулся. А в самом деле: сгорела Чутура, ну и что с того? Не видел он, что ли, пожары в России?

Теперь одни только моря не пылают, остальное все горит. Почему бы не сгореть и Чутуре? Пускай сгорела, но небо над деревней осталось? Сама ложбинка, где стояли домики, осталась? А если у тебя над головой ладное небо и есть уютная ложбинка, трудно, что ли, засучив рукава, построить новую Чутуру? Не успеешь ахнуть, а она уже будет стоять, жить себе и шлетничать. Пораскинув мозгами еще, Карабуш перехватил в поясе этот странный, с чужого плеча тулуп и пошел широким шагом, подпевая своему издали пробившемуся голу.

Добрался он только на рассвете. Несколько аистов печально кружили над деревней. Вместе с крышами сгорели их гнезда. Дома стали неожиданно низенькими, нелепые дымоходы торчали высоко-высоко. Прокуренные стены вчера еще беленьких домов, разбросанные пожитки во дворах, и стерегут эти пожитки высокие, стройные акации с опаленной листвой.

Ветер гонит по деревне мелкий соломенный пепел. На перекрестках у колодцев большие желтые лужи: воды не хватало, выбирали глину. Никогда, даже в самые трудные годы, даже в самых кошмарных снах, Онакий Карабуш не видел свою деревню такой пустой, одинокой, безответной.

На одном перекрестке Карабуш поднялся на цыпочки, стал искать между дымоходами свое родное гнездо: даже после пожара он должен был узнать свой дом, ведь сам строил его.

«Сгорел. Где бы я дом ни поставил, моя Тинкуца — истинная чутуриянка: гулять так гулять, трудиться так трудиться, гореть так гореть...»

А все-таки... Стояла кругом весна, Карабуш возвращался с войны и очень был рад, что пришел с тем же количеством рук и ног, которые у него были, когда русский царь призвал его на войну, — соответственно две и две. Он слышал где-то близко родной язык, родную речь, которую понимал полностью; и то, что сказано, и особенно то, что сказано не было. Он был счастлив, что Чутура, еще не остыв от пожара, заметила его, нашла минутку, чтобы шепнуть Тинкуце новость, и вот она уже бежит навстречу, в том же синеньком фартучке, в котором провожала его когда-то на войну.

— Жена, да что ты в самом деле! Сколько войск от-

ступило, сколько королей потеряли короны, а ты у меня все в том же фартучке ходишь!

Вокруг стояли голые, обожженные дома и смотрели опаленными, слепыми окнами, как встречаются два человека. Смотрели долго, осуждающе и ни за что не хотели понять, как могут они стоять посреди сгоревшей деревни и смеяться, и плакать, и целоваться...

Чутура загорелась в полночь. Двести глинобитных домиков, столпившихся в узкой долине. Двести соломенных и камышовых крыш. Случайная искра, тихий ветер, огромное, до самых небес взметнувшееся пламя — и кончено с Чутурой.

Ревела детвора, вцепившись в юбки матерей. Скотина ломилась в закрытые ворота, собаки выли на цепях. Чутуряне с помутневшим разумом первого сна спешили выбросить пожитки через окна, обжигались, глотали дым и ругали бога.

А накануне Чутура собралась сеять. Приготовила семена, затащила на чердаки: пусть, мол, подышат воздухом. День-два они подышали, затем сгорели семена. Все бы ничего, да семена сгорели. Пришла весна, поля ждали. Крестьянину, если весной не посеет, ни к чему и весь этот двенадцатимесячный год.

На окраине деревни, притулившись к высокому холмику, лежали с незапамятных времен несколько неуклюжих каменных глыб. Когда-то чутуряне пытались их вытащить и приспособить к делу, да это оказалось не под силу. И они решили: ладно, пусть лежат и греют на солнце свои голые хребты. Круглое лето детвора ездила на них, иногда прибежали женщины ножи поточить.

Потом их таки приспособили. Отсюда, с этих камней, была видна вся степь. Чутуре, хоть она и лежала в низине, временами очень нужно было осмотреться, разглядеть всю степь. Во время сенокоса или перед началом жатвы сюда приходили, чтобы установить прогноз погоды. Если кто-то уезжал и долго не возвращался, его домашние с этих глыб смотрели далеко-далеко в степь. Случалось, по воскресеньям сюда приходили пожилые чутуряне: на этих камнях было удивительно удобно плести всякую всячину.

Теперь, после пожара, Чутура собралась на этих камнях. Они, должно быть, убегали всей деревней от пожара и собрались в одном месте, как птицы перед большим

перелетом. А может быть, они ждали какого-нибудь чуда, ибо невозможно прожить жизнь так, чтобы совсем без чуда, но, увы, на этот раз...

Их было много, около ста человек. Сидели тесно, сиротливо, прижавшись друг к другу. Сидели друг против друга и спиной прислонясь к чужой спине. Уныло молчали, скребли затылки, и кто-нибудь изредка плаксиво произносил:

— Ну и как же теперь, стало быть, братцы?..

Когда в конце улицы появился Онакий Карабуш в своем чудном тулупе и начал подниматься по крутой тропинке к каменным глыбам, никто даже не посмотрел в его сторону. Никто не обрадовался, никто не удивился, никто не понял, зачем он ходит вокруг них с протянутой рукой. Что-то они слышали краешком уха: кто-то откуда-то вернулся, но кто именно, зачем, так и не уразумели.

Онакий приветствовал их ласково и цветисто, словами, подобранными где-то далеко, в сыром окопе, но никто ничего не ответил. Только старая женщина, сидевшая спиной к нему, вдруг обернулась, удивленно посмотрела: да что он, смеется? Какое тут «счастье каждому вашему дому»?

Онакий Карабуш отошел в сторону, прислонился к старой корявой вишенке, росшей неподалеку, и дрогнули в слезинках карие, всегда смеющиеся глаза. Вот, стало быть, каково возвращение. А кругом сидели товарищи детства, сидели шаферы, гулявшие на его свадьбе, сидели товарищи по окопам, сидело все то дурачье, которому он старательно выписывал поклоны в каждом письме. Он, для того чтобы вернуться к ним, проделал такой длинный, трудный путь, а они его даже не видят, они молча уступили ему местечко, чтобы Карабушу удобнее было скрести затылок.

Утро было пасмурным, но вдруг солнце, сжигая пятчками кружевную завесу белесых туч, вырвалось на чистое небо. А вместе с ним ожила и степь — степь огромная, непостижимая в этой весенней, не знающей границ красоте. Как-то легко и стыдливо, по-девичьи задымились поля, и снились этим полям зерна, старый плужок, вернувшийся откуда-то солдат и хорошие песни вроде «Лес ты мой зеленый».

Карабуш оторвал веточку, содрал с нее тонкую прозрачную кожицу, выцедил себе на ладонь каплю пахучего зеленого сока. И стало ему вдруг хорошо, радостно.

Спросил скороговоркой, словно кругом много говорилось и он боялся, что не успеет высказаться.

— А что, братцы, наш лесочек? Зазеленел, должно быть?

Женщина, сидевшая спиной к нему, повернулась, поправила платок, подумала.

— Да вряд ли... Дуб — он не торопится, а вот почки — те уж, верно, в ходу.

Онакий Карабуш был счастлив тем, что лес еще водится у Чутуры, что почки куда-то стаей двинулись.

— А ну, ребята, кто пойдет со мной в лес? Я знаю там одно гнездышко с маленьким в крапинку яичком. В жизни еще не видела такого крошечного яичка. Считаю до трех. Кто первым вскочит на ноги, только того и беру. Ну, значит, раз!..

Вся горькая Чутура, рассеяная на каменных глыбах, медленно повернулась в его сторону. Сгорели семена, сгорела деревня, а он идет в лес, он знает гнездышко с маленьким в крапинку яичком. Связать бы его надо, а то перепугает ребятшек. Эти сумасшедшие — парод шумливый...

И вдруг прояснилось одно лицо, за ним второе, третье. Скупые, вымученные улыбки засветились на усталых, озабоченных лицах. Потом кто-то встал, за ним другой, третий — ба, да это же наш Онакий Карабуш!..

— Онакий, ты-то откуда свалился?!

И вот наступило теплое воскресенье, первое воскресенье мая. Онакий Карабуш, любовно спрятав в своей ладони Тинкуцин пальчик, идет по Чутуре. Старая шляпа лихо съехала на левую бровь, а его хитрые глаза будто говорили: «Вот ведь сколько умов в Чутуре, а никто не догадается, куда это я иду со своей хозяйкой!»

— А и в самом деле, куда это вы?

Любопытство преявил Доминте Секара, сосед Онакия. С соседями следует жить дружно и выкладывать все начистоту. Онакий выпустил пальчик своей Тинкуцы, чтобы незаметно подмигнуть соседу.

— В лес идем.

— Чего?

— Пошли почки на дубе, травка, верхо, зазеленела...

И, подмигнув еще раз в заключение, взял пальчик Тинкуцы, и пошли вдвоем вниз, в ту сторону,

где рос чутурский лес и где, по слухам, травка зазеленела.

Лес ты мой зеленый!.. И какое это великое чудо — глубокий дубовый лес, проросший первыми почками! Подует ветерок, ветка качнется задумчиво, но не гнется. Где-то глубоко, в самой сердцевине, ожило зеленое царство и уже не дает ветке гнуться. Еще день, два, три... Пойдет листва, и прошумит, и помолчит, и покачается долго-долго... И даже потом, когда осыплется, еще несколько лет будет лежать она на земле, золотая, зубчатая, крупная...

Прозрачные капли медленно стекают по глубоким трещинам дубовой коры. Пахнет мхом, сырой листвою, над тобой мелькнула итичка, не дав опомниться, всплеснула крылышками другая, а под ногами зажурчал ручеек — коннечь лопатой, и будет вовек помянуто добром имя твое.

Чутура ожила. И в самом деле! Ну село сгорело. Ну семян нету. Муж локти обжег. А что толку сидеть на этих камнях и чесать затылки? И если выдался хороший денек, если тут рядом, под рукой, лес, если кругом, господи, стоит весна, а пынче воскресенья...

Чутурянки стали изводить своих мужей. А почему, скажите на милость, не взять их вот так же за пальчик и не сходить с ними в лес?

Что, может, они не так быстро вынесли пожитки при пожаре, как вынесла их Тинкуца? Или не ждали своих мужей так же долго, как ждала она? Может, не так лицемерно свою честь берегли? Или кажутся не такими молоденькими, не такими смазливенькими, нет у них таких же платочков, какой есть у Тинкуцы?

Мужья выдержали первые атаки с честью и достоинством. Только Доминте Секара хотел выяснить:

— Послушай, что ты забиваешь мне голову всякой дрянью? Что она тебе, рваный мешок, пятый карман или мусорная яма? В двух словах: хочешь в лес?

— Хочу.

— Ну, так бы сразу... Только уговоримся. Если этот Онакий затеет там игру в прятки — а он сумасшедший, я его хорошо знаю, — не думай, что я стану лазить по кустам и искать тебя!

Недалеко от церкви — два маленьких домика, втиснутых в один дворик. Даже погоревшие, они очень походили друг на друга. Похожи и сами хозяева — Григоре и Николае Морару. Та же походка, то же скептическое

ское отношение к женам, тот же ленивый, смурной взгляд. Оба они братья родные, и отличают их только по манере носить шляпы: один носит ее на затылке, другой — низко надвинув на лоб.

Онакий Карабуш уважал этих двух братьев.

В Чутуре их было только двое, Морарей, и держались они особняком, точно эти домики были затащены из другой деревни — все у них было свое, не чутурское. И пахали они в только им известные сроки, и праздничные обряды справляли по-своему, и даже печки в доме сложили на свой манер, но продолжали жить в Чутуре, вопреки всему и вся. Карабуш их несколько остерегался — эти смурные всегда с какой-то придурью. Теперь братья Морару сидели на завалинках, каждый на своей. Одна шляпа на затылке, другая на самых бровях. Сгорели дома, хотя и были морарскими. Братья вчера напились, теперь грустно что-то. Жены стоят у калиток и громко, так, чтобы донеслось до завалинок, ругают своих мужей. Но братьям неинтересно знать, что думают о них жены. Они греются на солнце, зевают и, как только показался Онакий, чуть наклонили головы, приветствуя его и вместе с тем показывая свое нежелание затевать хотя бы небольшой спор относительно завтрашней погоды.

Онакий выпустил пальчик Тинкуцы и молча открыл обе калитки. Посмотрел на братьев Морару, как бы спрашивая: что же они, покажут всему миру, как надо носить шляпы, или так и будут сидеть на завалинках? Оба брата отрицательно покачали головами, и Онакий, аккуратно закрыв калитки, взял Тинкуцу за пальчик и пошел дальше. Но, как только они исчезли за поворотом, Николае Морару, носивший шляпу на затылке и отличавшийся более уживчивым характером, спросил свою жену:

— Куда они пошли?

— В лес.

— Сходим давай.

— Зачем?

— А вдруг грибы?

— Ты же их не любишь!

— В прошлом году не любил, а теперь — кто знает...

Минут десять спустя они тоже вышли из ворот, а его брат, не в силах больше вынести вопросительных взглядов своей жены, стоявшей одиноко у калитки, пошел в дом и завалился спать.

День был ласковый, теплый, они шли парами по косогору, уходящему в глубь леса, и это их медленное,

торжественное, даже как будто осененное свыше шествие сильно озадачило Харалампия Умного, единственного чутурянина, которого эта великая беда обошла стороной, поскольку дом его стоял слишком далеко от села.

Хотя он себя считал намного выше Карабуша, этому Онаке как-то удавалось всегда ставить его в тупик, и задуманное им шествие в сторону леса, должно, сильно озадачило Харалампия Умного. Он решил кинуться к ним наперерез, чтобы выяснить, в чем дело, но, чтобы не вызывать излишнего подозрения, поманил за собой жену, и вот они тоже идут в сторону леса...

Около десяти чутурян побрели в то воскресенье в лес. Вернулись они поздно вечером, очень голодные, усталые и задумчивые. На второй день они встали раньше всех, пошли по соседним деревням, заняли семена, а еще через день вышли в поле пахать. Чутурянки, сходявшие в лес, были на седьмом небе от счастья и удивляли всю деревню своей ласковостью и старательностью.

А девять месяцев спустя, зимой, в большие морозы, в течение одной только недели родилось одиннадцать ребятишек в Чутуре — урожай небывалый для такой маленькой деревушки. Повивалку возили на санях от одной роженицы к другой, что случилось с ней первый раз в жизни. В сельской кузнице выковали одиннадцать железных крючков, одиннадцать отцов вбили их в потолки, матери прицепили к ним люльки и запели старые, как мир, и вместе с тем всегда новые и красивые колыбельные песни.

А Онакию Карабушу снова не повезло. Он хотел мальчика, но за несколько дней до родов повздорил с Тинкуцей, и та назло родила ему девочку. Он бы это легко пережил, но на всю деревню была только одна девочка, все остальные — мальчики. У братьев Морару, хотя и носили они шляпы по-разному, родились два чумазых сына, такие же мудрые, важные, и их небольшая колония явно окрепла на чужбине.

Правда, то, что один из братьев не сходил в лес, а его жена родила первой, вызвало много кривотолков. Чутура терялась в догадках, но Карабуш объяснил им суть дела. По его словам, Григоре Морару был в лесу лет пятнадцати и с тех пор хорошо его помнил. У него была богатая фантазия, и, хотя он и сидел все время хмурый на зава-

линке, он, может быть, чаще самих лесников болтался по лесу.

Доставили они много хлопот Чутуре, эти одиннадцать сорванцов. Улыбались потолку и плакали, валились из люлек и ждали, когда отцы возьмут их на руки, чтобы помочиться им на колени. Дочка Онакия Карабуша в шесть месяцев проглотила пуговку от отцовской рубашки, и дня три Карабуш ходил с расстегнутым воротничком. Еще хорошо, что случилось все это летом, не то человек мог бы простудиться. Сын Харалампия Умного оказался не глупее своего отца. Едва встав на ноги, он потопал в сторону села, и с тех пор дня не проходило, чтобы он не убежал в деревню поиграть. Братья Морару впервые в жизни перессорились между собой: один сын упал с завалянки, разбил себе нос, и предполагалось, что дядя видел, но не подошел; другой сын вымок до ниточки под дождем, и были некоторые основания полагать, что родня, живущая рядом, нарочно не укрыла его в своем доме.

А еще через год, когда Костаке Михай, старый возница, проезжал мимо двух домиков братьев Морару, увидел посреди дороги чумазого мальчика, сгребającego пыль в кучки. Мальчик был юркий и носил такую короткую рубашку, что немислимо было ошибиться относительно его пола. Его двоюродный родственник сидел на заборе и ждал, когда братика переедет телега. Костаке Михай не знал, какие у них счеты, а кроме того, опасался за свою старую и дряхлую телегу. Потому-то он и остановил лошадку, крикнул чумазому, чтобы убрался побыстрее с дороги, но тот сказал сердито, не оборачиваясь:

— Не хоцу.

Костакию Михаю ничего не оставалось, как спрыгнуть с телеги, взять его под мышки и поставить у ворот с таким расчетом, чтобы стоял он там долго и смирно. Но, когда Костаке Михай возвращался к телеге, услышал за своей спиной популярное молдавское ругательство, в котором речь шла об определенных отношениях между этим карапузом и давно усопшей матерью Костакия Михая.

Старик затрясся в хриплом, удушливом смехе. Смеялся он долго, до слез, запустив обе руки под старый ремешок. Отдышавшись, спросил Чутуру:

— Эй, вы! Слышали, как этот карапуз заворачивает?!

Костаке Михай знал, да и сама Чутура знала, что ругаются решительно все. Наиболее трусливые ругаются про себя, другие — чуть слышно, под нос, и только сильные

натуры, люди, знающие себе цену, ругаются во весь голос, если что не так.

Чутура была счастлива: как хорошо, что Онакий Карабуш вернулся! Тогда, после пожара, перепуганные и растерянные, они просто не знали, к чему подступиться, с чего начать. Одни готовились пойти по миру, другим снились сгоревшие крыши, третьи лепетали о посевах, и только Карабушу пришло в голову, что Чутуре прежде всего нужно собрать на всех дорогах пыль маленькими аккуратными кучками. Что ни говорите, а в каждой настоящей, уважающей себя деревне пыль должна быть собрана в кучки.

Лес ты мой зеленый!.. Он и сегодня стоит там, неподалеку от Чутуры. В середине апреля он по-прежнему бывает бесконечно богатым и красивым, распуская первые почки свои. Подует ветерок, призадумается, закачается ветка, но гнуть себя уже не дает. Где-то глубоко, в самой сердцевине ее, ожило зеленое царство, и ветке уже не дает гнуться. Пойдет листва, и про шумит, и про молчит, и про качается она долго-долго...

## Сеятели и жнецы

— Эй вы, чертенята, что вы там затеяли?

А что им затевать-то! Бегают, играют. Стоя босиком на завалинке, встречают весну, тоже босиком и тоже на завалинке провожают осенние дни, и с первого весеннего насморка до последней предзимней ангины чутурские ребята бегают, играют. Возятся с ними дедушки да бабушки. Родители редко их видят. Мамы возвращаются с поля усталыми, глядят по макушке, совершенно не вникая в глубокий смысл их детского лепета. Отцы начинают их замечать, только когда они, достигнув лет шести, рвутся к ним в помощники. До тех пор они их почти не видят. Только изредка властно прикрикнут, чтобы не забывались:

— Что вы там, черти, затеяли? Вот я вас прутиком...

А что им затевать-то! Балуются, ибо справедливости ради нужно сказать, что маленькие чутураны отчаянны



в своих играх, как и их родители, когда выходят в поле и засучивают рукава. Острые детские глазки, разглядывая окружающий мир, ловко превращают все, что они видели, в детские игры. Иногда кажется им, что они устроили свою маленькую деревушку, свою собственную Чутурку. В этой деревушке случается всякое, как и в заправдашной деревне. Люди ссорятся и бегают, чтобы их примирили, устраивают гулянки, убирают хлеб, молятся о дождях, крестят свое потомство, женят, хоронят, когда настанет время, и плачут над их могилами теми же крупными, горячими слезами, потому что горе в этой крохотной деревушке такое же труднопереживаемое человеческое горе.

А как-то летом, во время жатвы, оставшись одни в деревне и не зная, во что бы им еще поиграть, исчезли маленькие чутуряне. Вдруг ни с того ни с сего добрая половина детворы исчезла. Поздно вечером, вернувшись с поля, чутуряне бросились их разыскивать: не то у бабушек застряли, не то уснули в саду, а могло случиться, что нарочно спрятались, хотят подразнить кого-то — ночь настала, а их нету.

Чутурянки принялись голосить, а их мужья, оседлав худых кляч, прочесали все чутурские поля, окраины леса. Ребятишки как сквозь землю провалились. Только на второй день нагнали их по старой Памынтенской дороге, недалеко от станции. Шли они цепочкой, как утята, и у каждого под мышкой тоненький прутик.

— Вы куда, черти?

— Ходили в суд. Должны же мы когда-нибудь своего добиться.

Похвалив их, чутуряне повели ребятишек домой, чинно беседуя дорогой о том о сем, а дома задали им такие взбучки, что маленькие чутуряне недели две ели стоя или растянувшись на животе: смысл самых обыкновенных стульчиков стал для них просто непостижим.

Один только Харалампие Умный, живший под самым лесом, сын которого тоже пошел по судам добиваться правды, не заставил своего отпрыска спустить штанишки. Вместо этого он на следующий же день запряг своих приземистых, лоснящихся от хорошей жизни кобылиц и отправился в Сороки. Надо сказать, что ему очень повезло тем, что он поставил себе дом вдаль от села, на западе, у самого леса. После того пожара, пока чутуряне очухивались и приходили в себя, его хозяйство все время шло в гору. Печать сытости и достатка нет-нет да

и мелькала то на их землях, то на их скотине, то на них самих. Конечно, будешь после этого Умным.

Правда, его жена, эмоциональная, как и все женщины, убивалась едва ли не больше всех, когда пропали дети в селе, но Харалампие сумел ее утихомирить, и, когда блудная крошка вернулась, он, подозвав ее, спросил как равный равного:

— Слушай, Ника! Ну, те, из села, ясное дело, зачем потопали в суд. Им вечно кажется, что их надули, они вечно ищут правду, но ты-то зачем туда попер?!

— А мне хотелось посмотреть, что там, за теми холмами.

— Ты же меня об этом уже спрашивал. И я сказал, что там город.

— А я хотел посмотреть, какой он из себя. Тот город.

— Сын мой, кто же в Сороки ходит пешком! Туда съезят!

И, как сказано было выше, недолго думая, Харалампие запряг своих кобылиц, усадил рядом маленького сынишку, и его телега бойко затарахтела по направлению к городу на Днестре. Купив там жене клетчатый плед, чтобы было в чем в непогоду ходить в церковь, а сыну приторговав глиняного петушка-свистульку, чтобы мальчик мог свободно развивать свои легкие, Харалампие пошел по учреждениям, ибо бывал он и настырным, и коварным, и заискивающим, когда того требовало дело.

И добился-таки своего. Недели через две он поехал на тех же кобылицах в Памынтены встречать поезд и привез в Чутуру худоцавого, стройного, задумчивого парня, по радость чутурских девиц оказалась преждевременной, ибо был тот парень учителем и ни о чем, кроме как о школе, говорить не хотел. Правда, и о школе он говорил мало, будучи родом откуда-то из Карпат, из тех горных молчунов, которые могут обходиться в день всего двумя-тремя дюжинами слов. Но уж зато когда он говорил — слово у него получалось округлым, полновесным, радужным, и Чутура ожила, расправила плечи, ибо одно дело жить без храма, без школы, и другое дело, когда с колокольни звонят для взрослых, а маленький колокольчик звенит для ребят, собирая их на уроки. В самом деле, сколько можно пыль в кучки собирать!

Харалампие прославился. Он оказался самой светлой головой в деревне, и надо отдать должное прозорливой маленькой Чутуре, ибо сказано было еще с каких пор, что он Умный!

— Доброе утро, детки!

Десять наголо остриженных голов и пучок золотистых колечек разбежались по всему классу, как птенчики после ружейного выстрела. Стоят, забившись по углам, кажется, не дышат, не мигают. Только золотистые колечки, затесавшись между партами, смотрят счастливо на нового учителя: вот как здорово тут в школе! Вам тоже нравится?

Мику Микулеску расстегнул свой новый пиджак, достал из внутреннего кармана карандаш, тетрадку и небрежно бросил их на длинный столик, поставленный перед кривыми партами. Медленно обвел взглядом весь присутствующий состав, словно все эти головки были рассыпанными бусинками и теперь он прикидывал, мыслимое ли дело заново собрать и нанизать их на нитку.

Благословенная рука,  
И зерна вырвались на волю!  
А хваткий сеятель идет  
По свежевспаханному полю...

Стояла какая-то подозрительная тишина. При таких густых тишины невозможно читать стихи, и Мику Микулеску, плотно прикрыв дверь, перешел к праче:

— Эй вы, ослы! Сказал я вам «доброе утро» или не сказал?

Ребята облегченно вздохнули. Они все время чувствовали себя виноватыми, только не знали, в чем именно. Теперь все стало на свои места. Но единственная в классе девочка не считала себя виновной. Она кокетливо склонила голову набок, глазки ее стали невероятно хитрыми, и она спросила:

— А почему вы не подождали, пока мы сами здороваемся? Потому что вы большой, а мы еще маленькие и мы должны были первые поздороваться с вами...

Микулеску улыбнулся.

— Тебя-то как зовут?

— Как будто вы не знаете!

— Откуда мне знать?

— А я была в лавке, когда вы приходили покупать себе курево.

— Ну, тогда другое дело. Садитесь за парты.

Молчат. Никто с места не движется.

— Да садитесь же за парты!

Нуца горько вздохнула, печально склонила голову набок.

— Как же мы сядем, господин учитель, когда все мы тут — враги.

— Да неужели? Что же вы не поделили?

— А! Одним земли мало, другие из-за скота... А вы что ищете в кармане?

Он еще не знал, что имел удовольствие беседовать с дочкой Онакия Карабуша, и, пошарив по карманам, достал красивый перочинный ножик с костяной ручкой. Взял со стола карандаш, но для того, чтобы зачинить его, нужно было отвернуться, потому что кругом, разинув рты, стояли все десять ребятишек. Виргуозные движения, длинная, завитая стружка, ножик с костяной ручкой — все это мигом заворожило класс.

— Садитесь за парты. Потом я вас помирю.

Двоюродным братьям Морару очень хотелось досмотреть до конца, что станет с карандашом, но сказано было сесть за парты. Мирча, более щуплый и показавший в полтора года отличные способности ругаться, толкнул в бок своего брата. Толстяк Тудораке, высоко подняв голову и закатив глаза, запричитал нудно, голосом соседки, которая ходила к ним часто и ломалась, когда ее приглашали сесть.

— Да ну, господин учитель, вы не беспокойтесь, мы ничего, мы, право же, постоим вот тут на ногах...

Учитель заулыбался. Этот толстяк казался ему злым на язычок, а злые на язык люди пользовались особым расположением Микулеску.

— Так и быть, стой. Только стружки не глотай.

Заточив карандаш, открыл тетрадку и по всем правилам педагогики приметил мальчугана, стоявшего скромно в стороне.

— Эй, ты там! Как зовут?

Толстяку Тудораке показалось, что учитель не очень разбирается в том, что принято называть настоящими ребятами, и он сказал несколько назидательно:

— Вы, господин учитель, лучше запишите нас с Мирчей. Мы двоюродные братья, и дома наши прямо-таки рядом, ну, словом, как бы вам объяснить: вот так стоит мой дом, а вот так стоит его дом, а между ними так, знаете, один плетень, который наши мамы почти весь разобрали на топку.

— Тебя как зовут?

— Меня?

— Ну да, тебя.

— А! Я думал, что вы хотите о моем двоюродном брате узнать. Его Мирчей зовут.

Этих Морару можно было записать, только косвенно расспросив друг о дружке — сами они о себе ничего не сообщали. Следующим был записан Ника, сын Умного и сам, видать, неглупый, но девочке с карими глазами не понравилось, что ее поровят оставить напоследок. Она так, без записи, поспешила подсесть к двум братьям Морару и победоносно оглянулась.

— Я тут буду сидеть, господин учитель.

— Тебе нравится сидеть с ними?

— А отец сказал. Ведь вы не знаете, что сказал мой отец?

— Нет, не знаю.

— Ну вот, он сказал: «Ты, — говорит, — одна не сиди, а подсядь к мальчикам. Они бойчее учатся, а ты не очень соображаешь. — Говорит: — Ты подглядывай за ними краешком глаза, потом и сама будешь знать, а то, — говорит, — ты зазя в школу проходишь...»

Час с лишним ушло на составление списка одиннадцати учеников. Наконец, покончив с этим делом, Микулеску рассадил их по партам, восстановил тишину.

— Удачу вашей пивел!

— И вам тяжелый сноп.

— Вы хоть знаете, кто написал эти стихи?

Карие, черные и голубые, еще карие, еще черные — все эти глазки смотрят не мигая, готовые в любую минуту заплакать или улыбнуться.

— Александри написал, вы, дурачье! Великий румынский поэт. Поэт крестьянства.

Микулеску несколько раз прошелся между партами, дав им время проникнуться чувством священного восхищения к творчеству Александри, а им хоть бы что! Зевают, толкают друг друга, следят, как забилась муха на подоконнике. Старые, издавшие виды домотканые рубашонки. Грязные ноги, ссадины на каждом пальчике. Некоторые припрятали эти богатства, завернув тряпочками, другие оставили так, на божью милость.

А собственно, стоит все это или не стоит?

Микулеску встал у окна, долго примеривался, чтобы открыть его, но, видать, окна в этой школе можно было открывать, только предварительно сняв крышу.

— А вы, господин учитель, кулаком пристукните. Вдарьте вот так кулаком...

Микулеску ударил, и окно открылось; он устало облокотился на подоконник, разбирая ту же самую проблему, которая мучила его все время, с тех пор как приехал сюда. Стоит ли, не стоит? Стоит ли ему, человеку, не окончившему еще нормальное училище, старшему сержанту, участнику героической битвы при Мэрэшти, стать нянькой, мучителем этих одиннадцати карапузов? Маленькая, забитая деревушка, старая школа с дырявой крышей, одиннадцать сопляков, зевающих вовсю, когда он им читает стихи великого Александри.

Его охватила первая, самая большая грусть после отъезда. А ведь начал было пользоваться успехом у бухарестских барышень. Хранил три любовные записки, написанные на французском языке и брошенные ему из окна второго этажа женской гимназии. Он тосковал по книжным магазинам, полным чудесных романов серии «Знаменитые женщины». Соскучился по разнаряженным городovým, по господам, носящим цилиндры и ругавшим правительство, не делаая при этом грамматических ошибок. Ему захотелось снова в студенческую среду, у него родилось вдруг столько мыслей, относящихся к творчеству Александри.

— А у меня, господин учитель, еще два братика. Когда они расплачутся в люльках, а мама месит тесто и не может к ним подойти, тогда отец сам качает люльки и поет при этом:

Несутся ветры волнами,  
Над гнездышком моим...

— Что-что-что? — спросил учитель. — А ты знаешь эту песню до конца?

— Конечно, знаю.

— Слой.

Нуца спела. Учитель стоял пораженный, он ушам своим не верил. У него было врожденное чувство поэтического слова, он был большим знатоком ритмики, поэтики народного стиха. Ему и в голову не приходило, что в этих домиках, в этой деревушке со странным названием Чутура могут жить стихи такой прозрачности, такой первозданности. Это были истинно народные стихи, о которых он, большой знаток фольклора, даже и не подозревал. Кто знает, может, они вот в этих самых домиках, в эти вот дни родились, а если это так, то что может быть выше для ценителя народной поэзии, чем присутствовать при рождении стиха, быть свидетелем того лингвистиче-

ского брожения, в котором слово со словом встречаются и идут под венец и, венчанные народным поэтическим гением, остаются навеки вместе?

Вдруг толстяк Тудораке вскочил со скамьи и мелкими шажками засеменял к выходу.

— Ты куда?

Тудораке, низко опустив голову, пролепетал:

— Домой.

— С какой целью?

— Что вы сказали?

— Зачем, говорю, идешь домой?

— Помочиться.

Остальные десять сидят на своих местах, как ни в чем не бывало — что ж, это в порядке вещей, чтобы живой человек время от времени... Но тут Мирча поспешил предупредить своего двоюродного братика:

— Пошлют гусей пасти.

Бедный Тудораке широко открыл глаза, приоткрыл рот, да так и замер. В самом деле, пошлют гусей пасти, и тогда все пропало. А без школы, все вон говорят, что никуда. Поразмыслив, он печально побрел на свое место.

— Что же ты, идешь — не идешь?

— Уже неохота. Уже всё.

Бог ты мой, подумал Микулеску, кто может сказать, что знает народ, что видел его своими глазами, слышал его речь, понял его душу...

— А писать взяли с собой что-нибудь?

Ника, сын Умного и, главное, наиболее самостоятельного чутурянина, продемонстрировал, к общей зависти, новый букварь, тетрадку и половину карандаша. Оба Морару набили карманы фасолью, потому что, сказали им дома, это нужно, чтобы научиться считать. У Нуцы был кусочек резины, отрезанный самим Карабушем от старой калоши, — он ей сказал, что этой резинкой ей там придется стирать, что не так напишет, а большего он ей ничего не говорил...

Учитель взял мел, написал на доске: «Ученье — свет, неученье — тьма».

— Может кто-нибудь из вас прочесть, что я на доске написал?

Увы, это было им не под силу.

— И ты, Ника, не можешь?

Увы, и он, потому что, хоть его отец и прослыл в селе за Умного, грамоты он, конечно же, не знал.

— Я научу вас грамоте, — сказал учитель. — Вы бу-

дете жить легче, чем живут сегодня ваши родители. Возможно, некоторые из вас, которым учение будет легко даваться, пойдут учиться и дальше, может, важными господами станут, может, даже в фэзтонах разъезжать будут, но я учитель строгий, за неповиновение, за непослушание буду наказывать. Ну, что скажете вы на все это?

Дети умолкли. Конечно, милое дело проехаться когда-нибудь по Чутуре в фэзтоне, на зависть своим врагам, но и эти порки, если будут долго выбирать прутик, да еще и штанишки при этом заставят спустить.

Мирча вдруг заулыбался:

— Отец на днях меня порол — то-то бил!

— Плакал?

— Поплакал, а потом ничего, отошло...

— Но бил-то он тебя за дело?

— Кто же бьет своего ребенка за просто так?

— Ну что же, в таком случае давайте начнем.

Выждав паузу, сказал неожиданно торжественно:

— Сейчас я буду петь гимн королю, а вы тихо, не мешая друг другу, пойте за мной. Этот гимн мы будем петь каждый день перед уроками и после уроков. Слушайте внимательно:

Да пре-бу-дет ко-роль  
В ми-ре и сла-ве-е...

На четыре года были рассчитаны муки в Чутурской сельской школе. Четыре осени подряд оба Морару — один с шапкой на затылке, другой низко надвинув ее на лоб — таскали на спинах своих малышей в школу, потому что без конца шли дожди, грязь непролазная, а с обувью было туго. Четыре красивые светлые степные весны стояли у окошка школы, выманивая ребятишек на улицу, а кругом Чутура ссорилась, потому что скотина, смекнув, в чем дело, таскалась по посевам. Четыре года бедный Тудораке ходил с набухшими ладошками, потому что тот, кто придумал науки, совершенно не имел его в виду.

Ходили всем классом на войну вместе со Штефаном Великим и колотили врагов почем зря. Рисовали на обложках польские горы, откуда берет начало Днестр, и по волнам спускались вниз, вплоть до Черного моря. Вырезали чужие прозвища на партах, показывали друг другу языки, когда Микулеску, став к ним спиной, выводил очередную задачу на доске, и долгими зимними вечерами сопели, чтобы доискаться, сколько личек купила служжан-

ка на базаре и сколько денег должна была принести домой.

Два раза в год — зимой, перед рождеством, и весной, после экзаменов, — Микулеску устраивал концерты для взрослых. Сдвигали все парты в один угол, на них стелили выпрошенные у соседей калитки, все это завешивали занятыми под честное слово Микулеску коврами, и получалось нечто вроде сцены. Восемь концертов было в Чутуре, и каждый, конечно же, начинался стихотворением Александри «Сеятели».

К великой зависти всех мальчиков, первой продекларировала стихотворение Нуца Карабуш. Стояла она гордо, потому что выросли красивые косички из того пучка золотых колечек. Читала громко, нараспев, старательно глотала все знаки препинания, но ни разу не сбилась и имела огромный успех.

На втором концерте произошел скандал. Ника, сын Умного и сам далеко не глупый парень, вышел, еще раз вернулся к автору, еще раз назвал стихотворение и, победно засопев, убежал со сцены.

Между братьями Морару, стоявшими на очереди, шли большие бои — кто из них должен читать первым. Толстяк Тудораке, пользуясь недозволительными приемами и злоупотребляя физической силой, вышел на сцену, но зашнулся на первой же строчке. Мирчу послали его выручать. Читал он излишне громко, причем вскидывал правую руку, точно и в самом деле сеял, и всем это понравилось.

Потом с каждым годом все больше учеников удостоивалось чести открывать концерты, и только судьба бедного Тудораке оставалась невыясненной. На последнем выпускном экзамене он в пятый или шестой раз вышел на сцену. Дышал тяжело, будто на нем пахали. Вытерев мокрый лоб, собрался с духом и заорал что было мочи:

- Удачу вашей ниве!
- И вам тяжелый сноп.

Это был день триумфа румынской педагогической мысли. Тудораке Морару отчаянно коверкал родную речь, ему казалось, что он уже запутался, и руками звал на помощь товарищей. Кончилось тем, что и он засеял свое поле: худо-бедно, но засеял.

Окрыленные этим успехом, ученики поставили парты на место, разнесли по домам ковры, калитки, и на этом кончилось учение.

Микулеску не сделал их помещиками, не довел до фаэтонов, даже не смог помирить между собой. Едва вернувшись по домам, они на все смотрели глазами родителей и любили и ненавидели тех, кого любили и ненавидели родители.

Нуца Карабуш стала ткать ковер с голубенькой, очень голубенькой каемочкой, и эта каемочка в течение двух недель выветрила из ее головки почти все, чему она научилась в школе. К тому же по вечерам она пряла со своими сверстницами, и они пели песни, а что есть девичьи песни, как не чистые грезы?..

Мирча таскался за своим отцом по лесам, ставили капканы для лисиц, и так ему это понравилось, что он ни о чем, как об охоте на лисиц, и говорить не мог. Тудораке потерял колесо от предлужника и получил от отца такую взбучку, что напуганный, униженный, обходил издали и школу, и учителя, и своих недавних друзей...

Нике, правда, повезло больше всех. Его отец, построившийся под самым лесом, умел трудиться, умел жить, но не зря же в деревне прозвали его Умным. Ему хотелось, чтобы его наследник был человеком не только умным, но еще и образованным, и вот он выводит из конюшни молодых двухлеток, запрягает, сажает рядом сына и снова едет в Сороки.

Эти стригунки в яблоках были большой его гордостью. Кто бы мог подумать, что от тех низкорослых, лоснящихся от хорошего корма кобылок рождаются такие великоколенные, породистые скакуны! Ему уже и теперь давали за них деньги неслыханные, но чутье ему подсказывало не торопиться, через год дадут вдвое больше. Он их обычно редко запрягал, потому что породистый конь теряет в упряжке, но теперь был вынужден. Знания знаниями, но, конечно же, учителя лица нет-нет да и заглянут в окошко, чтобы выяснить, кто на чем привез своего отпрыска, и как ни кинь, а это пойдет делу на пользу.

Конечно же, Чутура была не дура, когда кому-либо давала прозвище. Нику приняли сразу и, устроив его у какой-то старушки на квартиру, купив жене еще один клетчатый плед, на зависть всем чутурянкам, ибо эти пледы входили в моду под именем шалей, накормив и напоив своих стригунков, Умный под самый вечер выехал из Сорок.

Совершенно случайно в тот же день учитель Микулеску хлопотал в городе по делам своей школы. С трудом,

но ему все-таки удалось приобрести кое-что из наглядных пособий: карты, глобусы, несколько пачек книг, чтобы заложить основы местной школьной библиотеки. Поскольку попутные телеги долго не попадались, он решил выехать из города на чем случится. Один подвез его вместе со своим багажом до Рублениц, второй завез под самую Згурицу. А там еще кто-то ехал косить люцерну, подвез версты три, и вот стоит он в поле, на полдороге, и уже солнце клонится к закату, а ему еще ехать и ехать...

И вдруг — о великий боже! — он увидел великолепных, в серых яблоках стригунков Харалампия Умного. Он приготовил багаж, приподнял шляпу в знак приветствия, но эти стригунки с чего-то вдруг понесли, и тяжелый холодок сомнений в праведности богом созданного мира начал подкрадываться к сердцу учителя.

— Домой, господин учитель? — крикнул ему на ходу Умный.

— Домой.

— И я вот в сторону дома... Не могу их, право, никак...

И проехал, оставив учителя в поле. Собственно, дело было вовсе не в учителе — он бы его, конечно, подвез, но у учителя был груз, а этим стригункам ни за что нельзя было давать растягивать мышцу — лошадки, ходившие в упряжке, уже не годятся для верховой езды. Это могло сильно ударить по карману, а учитель, что же, доедет, дорога пылитесь и ночью. Десять-двадцать леев заплатил — и подвезут хоть до самого Русалима!

Благословенная рука,  
И зерна вырвались на волю!  
А хваткий сеятель идет  
По свежевспаханному полю...

«Сеять-то мы сеем, — думал про себя Микулеску, — но урожай снимают без нас, и выращенные на наших хлебах чудо-кони несутся вихрем мимо, одурачив умных грамотеев и оставив в пустом поле...»

Он, конечно же, добрался до Чутуры. Оставил всю поклажу в школе, и, благо учебный год был завершен, забрал свои вещи, и рано утром уехал. Больше его никто не видел, никто ничего не слышал о нем, и только изредка его имя нет-нет да и мелькнет на устах его учеников, когда речь пойдет о каких-нибудь смешных приключениях детства.

# Хорошее настроение

Чутурянин ни за что не сможет толком объяснить, сколько у него этой самой горемычной земли. Весной, когда из-под рваных, грязных лохмотьев талого снега начинают выглядывать озимые посевы, чутурянину кажется, что, на худой конец, он может стать рядом с самым скромным из помещиков. Богатый урожай — и все пойдет как по писаному: сначала помещик пригласит его на крестины, потом он сам пригласит того в гости.

А до урожая еще неизмеримое море тревог. Когда чутурянин ждет дождя, галопом несутся засушливые ветры; когда молит небо о хорошей погоде, чтобы спасти погибающие в сорняках посевы, идут проливные дожди. И все не вовремя, и все не так. Когда у соседа простаивали лошади и он предлагал их, чутурянину нечего было делать с лошадьми — теперь они нужны до зарезу, а сосед норовит пореже встречаться и поменьше говорить о своих лошадях.

С наступлением лета земли чутурян убывают, тают на глазах самым жестоким образом. Перед выходом на уборку у каждого ровно столько гектаров, сколько и значится по документам. Ну что ж, в конце концов не всем ездить в фаэтонах — только бы убрать все побыстрее, завязать мешки десятью узлами, а что до праздников, то сколько можно к себе приглашать, ведь можно и у других погостить!

Наконец, когда с горем пополам чутурянин соберет урожай, вдруг выплывут долги, о которых он забывал. Наступает тяжелая пора сбора поземельных налогов. Потом жена начинает тихо всхлипывать по ночам: приодеть бы семью на зиму, стыдно ведь. И, аккуратно проиграв все битвы, в конце осени чутурянин идет в корчму и напивается с горя: земли-то, оказывается, у него совсем нету.

Без земли чутурянин себя не мыслит. Земля — это его способ жить, его умение, его фантазия. Из земли чутурянин может сотворить все, что душе угодно. Из этих тяжелых чугунных борозд он может вычеканить себе друзей, с которыми хорошо провести один вечер, и друзей, которыми он дорожит всю жизнь. Земля для него — это

упругая сила, дремлющая в плечах и просыпающаяся, когда нужно защищать честь чутурянина. Землю можно обратить в хорошее настроение, а еще земля нагоняет на чутурянина сладкую, туманную усталость, располагающую к самой буйной фантазии.

Земля есть закон сам по себе, и больше не применимы никакие законы, если речь идет о земле. С осени и до самой весны чутуряне находятся в дикой погоне за землей. У кого есть три лея в кармане, тот ходит и ищет того, у кого их только два. У кого два лея — те заманивают тех, у кого только один лей. Круглую зиму с утра до ночи заседают суд в Сороках. Земельные тяжбы крепостян выкормили до розовых, лоснящихся щек огромное количество адвокатов и удачно вывели в люди их потомство.

У кого нет больше денег, чтобы таскаться по судам, тот начинает точить топор и, наточив его, теряет последние просветы здравого смысла. С топором в руках чутурянин грозен, у него нет ничего святого, он запустит им в родного брата, в бога, в скотину своего соседа. Одно известие, что кто-то продал землю, на миг парализует Чутуру, она как будто начинает печалиться о чужой судьбе, но через день чутуряне снова держатся мертвой хваткой каждый за свой клочок.

К счастью, когда эта суматоха достигает белого накала, наступает весна и заманивает чутурянина в поле. Яркое солнце, теплый ветер, песня жаворонка и озимые посева совместными усилиями возвращают его к давно утраченным надеждам, и чутурянин изумлен: боже мой, да ведь ничего еще не потеряно, он еще может стать рядом с помещиком, только бы хороший урожай, а там, глядишь, и в гости попрут друг к другу. Все начинается сначала.

С годами эта погоня за землей истощила, измотала, истрепала Чутуру. Люди стали ходить ленивой, осторожной, подстерегающей походкой. Смотрели преимущественно только под ноги — до остального им дела нет. Умными считались только разговоры о земле. Правы были только те, у кого имелась земля, все остальные считались неправыми. Звон медяков напоминал им скрип плуга, скрип плуга — медный звон; весь мир чутурян сузился до этих двух металлических звуков.

И вдруг однажды осенью, когда корчмарь нанял себе двух молодых помощников, чтобы было кому таскать вино из погребов, когда наиболее отчаявшиеся чутуряне

вопросили громогласно, есть ли правда на свете, и если есть, то где она, вдруг в это самое время объявился чудак в отличном расположении духа, который встал, улыбаясь, у своей калитки. Казалось, он только что вспомнил нечто очень веселое и теперь ждет умного человека, чтобы развеселить его.

Чутуряне опешили. Они подозревали, что этот хитрый Карабуш каким-то чудом раздобыл землицы и теперь хочет побалагурить на радостях. Они останавливались с кислыми лицами, выпытывали у него, подбираясь все ближе и ближе к вопросу о земле, а Карабуш смеялся: помилуйте, какая там земля! У него же, черт возьми, есть калитка, и для чего же люди строят калитки, как не для того, чтобы выставить на радость всему миру хорошее настроение, когда оно у тебя водится!

Их много, около двухсот, калиток в Чутуре. Они отличаются друг от друга в той мере, в какой отличаются сами хозяева, скототившие их. Эти калитки ничего не прячут, они выставляют напоказ все, что у них есть. Тут говорят о земле, там жалуются, там проклинают, а иногда можно набрести на такую небылицу с бантиками, что будешь век смеяться. Со временем забудешь и саму небылицу, и ее бантики, а все еще будешь пребывать в хорошем настроении, которое, что там ни говори, украшает жизнь человеческую.

Калитка Карабуша была низенькая, неказистая, сплетенная из облупленной лозы. Но было время, она числилась на хорошем счету. С ней считались другие калитки, о ней помнили, перед ней заискивали. Потом калитка Карабуша погрузнела, часто пустовала, а если велись там какие-то разговоры, то были они грустные, все о земле да о земле.

Карабуш таскался по судам. У него были три гектара, но разбросаны они были по всем наделам. Лучший его участок, около полудесятины, оказался зажатый землями Хараламшия Умного. Тот и в самом деле был не дурак — все копил и покупал земли, теперь от села до самого леса были его владения, и только вот эти карабушские полдесятины мешали ему сказать при случае, что вот, мол, от села и до самого леса все — мое!

Он долго уламывал Онаке обменять, продать тот участок, причем за ценой не стоял, да только не хотелось Карабушу расставаться с этим отцовским наследством, хоть ты что. Не сумев убедить его разумными путями, Умный стал прибегать к неразумным. Осенью и весной, во время

пахоты, он нет-нет да и слизнет у Карабуша две-три борозды.

Встревоженный Онаке, чтобы межа не уползала, посадил с десяток вишенок вдоль нее. Умный вишен не любил, он сроду их в рот не брал и потому, выкорчевав плугом вишни, посадил там, где ему мерещилась межа, черешни. Это, в свою очередь, вывело из себя Карабуша, и он плугом выкорчевал черешни.

И началась мучительнейшая эпопея в жизни степных пахарей — отсуживание межи у соседа. Эти бесконечные траты на адвокатов, эти бессонные ночи перед судом, эти бесконечные хождения по мукам, потому что процессы шли годами, но вдруг одна из сторон оставляет самовольно поле брани, и, чу, что такое?

А ничего особенного. Просто как-то под вечер Онаке Карабуш вышел, стал у своей калитки и заулыбался, хотя суд так и не вынес окончательного решения. Возвращаясь как-то из Сорок в сырую, ветреную погоду и набив на обеих ногах кровавые мозоли, он часто и подолгу отдыхал. Стояла поздняя осень, степь была голая, только и затишье, что за телеграфными столбами. Постояв то за одним, то за другим столбом и наслушавшись таинственных песен древесины, он вдруг подумал: и с чего это они мне голову морочат? И у самого своего дома, увидев калитку, подумал: «Боже мой, как я мог ее забыть!» И вот он стоит у калитки и улыбается.

Вокруг дома бегают со всех ног стройная девушка лет семнадцати, наматывая пряжу для дорожки с ярко-ярко-красной каймой. Ей нравился человек, стоявший у калитки, она не могла скрыть своего интереса к нему и, появившись с намотанной пряжей, спросила:

— Отец, а вы чего улыбаетесь?

— С чего ты взяла! Стою так, по-стариковски...

Девушка не поверила, да он и не настаивал, чтоб ему верили. Нуца вошла с пряжей в дом, а Карабуш остался на прежнем месте, поджидая толкового человека, чтобы рассказать ему то смешное, что он только что вспомнил. Несколько человек пробовали заговорить с ним, да он не поддался: хорошую небылицу нужно знать, кому загоняешь, иначе угробишь ее ни за что.

В сумерках показался из переулка Тудораке Морару с большим топором на плече. Шел по улице, точно спешил на пожар. Стал он высоким, догнал ростом отца. Что-то молодеватое пробивалось в нем, и только излишняя застенчивость мешала этой красивой ловкости пока-

заться на свет божий. Онаке решил поведать свою небылицу только Тудораке и, чуть выйдя из калитки, спросил:

— Откуда возвращается молодец?

Тудораке не верилось, что кто-то может считать его молодцом. Посмотрев на Онаке, опустил топор, скупно улыбнулся, благодаря за доброе слово.

— В лес ходил, думал, может, пару бревен...

— Зачем тебе бревна?

Как-то так выходило, будто Тудораке пошел в лес не потому, что отец послал; просто ему понадобились бревна, взял топор и пошел в лес. Тудораке такой оборот дела необыкновенно понравился.

— Да вот забор был нужен, отец снова поссорился с дядей, и теперь без забора трудно. То наша курица к ним залезет, то ихний теленок к нам забежит.

— Что ж лесник, не дает рубить?

— Не дает.

Карабуш улыбнулся: ясное дело, какой лесник даст рубить! Но, однако, рубят люди как-то...

— Вот, парень, говоришь, что лесник не дает рубить... — Прищурив глаз, сладко причмокнул, вздохнул. — Да ты положи топор сюда, на травку, пусть отец с дядей сначала разберутся, чьи куры и чьи телята. Да... Было мне тогда лет семнадцать, нет, побольше. Хотя погоди, что же это я вру? Даже семнадцати не было. Ну, так вот. Пошел я было тоже в лес за дровами. Лесником был тогда один, по фамилии Казаку. И была у него дочь моего возраста... А ты знаешь, Тудораке, что значит красивая девушка, когда и отец и мать были в свое время немисливо красивы? Ты не знаешь? Тогда я тебе скажу, что значит красивая девушка...

Тудораке стоял завороженный и счастливо мигал после каждого слова. Уже совсем стемнело. Нуца выбегала несколько раз, звала отца ужинать. Онаке был вынужден прервать свой чудный сказ, пообещав Тудораке, что, может, как-нибудь в другой раз...

На другой день начало этой небылицы взбудоражило всю чутурскую молодежь. К вечеру Тудораке, а с ним еще несколько парней выискали себе какие-то дела в той части села, где жил Онаке Карабуш, и нет-нет да и пройдут мимо белой лозовой калитки. Идут, замедлят шаги, приутихнут: кто знает, возле каждой калитки можно услышать нечто интересное, а возле этой тем более.

Ближе к сумеркам, побрякивая, вышел Онаке.

— Вчера вы как-то стали рассказывать...

И засмеялся самодовольный Карабуш.

— Рассказывал! Да я только чуть-чуть завел речь, потому что, да будет вам известно, эта красивая лесничиха была сущий дьявол!

Затем день за днем, вечер за вечером круглую неделю чутурская молодежь стояла, тесно обступив лозовую калитку, и слушала затаив дыхание. Изредка выходила Нуца звать отца ужинать, безжалостно прерывала историю в самых нервующихся местах, но парни не обижались: ладно, они же с ней играли в жмурки, ходили в школу.

Как-то вечером, когда все нити рассказа свелись к тому потрясающему моменту, когда все решало мгновение — было или не было, — Нуца позвала отца в третий раз, и Онаке, вздохнув, так и не завершил свою эпопею.

— Ладно, как-нибудь в другой раз...

На другой день вечером он не вышел. Стояла поздняя осень. То дождь, то туман, а между дождями и туманами, наискосок, через дорогу, обитает господин ревматизм.

Парни еще не знали, что это такое, и по вечерам места себе не находили, им хотелось во что бы то ни стало узнать, чем кончилось дело у лесника. Они снова и снова собирались у калитки. Ждали долго, потом как-то пришло Тудоракию в голову: что, если войти в дом, разузнать толком, когда, где и что.

Ждали его ребята, ждали, а Тудораке не спешил вылезать обратно. В доме было чисто, тепло. Тянуть с Карабуша конец рассказа он не стал — умный человек сразу поймет, что при женщинах всего не расскажешь. К тому же Нуца вдруг выросла и стала очень похожей на дочку лесника, и, хотя неизвестно было, чем там кончилось дело, было ясно, что здесь история с бантиками еще не начиналась. Сидеть бы вот так и проследить своими глазами, как тут все обернется...

Тудораке расселся по-хозяйски, принялся рассказывать, отчего поссорился отец с отцом Мирчи. Только теперь он был хитер: рассказывал с таким расчетом, чтобы к самому главному едва подойти. Было уже далеко за полночь, когда Тудораке ушел, обещав как-нибудь зайти досказать остальное. Но ему не суждено было кончить свой рассказ: на следующий вечер он застал в доме Карабуша много парней, и тема разговора была совсем другая.

Шла осень, голые поля уже дышали холодом. Целую неделю висели над деревней тяжелые, угрюмые тучи, чутуряне поспешили все смолотить, припрятать, и немислимое

количество свободного времени обрушилось на Чутуру. Женщины пряли днем и ночью, чтоб приодеть семью, мужики сходили с ума по земле, а у молодежи появилась новая страсть.

Три низеньких окошка в доме Карабуша светились по вечерам до самых петухов. Неизвестно, куда исчез с их двора рыжий кобелек, имевший обыкновение молча хватать за ноги прохожих, не отличая своих от чужих. Когда шли дожди, Онаке стелил возле крылечка охапку соломы, чтобы в случае большой охоты можно было ноги вытереть.

Когда повалил первый снег, в доме уже не хватало ни лавочек, ни скамеек. Ей было семнадцать лет, она сидела возле печки, пряла, думала о своих каемочках и, казалось, понятия не имела о том, что происходило кругом. А в доме происходили сущие чудеса. Самые робкие и застенчивые ребята вдруг пускались в длиннейшие рассуждения, а известные балагуры сидели, стыдливо опустив ресницы. Делили улыбки, делили взгляды этой самой Нуцы и старались во что бы то ни стало одурачить тех, кому особенно везло при этой дележке.

Они все были очарованы лохматой шапкой Онаке, повешенной на крюк, чтобы просохла; им бесконечно нравилось пить из эмалированной кружки с двумя красными петухами; они каждый про себя составляли отчаянные планы, как отомстить за бедного Карабуша, — вы только подумайте, сажает человек вишню...

Чутурские девушки постарше, встретив этого семнадцатилетнего бесенка, очень мило беседовали с ней и старались завязать близкое знакомство. Родители ребят, пропадавших по вечерам у Нуцы, находили глубочайший смысл во всем том, что говорил Карабуш. Зато чутурянки божились, что Нуца и особенно ее мамаша знают какое-то колдовство и, видит бог, рано или поздно они сами завоюют от своих заклинаний.

А парням нравилось, чтобы их колдовали, и они таскались сюда вечер за вечером. А за неделю до рождества, поздно вечером, когда кончился керосин в лампе и Карабуш завел было разговор о том, что и сон имеет свой смысл, появился еще один любитель небылиц. Вернее, влетел, не дав никому опомниться. Скрипнула калитка, донеслись шаги, легкий стук в дверь, и он уже на пороге, высокий, стройный, красивый. Черные, отливающие зайчиками волосы, крупные румяные губы и лицейский золотой квадратик на левом рукаве.

— Ника!

Он приехал на рождественские каникулы, но оказалось, что Чутура совершенно пуста. Днями его одноклассники отсынались, а что ни вечер собирались в доме Карабуша. Сорокский промышленный лицей и не претендовал на то, чтобы оторвать своих учеников от родных корней, так что Ника, как и большинство его одноклассников, жил от каникул до каникул. Волочиться за дочкой противника своего отца ему было как-то не с руки, но и одиночество было не по нему. Из двух зол следовало выбрать наименьшее, и вот наконец сделан первый шаг.

— Добрый вечер.

Нуца все устроила таким образом, что рядом образовалось свободное местечко, и прятла она с трудом потому, что некому было ту прятку поддержать.

— Дай я тебе ее поддержу!

Он не любил упускать то, что могло принадлежать ему. Нуца хотела узнать, сколько классов он кончил, сколько еще осталось. Учился в шестом, а сколько еще впереди, один бог знает, ибо дни человека, как то давно замечено, сочтены...

Прошел Новый год, прошли каникулы. Недели две Нуца тосковала, потому что тот, который ей больше всех нравился, уехал. А потом нагрянули февральские метели, поклонников почти совсем не стало. Хотя метелям тем суждено было сыграть большую роль в ее жизни.

В Сорокском суде началось новое слушание дела о Вишнях и Черешнях. У Карабуша своих лошадей в том году не было, и он решил не таскаться туда по такому холоду. У Умного были две пары лошадей, но ему тоже не хотелось вылезать из дому в такую холодину, и, полагаясь на своих адвокатов, он передал сыну заглянуть на процесс и отписать, как, мол, там прошло...

Едва стихли метели, и Нуцыно сердечко екнуло, потому что, вы не поверите, она еще издали узнала его шаги и, о господи, это был-таки он!! Ника вошел с большим синяком под правым глазом и с выпиской, из которой следовало, что процесс выиграли Вишни.

— Аминь, — сказал Онаке и поспешил достать из погреба кувшинчик вина — кисловатое, а все-таки свое.

Дом был полон. В честь справедливого сына все выпили по стаканчику. Выпила и Нуца, пожелав ему окончить еще много классов. Ника рассказал несколько подробностей, относящихся к тому, как его отец понимает юридические законы, привел в доказательство свой синяк

и поспешил уйти. Нуца вышла проводить его, на улице шел снег, они прикрыли наружную дверь. Он что-то сказал, она засмеялась, и стало тихо-тихо.

Она часто выходила провожать парней, но как-то быстро зябла, ей что-то мерещилось под забором, и она спешила вернуться в дом, а на этот раз и не зябла, и ей ничего не мерещилось. Долго стояли они там, в темных сенцах, и не доносились ни смех, ни шепот. Целый час, целую ночь, целую вечность не возвращалась она, а когда наконец вернулась, увидела только свое веретено, и пряжа того вечера не годилась даже на то, чтобы подзадорить кошку.

Застонала молодая Чутура: эти дочки лесников, видать, ведьмы от рождения! Они целую осень таскались сюда, износили по паре обуви, с таким трудом добывали две-три шутки, дорожили ими, как сокровищами, а тут влетает красивый, чубатый, с крупными губами, и стала молодая Чутура безнадежно нищей. Хотя в отчаяние никто не впал — должно быть, откуда-то уже знали, что жизнь человеческая немислимо длинная, что случается всякое, и никто не может сказать, с какой стороны подует ветер завтра.

В семнадцать лет Нуца стала счастливой — явление такое редкое и вместе с тем так часто встречающееся в этом возрасте. Ника так и не вернулся оканчивать лицей. В нем просыпался мужчина. Хоть отец и слыл Умным, сам он тоже был не дурак. Он любил, он был любим, а что еще в жизни человеку нужно?!

Теперь по вечерам уже никто, кроме него, не приходил к Карабушам. Зато Ника аккуратно являлся каждый вечер, сидел там допоздна, и видит бог, никого больше в том доме и не ждали. Так прошло лето, а осенью все решилось в течение каких-то двух-трех недель.

Как-то под воскресенье Ника послал сватов к Карабушам. В воскресенье по окончании службы жена Умного стояла у ворот церкви и так отчитала Тинкуцу и ее дочь, что, казалось, краснели и дороги, и заборы, и крест на сельском храме покраснел. В понедельник Ника спрятался в конюшне и затянул вожжи вокруг шеи — его спасли в последнюю минуту. Во вторник уже сам Умный вместе со своей супругой пришли к Карабушам извиняться — господи, погорячились, всего один сын, а ученье так шло ему, так его хвалили профессора! В среду заново сосватали Нуцу, уже с ведома обоих родителей. В пятницу Нуца села в фэтон жениха, и они поехали в Сорочи сва-

дебное платье покупать. А в субботу Умный пришел к Карабушам выбрать хороший, славный денек для свадьбы.

Онаке Карабуш ходил какой-то отреченный, неприка-  
янный и немного глуповатый. Это с ним бывало и рань-  
ше, вдруг ни с того ни с сего человек глупеет, но это  
всегда ему для чего-то нужно было. Теперь, вероятно,  
глупость должна была спасти дочь, ибо Глупому с Ум-  
ным не по пути. Рано или поздно, Умный Глупого  
околпачит, но, к сожалению, дома его предчувствий ни-  
кто не разделял. Тинкуца была счастлива породниться с  
клетчатой шалью, сыновья были рады занять родню на  
западе, что до самой дочери, то она была вообще невме-  
няема.

О, великий боже! Совсем другое имел он в виду в тот  
далекый вечер, когда вышел к калитке рассказать весе-  
лую небылицу с бантиками парнишкам с их окраины. Он  
думал отыскать хорошего, скромного парня, помочь ему  
поставить домик где-то рядом, в восточной части, чтобы  
быть поближе, но пришел Случай и все перевернул вверх  
тормашками. И нужно поднимать руки вверх — куда де-  
нешься. Когда человек остается совсем один, он должен  
уступить, чтобы не оказаться совсем уж в дураках. Она-  
ке уступил, но судьба не уступила.

За неделю до свадьбы, в четверг, отправив сыновей в  
овчарню, Онаке поехал пахать те самые полгектара, кото-  
рые отходили в приданое. Конечно, с этим можно было и  
не спешить — у Умного и лошади получше, и плуг бе-  
рет поглубже, но ему хотелось еще раз побыть на том  
клочке земли, из-за которого он судился и который те-  
перь, видит бог, уплывал от него навеки.

Нуца молча прощалась со своей семьей. В последние  
дни она стала на редкость ласковой и послушной, она  
хотела остаться в памяти хорошей дочерью, хорошей се-  
строй. И в тот день словно грех ее надоумил идти в поле,  
навестить пахавшего там отца, причем пришла она, как  
раз когда все было вспахано и нужно было помочь снять  
последние невспаханные бровки у самой межи.

Для нее это было не ново, она тысячу раз вела лоша-  
дей под уздцы, взяла их и на этот раз. Вокруг стоял сте-  
ной подсолнух Умного, и так в том году уродил подсол-  
нух, такие огромные шляпы свисали над пахотой, что и  
Онакию, и Нуце, и самим лошадям приходилось то и де-  
ло уворачиваться от ударов.

Они уже почти все закончили, около ста шагов, не более, оставалось до дороги, как вдруг из глубины этих подсолнечных лесов откуда-то выскочила гигантская рыжая лиса и, нырнув коням под брюхо, скрылась в подсолнечнике по ту сторону нахоты.

— Тпр-у-у-у...

Лошади, тихие старые клячи, вдруг встали на дыбы, затем, дико захрапев, свернули с борозды и понесли наобум по подсолнечнику. Онаке крикнул дочери бросить поводок, и она бросила его, отбежала, но плуг, вылетев из борозды, валясь на бок, задел ее ручкой по колену. Она взвыла от боли, и Онакию показалось, что слышал, как железо ударило в кость, он слышал хруст. Удар пришелся по коленной чашечке, а ему, прошедшему войну, было известно, что это такое.

Через полчаса лошади мирно жевали возле телеги, Нуца, сидя рядом, мазала слюнками ушибленное, уже разбухшее колено, рыжую лисицу поглотили подсолнечные леса, ну а сам Карабуш уже в который раз стоял у разбитого корыта.

Нуца держалась молодцом.

В тот же день, под вечерок, она шла веселая как ни в чем не бывало к колодцу. Она шла легко, игривой походкой и только изредка вытирала холодную испарину на лбу. Но обратно, с полным ведром, Нуца уже не могла идти. Она искусала губы, отдыхала через каждые два шага, и, даже когда не двигалась, было видно, что она хромотает и что у нее уже не те легкие, стройные ноги, которые так нравились Чутуре.

Во дворе Умного стояла запряженная телега, которую собирались послать в Кодры за хорошим вином. Но тут начали приходиться чутурские старушки, что-то нашептывать. Харалампие, закрывшись в доме с сыном, долго совещался. В тот же вечер он передал Онакию Карабушу, что для свадьбы они еще не готовы и очень просят, если только можно, отложить на неделю.

Всю эту неделю Нуца целыми днями бегала по Чутуре. Она была такая же стройная, такая же веселая, она ни капельки не хромала. Только ее маленькие крепкие ручки кромсали все, к чему бы ни притрагивались, только ее карие глаза, помутневшие от боли, метались во все стороны, да еще временами вдруг срывался голос — это было очень смешно, и она сама смеялась над этим.

А дотошные старушки неотступно следили за ней. Господи, для чего же они еще и жили, как не для того, чтобы следить! Они поджидали Нуцу в тихих переулочках, когда та шла одна, и, спрятавшись за акацией, вздыхали: прихрамывает-таки, бедняжка.

Свадьбу отложили еще на две недели. Онакий Карабуш запил, и Чутура стала забывать о ней: уж если свадьбу дважды переносят, а отец невесты напивается в корчме!.. Но зря спешила Чутура быть умнее других — в конце концов она таки состоялась, эта свадьба.

Стоял теплый воскресный день. Осыпались уже и орехи, и весь двор Харалампия Умного, окруженный орехами, был покрыт мягкой, шуршащей, но все еще пахнувшей листвой. Играл привезенный из Ясс знаменитый оркестр военных воспитанников.

Ника был немислимо красив. Все, что должно было в нем еще расти и наливаться соком, вдруг, в какие-нибудь два дня, налилось и расцвело. Ахнула вся Чутура, когда он вышел станцевать свой последний вальс с молодой невестой. Кто знает, как ей будет танцеваться после свадьбы, важно, чтобы Чутура запомнила, как она была красива и как станцевала свой последний вальс.

А Чутура впервые в жизни видела эту невесту, и ей не понравилось, как она танцует. Чутура ничего не хотела запомнить. Чутура удрученно смотрела на низенькую смуглую невесту с коротко остриженными каштановыми волосами. Было почему-то неловко видеть, как неумело семенит она ножками и с каким глупым форсом вывернула ручку на спине жениха.

Чутура смотрела. Чутура ахала. Чутура недоумевала и спрашивала: кто такая эта невесточка, откуда ее Ника выкопал? Половина Чутуры молча пожимала плечами, другая половина тоже удивлялась, и только две-три старушки доверительно сообщали: как же, дочь нуелушского богача по прозвищу Удачливый. Они в поле познакомились, потому что земли у них прямо межа в межу, так что, видать, и в самом деле судьба...

Чутура стояла окаменевшая и горько качала головой. Чутура спрашивала: а что же та бедняжка, неужто так и не придет на свадьбу? Одна половина Чутуры молча пожимала плечами, другая половина тоже не знала. Только две-три старушки доверительно сообщили всем: «Боже мой, разве вы не слышали? Отравилась сегодня утром, как только привезли музыку и заиграл оркестр, Нуца отравилась».

Но они еще не знали Онакия Карабуша, не знали его дочери. Нуда не отравилась. Она долго ревела, закрывшись в доме, а после обеда, когда молодые уже обвенчались и свадьба разворачивалась вовсю, она пришла посмотреть.

Она шла со своими молодыми братьями, уже догнавшими ее ростом, в новом краевом платье и впервые за все эти недели захромала перед всей деревней, захромала за все ее веселые прогулки. Она сумела быть красивее той, на которой Ника женился. Даже хромающая, она была бесконечно красивей.

Пришла осень, три низеньких окошка в доме Онакия Карабуша стали светить бледно и скупно. Чуть посветят, лишь бы успеть поест, обменяться двумя-тремя новостями, и уже темно в доме. Более взрослые девушки, еще недавно заискивавшие перед Нуцей, теперь отворачивались, когда она шла по дороге. Чутурянки стали сомневаться, знает ли эта девушка и ее мать хоть какое-нибудь колдовство, или они просто так, любительницы. Наконец и сами чутуряне стали удивляться: что за человек этот Онаке Карабуш! Мелет, мелет у своей калитки, а если вдуматься, ну, ни одного умного слова!

## Летние степные ночи

Когда натруженные руки вдруг заноят сладко-сладко и им до боли захочется кого-то приласкать, когда затарахтит по деревне последняя запоздавшая телега, и ты вдруг почувствуешь себя бесконечно одиноким, и станет жалко самого себя, — вот тогда-то и наступают они на севере Молдавии, эти летние степные ночи.

И задышат долины прохладой, отголубеет знойное небо, станет синим-синим, как море. Лукаво замигают две-три звездочки. Кругом все замечает, загрустит. Другими станут поля, иными покажутся деревни. То, что было любу солнцу, все, что оно согревало, не нравится луне. У нее свои любимцы, она иначе светит, иначе греет. Со всех четырех сторон света сочится тишина, великое царство покойная подчинит себе все живущее — и засветятся добротой глаза, и тихо-тихо зажурчит речь.

Летние степные ночи... Они тебя и пожалеют, и похвалят, и на улицу выманят. Напоят до одури густой синевой, пропоют тебе все песни, что в том году поются, и променяешь ты все, что тебе в жизни любо, на одну только синеву, на одну только тишь. Все отдашь, потому что сладки они, эти ночи, как первый виноград. Со временем созреют гроздья, будут они и сладки и пахучи, но ни одна виноградинка не доберется уже туда, куда забрался тот первый, с кислинкой, виноград.

В степи боятся этих летних светлых ночей. Народ здесь излишне доверчив, он слишком рано дает себя одурманить. Еще подростком прогуляет чутурянин одно лето, напьется этой тиши. Озабоченные родители заташат его домой и назло этим ночам сыграют свадьбу. Поженят своих детей в 17—18 лет. Потом долго, целую жизнь, они будут возвращаться усталые и поспешно ложиться в сумерках, до наступления синих ночей. Но потом, случайно проснувшись в полночь, они увидят залитую лунным светом деревню, подумают: «Боже мой, неужели уже все прошло, неужто вся эта красота досталась другим?» Вздохнут, но заплачет сонно ребенок, они быстро укроют его, подумают, что хорошо бы лошадок подковать, да денег нет, а тем временем зарумянится восток, наступит день — и утихнет на время вся эта неожиданно прорвавшаяся горечь.

Они очень любят приbedняться, эти летние ночи. Им вечно не хватает хороших парней и красивых, озорных девушек, и они их все разыскивают, выманивают из дому. И бедные матери ходят в ужасе: с ума сошли эти ночи, хватают подростков, а они даже не успели поговорить с ними, не успели рассказать им, что к чему на этом свете.

И все-таки как их любят, как их проклинают, как их ждут не дождутся, этих летних степных ночей!

Долго, бесконечно долго гонялись эти ночи за смуглым, крепко сбитым парнем, да тот был не дурак. Синее небо ему было ни к чему, ему нужна была земля. Он с детских лет приобщил себя к земельной карусели, ему не терпелось залезть в эту отчаянную драку, все остальное его не трогало. Он умел за себя постоять, он не любил ничего неожиданного, и когда эти летние ночи перестали его выманивать, когда он уже начал было посмеиваться над ними, тогда попался и он.

Неважно, как все случилось. Очень сложно и вместе с тем необыкновенно просто, как это всегда и бывает. Летние ночи поплакали, подмигнули, подтолкнули и дружески похлопали по плечу, когда уже ясно было, что обратно ему не выбраться. Хотя, чего греха таить, виноват был и сам парень. Приходит час, когда сельские ребята начинают обретать ловкость, и тогда им угону нету. Мирче особенно легко давалась косьба, и он купил себе на заработанные им самим деньги косу, причем так ее подогнал, что соседи не уставали удивляться, а когда у человека есть своя личная, к тому же прекрасная коса, разве он усидит дома?

И Мирча косил. Траву, люцерну, спелые хлеба, свои и чужие, а когда косить уже стало нечего, сговорился с лесниками и за одну копну из четырех накопил уйму сена. А лесники знай себе подзадоривают молодое самолюбие, потому что после Мирчи стерня как бритвой выбрана. К тому же он и высушивал и скирдовал хорошо. Польза и одной, польза и другой стороне.

Около полуночи лошадки Николае Морару вывезли на широкую Памыntenскую дорогу высокий воз сена, крошечную шляпу над ним и мастерский свист, решивший во что бы то ни стало завести шашни с этой хитрой Марицей.

Марица, Марица,  
Девчопка молодая...  
Сережки и бусинки  
Я тебе куплю...

Старая Памыntenская дорога, измотанная знойным летним днем, лежала, задавленная пылью. Только ветерок пробежит босиком через поля, задумчиво прошелестит верба в овраге, и снова тихо кругом. Огромная луна с впалыми щеками повисла над горизонтом и, поразмыслив, нехотя, царственно стала подниматься в небо. Густая синева забила мелкой волной. Изредка промелькнет колодец на перекрестке, звонко забьется капель, просачиваясь из одного копытного следа в другой.

А лето только что начинается, и ночи только что пошли. Далеко по всему полю расплылась огромная тень, почти непохожая на воз с сеном; она даже не движется — стоит на месте, а телега едет и никак не оторвется от этой длинной тени. Удушливый запах свежего сена не

дает покоя, и парню все кажется, что он слишком медлит, что другой на его месте давно бы уговорил эту хитрую Марицу.

Сережки и бусинки!  
Только поласкаю.  
Сережки и бусинки  
Я тебе куплю...

И вдруг Марица исчезла, песня оборвалась на полуслове. На обочине дороги, далеко впереди, показалась девушка. То постоит, низко и устало опустив голову, то вдруг пойдет, прихрамывая, и снова встанет. Беспомощно повисли длинные полурасплетенные косы. Маленькая кошелка, черная юбочка, а кругом огромная уснувшая степь.

Нуца...

Стояла теплая летняя ночь, девушка была одинока и незащитна, а он ехал на телеге, набитой душистым сеном. Они были оба чутурянами, они были ровесниками, они шли в одну и ту же сторону, им суждено было делить пополам и эту дорогу, и эту ночь.

Долго, на протяжении всей своей жизни, Мирча все возвращался к этой встрече. В разные годы он толковал ее по-разному, но, как бы он ее ни переосмысливал, всегда, как только вспоминал эту ночь, эту стройную девичью фигурку в поле, его всегда пронизывало острое чувство свежей, нетронутой радости.

Когда-то давно, в детстве, они таки дружили, но очень уж разными росли. Нуца была хохотуньей, а он замкнутым в себе. Когда в Нуцыном доме места не хватало на лавках, он сидел дома, поедаемый ревностью, но судьба, видать, была благосклонна к нему, и вот она стоит на обочине дороги, окончательно примирившись со своей долей. Дождается его робко и застенчиво — может, проедет, не узнав, может, вспомнит...

Он ее узнал. Было странно, что ночью, в поле, далеко от Чутуры, он ее все-таки узнал. В один миг, в одну секунду он понял, что все эти годы искал ее. Он искал ее походку в походке сотен других девушек, он искал ее косы, ее глаза.

— Что ж ты не поешь, Мирча?

Подъехав близко, Мирча остановил лошадей, растянулся на сене, чтобы лучше ее рассмотреть. Стоит внизу, маленькая, усталая, какая-то незнакомая.

— Ничего, допою в другой раз. Выдастся еще хороший вечерок...

— Не откладывай, Мирча. Пой, пока поется, потом, кто знает...

И слова ее зазвучали как-то по-взрослому умудренно — бесконечно горькими казались эти слова. Звонкий певучий голос приутих, задрожал, готовый вот-вот оборваться. Платочек, тысячу раз съезжавший на затылок, теперь так и остался лежать пыльным калачиком вокруг шеи. Голова поникла, а глазам как-то трудно смотреть далеко, и они пристально разглядывали пыльную дорогу, смотрели на нее, близкую, лежащую под самыми ногами. И только ее драчливые грудки да стройное тело все еще искрилось, все еще дожидалось хорошего, в меру пыльного парня.

— Откуда так поздно?

Нуца хотела улыбнуться, да как-то не сумела и вздохнула.

— Будто ты не знаешь, откуда я возвращаюсь.

Это знала вся Чутура, он был чутурянин и тоже должен был знать.

— Что там слышно, в этих Яссах?

На этот раз она улыбнулась.

— Не видел, что ли, как я шла? Денег гребут хорошо, а толку от этого...

Мягкий лунный свет облизывал туманную глубину степи. Глухой, таинственной ночной болью гудели долины: поплакать бы, да слез нету; посмеяться бы, да неохота.

— Большой, должно быть, город?

— Яссы-то? Город большой, красивый...

Сонно вздыхали лошади, прислонившись боками друг к дружке, луна поднялась в зенит, и тень телеги стала маленькой, коротко остриженной. Спать не тянет, но вместе с тем хочется, чтобы приснилось что-нибудь хорошее, необыкновенное.

— Что у тебя там, в кошелке?

Она, должно, совсем забыла, что у нее в руках маленькая плетеная кошелка. Она не знала, что там, вдруг ей самой стало интересно. Опустилась, порылась в своей поклаже.

— Хлеб белый. Дать?

— А ты сможешь забраться сюда?

Медленно, устало прихрамывая, она обошла телегу, соображая, как и за что можно уцепиться, вздохнула.

— Нет, не смогу. А хорошо там у тебя?

— Благодать!

Воткнув кнут в сено, привязал вожжи, медленно стал сползать. Потом, нащупав круп лошади, встал одной ногой, крепко прислонившись спиной к сену. Бегло как-то, с сомнением оглядел ее. Была она слишком долго любовью другого парня, чтобы стать заново любимой им. Была она слишком стройной и красивой, чтобы равнодушно помочь ей залезть в телегу, а летние степные ночи стучали молотками в висках: да ну же, не будь дураком, не будь разиней! Другой на твоём месте, знаешь, как лихо провернул бы все это!

— Давай, что ли, забираться наверх.

— Как же я залезу?!

Она была девушкой, ей не хотелось мыслить конкретно.

— Левой ногой ступи сюда. Правой рукой держись вот так. Потом правую ногу переставь...

Он не очень толково объяснил, у него почему-то сохло во рту, а она, к сожалению, стала слишком послушной. Она хотела сделать все в точности так, как было сказано, и именно поэтому все спутала. В самый последний момент сорвалась, поползла вниз, повисла у него на шее.

— О господи!..

Дышало жарким хмелем это сумасшедшее стройное тело. Она замерла, не дышала, и все то, что снилось чужим парням, все то, что прячет стыдливая девушка, вдруг пришло само к Мирче, вросло в его тело, и только сердце девушки дико билось воспоминаниями о своей горькой и большой любви...

— О боже, хоть бы не увидел кто...

Она с чего-то вдруг перешла на шепот, и эти горячие, трепетные слова, произносимые шепотом, буквально сводили его с ума.

— Да ты что! — сказал он как можно громче. — Вокруг, на десять верст, ни живой души...

— О господи, — сказала она еще тише, — лишь бы не увидели...

Они, конечно, не могли бесконечно висеть вот так, ни на чем, они должны были сорваться, и они таки сорвались...

Было больно, но они не жаловались. Было смешно, но они не смеялись. Стояли молча. Потом принялись разглядывать степь, дорогу, синеву неба. Если один смотрел на запад, другой старался смотреть на восток. Встретились все-таки слишком поздно, встретились совсем чужими.



Перезабыли все, что было между ними в детстве, а другого не было. И расстаться почему-то уже нельзя. За эти считанные секунды, что они висели, произошло нечто очень важное. В это короткое время перезнакомились заново их руки, ощутили совсем близко чужое дыхание, переняли теплоту друг друга, содрогнулись оба в одно мгновение, пронизанные сладким чувством, и это чувство навсегда оставалось их тайной. К тому же ее шепот, о этот шепот, он буквально сводил с ума своими туманными тайнами, своими обещаниями...

Они стояли и смотрели, один на север, другой на юг, а где-то на горизонте небо уже начало голубеть, и было жалко, что ночь уходит. Дорога, и степь, и поля — все в мире замерло, отвернулось, и только буйное душистое сено спрашивало: «Что же, едем домой? Постоим еще?»

— Мирча... Видать, и тут мне не судьба. Я, пожалуй, пойду пешочком...

— Ну зачем же...

— Не так уж далеко. До свидания...

— Счастливо.

Но она все стояла со своей кошелкой, а он и не собирався ее провожать. Потом неожиданно вспомнил. Подошел к телеге, вытащил из-под сена бревно и, прислонив к телеге, укрепил.

— Вон там, на самой верхушке, вишня созрела. Любишь вишню?

— Люблю.

— Давай, залезай!

— А никто ничего?.. Поймают ведь!

— Лезь, не бойся.

Она устала, она стыдилась, но ей очень нравились вишни, и она залезла. Ему тоже нравились вишни, он залез тут же, следом, телега тронулась, а бревно осталось лежать на удивление завтрашних прохожих, пока не найдется умный мужик и не потащит к себе домой.

Их было много, их было тысячи тысяч, лесных цветочков. У них были свои полянки, свои птицы, свои капли росы по утрам. В свой срок они буйно зацвели, принарядились, размечтались, но пришло время сенокоса, и все кончилось. Завяли листочки, сморщился цветок, ушла сама поляна, и вот они лежат грудкой, покачиваясь на телеге. Но еще что-то оставалось от той буйной молодости,

оставался острый, дурманящий запах. Оно пахло, оно беспощадно пахло, это сено, оно мстило за себя, заставляя весь окружающий мир спешить во что бы то ни стало, спешить, не то придет коса.

Она потеряла в сене кошелку, принялась ее искать и плечом нашла щеку Мирчи. У него не слушались лошади, и, подергивая вожжами, он нашел локтем ее маленькую грудь. Луна скользила к закату, таяла луна, сено пахло с дикой лесной беспощадностью, и ехала с ними на телеге песенка с сережками...

— Большой город Яссы-то?

— Большой, красивый...

Она уселась рядом, она решила кончить эту опасную игру. Взяла длинные косы, начала было заново заплетать. Скороговоркой то щебетала о каких-то пустяках, то умолкала. И вдруг рванула косы от себя, вцепилась в них зубами, любовно обняла, как маленьких детей. Упала, скошенная, как и весь этот мир лесного разнотравья, и зарыдала.

Телега съезжала с крутой горы, внизу еле-еле чернел узкий куболтский мостик. Храпели лошади, тревожно перезванивала сбруя, а она металась в своем горе, кому-то глаза выцарапывала, кого-то била ногами, и ситцевая юбочка свернулась, скатилась к поясу.

Потом, добив своего врага, Нуца утихла. Казалось, уснула, и только голые девичьи ноги устало и покорно лежали рядом с Мирчей. Они мягко отсвечивали женственной зрелостью, телега летела навстречу мостику, сено подпрыгивало, и у каждого цветка был свой аромат. Они казались огромным кладом, эти девичьи ноги, не то потерянным, не то нарочно вышедшим ему навстречу. А Мирча был бесконечно бедным пареньком. Одна только монета, один только медячок этого богатства сделали бы его счастливым на всю жизнь.

— Не плачь, Нуца, ну зачем ты плачешь?

Она уже давно утихла, но он все просил ее не убиваться. Натянул что было сил вожжи, потому что телега вихрем неслась под гору, а внизу змейкой вился мостик с двумя глубокими оврагами по сторонам. Днем, порожняком, и то было опасно проезжать его, а теперь, с полной телегой сена, с этими белыми, стройными ножками рядом...

Вдруг он решил: нет, так не должно быть! Им следует сначала хоть мост переехать. Одной рукой натягивая вожжи, другой взялся поправить юбочку, но один

палец, одна маленькая частица его существа коснулась этих ног и заявила, что умрет, но не вернется обратно. А мост безжалостно летел навстречу. Мирча послал на помощь вторую руку, но и та заявила, что не возвращается — довольно сена, довольно земельной лихорадки, хватит с них!

И когда лошади дико, обреченно захрапели, когда сено металось из стороны в сторону, когда они уже наполовину залетели в глубокий овраг, она подняла руку, немую девичью руку, она что-то хотела, о чем-то молила, эта рука. Мирча склонился над ней. Робко и застенчиво легла эта рука ему на плечи, позвала куда-то далеко, в то царство, где нет ни сена, ни стыда, ни мостов и есть только одно пронизывающее до боли острое чувство любви...

Летние степные ночи...

Бедные лошадки, они совершили чудо, они оправдали с лихвой наказания старых хозяев, когда их отправляли в путь с хозяевами молодыми. Они оплатили весь корм. Они с ходу пронесли ту телегу по узкому, кривому мосту, и не их вина, что маленькая соломенная шляпа все-таки слетела в овраг. Переехав благополучно мост, они остановились, долго и молча ждали признания своей необыкновенной ловкости, но в телеге уже никого не было. Лошадки были старенькие, время было позднее, они обижено вздохнули и устало поплелись домой.

Вообще-то лошади не любят изъезженных дорог. Дорога для лошади — это воспоминание о перенесенных насилиях. При первой возможности они стараются свернуть со старой дороги, проложить новую, по их собственному разумению. В ту ночь лошади Николае Морару попытались выкроить самый близкий и прошли самый длинный путь до Чутуры. Они забрели в перелесок и на старых пнях чуть не перевернули телегу. Они паслись и лакомились где им только нравилось. Они промучились, заехав в какой-то болотистый овражек, и только ранним утром, когда переехали Памыштенскую дорогу и окраина Чутуры уже выглядывала из-за косогора, почувствовали вожжи.

Нуца, увы, снова плакала. Она плакала и улыбалась сквозь слезы, потому что из-за нее, из-за него, по вине их горячей молодости осталось одно воспоминание от юбочки. А ночь уже покинула их, кругом рассвело, вот-вот солнце взойдет, а с этого мягкого, сводящего с ума

сена и до старенького платища, висевшего где-то дома на гвоздике, все равно что до луны. И она плакала.

— Хватит тебе убиваться! Давай посмотрим, что там у тебя в кошелке.

Разделили хлеб пополам, нашли в белой тряпочке кусочек брынзы. Поели. Кто всхлипывал, кто веселился. Потом он вдруг погладил ее головку, мягко и неумело, как ласкал когда-то давно, в детстве.

— Давай уж выручу.

Он устроил в сене маленький колодец, запрягал туда свою любовь, наказав потереть переносицу, если вдруг захочется чихнуть. Пальцами расчесал шевелюру, вздохнул тревожно, как школьник в день экзаменов, взял кнут, и телега стала подниматься к Чутуре.

Солнце взошло горячим, роса задымилась, начинался жаркий летний денек. Чутуриане на ходу, для пользы дела, обменивались шутками, балагурили с женами соседей, подбадривали скотину, толпились у колодцев и искренне удивлялись, видя в такую рань въезжавшую телегу: ехал, должно быть, бедняжка, всю ночь. При таком трудолюбии этот небось накопит за свою жизнь.

— Где же шляпа, Мирча?

— Пропил.

— Смотри, а то отец задаст.

— Да мы ее вместе пропили...

Мирча смеялся, смеялись и чутуриане. В самом деле, какой может быть разговор, раз сын вместе с отцом шляпу пропил!

Одна-единственная летняя ночь прорвалась к этому смуглому парню и совершила чудо. Вдруг исчезла застенчивость, он открыто смотрел в глаза каждому. Еще вчера он был торопливым, послушным сыном, ему все хотелось, чтобы его похвалили. Теперь он возвращался беззаботным, ему вдруг стало все равно, что скажут дома. Он был уже сам себе голова.

Первая женщина в жизни мужчины... Поразительная естественность в какой-то миг все разрушила, сожгла, а вместе с тем ничего не сторело, ничего не рассыпалось. Только все, что было, стало новым, крупным, устойчивым.

Чутуриане радовались: скажи, как он вырос, как врет!

Одна Нуца, сидя в своем колодце, ощущала скрытую дрожь в каждой шутке Мирчи. По верхушкам акаций она догадывалась, что едет он самым дальним путем, что лошади едва плетутся и больше всего ему хочется не застать дома отца.

— Откуда сено-то везем?

— Украл.

— Смотри, поймают.

— Это еще бабушка надвое сказала.

В середине Чутуры, прямо напротив церкви, шла большая стройка. В отличие от своего умного отца Мирча не захотел коротать век возле леса, и за большие деньги был куплен самый красивый участок в селе. Из белого, привезенного с берегов Днестра камня был поставлен большой дом с огромными, от стрехи до самого пола окнами. Теперь Мирча в каком-то смысле породнился с Никой, и это придавало остроту и пикантность их отношениям.

— Да зачем тебе такие большие окна?! — крикнули с воза, груженного сеном.

— Чтобы солнца было много. В солнечных домах дети растут сильные и духом и телом!

— Да откуда они возьмутся, те дети, когда в доме такие окна?

— То есть как откуда...

— Но, как я это дело понимаю, чтобы были дети, надо хотя бы изредка иметь возможность уединиться со своей законной...

— Ничего, это нас не заботит... Выберем ночку потемнее...

Его некрасивая жена кормит цыплят и дергает плечиком — что за дурацкие шутки у них тут, в Чутуре...

Дороги узенькие, акации растут высокие, временами приходилось ложиться на сено, чтобы ветви не исцарапали. Пригибаясь, Мирча каждый раз находит горячие губки. Боже мой, нашли время баловаться эти губки! Балагурия то с одним, то с другим, лениво сворачивая из переулка в переулок, он вдруг натянул вожжи, облегченно вздохнул, и телега остановилась возле почерневшей лозовой калитки.

— Ты знаешь, куда твои прячут ключи?

Им очень повезло. Овакий Карабуш, человек старательный и аккуратный, не только поспешил в поле чуть свет, но даже прихватил с собой обоих сыновей и Тинкуцу, заперев дверь маленьким замочком.

— Вот там, за тем камнем, лежит ключик.

Ей, должно быть, очень понравилось в своем колодце, и она не спешила вылезать. Чуть высунулась, оглядела, счастливо мигая, родной дворик: впервые в жизни уезжала она так далеко от дома. Подумать только, ее не было, а георгины уже цветут, и картофельная ботва выросла высокая, тропинки и весь двор чисто подметены — ее, верно, ждали. Мирча достал пустую кошелочку, забросил ее во двор перед самым домом.

— Что же ты, слезаешь, не слезаешь?

Нуца собралась уже проститься с этим буйным сеном, когда неожиданно из глубины сада показался Онаке Карабуш с огромным топором. Он встал посреди двора, рассерженный до невозможности. Искусство плотника давалось ему только при огромном возмущении, и, когда нужно было что-то обтесать, он дня два ходил сердитый, накапливая злость. Карабуш оглядел Мирчу долгим недоумевающим взглядом.

— Чего стал с телегой?

— Лошади распряглись.

Карабуш, открыв калитку, вышел, безглаголиво поправил сблю. Снял висящий клочок сена, ощупал, понюхал, но сено ему не понравилось. Вернувшись к себе во двор, он вдруг заметил заброшенную Мирчей кошелку. Взял ее игриво, одним пальцем, казалось, вот-вот обрадуется, как радуются вещам, которые считают окончательно потерянными. Но, не успев обрадоваться, призадумался, что-то вспомнил, мельком и краешком глаза покосился в сторону телеги. О, нет, подумал он. Нет и тысячу раз нет. Скупю, одними губами улыбнулся, резко тряхнул старой седой головой и замер, держа в одной руке топор, в другой — плетеную кошелку.

Он уже не видел телеги с сеном, а разглядывал только парня с непокрытой головой. Даже, казалось, не разглядывал — распахивал Мирчу медленно и тягуче, борозду за бороздой. Он распахал его руки, его грудь, его голову, и Мирча, обливаясь холодным потом, почувствовал на переносице прохладное острое топора, качавшегося в руках Карабуша.

— Ты мне ее подбросил?

— Это ваша кошелка.

Карабуш издевательски улыбнулся: скажите, как легко нашел этот парень нужного ему дурака! Подошел, медленно и ловко забросил кошелку обратно в телегу с сеном и, повернувшись, стал намертво у своей калит-

ки, словно ожидая, что весь день ему будут подбрасывать во двор всякий хлам. Телега тронулась с места, стала спускаться по переулкам, а Карабуш стоял и долго, не мигая провожал ее.

Николае Морару, нахлобучив шляпу на затылок, стоял посреди двора, сердито сплевывая. Его крепкие, широко расставленные ноги прямо-таки вросли в землю. Телега проехала под самым его носом, но он не отошел, даже не изменил позы. Ему важно было выяснить, кто же здесь хозяин; он ждал, чтобы хоть одна соломинка задела его или его шляпу, и тогда бы все выяснилось. Но Мирча хитер, и, когда отец устраивал ему экзамен, он умел отлично поставить во дворе телегу.

Рядом, за низенькой изгородью тетушка Сафта собирала коноплю. Плечи и спина обсыпаны ржавым конопляным цветом, позеленели руки. Она кашляла от пыли, от усталости, от острого конопляного запаха. Она кашляла, но стояла у изгороди, готовая в любую минуту заступиться за сына.

Еле-еле уловимым движением левой брови Николае Морару приказал сыну немедленно исчезнуть с телеги и, как только Мирча спустился, прислонил лестницу к возу, прихватив вилы под мышку, и, покрякивая, стал подниматься. Он был помешан на разных способах перевозки сена, он считал, что сено надо разгрузить тут же, пока жара не настала. Николае очень удивился, найдя там, наверху, маленькую плетеную кошелку. Лениво разглядев ее, брезгливо сбросил на землю. Потом взял вилы и собрался уже запустить их в самую сенную мякоть, да вдруг так и застыл. Медленно, будто выбираясь со дна морского, сначала выплывала голова, за ней плечи, длинные золотистые косы, и вдруг Нуца выпрямилась, независимо повела бедрами, и весь позор ее первой любви закачался рваными лохмотьями.

Он был грозен в эту минуту, Николае Морару. Она опустила голову, как покорная дочь, и все ее существо обещало бесконечное повиновение своему свекру.

Мирча почесал затылок, криво улыбнулся и сказал, глотая слова:

— Невестка... Ваша невестка, отец!

Николае Морару погладил ладонью левую бровь, что-то соображая, сплюнул далеко на землю и с нескры-

ваемой издевкой произнес фразу, которую Мирча не смог простить ему всю жизнь:

— И дожил ты, сынок.. Подбираешь с дороги надкушенные, брошенные другими яблоки...

— А если ему именно эти надкушенные и брошенные яблоки нравятся, вам-то какое дело?!

И вот Нуца, эта тихая и скромная Нуца, подняла голову, острой бритвой сверкнули карие глаза. Она оглядела руки своего свекра, оглядела его лоб, глаза. Посмотрела в самые зрачки Николае Морару и смотрела до тех пор, пока растерявшийся Николае не стал щупать ногами край лестницы, чтобы спуститься на землю.

Игра в невесты кончилась, начиналась другая, более простая, более жестокая игра. И Нуца в своей рваной юбочке, стоя высоко на сене, обжигала лютой ненавистью весь двор, всю деревню, весь мир.

Бедная тетушка Сафта, она никак не могла откашляться. А ей нужно было что-то сказать, она ведь была матерью, и она отрицательно качала головой: нет, никогда, ни за что в жизни!

Но было уже слишком поздно. Они приобщились к светлой степной ночи, эта ночь стала на всю жизнь их лучшим воспоминанием, и уже никто не смог бы справиться с ее дурманящей силой.

Мирча взял вилы из рук отца, забросил их наверх. Это сено было первым их добром, его разгрузка — первым их трудом, и Мирча сказал зло, словно всю жизнь разгружал с ней сено и она никак не могла взять в толк, как это нужно сделать:

— Давай сбрасывай! Только осторожно.

По дороге мимо них шла австрийка, сельская повивалка. Суждено ей было стать первым свидетелем их совместной жизни. Она смотрела долго, удивленно, потом, сухо улыбнувшись, спросила:

— Что подельваете?

У тетупки Сафты пропал дар речи, она плакала. Николае Морару никогда не опускался до бессмысленных бесед с прохожими бабами. Мирча спешил складывать сено, он был весь охвачен хозяйственным пылом, но Нуце эта старуха в скором времени могла понадобится, и вот, стоя высоко на телеге, притворно ласково улыбнувшись в ответ на сухую улыбку повивалки, ответила тоном молодой хозяйки, довольной и своим домом, и мужем, и вообще всем на свете:

— Вот сено выгружаем. Вы-то как поживаете?

## Горячие маки

Каждый год, сразу же после крещенских морозов, в доме Карабуша начинали появляться крохотные таинственные узелочки. Две-три щепотки, завязанные в белую тряпочку, вызывали огромное любопытство, и Тинкуца прятала их с поразительной находчивостью. Но что-то этим узелочкам не сиделось в своих тайниках, они нет-нет да и выглянут на свет божий. Карабуш никогда не унижался до того, чтобы заинтересоваться ими, но иногда, в минуту глубоких раздумий, его руки как-то сами по себе выгребали узелочки, развязывали, и он долго, удивленно перебирал таинственный мир семян.

— Тинкуца, это еще что?

Тинкуца стояла пораженная этой вездесущностью своего мужа, ее ресницы замирали, а старческие обветренные губы шептали ласково:

— Догадайся...

Начиналась весна. В узелочке лежали семена, а посев — это самое древнее, самое великое искусство человека. По ночам еще стонали метели, еще снег ухарски скрипел под каблуками, а пахари чуяли: дело идет к весне. Чутуряне копили силу, мечтали о длинной, во все поле борозде, а на долю чутурянок оставались приусадебные участки. Маленький клочок земли вокруг дома, затоптанный скотиной и заваленный всякой всячиной, с приходом весны впитывал в себя всю фантазию, все трудолюбие хозяйки. Здесь все было просто и бесхитростно, как дважды два. Все, что любят в этом доме, все, в чем нуждались прошлый год, было изображено аккуратными рядками. Картошка, капуста, морковь, огурцы. А когда все уже засеяно, но остались еще семена, чутурянки, в силу своей женской логики, разбрасывали их по всему полю на авось и все лето вели отчаянные бои с засухой и курами.

Каждый год примерно с середины февраля чутуряне заводили между собой умные и степенные беседы относительно посевов, а чутурянки молча обменивались семенами, наводняя свои дома крохотными узелочками. Онаке Карабуш, как, впрочем, и все чутуряне, никогда не снисходил до этих бабьих хлопот, считая, что женщины легкомысленно воспринимают самые мудрые советы и

хорошо усваивают только свой горький опыт. Но иногда его руки становились любопытными, и тогда он вынужден был выцедить из себя пару советов, о чем жалел круглый год.

В начале весны сорокового года Карабуш стал охотиться по всему дому за этими Тинкуцыми узелочками. Каким-то чудом крохотный клочок земли вокруг дома стал его больше интересовать, чем те два с лишним гектара, о которых он должен был заботиться. Он совал нос во все углы, его раздражал каждый узелочек, ему казались ничтожными все замыслы Тинкуцы. Потом он наткнулся на узелочек с невероятно мелкими серо-черными зернышками.

— Это еще что такое?

Он спросил тем низким, угрожающим шепотом, после которого в семье начинались ссоры. Тинкуца не любила ссориться, она валила на себя решительно все, в чем ее обвиняли, лишь бы не разнеслось по селу, что у них неприятности, но на этот раз, вцепившись взглядом в костлявые руки мужа, ответила зло и назидательно:

— Мак.

Карабуш скосил глаза в сторону жены, как бы прикидывая, какое расстояние их разделяет и куда он может попасть, если, не сдвинувшись с места, размахнется кулаком. Она стояла слишком далеко, и он спросил:

— Да на кой тебе эта холера сдалась?

— А чтоб красиво было во дворе.

— Что для человека главное — чтоб польза или красота?!

Карабуш был решительным противником мака. Как-то в детстве вместе с ватагой ребят он объелся сырыми маками, и двое суток его не могли добудить, думали, так и не проснется. Он выбрался из своей сонливости, но сохранил на всю жизнь глубочайшее отвращение к мелким серо-черным зернышкам. Тинкуца же, напротив, обожала мак, без мака она не могла печь свои знаменитые на всю Чутуру коржики и каждый год норовила притащить узелочек в надежде, что, может быть, ей удастся втихомолку посеять их. Если ей это и удавалось, Онаке выдергивал маки задолго до того, как они начнут цвести. Но Тинкуца не сдавалась. Наоборот, с каждым годом она приносила все новые семена. И теперь Карабуш, стоя посреди комнаты с узелочком, подумал, что в конце концов Тинкуца попросту может его пережить на не-

сколько лет только для того, чтобы засеять весь огород маками.

К тому же у нее были союзники. Километрах в десяти от Чутуры, за Нуелушами, дразнило крестьян небольшое ухоженное поместье. Арендатор, сухопарый и ловкий делец, никогда не сеял обычные для степи культуры. Ни кукуруза, ни пшеница его не соблазняли. Он сеял мелкостручковую венгерскую сою или мак. Европа была накануне войны, она с каждым годом поднимала цены на сою и мак.

Изредка арендатор нанимал поденщиков. Платил он хорошо по сравнению с другими — двадцать пять — тридцать леев за день, и к нему охотно шли. Особенно много народу ходило весной, когда в своем хозяйстве работы еще мало, а там можно было и подзаработать, можно было и в карманы семян набрать.

Потом эти дармовые семена начинали блуждать по деревне. Их выменивали, их дарили, их отдавали за просто так, но было у Карабуша какое-то врожденное отвращение к любому виду дармовщины. Он ее обходил как напасть, как чуму и часто тайком выбрасывал вещь, если не оплатил ее своим трудом. Тинкуца была женщиной, она иначе смотрела на все это. Долго будешь ломаться — останешься ни с чем.

— Ты, жена, эти семена в обмен или как?

— Уж тебе и это нужно знать!

— Ну-ну, — только и сказал Онаке.

Ссора не состоялась, но те неисчислимые обиды, которые они собрались выложить друг другу, остались неприятным осадком.

В апреле, когда сыновья Карабуша, проскандалив целое утро, чтобы выяснить, кому какая лопата должна достаться, вскопали огород, Тинкуца вынесла из дому свои узелочки. Оказалось, что мак исчез. Не то Карабуш выбросил его, не то сыновья сжевали. К великому удивлению Карабуша, Тинкуца не стала убиваться, а молча, даже как-то грустно принялась чертить грядки. И огород уже не занимал ее, и сеять она как будто разучилась. У нее пытались забрать тот крохотный мир, который был в ее власти, и теперь ее уже ничто не радовало — даже степная весна, это великое пробуждение природы, совершенно не действовала на нее.

Онакий Карабуш подумал с тревогой: а не заболела ли его Тинкуца? Винаватым он себя никогда не чувствовал, тем более перед женой, но ему стало жалко ее.

Он одобрительно отзывался о каждой криво прочерченной ею грядке, требовал от сыновей и соседей, чтобы они почтительно относились к его жене. А вскоре он был буквально потрясен, когда узнал, что у Тинкуцы появились какие-то свои, неизвестные ему тайны. По ночам, под самое утро, она стала подниматься с постели и тихо, на цыпочках уходила в соседнюю комнату, где спали только что вернувшиеся с гулянок сыновья.

Карабуш совершенно не мог себе представить, чем она там занимается. Она уходила в соседнюю комнату, точно в море опускалась, и не выплывала оттуда до самого утра. Ребят не будила, они богатырски храпели и до ее прихода, и при ней. Прясть или вязать она не могла, молитв ей не хватило бы на такую уйму времени, а спать там тоже не на чем было.

Эти ночные похождения Тинкуцы продолжались долго, недели две подряд. Онакия разбирало любопытство, и как-то ночью он тоже встал и тихо, на цыпочках пропел следом за ней. Светила полная луна, на полу валялась одежда, разбросанная сонными руками сыновей. Тинкуцы там не оказалось. Удивленный Онаке уже выходил из комнаты, когда увидел ее: она сиротливо, как лишняя мебель, стояла, прижавшись в уголочек, и отрешенно, не мигая разглядывала сыновей. Проникнувшись большой и непонятной тревогой, Онаке подошел, прошептал:

— Что случилось?

Тинкуца, не глядя на него, улыбнулась.

— Ты иди поспи.

— А чего тут стоишь?

— Смотрю на них, и мне как-то хорошо-хорошо...

— Брось, пошли спать.

— Я еще чуточку постою.

Сладко постанывая, сыновья переворачивались с боку на бок, и Онаке пошел досыпать, думая про себя, что лупить бы надо этих молодцов, а не смотреть на них телячьими глазами. Ощупью нашел лавку, на которой спал, укрылся теплым одеялом, но ощущение тревоги не давало уснуть. Он как-то вяло и самодовольно стал подумывать о том, что сыновья у него народ бойкий, да только все норовят пожить своим умом, а приструнить их у Карабуша не было ни времени, ни желания.

И вздрогнул Онаке Карабуш. Это произошло неожиданно и как-то неестественно, точно он не сам вздрогнул, а кто-то тряхнул его. Просочилась леденящая душу

мысль: не паралич ли? Сжал руки в кулаки, шевельнул ногами — нет, все в порядке, и тем не менее он вздрогнул. Не то лавка под ним задрожала, не то стены дома закачались, а ведь могло также случиться, что земля затряслась. Даже скорее всего земля, потому что весь лоб Карабуша неожиданно покрылся холодной испариной. Постоянное ощущение всемогущественного, неприкосновенного покоя земли было пужно Карабушу как воздух: при самом слабом землетрясении он весь покрывался холодным потом.

Он лежал под теплым одеялом и, словно зверь, над которым нависла смертельная угроза, весь превратился в слух. Он лежал и удивлялся: почему-то привыкли думать, что по ночам стоит тишина над деревней, а ее, оказывается, и в помине нет, тишины-то. Лопочет ветер по кудым садочкам, зевнула собака у соседей. Глухо, со звоном треснула балка на чердаке. Потом несколько минут сочной, одуряющей тишины, и снова шелестит молодая листва, и кошка, царапая дверь, просится в дом. А еще временами стал пробиваться откуда-то издали странный гул. Это был обыкновенный, ночной, не подающийся определению гул, но шел он из немыслимой дали, из глуби земли, и Карабуша залихорадило. Ему показалось, что сам он — сваленный бурей телеграфный столб, но провода остались, они действительно гудят теперь, глубокой ночью, и ссорятся два далеких мира, и будет худо и столбам и проводам.

Тинкуца так до утра и вернулась из соседней комнаты. На рассвете она вышла прямо во двор, принялась собирать мелкий хворост, готовить завтрак. За целый день она ни разу не улыбнулась, старалась не смотреть людям в глаза и все куда-то без толку спешила. В доме стало холодно, неуютно. У Карабуша пропала охота к работе; все, за что бы он ни принимался, казалось бессмысленным и ненужным. В конце концов он достал в старом комоде все свои воинские документы и задумчиво принялся перелистывать их.

По вечерам Тинкуца начала зажигать крохотную из синего стекла лампаду, висевшую перед образами, и Онаке Карабуш, немного смущаясь, принялся молиться. Тихо, одними губами бубнил он про себя отрывок из «Отче наш», молитвы, выученные в детстве на старославянском языке, в котором он не понимал ни слова.

Крошечная капля света, блуждавшая по насиженным мухами образам, и уютный запах масла успокаивали его, и он ложился просветленный, сама земля, казалось, засыпала вместе с ним. Только Тинкуца продолжала на рассвете выходить в соседнюю комнату, и Онаке просыпался. Легкий шорох Тинкуцыных юбок безотказно будил его, и до самого утра ему уже не удавалось соснуть.

После этой глупой истории с маком Тинкуца стала его избегать, а Карабушу очень нужно было поговорить с ней, пуститься вместе в ту бестолковую болтовню о жизни, которая, хотя и ни к чему не приводит, действует успокаивающе. Но Тинкуца его избегала. Чего-то она такое узнала, чего не знал еще он сам, и Карабуш принялся внимательно следить за всем тем, что она делала. И руки выдали Тинкуцу — ее руки, эти самые бесхитростные существа на свете.

Тинкуца стала содержать свой дом в немыслимой для Чутуры чистоте. Это был уже не дом, а монашеская келья: все выстирано, выштопано, подметено. Тинкуца внимательно разглядывала ноги всех вошедших в дом, ей важно было и то, как они сели и куда положили свой головной убор. Она убрала из обихода мужчин самые сочные выражения, совала им по карманам белые тряпочки вместо носовых платочков. Похоже было, она собиралась сдать свое хозяйство невесткам и задолго до свадьбы сыновей готовила дом к их приходу.

А земля все вздрагивала, стонала по ночам, и с поля доносился таинственный гул телеграфной линии. Гитлер проглотил уже пол-Европы, по деревням начиналась мобилизация, и Тинкуца спешила. Она хотела, пока суд да дело, женить своих сыновей, поставить им дома, вырастить внуков, умереть и быть похороненной в тех нарядах, какие сама нажмет. Она надоумила сыновей, и те условно поделили между собой хозяйство, и теперь все спуталось. Каждый должен был поить, запрягать и распрягать свою лошадь, каждый пекся о своем гектаре, и в довершение ко всему стала вдруг забегать Нуца и намекала на какие-то любовные похождения этих оболтусов, и все это выводило Карабуша из себя.

— Так, так...

Онаке как будто становился лишним в своем доме, с ним перестали считаться. Тинкуца спешила к своим выдуманным свадьбам, а сыновьям уже не хватало времени выслушать до конца то, что хотел им сказать отец.

Это Карабуша решительно не устраивало. Он начал готовить себя к трудной и жестокой беседе с сыновьями. Для начала он несколько дней ходил немым, как бы оповещая, что готовится к крупной беседе, но было уже поздно. Заботами о двух его сыновьях таинственно гудела днем и ночью телеграфная линия, и шестирядные провода опередили его.

В Чутуре появились знаменитые желтые береты. Завел на них моду грузный, тучный человек, директор местной школы. Никто не знал, какими судьбами забросило его в эту деревушку. Говорили, что он — разорившийся владелец нескольких мельниц. Учителство было для него последней степенью унижения, ребят он ненавидел, и спины маленьких чутурян должны были ответить за его коммерческий крах. Но, к великому удивлению всей деревни, жандармы при встрече с ним брали под козырек, вследствие чего чутуряне стали побаиваться своего директора. Они спешили поздороваться первыми и побыстрее проскочить мимо, а он, никогда не отвечая на приветствия, провожал их долгим укоризненным взглядом.

И каково было изумление чутурян, когда этот молчаливый человек, норотивший выкурить сигарету, так и не раскрыв рта, разразился речью! Как-то под вечер, отпустив учеников, он собрал во дворе школы всех чутурских парней, достигших восемнадцатилетнего возраста, выстроил в одну шеренгу. Прошелся перед ними ленивым шагом, изредка останавливаясь, чтобы влечь тому или другому пару пощечин. Каким принципом руководствовался он, распределяя эти отпечатки сильной и сытой руки, молодые чутуряне так никогда и не узнали.

— Вы, скоты! Родина-мать зовет вас к себе, а вы стоите, как ослы, засунув руки в карманы...

На этом, собственно, и закончилась его речь. Дальше следовала информация. Раз в неделю, по воскресеньям, надлежало собираться чуть свет на небольшой полянке у церкви. И на голове у каждого вместо этих глупых шляп чтоб был берет цвета хаки. Что касалось медных эмблем, призванных завершить мужскую красоту, они могут их получить бесплатно в канцелярии школы по мере приобретения беретов.

В восемнадцать лет желтые береты — это красота! Весь вопрос только в том, как раздобыть денег, чтобы обзавестись таким головным убором. У чутурян доволь-

но редко позванивала мелочь в кармане, а теперь, весной, когда хлеба оставалось в обрез и пасхальные праздники поглотили все до единого лея, просто смешно было заговаривать о покупках.

Целую неделю в доме Карабуша только и разговоров, что о беретах. Сыновья просили, умоляли, отказывались есть, протестуяще бездельничали по два-три дня. Тинкуца бегала по всем родичам, надеясь кого-нибудь разжалобить, а Онаке отшучивался: он советовал сыновьям выпросить сначала эмблему, а уж как и куда пристроить эти медяшки, он им покажет. У сыновей, когда дело касалось беретов, исчезало чувство юмора, и Карабуш вынужден был достать с чердака старую сучковатую палку. Как выяснилось, сыновья хорошо ее помнили, и на этом разговор о беретах иссяк.

Прошло два воскресенья, на поляну у церкви приходили два-три паренька в беретах и, покурив, расходились по домам. Родине-матери предстояло еще долго тужить по чутурским парням, но тут снова появились маки. Как-то рано утром Чутура проснулась от мощного, хриплого вопля:

— Ма-а-аки!

Нуелушский арендатор, имевший два трактора и десятка два хороших лошадей, обрабатывал маки, почти не панимал людей, лишь изредка давал заработать только нуелушанам. Теперь что-то случилось. Не то сломались тракторы, не то механики запили. Пришла прополка, маки зарастали бурьяном, и очень скупой арендатор вдруг расщедрился: двадцать пять лей в день, четыре дня работы — и носи себе на здоровье чудный берет!

У Карабуша была своя земля, он считал унижительным для себя и для своей семьи работать на чужих полях. Как-то за ужином, сообщив своим сыновьям, что он думает о маках и сколько примерно шкур сдерет с сынов за непослушание, он успокоился. Но на другой день, собираясь в поле, Карабуш заметил, к своему великому удивлению, что Тинкуца, переставшая ходить в поле с тех пор как подросли сыновья, сняла с чердака свою тяпку и аккуратно уложила ее в телеге рядом с тяпкой Онакия. Сыновья не показывались. Тинкуца без конца бегала в дом, но никак не могла их добудиться. Так и не разбудив, залезла на телегу и села рядом с мужем.

— Давай, поехали. Они потом придут.

Карабуш засмеялся: надо же иметь такую фантазию

и вообразить себе, что сыновья встанут сами, затоскуют по родителям и побегут за ними в поле!

— Да ты что? Не можешь их отлупить?

Он соскочил, вбежал в дом и спустя минуту вернулся растерянный.

— Где эти черти?!

— Пошли мак полоть. Береты, что ты хочешь...

— Та-а-ак...

Это было единственное, что мог сказать Онакий Карабуш о двух своих сыновьях, о жене и о самом себе. Молча выехали из деревни, лошадки едва плелись по степи, а Онаке долго, не мигая разглядывал бегущую вдаль телеграфную линию и думал: как удивительно здорово могут обворовать человека эти шестирядные провода! Уж, кажется, ничего у него не осталось, а они посмотрят и еще что-то унесут. И так ему хотелось распилить хоть один телеграфный столб и посмотреть, что там у него внутри, ощупать руками то, что глаза увидят, а ум не поймет.

Четыре восхода, четыре захода — и по Чутуре защеголяла молодежь в своих новеньких беретах. Они им не шли, эти береты, парни их не умели носить, они не с той стороны прикрепляли эмблемы, но они были счастливы и ждали ближайшего воскресенья, как ждут пасху или рождество.

А по ночам земля, на которой росли маки, земля, по которой ходили в беретах, земля, на которой таинственно пели шестирядные телеграфные провода, дрожала. Она стала стонать ночь за ночью, и тяжелый свинцовый гул будил по ночам степь. Тонко позванивало стекло в оконных рамах, дрожала посуда на столе, обваливались старые пристройки. Люди стали суровыми, молчаливыми, круглые сутки к чему-то прислушивались — не то к вчерашнему, не то к завтрашнему дню.

А тем временем наступило воскресенье. Ника, недавно демобилизовавшийся в чине старшего сержанта, ранним утром прошелся по Чутуре. Служба в армии пошла ему на пользу, придала какую-то породистость. Свернув к томившейся на поляне горемычной зелени в желтых беретах, выстроил их в три ряда и стал объяснять, что каждый носящий желтый берет является солдатом румынской армии.

Часов около девяти показался тучный и грузный директор школы. Он шел важно, в новенькой форме лейтенанта, а лейтенант в старой румынской армии — это больше капитана в любом другом войске. По допризывникам пробежала первая дрожь. Громкий, отзванивающий сталью голос Ники привел их в состояние восхищенной неподвижности, старший сержант подбежал и отдал рапорт.

Грузный директор процедил сквозь зубы:

— Доброе утро, детки!

Голосами бог не обидел чутурян, и ни пастухов, ни певчих они не занимали по чужим деревням. Три шеренги взорвались одним дыханием, весенним громом побежало по оврагам единое «здравия желаем!», но директор, нахмурившись, посмотрел долгим взглядом на Нику, как бы спрашивая: неужели эти птенцы что-то прощепетали?

— Вы, скоты! Я сказал вам «доброе утро»!

Началась военная муштра. Кругом на заборах висела детвора, стояли женщины, старики, но военная подготовка является государственной тайной, и Ника, скомандовав «направо», повел колонну в сторону леса. Вернулись они в Чутуру только под вечер. Из-под новеньких желтых беретов текли ручейки грязного пота. Взмокшие спины дымились, ребята еле плелись, но глаза у них горели каким-то таинственным, непонятным блеском. Они шли, распевая новую, неизвестную Чутуре песню:

Европа — наше сердце,  
Европа — наша кровь...

Как ни странно, а Чутуре понравилась эта песня, и через несколько дней ее распевали вовсю. Может, потому, что стояла весна, может, в силу своей врожденной музыкальности, а может, чутурьянам пришелся по душе этот боевой, маршевый ритм. Ведь что ни говорите, движение лучше, чем застой. Ну а в остальном чутурьяне жили по-старому, надевали на голову что попадется и продолжали ходить кому как угодно — кто с правой, кто с левой ноги.

Онаке Карабуш невзлюбил своих сыновей. В этих желтых беретах они стали паразитально тупы. Все распорядения, относящиеся к хозяйству, воспринимали с легкой иронией. Можно было подумать, что, будь они са-

ми главами семейства, рассудили бы умнее. Их все упо-сило куда-то, им не терпелось показать свою силу, ловкость, опозорить отца. В сумерках, не успев поужинать, они уходили из дому и возвращались под самое утро. От них несло табаком, и за завтраком они просили у Тинкуцы огурчика.

Онаке Карабуш остался без сыновей. Хотя они и продолжали жить в его доме, они доживали свои сроки, как солдаты доживают в казарме последние дни перед демобилизацией: дурачились, ругались и без конца выглядывали в окно. Все, что Онаке вкладывал в своих сыновей, было как-то перекручено, переосмыслено, они стали солдатами фашистского государства, чувствовали его защиту, и Карабуш был вынужден следить за собой, как бы не сболтнуть лишнего.

Как раз к этому времени Нуца, ожидавшая со дня на день возвращения Мирчи из армии, получила письмо, что демобилизация отложена, и в качестве компенсации — фотографию, на которой ее муж красовался на великоленном коне.

Служил он, правда, в пехоте, но хорошие фотографии охотно пересаживали пехотинцев на лихих коней, вырезав их головы, и хотя голова Мирчи была и вовсе криво наклеена, но это была первая фотография, которую он ей выслал за все время службы, и она просто сошла с ума. Одет он был парадно, с массой побрякушек, в военной фуражке, и над коротким косым козырьком по-осеннему золотились огромные листья. Нуца прямо обезумела от этих листьев. Она бегала по Чутуре, чтобы дознаться, что это за листья, и в конце концов прибежала к Онакию спросить его мнение.

— Говорят, что это дуб! Правда?

— Дура! Это маки.

Тинкуца ходила к соседям погадать на картах, возвращалась румяная, так как они непременно предсказывали появление в доме то бубновых, то трефовых дам. По ночам ей стали сниться музыканты, играющие у них на завалинке, и будто вся Чутура набилась у них во дворе. Она уже чередовала в своем воображении все свадебные обряды, мурлыкала песню о том, что Европа — ее сердце, выпрашивала у Нуцы мази для непокорных сыновних чубов и с наигранной горечью спрашивала Онакия: как же они останутся вдвоем?!

Опакый Карабуш стал часто бриться, иногда брился через день, чего с ним раньше не бывало. Бритва, при-

везешная когда-то из России, была старенькая, она уже никак не брала в толк, где нужно быть острой, а в каких местах надлежит только скользить по коже. Как правило, бритье кончалось множеством белых бумажных наклеек, облепивших лицо Карабуша, но он нисколько не унывал, так как за бритьем следовало самое приятное.

Гребешок у них был огромный, сделанный бродячим цыганом на долгие годы. По заведенному порядку, когда Онаке брал в руки гребешок, в доме наступала глубокая тишина. Расчесывал он реденькую седую шевелюру мучительно: сначала поднимал высоко над головой гребешок, как бы прицеливаясь, и все лицо его замирало в предчувствии непоправимой беды. Потом, сжав зубы, медленно, казня самого себя, пропахивал гребешком кожу до самого лба. После такой операции, близоруко щурясь, он выскивал улов и, сдув две-три волосинки с гребешка, начинал все сначала.

Бритье всегда было для Карабуша началом какого-то обновления. Но полного покоя ему не давали сложные полузабытые вопросы, дремавшие в нем тугими узлами. Припоминать он их не мог и только, расчесывая голову, удивительно четко нащупывал все, что не устраивало его в этой жизни. Гребешка он, видит бог, никогда не боялся. Стиснутые зубы и выражение безысходности — все это было из другого мира, оно приходило вместе с движением гребешка, и Карабуш расчесывал голову долго, часами, пока не начинала дышать пожаром вся кожа на голове.

А земля по-прежнему стонала по ночам, и вздрагивала вместе с ней протянутая через всю степь телеграфная линия, но желтые береты были сшиты из такого чертова материала, которому никогда не будет износа. Тинкуца с тупым бабьим упорством стала собирать все белые тряпочки, годившиеся на пеленки. По воскресеньям в церкви негде было яблоку упасть, по вечерам возле корчмы затевались драки.

То кусок в горло не лез, то невозможно было насытиться, то Чутуру распирали спесь первых богачей, то она скулила, как нищая, и Онакий Карабуш, бросив цыганский гребешок, решил, что теперь самое время сходить в Памынтены.

Таскался он туда редко и неохотно. Ему не нравились Памынтены. Это маленькое привокзальное местечко всегда спешило унизить, поиздеваться над его досто-

инством. Промотавшись по лавкам, по ярмарке, увидев своими глазами огромное количество денег, которые, позванивая, переходили из кармана в карман, Карабуш возвращался домой убитый, посрамленный, раза в четыре беднее, чем сам себя считал. Поэтому, если у него бывали какие-то дела, он поручал их соседям или родственникам. Но просить кого-то, чтобы разузнали, что творится в мире, нельзя, за этим нужно было сходить самому, и он отправился в Памынтены.

Он не знал, какие новости его ждут, хорошие или плохие, и поэтому не решился погнать своих лошадок наугад. Поплелся пешком. Всю дорогу смотрел себе под ноги, словно старался найги какой-то скрытый смысл в том беспорядке, в котором лежали по обочинам дорог булыжники. Его решительно ничего не интересовало из того, что происходило кругом, и, странное дело, он на всю жизнь запомнил эту пешую дорогу в Памынтены. Он запомнил, в каких местах телеграфные провода начали опускаться, а в каких стояли по-прежнему высоко. Запомнил, как выглядели посевы, хотя на них не смотрел; запомнил, кого обогнал, а кто обогнал его; не забыл он, и какие птицы летели над ним, и какие ветры носились по степи, сколько раз солнце тонуло в тучах, и какой был день, какое было число, и как далеко за Нуелушами стучали на маковых плантациях два серых низеньких заморских трактора.

В Памынтенах он первым делом пошел на вокзал и уселся на единственной скамеечке на перроне. Сидел спокойно, терпеливо дожидаясь поезда. Ему было решительно безразлично, какой поезд придет — товарный или пассажирский, его не занимало, с какой стороны он появится и в какую сторону уйдет и остановится или не остановится на вокзале. Важен был сам факт: раз ходят поезда и кто-то куда-то уезжает, кто-то откуда-то возвращается, значит, еще можно жить.

Недалеко от вокзала десяток грузчиков, облепив со всех сторон товарный вагончик, завопили что было мочи: «Взяли, еще раз взяли!» Карабуша всегда охватывал воинственный трепет, когда до него доходило это «еще взяли!». Сорвавшись со скамейки, он засеменял к грузчикам, но пришел слишком поздно. Вагон уже прилип к складским помещениям. Перекинули помост с рампы в открытую дверь вагона. Грузчики торопливо понесли мешки, помост, как ласковая кошка, выгнул спину, а кругом — одни мелкие серо-черные зернышки мака.

Прошлогодний урожай начал свое путешествие по белу свету.

Карабуш не стал дожидаться поезда. Спустился по низеньким, перекошенным деревянным ступенькам, пересек привокзальную площадь и зашел в первую же лавку. За прилавком стоял подросток-гимназист, должно быть, сын хозяина. Этот мальчик в обшитой золотом тулупе старался быть бесконечно учтивым с покупателями, и, пользуясь этим, Карабуш уселся на подоконнике и стал расспрашивать о ценах всего того, что лежало на прилавках. Он умел, этот Онаке Карабуш, через цены прощупать и работу телеграфной линии, и самочувствие дрожащего, стонущего по ночам земного шара. Все упало в цене, за исключением вил и топоров: эти бесхитростные крестьянские орудия стали раза в три дороже против обычного. Порывшись в карманах, Карабуш купил себе новые вилы, так и не зная, зачем они ему. Но он доверял ценам: раз подорожали, значит, со временем на вилы будет большой спрос.

Обратную дорогу из Памынтен он не помнил. Он всю жизнь удивлялся, каким это образом он вернулся домой. Не то полз, не то шел, не то ехал на чем-то. Покупка новых вил зачислила его в какую-то неведомую ему армию — были одни только вилы, больше ничего не было. Вернуло его на землю удивленное лицо Тинкуцы и ее, как показалось Онакию, очень глупый вопрос:

— Зачем ты их купил?

Шли дни, земля тряслась в сплошной лихорадке, и Онаке стал вспоминать длинную, почти до колен, домотканую рубашку, поясок с блестящей от долгого употребления пряжкой, седые прокуренные усы и большие, подтачиваемые грустью глаза. Из всех этих разрозненных предметов складывался удивительно живой и близкий, так что рукой можно было дотронуться, хмурый и сутуловатый человек. Это видение было очень кстати. Отца своего Онаке чтит необыкновенно, он и теперь, едва только в разговорах мелькнет его имя, вдруг чувствует себя маленьким и незащищенным. И вот странная вещь: хотя отца своего он почти уже не помнил, временами, когда ему становилось трудно, откуда-то выплывала длинная домотканая рубашка, поясок с блестящей пряжкой, седые прокуренные усы. Образ отца был для него иконой, учебником истории, товарищем по несчастью, судьей.

Новые вилы, купленные в Памынтенах, не понрави-

лись этому хмурому старику. Оглядев их, он грустно улыбнулся своими большими глазами, произнес про себя, как бы размышляя вслух:

— Повинную голову... Да ты, кажется, и сам это знаешь.

Да, Онакий Карабуш знал эту поговорку. Горькая история его земли, которую на протяжении многих веков рвали, сжигали и грабили, научила предков Карабуша повинно опускать голову перед грозно поднятым мечом. Но Карабуш еще не знал, что покорно опускать голову при полной своей правоте очень трудно, для этого нужно великое мужество, и, не обладай его предки этим мужеством, сегодня, быть может, не было бы ни Сорокской степи, ни Чутуры, ни самого Карабуша.

А покориться тоже нельзя было. Карабуш не стал бы ни за что носить желтый берет, он не любил мак. Кроме того, на него всегда нагоняли тоску военные марши. Песня, думал Онаке, сна как дыхание, она незаметна для чужого глаза, она рождается и живет привольно, как ветер над холмами, как вода в своем русле, и незачем без конца припечатывать ее каблуками к земле.

Как-то под утро, когда землю снова залихорадило, у Карабуша во дворе что-то грохнуло. Дико, неестественно заверещала кошка. Она ловила мышей в подвале как раз в ту ночь, когда погребу суждено было обвалиться.

Карабушу, всю жизнь относившемуся к кошкам как к чему-то крайне несерьезному, вдруг стало жалко ее. Он выскочил с лопатой и еще до рассвета стал разбирать обвалившийся погреб. Ему давно хотелось поработать так, чтобы пропотеть до ниточки, а все не попадалось умное дело. Рано утром он отправил сыновей в поле, дабы не раздражали его глупыми советами, и попросил Тинкуцу быть в тот день у него под рукой. Он не то чтобы нуждался в ее помощи, просто работа была важная, и ему будет удобнее, если Тинкуца, наведываясь через каждые пять минут, станет охать и причитать: вот как здорово, вот как ловко! Успех у женщин окрыляет мужчину — Карабуш это понимал не хуже других.

Тинкуца сказала как-то по-бабьему тупо: «Да, конечно, обязательно!» — и, собрав огромный узел грязного белья, смоталась на речку. Ее торопили выдуманные свадьбы, она жаждала чистоты и сплетен, а маленькая

речушка за Чутурой — это ярмарка всех деревенских новостей. Тинкуца шла посередине деревни, заманивая своим узлом чутуринок, но что-то никто не спешил за ней. К ее великому удивлению, у белых камней, на которых они стирали, решительно никого не было.

И Тинкуца обрадовалась, она удивительно легко умела все оборачивать в свою пользу. Что за беда, тем лучше, что никого нет! Не нужно прятать белье от посторонних глаз, да и мыло можно экономить сколько душе угодно. Замочив весь узел и просидев некоторое время с крохотным кусочком мыла в руках, обдумывая, какие бывают еще обряды по возвращении молодых из церкви, Тинкуца наконец принялась за стирку.

Рук своих она не жалела, а белые камни вообще никогда не жалуются. Она долго и придирчиво выбирала из узелка белье, которое крайне нуждалось в мыле, и всякий раз удивлялась: не пенится это чертово мыло, ну прямо совсем не пенится! Чистое расстилала на травке, чтобы чуть просохло, — легче будет нести домой. Перед самым обедом, расстелив на камне остатки белья и прицелившись мылом, она, легко вскринув, уронила мыло в воду, быстро оглянулась, высккивая горячими, обезумевшими глазами, нет ли посторонних. Нет, она была одна на речке. Схватив себя руками за голову, застопав от боли, она стала раскачиваться из стороны в сторону, как вечные, горемычные былинки, умеющие качаться при полном безветрии.

Один из ее сыновей не дождался свадьбы, одна чутурская девушка не донесла свою честь до этого старинного обряда. Они убили Тинкуцу, разрушив все, чем она жила! Тинкуца обзывала последними словами девушку, не зная еще, кто она такая, проклинала сына, не зная, еще, кого из двух прокликает. Ей вдруг захотелось кинуться в драку, завывать, устроить огромный, на весь мир, скандал. Ей нужны были союзники, люди такие же оскорбленные. В какой-то лихорадке она собрала белье, взвалила на спину и, вся надломленная от позора и тяжести мокрого белья, засемила к деревне.

У Карабуша дело не клеилось. Едва вытащив полуживого котенка, сняв половину земляного настила, он сидел теперь на травке и грязными руками разглаживал на колене клочок розовой, сухо шуршащей бумаги. Он даже не поднял головы, когда Тинкуца влетела во двор, не удивился, когда она выстиранное белье свалила в пыль рядом с погребом. Жена молча потянула его за рукав,

что-то зашептала, и Карабуш даже не заметил, как странно побелели у нее губы.

— Да говори же ты, что там у тебя...

Тогда она опустила на одно колено, обняла его, стала что-то шептать на ухо, и Карабуш зашелся мелким смехом: ухо щекотало теплое дыхание жены. Вырвав голову из Тинкуцных объятий, он снова стал серьезным. Предварительно заслонив ухо ладонью, еще раз выслушал ее шепот и улыбнулся — как-то криво, неуместно улыбнулся.

— А что, молодец! Знал, как подойти. Для чего же они созданы, девки-то?.. — И, видя растерянные влажные глаза жены, теряющие последнюю нить здравого смысла, сказал примирительно: — Ты все эти глупости брось. Вот начинай лучше меня готовить в дорогу. — И, погладив розовый лоскуток, сказал, судорожно глотая слова: — Получил приказ. Мобилизация.

И в ту пятницу, к вечеру, земля вздрогнула белым днем. И сразу наступил вечер, последний вечер перед отъездом Онакия. Вернувшиеся с поля сыновья завидовали ему черной завистью. Подумать только, они носят береты, они отлично ходят в строю, они на зависть всей деревне в три чеканных приема спимают деревянные карабины с плеча, а под знамена призывают их отца, человека, который и петь, и ходить в строю разучился! Они завидовали ему, они старались разгадать, какие же высокие заслуги ожидала от него родина-мать, а Онаке, не глядя на сыновей, обещал повесить обоих, если они не поубавят свою дурь и не станут слушаться матери.

Нуца прибежала, как только узнала о мобилизации. Она считала себя специалистом по примерным проводам в армию. К ней заходили советоваться, сколько и чего нужно класть в дорогу, в редких случаях она приходила сама помогать. Отца она решила проводить сама, а Тинкуца, отстраненная от дел, смутно, тревожно следила за ее ловкими движениями.

Карабуш уезжал на другой день двухчасовым поездом. Порешили, что рано утром запрягут лошадей и поедут всей семьей его провожать. Решили и легли, а еще до рассвета Карабуш оделся, взял приготовленный мешок, наказал Тинкуце, чтобы она присматривала за хозяйством, и, ни с кем не простившись, вышел. Ему не нравилось, чтобы его провожали, ему казалось, чем лучше проводы, тем позже вернется человек. К тому же,

рассказывала Нуца, у обоих Морарей тоже были повестки, а ему не хотелось идти с ними.

Добирался он с величайшим трудом. Шел в темноте, все время оглядываясь. Он старался идти напрямик, сворачивая с одной полевой дорожки на другую, хотя понятия не имел, куда вела первая, куда ведет вторая. Выпала обильная роса, поля его соломенной шляпы намокли. Мешок было неудобно нести, он казался чужим, он издевательски дразнил вкусными запахами жареного и печеного.

Каким-то чудом Онакий очутился на окраине Нуелуш, хотя деревня была далеко в стороне от старой Памынтенской дороги. Он сделал большой круг, чтобы обогнуть деревню, спустился в глубокий овраг, который смутно помнил с детства, перемахнул через крутой холмик и замер. Перед ним раскинулось огромное поле горячих головок расцветшего мака.

«И красив же он, ну прямо сил никаких!»

Карабуш стоял и мягко, виновато улыбался. Кому какое дело, что в детстве кто-то объелся сырым маком, а чьи-то грязные руки эту пылающую красоту сделали своей эмблемой?.. Легкий ветерок качал раскаленные шестьдесят гектаров пожара. Это великое зрелище земной красоты вмиг сожгло и перепланировало все, чем жил и чем гордился Онаке Карабуш. Он не любил мак, но великое чудо природы не нуждалось ни в чьей любви, оно обжигало взгляд, кипело горячими каплями крови и, казалось, тоже пело ритмическую песню, каждой расцветшей головкой припечатывая ее к голубеющим небесам.

Как это, в сущности, было несправедливо! Земля, которую Карабуш любил, земля, которой он жил, перепаханная и заселенная определенным образом, нанесла ему последний удар. Ему вдруг захотелось помириться с сыновьями, завести пашни с какой-нибудь молодухой и ловко, в три чеканных приема, снять карабин с плеча. Это, и только это нужно было огненному полю. Остальное было бессмысленным. Ему помог отец, которого он уже плохо помнил. Только с помощью этого хмурого старичка в длинной рубашке Онаке удалось оторваться от этого пожара, сойти с холма, пуститься в путь по пыльной, горемычной Памынтенской дороге.

А по ночам земля гудела.

Карабуш не писал долго, недели три. Потом пришла открытка, исписанная мелким, экономным почерком с обеих сторон, только для адреса было оставлено ма-

ленькое окошечко. Онаке наказывал больше писем от него не ждать. Полк, в котором он служил, уходил, на маневры. А еще он просил, если не вернется, поставить ему крест рядом с могилой покойного отца и в день поминовения усопших приходить к нему дружно, всей семьей, потому что, видать, так уж было суждено: ни им не повезло с таким отцом, ни ему не посчастливилось с ними.

Бывают обстоятельства, при которых молдаване становятся плаксивыми. Карабуш только намекнул, а уж Тинкуца себя не жалела. Шла ли она утром в поле, возвращалась ли домой, голосила без конца.

Через месяц с небольшим Бессарабия была освобождена Красной Армией. Румынским властям пришлось демобилизовать всех бессарабцев, проходивших военную подготовку, и вот Онаке Карабуш стоит на узком прутском мостике между румынскими и советскими пограничниками, в одном нижнем белье: румыны отобрали военную форму, а одежда, в которой он был призван, затерялась. Русские солдаты дали ему старые солдатские брюки, каравай хлеба и сто граммов сала. Поезда не ходили, румынскую узкоколейку переделывали для советских паровозов, и Онаке Карабуш, почувствовав, как в нем просыпаются навыки старого ходока, пустился домой пешком, безразличный к тем двумстам километрам, которые предстояло прошагать.

Добрался он в Чутуру воскресным ранним утром, присел у лозовой калитки, потому что опухшие в дороге ноги не давали остановиться: они могли только идти или лежать на земле. Деревня еще спала: по воскресеньям она себе позволяла спать несколько дольше обычного. Его свежий, недавно выбеленный домик девственно белел в зеленой листве, а вокруг дома на завалинках, на траве, по двору, по всему саду вплоть до самого отдаленного забора все было завалено тяжелыми серо-желтыми снопами мака. Огромные, в человеческий рост, маки с крупными головками, увенчанные зубчатой короной. Маков он никогда не сеял, не убирал их. Они пришли к нему сами, ворвались и завалили весь двор так, что нельзя было пройти.

Для одной человеческой фантазии, для одних крестьянских нужд, для одной крестьянской семьи их было слишком много, этих маков. Он подумал, что ему, верно, все это снится. Тинкуца выбежала, вцепилась в его плечо, затряслась мелкой слезой счастья, а он все собирал вокруг себя сухо отзванивающие семенами головки

мака, разламывал их и пропускал через пальцы крохотные таинственные зернышки, способные загореться огромным пламенем, способные взбаламутить и перевернуть человеческую душу.

Тинкуца, счастливо поблескивая глазами, щебетала: новая власть дала землю, наконец у них много земли. И подумать только — просто за так они получили два гектара вместе с готовым маком, она с сыновьями убрала, привезла весь урожай домой — ведь хорошо же они сделали, что поспешили? Он сам их учил, что с уборкой надо спешить. Подумать только — таких высоких скирд у них еще никогда не было во дворе, ведь правда же, не было!

Чутура бурлила с утра до ночи. В течение одного дня перейти из одного государства в другое — такого, право, еще никогда не было. Знаменитые крестьянские заботы, изводившие парод по ночам, заботы, всосавшиеся веками в их души, вдруг исчезли. Все, что им хотелось, все, к чему они никак не могли подступиться — земля лежала вокруг просветленная, богатая, ласковая со всеми: если умеешь, бери, паши, сей.

— Но урожай этот не наш... Не мы пахали, не мы сеяли...

— Ну чего уж там. Всем дали — и нам дали. Все взяли — и мы взяли.

— Но мы не можем, — упрямо шептал он тогда на рассвете, не можем его взять...

— Как не можем, раз уже взяли!!

Онаке Карабуш был бы счастлив, если бы не мак, заваливший все его хозяйство. Он радовался полученной земле, но чужой урожай не мог принять. Он привык пользоваться только тем, что сработано его руками, что он оплатил сам, своим потом. Остальное его не искушало. Карабуш просто не понимал, каким образом может стать его собственностью мак, который был посеян другими. Да, он понимал, что его сыновья дня четыре или пять работали на плантациях, в расчет за их труд можно взять снопов двадцать-тридцать — с этим он бы еще смирился, но урожай двух гектаров его не устраивал.

С другой стороны, отказаться от мака он тоже не решался. По полям, по дорогам шли огромные танки с красными звездами на броне, они подтверждали право на полученный мак Онакия Карабуша, крестьянина из Чутуры. Он не мог платить недоверием за то, что его делают счастливым. Просидев несколько дней на зава-

линке, бреясь и расчесывая свою шевелюру каждый день, Карабуш в конце концов сложил весь мак в огромную скирду возле забора. Он старался делать вид, что понятия не имеет, есть ли у него мак во дворе или его и в помине нету. Не сердился, когда приходили соседки, получившие сою, и ломали головки мака себе в передник, но и не уговаривал их приходиться еще.

Чутура умирала от нетерпения. И те, что получили сою, и те, кому достались маки. Они ждали, пока власти освоятся, чтобы выяснить, а сколько же заплатят за сою и мак. Если бы платили хоть половину, хоть одну треть того, что платили недавно господу, как бы Чутура разбогатела! Одной старушке прямо-таки не терпелось: она собрала с полпуда мака, взвалила себе на спину и поплелась в Памынтены. На другой день она вернулась в новой юбке, в новой кофточке, с новым платком, несла гостинцы внукам, да еще и балагурила на всю деревню — должно быть, выпила стаканчик.

Как смешно она выглядела, эта вдруг разбогатевшая Чутура! Вдовы, издали обходявшие любую норовистую клячу, вдруг обзавелись своими лошадьми, и, усевшись в телегу, ездили без надобности — просто так, для удовольствия. Дочки более зажиточных крестьян присмирели: ушло приданое, теперь можно было положиться только на то, что у них было от природы, и они неуклюже наряжались, заманиваяще провожали взглядом парней, от которых еще недавно отворачивались. Ребятишки объедались конфетами: вдруг выяснилось, к их величайшему изумлению, что есть государства на свете, в которых сласти продаются не поштучно, а на вес — хочешь сто граммов, получай сто. Двести так двести. Чутурянки бегали в Нуелуши, где раньше, чем в Чутуре, открылся кооператив, и стояли в очереди за утюгами. Даже Тинкуце удалось отвоевать себе чугунный утюг, и она радовалась так, что ей самой совестно становилось.

А Карабуш продолжал отмалчиваться. Он не стал чистить маки, не поехал с мешками в Памынтены. Он позволил Тинкуце одеть себя с головы до ног, изредка высказывал, что думает о сапогах, купленных сыновьями, но дальше этого не шел. Он не обрадовался даже, когда Тинкуца привезла ему новое пальто с меховым воротником, хотя, видит бог, его старое пальто рябило заплатами и он, стесняясь, длинные зимы просиживал дома. Карабуш долго не решался надеть новое пальто и только в середине зимы, в большой мороз, как-то надел, прошелся по

Чутуре. Он шел и удивлялся: этот пожар поля был переделан в умеренную, нужную человеку теплоту. А он так долго мерз, так нужна была ему в жизни эта теплота!

А земля все гудела по ночам. На Пруте, на маленькой речушке в пятидесяти километрах от Чутуры, стояли друг против друга две армии, два рода оружия, два мира. Земля гудела, и в этом тревожном гуле пришла весна сорок первого года. Было так много неба, что налетались до одури ласточки. Онаке Карабуш стоял посреди поля на своих полученных гектарах и думал: к чему бы ей быть такой буйной и красивой, этой весне? Неужели для многих она будет последней весной в жизни и она хочет, чтобы и туда, куда они уйдут, дошла слава о ее красоте?

Поля дымились и просили семян. Сыновья Карабуша спешили, они пели «Катюшу» и засеивали свою землю, а она все просила, чтобы ее засеяли. Онаке стоял в поле и думал: к чему бы это она так много семян просит? Неужели время маков еще не кончилось, неужели эти пуды черных зерен обернутся в степи великим пожаром и земля боится сгореть дотла, боится, что не сможет сохранить то, что было для нее смыслом и красотой?

В середине весны, когда обросли листвой дубовые леса, когда в гнездах ласточек зарыбились первые яички, а степь лежала, укутанная теплым, предутренним туманом, с правого, румынского берега Прута грохнули первые орудия. Вздогнула земля, свернулись от огня зеленые листочки, упал первый солдат, обнимая незнакомую дотопле, но в один миг ставшую навек родною землю.

Степь горела. Самолеты, орудия и танки перепахали ее, вернув земле урожай, который только начинал созревать. Легли ничком телеграфные столбы, дохнули едким дымом, почернели и ненужными ниточками завалились шестирядные провода. Горел черным дымом дубовый лес. Долго пробивавшийся гул земли вдруг вырвался наружу, засвистел пулями, загрохотал взрывами, и земля запросила глоток, последний глоток воды...

Недели через две огненный шквал перешел Днестр, затерялся в глубь России, и Чутура снова стала одной из многих тысяч румынских деревушек. Онакия вызвали

в жандармерию по одному весьма щекотливому вопросу: каким образом мак арендатора оказался у него во дворе и куда этот вышеупомянутый мак девался?

Вернулся он из Памынтен через три дня, и с тех пор и до самой кончины его не покидал легкий удушливый кашель, при котором весь лоб покрывался крупными каплями пота. Его обязали в десятидневный срок рассчитаться с арендатором, и Онаке, сосчитав по пальцам, пришел к выводу, что даже если он распродаст все хозяйство, то и тогда останется должником.

К великому несчастью, долг ему простили, но взамен взяли двух его молодых сыновей. Карабуш проводил их вместе с Тинкуцей на вокзал, расцеловал на прощание и, как только поезд тронулся, впервые с тех пор, как помнил себя взрослым, заплакал. Один из сыновей успел прислать две открытки, другой так ничего и не написал. Об их судьбе Карабуш узнал из грустной солдатской песенки, дошедшей до Чутуры:

Далеко в Крыму,  
За Черным морем...

С тех пор прошло уже много лет, но и теперь, как только наступает лето, у Карабуша во дворе расцветают горячие, буйные маки. Обступив со всех сторон низенький домик, они стерегут его раскаленными головками, и ничего невозможно с ними поделать. Некоторое время после войны, когда Карабуш все еще втайне надеялся на возвращение сыновей, он безжалостно выдергивал эти маки, срезал их лопатой, растапывал их, но на другой год они снова появлялись. Видать, сама земля, на которой стоит дом, так пропиталась маками, что и через тысячи лет, когда, возможно, не будет в помине ни Чутуры, ни самой степи, ни Карабуша, на этом самом месте раз в году, в середине июня, будут цвести горячие маки.

## Счастливые руки землепашца

Начало уборки — это самое тревожное время во всей Сорокской степи. В тот день, когда наконец настанет пора косарям засучить рукава и когда стоит в двух шагах от тебя бесконечно близкий и бесконечно далекий плод

твоих трудов, а один день, как говорят, кормит целый год, глубокое волнение пронизывает все существо пахаря. Он готов скосить тебе целый гектар, только бы начал косовицу другой человек, с легкими, счастливыми руками, которые не устанут, не зануют, не сдадут.

Их было очень мало в Чутуре, этих людей с легкими, счастливыми руками, и были они нарасхват. Одинокие старушки и горемычные вдовушки, все неудачники, все отчаявшиеся, кто из года в год не сводил концы с концами, упрашивали хозяев этих везучих рук скосить, на счастье, первый сноп, и они, смущенные этим предложением, долго отнекивались, приводя убедительнейшие примеры своей невезучести, и только уже потом брали косу в руки.

Онаке Карабуш числился среди тех, у кого на редкость счастливая рука. Он гордился этим даром своих мозолистых рук и шел по первой просьбе одаривать людей, а потом долго следил за судьбой тех земель, к которым прикасались его руки в золотую пору уборки. Ему самому как-то не удавалось попользоваться своей везучестью, да он и не особенно рассчитывал на это. Другим хоть польза, и то ладно.

Уродившую землю Карабуш любил, как святыню, и боялся, как огня. В своем богатстве она всегда была для него родным и непостижимым чудом. Всякий раз, когда он выходил в поле и ему предстояло прикоснуться к ее стихии, облить ее потом, одухотворить, проклясть или прославить, Карабуш, засучив рукава, брал комок сыроватой земли, долго мял в ладонях, превращая в упругий серо-черный шар, и потом, подбросив его высоко в небо, старался изловчиться и схватить его целиком круглым, нерассыпанным, и загадывал всегда одинаково: если шар вернется целым — значит, удача.

В тот год что-то с ним произошло. Как-то сразу лет на десять постарел, угасло что-то в нем, и вот он медленно плетется по полям с косой, то норовит обойти всех поклонников его везучести, а то остановится, соберет сырой комочек, мнет его долго-долго, а подбрасывать вверх уже не решается.

Быть чутурянином в Сорокской степи — это значит быть хитрецом, каких мало. Чутурянин, например, ни за что не израсходует копейку, пока не попытается ее сам у себя заработать. Чутурянин не платит ни каменщику,

ни столяру, ни печнику, и, женившись, он сам себе строит дом. Засучив рукава до самых плеч, достает бог знает из какой глубины облюбованную им глину, складывает колоннами в долине огромное количество кирпичей. Чтобы избежать семейной ссоры, для видимости посоветуется с женой, а там выберет, где ему вздумается, место для дома, прикинет размеры, входы и выходы и приступит к делу. Очень часто эти застройки длятся годами, чутурянин наживает себе грыжу, от которой ему уже не избавиться, но ходит он гоголем, и видно за две версты, что человек построил себе дом.

Вообще-то говоря, чутуряне даже и не строят себе дома, как это водится в других краях, — чутурянин вырывает его из своего существа, приучая свой домик дышать его дыханием, радоваться его радостями, терпеть его меркой терпения, и только одна тайна остается недоступной чутурянам: насколько они сами немногословны, настолько болтливыми рождаются построенные их руками дома, и очень часто, попав в Чутуру летом, когда все ее обитатели в поле, можно поговорить с рассыпанными по долине домами. Перебивая друг друга, эти домики расскажут массу интереснейших вещей, выложат даже и то, в чем чутуряне не сознаются под страхом смертной казни.

В сорок четвертом году в Чутуре появился домик в три окошка, горевавший днем и ночью так, что прохожие останавливались и долго молча кручинились, глядя на его маету. Он стоял, этот домик, окаменевший в своем страдании, и в те дни, когда бои шли рядом; не улыбнулся он и в дни освобождения, и даже после, когда дело шло к победе, он стоял, зияя по ночам черными глазницами.

Бедный Онаке Карабуш, чего он только не предпринимал! А домик в три окошка надрывно выл от боли по двум погибшим сыновьям. Эта глина, построенная его руками, жила его жизнью, и Карабуш ничего не мог с ней поделаться. Начальство приезжает, начальство уезжает, и все по той же дороге, и все медлит возле его дома, и все спрашивают местные власти — что такое?!

Карабуша стали вызывать в сельсовет — его да еще Харалампия Умного, успевшего перед самой войной на свою голову трактор купить. Долгие часы просиживали они оба в большой комнате в ожидании, когда вызовут, и за эти часы, господи, вся жизнь твоя, бывало, пройдет перед твоими глазами... Недели через две Харалампия вме-

сте с супругой в клетчатой шали увезли на рассвете, роздали беднякам их имущество, и Карабуш понял, как обстоят его дела. Это было совсем нетрудно понять.

По старой Памыntenской дороге, утопая в пыли, днем и ночью шли войска. Неслись, подпрыгивая, автомашины с простреленными ветровыми стеклами — две пули, две аккуратно просверленные дырочки, одна почти против руля, чуть выше, а вторая против того места, на котором обычно сидит рядом с шофером офицер. Два точных выстрела, две мгновенные смерти, а машина подпрыгивает по булыжнику, и они сидят на своих местах, усталый шофер и хмурый лейтенант. Едут себе по степи, словно совсем забыли, что их недавно убили наповал. У них есть карта, есть приказ, они едут в длинной военной колонне, и против каждого из них зияет в ветровом стекле жестокий глазок побежденной смерти.

Войска возвращались с фронта. За их спинами, в Карпатах, днем и ночью гремели бои, но они уже не слышали шума этих боев. Они мечтательно улыбались предстоящей короткой передышке, сворачивали с большой Памыntenской дороги, останавливались в степных деревушках. Они ехали горячие, злые и отчаянные, ехали медленно, чтобы поостыть, привыкнуть к новому ритму тыловой жизни. Крепко стиснутые зубы еще сводили счеты с врагом, добивали его, а глаза уже улыбались осенней знойной степи, и между тем, что было вчера и что должно было свершиться завтра, светились раскаленные угольки махорочных козьих ножек.

Вдоль всей Памыntenской дороги встречали их, стоя на обочинах, женщины, дети, старики. Женщины держали в руках узелочки с нехитрыми гостинцами и не решались подойти, колонны двигались быстро, это были военные колонны, они не могли останавливаться ради скромного угощения. Ребятишки вертелись как на иголках, у них были приготовлены бесчисленные вопросы, относящиеся к военному искусству, к наградам, к способам их получения, но земля вздрагивала под танками, машины стонали, и они, широко раскрыв детские глаза, пропускали в свою душу эту картину возвращения войск с фронта, запоминая ее, помимо своей воли, на всю жизнь. Старики стояли строгие, силясь вспомнить, какая дорога и куда ведет, с тем чтобы в случае надобности ответить коротко, по-военному. А колонны все шли и шли.

Как только первые машины свернули с большой дороги и разнесся слух, что они остановились надолго в какой-то деревушке, между степными пахарями разгорелись страсти: всем хотелось заполучить в свою деревню хоть бы несколько машин с солдатами, и люди из разных деревень стояли на старой Памыntenской дороге с аккуратно завернутыми в полотенце караваем хлеба, со щепоткой соли в спичечном коробке, стояли целыми днями, потому что было наказано без солдат, без гостей не возвращаться.

И какая это была радость в те годы — русский солдат в выцветшей пилотке с пятиконечной звездой! Этот солдат нужен был каждому дому, он был для них всем: и начальником, который мог легко распутать все недоразумения с сельсоветом, и военным стратегом, умеющим растолковать движение фронтов, и гостем, с которым можно выпить стаканчик-другой, и пророком, который мог бы поведать им об их будущей жизни, и щедрым богачом, у которого можно выпросить пару литров бензина для керосинки, старый скат для подметок.

Русские умели всем своим существом угадывать присутствие врага, и когда этот русский солдат шел с широко расстегнутым воротом, беззаботно позванивая мелкими медными пуговками, значило, что на сто верст вокруг царит абсолютный порядок. Остывая от недавних боев, солдаты с каким-то изумлением смотрели на сновавших кругом ребятишек: им были в диковинку и этот нехитрый лепет, и тоненькие голоса, и вихорок, который так и просится, чтоб его погладила большая, тяжелая, любящая рука...

Чутуре, как нарочно, опять не повезло. Она лежала слишком далеко от Памыntenской дороги, к ней вел узкий проселок, два полуразрушенных моста, а военным машинам не нравились ни проселочная дорога, ни разрушенные мосты. В самых маленьких, никогда ничем не славившихся деревушках уже стояли войска, а у Чутуры не было ни одной звездочки, ни одной гармошки, ни одного живого, перченого русского слова. А дни шли, время длинных, непрерывных колонн миновало, и на старой Памыntenской дороге уже редко когда появлялась цепочка военных машин, да и они сворачивали куда-то в сторону. Отчаявшиеся чутуряне ходили к Памыntenской дороге чуть ли не всей деревней испытывать счастье.

Один только Онаке Карабуш ни разу не ходил встречать солдат. У него появилось новое, весьма важное занятие: он вставал чуть свет, забирался по скрипучей лесенке на полутемный чердак и набивал карманы прошлогодними, перемешанными с пылью семечками. Спустившись, он вставал перед своим убитым горем домиком и мужественно, честно разделяя его боль, щелкал семечки. Он отдался весь, с головы до ног, этому пустому занятию и ждал, когда приедет за ним военная машина с двумя милиционерами и один из этих милиционеров, вытащив револьвер из кобуры, скажет: «Ну, старик, залезай... Хватит семечки грызть».

Он знал, что с приездом машины его жизнь кончится, оборвется, и, странное дело, совершенно не жалел об этом. С него было достаточно и того, что он прожил. Он даже гордился построенным своими руками домиком. Он был порядочным человеком, исполнил по отношению к Чутуре все свои обязанности, вернул все долги, ну а то, что сам он почти ничего хорошего не видел, так это ведь было его личным делом.

Семечки были плохие, все попадались или пустышки, или горькие, и их нужно было тут же сплевывать. За три дня у Карабуша распух язык от этих семечек, но он не мог без них дожидаться своей машины. Ему нужно было куда-то деть руки, чем-то занять их, а, кроме семечек, он ничего придумать не мог.

Стоя на виду у всей деревни и щелкая семечки, Карабуш где-то в глубине души надеялся, что, может, в Чутуру приедут войска и солдаты, остановившись у него на квартире и обсудив его жизнь, успокоят его. А с другой стороны, может, им не посоветуют останавливаться у Карабуша. Живя в сытой деревне, рассчитывать, что другие замолвят за тебя словечко, — это уже совсем пустое занятие.

Однажды рано утром, когда он только что залез на чердак и в темноте шарил руками по обмазанному глиной потолку в поисках семечек, послышался тяжелый разноголосый гул машин по чутурским улицам. Карабуш вздрогнул. Вобрав голову в плечи, как бы защищаясь, он быстро спустился с чердака. Вернулся на свое место перед домом и стал ждать. Он и сам не знал, чего ждет: не то машину, которая его увезет, не то свое счастье — свой единственный шанс.

Новые и старые «студебеккеры» плелись на малой скорости, солдаты играли на гармошках, сонные ребята

ки висели на заборах, помигивая счастливыми глазами, женщины открывали ворота, и военные машины с непостижимой осторожностью въезжали, не зацепив ни единой доски. Мимо Карабуша проехали несколько машин, доехали до окраины, так ничего и не выбрав, вернулись обратно, но в сторону его дома никто, ни один солдат, не взглянул.

Первый заезд кончился. К обеду подоспела вторая колонна, и папаша Булгаре, покачиваясь в кабине на мягком сиденье, распределял солдат по своему усмотрению. И тут у Онакия зашевелилась надежда: Булгаре его любил, хорошо к нему относился, он это знал, и Булгаре не мог его обидеть. Карабуш даже вышел к калитке, но его обошли и на этот раз. Перед самым вечером приехало еще несколько машин, но они остановились, даже не доехав до дома Карабуша. Взбудораженная деревня уснула поздно, под самое утро. Карабуш не спал всю ночь. Его бедный дворик был, кажется, единственным в Чутуре, где не пахло бензином, в его доме на гвоздях не висели шинели, под лавками не лежали автоматы. К тому же и семечки на чердаке кончились.

— Эй, папаша!..

Онакий Карабуш выскочил в одном нижнем белье. Слегка нацелившись в его ворота передними колесами, стояла зеленая полуторка. Над деревней висела предупредительная дымка тумана, а высокий солдат, проверяя, все ли у него пуговицы застегнуты, словно предстояла беседа с начальником, спросил как-то по-девичьи скромно:

— Папаша, нельзя бы мне у вас...

За те несколько секунд, пока Карабуш шел открывать ворота усталой, нетвердой походкой, словно шел по скользкому дну бурной реки, он подумал: какая это, в сущности, огромная и непостижимая для одного человеческого разума страна — Россия! Жить с ней удивительно легко, но жить с ней можно, только будучи сильным, потому что и в правоте и в неправоте своей у нее удивительно тяжелая и сильная рука. И он больше ни о чем не думал. Он радовался тому, что и у него наконец появился гость. Эта потрепанная полуторка уравнивала его в правах со всей остальной Чутурой, со всем миром. Открыв ворота, Карабуш засучил рукава, и даже если бы та машина была без мотора, без колес, он бы все равно затолкал ее во двор.

Солдата звали Николаем. Он больше никогда ничего не прибавлял к этому простому имени — ни отчества, ни

фамилии, ни звания, хотя Карабуш как-то видел на его старой шинели погоны с нашивками сержанта. По натуре Николай был человеком неразговорчивым; вернее, не то что неразговорчивым, он просто придавал любой беседе высокий и торжественный смысл. Разговаривая с человеком, он, казалось, совершал одно из величайших таинств природы, старался брать слова в их светлой целостности, вместе с дыханием, вместе с интонацией, и отвечал он тихо, обрывками, все время смущаясь, что ему, мол, решительно не удастся беседа с хорошим и умным человеком.

Аккуратным он был невероятно, одежда на нем сидела ловко, и все, что бы он ни делал, было до того разумно, что с первой же минуты окружающие его люди начинали подражать ему.

О своей машине он почти никогда не говорил, казалось, даже ни разу не видел ее всю целиком, с колесами, а вместе с тем все время, пока он жил у Карабуша, лежал под машиной, и его пыльные кирзовые сапоги то качались носками вверх, то лежали на боку, то рыли землю носками.

Как гость Николай совершенно никуда не годился. Ему почему-то казалось, что он в тягость Карабушу. Его совершенно невозможно было чем-либо ублажить, удивить, обрадовать, а без этого, конечно, все люди, принимающие у себя гостей, считают себя обиженными. Карабуш долго не мог сообразить, в чем тут дело, и все дни, пока Николай жил у них, между Онакием и Тинкуцей шли бесконечные споры, о которых, к счастью, Николай понятия не имел.

Даже, вернее, это был не спор. Просто Карабуш отчитывал без конца Тинкуду за то, что она никак не может приготовить мужскую еду. Ведь вот же человек лежит целыми днями под машиной на спине (небось полезала бы хоть полчасика, поняла бы, что это за штука), а готовить так, чтобы мужчина чувствовал в себе силу с утра до вечера, на это у нее не хватает смекалки.

Правда, все эти упреки были немymi, они передавались Тинкуце легким движением бровей, взглядами, демонстративно брошенной ложкой — Карабуш считал неприличным говорить в доме на молдавском языке, когда гость не знает этого языка. Тинкуца старалась изо всех сил, варила, пекла, жарила, и когда, румяная, выходила пригласить Николая поесть вместе с ними, на травке, ря-

дом с машиной, стоял только что вымытый котелок; Николай, поспешно засовывая за голенище алюминиевую ложку и краснея, говорил, глядя в землю:

— Товарищ мой ходил на кухню, взял котелок, не спросившись...

Иногда по вечерам Карабушу все-таки удавалось посадить Николая за свой низенький столик. Когда наступали сумерки и ночи становились по-осеннему прохладными, а по всей деревне оживали окна и мягким светом заманивали на огонек, Николай, покашляв в сених, как бы предупреждая, что может случиться, что и он напросится к ним в гости, заходил.

Он не успевал сесть на лавку, как Онакий, на ходу подмигнув Николаю, ставил на стол две стопочки, с таинственным видом приносил из соседней комнаты бутылку и сообщал полупшепотом:

— Этого вы еще не пробовали!

По мере того как стопочки наполнялись, глаза Николая начинали как-то сами по себе улыбаться. Он понимал, что это не вяжется с его скромной натурой, делал над собой невероятные усилия, и даже виски становились влажными от испарины, но Николай был истинно русским человеком, а русскому стопочка никогда не была в тягость. Первый стакан его сильно одухотворял. Николай начинал на все смотреть влюбленными глазами, за ужином ел с аппетитом, в то же время искоса следил за движениями хозяев, стараясь перебороть солдатский способ молниеносного приема пищи, приспособиться к этой степенной, мудрой, неторопливой гражданской трапезе. Когда Карабушу удавалось заставить его выпить еще и вторую стопку, Николай тут же вставал из-за стола, говорил печально и удивленно:

— Пойду в кабину спать. Она одна у меня не кружится. Все остальное — карусели.

Чутура совершенно растворилась в этой воинской массе. Она перестала существовать как самостоятельная единица на районной карте. Она отдала на суд солдатам решительно все свои сомнения и заботы, торопливо посвятила во все сельские новости, и щедрая русская душа оплатила их с лихвой. Половина деревни ходила, нарядившись в солдатские гимнастерки, ребятишки козыряли и распевали строевые песни. Став солдатом, Чутура почувствовала лютую ненависть к фашистам, и, появившись враги в деревне, чутуряне, не разбудив даже солдат, вступили бы в бой.

По вечерам, когда Онаке Карабуш возвращался с поля, Николай стоял у калитки, хмурился, будто высматривая запоздавших друзей, но это ему не особенно удавалось, и было видно, что вышел он только для того, чтобы встретить Карабуша. Онакия это трогало до слез. Он так и не смог собраться с духом, ему не хватило русских слов, чтобы расспросить Николая о его семье, о довоенной жизни. Сам Николай, молчаливый, скромный, никогда бы не заговорил о себе первым, и Карабуш терялся в догадках относительно своего постояльца.

Вечерние встречи у калитки объяснили Карабушу все. Это закон всех землепашцев: те, которые остаются на день дома, выходят по вечерам встречать возвращающихся с поля. Это дань уважения к бесхитростной и трудной профессии пахарей, это любовь людей земли, для которых летний день в поле — великое мучительное одиночество, и, возвращаясь, им приятно видеть у ворот домашних.

Николай был солдатом, он был на коротком отдыхе, но, прижившись с первого дня в этой семье, стал подчиняться ее законам. Он, видимо, страдал оттого, что не может по утрам так же, как Карабуш, уходить в поле, и поэтому старался вечерком выйти, стать у калитки и хмуриться, кого-то высматривая, а в самом деле встречая хозяина.

Один только раз за все две недели, что Николай жил у них, Карабуш, вернувшись с поля, не застал его у калитки. Карабуша это сильно обеспокоило: он все время боялся, что его солдата могут переманить, могут приказать переехать на другую квартиру. Этого бы Карабуш не вынес. Открыв калитку, он лихорадочно стал искать Николая под машиной, в кузове, в кабине. Его нигде не было. Тинкуда, стряпавшая в тот день по наказу Онакия плацнты, успокоила его, сказав, что Николай где-то тут, во дворе, — он только что заходил чистить автомат. Онаке вышел, сел на пороге и стал ждать. А солдата все не было, и Карабуш, нетерпеливо прогуливаясь по двору, наконец увидел его.

Николай сидел в глубине маленького садика на кучке полувыхсохшей картофельной ботвы и, уронив руки на колени, склонив голову набок, улыбался. Так улыбается сильно стосковавшийся человек, встретив родных ему людей. У него уже не было ни погон, ни машины, ни автомата. Он наконец вернулся к себе домой и радовался. Он перекопал весь садик Карабуша, посадив на месте

низеньких фруктовых деревьев родную ему березу. Он поставил деревянный сруб, рассадил по всей широкой степи хвойные леса и, дыша этим ароматом, поласкав ребятишек и расцеловав жену, присел, улыбаясь, счастливый той великой радостью, при которой все существо звенит, натянутое как струна, готовое в любую минуту оборваться.

У Карабуша потемнело в глазах. Он только теперь понял, во что обошлась эта война России, какую долгую для человеческого сердца разлуку вынесли эти парни в выцветших гимнастерках и как больно, как глубоко тоскуют они. Тяжелая и горькая мечта, самовольное возвращение солдата — боже мой, да разве не был Карабуш когда-то солдатом, разве ему неведомы эти влажные, полустеклянные, устремленные за тысячи верст глаза? Он стоял не шелохнувшись, он готов был остановить весь мир, осадить вращение земного шара, лишь бы продлить эту сладкую тишину на долгие часы, чтобы человек, живший в его доме, как можно дольше прожил бы среди своих родных.

Когда наступили сумерки, Карабуш, медленно, тяжело ступая, направился к Николаю. Он понимал, что этого не следует делать, но он шел к нему. Он любил всей душой этого человека, ему захотелось побыть хоть один миг среди его родных, быть хоть на секунду гостем в его доме, а люди, побывавшие друг у друга в гостях, остаются друзьями на долгие годы.

Карабуш кивком спросил, можно ли ему, старому человеку, гражданскому лицу, молдаванину, сесть рядом на ту картофельную ботву. Николай, все еще не возвращаясь из своим краев, обрадованно кивнул: конечно, что за разговор!

И Карабуш сел. Они сидели молча, над ними билось синее высокое небо, мерцали звездочки, из степи несло прохладой, кругом светились окна, множество огоньков, пахло вкусным ужином и для них, и для тех, среди которых они жили. Хлеб, дом, родная душа — чего же еще...

Потом Карабуш низким голосом, почти шепотом, спросил, нет, не он спросил, а его рвущееся к жизни существо, его мечта, его руки, слывшие когда-то счастливыми, спросили тихо:

— Ну а как оно там, в колхозе?

Николай вздрогнул. Он вернулся в строй, война еще не кончилась. Косо посмотрев на своего соседа, сутулого,

смуглого, выгоревшего под южным солнцем человека, сказал с убийственной простотой:

— Тяжко там сейчас.

И, улыбнувшись, как бы взяв на себя все неурядицы, сказал:

— Но, конечно, потом, когда кончится война...

Карабуш никогда не смог простить Тинкуце, что она, одухотворенная глупой бабьей стряпней, как раз в тот момент пришла к ним в садик и, глядя на Николая, сказала Онакию:

— Стынут ведь, и жалко, такие вкусные получились...

Они пришли в дом, но ужинать не могли. Кусок в горло не лез. Они выпили по две стопочки, Николай сказал, что все, кроме кабины, закружилось, и пошел в машину спать.

Онакий долго ворочался с боку на бок, потом засосала какая-то болезненная дремота, а когда на рассвете он вышел во двор, ему показалось, что обрушилось небо над бедной Чутурой и смыло все-все, чем она жила. Во дворе не было уже ни солдата, ни его машины. В сенях не висела его шинель, в доме, под лавкой, не было автомата. Бледный, дрожащий, Карабуш оделся, побежал по деревне, готовый всей своей жизнью заручиться за Николая, готовый идти на все, лишь бы вернуть солдата к себе в дом, но защищать его было не перед кем.

Они были солдатами, шла война. Они снялись ночью, уехали молча колонной, и во всей Чутуре ни одного солдата, ни одной машины. Только на предутренней росе темнели следы колес, как бы прощаясь, благодаря за гостеприимство и обещая скоро вернуться.

Они были уже далеко, но Карабуш не мог не проводить своего гостя. Он вышел на старую Памыntenскую дорогу и пошел медленно до самых Памыnten. Он шел, по-отцовски провожая Николая, желая ему всего, что считал хорошим в жизни. Перед самым райцентром он остановился — дальше идти было нечего. Свернул с дороги, пошел по свежевспаханной земле. Взял комок, смял его крепкими ладонями и вдруг, решившись, забросил высоко в небо, на лету схватил все, до единой пылинки, и его лицо засияло — удача. Она вернулась к нему, его руки снова стали везучими для деревни, а счастье протых рук землепашца — это было единственное, ради чего жил Онакий Карабуш.

Домик в три окошка по-прежнему стоял окаменевший в своем горе, но это уже не так волновало местное

начальство. То, что там уже принимали русского, переводило дом в другой разряд. К тому же, как сказано в народе, жизнь прожить — не поле перейти...

## Г ОСТИНЦЫ ДЕТЯМ

По вечерам Нуца стала бегать к своим соседям и со слезами на глазах упрасивала «занять» ей на ночь ребенка, не то она околеет или сойдет с ума от бессонницы. Она баловала и ласкала соседских ребятшек, морила их бесконечно длинными сказками, а Чутура посмеивалась: скажите, как легко эта дочка Карабуша нашла нужных ей дураков! Пятый год ночует без мужа, никогда ничего не боялась, а то вдруг стала маяться.

Нуца торопила себя с утра до вечера. Она все умела, все горело у нее в руках. Когда она крутила перевясла, так это были перевясла; если она возилась с цветами, так это были цветы. Ее беленький домик, ловко подпоясанный узкой полоской синьки, стоял целые дни с открытыми окнами, проветривался, улыбался, кого-то ждал, а чутуряне шли мимо, посмеиваясь: что за лицемерие! Всю войну этот домик простоял с завешенными окнами, на дверях замок висел неделями, а то вдруг хозяйка вот вернулась и ждет не дождется.

Нуца бегала к старым чутурянам и советовалась по всякому пустяку: как они думают, что бы ей предпринять? И так как будто хорошо, и этак было бы неплохо. Местные старики, обожавшие беспомощных молодых, одаривали ее самыми толковыми советами, да только Чутура, прислушиваясь к этим умным беседам, многозначительно переглядывалась. Еще совсем недавно Нуца норовила жить своим умом, пыталась даже других поучать, а теперь она не знает, как ей быть, теперь она глупый несмышлениш и может погибнуть без добрых людей.

Нуца подоставала свои самые некрасивые наряды. Она мечтала пройти по деревне так, чтобы ни один мужик, встретив ее, не потерял нить своих размышлений, и Чутура прямо диву давалась: скажите, какая скромность! Прожив всю жизнь на виду всей деревни, она никогда не лезла в монашки, заставить ее покраснеть могли только считанные по пальцам остряки, а тут такая невинность!

Чутура не давала ей спуска. Чутура издевалась над ней, а Нуца все больше и больше влюблялась в свою родную деревню. Она любила ее всю целиком и каждого чутуриянина в отдельности. Она прощала своим односельчанам все колкости, старалась почаще встречаться с ними, подольше побыть вместе, молча и покорно любуясь ими, а в это время, пока она молча стояла, ее карие глаза упрасивали односельчан: «Ну, пожалуйста, напишите письмо моему мужу. Хотя бы пару строчек. Если не хотите меня похвалить, бог с вами, не хвалите, просто напишите ему, что я жива, здорова, что я жду не дождусь его возвращения». На что Чутура, сложив известным способом три пальца, лаконично отвечала ей: дудки!

Мирча Морару ушел с Красной Армией в самом начале войны. В Бессарабии мобилизации как таковой почему-то не было. То ли помешала близость границы и внезапное начало войны, то ли поезда не успевали вывозить из-под огня основные ценности, только военкоматы стали эвакуироваться, не успев толком оповестить своих военнообязанных о мобилизации. Поездов им не выделяли, маршрутов и сопровождающих тоже, и бессарабцы уходили как попало, пешком, по своей доброй воле. Многие, прошагав с десяток километров, возвращались, других настиг фронт, и они оказались надолго в плену, а о Мирче Морару ничего не было слышно.

Три с лишним года Нуца не знала, кто она. Не то вдова, не то престарелая девица, не то законная жена. Она не устраивала гулянок, ей не мазали ворота дегтем, хотя что верно, то верно, и на частые головные боли она не жаловалась. Изредка она заходила к своей свекрови, но матерью ее уже не называла, а тетюшка Сафта и не думала обижаться. Главное был Мирча, без Мирчи они так или иначе оставались просто чутуриянками.

Молодость не любит долго горевать. К сожалению, Нуца в конце концов свыклась со своим положением. Ей даже стала нравиться неопределенная холостяцкая жизнь. Милое дело — уходишь из дому и возвращаешься, когда тебе вздумается. Поешь песни, когда тебе поется, грустишь, когда на тебя налетит, а что до остального, там видно будет. Чутура это запомнила, она всегда напоминает, когда человек норовит выйти из-под ее власти, пожить своим умом, и при случае Чутура становится жестокой и мстительной.

Весной сорок четвертого года, когда тетушка Сафта получила первое письмо от Мирчи, Нуца заметалась как уж на сковороде. Одним рывком, одним ударом все в ней проснулось, закружилось, застонало. Она ходила по три раза на день к свекрови читать письмо, она помнила наизусть все строчки, все буквы и еще расспрашивала однопосельчан, читавших это письмо, кто что вычитал там: вдруг она что-то пропустила или не поняла?

Целую неделю, семь дней подряд, она ему писала каждый день по одному письму и потом до получения ответа решительно не помнила, на каком она свете живет. Получив маленький треугольник из тетрадного листа, она обошла с ним всю деревню, она заново, в который раз, влюбилась в Мирчу. Она начала его ждать, ждала днем и ночью, ей уже стал мерещиться в доме глухой, с хрипотцой мужской голос, ее бабье тело, стосковавшееся по грубой силе мужика, таяло в этом ожидании, а Чутура посмеивалась про себя: скажите, что за горе эта первая любовь!

Бои шли в Карпатах, до Германии было еще далеко. Тем временем в Чутуре на какие-то две недели остановилась воинская часть. У Нуцы квартировал пожилой, но весьма веселый для своих лет капитан. После таинственного исчезновения этих машин с солдатами письма от Мирчи стали приходить все реже и реже, строчек в них оказывалось все меньше и меньше, а буквы все крупней...

Всю зиму он почти не писал ей, а весной за несколько дней до окончания войны приехал в Чутуру сухощавый майор из военкомата. На первомайском митинге, устроенном во дворе сельсовета, майор открыл кожаную сумку, достал зеленый плотный лист бумаги, и ахнула вся деревня. Мирча Морару стал кавалером ордена Славы. Чутурияне были потрясены и радовались, как дети. Вона, черт возьми! Наш человек, если его хорошо пристроить к делу, он еще и немцу может по шапке стукнуть!

Нуца была в одинаковой степени и счастлива и несчастна. Низко поклонившись майору и бережно сложив прочитанный перед всей деревней лист, она пошла домой. Она шла, счастливо улыбаясь односельчанам, и горько думала про себя, что теперь наверняка осталась одинокой, теперь уж ей Мирчи не видеть.

Как жена орденосца, она стала пользоваться большими льготами. Памыntenский военкомат придирчиво следил за ее хозяйством. Ей выделили самые лучшие

земли, очень часто, даже помимо ее воли, ей задаром пахали, сеяли, убирали. Она не сдавала никаких поставок, была освобождена решительно от всех налогов и в течение одного лета как-то запросто стала одной из самых состоятельных в деревне.

Это уже решительно не понравилось Чутуре. Военкомат знал правду о Мирче, а Чутура знала правду о его жене. Чутура перестала иронически посмеиваться; она поспешила переписать у тетушки Сафты адрес ее сына и начала вести с ним длиннейшую переписку. От Мирчи приходили сначала удивленные письма, потом смешливые, потом задумчиво-грустные, и вот по Чутуре разнеслась ошеломляющая новость: он, верно, уже не вернется, у него, оказывается, уже другая.

Онаке Карабуш, кажется, был единственным человеком в Чутуре, который не смог бы объяснить, чего это вдруг его дочка снова захромала. С годами ей как-то удалось поправить ушибленную в молодости ногу, но временами, после каких-то потрясений, она снова начинала прихрамывать. Онаке Карабуш всегда знал отчего, а вот теперь не знал.

По правде говоря, он даже не особенно удивился, увидев ее хромающей. После гибели сыновей он потерял интерес к своей дочери. Зайдет она к ним, он поговорит, пожурит, поучит чему-нибудь, а не зайдет, так тому и быть. Но вместе с тем она была его дочерью, его кровью, его плотью. И, исхудавшая, убитая горем, она пробивалась к его сердцу, к его разуму.

Как-то ночью она приснилась ему. Дело представилось таким образом, что он почему-то бежал по полям, задыхаясь, и звал свою дочку. Нуца, маленькая, десятилетняя, пошла пасти корову в поле, но вечером не вернулась, и вот он бежит по полям и зовет ее. Нашел только корову — она паслась мирно рядом с дорогой, а Нуцы уже не было. Ее переехали танки. Опустившись на одно колено, он подобрал с дороги окровавленные лоскутки ее платья и все спрашивал, где пуговицы, — по его понятиям, должны бы еще и пуговицы быть.

Он кричал, он требовал, чтобы вернули пуговицы, и Тинкуде с трудом удалось разбудить его. Онаке проснулся. Его тут же залихорадило так, что зуб на зуб не попадал. Свесив ноги с кровати, накинув одеяло на плечи, он призадумался. На улице бледно светила луна, петухи

по деревне еще только собирались пропеть зарю, и он спросил Тинкуцу:

— Послушай, а чего это наша дочка захромала вдруг?

Таким образом узнал и он, последним в деревне, что зять его, Мирча, вернее всего не вернется. Коротко, понимаяще кивнув, Карабуш стал обеими ладошками гладить себя по макушке. Свою старушку мать он почти уже не помнил, но еще жили в нем материнские ласки, так легко и просто разрешавшие все на свете, и, когда ему становилось неважно, он бессознательно повторял те же движения, которые утешали его в далеком детстве.

Теперь это не помогло. После кошмарного сна его руки еще не отошли, они были холодными. Чтобы их согреть, нужно было поесть, поесть черного хлеба и запить водицей, съесть много хлеба, выпить много воды, а ему не хотелось ни есть, ни пить.

— Тинкуца, налей мне глоток той отравы...

Это было, пожалуй, самым трудным — опрокинуть в себя отдававшую сырой свеклой самогонку. Тем временем рассвело. Онаке побрился, потом часа два расчесывал свою шевелюру и наконец, отправив на всякий случай Тинкуцу в Нуелуши, где еще служили в церкви, вышел на улицу. Было только начало осени, но небо стояло хмурое, и Карабуш, любивший по воскресеньям свой садик, пошел туда, уселся по-турецки, поджав под себя ноги, и принялся грызть былинку.

Он снова, в который раз в своей жизни, оказывался один на один с Чутурой, с этой горсточкой беленьких домиков, рассыпанных в ложбинке, с их железной неукротимостью, с их законами, с их ханжеством. Ему почти всегда удавалось положить на лопатки эти двести домиков: если бы он их не осилил хотя бы один раз, он бы, конечно, не стал больше жить в Чутуре.

Из всех существующих приемов борьбы Карабуш знал во всех тонкостях только приемы мальчишеской драки, драки мгновенной, безрассудной, вспыхивающей при первом же удобном случае. Твердо придерживаясь только этих правил, Карабуш не изменил им и на этот раз. Совершенно не меняя свое блаженное, несколько даже грустное выражение лица, он весь напряжился, его седая, мягкая и податливая шевелюра неожиданно нахохлилась, он выбрал себе удобное местечко и стал выжидать подходящего случая. Важно было только не прозевать этот первый случай, а потом уже все получится само собой.

Как и следовало ожидать, эти первые случаи, служившие для него сигналом к борьбе, были самыми нелепыми. То же случилось и на этот раз. Просидев часа два кряду с поджатыми под себя ногами, Онаке вдруг заметил в просветах плетеного забора наголо остриженную неподвижную макушку. Мальчик, должно быть, разглядывал, что растет в этом саду. Покашляв несколько раз, дабы не испугать его, Карабуш повернулся к нему и спросил, добродушно улыбаясь:

— Что, мальчик, понравился сад?

Мальчик, сорвавшись с места, бросился со всех ног, но Онаке властно окликнул его и вернул точно к тому месту, на котором тот стоял, когда они начали беседовать.

— Я же тебя не гоню. Спросил только, думал, может, облюбовал чего и не решаешься перелезть через забор. Он дряхлый у меня.

— Груши понравились.

— Не может быть!

Онаке тут же почувствовал острый запах груш, который до этого совершенно не доходил до него. Быстро поднявшись с земли, важный и довольный, сняв на ходу шляпу и расправив ее с таким расчетом, чтобы больше вместились, стал искать груши по запаху: где они там у него? Мальчик глотал слюнки и пританцовывал от нетерпения, ему было никак не дождаться, пока Онаке наберет полную шляпу, и Онаке, сжалившись над ним, подошел к забору, высыпал ему за пазуху все, что успел собрать. Одна груша застряла между прутьями забора, и, поскольку мальчик был уже далеко, Онаке, взяв ее, откусил, лицо его просветлело, и только тут он сообразил: боже мой, да ведь у него поспели груши!

В крошечных чутурских садах было очень мало грушевых деревьев. Каждый год весной они расцветали рано и буйно, но дотянуть до урожая им как-то не хватало сил, и в конце августа, когда наступала пора груш, мальчишки прямо изводили себя, стараясь понасть палкой или камнем в редкие плоды. То ли потому, что груш было мало, то ли потому, что они не плодоносили, но чутуряне их не жаловали, но и выкорчевывать не решались — все-таки груши.

Деревья, казалось, понимали, что их недолюбливают, и раз в два, в три года показывали, на что они способны, с чего это они по примеру других деревьев сверлят корнями землю. Эти старенькие груши с изъеденными му-

равьями стволами нагружали на себя такие урожаи, что совершенно исчезали под своей золотой ношей: ни веток, ни листьев, ни ствола, одна только огромная связка груш висит между небом и землей.

У Карабуша тоже росли в саду две старенькие груши, на которых вечно качались кем-то надломленные ветки, но этих груш даже мальчишки не брали в расчет, когда перебирали по пальцам достоинства местных садов. Но зато, когда выдавались большие урожаи на груши и когда, наевшись до отвала, чутуряне начинали заводить разговоры о сортах, о том, какая груша и чем берет, карабушские старушки непременно вылезали на первое место. Эти груши знали все слабости человеческой природы: красивые, чистый воск со слабым румянцем, сочные до того, что, откусив, нельзя было зевать, они еще отдавали чем-то мятным, и много времени спустя, после того как груша съедена, оставался во рту приятный привкус свежего степного ветра.

В сорок пятом году произошло нечто странное: все груши, выгрузив свои соки в прошлом году, едва собрали по два-три плода, а карабушские, хорошо уродившие в предыдущем году вместе со всеми, расщедрились второй год подряд и дали урожай даже богаче, чем в минувшем году. Карабуш не знал, что вся Чутура удивляется, идя мимо его садика, и, замедлив шаги, смотрит с опаской, ибо казалось, что эти старенькие деревья вот-вот свалятся вместе со своим урожаем. А они не валились, они были карабушскими, они держались.

Конечно, никто не станет отрицать, что Карабушу, помимо всего прочего, еще и повезло. Он обнаружил этот урожай в воскресенье днем, в обед, когда на улице, где стоял его домик, уже показались старушки и расселись кучками на низеньких скамеечках. Улица эта, самая длинная в Чутуре, в воскресные дни превращалась в нечто подобное городскому парку. Быть живым, здоровым чутурянином и не показаться в воскресенье на этой улице значило опозорить себя на всю жизнь.

Сначала, как правило, появлялся подвыпивший детища; он шел, балагурия сам с собой или распевая песенку. Тут же вылезали старушки, садились кучками и горестно покачивали головами: вот ведь до чего может дожить человек, когда у него ни стыда, ни совести! Потом показывалась стая девчонок-подростков, шли чинно, нарядные и важные, а старушки не спускали с них глаз, и девушки, понимая, что за ними следят, старались выглядеть

благочестивыми в своих помыслах, идти аккуратно, так, чтобы ни одна пылинка не села на наряды, ни одна ленточка не помялась.

Потом шли девушки постарше, шли свободно, независимо, азоровались со старушками. Откуда-то из переулка выныривали парни и начинали заговаривать им зубы. На улице, по всей ее длине, полнейшая тишина — все следят, чем кончатся эти интрижки. Потом, нарядив свое потомство, взяв за ручки маленьких, выходили к калиткам чутурыне со своими женами, щелкали семечки, балагурили. К вечеру перед самым закатом, если случайно запоздавшая телега заезжала на эту улицу, она непременно должна была свернуть в первый же переулок; выражение «ставить палки в колеса», несомненно, родилось в Чутуре, однажды в воскресный день, когда чья-то телега попыталась проехать по главной улице села.

Вместе с закатом, когда наступали сумерки, гуляние прекращалось. Чутурыне расходились медленно, несколько недовольные тем, что все так быстро кончилось. Шли парами, несли на руках сонных ребятишек и все оглядывались, чего бы еще прихватить с собой, что бы принести домой. Крестьяне по натуре, они должны каждый раз что-то принести домой, хоть мелочь какую.

На этот раз, возвращаясь по своим домам, чутурыне совершенно неожиданно для себя натолкнулись на вкусный, дурманящий запах спелых груш. Ребятишки, засыпающие на руках своих родителей, тут же оживились. Оваке Карабуш стоял у своей калитки, а рядом с ним, на земле — две огромные плетеные кошелки.

— Ну, у кого там карманы?..

В Чутуре никогда и никому не приходило в голову торговать фруктами. Их просто ели, воровали по ночам, раздавали, угощали, изредка, когда не лень, сушили на зиму. Карабуш не любил сушеных груш. Набив кошелки, он взял в каждую руку по две-три груши и, скользя взглядом по ногам шедших мимо людей, спрашивал сердито, недовольно, точно ему надоело держать груши в руках:

— Кто там говорил, что у него карманы?

А чутурыне ломались, они норовили пройти дальше. Они смутно помнили, что с этим человеком лучше не связываться, у них были какие-то счеты с ним, но теперь, при этом запахе, они не могли вспомнить, какие у них претензии к Карабушу. Они очень спешили, у них появились какие-то срочные дела, а у ребятишек, ко-

торых они несли, прямо слезы выступали, они вцепились взглядами в эти кошелки и замерли.

— Возьмите хотя бы детям гостинцы. Как они любят груши, боже мой, как они любят! Прошлой ночью устроили налет — думал, снесут и сад, и забор, и дом. Теперь вот решил: лучше самому раздать — меньше убытку будет. Возьмите, дайте своим детям, а сами, даст бог, отдадете груш уже в будущем году.

Первый мальчик, получив грушу, впился в нее руками, зубами, облился, захлебнулся сладким, пахучим соком, а это зрелище стало невыносимо для остальных маленьких чутурян: они завопили, каждый одно и то же, и кошелки Карабуша мигом опустели. Когда он возвращался из сада, снова наполнив их, возле ворот уже была толпа и рев стоял невообразимый. Дальше все было еще проще: ребятишкам просто не терпелось, пока он принесет кошелки, и они гурьбой побежали вслед за ним прямо в сад.

Когда стемнело и длинная улица опустела, в саду Карабуша уже не пахло грушами. Онаке, сидя на завалинке, лихорадочно шарил по карманам. Тинкуца так и не отведала в том году груш, теперь она требовала свою долю, хотя бы одну, и Карабуш, каким-то чудом раздобыв сморщенную грушу, глубоко, всей грудью победно вздохнул. Чутура была взята и на этот раз. Он еще и сам не знал, как это случилось, но битва была выиграна.

Съеденные в детстве груши не забываются долго, иногда остаются на всю жизнь. К тому же ребятишки плохо понимали, сколько раз в году родят сады. Они запомнили дом, калитку, человека, стоявшего с двумя кошелками груш, и норовили почаще пройти мимо и, став у забора, разглядывать садик. Увидев Онакия Карабуша, они улыбались ему, как старому знакомому, а сам Онаке, когда у него было свободное время, подходил к ним и заводил интересные разговоры, например, о том, какая груша вкуснее — та, которой тебя угостили, та, что выросла в саду отца, или украденная. Увы, украденные оставались самыми вкусными — это было куда как нехорошо, но это была святая истина.

Чутурянам не очень нравилось, когда их дети спешили поучиться уму-разуму у других. К тому же им надоело отрывать по вечерам свое потомство от плетеного забора Карабуша. Они недолюбливали этого человека и

по глупости своей стали его должниками. Долгов чутуряне не любили, особенно мелких, от которых можно избавиться тут же. К счастью, стояла осень, и вот уже Онаке Карабуш плетется с поля домой, а у калиток его дожидаются чутурянки, спрятав под передником пару слив, яблоко, кисточку винограда.

— Возьмите. Конечно, урожай в этом году не очень...

Онаке Карабуш оскорблен этими предложениями. Глубоко засунув руки в карманы, плетется своей дорогой, но чутурянки не сдаются.

— Да хватит вам ломаться! Это же гостинцы, пусть попробует сладкого...

И только тут Онакий Карабуш по-царски останавливается, из-под бровей смотрит долго на этих глупых баб, грустно улыбается, говорит тихо, как на похоронах:

— А кого, скажите, угостить мне сладким? Сыновья не вернулись, дочка уже сама себе хозяйка. Вот, думал, может, внуков, да ведь кто знает, слышал, как-то на днях, люди говорили, что зять вряд ли вернется...

И, не дождавшись, что скажут односельчане, идет дальше, гордый и непримиримый, оскорбленный в своих самых лучших чувствах, а женщины стоят растерянные у ворот, и дрожат в их руках пара слив, яблоко, кисточка винограда.

Нуца перестала хромать. Она снова стала бегать к соседям, «занимать» на ночь ребенка, а Чутура, сочувственно следя, как неумело ведет она за ручку детей, понимающе качала головой: а что, попробуйте прожить в одиночестве пять с лишним лет! Тут и околеешь, и ума лишишься.

Нуца торопила себя с утра до вечера, она везде поспевала, ее беленький домик проветривался и кого-то ждал, а Чутура радовалась: вот ведь хваткая баба, повезет же какому-то мужику! Нуца бегала к старикам за советами, терпеливо выслушивала их лепет, а Чутура, бесцеремонно перебивая стариков, говорила: «Не слушай ты их, они давно все позабыли, ты лучше сделай вот так...» Нуца подоставала свои самые некрасивые наряды, а Чутура ее укоряла: «Чего это тебе вздумалось? Придет время, еще и накукуешься, и наплачешься, и никто вслед головы не повернет».

Нуца любила свою деревню, всю целиком и каждого человека в отдельности. Она все норовила почаще с ними

встречаться, побольше с ними побыть, молча любясь ими, счастливыми, а в это время ее карие глаза упрашивали: «Ну, пожалуйста, напишите пару строчек моему мужу. Не хотите меня хвалить — не хвалите, просто напишите, что я тут, с вами, что жду его...»

И тут Чутура начинала чесать затылки. Понимаешь ты, какое дело, ведь была ручка в доме, а вот запропастилась, прямо ума не приложишь, куда она могла подеваться! К тому же с бумагой не очень-то густо: лежали тут два листочка, да теща сдуру горшки с молоком накрыла, они промаслились. Прямо хоть плачь, ни ручки, ни бумаги...

Но, конечно, это был уже другой разговор. Ручка и бумага — это не такое великое горе, из-за которого должен хороший, здоровый человек ни с того ни с сего прихрамывать.

А сады в Чутуре зеленели и шептались по ночам. В этих садах должны были со временем поспеть и гостинцы для карабушских внуков. Он помнил этот долг за деревней, а когда Карабуш схватывал что-либо своей памятью, это было надолго. С ним шутки были плохи, особенно когда речь шла о ребятишках. Никогда не замечая сновавших мимо малышей, никогда не балуя их, он вместе с тем буквально зверел, когда их обижали.

## Девушка в белой кофточке

Она пользовалась большим успехом. Эшелоны шли долго, через Польшу. Солдаты были в летах, в основном народ женатый, они ехали домой с решительным видом целомудрия, но она была хороша собой. И это решило все дело. Правда, этот триумф для самой девушки в белой кофточке оказался большой неожиданностью. Она была скромной, больше половины дороги ехала себе тихонько по чужому билету, и никто даже не подозревал о ее существовании.

Началось с того, что солдаты подоставали старые письма и стали их читать уже с точки зрения своего возвращения домой. Наиболее двусмысленные строчки читались вслух, на суд всего вагона. А там дошла очередь и до фотографий: а ну, давай посмотрим, какая она из себя?

Мирча Морару, молчаливый, смуглый сержант, с боль-

ним любопытством рассматривал фотографии товарищей. Был он самого высокого мнения о каждой из них, но писем своих не перечитывал, фотографией не хвастал. Возвращался он домой как-то странно: по его виду можно было думать, что он из армии, которую просто перебрасывают из одного тыла в другой.

Конец войны привел к распутью не только мир, но и каждую человеческую судьбу в отдельности. Поэтому-то, видимо, все и норовил этот сержант уединиться: все ему нужно было что-то понять, осмыслить, все он что-то копался в вещах, что-то куда-то перекладывая, и вот уже какой-то снайпер заметил высовывавшийся из его кармана зубчатый уголок фотографии.

— А ну, сержант, гони свою кралю сюда!

Она чинно и степенно начала свой путь по солдатским рукам, и у нее был огромный, ни с чем не сравнимый успех. В этом потоке любительских, спешных снимков со следами влажных пятен ее фотография была самой новой, самой крупной и даже в отличие от всех с зубчатыми краями. В этом мире грустных, нежных, задумчивых и наигранно беззаботных улыбок ее лукавый прищур сражал весь эшелон: не то она хочет сказать «да», но, может статься, с такой же легкостью скажет «нет». В этом несметном количестве простеньких перелицованных нарядов ее белая кофточка с короткими кружевными рукавами просто сводила солдат с ума. В этом множестве наивных и нежных надписей ее почерк вызывал великое уважение своей грамотностью и изяществом каждой буковки.

— По-вашему, что ли, написано тут?

Написано там было по-чешски, но Мирча, зная латинский алфавит, отвечал с известной осторожностью:

— Да, по-молдавски написано.

— И на что она, скажи пожалуйста, делает упор?

— Какой там упор! Жду, мол.

— И что ты думаешь, ждет?

— Кто знает!

Но было видно по его лицу, видно было по ее лицу, что она ждет, и солдаты радовались: вот же подцепил где-то, сукин сын! Небось даже генеральская дочка и та вряд ли обрадует такой улыбочкой!

В Жмеринке девушке в белой кофточке понадобилось пересесть на другой поезд, а поезда не было. Ей не нравился этот темный, набитый народом вокзал, она не смогла выпить ни одного глотка этой тухлой станционной во-

ды. Она ехала в Молдавию, в Сорокскую степь, степь была уже где-то совсем рядом, и Мирча ходил по путям в поисках попутного поезда.

Далеко от вокзала на старом проржавевшем пути одиноко стоял небольшой, давно не крашенный вагончик. Видать, станционное начальство поставило его туда, чтобы он не привлекал излишнего любопытства, но вагон был с характером. Из крошечного окошечка доносилась старая молдавская песня «Что стоишь ты на дороге, торговец вином», а на дверях красовался написанный мелом последний военный лозунг: «Доедем домой в два дня, живые или мертвые!» Вероятно, этот боевой клич имел слишком большой успех, и, как только низенький паровозик стал обхаживать вагон, семь здоровяков сели в дверях, свесив ноги; на лице каждого из них было написано, что люди весом меньше десяти пудов их даже не интересуют.

Но девушка в белой кофточке хотела в Молдавию. Мирча, не вдаваясь в детали, крикнул в сторону окошечка:

— Михалаш, придержи мое место!

И, пока здоровяки, удивленно переглядываясь, спрашивали друг друга, кто такой Михалаш и о каком месте идет речь, Мирча уже пролез со своей барышней. Подняв высоко над головой чемодан, он вежливо прорезал себе дорогу, рассыпая извинения на все четыре стороны света, но песня оборвалась и солдаты умолкли. Развертывалась забавная операция. Их провели тактикой, но должна была вот-вот подоспеть стратегия и отомстить за себя. Коллективно комментировали ход событий:

— Хитер...

— Петре, стукнуть его?

— Все по ногам, по ногам лазает...

— А черный — прямо-таки из вашей деревни!

— Влепить ему, Петре?

— К жене потянулся, малютка. Смотрите, как ему не терпится!

— Это точно. Чемодан ворованный.

— Петре, вдарить его?

Мирчу прямо бесил этот идиот, все время спрашивавший совета Петре. Отыскав его среди солдат, приметил новую суконную пилоточку, широкий веснушчатый лоб. Добравшись, на нужном расстоянии опустил чемодан и, развернувшись, влепил ему такую пощечину, что суконная пилоточка воробушкой полетела в противоположный конец вагона. Солдаты молчали. Мирча был тап-

кистом, а техника требовала к себе уважения. Кроме того, между двумя его медалями позванивал солдатский орден Славы, и, если учесть, что суконная пилоточка сорвалась и полетела с такой громадной скоростью...

После долгих и мучительных раздумий Петре наконец решился.

— Ладно, влепи ему...

Да тот, с широким веснушчатым лбом, был не дурак.

— Ну его... Он же левша, а левши сумасшедшие все.

Вагон хохотал. А тем временем его, хохотавшего, прицепили к составу, и Молдавия двинулась домой. Сидя на короточках, перечитывают свежие, только что полученные документы. Считают по пальцам ранения, окопы и товарищей, с которыми уезжали из дому. Развязывают солдатские мешки, достают цветные платочки, размышляют вслух: кому бы его подарить? Теще, что ли, отдать? Ну да, черта с два, получит теща платок! Проживет небось и без подарка. Но, подумав, вздыхают: все-таки надо будет отдать теще.

Колеса стучат, в маленьком окошечке товарного вагона замелькали оголенные верхушки деревьев. Паровоз, воинственно отдуваясь, подбадривал сам себя, и солдаты, уморившись, прикорнули на своих нарах. Уже почти уснули, когда солдат с большим веснушчатым лбом спросил тихо, дрогнувшим голосом:

— Ну а вдруг она вышла замуж?

Они были его товарищами, они должны были ему посоветовать, как быть, если она вдруг вышла замуж. Они видели, как наступал он по полям в промокшей солдатской шинели, они перевязывали его раны, они хорошо знали эту девушку по его рассказам.

Сна как не бывало. Весь вагон начал разбирать самую старую из всех проблем, волновавших человека. Трагедии чередовались с комедиями. Вот, к примеру, возвращается солдат домой и находит жену в постели с соседом. Это раз. Или, скажем, ты вернулся, а на твоей шее вместо двух ребятишек повисло трое. Жена клянется, что самый младший ужас как похож на твоего дедушку, а сам ты, меткий стрелок, смотришь на него так, краешком глаза и видишь, что и нос и глаза как-то не пошли ни в ее родню, ни в твою, а подались по совершенно другим окраинам.

Вагон и плачет и смеется. Только низенький ефрейтор с детской озорной улыбочкой, безучастный ко всему,

обходит товарищей, заманивающе пощелкивая колодой новеньких пластмассовых карт. Солдатам некогда играть, они сочиняют трагедии, но Мирче не хочется, чтобы девушка в белой кофточке слышала все эти соленые солдатские непристойности, и он протягивает руку ефрейтору.

— Дай четыре туза.

Карты новые, очень красивые. Они тоже как-то озорно улыбаются. Ефрейтор стоит в позе жуликоватого картежника, прикидывающегося начинающим.

— Что козырь?

Ефрейтор пожимает плечами: бог его знает? Сам раздавал карты и сам не знает, какая масть козырная.

— Давай я их раздам.

А колеса стучат, вокзалы вихрем несутся мимо, солдаты начинают разбирать хозяйские заботы. Сколько стоит хорошая лошадь и во что обходится корм? Кто что слышал о колхозах — почему в одном хорошо, а в другом тоже хорошо, но уже в другом плане? Запахло свежей пахотой, запели степные жаворонки, но Мирча старательно раздает карты:

— Бубны козырь.

Он не успел обсудить все эти дела с девушкой в белой кофточке, а с другими не хочется говорить об этом. Но он не расстраивается: эта девушка большая умница, они что-нибудь придумают вместе. Толковое что-нибудь.

На рассвете солдаты спешно чистят еще раз сапоги, медали, пристегивают новые, давно прибереженные погоны. Вдыхают глубоко-глубоко прохладу родной осени и все покашливают, сисясь взять себя в руки. Начинается день, которого они ждали долгие годы, день, которого никогда не забудут, день своего возвращения. Прощаются. Сходят по одному, по два, а остальные, столпившись в дверях вагона, долго смотрят им вслед. Так провожали друг друга, когда шли в разведку. Тогда гадали — вернется, не вернется. Теперь не гадают — ясно, что с этой разведки не возвращаются. И как-то радостно и горько, что они больше не вернутся.

— Постой, да что же козырь?!

Солдаты оглядываются, смотрят на танкиста долгими, непонимающими взглядами: какой козырь? Мирча ждет ефрейтора, а ефрейтора нет. Карты лежат — чистенькие, новые, улыбающиеся. Собрал, пересчитал, пошел по вагону искать партнера. Старый солдат, стоявший в дверях, сказал не оборачиваясь:

— Сошел, бедняга...

— Что же он карты не забрал?

— А зачем они ему? Он же немой, после контузии. Баловался, чтобы не скучно было в дороге...

Мирча лихорадочно вспоминает — его вдруг обожгло: ведь напарник по игре не проронил ни единого слова. Перебрал новенькие пластмассовые карты и увидел, что все они тоже немые, а эти детские улыбочки — просто гримасы ужаса...

«Вот, девушка, как все это нам досталось...»

Вагон стоял напротив какой-то небольшой станции. Приподнявшись на цыпочки, Мирча смотрел в маленькое окошечко. Рассветало. Стояли рядом с вагоном четыре высоких тополя, несколько букв, побеленных когда-то, старушка мечется с кошелкой, никак не сядет. И вдруг его осенило: «Памынтены!»

Едва успел спрыгнуть, в последнюю минуту спохватился. Круглые листочки тополей свернулись, почернели от первых заморозков. Свежий степной ветер, опоздавший к поезду, метался по перрону. Меж низеньких домиков просачивался бледный, холодноватый осенний солнечный свет. А дальше, за домами, дышала огромная, как море, степь.

«Вот, девушка, это наш вокзал. Памынтены. Ударение на предпоследнем слоге...»

Чутура не ждала гостей. Чутура спешила убрать кукурузу и подсолнечник. Ей опять не повезло — год был засушливый. И она стала хмурой. Чутура высчитывала про себя, сколько поставки сдала, сколько еще осталось сдать. Она слушала, как звенит пятиконечный орден Славы, гадала, сколько добра вместил этот чемодан, и только после всего этого подняла глаза и, устало улыбаясь, спросила:

— Домой, Мирча?

Ясное дело, домой.

«А вот, девушка, и сама Чутура...»

Он показывал девушке свою родную деревню, а сам уже плохо узнавал ее. По письмам Нуцы, по ее почерку, знакомому до каждой буковки, ему казалось, что Чутура такая же, какой он ее оставил. А Чутура была другой. То тут, то там мелькал пустой двор, заросший бурьяном. Взлохмаченные ветром стрехи соломенных крыш, покосившиеся заборы. Один только новенький, с огромными

окнами, дом Ники сиял на всю Чутуру. Вот уж действительно — как в воду глядел. Строил для своих, а живут там чужие. Из писем Нуцы он знал, что Ника уехал со своей некрасивой женой в Румынию, но он никак не предполагал, что в его доме школа. Увидел издали молоденькую учительницу в синем платье и две кривые шеренги ребятишек. Учительница стояла спиной к воротам и говорила звучным мелодичным голосом: «При счете раз — поднять руки вверх. Вот так. Два — руки выбросить в стороны, на уровне плеч. Три — руки опускаются. Ну, стало быть, раз!»

Только несколько девочек из второй шеренги подняли руки, остальные стоят неподвижно и долго, не мигая, смотрят на ворота. Гадают про себя: отец, не отец? Удивленная учительница обернулась, зарделась радостью своего ученика.

— Узнаете своего?

У нее были бесконечно черные, немислимо красивые девичьи глаза. Он утонул по самый пояс в зрачках этих черных глаз. Стало душно и совестно перед этими красивыми шеренгами.

— Моего нет, мой все еще собирается.

Чешской девушке в белой кофточке понравилась учительница, она спросила:

«Ваша односельчанка?»

Мирча видел ее впервые в жизни, но почему-то соврал:

«Да, наша».

Эта новая учительница была настолько сметливой, что Мирча даже подумал: а может, и в самом деле чутурянка?

Она улыбнулась его мыслям, отрицательно покачала головой и сказала:

— Не забудьте вовремя послать своего в школу.

— Не забуду. До свидания.

Он шел по деревне, сворачивая из переулка в переулок, но долго еще слышал ее певучий голос: «Раз, два, три...» На перекрестках попадаются старушки, и нужно суметь их обойти, но не тут-то было. Бабули рассказывают о своих горестях долго, цветисто, перебивая друг друга, и в то же время стараются получше разглядеть его, чтобы было о чем судачить. А ему не нравится, что его разглядывают, он уже увидел две крыши в одном дворе, взял чемодан. Девушка в белой кофточке что-то спрашивает, а он не слышит, он подбирает про себя какие-то

теплые слова, а слов нет, есть только стародавнее, заветное — добрый день, мама.

«Вот, девушка, наш старый домик...»

Где-то в том конце Чутуры у него свой домик, но он все еще любит этот. Любит простые окна с их крестовинами, любит низенькую старую крышу, любит двор и все, что там растет...

Тетушка Сафта — о господи, если бы она только знала! — она целые дни выстаивала у ворот, часто выходила далеко в поле — ждала его, а сегодня, как на грех, взялась обмазать домик глиной. Она услышала только, когда маленький пушистый щенок бросился к воротам и залаял. Он еще был очень маленьким, он не понимал, что когда-то в этом доме жили и другие люди.

Тетушка Сафта обнимает сына, плачет, затем вытирает руки от глины, дает пинка щенку, обнимает и плачет, а потом запирает в сарае щенка, моет руки и уже по-настоящему обнимает своего сына.

Щенок в сарае лает вовсю, а она плачет: если б она знала, если б она только знала! И это правда: если бы она знала, никто не смог бы встретить его так хорошо, да что поделаешь, она не знала. Пригласила в дом, усадила на ту скамеечку, которую он смастерил когда-то, поставила на стол все, что было в доме, села перед ним на полу, стала снимать пыльные кирзовые сапоги. А щенок все лает, лает в сарайчике.

— Ты не сердись, он очень хороший щеночек... Вот придешь еще раз, и он привыкнет... Боже, если б я только знала!

Он достает из чемодана большую теплую шаль, кладет ей на колени, а она не смеет руками притронуться к этой дорогой вещи, и старческие глаза спрашивают: а ему, отцу-то, неужели так-таки ничего не привез? Он достает еще пару брюк, кладет рядом с шалью, а тетушка Сафта, обхватив голову руками, говорит тихо, потому что муж погиб на войне. И она знала, и он знал. Но она еще надеялась, что, может, сын привезет отцу подарок. Сын-таки привез его, и было так горько, что он привез!

«Вот, девушка. Такие вот дела...»

Далеко, возле самого леса, Нуца убирала подсолнечник. Это были те самые полдесятины, из-за которых сражались в судах Вишни и Черешни. Теперь об Умном

ни слуху ни духу, его земли розданы отчасти чутурьянам, отчасти нуелушанам, и одна только Нуца, упрямое карабушское племя, на той же земле, тем же серпом все тот же подсолнечник убирает.

Подсолнечник был не так чтобы. Она пожадничала, засеяла густо, он вырос высокий, а шляпки маленькие, тощие. Кругом подсолнечная шелуха — то-то воробышки объедаются!

Нуца убирала быстро, в каком-то тупом азарте. Иногда это на нее находило, и она становилась пружинистой, все летело, горело кругом, а ее движения были тихими, незаметными. Серпа совсем не видно, она стоит, согнувшись в поясе, и кажется, что колдует над подсолнечником. Она произносит какое-то заклинание, стебли десятками валятся на нее, и она еле успевает хватать их на лету и складывать в кучки.

Изредка руки залетят на секунду под подбородок и перевяжут платочек. И это означает многое: что она проголодалась, что хочет пить или соскучилась по ком-то. Но теперь она собирает подсолнечник, и единственное, на что может решиться, — это перевязать платочек.

В этой великой спешке, в этом сочном хрусте срезанных стеблей она вдруг заметила в двух шагах от себя сапоги. Улыбнулась, все еще не решаясь выпрямиться: может, он, может, не он. Ее усталый, счастливый взгляд медленно пополз вверх по ногам, по поясу, она увидела орден и замерла. Мельком взглянула в лицо и еле слышно вскрикнула — до того он был родным и до того вернулся чужим! Ее усталые руки, охваченные ужасом, метнулись вверх, и она пьяными, нелепыми шагами попятилась.

— Здравствуй, Нуца...

Он шел к ней с протянутыми руками, а она все пятилась назад, и руки ее хватали воздух, да ведь о воздух нельзя опереться. Такой глухой была эта встреча! Он возвращался после четырех лет войны, а она убегала, как ребенок, в самую стужу разбивший окно.

Нуца споткнулась, утала да так и осталась сидеть. Потом виновато улыбнулась потрескавшимися, обветренными губами.

— Вот ты и вернулся...

— А ты писала, что приедешь встречать.

— Вернулся, стало быть...

Нуца увидела рядом с собой кувшин и обрадовалась. Взяла кувшин, с ним стала храбрее и медленно пошла к



Мирче. Идет и смотрит долгим взглядом: он, конечно же, это он. Еще пройдет, еще посмотрит — и как будто уже не он...

— Вот, спешила... Подсолнечник все собирала... Тебе, верю, пить хочется? Я побегу к ручейку, он тут совсем близко...

— Что ж, сходи.

Она бежала долго, напрямик, через поля. Вдруг спохватилась, что опять захромала. Пошла тихим шагом. Остановилась. Еще раз оглянулась, снова побежала.

«Вот наша земля...»

Мирча подошел к меже, сел, по-хозяйски положив руки на колени. Посмотрим, что мы имеем. Вот руки, а вот кругом поле. Так долго снились ему эти земли, лежавшие у его ног. Так много лошадей исхлестал из-за того, что земли было мало, а лошади были не виноваты, у них тоже ничего не было за душой. Так часто ссорился он с соседями, с родней, со всей Чутурой, а земли все не прибавлялось.

Из-за этой земли стал он солдатом Советской Армии и прошел долгий путь, всю Европу почти обошел, и вот она наконец, эта земля. Она покорно лежит перед ним, а он не радуется. Вернулся уже другим, стал танкистом и смотрел на эти холмики и долины только с точки зрения их стратегического значения.

Теперь нужно было запрячь лошадку, сесть в дребезжащую телегу, а он привык ездить в грозной машине. Нужно было, сидя по вечерам с соседями, гадать о дождях, об урожае, а у него были свои дела с Черчиллем, он не мог простить англичанину так поздно открытый второй фронт.

Нуца умывалась возле родничка. Она хлопотливо собирала крупинки своей былой красоты, смотрелась в родничок, как в зеркало. Должно быть, показалась сама себе красавицей и, ухватив кувшинчик, побежала к Мирче. А он смотрел совсем в другую сторону, чтобы не смутить ее, чтобы не сравнивать с девушкой в белой кофточке, что пользовалась таким успехом в солдатских эшелонах.

Нуца очень изменилась. Ее когда-то стройное тело теперь стало наливаться тугой бабьей силой. Золотистые, длинные, до колен, косы свернулись теперь маленьким калачиком на затылке; и казалось, там больше разноцветных тряпочек, чем волос. Дородные груди то исчезали, то всплывали под кофточкой в самых неожиданных мес-

тах, и только карие глаза еще теплились какой-то хитринкой, оставшейся от прошлых лет.

— Ты, верно, голоден, а я воды несусь!

Мирча взял кувшинчик. Прополоснул рот, закрыл кувшин початком, поставил у ног. Пить не хотелось. Взял серп, лежавший рядом. Все так же сидя, потянулся, срезал один подсолнух, дав ему упасть и рассыпать по земле все свои семечки. Он не видел едва мелькнувшую обиду в карих глазах Нуцы. Но девушка в белой кофточке видела. И, подумав, спросила его: «Зачем же ты тогда вернулся?»

В доме не было хлеба. Она не знала, не успела испечь. Одевшись в его гимнастерку и звеня медалями, она бегала по селу занять белого хлеба, а у них в доме стали собираться его товарищи, ученики Мику Микулеску. Молча, с любовью и достоинством вытаскивали они из карманов бутылки мутной самогонки, шли к нему обниматься.

— Ну, с прибытием, Мирча...

Его тесть, Онакий Карабуш, сидел в углу и думал про себя, что, может случиться, те, которые убивали его сыновей, тоже получили медали. Может, даже орден. В минуты неловкой тишины он произносил одно и то же:

— Подумать только — пять с лишним лет! Подумать только!

Двоюродный брат Тудораке только что вернулся из плена. Его рассказы о войне должны были идти только после рассказов победителей. Он сидел на глиняном полу и по буквам читал орденскую книжку Мирчи.

— Вот чертово племя эти Морару! Я проиграл войну с румынами, но выиграл ее Мирча с русскими, то есть опять-таки выиграла Морару!

Мирча сидел с опущенной головой, представлял девушке в белой кофточке всех, кто пришел его навещать.

Вернулась Нуца, постелила свежую скатерть. Пили самогонку с выражением мученичества, но пили убежденные, что иначе нельзя. Брала закуску кончиками пальцев и все интересовалась одной подробностью: каким образом доехал Мирча из Памынтен домой, словно все эти трудные годы он только и делал, что добирался из Памынтен в Чутуру.

Лампа стала гаснуть, Нуца косилась в сторону корич-

невого чемодана. Мирча снял сапоги, чтобы дать ногам подышать, и ученики Мику Микулеску, придумывая что-нибудь смешное, дабы скрасить этот вечер, повставали со своих мест, церемонно прощаясь:

— Ничего, мы еще погуляем. Успеется. Главное — человек вернулся.

— Ты правда, в самом деле вернулся?

Они снова остались вдвоем. Она сидела на низеньком стульчике, держала на коленях свои обновки и все смотрела на него. Смотрела исподтишка, смотрела в глаза, смотрела только краешком глаза и думала, что совсем забыла его. Она забыла ту чудную летнюю ночь, телегу с сеном. Вернее, она отлично все помнила, но только это было связано с другим человеком, более щущлым, более сердитым — таким она его проводила, таким ждала, а вернулся другой.

Ей и этот нравился. Нравился даже, может быть, больше того, да не знала, как к нему подступиться. Он по-новому смотрел, по-новому скручивал сигарку, у него появилась привычка резким движением головы поправлять свисающий на лоб тяжелый полуседой чуб. И как ей нравился этот загорелый лоб, этот кудрый, уползающий из-под его власти чуб!

Она впервые по-настоящему, всем существом своим пожалела, что нет у них ребенка. Некому было в минуты тишины побежать голыми ножками, взобраться к нему на колени, взять все это богатство в свои ручки, а то, что принадлежит детям, одновременно принадлежит и их матерям.

Она проклинала свою бесплодность, шершавыми пальцами щупала диковинный немецкий шелк. И нет-нет да и посмотрит еще краешком глаза: вдруг узнает?

«Вот это мой дом, барышня...»

Лампа потухла. Нуца встала и стыдливо, вороватыми движениями начала стелить постель. Ходила на цыпочках, застлала не дыша, словно совершала какое-то таинство. Две большие подушки после долгих лет разлуки снова легли рядом, одеяло дохнуло холодом другой комнаты.

Сказала, будто оправдываясь:

— Господи, как я устала...

Разделась в углу, тяжелой, давно не летавшей птицей мелькнула белая рубашка, и она скользнула под оде-

яло. В доме настала сладкая, многозначительная тишина — вот, вернулся муж с войны.

Было что-то дикое в этом древнейшем обычае вести супружескую жизнь. Он только вошел в дом. Она только что увидела его. Они еще ничего толком не успели рассказать друг другу. После долгой разлуки их привычки, их взгляды заново знакомились. Оба они искали какого-то смысла в этой близости, какую-то радость в общении друг с другом. Но вот вмешалась постель, сказала грубым будничным голосом: «Ладно вам, чего уж там...»

Мирча чувствовал, как, сидя на маленькой скамеечке, с каждой минутой тупеет. Стал искать что-то по карманам, то застегивал, то расстегивал воротничок гимнастерки, потом поднялся, вышел в соседнюю комнату. Закурил, достал фотографию девушки в белой кофточке, стал разглядывать, посвечивая папироской, и вдруг сжалось, похолодело все внутри. Девушка в белой кофточке больше не улыбалась. Чешки не любят, чтобы им изменяли, они доверяют только раз, только один раз.

«Да неужели я не говорил тебе, что женат?!»

Увы, случилось так, что он забыл в свое время сказать правду. Теперь уже было поздно, теперь все кончилось. Девушка просилась домой, она требовала, чтобы ее немедленно отвезли на родину, а туда ему уже было не добраться. Мирча вздохнул и после этого глубокого, до боли в затылке, вдоха показался себе таким же растерянным и злым, каким уехал когда-то на войну.

Попытался еще раз прочесть адрес на обратной стороне фотографии, затем ногтем аккуратно выскреб надпись, достал большую застекленную рамку со старыми, давно усопшими дедами и поставил в уголочке карточку девушки в белой кофточке. В сенях потушил папиросу, вошел тихо, виновато, на цыпочках.

А может, он не дикий, может, он бесконечно мудрый, этот древнейший обычай вести супружескую жизнь? Может, начав все сначала, они бы никогда не стали мужем и женой?

Взошла луна. Бледный луч ласковым котенком пополз по глиняному полу. Тихо освечивают белизной четыре стены, гордые тем, что хозяева взяли их свидетелями своей первой встречи. Первой потому, что только в темноте,

под теплым одеялом, Мирча впервые вернулся с войны, а его заскучавшая жена выбежала далеко-далеко ему навстречу.

Она и теперь стоит в своем уголочке под стеклом, эта девушка в белой кофточке. Чешки — они хороший народ. Девушка все поняла, все простила. Раз в неделю она ждет, когда в субботу придет Нуца и в спешке вытрет стекло чистой тряпочкой. И снова засмеется девушка своим знаменитым смехом: не то хочет сказать «да», а может случиться, что скажет и «нет».

Мирча почти забыл о ней. Только изредка, оставшись один в доме, достает эту карточку и гладит шершавыми пальцами ее зубчатые края и становится грустным-грустным... Что поделаешь! Мы еще не научились радоваться, прощаясь со своей молодостью, и, надо думать, никогда этому не научимся.

## Тайная вечеря

Одновременно с возвращением Мирчи в степи наступила пора бесконечного шепота, нескончаемых удивлений. Тружеников Сорокской степи всегда занимало все чрезвычайное, из ряда вон выходящее, и теперь удивлению не было конца.

— Ну и ну...

— Вот именно — ну и ну. Теперь хоть сверху вниз съезжай, хоть снизу вверх карабкайся, один черт.

— Постой-постой, ты о чем это?

— А ты о чем?

— Я просто так, на всякий случай сказал — ну и ну. А что, есть новости какие?

— Новости-то, конечно, есть, да тебе только слово скажи — тут же растрезвонишь.

— Кто, я растрезвоню?! Зря ты человека, то есть меня, обижаешь. Ей-богу, зря.

— Ну ладно, черт с тобой. Только — уговор.

— Да говори ты, не тяни душу!

И тот выкладывал, что у него было. Иногда новости приходили крохотные, всего-то каких-нибудь два-три слова, другой раз бывали длинные, запутанные, полные противоречий, и нужно было немало потрудиться, чтобы при-

вести их в божеский вид, но какими бы они ни докатывались до Чутуры, эти новости всегда вгоняли крестьянина в глубокое уныние — не доведи господь, чтобы такое случилось.

Уже больше года люди жили слухами. Эти таинственные шепоты стремились уничтожить последние остатки душевного спокойствия, ниспровергнуть любые наметки на завтрашний день. И хотя в каждую деревню они приходили в разных изложениях и принимали и понимали их по-разному, по существу, речь шла об одном — война. Новая война. Не успела та, четырехлетняя, кончиться, и вот тебе новая. И что за важность, что речь шла о маленькой, местного значения схватке — все-таки это была настоящая война с выстрелами, с ранеными, с запланированными атаками и неожиданными контратаками.

Единственное, чего недоставало этой маленькой войне в отличие от большой, — это линии фронта. То есть она, конечно, где-то существовала, но только условно, и на этот счет у каждого крестьянина в Сорокской степи были свои догадки, каждый устанавливал ее по-своему. Ну а что там в этих догадках было верного, а что надумано — этого никто не мог сказать. И самих войск, участвовавших в схватках, тоже не видно было. Говорили, что они прячутся по лесам. Бессарабцы, попавшие вместе с армией Антонеску в плен и теперь возвращающиеся из лагерей, дезертиры из румынской, дезертиры из Красной Армии, жалкие потомки прославленных конокрадов и просто разные любители приключений, сколотившись в отдельные отряды, засели в лесах. Целыми днями отсыпались, играли в дурачка, а глубокими ночами устраивали налеты на степные деревушки. Говорили, что они особенно охотятся за сельскими властями, рассказывали, что убиты уже два председателя сельсовета, три милиционера и один глухонемой, имевший привычку ночами пляться по лесу вместо того, чтобы отсиживаться в своей конуре. Правда, иногда случалось, что две-три ночи подряд было тихо, и тогда страх охватывал деревушки. Поговаривали, что в лесах готовятся к большой схватке и что через денек-другой настанут самые что ни на есть черные дни.

Сами по себе эти банды, конечно, не были сильны, но говорили, что у них связи. По ночам будто бы к ним прилетают самолеты — не то американские, не то английские. И еще говорили, что их наверняка поддерживает какая-то часть степного крестьянства. И хитры ведь, изуве-

ры такие. Вот он ходит, чутурянин он или нуелушанин, пашет он там или косит, и вид у него мирный, и поговорить с ним можно по душам, но что там у него на душе — один господь знает. Ведь кто-то кормит этих лесных бандитов, кто-то собирает для них оставшееся в поле оружие, кто-то наводит их на след.

А время стояло хорошее, теплое. Каждый день с утра степь окутывалась туманом, настроение было беспечное — люди бездельничали, проводя целые дни в какой-то сладкой полудреме. Самые что ни на есть работяги, и те, которых сначала нужно было сдвинуть с места для какого-нибудь дела, и врожденные лентяи — все эти различные слои общества вдруг породнились меж собой, и, нерадивые, беззаботные, дав, как говорят молдаване, своим внутренностям поспать, они только и делали, что сплетничали и обменивались новостями. Поля зарастали сорняками, скотица маялась непоеная, неухоженная, детвора терялась, оставшись без обычных нравоучений, жены тоже отбились от рук, и вообще жизнь деревень как-то сошла на нет — ни тебе свадеб, ни драк, ни похорон, ни будней, ни праздников.

То есть на первый взгляд казалось, что ничего такого не происходит и вся жизнь течет умеренно, спокойно, как исстари повелось. Деревни по-прежнему просыпались чуть свет, и каждый кидался туда, куда сам себе наметил накануне вечером — кому нужно было на прополку кукурузы, хватал тянку и спешил в поле, у кого были дела на ярмарке, отправлялся чуть свет, пока стояла прохлада и хорошо было идти, у кого водился скот, выгонял его под присмотром малышей на пастбища, и только гуси, ягнята да сами хозяйки, готовившие обед для работающих в поле, оставались в деревнях. День казался на редкость удачным, спорым, но все это бывало только самой ранней ранью. С первыми теплыми лучами солнца какой-то сладкий туман окутывал степь, и все в этом тумане качалось, все плыло; и заросшая сорняками кукуруза, и пыльная дорога, и бело-рыжая телка на зеленом склоне пастбища, и закипающие на летней печурке горшки. Вместе с теплыми лучами солнца, вместе с этим молочным, в радужных разводах туманом все, что окружало человека, точно в сказке, мягко сползало со своих насиженных мест, раздваивалось, растранивалось, размножалось до бесконечности в похожих друг на друга предметах, затем они начинали складываться обратно, и степному плугарю было чудо как хорошо стоять, опершись на черенок своей тяп-

ки, и следить прищуренными, сонливыми глазами за всей этой кутерьмой.

«И вот ведь пакость какая!» — диву давались крестьяне, потому что хоть была и сила, и острая тляка в руках, они не знали, как к ним подступиться, к этим раздваивающимся сорнякам.

«Скажи на милость!» — недоумевали поспешившие было чуть свет на ярмарку, а теперь отсиживающиеся в холодке на полдороге. Уже давно у них ноги передохнули, пора было в путь, да только дорога вот раздваивалась, и поди погадай, по какой идти, чтобы наверняка.

«Мамочка ты моя родная!» — шептал в ужасе малыш, глядя, как бело-рыжая телка забралась в чьи-то посева. Ему бы взять палку, да побежать, да отогнать ее, но палки раздваивались, и ноги бежать не хотели, и он думал, что, если невароком придет тот дядька, хозяин посева, так ведь насмерть прибьет. И дядька в самом деле появлялся и стоял на краю своего поля потрясенный, но не шел бить пастушонка, потому что видел перед собой множество бело-рыжих телок в безбрежном океане посевов и, верно, думал он, раз посевам конца и края нет, пусть телки попасутся, добра много.

Целыми днями деревни стояли опустевшими — ни мелкого перестука деревянных телег, ни громких спор соседок, ни мягкого скрипа колодезных журавлей. А в полдень, в самую жару, и степь замирала, даже неподвижные белые рубашки, маячившие в посевах тут и там, исчезали. Только к вечеру, когда дали нальются синовой, а из-за пригорка вдруг подует ветерок, зашелестят посева, все задышит, скинет с себя дремоту, начало какого-то оживления спускается на степь. И решительно плюют в ладони вышедшие на прополку — давай, слушай, а то это уже слишком. И отправляются в путь те, у кого были дела на ярмарке; дети, размотав веревочки, намотанные на рога своих коровушек, пасут их вдоль дорог, там, где густой подорожник, и оставшиеся дома хозяйки, заткнув за пояс край длиннополой юбки, хлопочут, да только вся эта сноровка пришла слишком поздно. Солнце несется к закату, тени растут, по долинам сочится дыхание ночной прохлады. День уже на исходе, и возвращаются по домам пастухи, длинными цепочками подбираются к деревням плугари, заматанные вкопец заботами хозяйки, бросив все, готовят на летних печурках ужин, и вот снова в каждом дворе дымится

бессмертный очаг. День кончился, но странное от него ощущение осталось: будто прожил его не ты, а кто-то другой; ты же стоял рядом и молча смотрел, как твою жизнь на твоих глазах проживают другие.

В сумерках, когда в крестьянских домах зажигали самодельные светильники-лампады, и ставили посреди комнаты круглый низенький стол, и светилась на столе желтая, теплая мамалыга, а рядом дымилось пахнувшее полем молоко, когда впервые за день собиралась стосковавшаяся друг по дружке семья, когда руки маленьких пастишков, подбодренные ласковым взглядом старших, тянулись, робкие и неуверенные, к мамалыжке, вдруг откуда-то с поля доносился резкий, как удар бича, выстрел. Вздрогнув от неожиданности, возвращались ни с чем руки ребятишек. Сидящие за столом замирали, прислушиваясь, и только маленькая копилка трещала тихо, задумчиво на припечке. Люди сидели не шелохнувшись, но с поля уже лилась густая тишина, и опять все казалось мирным, уютным. Но стоило тревоге улечься, стоило детской ручке прикоснуться к мамалыге — и снова выстрел. Эти винтовки любили брать неожиданностью, и они упражнялись в этом искусно, ночь за ночью. Вздохнув, глава семьи разрезал ниточкой мамалыгу, раздавал каждому по куску и говорил раздумчиво, как бы про себя:

— И что за напасть на наши головы!

Самый младший шептал отцу:

— Из автоматов палят.

Святое таинство вечернего семейного уюта то выдохнется, то снова затеплится. А за окном с каждой минутой ночь все темней, все ветреней, все тревожней. И эта жуть заманивает, человек не может жить в полной неизвестности, и вот они, не поужинав толком, по одному, по два встают из-за стола и тихо, незаметно выходят. Соседи собираются в укромных местечках у заборов и курят в кулак, как на войне, и слушают таинственный гул степной ночи, и шепчутся меж собой, говорят о сущих пустьках, лишь бы успокоить друг друга.

В деревне тихо и темно. В окнах слабо мелькают копилки — едва встрецепутся, когда хозяйки иглой вытаскают фитиль. Затем опять гаснут, и дома тонут во мраке — ни дверей, ни окон не видать, одни силуэты крыш,

одни высокие верхушки акаций. Деревня спит. Спят пыльные перекрестки, и сами дороги спят, спят заборы, спит жгучая крапива под ними. Спят сады, и зрелые и зеленые еще ягоды спят, и только встревоженные чем-то люди все еще бодрствуют. Стоять так в темноте с соседом им надоедает, и они находят себе работу. Кто-то вспомнил, что забыл на завтра тяпку отточить хорошенько, кто-то вспомнил, что оставил корову недоеной, и в темноте звонко бьются струйки о дно жестяного ведра. И все им не сидится, все их носит, даже дети и те нашли себе дело — в затишок за сараем сели, в темноте играют в камушки. Играют тихо, стараясь ничем не выдать себя, но в конце концов на них натываются.

— Вам что, чертям, дня не хватило на игры?

Их хватают за что попало и волокут спать. А над селом по-прежнему стоит темная, тревожная ночь. Гудит, мается натянутой стружкой тишина — и вдруг ахнет, сорванная выстрелом. Просыпаются и шепчет перепуганная листва в садах, залает чья-то глухая собака, и вот снова начинает складываться по капелькам та тревожная тишина, которой, увы, опять суждено будет сорваться. Время близится к полуночи, а покоя нет как нет. Остыли уголья в печках, утихла на сон грядущий степь, шумно вздыхает скот во дворах. С горем пополам дети засыпают. Гаснут последние отблески света в окнах, кругом сплошная темень, и только через овраг, по ту сторону села, празднично, вовсю светятся высокие окна сельского Совета.

Похоже, самая трудная часть ночи уже пройдена, и в конечном счете и сами плугари начинают собираться на покой. Первыми входят в дома хозяйки. Укрывают ребятшек, готовят на ночь постель, становятся на колени перед старинными иконами и шепчут тревожные молитвы, шепчут их так тихо, что сами своих слов почти не слышат. Ложатся, но сон не идет. И хочется им поговорить с кем-нибудь, перемолвиться словечком, успокоить кого-то, дабы тот, в свою очередь, успокоил тебя. А поговорить не с кем. Дети спят, муж запропастился — не то у соседей, не то во дворе где-то. Петухи поют полночь, мужей все нет, и тогда хозяйки встают, идут во двор узнавать, отчего это они не идут спать. Они знают наперечет все уголки, в которых муж любит посидеть в одиночку; находят их легко, молча садятся рядом и, зябко поеживаясь, помогают им коротать время.

Только под самое утро натянута стружка тишины

сдаст, смолкает. В степи как-то начинает светлеть, а может, темень стоит такая же, просто человеческий глаз за ночь свыкся с ней и теперь видит почти так же хорошо, как днем. Тянет предутренним холодком, неудержимо хочется спать, и встают жены, встают мужья, входят в свои родные, обжитые дома. Ложатся рядом, на одной большой постели, укрываются одним большим одеялом, а сон опять не идет, и может, потому, что лежат слишком близко и слышат дыхание друг друга, и чувствуют щекой щеку другого, в них пробуждается сладкая жажда любви, и они отдаются ей с безумством первой молодости, точно долгие годы тайно желали друг друга и только теперь впервые вкусили до конца свою любовь.

При первой зорьке, усталые и просветленные тайнами своей близости, они засыпают рядышком; едва уснули, как вдруг совсем близко, у ворот дома, а может быть, прямо во дворе, грохнули два выстрела. Мелкой дрожью отозвалось стекло в оконной раме, и заскулила собака, точно выстрелили в нее, и заплакали со сна дети. Ошалелый крестьянин кидается в сенцы, хватая ручку тяжелого, наточенного топора, выходит на порог, а там уже никого нет. Все тихо, спокойно. Брезжит рассвет, дымятся росой огороды, и только у соседа все еще качается ветка вишни, задетая кем-то на бегу.

Поют перед рассветом петухи. Загрохотала далеко, в том конце деревни, телега, скрипнул в долине колодезный журавель. В сельсовете потушен свет. Окна широко открыты, из них валит махорочный дым бесконечных ночных совещаний. Стоя на пороге, человек поворачивается, кидает топор на свое место, глубоко вздыхает. Наступает новый день, и он думает, как бы получше начать его, но, строя всякие планы, он тем не менее знает, что ему, невыспавшемуся, ничего не удастся и, как только пригреет солнышко, опять все затянется туманом, опять все вокруг будет плыть, раздвигаться, и как ты там ни прикидывай — толку будет мало.

Поднятый меч повис над Сорокской степью. И она замерла, она превратилась в сплошное ожидание. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, но меч опустится, и эти теплые туманные дни казались последними каплями блаженства, которыми природа старалась усладить горечь грядущего. Теперь самое сложное заключалось в том, чтобы суметь выкрутиться. Невысыпающаяся степь дремала целыми днями, но за той дремотой скрывалась упорная работа крестьянской мысли.

Вековая смекалка, и хитрость, и крестьянская изобретательность работали вовсю, и каждый следил краешком глаза за своими соседями, чтобы прикинуть, как самому следовало бы поступить.

К тому времени настала трудная пора составления списков.

Сельские Советы целыми ночами составляли их. Это было похоже на потоп, на нашествие. В каждой деревне были мобилизованы все имевшие более или менее сносные почерки; каждый клочок бумаги, каждый литр керосина брался на учет. Днем их почему-то не составляли, но с наступлением сумерек и до белого дня скрипели перья в сельсоветах. Людей вызывали для всевозможных уточнений, особенно много народу вызывали около полуночи и чуть позже, ближе к утру. Списки были самые разнообразные, и было их так много, что казалось, весь человеческий гений трудился над тем, чтобы разработать их. А из района шли все новые и новые формы. И что там только не фиксировалось — фамилия, имя и отчество, год рождения, классовая принадлежность, год рождения родни, ее местонахождение, и сколько у человека земли, и скота, и птицы, и на какую сумму он подписался на заем, и сколько во дворе кустов винограда, сколько плодоносящих деревьев, сколько хлеба, шерсти и яиц уже сдал государству, а сколько еще осталось сдать. Жизнь каждой деревни, каждой семьи, каждого человека была полна волнений, все трепетало и жило списками, потому что за этими формулами, за параграфами, наполненными цифрами, скрывалось совершенно другое — там была война, настоящая война, а вся эта писанина была затеяна лишь для того, чтобы выяснить, кто с кем, кто по какую линию фронта стоял.

Лето было засушливое, на полях хлеба выгорели, сельсоветы едва вывезли одну треть положенных поставок, и больше уже взять было неоткуда. А ночи стояли тревожные, и районы стали выдавать сельским Советам оружие. По десять-пятнадцать винтовок, по одному-два трофейных автомата. Патронов не выдавали, патронов было полно. Получив винтовки, сельские Советы начали создавать отряды. Парнишкам пятнадцати-шестнадцати лет, жаждавшим военных приключений, выдавали винтовки и справки на право ношения оружия. Едва получив оружие, эти подростки тут же бежа-

ли в поле собирать патроны, и теперь уже не только по ночам, но и белым днем то тут, то там щелкали выстрелы.

Из районов начали приезжать офицеры. Приезжали тучные, хмурые, замученные канцелярской работой военкоматчики. Позванивая медалями, они доставали из своих планшетов по-военному обстоятельную карту района, разрисованную разноцветными карандашами. И может, потому, что на эти карты было занесено решительно все, вплоть до заброшенного колодца в поле, а может, потому, что в этих разноцветных знаках никто ничего не смыслил, ужас охватывал местные власти — выдать, и вправду быть войне.

Приезжали молоденькие лейтенанты милиции, едва получившие звания. Они собирали стрелков где-нибудь в овражке за деревней, обучали их элементарным правилам обращения с оружием, хвастали собственным начищенным пистолетом и, конфисковав у какой-нибудь старушки самогонный аппарат, уезжали. Не успевает улечься пыль после их отъезда, а в кабинете председателя уже сидит сонный и хмурый офицер. Никто не знал, когда, на чем, какой дорогой он приехал, не знали, когда, на чем, какой дорогой уедет.

— Доложите обстановку.

Ему рассказывали все как на духу: и то, что было на самом деле, и то, что, может, было, а может, и не было, и то, чего наверняка не было, но о чем по деревне шли разговоры. Он слушал молча, глядя в пол, сопел, изредка краешком глаза поглядывая на активистов, точно все они были связаны с лесными бандами и нарочно его заманили сюда. Он им не верил и не скрывал своих чувств.

— Составьте мне новые списки.

Председатель бросал в бой все силы, все ресурсы, но оказывалось, что вся эта работа впустую: списки никому не нужны, офицера уже нет в деревне. Волнение с каждым днем нарастало, приготовления к большой войне шли полным ходом, и единственные, кто не поддавался этой всеобщей тревоге, были, как ни странно, только что демобилизованные из армии. Сдав старшине оружие и боеприпасы, стосковавшиеся по своим семьям, по своим родным полям, они приезжали умиротворенные, и вся эта возня казалась им детской забавой. Но проходил день, два, три, и какими-то непостижимыми путями эта тревога начинала добираться и до них.

Мирча вернулся как раз тогда, когда ожидалось со дня на день большое сражение. Говорили, что не сегодня, так завтра выйдут из лесу банды, и по ночам устраивались засады. Сельские Советы были полны военными, и по ночам не разрешали зажигать в домах свет. У Мирчи, правда, в первый вечер его возвращения горела керосиновая лампа, и им никто ничего не говорил. Он был гость, ему нужно было дать отдохнуть с дороги, но покоя не было во всей степи, и его не могло быть и в доме Мирчи. С первой же ночи почувствовав эту всеобщую тревогу, он тоже начал просыпаться. Сначала он не понимал, что именно его будит, потом сообразил — он просыпался оттого, что Нуца бодрствовала рядом.

— Ты чего не спишь?

Она в ответ еле шевелила губами:

— Ты тоже слышал?

— Что?

— Выстрелили.

— Ну так что же?

— Страшно как-то.

И вот он тоже начал сладко, на ходу подремывать белым днем, в глазах предметы начали двоиться, размножаться до бесконечности, а недельку спустя он обнаружил у изголовья старой кровати заржавленный австрийский штык, который много лет валялся без надобности на чердаке и который Нуца почему-то достала оттуда. Он ее спросил, зачем она вооружается.

— Ты разве не видишь, что тут у нас творится? — сказала она. — В лесу полно банд, говорят — не сегодня-завтра нападут.

Мирча засмеялся — он представил себе Нуцу, вооруженную этим штыком и участвующую в битве, но ей это не казалось смешным.

— И напрасно ты гогочешь, — сказала она. — Были другие, похрабрее, а теперь вот ходят да помалкивают. А те, у кого земля под самым лесом, так боятся собрать урожай. У кого подсолнух, так чуть не плачут — подсолнух весь осыпается, а вывозить боятся.

— Послушай, — сказал он, — что ты несешь? У нас ведь тоже подсолнух под лесом. И ты ничего, собрала.

Она ответила тихо:

— Пропадет и наш. Хоть я его и сняла с корня, ну так что? Часть заплесневевает, часть мыши растащат.

— Ну нет, — сказал Мирча, — они себе как хотят, а подсолнух мы соберем и вывезем.

Это говорил сержант Красной Армии, кавалер ордена Славы.

— Ты с ума сошел! — прошептала Нуца, но он ее уже не слушал, он начал готовиться, чтобы на следующий же день начать вывозку подсолнуха.

И все-таки это очень красиво — молодая чета, огромное, наполовину убранное поле, теплый осенний день и тысячи снопов подсолнуха, лежащих плашмя на земле в ожидании своего удивительного путешествия в деревню. Работа началась. Нуца, по своей врожденной бабьей доброте, выбирает наиболее скромные и неказистые снопы, те, которым и в голову не могло прийти, что настал их черед, нарочно обходя важные и заносчивые. Мирча, стоя на телеге, складывает их. Работают ловко, хватко. Они не стоваривались заранее, какой труд на чью долю достанется: они знают от дедов и прадедов, кому что нужно делать, когда наступит пора вывозки подсолнечника. Все их движения продуманы и разработаны за много столетий до их рождения, и они подчинились этой унаследованной мудрости — Нуца носит снопы, Мирча их укладывает, а лошади, запутавшись в сбруе, плетутся от былинки к былинке, норовя опрокинуть навзничь своего хозяина.

Кругом стоит удивительная тишина, и кажется просто невероятным, что в этих местах гремели бои, и еще более удивительным, еще более нелепым кажется слух, что в шелестящем неподалеку лесочке стоят, притаившись, вражеские силы. А это, между прочим, совсем рядом. Кривая цепочка снопов срезанного подсолнечника течет ручейком до вьющейся впереди пыльной дороги, а там, за дорогой, наполовину спустившись с холма, шумит опаленный первой желтизной осени дубовый лес. Листва о чем-то печалится, что-то ей не по себе, да только осенью времени в обрез — и поплакаться некогда, и пожалеть никому.

Непокорный полуседой чуб Мирчи прилип к виску, сдался наконец. Зарделись румянцем девичьего стыда Нуцыны щеки, и этот румянец как-то удивительно вяжется с темным блеском ее карих глаз. Спешат оба, молчат оба, но изредка то он, то она беззвучно пошевелил губами, точно переговариваются меж собой, и,

глядя на них, ужас как хочется узнать — о чем это они.

Хотя, видимо, и сам этот немой разговор унаследован ими от прадедов. Едва передав в мускулистые руки мужа тяжелый сноп подсолнечника, Нуца тут же ошалело бросается за другим, внимательно глядя себе под ноги, и все ее существо как будто говорит — только бы он не подумал, что я ленивая, только бы он этого не подумал. Ей кажется, что без тяжелого снопа она писаный лодырь тут, в поле, и, схватив очередной, ловко закинув его на плечо, став под его тяжелую шершавую защиту, спешит к мужу.

В это время Мирча, стоя на телеге, внимательно и строго следит за всеми ее движениями, точно весь мир собрался тут посмотреть, на ком это он женился. Временами ему кажется, что она не очень умело делает свое дело, и он снисходительно улыбается, как бы говоря собравшимся свидетелям: что же вы хотите — женщина. Умела бы она складывать снопы, я бы сам вмиг перетаскал их, да ведь бабы не умеют складывать. Ему кажется, что идет она к телеге слишком медленно, хотя оттуда, с телеги, Нуцы и вовсе не видать — только большой сноп подсолнечника плывет по воздуху, да еще где-то там, под ним, едва шевелится край старой юбки, и временами мелькнут крепкие женские ноги, разрисованные мягкими шершавыми разводами, точно писали по ним мелом. Но там, под снопом, озорно, с любовью поблескивают глаза Нуцы и шепчут губы, точно говорят мужу: думаешь, стоял бы кто другой там, на телеге, так бы я быстро помогала ему?!

Потом они меняются ролями. Мирча, подняв сноп высоко над головой, соображает, куда бы его получше пристроить, а Нуца, тяжело дыша, стоит рядом, строгая, недоступная, точно впервые видит этого мужчину и хочет на деле убедиться — годится он ей в пару или нет. Мирче, как и любому другому, не нравится, когда за ним так уж пристально наблюдают, да в подсолнухе есть много ее труда, она имеет право стоять вот так и следить. Он мягко укладывает сноп, становится на него коленями, вдавливая в нагруженную телегу, да сноп строптивый какой-то, не нравится ему там. Подумав, Мирча выбирает его обратно, выбирает целиком, до единого стебля, укладывает по-иному — теперь снопу привольно, хорошо, да Мирче что-то не нравится. Разозлившись, он поднимает его в третий раз и, не глядя, кидает

ет куда попало, лишь бы избавиться, и стоящая внизу Нуца ахнула — только круглый дурак мог подумать, что кинул он его сослепу, а на самом деле он нашел то единственное место, куда только и нужно было его поставить. Сноп не то что стал на свое место, он слился, врос в нагруженную телегу, и удовлетворенная, гордая своим мужем Нуца бросается за следующим снопом. Она бежит размашисто, неловко, и все ее существо точно говорит: только бы он не подумал, что я ленива, только бы он этого не подумал.

На второй или третий день, когда был вывезен почти весь подсолнух и Мирча, начав грузить очередную телегу, прикидывал — погрузить все или приехать еще раз, его вдруг как-то передернуло, точно током ударило. Какой-то въевшийся в его кровь инстинкт подал голос, сигнализируя об опасности, и Мирча тут же притулился, памятуя железный солдатский закон: при всех обстоятельствах искать брюхом матушку-землю. Это было очень странно — хоть он и вернулся и скинул с себя погоны, все его существо продолжало оставаться на службе в Красной Армии. Ему даже показалось, что кто-то крикнул — тревога! — и он весь напряжился, присел и, сидя на корточках, смущенно оглядывался: что за нелепость, какая там, к черту, тревога в этой степи, этой осенью, при такой хорошей погоде?

А команда тем не менее была подана правильно. В трехстах шагах, на самой опушке леса, стоял румынский офицер с накинутым на плечи кителем, с надвинутым на глаза козырьком форменной фуражки — его, видимо, слепило спускающееся к закату солнце. Он стоял несколько картинно, стоял неподвижно и следил оттуда, издали, за каждым движением Мирчи. Он, видимо, давно уже вышел из лесу и стоял все так же неподвижно, и Мирча улыбнулся, вспомнив, что в уставе румынской армии это называется — взять противника под наблюдение. Что ж, подумал он, в уставе Красной Армии тоже есть такое положение, так что давай понаблюдаем друг за другом.

Нуца как раз приволокла самый крупный сноп, какой только ей удалось разыскать, и, усталая, но гордая собой, она приподняла его над головой. Нуца стояла, вся напрягшись, из последних сил держала свою тяжесть, чтобы передать ее в сильные, мускулистые руки Мир-

чи, но их, этих рук, все не было, и тогда она в сердцах спросила:

— Да ты что, уснул там?

Он не то что не спешил, он даже не откликнулся, и тогда она кинула себе под ноги подсолнух, отошла от телеги, чтобы выяснить, отчего он не откликнулся. Он не был ничем занят, он просто стоял в своей еще новой гимнастерке и долго глядел куда-то в сторону леса. Посмотрела и она туда, и ахнула, и едва прошептала побелевшими губами:

— Пресвятая мать божья...

А они по-прежнему стояли, разглядывая друг друга издали. Они, казалось, уже не помнили друг друга и стояли незнакомцами, которым впервые довелось свидеться. Потом они оглядели друг друга как два солдата из двух разных армий, и еще посмотрели, как двое парнишек, соперничающих на сельских вечеринках, потом увидели в себе двух учеников, сидевших на одной парте, и вспомнили, что они в общем-то два лесовика, которых когда-то Онаке Карабуш ранней весной выманил из леса.

Хотя, по правде, Мирча первым вспомнил их родословную. Улыбнулся, высоко подняв правую руку, и крикнул издали:

— Привет румынским войскам!

Человек в желтом кителе румынского офицера ожил, сделал несколько шагов им навстречу, преодолев свою неподвижность, и в его походке, его осанке начал угадываться Ника, чутурский парень, сын Умного, остро слов и балагур на всю деревню. На полдороге он нерешительно остановился, шутливо как-то поднес два пальца к козырьку: что же, если ему тут суждено представить целую армию, отчего же! Привет! Ему очень хотелось идти дальше, идти к ним, но у него не хватало сил, не хватало духа, и тогда он обратился к другу, с которым солдаты прошли всю войну, — он закурил. И как только струйка дыма закружилась над фуражкой, он размахисто, уверенно пошел дальше.

Нуца обмелела. Вот, подумала она, наконец свершилось. Начинается. Быстро оглянулась, раздумывая, что бы такое предпринять, посмотрела на мужа, чтобы выяснить, какой будет дан приказ, но Мирча стоял боком к ней и, ссутулившись — там, наверху, видать, дуло, — прикуривал. Ему тоже чего-то недоставало, и он занимал у старого фронтового друга. Нуца сначала бро-

сило в жар, потом залихорадило. Она с детства боялась мужских драк — это в ней осталось на всю жизнь, — и она машинально, незаметно для самой себя, отошла, спряталась за телегой. А телега была старая, груженая только наполовину, спрятаться там было немислимо. Ее тряс озноб, и она села на мягкие, едва теплившиеся комочки земли. Плечи опустились, голова сникла, в глазах стояли слезы — господи, как жестока была к ней судьба! Сразу, с пятнадцати лет, занесло ее меж этими двумя пожарами, и до сих пор она там. Ее без конца обжигало то с одной, то с другой стороны, она задыхалась, а спасения не было. Она выбрала одного из них, сказала: вот он, мой суженый, и я ему принадлежу, буду век ему верна, но тут же началась война, и ее выбора как бы и вовсе не было, потому что оба они уехали — и тот, которого она еще не успела забыть, и тот, к которому она еще не привязалась по-настоящему. И они ей снились попеременно — то один, то другой, и ждала она почему-то обоих, обоим желала вернуться с войны, и когда молилась об одном, почему-то тут же возникал и образ другого.

Служили они в разных армиях, и по-разному складывались их судьбы. Мирча за всю войну ни разу не был в Чутуре, от него годами не было писем, а Ника часто приезжал в короткие отпуска. Письма от него приходили чуть ли не каждый день, в деревне было полно его фотографий. В каждый приезд он казался ей разным: поначалу ходил героем, у него была медаль за взятие Одессы, второй раз он приехал хромым, после госпиталя, но тоже в хорошем настроении. Третий раз он и не хромал, но и медали у него на груди почему-то не было. Приближался фронт, его армия отступала. В последний раз, когда он уезжал из Чутуры, какая-то старушка, их соседка, хорошо к ним относившаяся, вдруг заголосила, что, дескать, уж вряд ли увидит его. Если не убьют, причитала она, то они уедут в Румынию, а это почти одно и то же. Ника успокоил ее, сказал, что, как бы там ни было, еще раз он наверняка покажется в Чутуре. В то время, когда они прощались, случайно шла по улице Нуда, и, как ей показалось, эти слова относились не столько к старушке, сколько к ней.

И она начала бояться его возвращения. Прощай фронт, но в степи покоя не было, и, как только разнеслись по деревне слухи, что в лесах засели какие-то банды, она уже не знала покоя. Она догадывалась, что Ни-

ка там, в лесах. Ей казалось по ночам, что она слышит его свист, слышит его походку. Она боялась, что ночью постучится, боялась, что у нее не хватит сил не откликнуться и не открыться. Она просыпалась при каждом шорохе, а тот гектар, что под лесом, она и вовсе забросила. Пошел Онаке уже поздней весной, когда никто не пахал, и вспахал его, и посеял он подсолнух в мае, когда время сева миновало. Они и не особенно пололи тот подсолнух, а он все-таки рос. И срезать она ходила всего один раз, лишь бы не говорили потом, что это не ее подсолнух. И как раз в тот день, когда она вся тряслась от страха, вернулся Мирча и все как-то отлегло от сердца. Но подсолнух свой она по-прежнему боялась вывозить, а вот отговорить мужа не сумела. С тяжелыми предчувствиями залезала она на телегу, когда отправлялись сюда, и вот оно наконец свершилось.

— Что, Мирча, хорош подсолнух?

Он спросил спокойным, миролюбивым, несколько скучным голосом, точно они много часов подряд перебирали все мировые вопросы, а теперь вот смеха ради перешли и на подсолнух. Спросил издали, на ходу, и голос его как-то дрогнул. Мирче понравилось, как он просто заговорил. И то, что голос дрогнул, ему тоже понравилось. Он не чувствовал себя спесивым победителем — наоборот, в нем начал просыпаться тот сельский паренек, который когда-то тайно завидовал и подражал этому красавцу в форме офицера.

— Подсолнух-то хорош, но дождей, что ли, было мало — семян много, а ядра в них негусто.

Нагнувшись, Ника с ходу поднял подсолнечную шляпку, выбил на ладонь зернышки, стал щелкать ими. И постепенно лицо светлело, и просыпался в нем крестьянин, дождавшийся наконец той осени.

— Ничего, у других я видел подсолнух и похуже. Думаешь погрузить все разом?

— Хорошо бы, да Нуца вряд ли сможет закинуть мне сюда последние снопы.

— Давай помогу.

— Неудобно как-то... Чтобы офицер помогал сержанту.

— А я форму сниму. Чтобы устав не нарушать.

И быстро — разговоры разговорами, а дело делом — он подошел к меже, снял китель, фуражку, какую-то тяжесть, завернутую в платок — видимо, ре-

вольвер, — и сложил все это на бугорке, с тем чтобы, если отойдут далеко с работой, видно было издали, где оставил свои вещи.

— Люблю грузить телеги высоко, до самого неба!

— И когда опрокидываешься вместе с ними, тоже любишь?

— Этого не скажу. Но люблю смотреть, как другие опрокидываются.

— То-то ты выскочил из лесу. Чтобы посмеяться.

— А что же! Иначе околеем от скуки.

Он, видимо, долгие дни проводил молча, ему ужас как хотелось выговориться. Но, с другой стороны, его и работа манила, и, чтобы не увлечь себя разговорами, он подошел к самой большой куче подсолнуха, переступил через нее одной ногой, точно собирался оседлать тот сноп. Некоторое время прикидывал, как бы лучше ухватить его. И вздохнул светло, глубоко, всей грудью. Он искал выход там, в лесу, он искал правду, искал смысл, а оказалось все просто. Нужно было грузить подсолнух. Сегодня это было самой полной правдой. К тому же ему с детства нравилась шершавость подсолнечника, нравились жареные семечки и вкусный запах маслоек.

— Ну что, грузим?

— Давай.

Они были по существу крестьянами, служившими в двух разных армиях. Мужичья сила, разбуженная в трудном единоборстве с землей, дремала в них все годы, пока шла война. Хватка и сноровка хлебороба, все тайны вспашки, сева, жатвы — все это хоть и блуждало по дорогам войны, но непосредственного участия в битвах не принимало. Все это ныло в ожидании возвращения, и вот эта встреча с землей наконец состоялась, и то, что в годы войны безмолвствовало, вдруг засверкало красотой своей великой неповторимости.

Было тихо, необыкновенно тихо было вокруг. Нуца сидела на меже, бесцельно глядя куда-то в поле, слушала мягкий перезвон сбруи, потрескивание подсолнечников да шумное дыхание двух работающих в полную силу мужчин. Она хоть и боялась их драк, но завидовала мужчинам, завидовала их силе, ловкости и часами не уставала следить, как они трудятся. В войну она очень стосковалась по этой крепкой молодой силе, но теперь вот война окончилась, а она сидит на меже, глядит куда-то в поле. Ей ужас до чего хотелось повер-

нуть голову и смотреть, смотреть во все глаза, как они грузят подсолнух, но повернуть голову она боялась. Она боялась, что ей снова понравится красавец с крупными вишневыми губами, из-за которого столько в жизни пришлось пережить, а этого нельзя было допустить, потому что ей, натуре бесхитростной, если что понравится, не удастся этого скрыть, хоть убей.

Она сидела на меже и думала, что теперь было бы хорошо, если бы кто их околдовал и стали бы они все трое каменными: она — сидя на меже, Мирча — стоя высоко на телеге, Ника — с поднятым над головой подсолнухом. И чтобы простояли они так много сотен лет, а когда все в мире будет наконец устроено, чтобы их снова расколдовали, и они догрузили бы тогда подсолнух и вернулись бы все трое в деревню.

— Да ты что, Нуца, совсем оглохла?!

Она вздрогнула и символически, как это делают крестьянки с перепугу, плюнула себе за пазуху и подумала — вот она, развязка, наступает! Мирча уже который раз кричал ей с телеги, а у нее не было сил, чтобы встать, не было голоса, чтобы откликнуться. И Мирча, подумав, не стал дожидаться, пока она придет в себя.

— Слушай, Нуца! Ты, кажется, взяла там в кошелке что-то съестное?

Она кивнула.

— Ну так давай сходи к роднику, принеси свежей воды, найди хорошее местечко, приготовь, чтобы мы перекусили, видишь, как измотались... Думали, суший пустяк, а оказалось, много.

Она на всю жизнь осталась ему благодарной за то, что он, не дождавшись, пока она откликнется, сказал ей, что нужно делать, и растолковал все, как малому ребенку. И этим Мирча навсегда привязал ее к себе, сделал своим другом, и более верной жены, более надежного друга Чутура не знала.

Сначала она принесла кувшин свежей воды, затем заровняла податливые комочки, настелила сухой травки, устроила уютный столик, покрыла его белым платком. В кошелке было до смешного мало — половина хлеба, небольшой кусок свежей несоленой брынзы, именуемой в Молдавии кашем, соль и несколько лиловых лукович. Даже ножа не было. Сначала она думала разломить и хлеб и каш на мелкие кусочки, но хлеб крошился, и она честно, как делают мальчишки, пасущие

скот, разломил хлеб и брынзу на три равные части. Положила брынзу на хлеб, по одной луковице рядом и, смущенная невероятной бедностью стола, села в ожидании своего позора.

Когда подсолнух был погружен, Мирча разочарованно свистнул оттуда, с высоты нагруженной телеги.

— Ну и подстроил же ты мне, Ника! Теперь как мне отсюда слезть?!

Ника, должно, не видел Нуцыных приготовлений, сказал:

— А зачем тебе слезать? Бери вожжи и езжай.

— Так-то оно так, а как мне с Нуцей быть?

— А что?

— Да не могу же я ее одну там внизу оставить. Она ведь у меня еще молоденькая, смазливенькая.

Они рассмеялись все трое, потом Мирча, недолго думая, сполз, на ходу лихо поймал ногой круп лошади, еще один прыжок — и вот он уже на земле.

— Пошли перекусим.

— Да я как-то, знаешь...

— Ладно тебе ломаться. Пошли.

Сначала Ника как будто согласился, пошел рядом, но потом свернул в сторону, подошел к меже, накинул на плечи китель, надел фуражку, рассовал по карманам свое добро. Подсолнух был уже погружен, они снова стали военными, вернулись в свои части, и на одном лице светились отблески победы, на другом была горечь поражения. Им бы уже пора было расходиться — одному в Чутуру, другому в лес, и Ника, рассовав все по карманам, раздумывал: то ли идти прямо в лес, то ли вернуться попрощаться. Он был бледный, худой, небритый. Нуца впервые посмотрела на свою первую любовь, ей стало жалко его, и она сказала:

— Иди, Ника. Мы просим тебя.

Опустив голову, он зашагал к ним, и вот они втроем расселись вокруг белого платка. И серый ржаной хлеб, и белый каш, и отливающие гляncем луковицы — все это было вскормлено той самой землей, по которой они грустили всю войну, той землей, на которой они теперь сидели. Земля, эта мудрая старушка, будто знала, что, куда бы их судьбина ни забросила, они рано или поздно соберутся вместе и сядут все трое, голодные, и она тогда соберет лучшее, что у нее есть, и этим ржаным хлебом, этим кашем, этими луковицами снова вернет их в свою веру. Нуца была счастлива. Она

впервые поняла, как это вкусно — ржаной хлеб с брынзой, и была горда тем, что она сама сеяла, и убирала, и пекла хлеб, который они все трое ели. Ника ел медленно, для него это был не просто хлеб, это был чутурский хлеб, хлеб той самой деревни, по которой он тосковал; это был, наконец, хлеб, выпеченный Нуцей, и он как-то подумал, что, если съест весь хлеб, до конца, ему уже не хватит сил перейти Прут, найти там, в Румынии, свою семью, а вернуться в Чутуру он тоже не мог, там его ждала неизвестность. Он не доел, он положил на белый платок чуть меньше половины той краюхи, которая была ему предложена, и кусочек каша положил обратно, почти всю луковицу. Из солидарности с ним Мирча тоже не доел, а Нуца — та уже давно только отщипывала хлеб и украдкой следила за ними.

Попили по очереди воды из кувшина, Мирча достал кисет с махоркой, и они закурили. Курили молча. Говорить им не хотелось, да, собственно, и говорить-то было не о чем. У них только и было общего, что земля, да ее заботы, да ее плоды — в остальном они были далеки друг от друга; стоя по разные стороны фронта, они долгие годы были врагами, и даже можно было допустить мысль, что они встречались на фронте и палили друг в друга. Их было много — односельчан, встречавшихся по разные стороны фронта и стрелявших один в другого. Случилось так, что эти двое не убили друг друга, но многие попадали, и убивали, и сами гибли.

Ника встал.

— Спасибо вам за все, а мне пора. Ваш дом близок, а мне еще далеко, мне еще до Прута надо добраться.

— Это недалеко, — сказал Мирча. — Одна ночь, и ты в Унгенах.

— За одну вряд ли. У меня мозоли.

— Ну, тогда за две.

Ника курил очень бережно, до самого огонька, и тогда Мирча высыпал почти всю свою махорку ему в карман — себе он оставил только на одну папироску. Нуца, глядя на это братство, вдруг воспрянула духом, порылась в кошелке, собрала в платок остатки ужина.

— Я думаю, ты не обидишься, Ника, если мы тебе... Тут вот все, что осталось. Если бы я знала, взяла бы

из дому целый хлеб или два, да только откуда мне было знать!.. А в дороге, пока найдешь своих...

Ника был очень тронут, ему было неловко, а вместе с тем хотелось взять оставшийся хлеб и брызгу.

— Да ведь мне некуда их, не во что.

— А я завяжу узелочком.

— Ну, еда — это одно, а платок-то зачем я у вас возьму!

— Ничего, будет время — встретимся, и ты отдашь.

Он взял узелок, вздохнул, отвернулся и, не простившись, зашагал к лесу. Шел он долго, медленно, устало, с накинутым на плечи кителем, с крошечным узелком в правой руке. Они оба, и Мирча и Нуца, замерли и долго не мигая провожали его глазами, потом Мирче стало не по себе, было неловко сидеть вот так и смотреть, как тот удаляется. Они были поставлены в слишком неравные условия: этим двоим предстояло через час вернуться в свой дом, а того, кто знает, что ждало в конце пути — может, пуля, может, чужая, неласковая страна.

Мирча встал, поправил на лошадях упряжь, вывел нагруженную телегу на дорогу, еще раз поправил шлею, и лошади, почувствовав, что дорога ведет к дому, сами тронули груз с места, и телега медленно закрипела по затвердевшим комьям придорожья. Останавливать их уже нельзя было, труднее всего тронуть такую громадину с места, и раз она покатилась, значит, с богом, и Мирча засеменил рядом с лошадаками, подбадривая их и краешком глаза следя за грузом, который с чего-то начал сползать. А Нуца, грустная и просветленная, пошла за телегой, собирая в передник выпавшие с телеги головки подсолнуха.

Ника вдруг остановился на самой окраине леса, стал спиной к прохладной листве, натянул на глаза фуражку и долго не мигая следил за тем, как далеко в поле, покачиваясь, удалялась телега, груженная подсолнухом. Он вглядывался в даль, туда, откуда из-за пригорка выглядывала двумя-тремя домиками деревушка, и думал о Чутуре, думал о том, что этот воз, нагруженный подсолнухами, может оказаться последней его работой в этом красивом, привольном поле. А может, он любил Сорокскую степь при вечернем закате, любил ее засышающую и одинокий скрип удаляющейся телеги. Но, конечно, может быть, что он просто плакал, как

плачут обычно солдаты — руки по швам, высоко поднятая голова, ясные глаза и только губы плотно сжаты, только желваки дрожат.

В ту же ночь Онакию Карабушу приснилось, что рыжая Молда, забросив лесные тропы, миновав низины, взбиралась по длинному, покатоному склону, но, добравшись до самой окраины, услышала выстрелы и не стала входить в деревню. Обойдя Чутуру стороной, пошла уже кукурузными полями, через стерни, через пахоты. И вдруг замерла. Что-то ей почуялось. Какой-то след, какой-то мир, до боли знакомый и близкий, перебиваемый запахом спелого подсолнечника, и она пошла подсолнечными полями, пока не нашла Нуцыво поле.

Сначала она шла по колее, оставленной груженой телегой, потом нашла следы, но это еще не те, чужие, и вот они наконец, следы, — босых ног, следы ее хозяйки... Следы остановились у разложенной гнездышкой сухой травы. Это было место их вечера. Запах хозяйки, запах хлеба, запах свежей брынзы, запах овчарни...

Она была бесконечно голодна. Она перебирала носом все вокруг, пылинку за пылинкой, но, кроме мышьяковой возни и пустого, холодеющего накануне зимы поля, ничего не нашла.

Расстаться же с этим местом ей тоже не хотелось. Кинув себе под небо кончиком языка пару комочков чернозема, чтобы перебить гнетущий голод, она легла на собранную Нуцей сухую травку и замерла на этой прохладной, темно-серой земле.

Прикрыв глаза, ушла в какую-то бесконечную дрему, и только изредка, когда ей мерещился голос хозяина «О-о-олда-а-а!», она вдруг закидывала морду в небо, но уже ни единого звука не рождалось в ее мертвой гортани.

Мучительно долго и тяжело осень переходила в зиму. Люди ходили, зябко поеживаясь, многострадальная шкура степных трудяг говорила им, что зима будет легкой, и еще задолго до наступления больших холодов они пошли по полям собирать перепаханые подсолнечные корневища на топливо. И тут-то вдруг обнаружилось, что, оказывается, полынь пересохла!

До зимы еще было далеко, но полынь в степи пере-

сохла, и это сильно встревожило степной люд. Не уродила в том году пшеница, и люди говорили себе: ничего, кукурузой перезимую. Потом выяснилось, что кукурузу нужно было сдать государству, сдать все до зернышка, и они, люди добрые, честные, свезли ее всю и утешали себя: ничего, перезимую картошкой, фасолью, огурцами. Но лето было засушливое, не уродили в том году ни картошка, ни фасоль, ни огурцы, а они все еще не унывали — ладно, у родни, у чужаков зайдем, в хлебные края поедем, там купим мешок-два. Но вот пересохла полынь, и это уже было слишком, эту потерю уже ничем нельзя было восполнить, это потрясло всех. И уже ничего не страшно было: ни война, ни поставки, ни иные беды. Их место заняла теперь другая забота: пересохла полынь...

## Честь дома

Прошли трудные сорок шестой и сорок седьмой. Опустошенная двухлетней засухой, захороненная в собственной пыли, степь теперь лежала бездыханная и, казалось, вымерла вся. Только изредка, глубокими ночами, когда опускалась прохладная предутренняя сырость, она вдруг ненадолго оживала.

Горе было бесконечным. Вокруг, насколько видел глаз, все опустело. Выгорели пашни, пересохли речки, отшумели жиденькой бледной листвою леса. Деревни тоже вымерли. Ни по утрам, ни по вечерам не курился дым над белыми хатами молдаван. Не слышно было звучной речи, замешенной на древней латыни. Ни садов, ни ягод, ни певчих птиц, а чудом выжившие крестьяне, люди истощенные, еще не зерившие в свое спасение, выползали по утрам на солнышко, садились на завалинки и, болезненно запрокинув головы, следили за небом. Их усталые, опухшие, изменившиеся до неузнаваемости лица уже ничего не выражали. Ни на молитвы, ни на проклятья у них уже не оставалось сил, но они сидели и разглядывали небо, потому что были из рода плугарей и издавна заведено у них было, если горе какое нагрянет, присматривать за небом. А туда и смотреть-то было нечего. Небо оставалось таким же бесцветным и бесплодным. Тучки шли все маленькие, одни пу-

стышки, и то погонятся друг за дружкой, то разойдутся мелкой чешуей, и снова солнце, и жара, и одна пыль вокруг.

Время шло, все казалось навечно загубленным, потерянным, но люди по-прежнему сидели на завалинках, они упорно просиживали там целые дни, целые недели. Старое чутье хлеборобов, должно быть, говорило им, что уж теперь великое горе земное свершилось, теперь что-то должно измениться. Им и верилось и не верилось, но другого ничего не оставалось, и они сидели и ждали, когда это чудо произойдет. Сидели терпеливо, беспомощно, как малые дети, а к детям, как известно, судьба милостива, и вот по вечерам над степью низко, с шумом и криком стало летать воронье. Это уже несомненно было к дождю, и действительно, маленькие тучки-пустышки расстелились в один, два, потом в три слоя. Несколько дней небо хмурилось, затем как-то под утро прошел первый после долгой засухи дождик. Шел он мало, вдоль Днестра, и, едва задев краешек степи, свернул в сторону Бельц и разошелся, но после него земля вдруг запарила, и с той недели пошли настоящие большие дожди.

Они шли долго. Они прорывались в степь полуночной порой, мягко стеля на обгоревшие холмы высокие полосы живительной влаги. Под самый рассвет затихали, а по утрам крестьяне долго спросонья гадали, шел ли дождь в самом деле, или им все это приснилось. А то еще дожди собирались в полдень, в самую жару, к великой радости работавших в поле. Усталые и просветленные, они возвращались длинными цепочками, пели песни, галдели и, промокшие до ниточки, молили бога, чтобы дождь шел долго, до вечера, и всю ночь, и весь следующий день. И небо внимало их молитвам, и дождь шел до самого вечера — в сумерках приутихнет, пройдет задумчивой капелью по лужам, а с наступлением темноты он снова шумит в полную силу, и степные деревушки сладко засыпают, убаюканные сознанием собственного уюта.

Шли дожди, и парило, парило без конца, и вот уже над степью забушевали грозы. Они с чего-то собирались все по ночам, и крупные, вполнеба, молнии раскалывали тьму на множество мелких осколков, гремели громы, глухим эхом отзванивали долины, а под утро все стихало, и только зловещие, белесо-черные, огромные, как горы, тучи оставались неподвижными над степью, и

если солнце ненароком скатится за них, то это уж на целый день.

И опять шли дожди, и выгоревшая почти начисто степь задышала, начала отходить. Дожди закладывали землей глубокие трещины, разбежавшиеся огромными ящерицами по полям, по пастбищам, по выжженным солнцем холмам. Над серо-бурыми, заваленными толстым слоем пыли пастбищами кружились вихри тепло-го дождя, и не успевали ручейки сбежаться по оврагам, не успевало небо проясниться — и снова дождик, помельче, помирнее, и, хотя пастбища оставались по-прежнему мертвыми, дожди все шли, и глядишь, то тут, то там засветится зеленый пятачок, а уж травка к травке быстро дорогу находит.

Труднее отходили пахотные земли. Сорнякам, как известно, засухи нипочем, их семена могут пролежать в горячей пыли долгие годы, дожидаясь первого дождика, и вот он прошел, и сорняки ожили, они покрыли всю пашню единой цепкой массой. Тут бы в самый раз хорошие плуги, крепкие лошадки, жилистые, сноровистые руки мужика, немного семян, и да сбудется воля божья, но, увы, ничего этого не было. Поломаные плуги заржавели, единственный в селе кузнец, который мог бы их починить, спился и погиб в голод. Ни лошадок, ни крепких мужицких рук. Что до семян, то люди уже и не помнили, как они выглядят, семена.

А между тем землю нельзя было запускать, она нужна была выжившим, и вот как-то поздней весной, когда все сроки сева вышли, сельские Советы стали выдавать трудоспособным по два килограмма кукурузы на семена. Называлась она «конский зуб»; и правда, крупные зерна напоминали зубы тех лошадиных черепов, что валялись на скотном кладбище далеко за деревней. Семена выдавали протравленными ядохимикатами, чтобы не искушать проголодавшихся крестьян, но затея эта была напрасной. Они уже ничего не боялись. Вымочив и просушив половину полученных зерен, они жарили их на плите, мололи на жерновах, варили из муки баланду и, подкрепившись, шли в поле.

Добирались они к своему клочку долго-долго, часто, на всех перекрестках, отдыхали и только к полудню принимались за работу. Они сажали «конский зуб», как картошку, — выроют в сорняке воронку, опустят зернышко, засыпят и рядом вторую выроют. От истощения у них все кружилось, и ряды этих воронок петляли

вовсю — то полезут вверх, то сползут, но люди упорно били тяпкой по сырой земле. Они знали, что без этих зерен, без этих воронок погибнут, и они сажали, из последних сил сажали, а дожди все шли, и кукуруза выбивалась над сорняками, вытягивалась в человеческий рост, и к осени тяжелые, сочные початки свисали с ее боков.

А еще через год на приусадебных участках то тут, то там зазеленела пшеница. Она росла и колосилась, как в лучшие годы, и это было очень важно, потому что пшеница в степи не только хлеб насущный. Это и религия, и обычай. От румяных рождественских калачей и до маленьких булочек-голубок, которые пекут нетерпеливой детворе, чтобы знали ребятишки, как их любят матери, — все это должно было пройти вместе с отколосившейся пшеницей. И хотя в каждом дворе было ее до смешного мало, земля под ней была хорошая, ухоженная, и пшеница цвела, и зерна наливались молоком, и злаки зрели, и уже на следующий год добрую половину усадеб занимала пшеница. А дожди все шли, и все к сроку, и вот пшеница и рожь вернулись снова в поле.

Это было самое трудное — вернуть посеvy на свои места; люди это сделали, и как только поля приняли свой прежний облик, сама жизнь хлеборобов начала возвращаться в свою колею. Самое страшное из всего, что могло произойти, оставалось позади. Кому суждено было погибнуть — погиб, кому жить — выжил. И как бы там ни было, в конце концов люди приходят к мысли, что мертвым — свое, живым — свое. Теперь оставался самый пустяк — перекрестившись, засучить рукава и начать все сначала, да только этого они еще не умели, потому что медленнее, мучительнее всего отходили сами люди.

Огромные, в полторы-две тысячи дворов деревни, шумевшие еще недавно с зари до самых сумерек, теперь беспомощно дремали на солнце. Общипанные, скормленные скоту соломенные крыши, спаленные заборы, рухнувшие, ставшие теперь уже ненужными всевозможные строения во дворах. И днем и ночью стоит над деревней жуткая тишина — не лают собаки, не поют по ночам петухи. И людей как-то было мало для таких крупных деревень, а те, которые оставались, были какие-то странные, напуганные, точно завезли их бог знает из каких краев и они все никак не могли прижиться на новом для себя месте.

Они и вправду были уже другими. Ни следа от былой хватки мужика, ни следа от славного трудолюбия молдаванок. Дома хмурые. Из-под облупившейся от бесконечных дождей извести выглядывала глина, на завалинках рос подорожник. Смирились с бедностью те, которые, казалось, вовек ее к себе на порог не пустят; опустили головы те, которые, казалось, не опустят их никогда. Истощенные крестьяне были разбиты на дистрофиков пяти групп, они еле брели по сельским дорогам. Шли понуро, часто мучительно глотая на ходу, и огромные кадыки на их тонких шеях то, вздрагивая, ползли вверх, то, сорвавшись, беспомощно катились вниз, и казалось, что они все чего-то никак не могут проглотить.

Шли фронтовики и инвалиды со свежими, не успешными еще потускветь медалями «За взятие Берлина», шли воевавшие в румынской армии Антонеску и теперь вернувшиеся из плена, шли женщины и дети, никогда не носившие погон и в боях не сражавшиеся. Они мотались по дорогам без всякой цели — для какого-нибудь дела нужны были силы, а сил у них не было. Но они шли. Они хотели выжить, а для этого нужно было двигаться. Животный инстинкт самосохранения выгонял их из домов чуть свет, и они блуждали по селу, еле переступая опухшими ногами.

В полдень дистрофики первых двух групп собирались на созданных уже к концу голода пунктах общественного питания. Подходили по очереди к поставленной во дворе сельсовета бочке с рыбьим жиром, с отвращением глотали две-три ложки, затем получали на всю семью два половника супа. Мучимые угрызениями совести, что и на этот раз не донесут своим ближним положенную им долю, садились тут же на голую землю, выпивали пустой фасолевый отвар и расходились по домам. Уставшие от всего — и от общения друг с другом, они шли в одиночку, каждый сам по себе, и мысль у них была одна-единственная: о еде.

Потом, на их счастье, пошли дожди, и это было главное. Поля, едва оправившись, с древней, истинно божественной добротой принялись подкармливать степной люд. Леса, сады, пашни, с мудрой последовательностью сменяя одно лакомство другим, спешили вернуть народу утраченные жизненные соки. И вот пожелтели, затвердели зерна кукурузы, эта древняя пища молдаван первой поспешила им на помощь, и уже по вечерам, как это было издавна заведено, хозяйки варили мамалыгу и

семьи собирались в круг за низеньким столом. Сначала они долго и молча тешили себя сытным запахом распаренной кукурузы, потом, поужинав, ложились, но спали плохо. Все свились им зеленые лешенки лебеды, от которых они пухли и умирали. Просыпались в холодной испарине, слезали с печей, шарили в темноте по полкам в поисках хотя бы крошки оставшейся с ужина мамалыги, чтобы освежить во рту запах истинного хлеба.

А дожди все шли. Ранними утрами ровная гладь озер расходилась кругами, волнуя души местных рыбаков, и темно-зеленые поля отдавали в полдень материнским теплом, и немногочисленные коровы, что перезимовали благодаря прогнившим соломенным крышам, теперь, дожив до своих пастбищ, возвращались по вечерам сытые, с тяжелым, туго налитым выменем. Редкие фруктовые деревья, чудом спасшиеся от продрогших, доведенных до отчаяния крестьянских топоров, теперь подрумянивали на солнце свои первые за эти годы плоды. В лесах спела земляника, буйно осыпался цвет орешника, а дожди все шли, и эти бесконечные, судьбой ниспосланные дожди были, может быть, тем единственным, что могло еще утешить и обласкать потрясенный до самых основ род плугарей. И они действительно начали приходить в себя, и свежели их лица, и вот уже залезла шестнадцатилетняя хохотушка, и маленький карагуз полз с кулачками на своего обидчика, и даже протесся по деревне слух, что некто бесконечно одинокий как будто намерен связать свою судьбу с другим таким же одиноким существом.

Казалось бы, самое трудное было уже позади, но в пятидесятые годы, после того как были созданы колхозы и тракторы, глубоко перепахав заброшенные поля, вернули им плодородие, когда о голоде хоть и думали много, старались не говорить, вдруг по деревням снова стали появляться повешенные над входными дверями в знак траура белые полотенца. Начали вымирать потерявшие жизненные соки до такой степени, что хлеб им уже был не впрок. Это были люди обреченные, их уже невозможно было спасти. Они это знали и, печальные, молча брели по сельским улицам.

Особенно часто умирали женщины. В те трудные годы, обремененные семьями, всегда в погоне за съестным, они были крепче, выносливее своих мужей, но теперь, когда их детки опять принялись гонять по улицам тряпичный мяч, теперь, когда завтрашний день уже

не поджидал бездонной пропастью, теперь, когда в каждом доме опять клали на стол лишнюю ложку, чтобы в случае, если кто зайдет, пригласить к столу, — теперь они начали сдавать. Они умирали легко, с какой-то непостижимой простотой. Не успеют приболеть, не успеют слезь, не успеют проститься с близкими — и вот уже несут их в узком, наскоро сколоченном гробу и хоронят далеко в перепаханном под зябь поле, потому что за время голода кладбища вышли из своих границ.

Так все и шло: то дожди, то сев, то покороны, и вот пробил час и настал черед Тинкуцы, жены и друга нашего Онакия Карабуша. Всю жизнь покорная судьбе, она и на этот раз все приняла как должное. Раз надо, так надо. И теперь уходила из родной Чутуры легкой, бесшумной походкой матери, встававшей чуть свет и боявшейся потревожить сон своих сыновей. Уходила в той же скромной, поношенной, неопределенного цвета и покроя одежке, которую избалованный человеческий глаз и не замечает, и не запоминает. Уходила низенькая, молчаливая, с покорностью ребенка, которого взрослые послали с каким-то поручением, и он идет, счастливый, и невдомек ему, что с этим можно и повременить.

Хиурая, усталая, оступившая за эти годы Чутура провожала ее с большим недоумением. Недоумевать она начала с того самого весеннего дня, когда Тинкуца, собравшись поштукатурить, прислонила лесенку к стене своего дома, забралась по ней и упала в обморок. Чутура тогда впервые удивилась: чего это старуха рухнула, не бог весть в какую высь забралась. Потом, когда Нуда то и дело стала бегать к родителям и возвращаясь встревоженная, с покрасневшими от слез глазами, Чутура снова принялась недоумевать — да погоди же ты, господи! Одно дело — когда падаешь в обморок, и совсем другое, когда уже крышка. И Тинкуце, правда, как-то полегчало. Неделю спустя, отлежавшись, она вышла во двор полоть какие-то грядки, и это Чутуре не понравилось. Если старушка в силе и ничего с ней не стряслось, чего валяет дурака? Нашла время морочить людям головы! А в среду в полдень, когда старенький сельский колокол разнес по окрестным полям печальную весть, что Тинкуца Онакия Карабуша отошла в мир праведных и один бог уже ей судья, Чутура была прямо вне себя от изумления — издеваются, что ли, над ней?!

Похороны готовились в той же спешке и неразберихе, как это водилось испокон веку. Вот еще до недавнего времени как будто всего было вдосталь, а когда положили покойницу на лавку, то ни муки в доме, ни денег в кармане, ни домотканого полотна в комодке, ни белых платочков, которые принято подвязывать к церковным прапорам и подсвечникам. Мирча объезжал соседние деревни в поисках священника — у салчинского попа было три покойника на очереди, и он мог приехать только в воскресный день после обеда; нуелушский священник соглашался ехать в любую погоду, но заявлял это будучи выпивши, а выпивший, как известно, за свои слова не отвечает; в конечном счете Чутура не знала, ни когда, ни кто будет Тинкуцу хоронить.

Целые сутки лил дождь, потом сразу установилась на редкость хорошая погода, и это было то, в чем напоследок, уже мертвой, не повезло Тинкуце. Хорошей погоды для работы перепало мало, поля зарастали сорняками, люди ловили каждое просветление неба, и таким образом в ту пятницу, когда маленький, покрашенный синькой гроб понесли на кладбище, не больше десяти старушек поплелись за ним. На поминки пришло еще меньше народу, потому что старушки были истощенные, они еле волочили ноги от одного заборного столба до другого. На поминки, которые принято устраивать на третий и на девятый день после похорон, тоже собиралось мало народу, потому что, как говорили чутурянки, надо быть совсем бессовестной, чтобы, не проводив покойницу до могилы, бежать во все лопатки на ее поминки.

При таких вот обстоятельствах Тинкуце пришлось проститься со своей родной деревней. А между тем дни шли и шли, и вот уже начал блекнуть в памяти односельчан образ усталой, мягко улыбающейся, чистой во всех помыслах своих Тинкуцы. Был вот тут, рядом с ними человек, и вот уже нет его. Вышедший из той же желтой глины, он шел к нам вереницей неисчислимых поколений и был красив, и прожил жизнь, исполнив долг свой, затем вернулся обратно в мир желтой глины, и место, которое занимал он под этим солнцем, было тут же заполнено окружающей нас пустотой, словно сама природа все эти годы, пока человек ходил по земле, стояла на страже и ждала, когда он исчезнет, чтобы вернуть себе зачем-то еще одну крупицу бесконечной пустоты. И снова шли дни, и Тинкуца уходила все дальше

и дальше, и чутуряне уже едва помнили слова ее утреннего привета, слова, полные душевной доброты, окрашенные едва уловимой грустью.

А следующей весной, когда настал черед годовым поминкам, Чутуре было прямо невдомек, зачем это Карабуш ходит по деревне и расспрашивает, у кого бы купить хорошего вина. И хотя он денег не жалел и купил все самое лучшее, на поминки тоже собралось мало народу. Люди приходили прямо с поля, приходили усталые, запыленные, в пропотевших на плечах рубашках. Стоило больших трудов усадить их за стол — они стеснялись своей рабочей неприглядности, они спешили куда-то и думали о своих нормах.

Выпили по стаканчику вина, поговорили о засухах и хороших урожаях, о кражах зерна в соседних колхозах и в их собственном. Онаке Карабуш, стараясь скрасить поминки, чокался по несколько раз с каждым, участвовал во всех разговорах: осуждал кражу, если осуждали ее гости, и частично допускал ее, если к тому шел разговор. Потом, проводив гостей до ворот и еще постояв там для приличия немного, он вернулся в дом и вздохнул свободно, словно целую гору свалил со своих плеч.

— Слава богу, что довелось помянуть еще раз, а там, кто знает, сколько самому осталось ходить по травке зеленой...

Нуца, взяв себе в помощницы двух соседок, убирала со стола и мыла посуду. Сказанное Онакием было косвенно обращено к ним, и теперь он вопросительно поглядывал на них. Все они были женщинами, а на празднествах бабий глаз мечется, как уж на жаровне, он все видит, все подмечает, и ему очень хотелось узнать, насколько удалась Тинкуцыны поминки. К великому удивлению Онакия, ни Нуца, ни ее помощницы не ответили — они вообще никак не откликнулись, словно никто ничего не говорил и вообще никого, кроме них самих, в доме не было.

«Ну до чего он капризен и избалован, этот бабий род! — подумал про себя старый Онаке. — Добро, хоть изредка навещает их старуха с косой, иначе бы никакой жизни...»

Изобразив на своем лице нечто близкое к тому, о чем он подумал, Онаке долго и испытующе разглядывал убирających в доме женщин, но их, казалось, уже не бы-

ло — все они вернулись к своим семьям, к своим заботам, и только три пары проворных рук на время задержались в доме Карабуша, чтобы помочь прибрать после поминок.

Хотя украдкой они вздыхали, все трое. Вздыхали глубоко, призадумавшись о чем-то сложном и трудном. Вероятно, они перебирали в памяти годы войны, годы голода, свои тяжелые судьбы и ту великую несправедливость, вследствие которой почти всех их хоронили мужья, пережив на много лет. Красивые в семнадцать-восемнадцать, с вечным хвостом карапузов в тридцать, надорванные тяжелым трудом, оупевшие от побоев мужа в сорок, высохшие, поседевшие в пятьдесят лет, они даже не умирали в полном смысле этого слова, а гасли свечками на ветру или, как они сами о себе говорили, отходили.

Жаловаться они не жаловались — это было слишком старое горе, чтобы еще убиваться над ним. Так истари повелось, такие же судьбы достались их матерям, и бабушкам, и прабабушкам. Тут уже не было против кого идти, они мирялись и, только провожая в последний путь очередную свою сестру или собираясь на ее поминки, чувствовали какую-то тяжелую, несправедливую обиду, какая-то непокорность будоражила их. Но длилось все это недолго. Кончались похороны или поминки, они расходились по домам, к своим деткам, и опять все шло, как и прежде, и они принимали все как есть, — на время, конечно. Пока снова не начнет сельский колокол оплакивать кого-нибудь из них и они не соберутся отведать теплого калача на поминках.

Теперь вот настал черед Тинкуцы. Не дожив и до пятидесяти, она покинула этот мир, и был так жесток, так неоправдан ранний уход, что при всей своей смиренности, при всей стыдливости Тинкуца, казалось, воспротивилась, принявшись упрашивать односельчан, чтобы, если можно, запомнили ее понадежнее, не дали бы так сразу и навсегда уйти. Напрасными, однако, были ее просьбы — уже много лет подряд Чутура только и делала, что хоронила. И было среди захороненных ею столько молодых и красивых, недоживших, недолюбивших, которых она поклялась помнить. Она клялась, потому что жалко было, а затем забывала их, потому что откуда взять ей, истощенной голодом деревне, столько сил, столько крепкой, мужественной памяти? Чутура почти сразу после похорон стала забывать и Тинкуцу,

а скромный домашний уют, созданный ее руками, начал блекнуть и сходить на нет.

Пожелтевшая, с ржавыми кружочками от кнопок по углам, единственная фотография, хранившая ее черты, тут же после похорон была кем-то выкрадена. Дело в том, что тогда, много лет назад, когда Онаке сфотографировался с Тинкуцей, в том же дворе, где снимал их заезжий фотограф, справляли свадьбу и множество зевак, собравшихся поглазеть на невесту, шутки ради перескочили забор и оказались вторым планом на той же фотографии. К сожалению, и зевачи, когда настает время, стареют, а постарев, им ужас как хочется похвастать своей былой неотразимостью. И вот началась погоня за семейными фотографиями Карабуша. Эти красавцы со второго плана то прикидывались простачками и приходили, чтобы поучиться у Онакия уму-разуму, то заходили от избытка благовоспитанности поздороваться, то поблагодарить за какие-то советы, и таким образом из четырех фотографий — столько их было вначале — осталась всего одна. Пока Тинкуца была жива, фотография висела на стене неприступной крепостью — теперь вот и последней не стало.

Прялка, веретена и те несколько приспособлений от ткацкого станка, которыми Тинкуца очень дорожила, тоже затерялись. То есть сначала Онаке бережно собрал их и отнес Нуце, да только Нуца уже и как прясть забыла, а ткать она и вовсе не умела. Это искусство, в котором Тинкуца считалась большой мастерицей, вымирало. Сеять коноплю и лен было негде, да и чего мучиться, когда все можно купить в магазине. Принесенные Онакием предметы некоторое время валялись на чердаке, потом в сенцах, затем очутились за курятником, а от туда и совсем исчезли.

Два теплых платка и стоптанные ботинки, оставшиеся от Тинкуцы, Онаке раздал старушкам, помогавшим на похоронах, и в конечном счете единственное, что еще оставалось нетронутым, была маленькая кухня, те четыре-пять квадратных метров, на которых Тинкуца провела большую часть своей жизни. Старинный ухват, доставшийся ей по наследству от матери, аккуратно вымазанный глиной, застеленный дорожками пол, разболтанная вконец дверца печки, которую она одна умела закрывать, шкафчик с посудой, расставленной в том порядке, который правился ей. И сама печь, и припечка, и лежанка, и ходики над дверьми, показывающие уже

много лет подряд без четверти два, — это был единственный островок, который все еще оставался верным памяти своей хозяйки.

А тем временем шли дожди, и зрели хлеба в поле, и жизнь шла своим чередом, и о Тинкуце стали все реже и реже вспоминать. Живое тянется к живому — в этом тоже есть свой большой смысл, и уже на второй год после ее смерти один только Онаке плелся одиноким и печальным по деревне. Некого стало учить уму-разуму, некому было наказывать, какой готовить борщ, некому было хлеб испечь, постирать, но вопреки всем этим невзгодам его печальное старческое лицо стало наливать соком, а временами на скулах пробивалось даже нечто вроде румянца.

«Все это, верю, оттого, что я хорошо высыпаясь», — думал Онаке, и он в самом деле, овдовев, начал на редкость сладко, как в детстве, спать. Всю жизнь крестьянина одолевают заботы, и носит он их, не до конца осмыслив иные, потому что обдумывать их со всех сторон ему некогда. Единственное свободное время — это вечер, вернее, те часы, когда он лег, в доме потушен свет, но сон еще не идет. И вот тогда, оставшись один на один со всеми своими заботами, он прикидывает и так и разтак, а толку во всем этом мало, потому что за старыми встают новые заботы. Он вздыхает в темноте, добрую половину ночи переворачиваясь с боку на бок, и, измотавшись, засыпает под самое утро. Но сон уже не в сон. И так со дня на день, из года в год, всю жизнь.

Теперь, когда он впервые остался одиноким, без заботы о другом человеке, с него как-то спал весь груз многолетних невзгод. Все заботы о земле, о вспашках, о посевах он передал вместе со своими гектарами колхозу, над этим уже думали другие. Что до остального, то много ли одинокому старику надо? Одежда какая ни на есть, а еще послужит, и трудодни можно заработать, не особенно надрываясь. Двор можно засадить картошкой, на всякий случай посеять немного кукурузы около дома, а там что бог даст. И Карабуш перестал по вечерам думать о будущем, о своих больших и малых заботах. Он ложился и тут же засыпал, и после нескольких месяцев хорошего сна он действительно посве-

жел лицом, в нем даже стали просыпаться какие-то запасы хорошего настроения. Он ожил, его потянуло к людям, он даже начал выходить по вечерам. Шел он по деревне торжественно, чисто выбритый, аккуратно одетый. Можно было подумать, что всю жизнь он искал бритву и одежду щетку, но Тинкуца все это прятала, и только теперь, на старости лет, его врожденная аккуратность нашла наконец себе применение.

Живучесть — это великий божий дар, и эта живучесть была свойственна Карабушу в высшей степени. Голодал и он в свое время, и ездил на товарняках, груженых лесом, в Прикарпатскую Украину, и привозил в мешке вонючую серую массу, называемую чутурьянами жомом, — старые, много лет пролежавшие в земле отходы сахарных заводов. Ел и он желудевую кашу, поджаривал белую мякоть подсолнечных стеблей; даже одно время по деревне прошел слух, что видели его налитым той водянкой, после которой люди уже не поправляются. Но он был живучим, на редкость живучим, и, как только пошли первые дожди, как только зазеленела степь, он тут же начал приходить в себя. Больше того — казалось, эти голодные годы научили его вещам, которых он до этого не мог постичь, и теперь, на старости, окончательно уяснивший себе, что к чему на этом свете, он стал ловким, энергичным, жизнедеятельным. Дело дошло даже до того, что после годовых поминок по Тинкуце он затеял в доме огромный, на всю деревню, ремонт. Разобрал большую печь, и малую, и лежанку, сложив их заново, совершенно в ином стиле, по другому плану. И правда, на этот раз удачнее, красивее, и тяга стала лучше. Настелил дощатый пол в комнате и в кухне, чтобы не простудиться, потому что глина, говорил он, по утрам несет холодом. Даже ходики, застрявшие на двух без четверти, были сняты с места, выправлены так, чтобы показывали два часа ровно, и повешены меж окнами, где было сподручнее вытирать с них пыль.

Это казалось просто непостижимым — прожить целую жизнь с Тинкуцей, видеть, как она по вечерам глотает дым и вытирает слезы, сидя у печки, отлично зная при этом, что, если переставить печь с лежанкой, тяга улучшится; долгую жизнь выслушивать ее жалобы на простуду, советовать ей всякую чепуху вместо того, чтобы как-то раздобыть доски и застелить хотя бы в кухне полы; спокойно смотреть, как она по субботам взбира-



лась на хлипкий табурет, чтобы вытереть пыль с часов, которые ничего не стоило перевесить в другое, более удобное место!

Чутура размышляла. В другое время она сложила бы легенды о таком лицемерии и передавала бы эти легенды из уст в уста, но после двухлетнего голода она иначе стала смотреть на вещи. Теперь самым важным стала не честь, а живучесть, и она, гордая, изумленная живучестью Карабуша, навещала старика что ни день. Приходила посоветоваться с ним и последить за движениями его сильных жилистых рук, послушать его небывлицы и старалась перенять у него хотя бы часть этой живучести.

Старик вдруг против своего ожидания оказался героем дня и, увлеченный своими планами, трудился с зари до самой ночи. Работа была трудная, все камень да глина. На этой работе много чутурян надорвалось, но Карабушу это было не страшно. Его всегда защищало от всех зол чувство меры. К тому же такова уж, видать, была его натура — чем труднее работа, тем ярче вспыхивала в нем та добрая злость, которая двигает человеческой деятельностью. С каждым днем, с каждой новой заботой он не изматывался, а, наоборот, набирался сил, и, когда ремонт в его доме уже шел к концу, по деревне даже пошла слухи, что какая-то молодуха стала вечерами навещать старика. С керосином тогда в деревне было туго, и не было ничего удивительного в том, что вместе с другими односельчанами они просиживали вечера в потемках. Удивительнее всего было то, что никому не удавалось в лицо разглядеть ту молодуху, никому не удавалось заметить, когда и какой дорогой она уходит. Вот она мелькнула тенью, вошла в дом Карабуша, а потом ее уже там не было, прямо сквозь землю проваливалась.

Чутурияне были в восторге. Истощенные засухой, измученные заботами о завтрашнем дне, они и думать забыли о тех грешных пашнях, которые, как там ни толкуй, а придают определенную прелесть жизни. Чутурияне были так рады, что наконец и эта житейская блажь вернулась к ним, они так упивались этой сплетней, что ни старика, ни молодуху не осуждали. Они и до Нуцы донесли эту сплетню с восторгом, и Нуца посмеялась вместе со всеми и погадала, кем бы могла оказаться та молодуха, но потом прошел день, и два, и три — она стала все чаще и чаще возвращаться к этой истории, и

чем больше она думала о ней, тем тревожнее становилось на душе.

Уж так мир устроен, что за каждым человеческим жилищем вяжется какая-нибудь да репутация. Из этого складывается облик, доброе имя дома. Обычно говорят — в том доме такие вещи не делаются, или, наоборот, стены того дома и не такое видали!

Домик Карабуша, построенный им когда-то с Тинкуцей за деревней в поле (это теперь там почти что центр села, а тогда это была жалкая окраина), так вот, дом Карабуша знал разные времена. Бывал он и бедным и с некоторым достатком; слышали его стены смех, слышали и плач; бывало, он жаждал правды, потом, устав, уже ничего не хотел; честь, однако, в том доме обитала всегда.

Это вошло в норму, в правило, казалось, это свойство стен, незыблемость фундамента этого старенького строения, но вот по деревне пошли смешки, и оказалось, что никакое это не свойство стен и уже ни о какой незыблемости фундамента и речи быть не может! всю жизнь чутуряне думали, что честь дома — это Опаке, но вот ушла хозяйка дома, и оказалось, что честью дома была Тинкуца. И хотя побеленный ею дом, опоясанный синькой, белел еще на всю деревню, хозяйки уже не стало, и всему миру было известно, что таким вот чистеньким он уже идет на дно.

У Нуцы были свои заботы, своя семья, свой дом, но отчий дом был ей тоже не чужой. Она не могла смотреть, как он идет на дно, не бросившись ему на помощь.

Постепенно, не отдавая себе в этом отчета, Нуца стала настраивать себя против отца. Это ей удавалось с большим трудом. всю жизнь они были союзниками, в детстве во всех семейных передрягах она неизменно принимала сторону отца. Теперь этому союзу должен был наступить конец. Опаке понятия не имел об этом предательстве. Шли дожди, и ремонт в его доме подходил к концу, и молодуха его не забывала, и вообще все в мире было прекрасно, когда в один прекрасный день появилась Нуца. Она появилась неожиданно. Вдруг он поднял голову, а она стоит на пороге. Ни шагов, ни скрипа дверей не слышно было, и это Опакию с самого начала не понравилось.

— Добрый вечер, отец.

И то, как она поздоровалась, ему тоже не понравилось. Он ответил молча, кивком, ожидая, что дальше

последует, а она стояла, прислонившись к косяку двери, и ничего не говорила. Она давно у него не была, обо всех этих переделках знала только понаслышке. Сиротливо прислонившись к косяку, долго разглядывала дом; она его разглядывала медленно, внимательно, точно выучивала что-то наизусть. И горько вздохнула. Ушло все из отчего дома, ушел навечно тот мир, в котором протекло ее детство. Подумала про себя: как быстро может исчезнуть из жизни все, чем живет женщина. Оказывается, на место старой печи можно поставить новую, ничем не хуже старой, и часы можно перенести на более удачное место, и полы можно досками настелить. Ей понравилось, как все тут устроено, она даже удивилась — как это старик смог так хорошо до всего додуматься? Над тем, как устроить свой дом, чутуряне бьются годами, и советуются друг с другом, и решают, и перешагают — а тут так все просто вышло. И вдруг ее осенило — конечно, все было делом не только отца, был тут труд и выдумка той самой молодухи.

Низко опустив голову, Нуца стала думать о той молодухе. Гадала — откуда она взялась, каким путем, с каким сердцем вошла она впервые в этот дом. Хотя мужчины — это всегда мужчины, даже когда они наши родители! Нуца стала припоминать, что в далеком детстве ее отец довольно часто возвращался повдней ночью, навеселе и нередко Тинкуца ходила с покрасневшими от слез глазами. Она никогда никому не жаловалась, но уже в тридцать лет так выплакала глаза, что не умела вдеть нитку в иголку — просила детей, просила соседей. И вдруг это воспоминание — иголка, нитка и растерянная улыбка матери — решило все. Нуца переступила наконец порог, огляделась и спросила каким-то странным голосом:

— Кто это оштукатурил печку?

Чуя подвох, Онаке увернулся:

— А что? Может, где не так сделано?

— Нет, ничего, но я знаю всех наших соседок, у кого какая рука, а вот теперь смотрю и никак не угадаю: чья это может быть работа?

Прижатый к стене, почесав затылок, Онаке признался:

— Да приходила тут одна — теперь этим многие подрабатывают. И я подумал, все равно ведь нужно человека нанять...

— Что же вы меня не позвали?

— Да ведь у тебя и так делов по горло! А эта женщина дешево, почти что задаром обмазала, и ведь неплохо, ей же богу, неплохо!

Нуца обошла печку вокруг, придирчиво осматривая ее, затем медленно, зловеще стала засучивать рукава.

— Принесите деревянный карнизник, лопату и немного воды.

Обомлевший Онаке спросил:

— Зачем?

Это взорвало Нуцу.

— Да неужели вы не видите, что она изуродовала вам весь дом! Посмотрите на эту печку — и карнизы кривы, и глина плохо перемешана, и комки кругом выпирают...

Карабуш принял критику мужественно, достал все, что с него потребовали, помогал ей чем только мог, а сам при этом думал, что достойны великого осмеяния те мужчины, которые не в состоянии научить своих жен не совать нос в чужие дела. Поздно вечером, проведив дочку до ворот, он поблагодарил ее не очень уверенным голосом. Нуца пропустила его благодарность мимо ушей и сухо сказала:

— Ничего больше не затевайте, берегите дом таким, каким он остался от мамы. А если что надумаете — скажите мне, и я приду.

Этот разговор поставил старика в тупик:

— Что ты, я в жизни больше не свяжусь с этой глиной! Надоело все. Но, конечно, ты тоже должна понять — одинокому старику несладко... То хлеб надо испечь, то постирать — ну, бывает, что попросишь соседку или еще кого...

Постояв, пораздумав, Нуца спросила:

— Сегодня какой день?

— Кажется, суббота. А может, пятница.

Некоторое время они вдвоем перебирали цепкий клубок событий недели, восстанавливая по ним дни, и выяснилось, что была действительно суббота.

— Тогда я по субботам, когда смогу, постараюсь забежать, помочь.

Онаке был растроган.

— И сделаешь очень доброе дело! Ведь, кроме тебя, у меня и родни-то нету.

Холодную, дождливую осень, затем зиму долгую, слякотную и еще почти всю весну Нуца бегала по субботам к отцу. Благодаря ее стараниям Тиккуца, почти совсем

исчезнувшая из жизни родной деревушки, вдруг задержалась, заупрявилась. Но, как ни с ранно, никто этому не радовался. Не радовалась Чутура — худо-бедно, а нажитый ум она считала предостаточным для своих нужд и не любила, когда другие ее поучали. Не радовался Онаке — его удручало, что ему не дали довести до конца начатый ремонт, раздражали еженедельные нашествия дочери, ее упорство все переиначить.

В конечном счете и самой Нуце все это стало надоедать — то есть поначалу, забегая к отцу, она чувствовала себя бойцом, сражающимся за истину, она испытывала удовлетворение от своего женского упрямства, но потом это чувство притупилось, истина затерялась в повседневной будничности, и осталась одна привычка бегать по субботам к отцу. А между тем ей все это давалось с большим трудом — забот у нее и так было полно. Мирча работал трактористом, целыми неделями пропадал то на чутурских, то на полях соседних деревень, и ей приходилось быть и хозяйкой и хозяином в своем собственном доме.

Может, потому, что ее девичьи годы прошли давно и она уже плохо помнила старый уклад родительского быта, может, потому, что у нее самой был свой дом, со своим обликом, и его она больше всего любила, а может, потому, что мы всю жизнь как-то незаметно для самих себя что-то постигаем, чему-то учимся, но после долгой дождливой осени, после приторно-теплой, гнилой зимы, ближе к весне Нуца стала все реже и реже забегать к отцу. Забывала. Она искренне удивлялась этому — удивлялась и снова забывала. Потом ей уже стало недоставать времени. То забежит раз в две недели, то раз в месяц. Зайдет усталая, сядет в уголок на лавочке и сидит, словно не может припомнить, за каким же она делом пришла. Онаке тоже с чего-то стал молчаливым. Так они и сидели молча вдвоем, а если Нуца, чтобы разогреть себя воспоминаниями, заводила разговоры о давно минувших временах, Онаке упорно отмалчивался, потому что эти беседы, говорил он, волнуют его и потом много дней он мается, пока снова войдет в свою колею.

А летом с наступлением жатвы Нуца и вовсе забыла дорогу к отцу. Долго ее не было, и только в самом конце августа забежала вечером. Вошла усталой виноватой походкой, словно шел ей шестнадцатый год и она, запоздав, возвращалась с гулянки. Поздоровалась, села сироткой в уголочек. Распустила завязанный под подбо-

родок белый платок, и смятые узлом кончики платка натруженно повисли на ее плечах. Долго, удивленно оглядывалась — скажи, как чисто прибрано у отца, прибранней, чем в ее собственном доме. А она, дура, пришла помочь прибраться. Старик у если и нужно было помочь, то разве в том, чего мужики совсем не умеют — постирать, подштопать, хлеб, что ли, испечь. Сидя так на лавочке и прикидывая, чем бы ей отцу помочь, Нуца вдруг заплакала. Поначалу она плакала тихо, нехотя, словно какое-то тяжелое воспоминание против ее воли прорвалось в поток мыслей и теперь от него не отделаешься, пока не пустишь слезу. Но время шло, она все плакала, ее горе разрасталось какими-то новыми притоками обид, и в конечном счете она разревелась так, что уже не в силах была сама с собой сладить. Слезы текли рекой, какие-то древние рифмованные причитания прорывались наружу. Ее плечи вздрагивали, платок сполз, и она, припав к стенке, вся сжалась в комочек. Она горевала, искала по комнате отца, чтобы позвать на помощь, но слезы застилали ей глаза. Она их вытирала платочком, но они все шли, и она плакала от больших своих обид, плакала оттого, что, когда пришло большое горе, текут слезы и она не может разглядеть сидящего в двух шагах родного отца.

Онаке все это время сидел на низенькой скамеечке с ножницами в одной руке и с зеркальцем в другой — как раз перед приходом Нуцы собирался подстричь усы. Женские слезы на него совершенно не действовали. Он привял горе дочери спокойно, точно долгие годы они препирались и было в порядке вещей, чтобы в конечном счете кто-то заплакал. И то, что первой дала волю слезам женщина, тоже было в порядке вещей. Он сидел спокойно, призадумавшись, точно чужой человек постучался к нему в дом, чтобы выплакать свое большое горе. И он дал этому чужому человеку нареветься вдоволь, и только когда Нуца, облегченно вздохнув, собрала в комок промокший от слез платочек и стыдливо припрятала его куда-то, только тогда Онаке спросил:

— Чего это на тебя нашло?

Нуца, причесываясь, посмотрела на него удивленно, точно не ожидала увидеть его на том месте, где он сидел. Ответила сухо, как и полагается отвечать незнакомцам, которые, случайно оказавшись свидетелями чужого горя, проявляют излишнее любопытство.

— Да ведь у каждого свое. Тут одно на другое не приходится.

И улыбнулась мягко, светло, в том смысле, что, дескать, ничего не поделаешь — на то она и жизнь. Засучила рукава и принялась хлопотать по дому, но теперь Онаке горел любопытством. Он бегал за ней, как ребенок, которому захотелось сладкого, — Нуца выбежит по делам на улицу, идет и он за ней, Нуца возвращается — возвращается и он следом и все выкладывает свои догадки, которые, по его понятию, могли довести дочку до такого горя.

— Послушай, а может, на тебя напраслину возвели? Сейчас ведь любят трепаться. Или, может, в курятник ночью забрались — кто-то на днях рассказывал, что теперь опять по ночам стали лазить в чужие курятники.

Нуцу забавляли эти догадки, но ей было некогда. Она отмахивалась от них, а Онаке не отставал, и мучил себя, и прямо ума не мог приложить, что же с его дочкой могло стрястись. Поздно, перед самым уходом, Нуца, стоя на пороге, долгим взглядом посмотрела на отца. Голова вся седая, а сам он еще на редкость крепкий, здоровый, крижистый. И это в то время, когда всех степных жителей качает после голода, когда и самым молодым уже свет не мил. То-то и оно. Одни знают, как сделать, чтобы выжить, другие не знают. Те, которые знают, никому не говорят, а те, что не знают, стесняются спросить, и так вот и живут люди.

Нуца тяжело вздохнула. Ее потрескавшиеся от ветра губы опять было слезно вздрогнули, но она вовремя прикусила их и, низко опустив голову, прошептала:

— А я к вам, отец, пришла было с большой просьбой... — И, переборов неловкость, добавила: — Может, поговорите с моим мужем. С Мирчей.

Лицо Карабуша изобразило полное изумление — это было то, чего он никак не ожидал. Он подумал, что в самом деле давно зятя не видно было в деревне, а хорошему человеку трудно одному в поле.

— Что, побил?

Натруженные, мозолистые Нудыны пальцы забегали по створкам старых дверей. Они металась слепо, на ощупь, точно отполированные долгим употреблением сосновые доски могли подсказать нужное слово. Когда-то давно, в юности, эта дверь помогала, она их там находила, нужные ей слова, но и то сказать, когда это было!

— Понимаете, какое дело... На днях мне сон при-

снился. Странный какой-то, даже не знаю, с чего начать. Будто дождь застал меня в лесу и лес был чужой, а я одна и заблудилась...

— А, ночью всякая ерунда может присниться, — сказал Онаке разочарованно. Но поскольку плохих снов он тоже побаивался, добавил: — Ну, лес, ну, дождь. Что же потом?

— Я его не смогу пересказать, но, поверьте, это был жуткий сон, и с тех пор все хожу и гадаю: что же мне еще предстоит пережить? Леса и дожди мне снятся не к добру.

— С чего ты взяла! Леса снятся перед началом окота овец, а дожди означают обновку, это тебе любой дурак скажет.

— Нет, отец, у меня свои сны, со своими приметами. И был тот сон страшный, я до сих пор не могу прийти в себя. Все хожу и гадаю: к чему бы это? Потом была у Мирчи, отнесла ему еду, чистое белье, посидела с ним. И, возвращаясь уже с поля, как-то подумала: нет, не жилец он на этом свете. Он надорвал себя там, на тракторе, и боюсь, что останусь я вдовой...

Онаке был искренне возмущен:

— Боже мой, что за глупости! Вы только послушайте, какие она глупости несет!

Нупыны губы снова вздрогнули, и она прикусила их, но предчувствие большого горя перекосило ее лицо, и она, быстро отвернувшись, щелкнула дверной задвижкой, чтобы скорее уйти, не разреветься во второй раз. Но она была сильной, она сумела еще раз взять себя в руки. Постояв немного на пороге, сказала совершенно чужим голосом:

— Это не глупости, отец. Вы Мирчу давно не видели, а он у меня так и не отошел после голода. Трактор совсем доконал его. И есть он уже не может, все пересыхает у него во рту, и голос у него начал срываться, как у мальчишек, и похудел, как щетка, и потеет сидя, зоря, просто так.

Карабуш сидел растерянный, не зная, что сказать, а она стояла на пороге и ждала, ждала того единственного слова утешения, ради которого пришла и без которого ей и двери не открыть, и до дому, казалось, не добраться.

— Ну что ж, — вздохнул наконец Онаке. — Раз такое дело, то можно и поговорить. Но только, понимаешь ты... О чем мне с ним говорить, что мне ему сказать?

Нуца вдруг улыбнулась. Она унаследовала от Онакия тот знаменитый на всю Чутуру неожиданный переход от печали к шутке. Это всегда приходило в крайних случаях как спасение. Спасением было это и теперь. Улыбнувшись, она окончательно пришла в себя. Потом улыбка погасла, и только произнесенные ею слова несли еще на себе отблеск уже угасшей шутки.

— Эх, отец, если бы мне знать, что сказать мужику, который в цвете лет сохнет и гибнет зазря, если бы я это знала, думаете, прибежала бы к вам!

Она повернулась и вышла рывком, стремительно, а Онаке пока по-старчески поднялся со скамеечки, пока нашел, куда положить зеркальце и ножницы, пока выбрался на улицу, Нуцы уже не было. Ни вдоль дороги не видно было ее, ни напрямик, по садам, по тропинкам не слышны были ее шаги. Над селом висели усталые летние сумерки, и все стихло, засыпая. Онаке стоял, прислонившись к своей калитке, прислушивался к ночной тиши, и все чудилось ему, что Нуца опять разревелась, и придет домой вся в слезах, и ночью опять бог весть что приснится.

Она была его родной дочерью, побегом плоти его. Вместе с Нуцей принялась горевать и душа Онакия, и, пока он стоял там у калитки, горе дочери каким-то образом стало большим и непоправимым горем его самого.

## сечение

Мирчу железо доконало. Это знали все в деревне, и он сам это знал. Ему говорили: смотри, эти шутки добром не кончатся; он это и сам понимал, но уже ничего не мог с собой поделать. Железо всегда было его самым большим увлечением. С самых ранних лет оно завораживало его своей тяжестью, прочностью, какой-то дьявольской неподатливостью.

Все нехитрые железные предметы крестьянского быта, водившиеся у них в хозяйстве, — молоток, топорик, ножи — все это представлялось ему самым большим достатком семьи, богатством, которое ему суждено было унаследовать. С малых лет его руки тянулись к железу, а если кто из взрослых брал молоток, или нож, или топорик, он шел за ним и потом, затаив дыхание, следил за

тем невероятным чудом, которое называлось — железо в работе.

Уже мальчуганом он открыл для себя кузницу, увидел наконец того знаменитого волшебника, который мог низвергнуть железо с его высот, а затем, придав ему новый лик, новый смысл, вернуть на ту же недосыгаемость. И с тех пор все его помыслы были так или иначе связаны с кузницей, и когда отец, или кто из родни, или соседи шли к кузнецу, он бежал следом за ними и там, под прокуренным навесом, забравшись в самый дальний уголок, переживал вместе с кузнецом все радости и горести наковальни.

Железо ему не давало покоя, и уже подростком он завел себе свой потайной уголок, затащил туда ящик всевозможных железяк, загнал старый топор в какую-то чурку и устроил наковальню. В нем уже зрел кузнец, и каждую свободную минутку он бежал туда, в свой уголок. Стоило ему только присесть, и весь тот ящик, все железо становилось осмысленным, ценным, очень нужным людям — надо было только чуть подрезать, или удлинить, или выпрямить.

— Плюнул бы ты на все это! — говорила мать, видя, как он мучается, чтобы ухватить ложку ушибленными пальцами. — Бросил бы ты эти железяки, они до хорошего не доведут.

Железо, однако, не успело довести его ни до хорошего, ни до плохого. Пареньком он встретил Нуцу — встретил ночью в поле, возвращаясь с полной телегой сена. Затем поженились, потом ушел в армию, а там война. Около двух лет, как и все бессарабцы, он рыл окопы в трудовой армии; потом, когда его малая родина была освобождена, его посадили на танк. Война уже шла к концу, когда ему вдруг стали сниться свежие борозды и бог знает с чего припомнился ящик с железяками и старая наковальня.

Железо, несомненно, было его судьбой. С возвращением оно стало все больше и больше занимать его, покуда не завладело всем существом. В конечном счете он стал трактористом, и железо стало его единственным другом в широком ветреном поле. С ранней весны и до поздней осени, с первой зорьки и до сумерек было одно железо вокруг. Он видел его всяким: и остывшим, и раскаленным, и бездыханным, и грохочущим, и умным, и тупым. Были времена, когда он дня не мог прожить без железа, потом видеть его не мог, после чего сник, присмирел, и

вот уже четвертая осень наступала, а они все вдвоем — он и железо. И железо в конце концов доконало его.

Наши первые трактористы! Это длинный сказ, когда, откуда, каким образом появились они в Сорокской степи, но мучения их начинались в сорок четвертом, когда бои еще гремели в Карпатах. Тогда на территории Бессарабии, в барских усадьбах, расположенных, как правило, на перекрестках больших дорог, связывающих между собой степные деревушки, начали создаваться машинно-тракторные станции. Правда, поначалу ни машин, ни тракторов не было. Затем начали они прибывать с большими перебоями, и МТС с боями вырывали их друг у друга. Еще меньше было трактористов — МТС их разыскивали, переманивали, ссорились из-за них, но вот наступила бурная пора подготовки местных кадров.

Как ни странно, а крестьянам эта затея с самого начала не понравилась. Хорошему делу, думали они, тебя так задаром никто не обучит, а если задаром, значит, тут что-то не так. К тому же, говорили они, у нас есть лошади, у нас есть чудные кони, а теперь, значит, куда их? При постановке подобных вопросов стали созываться общие собрания, которые начинались с международной обстановки, которая всегда была крайне сложна, а когда к полуночи добивались до своих наболевших дел, ораторы патетически вопрошали:

— Товарищи, да есть ли у вас совесть?!

Это решило все. Молдаванин упрям по природе, но если апеллировать к его совести, он тут же сдается, И курсы трактористов начали действовать. Молодые парни, еще совсем подростки, и вчерашние фронтовики, и много разных других выходили чуть свет из своих деревень и медленно плелись к МТС по мокрым, оголенным, чуть прихваченным морозом полям. Они шли, чтобы доказать, что у них есть совесть, а заодно узнать, в чем хитрость четырехколесных громад и как эти таинственные, невидимые простым глазом лошадиные силы выходят в поле и пахут шести-, восьми- и даже двенадцатилемешным плугом.

Потом наступил голод, но они по-прежнему ходили каждый день в МТС. Они уже бредили машинами, и промасленные спецовки старых механиков казались им одеждой избранных; они понимали, что кончился старый век и наступил новый, но не любовь к таинственной профес-

сии тракториста, не понимание существа новой эпохи, а самый обыкновенный страх, страх перед голодной смертью поднимал их чуть свет. Наскоро зашнуровав худые ботинки, они выходили околицами в поле и медленно брели к МТС. Они шли, и каждый про себя думал о том, как там, в МТС, после двухчасового урока им выдадут по пятьсот граммов сыроватого, но настоящего ржаного хлеба и тарелку горохового супа. Суп они съедят сами, а хлеб понесут домой.

Два часа подряд, сидя в барских покоях, на чистом, ухоженном полу, они, пока шел урок, гадали про себя, каким же он будет на вид, тот кусок хлеба, который им предстоит получить, и будет ли его ровно пятьсот граммов, или, на их счастье, чуть больше. И еще они думали, в какой бы карман его понадежнее припрятать и о чем бы таком задуматься дорогой, чтобы увлечь себя и не дать рукам ощипывать его.

Грамота у них была разная — у кого четыре, у кого шесть, у кого и вовсе два класса. Способности у них тоже были разные, и по-русски они тоже плохо понимали, им бы еще учиться да учиться, но наступила неожиданно рано весна, их посадили на трактора и отправили в поле пахать. Может, потому, что все делалось в большой спешке, никто не пожелал им доброго часа. И правда, начало было на редкость неудачным. Закон обязывал колхозы три четверти своих земель обрабатывать только тракторами. Деревни держали по конюшням сотни отличных лошадей, а поля кругом лежали неспаханными, потому что трактора стояли в борозде неподвижно, наполовину разобранные. Машины были хорошие, в основном новые, но эта извечная наша беда — нехватка запасных частей! Их называли губошлепами и поговаривали, что, пока они сидели на полу в барских покоях и слушали про функции коленчатого вала, какие-то ловкачи ходили по тракторному парку, снимали с новых машин дефицитные детали, заменяя их чем попало. Теперь вот настала пора весенней вспашки, а пахать нечем. Бедные трактористы лежали целыми днями под машинами, глотали солянку, собирались по два, по три и крутили до обморока заводную ручку, но машина молчала. Усталые, они засыпали на борозде, и снилось им, как трактор завелся сам по себе, и сдвинулся с места, и прошелся по их телам тяжелыми зубчатыми колесами.

Кто их только не ругал, этих наших первых трактористов! Ругали бригадиры и директора МТС за то, что им

невдомек самим стащить у кого-нибудь нужную деталь и завести машину; ругали председатели колхозов и активисты за то, что они оставляют целые деревни без пахоты и посевов; ругали собственные жены за то, что они мало зарабатывают, редко домой приходят. Даже их собственные ребятишки, навещая, рассказывали про одного соседа, который уехал в Киев с канистрой подсолнечного масла, а привез обновки для всей семьи.

Онаке Карабуш полностью разделял антимеханизаторские настроения своих односельчан. Во-первых, он с детства любил лошадей. Красивая, ухоженная лошадь была для него признаком хорошей жизни. Ему казалось, что самое большое, о чем втайне мечтает каждый чутуриянин, — это пара гнедых. Теперь лошади были в опале, что такое хорошая жизнь — пойди угадай, и уже по одному этому он не мог положительно относиться к трактористам. Кроме того, он ясно сознавал предел своих возможностей, и ничто в мире не могло его заставить переступить эту черту. Он считал, что каждый порядочный человек, чтобы не оказаться в дураках, должен твердо знать, что он может, а чего нет. Теперь, видя собственными глазами, как эти ребята мучаются, он думал: зачем впутались, если знали, что это не по ним? Впрочем, это нисколько не помешало ему лет пять-шесть спустя, когда многие из них стали отличными механизаторами и хорошо зарабатывали, публично расхваливать их. Нашли способ, переступили предел своих возможностей — это его тоже восхищало.

В дела Мирчи Онаке старался не вмешиваться — он не советовал ему поступать на курсы, не уговаривал бросить, когда тот учился, хотя про себя, видимо, считал, что зять при своих орденах мог бы и полегче зарабатывать кусок хлеба. В голод, когда Мирча стал по вечерам приносить по куску ржаного хлеба детям, Онаке примирился с судьбой зятя, даже похвалил его перед соседями и тут же потерял из виду. Это с ним тоже случалось — вдруг ему человек надоест, и он теряет к нему интерес, и уже не вспоминает и не думает о нем, а если случайно встретит, то как будто и не видит, и не слышит, о чем тот толкует, и, не успев проститься, снова забывает его.

А между тем жизнь шла своим чередом, у нее были свои притоки, со своими разветвлениями, которых Карабушу было не разгадать. Он радовался, что все наконец устроилось, уладилось и от вечных своих забот избавился, но вот пришла Нуца с целым морем слез, и оказа-

лось, что все не так. Онаке опечалился, осунулся, несколько дней расхаживал вокруг своего дома молча, раздумывая над своей судьбой, над судьбами своих ближних, и постепенно его начало одолевать чувство большого благородного гнева. С каждым днем он мрачнел, взгляд его становился злым, свирепым, и чутурияне знали, что теперь ему лучше на глаза не попадаться.

Человек мягкий, податливый по натуре, он отличался большой влюбчивостью, был постоянен в своих привязанностях, но буквально сатанел, когда ему приходилось в ком-либо разочаровываться. А разочаровывался он тоже часто, потому что, эмоциональный, как все молдаване, он влюблялся во все, что его окружало: в людей, в посевы, в домашнюю скотину. Привязывался он ко всему прочно, надолго и был в состоянии долгие годы провозиться с маленьким саженцем, ненароком затесавшимся в его садик. Хотя был ему тот саженец ни к чему, он понимал, что от простого зернышка до полуметрового дичка путь огромный, и из одного уважения к свершенным трудам принимал его и начинал ухаживать. Хлопот с ним было много — и места мало в саду, и сам дичок слабенький, но Онаке, уже приняв его, начинал колдовать над ним и то пересадит на новое, более просторное место, то подрежет, то породнит его со знатной яблоней и все поит, и подкармливает, и ранней весной побелит известью тоненький ствол, а осенью подвязывает соломкой, дабы зайцы не изгрызли. Уже и соседи, и родня, и просто односельчане посмеиваются над ним, но Онакию всегда было безразлично, что о нем думают другие. Для него важнее было, чтобы он сам о себе был неизменно хорошего мнения.

Шли годы, и люди жили каждый своими заботами, и у Карабуша были свои, а меж прочими заботами был еще и дичок. Но не дай бог, если впоследствии выяснялось, что вся эта затея была впустую — саженец не жилец в этом мире и вообще он не тот, за кого выдавал себя. Тут Онаке впадал в такую ярость, что к нему было опасно подступиться. Каким-то образом все его горести и печали, все то, что ему в жизни не удалось, все, в чем ему не повезло, — все это вдруг принимало образ маленького, захудалого саженца, и, боже мой, какими только словами он не поносил его! Он подтрунивал, и ругал, и издевался над ним, и останавливал прохожих, собирал соседей, приводил всех в свой садик показать, как она выглядит, эта черная неблагодарность, и не успокаивался,

пока не настраивал против саженца добрую половину села. А тем временем в нем как-то медленно, незаметно гасли и любовь, и заботы, и самый обыкновенный интерес к саженцу. Больше он им не занимался — если тот сох, выкапывал и вплетал в старенький забор; если саженец поправлялся, и рос, и расцветал, и приносил хорошие урожаи, Онаке пользовался ими, не чувствуя, однако, особой радости.

Примерно в таком же духе складывались и его взаимоотношения с односельчанами. Он принимал людей сразу, любил часто и подолгу общаться с ними, умел прощать, умел помочь, умел дружить, но если в один прекрасный день оказывалось, что его надули, он расходился с ними бурно, взбудораживая всю деревню своим благородным негодованием. И так всю жизнь: то принимал, то отвергал, то влюблялся, то разочаровывался. Но те бури, которые охватили его после прихода Нуцы, были воистину неопишуты.

Чутура в плане родственных отношений распалась на отдельные звенья, отдельные родственные узлы, которые обозначались, как правило, фамилиями — были Чобаны, были Олары, были Карабуши. Принадлежавшие к какому-то роду, хоть и были разбросаны по всей деревне, тем не менее жили маленькой колонией. И наружность, и склад ума, и говор, и обычаи — все это говорило о принадлежности человека к тому или иному роду. Эти звенья, эти крошечные деревушки то дружили, то враждовали меж собой — больше, конечно, враждовали, чем дружили. Но при всем при том каждый род имел свою репутацию: были лентяи, были мудрецы, были скандалисты, были хорошие люди с достатком. Род Мирчи Морару был самым малочисленным — некоторые к ним хорошо относились, другие их не уважали, а в целом деревня их как-то не принимала всерьез. Эти люди больше жили воспоминаниями, хорошие их дни были в прошлом. Называли они сами себя резешами, но для резешей, прославленных воинов средневековой молдавской армии, наделенных за храбрость землей, они были слишком бедными и трусоватыми и плохо ладили меж собой. Хоть и трудились много, но все было как-то без толку. В Чутуре их прозвали гончими, и это было правдой — был там заяц впереди или не было его, Морару знай себе гоняли его по полю.

Одному из этих Морару довелось стать зятем Онакия Карабуша. Морару не любили родниться с кем попало и считали, что оказали большую честь роду Карабушей. Сами Карабуши и слышать не хотели о таком родстве, но Онаке пошел против них. Он принял Мирчу как родного; когда нужно было, защищал, когда нужно — помогал и долгие годы старался если не перевести его полностью в свою веру, то по крайней мере утихомирить, привить ему более размеренный и спокойный ритм жизни, принятый Карабушами.

Сначала дело как будто шло на лад. Мирча принимал все, что ему было на пользу, слушал речи, которые были умнее того, что он сам мог сказать, и все мотал на ус, и дорожил уважением новых своих родственников. Все шло хорошо, но вот прибежала Нуца, села в уголочек на лавочке, разревелась, и оказалось, что все было впустую. Мирча оставался гордым и глупым резешем из рода Морару. Он гонял вовсю третий год, а зайцев не было и в помине. Ну хорошо, думал Онаке, у Мирчи в голод почти все повымирали, и ему, возможно, захотелось к своим — это его дело, но как же быть с тем, что он, Карабуш, отдал ему в жены свою единственную дочку и теперь Мирча, свинья такая, собирается оставить ее с малыми ребятишками?!

Обида была такая большая, и неожиданная, и горькая, что Онаке снова выбился из колеи, потеряв и аппетит и сон. По ночам он целую вечность лежал в темноте и мучился, переваливаясь с боку набок, потом чуть свет вставал, шел во двор, затевал какую-нибудь пустячную работу и ругал не переставая саму эту работу, и свои руки, и род Морару, который был во всем виноват. Ближе к полудню он запирает дом на замок и шел по деревне. Он брел в поисках этих самых Морару, чтобы бить их по морде за то, что они дураки; он искал местное начальство, чтобы спросить, с чего это они поют песни про заботу о человеке, когда тот человек доведен до того, что потеет просто так, сидя, а еще он искал сельского фельдшера, чтобы узнать, какими это он порошками поит народ, что это за ерунда, после которой бедные крестьяне и не мрут, и не выживают.

К сожалению, всем этим речам, заготовленным дома, суждено было пропадать ни за грош. Произносить их вслух, перед свидетелями нельзя было, особенно старикам, трудно переносящим дальние дороги и холод, и может, поэтому, когда Онаке искал родню своего зятя, на-

тыкался на местное начальство, а пока подбирал соответствующие выражения для начальства, перед ним уже стоял фельдшер. К вечеру все то, что накопело у него на душе, начинало жечь, становилось ему немыготу, и, возвращаясь домой, он принюхивался к домикам, расположенным слева и справа от дороги, чтобы выяснить, у кого самый свежий самогон. К дому своему добирался поздно, сильно захмелевший, но не настолько, чтобы забыть свою большую обиду, и опять плохо спал, переворачиваясь всю ночь с боку на бок, а утром все начиналось сначала.

Эта лихорадка трепала его около недели, и вот как-то вечером, встретив Нуцу, Онаке как бы невзначай спросил, на каких теперь полях загорает ее тракторист. Потом, тоже как-то мимоходом, спросил, давно ли он показывался в деревне, и навестит ли она сама его, и в какие дни, и по каким делам собирается к нему. Отвечая отцу, Нуца заулыбалась, расцвела вся, и хотя Онаке в тот день был не в духе, изъяснялся одними колкостями, Нуца знала, что старик наверняка навестит Мирчу. И посидит, и поговорит с ним, и вообще предпримет нечто такое, после чего у нее снова будет сильный, крепкий муж, а у ее кровинок будет хороший отец.

На следующий день, сразу после полудня, свежесбритый, одетый в чистый пиджак Онаке вышел из Чутуры и полями пошел по свежей, протоптанной родственниками трактористов тропке. Из плетеной кошелки, которую он аккуратно нес, распространялись во все стороны вкусные запахи Нуцыной стряпни. Ступал он медленно, чуть торжественно, точно шел ранней весной святить пасху, шел и бранил себя за то, что не навещал Мирчу раньше. Как-никак, а Мирча еще молод. Сам Онаке в летах, он не должен был его так сразу, как чужого, забыть. Надо было навестить, поговорить, может, чего посоветовать. Старик шел, и корил себя, и в то же время удивлялся человеческой природе — хоть он и шел выручать зятя, почему-то при одной мысли, что тому плохо, ему самому было бесконечно хорошо.

День был хороший, ласковый. В степи еще держалась жара, но была она уже умеренная, чуть встревоженная приближением осени. И было солнечно, было так много яркого, слепящего солнца, что даже слегка хмелило, и от этого хмеля Карабушу стало удивительно легко и радост-

но на душе. И сама тропинка, и убегавшие далеко к югу поля, и обведенные полевыми дорожками, как каемкой, массивы кукурузы, и бескрайние моря подсолнечника — во всем была большая осмысленность, на всем лежала печать золотой поры плодоношения. Стояла осень. Над полями низко взлетали отяжелевшие за лето галки, и где-то вдали, меж холмами, играя солнечными бликами, дремал маленький пруд.

Тропинка, по которой шел Онаке, эта серая, узенькая ленточка земли, исхоженная босоногими чутурянами так, что и сама стала напоминать своей шершаво-мягкой поверхностью человеческую кожу, была с характером. Ее все время подмывало выкинуть нечто необычное, и она то игриво, будто с испугу, бросалась в сторону, то оставалась у пересохшей речки и с большой мудростью выбирала место перехода, то пряталась в сумерках подсолнечного массива и, притаившись, дремала в прохладной духоте, дожидаясь путников. Ее теперь все любили, она была всеобщим баловнем. Старожилы Сорокской степи, мыши, муравьи, грызуны всевозможных мастей тоже пользовались этой тропинкой, запасая корм на зиму. Они бежали хлопотливо, каждый заваленный своей ношей, своими заботами; вдруг наткнутся на Онакия, ошалело кинутся в сторону и вмиг исчезнут, растают, прямо сквозь землю провалятся, и нет уже ни их самих, ни нош их не видать. Онаке думает про себя: «Тоже, должно, пробавляются тем, что удастся стащить из колхоза. Их счастье, что не я председатель...»

Над разомлевшими от солнца полями стоял слабый, однообразный осенний гул. Потом со временем он утих, и Онаке уловил доносящийся с востока, из-за холмика, натужный перестук трактора. Это был, вероятно, Мирча, и, хотя его самого еще не видно было, Онаке, недолго думая, свернул с тропинки и пошел полями прямо на тот тракторный гул. Местность тут была обманчивая — как будто рукой можно достать до следующего холмика, а как пойдешь — ноги устанут, а его и в помине нет. Зная все эти степные обманы, Онаке старался не особенно оглядываться, а шел медленным, широким шагом, и, только обогнув старые виноградники, взобравшись на высокий курган, который чутуряне называли Господарским, он увидел своего зятя. Вернее, увидел он не зятя, а только трактор, и даже не сам трактор, а густое облако пыли. Далеко, на самой границе чутурских земель, там, где железная дорога, огибая широкую равнину, сворачивала

на запад, на узенькой полоске стерни, прижатой со всех сторон свежей пахотой, клочкотала металлическим скрежетом огромная туча пыли. Недели две уже не было дождя, и степь снова засушило. Ветры стихли, и вся пыль, поднятая шестилемешным плугом, так и ходила целый день в одной упряжке с трактором.

Гигантский, сплошь распаханый склон упирался в две-три ракитки; от ракиток уплывало на восток, за горизонт, огромное поле кукурузы; сами же ракитки, прижатые вспашкой и кукурузным массивом, ютились в маленькой долине, выпасенной до корешков.

У тех чахлах ракиток были когда-то два родника, и испокон веку крестьяне, имевшие в тех краях землю, когда им приносили обед в поле, шли прямо туда, к этим ракитам. Туда же спускались те, кто приносил харч. Теперь речка пересохла и родники были засыпаны, но оставались еще ракиты, и это место по-прежнему пользовалось доброй славой.

Онаке пошел прямо туда. Положил кошелку в тени под молоденькой ракитой, а сам стоял рядом, чуть в сторонке, так, чтобы Мирче легче было увидеть его. Он стоял долго, терпеливо, и каждый раз, когда трактор, выкатившись в долину, заворачивал, молча, ибо тракторист все равно бы его не услышал, подносил правую руку к своей старой шляпе, точно собирался приподнять ее над головой. Но зять круто разворачивал трактор и уходил, так и не видя его. Было прямо поразительно — человек смотрит и на север, и на северо-восток, и вдоль поля, и поперек, и только в ту сторону, где стоял старик с кошелкой, ни разу не посмотрел.

«А парень он с норовом...»

Мирче было не до Онакия. Он был не в духе. Это произошло так неожиданно, что он сам диву давался: ведь только что расхваливал сам себя и радовался, что еще один массив почти перепахан. И даже когда возник вдаль, на гребне холма, силуэт путника с кошелкой, он все еще пребывал в хорошем настроении, хотя, правда, какие-то недобрые предчувствия уже начали тревожить его. Он стал все чаще и чаще поглядывать туда, вдаль, лениво гадая про себя, кто бы это мог быть, и по мере того как путник приближался, у Мирчи ни с того ни с сего, как у ребенка, начало портиться настроение. Хотя, подумал Мирча, это не в первый раз, это случилось с ним

всегда, когда его навещали близкие. Бог его знает — то ли он так стосковался по раскинувшейся недалеко за холмами деревушке, что считал про себя дни, когда ему доведется свидеться с ней, но вот несут еду и свежее белье, и значит, снова, в который раз, придется отложить свое возвращение; то ли он проклинал свою судьбу и эту удушливую пыль, которую ему приходится глотать, в то время как другие вот так, запросто, гуляют, а может, ни с того ни с сего разобидевшись, он этим как бы давал понять, до чего труден и горек хлеб тракториста.

Но пахота уже шла к концу, и вот шестилемешный плуг прошелся в последний раз, игриво, запросто проглатывая узенькую полоску оставшейся стерни, и на весь край единовластно установилось царство перепаханного чернозема. Затем трактор вышел из борозды, стал спускаться по выгоревшему, выпасенному пастбищу и впервые сумел оторваться от преследовавшей его тучи пыли. Какая тут, на свободе, была благодать — жить да жить! Трактор остановился на пригорке и умолк, чуть накренившись к руслу пересохшей речки, точно его изводила жажда и он пал, не сумев преодолеть последние метры. О том, что речка давно пересохла, трактору, конечно, неоткуда было знать.

Мирча устало, по-бабья как-то сполз с машины, прошелся промасленными руками по пыльному комбинезону, точно проверял, все ли части тела на месте, после чего нехотя зашагал к молодой раките, под которой стояла кошелка с едой. Он шел с низко опущенной головой, ни на что не глядя, и было странно, когда он издали заговорил с Карабушем — странно было потому, что в самом деле, откуда он мог знать, ни разу не взглянув в ту сторону, что там, под ракитой, стоит человек. Вместо обычного приветствия Мирча спросил то, что обычно молдаване, встречаясь, спрашивают друг у друга.

— Че май фачь? Что поделываем?

Онаке улыбнулся виноватой улыбкой человека, который, несколько заленившись, встречает односельчанина, изведенного усталостью.

— Да как тебе сказать... Жарко очень, а когда жарко, то дела делами, а в холодок таки тянет. Думал, тут, в Хыртопах, попрохладнее, да где там!

— Нашли где холодок искать.

Добравшись до ракиты, Мирча опустился рядом с кошелкой и, медленно поднимая голову, точно она у него болела, в первый раз взглянул на своего тестя.

— Чего это вы так нарядились? Праздник, что ли, там в деревне?

Онаке сдвинул шляпу на глаза — остер же на язык этот его зятек, ну да пускай, он, когда злится, становится умнее и даже лучше выглядит.

— Насчет праздников не знаю, я за ними не гонюсь и счет им не веду, а принарядиться пужда заставила. Тот младший Цурдуре еще с позапрошлого года должен мне немного денег, и сколько я ему ни напоминаю — никакого толку. А прошлым месяцем встречаю его — парень куда-то спешит, а из кармана выглядывает машинка для стрижки. «Куда это ты идешь?»

— Вы его спросили?

— Я его спросил. «Попросил тут один прийти постричь».

— Он вам в ответ?

— Он мне в ответ. «А ты, — говорю, — умеешь стричь?» — «Умею», — говорит. «Так почему же не зайдешь к старику, все равно ты мне должен, а деньги у тебя, вижу, так и не заведутся». Сказал, и теперь сам не рад — каждую субботу приходит он с машинкой, так что волей-неволей, а до Нового года буду ходить женихом. Что до пиджака, то старый совсем износился, особенно рукава, и когда выхожу из дому, то, хочешь не хочешь, приходится щеголять в новом.

Мирча примерил горести старика к своим горестям и сказал:

— Смотрите не вздумайте выбросить тот старый пиджак. Может, еще придет время, что я куплю его у вас.

Онаке приподнял брови в знак большого удивления.

— Зачем тебе тратиться, когда ты его так или иначе унаследуешь. Другой родни у меня нет.

Мирча улыбнулся.

— Пока я унаследую ваш пиджак, как бы я сам не оставил вам свой комбинезон. У меня тоже другой родни нет.

— А он разве не казенный? Комбинезон-то.

— Был казенный, теперь мой. Высчитали из полочки.

— Гм! И сколько они за него содрали?

— Да не очень много. Пятьдесят рублей.

Онаке подошел ближе, словно хотел выяснить, не надула ли казна его зятя.

— Послушай, Мирча! Я давно собирался спросить, да все стеснялся. Когда человек ходит в таком халате,

без ремня и без ширинки, а ему нужно по своим надобностям, то тогда как?

— Сказать по правде, когда надеваешь комбинезон, уже ничего и не хочется.

— Ну! Если так, он мне ни к чему. Я человек живой и, пока не положат в гроб, хочу остаться при своих грехах.

Мирча, улыбнувшись, покачал головой в том смысле, что, дескать, не зарекайтесь. Взял к себе на колени, точно малого ребенка, присланную из дому кошелку. Посидел некоторое время, вдыхая в себя запахи вкусного обеда и еще тот неуловимый аромат, которым был наполнен весь его дом и все, что было в том доме. Коротко, светло улыбнулся.

— А и правда, как там мои поживают?

— Что им! Бегают. Дети бегают оттого, что они дети. Нуца бегают потому, что уже взрослая и забот много. А так здоровы, слава богу.

— Еще бы. При таких-то бегах!

Мирча снял полотенце, которым была прикрыта кошелка, постелил его на травке, рядом с ботинками стоящего Карабуша.

— Садитесь. Тут, кажется, есть бутылка с самогоном.

— Спасибо, я уже обедал. Нуца накормила хорошим борщом, иначе пустился бы я голодный в такую даль!

— И самогоном угостила?

— Само собой.

Мирча порывлся в кошелку, прикидывая, с чего бы начать. Достал половину большого, домашней выпечки серого хлеба, спичечный коробок с солью. Положил все это на полотенце и призадумался. Вкусного было много, и голоден он был невероятно, но есть не хотелось. Вид выжженного пастбища укачал его, и голод исчез — осталось только ощущение огромной усталости. Слегка кружилась голова, земля скрипела на зубах, покрасневшие от пыли глаза слипались, больно было их закрывать и больно было смотреть ими.

«Для начала, — подумал Мирча, — не мешало бы отдохнуть, поостыть».

«Хочешь прилечь?» — спросил глазами старик.

«Хорошо бы, да ведь как тут ляжешь...» — ответили Мирчины глаза.

«То есть ты не знаешь, как лечь? — удивился старик. — Это же очень просто: ложишься, и дело с концом».

«А как же трактор? Что с ним станется, пока я буду лежать?»

«Трактор нужно послать подальше, и к тому времени, когда ты встанешь отдохнувший, и он вернется, передав всю свою родню».

«Разве что», — улыбулись глаза Мирчи.

Положил рядом кошелку, так, чтобы, когда понадобится, была под рукой, прилег. Но что-то ему было не по себе. Беспокоила тишина — что-то подозрительно тихо было вокруг. И он снова встал, и долго недоумевающе смотрел на свой трактор, и все никак не мог сообразить, что случилось, отчего машина умолкла. Тем не менее она молчала, и он понял и примирился с этим, а некоторое время спустя начал стихать и тот, другой трактор, стучащий месяцами в его висках. Избавившись от них обоих, Мирча весь как-то обмяк, ослаб, покрылся испариной. Растянулся на выпасенном лугу рядом с полотенцем, закрыл покрасневшие глаза и как-то по-детски сладко утих, и было все спокойно вокруг, только ветер мягко трепал жиденькую листву молодых раки.

Присев молча рядом, Карабуш принялся украдкой разглядывать своего зятя. Из-под толстого слоя пыли, из-под маслянистых пятен выглядывало изможденное, соохшееся, как у мумии, лицо. Глаза глубоко запали в глазницах, волосы, слипшись, выпалили пучками, так и не расклеиваясь, отчего и лысина на голове зятя выглядела странной, похожей на заплату. Дыхание его было коротким, слабым, казалось, что он и вовсе не дышит. И Карабушу пришла нелепая мысль: что, если его зять, лежа так на травке, умрет? Он содрогнулся, уже не мог видеть, как зять лежит и не дышит. Отвернулся, стал смотреть в другую сторону.

Они долго молчали, потом с севера, со стороны Бельц, показался паровоз. Сначала он подкрадывался тихо и незаметно, потом вдруг обрушился на тихие поля тяжелым грохотом металла. Оглушил, ослепил все на своем пути и тут же исчез. Онаке, хоть и заметил паровоз заранее и видел, как он подкрадывается, тем не менее вздрогнул от неожиданности, но Мирча продолжала лежать неподвижно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и Карабуш подумал: как не по-человечески измотал себя его зять. И еще он подумал: как хорошо, что поезда ходят по заранее установленному пути, иначе сколько бы народу они передавили!

Время было уже далеко после полудня. Жара начала

наконец спадать, далеко на западе забелели тучи, подул слабый ветерок, и поля свежо, по-осеннему задышали. Мирча лежал на спине, и казалось, что вместе с раскинувшимися вокруг полями остывает и он. Дыхание как-то начало выравниваться, входило в свой ритм. Карабушу одно время показалось даже, что зять уснул. Стараясь не потревожить его сон, он сидел тихо и от этой вынужденной неподвижности задумался о чем-то сложном, давно пережитом. Вспоминалось почему-то все, что было в его жизни трудного, неприятного. И как-то незаметно для самого себя он горько-прегорько вздохнул, вздохнул тем тяжелым, полным душевных мук стоном, каким чутуряне обычно балуют себя только в редкие минуты полного одиночества.

— Чего это вы так убиваетесь, отец?

Карабуш вздрогнул от неожиданности. Он не нашелся что ответить, а может, нарочно не ответил, потому что какой там разговор может завязаться между бодрствующим и дремлющим? Но, с другой стороны, он обрадовался, что зять не спит. Эти воспоминания разбередили всю его душу, многие забытые раны снова начали кровоточить, и ему очень нужен был рядом хороший, близкий человек.

— Повнимаешь, странное дело! Каждый раз, когда пападаю сюда, в Хыртопы, становится мне горько, прямо хоть волком вой!

— Гектаров своих, что ли, жалко?

Карабуш быстро, удивленно повернулся к Мирче, точно не ожидал от него такого вопроса. Это мог спросить председатель колхоза, начальник какой из района, но чтобы родной зять! Хотя человек, промаявшийся четыре года в поле, может спросить и не такое.

— Нет, я по гектарам никогда не сходил с ума. К тому же полученный мною от отца гектар был возле леса; эти два гектара я получил при наделах. Одна власть дала их, другой власти я их вернул. Бог с ними.

— Отчего же вам тогда горько?

— Бог его знает. Я думаю, все из-за того горького пырея, хоть он, сволочь, и сладковат на вкус. Даже говорили, в какой-то стране из него водку гонят.

При всей своей усталости Мирча все же удивился:

— Чего-чего? О каком это вы пырее?

— А то ты не знаешь, что мои хыртопские гектары проросли насквозь пыреем. Что ж, — добавил он некоторое время спустя, — ты мог и позабыть. Как женился,

так и подался — сначала в румынскую, потом в русскую армию. А мы с Нуцей и Тинкуцей много лет подряд, проклиная свою жизнь, с утра до вечера били тяпками, а вокруг одни белые шпагаты, одна пенька. По вечерам, идешь, бывало, домой как пьяный, рук до плеч не чувствуешь. Думаешь, вот завтра встанем пораньше, может, одолеем, а завтра то же самое, и все зря, все без толку. Живуч, зараза. Кажется, учитель рассказывал, что, если вытащить из земли одну пыреинку, и повесить ее под стрехой у себя дома, и оставить ее там восемь лет, в морозы, в жару и дождь, а потом снова посадить, она ведь, сволочь, снова зазеленеет, и пустит корни, и всю влагу из-под посевов высосет!

Карабуш умолк, но вид у него был злой, свирепый, точно и теперь, в эту минуту, он видел перед собой свое поле, испоганенное пыреем. Потом, резко повернув голову в сторону, чтобы не видеть это жуткое зрелище, добавил:

— И как я мечтал, как мне хотелось вырастить пару хороших лошадок, купить новый плуг, выйти в поле с сыновьями вот так в августе и перепахать все. Перевернуть тот пырей корнями на солнце, чтобы он весь выгорел, потом забороновать землю три, четыре, пять раз подряд, собрать скирду этих белых шпагатов и спалить. Спалить ночью, чтоб во всей степи видно было! — Он умолк, опустил голову, и совсем тихо добавил: — Не довелось. Пока суд да дело, пришла война, а там начались колхозы. Забрали и землю, и плуги, и пырей.

— То есть как, и пырей забрали?!

— Как же! Забрали все.

Мирча рассмеялся — он уже давно не смеялся, и это показалось ему чем-то очень новым и приятным.

— Потешный вы человек, отец. Первый раз слышу, чтобы человек жаловался, что у него пырей забрали в колхоз.

Онаке почувствовал себя задетым:

— А вот мне жалко! Не столько земли, не столько плуга, сколько пырея того жалко.

— Да это же одна смехота! — сказал Мирча. — Вы же только что говорили, что мечтали вывести весь пырей и спалить!

— Говорил.

— Ну так в чем дело! Пошли вот нарочно по вспашке, и если найдете хоть одну пыреинку, будь я проклят, если не спалю на ваших глазах трактор.

— А, нет! Тут уже мы с тобой говорим о разном. Понимаешь, я поседел из-за того пырея, и я должен был вывести его. Он у меня полжизни отнял, и я должен был его вывести и спалить сам. Я — и никто другой.

— Да бросьте вы, как будто так уж важно — сами вы его вывели или кто другой!

Старик усмехнулся:

— Что ты, Мирча! Это очень важно, это, может быть, самое важное в жизни. Если бы мне это удалось, я был бы счастлив, я мог бы после этого спокойно лечь в гроб. Это же очень важно — сам ты за себя отомстил или другие это сделали за тебя. Если другие — тогда не надо. Ты верни мне моего врага, поставь его тут перед моими глазами, потому что враг мой есть часть меня, часть моей судьбы, а судьбу в чужие руки не отдают.

— Не вам, отец, жаловаться. Вы бы вместо этого собрали нас, трактористов, и хорошо угостили за то, что вывели вам пырей.

Онаке улыбнулся — а этот Мирча и вправду не дурак.

— Ничего, вас и так хорошо отблагодарили за ту работу.

— Кто же нас благодарил?

— Казна.

Мирча по-прежнему лежал неподвижно, с закрытыми глазами, и только на его правой щеке вдруг выскочила тоненькая алая полоска, точно кто-то острым кончиком плети с размаху достал его. Как странно! Оказывается, простым людям, его друзьям и близким, всем тем, ради кого он годами трудился тут в поле, — им ничего этого не нужно. И когда судьба ненароком занесет их сюда, они не видят перед собой сотен гектаров перепаханного поля, они, чудачки, тоскуют по тем пожарам, которые не состоялись и которых быть не могло.

Вздохнув, он рывком приподнялся, долго и тупо озираясь, точно за то время, пока лежал и болтал со стариком, все четыре стороны света переместились, и теперь они находились совсем не там, где он думал. Уяснив себе, что и как, он снова лег и, болезненно поморщившись, закрыл глаза.

Карабун, почувствовав себя неловко, начал длинный разговор о своей жизни, о жизни многих других людей, которых он знал. Убаюканный тихим, мирным журчанием его речи, Мирча наконец уснул. Часа два старик проторчал рядом, дожидаясь, пока зять проснется, но Мирча все не просыпался, а солнце уже клонилось к закату.

Онаке достал из кошелки бутылку с самогонкой, выпил из горлышка ту часть, которой зять должен был угостить его, не будь Мирча таким измотанным. Закусил мало-сольным огурчиком, затем, поставив все на место и накрыв кошелку полотенцем, поднялся и медленно побрел к деревне.

А Мирча все спал. Он спал тяжелым сном пшеничного колоса, у которого обломился стебель, осыпались зерна, ветер погнал его, пустого, по полям, пока дожди не догнали и не вбили намертво в тяжелый пласт придорожья. Он лежал, охваченный неподвижностью межевого каменного столба, который за ненадобностью выкорчевали и выбросили в пустой овраг; он спал, припав всем горем своим к земле, как спит обычно пастушок, у которого сбежали овечки, — долго он бегал по полям, и плакал, и звал их, но вот настигла усталость, свалила с ног, и он уснул.

Снились ему, должно быть, натуженный рокот трактора, тяжелые борозды чернозема, перепаханные холмы и долины. Он, верно, и во сне трудился. Может, пахал, а может, бросил трактор в борозде и пошел по полям разыскивать диковинные и редчайшие зернышки счастья. Он, это правда, никогда никому не жаловался, что у него совсем нету этого счастья. Но что с того! Кто может сказать, что он знает всю правду о человеке? Знать все до конца невозможно, потому что, как бы хорошо ни было видно со стороны, как бы искренне ни исповедовался человек, еще больше того, что могут поведать о нем другие, и еще больше того, что сможет рассказать он сам о себе, останется тайной.

Этим мир велик, и этим жизнь бессмертна. Хотя, конечно же, со стороны все выглядит просто. Человек пашет на тракторе. Кто узнает — поздоровается, кто спешит — пойдет своей дорогой, и никому невдомек, какие тяжелые битвы разыгрывались здесь, в открытой степи, между одиноким усталым трактористом и его судьбой. Никто не считал и никогда не сосчитает, сколько смертельных ударов наносила то одна, то другая сторона, сколько раз побежденный сдавался на милость врагу и, в тиши зализав раны, завязывал новый бой.

Теперь все стихло. Человек лежит разбитый, припав своей болью к земле, но битва еще не окончена. Упал сраженный человек, сдало его брэнное земное тело, но

человек — это не только тело, это еще и душа. И неважно, что мы уже много тысяч лет ищем ее и не находим, просто это такое удивительное явление, что мы не можем охватить разумом, не можем рассказать о ней словами. Необходимость в ней мы чувствуем все время, и в каждом человеке ищем ее, и содрогаясь, когда не находим там, где она должна бы быть.

У Мирчи была душа и был свой внутренний мир. Он собирал его крупичками, всю жизнь. Он брал все, что ему нравилось, и никогда не задумывался — мало ли, много ли там у него, но теперь, в сорок лет, оказавшись одиноким в поле, он впервые начал перебирать и ахнул от удивления. Боже мой, чего там только не было! Были красивые, пронизывающие до острой боли закаты, были мягкие, певучие обороты родной речи, были песни, вернее, те мотивы, которые обычно возникают обрывками из сплошной вереницы забот, было много не то приснившейся, не то подсмотренной украдкой пьянящей женской красоты; были молодость, и устало-весомые будни, и ослепительные праздники. Но, конечно, самое главное его богатство — это Чутура, та масса людей, среди которых он родился и рос. Чутура всегда поражала его бесконечным людским разнообразием, он всегда находил в этом море своего бога, которому втайне поклонялся. Пока он был маленьким, в его душе царствовал образ матери. Потом рядом с ней вырос смуглый учитель Микулеску. Подростком Мирча подражал ловким, остроумным соседям, в армии долгие годы был под влиянием отца, а демобилизовавшись, много лет жил памятью фронтовых товарищей.

А жизнь шла, менялся окружающий мир, менялся соответственно с ним и тот мир, который копил и носил в себе Мирча Морару. В этом большом мире люди рождались и умирали — уходили они и приходили и в том маленьком мире. Эти перемены происходили как-то сами собой, по тем же законам, по которым ночь сменяется утром, но — странное дело! — как бы и что бы ни менялось, в душе Мирчи был еще один человек, который занимал особое, ему одному предназначенное место. Это был, конечно, Онаке Карабуш. Этот хитрый чутурянин каким-то образом завладел всем существом Мирчи давно, очень давно, когда Мирча был еще подростком, а Онаке выходил по вечерам к калитке рассказывать всякие небылицы. Мирча как-то сразу почувствовал в Карабуше скрытую силу, слепо подчинился этой силе и еще задол-

го до того, как приглянулся Нуце, он мечтал расположить к себе самого Карабуша.

Потом прошло много лет, Мирча рос и мужал и уже иначе стал смотреть на мир и на людей, но Карабуш продолжал оставаться с ним, так что одно время Мирча стал удивляться: что пристал к нему этот человек? Учить других уму-разуму Карабуш не любил и никогда ничего не советовал — ни хорошего, ни плохого. В военных делах он был не силен, в тракторах ровным счетом ничего не смыслил, политики, хоть и имел о ней свое суждение, предпочитал не касаться, подозревая, что это занятие к добру не приводит. И при всем этом он твердо стоял на своем и не отпускал Мирчу. Уже много изменилось в том мире, который Мирча носил с собой: умерли родители, где-то в Румынии затерялись следы его учителя Микулеску, оступели некогда остроумные соседи, начали распыляться в туманах памяти фронтовые друзья, но Карабуш упорно оставался с ним.

И они как-то оба сжились — они стали одним целым. Они одной парой глаз смотрели на мир, одним разумом мыслили, теперь вот вместе пахали трактором и уже несколько лет кормили деревню. Им обоим осточертело это поле и солярка, оба прихворнули и стали подумывать об одном враче, проживающем в Бельцах, который хоть и любил, как говорили, деньги, но дело свое знал. И даже в тот день, когда Мирча заканчивал пахоту, а на горизонте вырос силуэт человека с кошелкой, они продолжали мирно беседовать меж собой, получая при этом большое удовольствие от общения друг с другом. Но вот появившийся на горизонте человек с кошелкой стал приближаться, и у Мирчи как-то похолодело нутро и оборвалось что-то. Он еще не знал, кто тот дальний прохожий, и куда держит путь, и что несет в своей кошелке, но его поразила схожесть, они слишком были похожи, тот старик на горизонте и этот, с которым Мирча беседовал.

— Ну-ну? И что же потом? Вы начали рассказывать...

Мирча спешил увлечь своего старика разговорами, но было уже поздно, старик увидел путника на горизонте. Им нельзя было встретиться, их невозможно было вместе свести, потому что старик, придуманный Мирчей, был измотан и одинок, как и он сам, в то время как старик на горизонте был еще полон сил. И так уж устроено в мире, что слабый уступает место сильному. Только проведив друга своего долгого одиночества, Мирча вдруг по-

нял, как он слаб, если в мыслях своих он придумывает таких же измотанных людей.

А Карабуш все шел размеренным, вольным шагом, и Мирча вдруг почувствовал дикую зависть к его здоровому и прочному началу. Ему захотелось любой ценой отнять у тестя вот эту самую жизнестойкость, он поклялся, что сделает все, лишь бы уйти из мира этой оглушительной гари и вернуть себя в мир спокойных, умеренных, жизнестойких людей.

И вот наконец трактор умолк. Мирча сполз с него и направился к молодой ракете. У него в самом деле болели глаза от пыли, но, конечно, не до такой степени, чтобы ни разу не взглянуть на человека, который навестил его. Просто он приметил издали, еще когда тот был на горизонте, что направляющийся к нему Карабуш выглядит намного лучше того старика, который помогал ему тут, в поле. Этого-то Мирча и не мог простить своему тестю. Подошел, сел. Они, кажется, о чем-то говорили, но Мирча плохо вникал в суть разговора, ему все было как-то безразлично, и в конце концов он уснул. Уснул тяжелым сном пустого пшеничного колоса, сном неподвижного каменного столба, сном убитого горем пастушонка.

Спал он долго, пока около полуночи не разбудил его товарняк. Проснувшись, он зябко поежился, удивленно проводил взглядом медленно удаляющуюся красную лампочку, припечатанную к последнему вагону товарняка, и все ему было не по себе; так чувствуют себя обычно люди, уснувшие помимо воли и проснувшиеся тоже некстати. И вдруг в этой туманной неопределенности стала пробиваться мысль, и эта удивительная мысль осветила все и принесла ему такой душевный покой, какого он давно не знал. Оказывается, все было просто. Нужно было смириться, нужно было принимать жизнь такой, какой она была. Эта простая до удивления мысль поставила все на свои места, и Мирча улыбнулся, улыбнулся просто так, от хорошего настроения. Потом, вспомнив нечто очень тяжелое и трудное, что долго мучило его, сказал тихо, про себя:

— Как глупо все это было...

Кругом стояла глубокая ночь. Степь дышала сыростью, огромные дали мягко перекачивали таинственный ночной гул, и было немного жутко от сознания своего одиночества. Мирча принялся было по звездам прикидывать, сколько еще до утра, но приметы, которые он когда-то знал, давно выветрились из его головы. И все-таки

он чувствовал себя хорошо, и то новое убеждение, которое к нему пришло, и эта ночь, и звезды будили в нем огромную жажду жизни. Мера — вот что было им утеряно и что ему принес Карабуш в своей кошелке. Две тысячи оборотов в минуту — это хорошо для трактора. Для человека это плохо. Эти мысли, по правде, и раньше его посещали, но все было недосуг додумать их до конца. Работы было много. Наконец теперь вспашка завершена, и эти мысли вмиг превратились в твердое убеждение, и особенно приятно было, что пришло это убеждение, пока он спал, то есть как бы без него. Теперь ему было покойно и показалась бесконечно прекрасной лежащая кругом степь и эта ночь в степи, и он подумал, что если другого пути нету к тому, к чему он пришел, то, стало быть, шел он не зря.

И вот настал день, когда Мирча простился с трактором и пошел по полям, напрямик к своей родной Чутуре. Раньше, когда ему случалось возвращаться, он заворачивал к какому-нибудь роднику или ручейку и песком, глиной, мелким гравием казнил себя, стараясь смыть, насколько это было возможно, маслянистую грязь с рук, с лица. Это не всегда ему удавалось, но даже когда он казнил себя до последнего и из тракториста ему удавалось превратиться в обыкновенного колхозника, он все равно возвращался домой круглым путем, обходя деревню, чтобы, как говорил он, не перепугать малых ребятшек.

На этот раз, хотя его трудолюбивые ноги по старой привычке заворачивали ко всем ручейкам и родникам, попадавшимся на пути, Мирча проходил мимо, не останавливаясь. Ему вдруг захотелось предстать перед людьми, каким он был на самом деле, каким он сам себя видел все эти годы, каким только что слез с трактора. Это была правда, а правда не может быть отталкивающей. И он шел к деревне в своем промасленном насквозь комбинезоне с огромными, до колен, карманами, разорванными гаечными ключами.

Впервые после долгих лет он возвращался по самой большой улице села. Он вдруг вспомнил, как несколько лет тому назад уходил по утрам этой дорогой — спешил на курсы трактористов. Теперь вот возвращался. Отслужил свое. Это, видимо, и называется жить — то уходишь, то возвращаешься. Шел он медленно, чтобы дать всем встречным разглядеть его, чтобы Чутура наряду с Мир-

чей-подростком, вместе с Мирчей-солдатом запомнила бы и Мирчу-тракториста.

Он шел медленно и все оглядывался и удивлялся без конца. В те тяжелые и трудные годы, когда он выводил пырей и засеивал чутурские поля, здесь жизнь шла своим чередом; люди подрастали, и влюблялись, и справляли свадьбы, и строили дома, и теперь много новых красивых домиков выбегали ему навстречу и замирали, нарядные и уютные, по обеим сторонам дороги. Мирча еще не знал, чьи это дома и когда и каким образом они строились, но он не снесил — угадывать самому эти подробности всегда было для него приятнейшим делом. Ему даже стало завидно, и он подумывал о том, что не худо бы и им с Нуцей построиться заново, чтобы тоже так — когда вернется какой-нибудь запоздалый чудак, не знал, чей это дом, и чтобы потом, угадав, обрадовался.

По дороге шли люди. Они здоровались, он отвечал, но уже плохо помнил их. Давешняя молодежь теперь возмужала, у ровесников Мирчи появилась седина, а детворы кругом видимо-невидимо. Тут и своих спутаешь, не то чтобы чужих еще узнавать. Кругом шептались молодые, в буйной зелени сады. Он не знал, и ему почему-то домашние не говорили, что так много садов в деревне. Он радовался им и наслаждался их мягким вечерним шелестом, и было только немного обидно при мысли, что в те жаркие дни, когда разгоряченная соляркой и солнцем машина обжигала, с какой стороны к ней ни подойти, в те дни, когда пересыхало горло и трескались губы, в этих садах было прохладно и зрели фрукты...

Нуца только что успела подмести двор, когда он открыл калитку. Был субботний день, и по субботам Нуца подметала двор. Теперь она стояла с метелкой, удивленная, обрадованная, несколько даже растерянная его приходом. В долгие недели ожидания она по старой привычке заранее готовила те несколько слов, которыми нужно встретить мужа. Иногда эти слова были подобраны игриво, с юмором, но он все не возвращался, и она их перестраивала, и они становились колкими, а его не было, и она его прощала и готовила слова добрые, ласковые. Теперь, как назло, у нее ничего не было наготове, и, глядя, как он стоит у калитки, спросила с некоторым торжеством:

— Вырвался-таки?

И Мирча, устало улыбаясь, признался:

— Вырвался.

Перед домом, рядом с крыльцом, не по-летнему сочно зеленел густой пяточок подорожника. Нуца каждый раз, когда шла по воду, сливала остатки из ведра на этот пяточок. Мирча этого не делал, он сливал воду дальше, под молодые яблони. Яблони захирели, а подорожник разошелся вовсю, и, глядя на эту высокую, густую траву, он понял вдруг, как давно не было его дома. И от сознания этой давности он вдруг вмиг устал, уже не было сил даже войти в дом, и он тут же опустился, сел на эту зеленую травку.

Румяная и счастливая Нуца подошла тихо, покорно села рядом с ним. А тем временем по деревне уже шли слухи о его возвращении, и откуда-то прибегали дети и по примеру своей матери тоже садились на тот клочок зеленой травки рядом с Мирчей. Сидели тихо, застенчиво, друг возле друга. Это был их главный праздник, они собирались вместе. Они сидели, точно их рассадил своей рукой сельский фотограф — теперь у него что-то там не ладится в аппарате, а они сидят тихо и ждут, когда их сфотографируют.

После долгого знойного дня небо начало опускаться мягкой, синей, сумрачной прохладой над деревней, и только где-то очень далеко на западе пылал огромный огненный пояс, охвативший весь закат. Из-под этого огненного пояса выглядывали в праздничном золотистом освещении заходящего солнца стениные деревушки, поля, окраины леса, но все это казалось каким-то другим миром, точно было в сказке или во сне. Такой вот закат Мирча себе представлял когда-то давным-давно в детстве, когда школьный хор пел, как ему казалось, удивительно красивую песню о закате. Мирча, хоть и был тогда хористом, забыл ее начисто и очень жалел об этом, но теперь вместе с этим огненным поясом и золотистой стенью в его душе вдруг ожили и мелодия и строчки:

День на западе  
Угас.  
Спят холмы,  
И долины  
Уснули  
В тиши.  
Мир вокруг,  
И покой,  
И всевышний над нами.

А Нуца, сидя рядом, думала в это время о своей матери. Когда была еще совсем маленькой, она часто спрашивала свою мать, что же там находится, за этой синью,

на небесах. Тинкуца рассказывала шепотом, что туда собираются души усопших. Сразу после похорон, говорила она, души покойников остаются еще некоторое время среди родных, и только после того, как они все уладят, все устроят, всех помирят, только после этого, простившись с родными, в один хороший тихий вечер души эти возносятся на небеса.

Теперь, сидя рядом с Мирчей, Нуца почему-то подумала, что, вероятно, в этот вечер уходила навсегда, навсегда душа покойной ее матери. Она, верно, задержалась дольше других, потому что время было трудное, а судьбы ее близких были сложны и запутанны. Но вот наконец она все уладила, все устроила и теперь пробирается сквозь этот огненный пояс. И было Нуце горько до слез, и вместе с тем была она бесконечно горда, что такое скромное и тихое существо, такая маленькая, незаметная женщина, духом своим оторвавшись от земли, пробиралась сквозь эти сказочные высоты, направляясь в ту великую страну, которую мы называем Вечностью.

## БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Чутура, к своему великому удивлению, узнала, что Мирча Морару, на роду которого было написано управлять машинами, вернулся к профессии своих дедов и прадедов. Чутурянам и верилось и не верилось. Они приходили смотреть, как руки, умеющие управлять огромной машиной, теперь перекрывают соломой курятник; они становились свидетелями того, как человек, понимающий толк в двигателях внутреннего сгорания, выпрямляет ржавые гвоздики. А ведь за тот день, что провозился с теми гвоздиками, он смог бы мешок зерна заработать!

— Тебе, Мирча, должно, осточертело там в поле?

— Осточертело.

— А с трактором как? Передал его другим или вернул казне?

— Вернул.

— И у тебя есть документ с подписями, с печатями?

— Есть.

— Смотри не пожалей потом.

— А с чего это я стану жалеть?

— Да ведь там, на том тракторе, хоть и тарахтит он, как в преисподней, зато заработать можно. А рядовой колхозник, бывает, намотается до одури, а что толку?

— Да бог с ними, с заработками, лишь бы тихо было.

— Какая тишина, о чем ты говоришь! Иной бригадир так разоидется, что хуже всякого трактора.

— А вы перекройте ему питание, и он тут же умолкнет.

Отсмеявшись, Мирча возвращался к своим домашним заботам, ибо нравились ему эти мелкие дела по хозяйству, как никогда ничто не нравилось. Вместе с этой мелкой возней по хозяйству в нем начали просыпаться какие-то утерянные навыки земного труженика, привыкшего все делать своими руками. А следом за этими навыками начали возвращаться какие-то старые затеи и некоторые крупицы энергии, чтобы при случае можно было эти затеи осуществить. По вечерам приходили соседи, приходил старик Онаке, они долго перебирали местные новости, судачили о том о сем. Постепенно он начал приходить в себя. Месяца через два, уже поздней осенью, он совсем поправился, и Нуца стала намекать, что пора бы ему пристроиться к какому-нибудь делу. А куда деть себя, он не знал. Приниматься за что-нибудь, лишь бы заработать кусок хлеба, ему не хотелось.

«А интересно бы разнюхать, что там у них варится?»

Рядовому чутурянину в принципе чуждо слепое стремление к власти, но его всегда донимало любопытство — почему, кем, каким образом осуществляется эта власть? Понять эту механику, будучи жителем Сорокской степи, то есть того самого края, который, по словам летописца, лежит на пути всех бед, было не так-то просто, но вот с созданием колхозов таинственный механизм управления был извлечен на свет божий, и ахнули чутуряне — боже, до чего все просто, до чего все забавно! Особенно забавного было много, потому что с созданием колхозов начались ежевечерние знаменитые, рассчитанные на всю ночь совещания, именуемые нарядами. В них участвовала масса народу — одни засиживались по долгу службы, другие приходили просто поглазеть, причем глазеть собиралось втрое больше, чем могло вместить правление, и поэтому наиболее любознательные старались прийти заранее, занять удобные места вдоль стен, в коридорах, в проходах.

Начинались эти наряды рано, едва успевало стемнеть. Самое главное действующее лицо, председатель колхоза, садился за большим столом на самом почетном месте. По правую и по левую руку усаживались согласно важности занимаемых должностей бригадиры, активисты, и представление начиналось. В большом хозяйстве было много разных неурядиц, и обсуждали все навалом: чем кормить коров, откуда достать десять тысяч рублей, какой сорт кукурузы посеять и где именно сеять ее. Но самое интересное в этих вечерах было другое. Власть. И эта власть была переменчива, как капризная девка, — сегодня она одному улыбается, завтра она уже у другого на коленях, и чутуряне собирались по вечерам, как на представление.

Мирча хоть и ломал голову над сущностью власти, но любил просиживать вечера в правлении. Идти туда ему мешало врожденное чувство деликатности. Лезть, куда тебя не звали, он попросту не мог, а получить приглашение было не так-то просто. Приглашенные на этих совещаниях пользовались особой репутацией — если кого из рядовых колхозников пригласили, это значило, что там, в таинственных глубинах правления, возникло благожелательное отношение к нему и теперь многое зависит от того, как тот человек сумеет себя поставить.

Что значит суметь себя поставить — на этот счет у чутурян были свои догадки, но объяснить никто не брался. Мирчу еще до того, как он стал трактористом, несколько раз приглашали, но все было впустую, потому что «ставить себя» он не умел. Вернее, его подводил характер. Он не любил, когда его деликатно, одними намеками поправляли. Он хотел, чтобы все вещи назывались своими именами. Намеки его бесили, и, вбунтовавшись, он вдруг начинал делать противоположное тому, что от него требовалось. К тому же он не переносил табачного дыма, а на этих ежевечерних баталлиях курили так много, что закодился свет в керосиновых лампах.

Времена, однако, меняются. Проработав несколько лет трактористом, наглотавшись солярки, Мирча стал более терпимо относиться к табачному дыму, и даже его старое отвращение к намекам несколько притупилось. Теперь, когда жена начала наступать и действительно нужно было за что-то приниматься, он вспомнил, что есть еще одна служба в колхозе — быть приглашенным в правление на наряды. Он долго ждал, когда его снова пригласят, его

почему-то все не приглашали, и, поразмыслив, он решил пойти туда сам. Наступила зима, делать дома было нечего, а дремать по вечерам в правлении было хорошо и уютно.

Чтобы не особенно бросаться в глаза, он старался приходить туда не раньше и не позже других. Загонял в самый угол, плотно прислонив к стенке колченогий, пользовавшийся дурной славой стул, и много часов кряду просиживал не шелохнувшись. Из своего уголочка он следил за сладкими переливами подхалимских речей, удивлялся неожиданным колкостям зазнавшихся, запоминал все крупницы здравого смысла, и странное дело — по мере того как он во все вникал, в нем стал просыпаться буйный нрав предков. Это было замечено с явным одобрением, и начало складываться впечатление, что на этот раз его дела каким-то образом устроятся. И он таскался туда вечер за вечером, хотя Нуца эти хождения и не особенно нравились. Через несколько недель его фуфайка так пропиталась табачным дымом, что, когда он возвращался домой, Нуца кричала с печки, чтобы он снял ее и вынес в сенцы, потому что, говорила она, невозможно спать с ней в одной комнате. Если он медлил, она, ругаясь, сама выносила ее в сенцы. Если оскорбленный Мирча пытался принести ее обратно, Нуца встречала его свирепым взглядом, который можно было истолковать только одним способом: я или фуфайка! И Мирча уступал — ладно, в сенцах так в сенцах, а на следующий день, как только наступали сумерки, снова собирался в правление.

Ходить туда ему определенно нравилось. Он быстро смекнул, что к чему в этих представлениях, уловил все подспудные течения, сообразил, кто кого и почему поддерживает, кто кого не прочь бы утопить. Он ни во что не вмешивался — просто сидел, слушал и мотал на ус, а с середины зимы его опять стали приглашать. Любопытные чутуряне, собиравшиеся по вечерам в правление, снова гадали меж собой — сумеет Мирча на этот раз поставить себя или не сумеет? Они были готовы биться об заклад, что не сумеет, такова уж была его участь, так на роду ему было написано, но вдруг, к их великому изумлению, дело приняло другой оборот.

Колченогий стул вышел из своего укромного уголочка, с каждым вечером подбирался все ближе и ближе к большому столу, за которым решалась судьба Чутуры. И вот кто-то дал команду, стулья активистов потесни-

лись, и колченогий вместе со своим хозяином оказался у большого стола, покрытого красной тканью.

Из приглашенного Мирча незаметно как-то превратился в действующее лицо. Теперь и у него в правлении завелись приятели, которых нужно было поддерживать, были и подозрительные, с которыми нужно было держать ухо востро. Он стал быстро входить во вкус, выяснилось, что он далеко не глух, в карман за словом не лез, его поддержка считалась существенной, ну а подножками Морару издавна славились.

О Мирче вдруг заговорила вся Чутура. Он становился на глазах изумленных местных завистников загадочным счастливым. Потом власти стали испытывать его, посылая на самые трудные участки, — то он возглавлял отстающую бригаду, то ездил в Сибирь заготавливать лес для колхоза, то летал в Кишинев защищать интересы колхоза в какой-то тяжбе с авторемонтным заводом. Эти поездки ему нравились, он, что называется, умел делать дело, и вот наконец Мирча Морару, усталый, измотанный чугурский тракторист, выбрался на поверхность общественной жизни села. За один год построил себе большой дом с огромной, во всю длину дома, верандой, купил мотоцикл, и древний, почти вымерший род Морару теперь предстал перед Чутурой в новом облике.

Когда он оказался наверху, с ним, как, впрочем, и с другими счастливыми, выбравшимися на поверхность, начали происходить какие-то таинственные превращения. Обедал он, как и раньше, на ходу, не зная толком, что жует. Надевал что подвернется под руку, отшучивался за неимением времени старыми остротами, но теперь обеды ему вдруг пошли на пользу — он поправился, налился соком, и его мужские плечи отяжелели дремлющей в них силой. Старая, поношенная шляпа начала игриво как-то сползать на одну бровь, а его выдохшиеся шутки теперь пользовались огромной популярностью.

— Послушай, Мирча, и на когда ты наметил ту знаменитую гулянку?

— Какую гулянку?

— Так ты уже не помнишь?! А еще говорил — братцы, ей-же-ей...

— А, вот ты о чем!

Улыбнувшись старой задумке, помечтав про себя, Мирча обещал тихо, вполголоса:

— Ты не спеши, всему свое время. Дай выбраться

из этой толкучки, и настанет денек, соберемся вечерком и выкатим в середку бочонок.

— Целый бочонок?!

— А что такого?

— Так... Интересно. Смотри, меня не забудь пригласить!

— Что ты! Как можно!

— Ну, добро тогда. Будь здоров.

— Всего.

И расходились — кому влево, кому вправо.

Одновременно с появлением Мирчи на поверхности в Чутуре наступило небольшое оживление — некоторые из тех, кто в свое время сами были на коне, поспешили с советами, чтобы он смог избежать той участи, которой не сумели избежать они сами; те, которые прочно окопались на поверхности, радушно приняли его в свою среду; слов нет, было и много завистников, язвивших по этому поводу, но Чугура не придавала им никакого значения, оставаясь по-прежнему благожелательной к Мирчиному выдвижению. А что, после четырех лет мучений в поле дорвался до хорошей жизни — ну и молодчина, пускай пользуется, лишь бы не забыл устроить хорошую гулянку. А веселиться сам бог велел — испокон веков везучие обязаны закатить гулянку на утешение окружающим их неудачникам.

Устроить в Чутуре вечеринку было делом несложным. Важно было только подготовиться как следует и набраться терпения, потому что чутуряне, народ простой, бесхитростный, господь их разберет с чего, как только рассаживались за празднично убранном столом, становились такими капризными, что сладу с ними никакого. Есть они не едят, предоставляя хозяевам упражняться в приглашениях, улыбаются неохотно как-то, а с выпивкой устраивают такие концерты, что уму непостижимо. Те, которые уважают одну самогонку, любят, чтобы их изредка припугнули стаканчиком хорошего вина; признающие только сухое вино хотели бы временами возмутиться предложенной им стопочкой белоголовки, а чутурянки — те уж прямо доводили хозяев до белого каления. То их не оторвешь от бутылки со сладкой водичей, то они требуют чистого спирта. Самое сложное, однако, заключалось в том, что обо всех этих капризах не говорилось вслух, на них даже не принято было намекать, тут хозяева дома сами должны были до всего додуматься и предложить гостям то, чего им хочется,

причем сделать это погромче, так, чтобы все слышали, как гость еще раз отказался, но потом, изнемогая от приглашений, сдался.

Мирчу эта застольная дурь односельчан нисколько не смущала. Он сумел как-то приладиться к ней и даже считался в селе хорошим заводилой. После первой рюмки у него вдруг менялся характер, он становился веселым, остроумным, и гулянки, на которые их с Нуцей приглашали, удавались на славу. С некоторых пор от этих приглашений спасу не было, приглашали нарочно, чтобы вечеринка удалась, и они шли — Мирча с большой охотой, Нуца больше поневоле.

В Чутуре долго толковали, почему это Нуца ломается, когда ее приглашают на гулянки, и идет, точно ноги не свои. Кумушки судили и рядили, а для бедной Нуцы каждая новая гулянка — прямо нож в сердце. Самое обидное было то, что ее муж веселил чужих гостей, а вот чтобы собрать хороший народ в своем доме да повеселиться — это им почему-то никак не удавалось. Старые религиозные праздники теперь как-то отошли, если и справляли их, то старались делать это без шума, тихо, в кругу семьи. А новых праздников всего два — Май да Октябрь. В мае почти все зимние запасы выходят, а осенью что ни воскресенье, то свадьба, хочешь не хочешь, а молодые переманят гостей.

Но, конечно, это славное веселье в их доме должно было состояться. Жизнь в деревне трудная, будни и заботы идут сплошняком, им конца и края нет... Характер человеческий не выдерживает этой бесконечной однообразности, и вдруг он взрывается, и ни с того ни с сего закатывает такую гулянку, что о ней потом слагают легенды. Но хотя у молдаван это случается неожиданно, все же какая-то плановость, какая-то очередность существовала. Теперь очередь была за Мирчей, его богатому дому пришел черед закатить гулянку. Поспешность в этом деле губительна; Мирча долго и основательно к этой гулянке готовился — нужен был только предлог, и вот наконец случай представился. Человек дожид до хорошей жизни, и если и теперь в его доме не соберутся гости, то, значит, не собратся им уже во веки веков.

На его счастье, год выдался удачным — колхозники получили по два килограмма пшеницы на трудодень. Хлеб у чутурян водился еще и с прошлых лет, но они все ждали подвоха с нынешним урожаем, ходили мрачные, злые. Теперь Чутура успокоилась. Фрукты и овощи

уродились так, что девать их было некуда — скармливали скотине, и в полдень, в жару то тут, то там во дворах урчали откормленные хрюшки. Солнечных дней, правда, было маловато в том году — вино несколько кислило, но зато было его много. Что до самогогонки, то почти из каждой кухни просачивался тяжелый запах перебродившей свеклы — глубокий чугунок, спираль из медных трубочек, и все хорошо, все мило вокруг!

Но сложная, однако, вещь, это человеческое везение: то оно есть, то его нету. И Мирче Морару, как назло, под самый конец не повезло. Осень, сухая и теплая поначалу, вдруг обернулась частыми дождями. Уборка на полях шла трудно, с большими перебоями. Люди стали хмурыми, сварливыми. Потом, когда с уборкой дело как будто наладилось, новая беда — сбежала Нуца.

В Чутуре это часто бывало — если жене невмоготу, она убежала от мужа на какое-то время. В примирении супругов, как правило, охотно участвовала добрая половина села, и если им это удавалось, они получали огромное удовольствие. Но это бывало в основном с молодоженами. Нуца уже долгие годы покорно несла свой супружеский крест, никому ни на что не жалуясь. И вдруг — сбежала. Она даже не сбежала, а исчезла как-то неожиданно, как исчезает брошенный в пруд камень — короткий всплеск, несколько кружочков, потом вода расходится рябью, и ни следа, ни памяти.

Это была большая потеря для Чутуры, и, хотя дел было по горло, вдруг всем она понадобилась, все бросились ее искать. Справлялись о ней ее ровесницы и девчонки, которым она годилась в матери; спрашивали соседки и кумушки с другой окраины, видевшие ее раз в полгода; разыскивало ее местное начальство и мужики, сроду никаких постов не занимавшие.

Станным было то, что, казалось, сама Нуца пребывает в большом недоумении, ей самой было интересно узнать, куда это она запропастилась. Она прожила в Чутуре все сорок лет до одного дня, и на этот раз, конечно, никуда не уезжала. Жила на той же улице, в том же домике, с тем же мужем. Как и раньше, она просыпалась чуть свет, и весь ее домик закручивался бешеной каруселью — она стирала, мыла, готовила, подметала, отчитывала и одновременно ласкала свое семейство с таким расчетом, чтобы до самого вечера хватило в ее до-

ме чистоты, ласки и здравого смысла. Потом она уходила в поле, трудилась теми же двумя с детства знакомыми руками, засчитывали ей трудодни в тех же замусоленных бригадирских книжечках. Вечером, возвращаясь домой, еще издали, не успев дойти до своих ворот, она заводила новую, вечернюю, карусель — мыла, стирала, готовила, отчитывала и ласкала свое семейство.

Но Чутура была не дура — она и сама умела не хуже ее заводить карусели. Чугуре интересно было докопаться, куда девалась та, другая Нуца, та бойкая, веселая насмешливая чутуранка, которая чуть свет будила своим звонким голосом всю окраину, которая еще на заре умела схватить голыми руками хрупкий, едва занявшийся денек и принимала его как радость, как великий божий дар. Чутура искала ту Нуцу, которая умела как никто другой найти в трудных обстоятельствах жизни то единственно важное и единственно нужное слово.

Вот той, другой Нуцы вдруг не стало, и, может, потому так встревожилась деревня, так забегала, так захотелось всем узнать, куда она девалась и когда вернется. А время шло, ее все не было, и казалось, сама Нуца тревожится, ей самой хочется узнать, когда же наконец...

— Бьюсь об заклад, что до самого Днестра не найти другой такой дуры, — сказал как-то Мирча после того, как его многочисленные попытки вернуть хозяйку в дом окончились неудачей. Теперь он был в отчаянии, и, обращаясь ко всем измученным главам семейств, к своим единомышленникам, которых, к сожалению, не было рядом, он в который раз излагал им существо дела:

— Понимаете, вот все хорошо и мило у меня в доме, но подул ветер, пригнал пару туч, и мечется, и убивается жена, и бежит из дому, а чем мне ей помочь? Не могу же я, в самом деле, бросив все, караулить небо!

И как ни странно, он ничего не преувеличивал — тучи действительно были всему виной. То ли Нуца родилась под таким созвездием, то ли в детстве ей бабки набили голову всякой всячиной, но она всю жизнь ловила солнце лицом, как подсолнух, и струящаяся голубизна над деревней, над полями, над степью была той внутренней сутью, без которой она как личность распадалась. И Нуца светилась хорошим настроением, пока бывало ясным и чистым небо, опечаливалась по мере того, как хмурилось небо, и все эти переходы в ее настроениях чередовались с той великой просто-

той и неизбежностью, с какой менялись они там, на небесах.

Особенно мучительны для нее бывали осени с частыми дождями, с северными, холодными ветрами. Ну а та осень, когда Мирча, выбравшись на поверхность, собрался устроить знаменитую гулянку, та осень была и впрямь на редкость неприветливой. Хотя и обещала она многое вначале, но потом серые чешуйчатые тучи затянули все небо, да так густо, что целыми днями ни один пятачок синевы не просочится сквозь них. С утра небо хмурится, и в обед хмурится, и в сумерки то же самое. Моросит какая-то сырость — не то дождь, не то туман. Поля мокрые, дороги не успевают просохнуть от одной непогоды до другой. Неубрапная кукуруза гниет на корню, стоит в грязи невыкопанная сахарная свекла. А колхозники, то ли на радостях, что получили по два килограмма пшеницы на трудодень, то ли с горя, что другая часть урожая мокла и гнила в поле, варили без конца самогонок, напивались, затевали глупейшие ссоры, и грязный, хмельной словесный мусор наполнял, как и эта осенняя сырость, все вокруг.

При таких вот обстоятельствах Нуца исчезла, и Мирчу прямо разрывали обиды — подумать только, какое невезенье! В кои-то веки человек, можно сказать, хорошо, прочно устроился, собрался пригласить друзей, порадоваться по этому поводу, и вдруг, когда уже все готово, убегает баба из дому. Мирча маялся и искал ее, гонялись за ней односельчане, тревожилась Чутура, у которой из-под носа выхватили такую славную гулянку, и казалось, сама Нуца в недоумении — пресвятая мать божья, сколько недель-то прошло, мне давно пора возвращаться, а меня все нет.

Как-то вечером уложив ребятишек, она притащила на кухню ручную швейную машинку. Поставила на стол, открыла, и через минуту вся кухня была в сплошных разноцветных тряпочках. На какое-то мгновение ей почудилось, что она маленькая девочка, играющая в куклы. Это ощущение детства прорвалось в ней неожиданно и сразу же исчезло, но осталось чудесное настроение радостного, загадочного, непознанного еще мира.

Машинка называлась «Лада», это была хорошая чешская машинка. Когда-то давно она мечтала стать портнихой, но не было швейной машинки. Потом, через много лет, она завела себе машинку, но успела уже разо-

чароваться в высоком призвании портных. Хотя, видимо, еще хранила какую-то часть былых затей и любила вечерами повозиться с нитками, ножницами, машинкой. Иногда у нее что-то получалось, чаще всего — нет. Она никак не могла установить закономерность — почему получается, когда оно получается, отчего другой раз ничего не выходит. Собственно, она и не особенно добивалась истины — ее больше устраивало, когда это ремесло оставалось тайной.

Провозившись некоторое время с маленькими ситцевыми лоскутками, она вдруг застыла в изумлении. Как-то неожиданно для самой себя руки сложились, подогнали лоскутки в чудесную детскую рубашонку. Оставалось только сесть за машинку и строчить. А шить ей не хотелось, она скорее согласилась бы умереть, чем сесть за машинку. У нее и так было трое ребятишек, в доме уже некому было носить такой крошечный наряд, а четвертого ребенка она не хотела. Хватит с нее, она всю жизнь только и делала, что стирала пеленки, и ничего хорошего не видела; она слишком устала, чтобы родить, воспитать, вырастить этого четвертого хорошим человеком.

Но, с другой стороны, рубашонка получилась на редкость удачной, и долго, немислимо долго простояла она над этими лоскутками. Стояла строго и сурово, стояла ласковая, задумчивая, стояла неподвижно до тех пор, пока не вернулся Мирча. И даже потом, когда он, пробормотав что-то, вышел и, громко фыркая, мылся у крыльца, и, когда он вернулся снова в дом и без аппетита, больше для того, чтобы ее не обидеть, принялся ужинать, она все еще стояла над своими лоскутками, надеясь, что он увидит все это и спросит, к чему им в хозяйстве такой крошечный сарафанчик. Но нет, он ни к чему не проявлял интереса, и тогда она сама позвала его.

— Слышь, Мирча...

Нет, он не слышал. Он сидел за столом, руками лазил по тарелкам, кидал в рот, не видя, что именно кинул, медленно жевал и при этом не переставал ухмыляться. Он был, конечно же, несколько выпивши, но не это расстраивало Нуцу. Ухмылки — вот что выводило ее из себя. Временами ей казалось, что ее муж совершенно утонул в местных интригах. Это почему-то называлось у них — делать большую политику, и Мирча был в восторге от этого занятия. Ему, видимо, удавалось это больше, чем другим, и, возвращаясь по вечерам домой, оставаясь один, он переживал открыто радость своих

побед. И как они были ничтожны, эти победы, и какой постыдной казалась Нуца его радость!

На второй день, чуть свет, его будили дикие угрызания совести. Уходя, он давал клятву, что в жизни не притронется больше ни к самогонке, ни к этой самой «политике», а поздно вечером он опять сидел за остывшим ужином, задумчиво что-то жевал и ухмылялся. Ах эти его вечеряние, такие долгие и такие нехорошие улыбки...

— Слушай, Мирча!

В доме стояла глубокая тишина. Нуца вышла из кухни посмотреть, отчего это он не откликается. Обувь и одежда мужа лежали разбросанные как попало, а он уже сладко посапывал. Уснул он, видимо, прежде чем успел лечь, потому что не хватило сил дотянуться головой до подушки, и теперь голова неловко свешивалась с другой стороны кровати. Тяжело вздохнув, Нуца вернулась на кухню, перемешала лоскутки, упрятала их, закрыла машинку, вынесла в соседнюю комнату и поставила на старое место. Нет так нет. Потом, возвращаясь, застряла в темных сенцах, точно искала другую дверь, чтобы войти в какую-то другую комнату, не возвращаться к мужу. Но нет, нужно было вернуться, там были дети. Она вошла, но на пороге остановилась, устало прислонившись к косяку. Сказала тихо какой-то собеседнице, с которой, видимо, все время про себя беседовала:

— А что толку-то!

И действительно, что толку было в том, что теперь Мирча зарабатывал много трудодней, и во всем ему везло, и дом у них был полной чашей. Что толку во всем этом, если у нее по-прежнему не было мужа и она оставалась, как и раньше, и хозяйкой и хозяином в доме. Временами ей даже казалось, что у нее и мужа-то никогда не было. Побаловалась с парнем на высокой телеге с сеном, тут же поженились. Сразу после свадьбы он ушел в армию, не успел отслужить — и началась война, после войны — голод, потом трактор. Едва сумела стащить его, полуживого, с трактора, едва завела в дом, и он снова исчез. Когда, каким образом она его теперь упустила — этого Нуца не знала. Она твердо помнила только то, что последний раз у нее был муж, а у ребятшек отец месяца четыре назад, ранней весной, когда Мирчу утвердили в Памынтенах. Уехал он туда в белой рубашке, чисто выбритый, разумный в словах и в поступках. Вернулся какой-то просветленный, весь ве-

чер помогал ей по дому, поиграл с ребятишками, посудачил с соседями. Потом, поздно, когда ребятишки уснули, а соседи разошлись, Мирча сказал ей тем хитрым и беззаботным голосом, от которого всегда таяло ее вечно тосковавшее по ласке бабье сердце:

— Слушай, Нуца! Ладно тебе упираться. Мы ведь и расписывались, и в церкви венчались...

Холодно и тускло, как свеча на ветру, мелькнула та ночь. Никакой радости ни душе, ни телу, но, видать, попалась та благословенная ночь, когда все произрастает. На второй день Мирча, гордый тем, что, хотя его и утвердили в Памынтенах, он по-прежнему остается верным своей жене, побежал в правление, а Нуца с того дня стала вянуть, дурнеть. То ее потащивало, то мучили головокружения, а потом, когда испортилась погода, она и вовсе исчезла из деревни.

Самое ужасное было то, что она никак не могла решиться. Дело было не такое уж хитрое — попадались до этого другие, и она сама не раз попадалась. Теперь все было проще, добрые люди помогли, достали адрес одной врачихи, у которой, как говорили, удивительно легкая рука. У нее водились припасенные на черный день рубли, она даже попросила жившую напротив соседку в случае надобности присмотреть за ребятишками денек-два, а решиться все никак не могла. И теперь, стоя на пороге, подумала в который раз: «Надо же быть такой душой!»

Было уже поздно, а спать идти не хотелось. Мирча проснулся на минутку, спросил, кто отдал такое глупое распоряжение, и, не дождавшись ответа, тут же уснул. Тяжело вздохнув, Нуца сошла наконец с порога, принялась собирать разбросанные вещи мужа, приподняла его хмельную голову, подложила под нее подушку, потушила свет. Была так расстроена, что вместо обычной вечерней молитвы просто перекрестилась бессмысленно, механически и тихо, виновато легла рядом с Мирчей.

Все тело ныло от усталости, а спать не хотелось. Довольно просторная комната теперь показалась удивительно маленькой. Было душно, и потолок почему-то все опускался, стоило ей только закрыть глаза. Нужно было срочно что-то придумать, как-то раздвинуть, расширить комнату. Она встала, отдернула занавески на обоих окнах, прибавив комнате два холодных, клубящихся серыми тучами колодца, снова легла и чтобы отвлечься, смотрела то в правое, то в левое окошко. Ночная си-

нева каждый раз действовала на нее умиротворяюще. Особенно ей нравилась луна — долго-долго всматривалась в ее золотистую корону, что-то ее там завораживало, манило к себе. Она тихо вставала, шла, бежала, летела туда, но даль была крошечная, и глядишь, где-нибудь на полдороге уснет, и отдохнет, и выспится на славу.

На этот раз небо не собиралось ее укачивать. Оно стояло хмурое, сплошь затянутое тучами, и ни луны, ни самого простого светлого пятнышка на всем небе.

«Должно, взойдет позже, ближе к полуночи...»

Она решила дождаться восхода луны и некоторое время подремала, то и дело просыпаясь и глядя в окошко. А луны все не было, и Нуца вдруг вспомнила, что и прошлой и позапрошлой ночью ее не было. Она быстро встала, оделась, накинула на плечи Мирчину фуфайку, с которой в конце концов примирилась, и выскочила на улицу. Дом их стоял на маленьком холмике, чуть возвышаясь над соседними строениями, так что все небо во всей ширине было как на ладони. Она принялась разглядывать и запад, и восток, и север, и юг, смотрела долго, до боли в затылке, до головокружения, она выискивала ее полную, или прибывающую, или хотя бы убывающую, а ее совсем не было, никакой луны не было той ночью.

Чутура спала тяжелым сном натруженной деревни, и только у Параскицы, соседки, жившей напротив, через дорогу, чуть розовело одним углом окошечко. Горела лампада. Старушка, должно быть, молилась. Она не считала себя особо верующей — страдала одышкой, одолевало одиночество по ночам, и дабы скоротать время, опускалась в уголке на колени и рассказывала углам, потолку да пизеньким лавочкам свою долгую и, как ей казалось, бесконечно грешную жизнь. Ее муж вместе с единственным сыном завербовались в сороковом году и уехали в Донбасс на шахты.

Сначала посылали посылки с дешевым ситцем, присылали и деньги. Потом стали писать все реже, реже, а в войну затерялись оба на чужбине. Была она очень одинокой, всегда радовалась, когда к ней приходили, вот и теперь не успела Нуца открыть калитку, а старушка уже стояла на крыльце.

— Боже милосердный, снова пришел пьяный?

Мирча никогда не напивался так, чтобы заметили соседи, но это не мешало прозорливой старушке беспо-

коиться за Нуцу каждый вечер. Нуца ничего не ответила. Села на низенькую завалинку, посмотрела на небо и спросила с чисто детской любознательностью:

— Как вы думаете, почему это луны не видать?

Маленькая старушка, чуть откинув голову, ушла вся в сладкую глубокую зевоту, но в последнее мгновение зевок сорвался, и, смущенно прикрыв рот ладошкой, она таинственно прошептала:

— Не иначе как опустилась в море за своим ликом. Луна ведь всегда так — спадает, спадает, а когда остается только маленький осколочек, бросается в море за своим ликом. Потом ночи две, пока выловит, сидим вот так, в потемках.

Параскида очень ловко умела плести всякие небылицы, и, хотя она часто повторялась, Нуца была очень привязана к этой старушке. Ее древнемолдавский говор и мягкий шелест полузабытых Чутурой слов заражал удивительным спокойствием. Выяснив меж собой, как обстоит дело с луной, они еще поговорили о последних сельских новостях, о кражах, о драках, о намечающихся свадьбах, и в конце концов Нуцу потянуло ко сну. Пожелав старушке спокойной ночи, она встала и пошла тихо, точно боялась расплескать это сладостное начало покоя, но пока дошла, пока улеглась, спать расхотелось. Было почему-то грустно и обидно, все казалось навсегда утерянным, и только мозг ее лихорадочно бился над тем, чтобы выяснить, куда же девалась луна. Вероятно, думала Нуца, в тех далеких, глубинных пространствах тоже, должно быть, свои войны, свои потрясения, и уж ничего с этим не поделаешь — придется смириться, как мы смирились со всем остальным.

Уснула она под самое утро, и приснилось ей, что в старом родительском доме была свадьба и выдавали ее насильно замуж за какого-то остолопа. Она плакала горько, рвалась, куда-то все убегала. Чуть свет, едва проснувшись, она снова кинулась к окошку, но все было напрасно. Луны так и не было той ночью, и именно потому, что не было луны, Нуца вдруг решила.

Встала и быстро, деловито завела свою утреннюю карусель — мыла, готовила, стирала, отчитывала и ласкала. Потом, проводив мужа, усадив ребятишек за уроки, позвала Параскицу присмотреть за хозяйством, надела самое лучшее, что у нее было, словно боялась, что все

это может остаться непошевым. Связала в узелок рубли, припрятанные на черный день, адрес памыntenской врачихи, сунула узелок за пазуху и, ловким движением прихлопнув за собой калитку, отправилась в путь.

День был ветреный, дороги быстро начали просыхать, и небо, хоть и хмурилось всю ночь, теперь стало проясняться. Ветер дул северный, холодный, и чутуряне, избалованные теплым летом, засуетились, заспешили. Кто в поле, кто с поля, кто в правление, кто из правления. Шли быстро, сноровисто, на ходу здороваясь и подшучивая друг над другом, но, если остановить их в этой спешке и спросить, с кем это они только что здоровались и шутили, они вряд ли смогли бы ответить. Одним словом — осень, времени мало, а дел по горло.

Нуца тоже спешила. Едва выбравшись из села, она свернула с дороги, чтобы идти по старой тропинке, по которой вся пешая деревня спокон веку ходила в Памыntenы, свернула и остановилась, застыла в изумлении, потому что тропинки не было. Ее накануне перепахали вместе с лежащими вокруг пашнями, и на том месте, где еще вчера была тропинка, теперь вислась цепочка крупных, залежалых, круто сбитых пластов чернозема.

— Вот не нравится она им, хоть ты что!

Рядом с оцетинившейся полоской земли едва выделялся одинокий след пешехода — какой-то горемыка, вставший чуть свет, бросился в потемках, тропинки не было, но кружить ему не хотелось, и он вслепую по пахоте заковылял к станции. Его решительность вызвала уважение, и Нуца, недолго думая, сняла туфли и босиком пошла по его следу. Хотя идти было трудно, она чувствовала большое удовлетворение от своего союза с тем односельчанином, который прошел чуть свет, и еще она думала о благодарности тех, которые в течение дня пройдут по их следам.

Она была полна воинственного пыла. На этой тропке Чутура воспитывала своих лучших героев, ибо каждый год из-за этой полоски техника давала бой чутурскому упрямству. Ее запахивали, засевали, загораживали, но чутурянам не хотелось с ней расстаться, и они возрождали ее в прежнем виде, с теми же поворотами и изгибами.

История этой тропинки была сложной и запутанной, из-за нее над чутурянами часто посмеивались, хотя если

во все это вдуматься, то смешного окажется мало. Такая коротенькая и неказистая, эта тропинка была очень древней, древнее многих шоссежных дорог. До того как стать тропинкой, она была хорошей дорогой с добрым именем, а еще раньше она была тропинкой, сделавшей много хорошего людям.

По старинным преданиям, на том месте, где теперь находятся Памынтены, был некогда монастырь, построенный из камня по типу крепости. В средние века, во времена набегов турок и татар, а также набеги бывали тогда очень модными, молдаване со всей степи сбегались к монастырю защитить свою веру. В то время Сорокская степь была сплошным лесом. У каждой деревушки была тогда на случай набега своя тайная дорога к монастырю, а у чутурян была эта тропка. И хотя с тех пор прошло много сотен лет и от непроходимых дубовых лесов остались одни рощи, а от монастыря вообще ничего не осталось, хотя турецко-татарские набеги давно лежат припечатанные в учебниках истории, у степных жителей инстинкт опасности живет, видимо, в крови, и они чуть что бегут в Памынтены.

Теперь уже мало кто помнит, даже среди стариков, времена и обстоятельства возникновения степных поселений, а те скудные сведения, которые хранились по монастырям, были сожжены в годы, когда сжигали все, что могло быть непонятным простому человеку. Хотя Чутура по сравнению с другими деревнями была несколько моложе, она тоже потеряла начало своей истории, а на основе скудных сведений, которые сохранились в усталой памяти чутурян, трудно сказать что-либо определенное.

Кое-что все же можно узнать. Известно, например, что в середине прошлого века чутуряне писали прошение на имя русского царя с просьбой вернуть им старую дорогу в Памынтены. Теперь невозможно установить, какой она была, та дорога, какими местами проходила и при каких обстоятельствах была у чутурян отнята. Скорее всего это было связано с лихорадочной скупкой барских поместий. Начиная с 1812 года, после того как Бессарабия была присоединена к России, предприниматели начали быстро скупать мелкие разрозненные поместья молдавских бояр. Стали появляться новые, крупные имения с большими массивами пахотных земель. Эти имения прожевывали все, что попадало в их внутренность: небольшие хутора, пастбища, рощи. Одно из

таких крупных имений возникло тогда около Памынтен — видимо, оно и проглотило старую чутурскую дорогу. Для нужд крестьянок была построена новая дорога, вдвое длиннее старой, с крутыми спусками и длинным, скользким глинистым подъемом перед самыми Памынтенами. Идти по ней было одно мучение, но заботы и нужды заставляли, и много десятков лет чутурияне добирались до Памынтен кружным путем, изматывая себя и скотину.

Народ добрый, послушный по натуре, они заставили себя привыкнуть к этой дороге и только в зимнюю метель, глядашь, попрут напрямик, по старой своей дороге, а стихнет выюга — и опять кружат. Потом в Чутуре родился тот безымянный смельчак, который подумал про себя: ну хорошо, мучаются на телегах, мучаются верховые, а мне, пешему, чего страдать? Небось не перебыют ноги. Плюнув на все, он пошел по широкому полю, на полдороге с некоторой деликатностью, делавшей ему честь, обогнул барскую усадьбу, спустился в зеленый овражек и по зеленой травке вдоль маленькой речки дошел до самого вокзала. Этот путь был, конечно, вдвое короче, и удобнее, и красивее. Все тут было под рукой: и родники, и речка, и прохлада молодых раки, и барский сад, из которого можно было, если уж ребенок расплачется, урвать две-три ягодки. Вслед за первым смельчаком пошли другие, босоногие следы начали стелиться друг на дружку, сплели чудесную тропинку, и чутурияне вдруг воспрянули духом.

Правда, тропинка показалась совершенно неуместной управляющему поместьем. Эта ленточка земли, по которой шли люди, хотя ее тоже засевали из года в год, пустовала, и началась длиннейшая канитель, длившаяся много десятков лет. И до чего только дело не доходило — эту тропинку перепаживали, перегораживали колючей проволокой, засаживали акациями, а самих чутуриян травили собаками, штрафовали, заставляли вернуться с полдороги. Чутурияне были терпеливыми — они платили штраф, замазывали слюнями царапины от колючей проволоки, возвращались с полдороги и опять, когда им нужно было, шли по той же тропинке.

Румынский помещик, к которому перешло поместье после присоединения Бессарабии к Румынии, оказался прозорливее. Для начала на этой тропинке был поставлен жандарм с карабином. Десять чутуриян были избиты так, что потом еле отошли. Но мордобой жандарму

скоро наскучил — он начал жаловаться прохожим, как ему холодно, и голодно, и неудобно тут в поле. Кормили его всей деревней — он стал быстро поправляться, даже начал захаживать к вдовушкам, и когда настал день той единственной, роковой проверки, он был пьяный в дым и плакал оттого, что его разлюбила Мэндика.

Жандарма увели, а помещик придумал нечто похитрее — земли, по которым шла тропинка, он начал сдавать крестьянам в аренду за одну треть урожая. Он надеялся, что крестьяне сами не пустят друг друга, и он не ошибся. Люди действительно ссорились и подсиживали один другого, дрались кнутами, и таяками, и косами, а когда нужно было идти в Памынтены, они шли по той же тропинке, и ничего уже нельзя было с этим поделать. В войну надзор за тропинкой несколько ослаб, так что кое-кто из чутурян, обнаглев, решил даже на телегах проехаться до самой станции, но затевали это вдовы, мужики были на войне.

С созданием колхозов спор вокруг тропинки утих на некоторое время. И земля и путники — все было свое. И хотя продолжали ездить в Памынтены кружным путем, насчет тропинки никто ничего не говорил — ходят люди, ну и пускай. Через несколько лет, однако, спор снова разгорелся. Массив, по которому шла тропинка, как наиболее плодородный, был отведен под сахарную свеклу. К несчастью чутурян, уродила свекла на славу, и ее стали засеивать из года в год на том же месте. Чутуряне пользовались своей тропинкой, и никто против этого не возражал, но только к тому времени Чутура открыла для себя самогоноварение. Во-первых, на самогонку был большой спрос, а в доме всегда копейка нужна. Во-вторых, чутуряне и сами были не прочь развлечься, а свекла давала хоть и мутноватый, но крепкий, надежный напиток. Теперь чутуряне, откуда бы ни возвращались, норовили свернуть на ту тропинку и, с ходу выдернув десяток свекол, опускали их в кошелку. Нескольких оптрафовали, одного даже собирались судить, но все это было бесполезно, потому что чем больше шума поднимали власти, тем чаще люди стали завораживать туда, и с утра до вечера добрая половина деревни возвращалась по той тропинке, надрываясь под тяжестью своих нош.

Какая-то светлая голова на заседании правления колхоза предложила выместить, благоустроить старую дорогу так, чтобы стало удовольствием ходить по ней, а

на этой тропке, мол, вырастет отличная сахарная свекла. Мысль была принята с энтузиазмом, а когда чутурянам что понравится, они не жалеют ни денег, ни сил своих. И вот зашпелестели зеленые полосы вдоль старой дороги, обсадили ее фруктовыми зарослями в семь рядов так, чтобы путникам от ранних черешен и до поздних лесных ягод было чем полакомиться. Был вырыт на полдороге новый колодец, и сама цепь и ведро были новыми, а спуски и подъемы были засыпаны щебенкой, чтобы машины могли добираться до райцентра в любую погоду.

Чутурянам все это очень понравилось. Они с большой охотой обсаживали дорогу, и рыли колодцы, и возили на повозках гравий из дальних камешоломен, да только ходить на стаяцию они продолжали по той же старой тропинке. Даже, казалось, ходить туда они стали чаще и охотнее, чем прежде, и тогда сельские власти призадумались: а с чего это их так потянуло туда?

Выяснять все это начали прямо, без обиняков, как и полагается в нашем открытом и честном мире. Некоторое время всех направляющихся в Памынтены или возвращающихся оттуда расспрашивали, за какими это делами они тащатся туда, но полученные ответы оказались совершенно непригодными для какой-либо классификации. Их было, этих причин, ровно столько, сколько было людей, да к тому же чутуряне, хоть и задумывались часто над своей жизнью, избегали говорить о своих делах. Они жили просто, зная, что никому нет дела до того, что у них там на душе творится. Властям важно только, чтобы они план выдавали да хлеб вывозили, остальное их не интересовало. А между тем этого остального было много, оно болело и жгло, и чутурянин, когда ему уже становилось невмоготу, собирался и шел в Памынтены.

Постепенно надомничество в Памынтены охватило все степные деревушки. Таскались туда и стар и млад. Ездили на машинах, на мотоциклах, тряслись на телегах, а чаще всего плелись пешочком, напрямик, каждая деревня по своей тропинке. Они приходили и долго блуждали по базару, смотрели, как дымятся высокие трубы сахарного завода, заглядывали в учреждения, толкались в кооперативных магазинах, встречали и провожали поезда на вокзале и все это время присматривались, прислушивались к окружающей их жизни. Нужны были новости, нужно было выяснить, что будет завтра.

ра. Крестьянин не может оставаться в полном невежестве относительно своего будущего, и если он сегодня не знает, чем будут завтра заняты его руки, и что он получит за их труд, и что можно будет приобрести за то, что он получит, — если всего этого он не знает, то его жизнь сплошное мучение.

В деревне ничего не выяснишь — там все зависит от погоды. Уродит поле — дадут, не уродит — не дадут, а тут, в Памынтенах, все было иначе. Тут если не за целый год, то хоть за один месяц можно было быть спокойным, зная, что такого-то числа тебе будет получка, и вот степные плугари начали постепенно перебираться сюда, покидая обжитые их дедами и прадедами земли. Оставляли они свои деревушки как-то легко, без излишних переживаний. Не целовали на прощание стены отчих домов, не голосили, не брали на память горстки родной земли. Все происходило просто, обыденно, только, пожалуй, неожиданно. Вот он ходит, степной колхозник и вкалывает вовсю, и повинуетя во всем бригадиру, и по вечерам уютно треплется с соседями, и отчитывает детей за плохую отметку, а на другой день чуть свет, погрузив в машину все добро и устроив там жену и ребятишек, выезжает со двора, забыв закрыть за собой калитку.

Долго, и день и два, стоит та калитка открытой, с кипой просунутых почтальоном газет, а дни идут, почтальон все носит их, все сует меж досками, и только тогда деревня узнает, что человек продал дом и уехал. Уехал потому, что за десять лет работы на свиноферме у него не было ни одного выходного дня. Работал днем и ночью, летом и зимой, а когда раз в месяц навещал домашних, то и жена и дети чуждались его, потому что вместе с ним проникал в дом запах той фермы, на которой он трудился. Зарабатывал хорошо, и премиями его не обходили, и почету было много да только опостыдело все. Десять лет он ждал — может, в семье свыкнутся, может, изменится что, десять лет он искал в одиночку какой-нибудь выход, но ничего не смог найти и уехал.

Из Чутуры тоже многие переехали. Сама Нуца хоть и не собиралась никуда переезжать, она тем не менее восхищалась про себя теми, кто сумел все бросить и начать жизнь сначала. Она радовалась каждому новому домику, появившемуся у них в райцентре, и всякий раз, когда приходила в Памынтены, любила первым делом

побродить по его рабочим окраинам, заваленным щебенкой и шлаком, подышать запахом свежеперемешанной глины, погадать по обличью строящихся домов, из каких деревушек перебрались они сюда. Она любила при случае завести разговор с переехавшей сюда крестьянкой, любила слушать схожие меж собой подробности переезда: как это было задумано, кому и за сколько продали дом, во что обошлась постройка нового, сколько денег у них было, а сколько и где пришлось подза-нять.

На этот раз, может, потому, что ушла из дому очень рано, забыв в спешке позавтракать, может, потому, что идти было трудно по свежей крутой пахоте, но добралась она до Памынтен усталой. Железнодорожный переезд, служивший границей райцентра, был закрыт. По ту и по эту сторону переезда собрались длинные вереницы машин, но пешим не задерживали — они обходили шлагбаум и шли своей дорогой. Нуца стала дожидаться, пока его не откроют. Во-первых, в районе она становилась такой послушной, что сама себя не узнавала, а во-вторых, ей хотелось посмотреть проходящий поезд.

Прошел длинный товарняк. На платформах пушки, танки, прикрытые брезентом, и у каждой пушки, у каждого танка — молоденькие солдаты. Нуца вспомнила, что и у нее был когда-то свой солдатик, и вся горечь проводов, все радости встреч — все вспыхнуло в ней и стало легко и радостно. Потом шлагбаум поплыл вверх, а за переездом ее встретил запах свежей глины, и усталость, и человеческая мечта о новой жизни, выраженная сложенными друг на друга кирпичиками. Все это вместе захватило ее, и она долго бродила, сворачивая из переулка в переулок, пока не выбралась против своего ожидания на восточную окраину райцентра.

Эту часть Памынтен она видела впервые и остановилась несколько озадаченная. С востока поселок замыкал длинный, ровный ряд аккуратных домиков с высокими заборами из спрессованного шлака. Во всю длину этих одинаковых заборов, похожих вместе на крепостную стену, тянулась узкая ленточка тротуара, тоже засыпанная шлаком. А за тротуаром — сразу поле, безликое, запущенное, какими поля становятся на окраинах маленьких городов. Огромное поле, как будто и вспа-

ханное и засеянное, а вместе с тем ничего там не растет — одна полынь, да и та обглодана стационарными козами.

Для любого крестьянина вид запущенного поля — это что-то непоправимое горе. Нуца стояла опечаленная, но вдруг откуда-то из-под этой обглоданной полыни выкатился пушистый шарик, за ним серая, полуодичавшая кошка, а за ней уже плелась длинная вереница кошачьей родни. Нуца удивилась — откуда они тут взялись, и только потом увидела среди этой полыни старика в выцветшей шляпе. С помощью двух молодых старик выкладывал стены маленького домика. Скорее это даже был не домик, а старомодная мазанка, каких не то что в Памытенах, но и в деревнях давно уже никто не строил. Стены были выложены почти что в человеческий рост, и поражала скромность, бедность этой постройки: четыре стены, двери, два окошка по сторонам, прямо как на детских рисунках. И строили они его из самана, кирпича, сделанного из глины, перемешанной с соломой, и кирпич был в основном битый, купленный у кого-то за гроши. Как только кошка замякала, они все трое вздрогнули, вернее, не то что вздрогнули, а как-то есугулились, стараясь спрятаться за стенки своего домика. И как ни странно, даже не обернулись, чтобы посмотреть, к кому это кошки пристали и попрошайничают.

Нуца всегда отличалась врожденным чувством уважения к обедневшей старине и теперь, смущенная тем, что помимо своей воли беспокоила добрых людей, дабы они плохо о ней не подумали, крикнула издали:

— Бог вам в помощь!

И старик, и обе его помощницы оглянулись, но ничего не ответили. Через дорогу во всю длину этой шеренги белых домиков то тут, то там хлопотали во дворах хозяйки, и молодухи, видимо, решили, что Нуцыно пожелание относится к этим белым домикам. Но нет, Нуца стояла спиной к ним, она смотрела на старика, и через некоторое время старик, не оборачиваясь, поблагодарил вполголоса. Он стоял на железной бочке, служившей ему помостом, и Нуца, истолковав ответ на приветствие как приглашение, пошла к ним. Сказала издали, как бы косвенно оповещая о своем приходе:

— Хочу посмотреть, как вы ее распланировали. Может, на тот год и мы начнем строиться.

— Брысь! — прикрикнула на оголодавших кошек одна из молодух.

Попетляв между старыми, обмазанными глиной ведрами и битым кирпичом, Нуца уселась на какой-то ящик перед самым домом, там, где со временем, возможно, хозяева посадят орех, и вырастет он красивым, и будет прохладно и хорошо здесь. Неожиданно для самой себя спросила:

— А что, правда орех посадите?

Каждый молдаванин что-нибудь да сажает перед своим домом. Кому что нравится. Нуца, например, очень любила орех, и хоть росла перед ее домом сирень, она тем не менее каждую субботу приносила в дом ворох ореховых листьев, и все лето у них в доме царил острый, праздничный запах. Ей очень хотелось посоветовать этим людям посадить орех, но она не знала, как это сделать.

Старик, бледный и худой, видимо, не ожидал ее прихода, и как только она села на старый ящик, он, подумав, бросил мазок. Затем вопросительно посмотрел на своих помощниц, как бы говоря им: ну вот, сами видите! Пришел человек, и что же мне делать? Не могу же я, в самом деле, не подойти, не поговорить с ним!

Его помощницы, полные, скуластые девахи, молча сопели, занимаясь своим делом. Одна перетаскивала кирпичи с места на место, другая месила глину крепкими, мускулистыми ногами. Они, видимо, часто ссорились из-за излишней медлительности старика, из-за его слабости точить лясы то с одним, то с другим. Теперь он стоял растерянный и сам не знал, как ему быть: если подойти к Нуце — новый скандал, а класть дальше кирпичи было неудобно перед чужим человеком.

Коски осаждали так, что прямо сердце разрывалось от жалости.

— Не обращайтесь внимания, — сказал старик. — Кыш, холера!! Этих лицемеров кормить не надо.

— Да почему же?

Спустившись с помоста, старик подошел к ней, молча, кивком поздоровался, сел рядом на пыльную землю, как садятся обычно только настухи да самые что ни на есть беспросветные горемыки, которым уже терять нечего. Вдохнув, он поднял голову, стал всматриваться далеко в поле, точно ожидал увидеть там самое главное, что только было в этой жизни. Посмотрела туда и Нуца, но ничего там не было — только запущенное поле да небо. Глаза у старика были карие, и еще были они такие добрые и такие печальные, как же только в Молдавии и

можно встретить. Он все смотрел бесцельно туда, в поле, — Нуце показалось, он что-то припоминает, но никак не может вспомнить, и, чтобы как-то помочь ему, она сказала:

— О кошках вы что-то говорили.

Старик опустил голову, теперь внимательно разглядывая пяточок земли под своими ногами. Разглядывал со странным упорством, пылинку за пылинкой, и Нуце вдруг показалось, что и в поле, и под ноги он смотрит из-за своей чрезвычайной стеснительности. Это редко встречается у людей такого возраста, разве что они уж совсем глупы. У старика лицо было крупное, мятое, но лоб был высокий, ясный, думающий. Нуцу все это заинтриговало:

— Так почему же кошек не нужно кормить?

Старик улыбнулся одними морщинами.

— Если их еще и подкармливать, мыши нас совсем изведут.

— Что, так много тут мышей?

Старик удивился: мыслимое ли дело, чтобы она об этом даже и не слышала?! Похоже, до них еще не дошло. Оглянулся, не слышит ли их кто, и сказал как можно тише:

— По ночам все это поле — одни серые твари... Ступить негде.

Это зрелище показалось Нуце чистым кошмаром — она боялась мышей.

— Да что вы говорите?! Откуда они взялись?

— А увязались за нами. Мы згурицкие. И твари эти тоже згурицкие.

— Что же они, поплелись за вами пешком от самой Згурицы? Да сколько той мышке топать, чтобы пройти столько верст!

— Брысь! — прикрикнул старик на особо надоедавшую кошку, после чего сказал, улыбнувшись: — Они, милая женщина, не то что из Згурицы сюда, они, чего доброго, и на тот свет за нами подадутся...

Нуцу вдруг пронял легкий озноб. Она поняла, что у старика, несомненно, не все дома. Пожалела, что завернула сюда, но глупость была уже сделана, и нужно было как-то закруглить этот разговор и при первом же удобном случае попрощаться.

— Чердаки, наверно, были полны — вот мыши и развелись.

— Да откуда в Згурице полные чердаки!

— На каких же тогда харчах мыши у вас там расплодились?

— А они пожирали квитанции со сданного хлеба. Перед засухой Згурица вывезла немислимое количество хлеба, и в каждом доме квитанций было полно...

— Господь с вами, станут мыши их есть!

— Что ты, милая женщина! Это для них самое что пи на есть лакомство. Наши, кто был поумнее, попрятали квитанции в крынках, в глиняных горшках, а меня вот бог не надоумил, и приходится горе мыкать.

— Что, у вас тоже квитанции поели?

— Одна белая пыль от них осталась. А без квитанции, сами понимаете, что за жизнь! Сегодня проверка, и завтра проверка, и как только постучат в окошко, первым делом — квитанции покажи. — Он сделал еще одну попытку оторвать взгляд от земли.

— Ну, сказали бы, так, мол, и так. Извините.

— Милая, а кто поверит? Если у тебя нет на руках документа, ты все равно что желтый лист на воде: как захочется волне, так и закрутит.

Старик посмотрел в поле, затем снова принялся разглядывать лежавшую под его ногами пыль, и Нуце вдруг показалось, что он просто прячет глаза, потому что так горько, так трудно ему вспоминать об этом. И скупые, мягкие жесты, которыми он искал нужные слова, и длинные паузы, и усталое неподвижное лицо — все это были отголоски того большого горя.

— И все-таки живущему наказано жить.

— А, какая там жизнь, — сказал старик. — Сидишь, бывало, по ночам и ждешь, когда придут и попросят квитанции.

Старик вздохнул, и самый вздох его был странный, не до конца, точно занял он его у соседа, у которого был совершенно иной размер легких.

— Да плюнули бы вы на все это! Мало ли у меня бумажек было да затерялось? Стала бы я из-за этого бросать дом и деревню и могилы своих близких! Дождались бы они от меня этого, как же!

Старику вдруг не понравилось, что Нуца громким голосом такие слова произносит. Он быстро оглянулся, потом, чуть склонив голову набок и упрятав взгляд своих карих глаз куда-то внутрь себя, сказал:

— Тише... Боюсь, что они и речь нашу разумеют.

— Кто?

— Да мыши.

— Что же они, и тут не оставляют вас?!

— Добрая вы женщина, я и не припомню, с каких пор не высыпаюсь! Так, иногда днем прикорну на чашок-другой, а ночью ни боже мой. Эти мои дурехи сначала дрыхли как убитые, но потом я стал их будить, не ровен час — загрызут. Теперь они сами уже научились караулить. Когда стало совсем немоготу, продали дом, перебрались сюда, потому что худо-бедно, а тут район. Так что вы думаете? Увязались твари за нами. Одна польнь да шлак вокруг, а они как налетят, так эти бедные стены по ночам — ну живого места на них нету...

— А что же эти ваши кошки?

— Бегут как от чумы. А вы говорите — кормить. Да если их еще и кормить, мы тут совсем погибнем!

Он снял с головы выпцветшую шляпу, принялся сморщенной рукой приглаживать жидкие седые волосы, потом, сделав над собой невероятное усилие, высоко поднял голову и впервые посмотрел Нуце в глаза. К ее великому стыду, она не смогла выдержать его взгляда, вздрогнула, отвернувшись, но было уже поздно. Закачалось, затуманилось все вокруг. Сильно, гулко, до тошноты забилось сердце, и Нуца вся как-то съежилась и, как всегда в трудные минуты, стала молиться про себя. В горле першило и жгло, и не хватало воздуха, а старик все сидел с непокрытой головой и смотрел на нее. И вот в эти-то тяжелые, трудные минуты какой-то древний инстинкт пришел к ней на помощь, прошептал: немедленно встань и уйди. И она послушно встала, сказав старику, что ей время идти, как бы не обиделись девушки, что заговорила их отца. Попрощалась, выбралась к тротуару и пошла вдоль длинной серой стенки. Она шла по узкому тротуару, шлак неприятно хрустел под ногами, но она все шла не оборачиваясь. Старалась на ходу успокоиться и все спрашивала себя: что же произошло, отчего подкашиваются ноги, точно она чудом только что выбралась из смертельной опасности?

— Ну что, поговорили?

Из-за какой-то калитки ехидно улыбнулось бабье лицо, и Нуца ничего не ответила, пошла дальше, но уже шла и чувствовала на себе чьи-то взгляды. Ей бы остановиться, передохнуть, оглянуться, но страх не давал, гнал дальше и дальше. Потом она все-таки нашла в себе силы, замедлив шаги, обернуться. И ахнула — во всю длину этого серого из шлага забора стояли выстроившиеся как на парад мешанки — в каждой калитке по одной голове.

Они стояли — кто в белом, кто в синем, кто и вовсе без платочка, стояли, несколько раздосадованные окончанием спектакля, и Нуца вдруг сообразила, что все время, пока они говорили со стариком, эти женщины следили за ними. Ее затрясло от возмущения, она пошла все быстрее и быстрее, но шлаковым заборам, казалось, конца и края не будет. И вдруг в этом ряду выстроенных у калиток мешанок мелькнуло знакомое лицо. Вернее, лицо было ей незнакомо, но принадлежало к той категории ярких, добрых, привлекательных лиц, которые сразу поражают нас каким-то близким родством. Нуца механически замедлила шаг, потому что женщина, показавшаяся ей знакомой, не улыбалась. Она, печально глядя в сторону одинокой мазанки, сказала как бы про себя:

— Бедные люди...

— А что? — спросила Нуца.

— Да ведь там, где они строятся, даже по планировке нет участков для застройки. Они так, сами по себе...

Нуца наконец все поняла. Попрощалась с женщиной, показавшейся ей знакомой, пошла сначала медленно, неуверенно, затем все быстрее и быстрее, и так ей сильно, до боли захотелось сию же секунду добраться до Чутуры, войти в свой дом, прижать к себе своих кровинушек, успокоить их и обласкать, потому что человек слаб и беспомощен, а век их еще только начинается, и кто знает, каково им еще придется!

Выбравшись на главную улицу райцентра, немного успокоившись она подумала, что будет просто глупо вернуться домой, так ничего и не увидав в районе. Таскаться по магазинам — у нее не было ни настроения, ни денег, и она пришла на вокзал. Двенадцатичасовой пассажирский поезд, видимо, только перед тем отправился — перрон был пуст, и, отдышавшись, Нуца села на длинную одинокую скамейку.

Вдруг неожиданно впервые забилось под самым сердцем живое существо. Оно билось властно, тревожно, а она сидела, не шелохнувшись, сидела, низко, виновато опустив голову, и так ей было обидно — троих носила, и берегла, и рожала, и воспитывала, а теперь задурила и четвертого таскает черт знает по каким дорогам и думает о нем плохо, будто он ей уж и вовсе чужой. И не спит по ночам и мается, а все это, надо думать, с жиру.

Небо прояснилось, и только далеко на западе, над

тающей в голубой дымке далью, висели пушинки светлых туч. Эта сказочная даль ее вдруг заорожила, потому что, если внимательно присмотреться, там можно было заметить и белые домики, и тоненькие шеи колоколен. Было что-то до боли родное в этой дали, и вместе с тем это был уже другой мир, которому и невдомек, что где-то есть такая станция — Памынтены, а на той станции перрон с одинокой скамейкой, и сидит на скамейке колхозница из Чутуры, а у той чутурянки много всяких неурядиц.

«Господи, да мне той дали-то как раз и не доставало!»

Увидев, на одно только мгновение, себя со стороны, улыбнулась, все поняла и успокоилась. О господи, подумала она, как велик и сложен мир, как высоко небо, как черны тучи и как, должно быть, одиноко и беспомощно выглядит оттуда, с того расстояния, сам человек. Вдруг ей показалось, что на один миг приостановилось все в мире. Все стало ярким, крупным, весомым, и это только для того, чтобы она получше разглядела, и поняла, и запомнила и эту даль, и тучи, и безлюдную деревушку вдали, и саму себя на одинокой скамейке. И Нуца честно, как на школьном уроке, впитала в себя это зрелище: отныне оно становилось ее тайной, ее богатством, ибо покой и простор этого мира были единственным, для чего рождались люди, единственным, ради чего стоило жить.

У двери станционного буфета стояла молоденькая раскрасневшаяся девушка и, видать, впервые в жизни торговала мороженым. Она предлагала его слабым, застенчивым голосом. На перроне, кроме Нуцы, никого не было, и чутурянке вдруг стало неловко, что заставляет так долго упрашивать себя. Она не любила мороженое, вернее, она его никогда в жизни не пробовала, но слышала, что от него дети схватывают ангину, и всячески поносила это лакомство. Теперь решила сама попробовать. Поднялась со скамейки, купила пакетик, вернулась и села на свое место.

Мороженое оказалось куда вкуснее, чем она думала. Это было первое лакомство, которое она делила со своим четвертым ребенком, а накормив его, Нуца уже стала думать о нем как о живом существе, которому надлежало родиться, получить свое имя и прожить долгую жизнь.

# Крестины на славу

Мирча ходил гоголем, ему везло, он упивался жизнью, он с каждым днем все больше и больше хмелел от того, что принято называть осуществлением власти. И было-то у него той власти — ну кот заплакал. И все-таки, на том маленьком пятачке, на котором она распространялась, она была абсолютной. Мирча пользовался ею умеренно, с умом, но он знал про себя, что она абсолютна, и остальные тоже знали. Это придавало азарт, какую-то неукоснительность всем его начинаниям, но, конечно, его по-настоящему славная жизнь началась в тот осенний день, когда под вечер вернулась наконец жена. Она вошла в дом тихо, незаметно, виновато. Мирчи не было дома — встретили ее дети, соседи, и все радовались ее возвращению. Ночь была ясная, луна светила далеко в степи. Нуца накормила, уложила детей, вышла к калитке, ждала мужа. Когда он вернулся, в доме, как и раньше, было чисто прибрано, было тепло и уютно.

Она вернулась на редкость ласковой, послушной, а на следующий день, торопясь в правление, Мирча заметил, что жена его похорошела в тех своих загадочных странствиях. Ему было очень приятно, потому что преуспевающему мужу к лицу хорошенькая жена. Еще через несколько дней ему показалось, что Нуца не только похорошела, она и окрепла, пополнила как-то. Глаза налились женственностью, и он спросил не то в шутку, не то всерьез:

— Слушай, я видел как-то в кооперации розовенькую погремушку — не купить ли мне ее? А то, знаешь, схватят другие, и как бы не пришлось из-за такой мелочи в город ездить и в очереди стоять.

Нуца, улыбнувшись, не то в шутку, не то всерьез ответила, что, если погремушка хорошая и не очень дорогая, можно и купить, хорошая вещь в доме не пропадет. На что Мирча ответил: «Бон!» — и таким образом судьба той знаменитой гулянки, о которой в Чутуре так много толковали, была наконец решена.

— Мирча, ты, это самое... Говорят, заводишь карусель по новому кругу?



— Отстань. Тоже мне нашел время для разговоров о каруселях...

— Разве уже и пошутить нельзя?

— Да какие могут быть шутки! Ты что, совсем окосел? Не видишь, как я бегаю, разрываюсь, все ищу хороший камушек-брусок.

— Это я могу достать для тебя. А зачем он тебе, брусок?

— Косу наточить. Выкормил, понимаешь, такую хрюшку, что прямо страх берет — пудов десять, не меньше. Прямо не знаю, когда пробьет час, как эту гору на спину завалить.

— Ты меня позови.

— Могу позвать, но ты сначала подумай хорошенько, а то, не дай бог, осрамишься на всю деревню.

— Ничего, такой позор я переживу. А потом, когда осмодишь эту гору мяса и сала, что будет потом?

— То есть как — что будет? Будут крестины.

— Значит, это в самом деле правда? И ты молчал до сих пор?

— Что же ты хотел, чтобы я кричал на всех перекрестках? Закачу такие крестины, что будете век вспоминать.

— Не забудь меня позвать в кумовья — мы ведь как-никак приятели.

— Как можно забыть! Хотя в этой сутолоке всякое может случиться, и если увидишь, что крестины приближаются, а я ни гугу, ты напомни.

— Да, но было бы лучше, если бы ты сам, без напоминаний...

— Само собой, что было бы лучше. Однако мне пора. Салют!

— Салют!

И расходились — кому вверх ползти, кому вниз катиться.

Чугура была взбудоражена — подумать только, у Мирчи Морару намечаются крестины! Несколько вечеров подряд в правлении колхоза местная власть с нескрываемым удовольствием все возвращалась к этой новости и мусолила ее. Крестины были очень кстати. Местную власть часто водновала мечта о хорошей гулянке, так, чтобы можно было потом долго и с удовольствием вспоминать ее. Выпивки и закуски было полно в колхозах, но определенная этика не позволяла просто так, ни с того ни с сего собраться и загулять. Нужен был предлог, причем

предлог гуманный, человеческий, так, чтобы в случае чего он мог послужить смягчающим вину обстоятельством.

Классическими считались свадьбы, крестины, именины, и их всегда было вдоволь, но, конечно, власти оберегали свою репутацию. Не на каждую свадьбу и не на каждые крестины пойдешь — при выпивке человеческий нрав резко меняется, контроль над собственными словами и действиями значительно снижается, и надо иметь вокруг единомышленников, дабы не скомпрометировать себя. И хотя веселиться хотелось до зарезу, нужно было набраться терпения, дожидаться, когда кто из своих устроит свадьбу, крестины или именины. Но свои ведь тоже разные бывают — одни запутались в интригах, другие любят породниться бог знает с кем и устраивают свадьбы у черта на куличках, куда и ездить немисливо, а третьи, если и устроят именины, так норовят, сволочи, чтобы все было скромно и строго.

На Мирчу одно время возлагались определенные надежды, но потом стали поговаривать, что у них с женой там что-то разладилось, и все уже стали забывать об этом, как вдруг — крестины. Причем, умница ведь какая, приурочила все это к Новому году, к рождественским праздникам, к первому снегу, когда душа сама просит вина, жареных гусей и песен.

— И значит, на когда это все намечено?..

Теперь, если его спрашивали о гулянке, Мирча поднимал обе руки в знак добровольного пленения и умолял:

— Вы только не заморочьте мне голову. Теперь только это важно, чтобы вы голову мне не заморочили, остальное будет.

Он давно вынашивал план этой гулянки и сейчас, когда настал час, привялся за дело быстро и решительно. Завез целую машину пшеницы на вуелупскую мельницу, а уж муку там мололи на славу. Возвращаясь, завязал знакомство с одним памынтенином, родной брат которого работал на сорокском пивзаводе, и договорился, чтобы достали ему бочонок пива, причем не того, что продают в буфетах, а того, что пьет сам директор завода. Затем он разыскал тех самых музыкантов, которые играли на крестинах начальника станции, прославив своей игрой и себя, и железнодорожного начальника. Потом выбрал в колхозных подвалах бочку ароматного, похожего цветом на майский мед, мускатного вина и даже разыскал двух старушек, которые когда-то служили у помещиков и по-

мнили, как обыкновенная свинина превращается в чудесную пастрamu.

Чутура следила краешком глаза за всеми этими хлопотами и сплетничала в свое удовольствие. Наступила зима, работы было мало, а времени свободного хоть пруд пруди, и чутуряне сплетничали. Они собирались на перекрестках, в затишках, за фермами и гадали — кого из односельчан Мирча пригласит на крестины и за какие заслуги он его пригласит, а кого забудет пригласить и чем будет вызвана такая забывчивость. Чутуряне прикидывали, во что сможет обойтись гулянка, какую ее часть можно будет возместить подарками гостей, а какая так и останется убытком; гадали меж собой, когда эти крестины могут начаться, когда кончатся, кто уйдет домой улаженный а кто разобидится на всю жизнь.

Чутурянин любит погадать и потрепаться, разговорам этим, казалось, конца и края не будет, да только декабрь был уже на исходе. Предстоящие зимние праздники начали вытеснять на второй план будущие крестины. А было их, этих праздников, много: и рождество, и Новый год, и день святого Василия, хотя, если по правде сказать, то их было вдвое больше — два рождества, два Новых года, два праздника святого Василия. Часть деревни праздновала по старому, другая по новому стилю. Но, конечно, это совсем не означало, что те, которые праздновали по старому, не любили гульнуть вместе с теми, которые придерживались нового стиля, и наоборот — те, которые праздновали по новому стилю, устраивали гулянки через тринадцать дней, когда эти праздники наступали вторично. Потом начали праздновать Новый год с елкой, и, таким образом, праздников прибавилось, и в середине зимы почти целый месяц Чутура носила в карманах пшеничные зерна, колядовала, пела песни, напивалась, дралась и поздравляла.

Нуца очень любила рождественские праздники. Из всего, что было в ее жизни, она больше всего любила вспоминать детство, а вместе с детством чудо из чудес — рождественские праздники. Она мечтала, чтобы и у ее детишек были праздники — ну, если не такие, то хотя бы чуточку похожие, потому что иначе какое оно детство, если без праздников! А ребяташек почему-то вытеснили из обрядов. И все перепуталось. В церкви уже не служили, рождество превратилось в застолье. Детишек в школе не пускали колядовать, а если они сами шли, то колядок не знали — стоят под окнами и мерзнут. Но даже такие

озябшие, не поющие, они ей были дороги, и каждый год, как только наступали холода, она с трепетом ждала рождества и пекла маленькие калачики и пряники и собирала про запас медаки, чтобы в случае, если в сумерках постучатся ребятишки и попросятся колядовать, было с чем выйти и одарить их.

И в том году она ждала рождественских праздников и готовилась к ним. Накануне замесила тесто для калачей, да только спечь было не суждено. Тесто так и осталось в корыте — теперь Параскица что-нибудь там спечет, а Нуцу увезли, и вот она лежит в памытенском роддоме. Лежит на казенной железной койке и сквозь тонкие, едва уловимые узоры заморозков, разбежавшиеся по окнам, следит, как падает первый в том году снег.

Снежинки плывут медленно и плавно, плывут красивые, нарядные, они как будто знают, что вся их жизнь только в этом полете. А им еще хотелось хоть немного этой жизни, и в своем падении они качались, чуть замедлив полет, искали, за что бы уцепиться, хоть бы им соломенную крышу, хоть бы веточку вишни, хоть бы телеграфный провод. А хвататься было не за что, было некогда, их было слишком много, и они мягко стелились на землю, и памятью о них оставался чистый белый покров, растянувшийся на много верст в степи.

Снег начал идти с полудня и шел долго, до самого вечера, а в сумерках, когда мороз окреп и сквозь промерзшие стекла уже ничего не было видно, Нуца вдруг услышала доносящиеся откуда-то издали детские колядки. Несколько тонких, озябших голосочков ведали миру о том, что три старых волхва встретились, и собрали цветы, и сплели венок, и пошли поклониться младенцу, родившемуся в яслях. С другого края Памыnten доносились другая колядка:

Вставайте, вставайте, знатные бояре,  
И разбудите слуг своих,  
Пусть откроют нам ворота.  
Мы к вам идем с колядками,  
Со звездами, с удачами,  
С цветами мы идем.

Была знаменитая ночь перед рождеством, ночь, когда вместе с детскими колядками начинаются удивительные праздники, и как раз в ту ночь родился у Нуцы четвертый ребенок. Родился мальчик, но был он тихим и робким, как девочка, — все в этом мире ему нравилось, все было хорошо, и, тихо посапывая, он все спал и спал на

маленькой кроватке, придвинутой вплотную к кровати матери. Нуца была одна-единственная во всей палате, и это удивительное обстоятельство молодая, но острая на язык врачиха объясняла следующим образом: колхозницы, справляющие рождество по новому стилю, постарались разродиться поживее и вернуться домой на праздники; те, которые праздновали по старому, ухитрились как-то повременить с этим делом, и только жены сельских начальников, для которых служба превыше всего, предоставили природе идти своим чередом.

Палата, хоть и в новом здании, была по-казенному неуютной. Топили каким-то углем, от которого вонь была жуткая, зато тепла было много, и Нуца, довольная тем, что лежит одна и рядом крохотный сынишка, слушала детские колядки. Всю ночь перед рождеством, измученная родовыми схватками, она то засыпала, то просыпалась, но и когда засыпала, и когда просыпалась, в ушах звенела эта колядка, так что утром, когда уже был сын, она никак не могла решить: то ли в самом деле слышала ту колядку, то ли ей примерещилось. Спросить тоже было некого — врачихи и сестры ушли праздновать, оставив старую, опытную акушерку, которая больше всего в жизни любила сидеть, прислонившись спиной к теплой печке, потому-то она и придвинула ребенка поближе к матери, чтобы реже расставаться с печкой.

Нуца была счастлива. Она ласкала сына, запеленатого в старое казенное одеяльце, пела ему эту колядку и думала про себя: надо же, родить в ночь перед рождеством, когда во всей степи, во всех деревнях, под каждым окошком дети колядуют, а колядок этих великое множество! Когда-то их учили по псалтырям и молитвенникам, но потом буйная народная фантазия отошла от закапанных церковным воском букв, и вокруг этих колядок веками расцветал фольклор. Рождество почти перестало быть религиозным праздником. Крестьяне приближали его к своей повседневной жизни, сделав его праздником первого снега, праздником Нового года, праздником детворы. Особенно для детей было много радости. Недели за две они начинали к нему готовиться: разучивали колядки, выпрашивали у родителей колокольчики, бубенцы и с наступлением сумерек накануне праздника отправлялись небольшими группами по деревне. Они останавливались у каждой избушки и спрашивали: «Чьи это прекрасные палаты?» Своих тетюшек они величали знатными боярами, они пели в колядках об уди-

вительной пшенице, которую они желают хозяевам. И пусть у той пшеницы вырастет колос с доброго воробья! Они пели о громадных, как мельничное колесо, калачах, о бесчисленных стадах, которые в будущем заполнят двор бедняков. На рождественских праздниках реальный мир соприкасался с миром сказок. Это умели делать только первый снег и дети, да еще созданные неизвестными поэтами из народа удивительные песни — колядки.

Нуца была убеждена, что все колядки, которые она знала, давно перезабыла, но теперь, лежа в роддоме, она начала их перебирать и сама удивилась той легкости, той плавности, с которой они к ней возвращались. Стоило вспомнить только одну строчку, или мотив, или хотя бы одно слово, хотя бы обрывок мотива, а уж следом бежала целиком вся колядка, и вместе с нею приходил тот удивительный мир, которому имя рождество.

В то далекое время рождество было чудом, и, как любое другое чудо, пробиралось оно к ним медленно, с трудом, и то верилось, то не верилось, что оно когда-нибудь наступит. Зимние ночи длинные — ни конца им, ни края, а за окном воют метели, а в доме холодный полумрак. Только с печи светит оставленная на всю ночь лампада, потому что у самого младшего ангины. По утрам светает медленно, все рассветает, да никак не рассветет, и так и остается на весь день сумрак в доме. И тоскливо — прямо хоть плачь. Окна промерзли так, что хоть стружку ногтем снимай, только в самом верхнем уголке есть полоска посветлее, и если всей детворе соберутся и дружно подышать и отогреть ту полоску, то можно будет потом, к полудню, одним глазом увидеть, как во дворе вьюга складывает и перекладывает высокие сугробы снега.

В доме мало теплой одежды, мало обуви, а на дворе блеют голодные овечки, кому-то надо выйти, и вот собирается отец. Надевает он на себя все, что есть в доме, его всей семьей наряжают, дают наказы, советуют, от чего и как уберечься, а он сердито сопит и ругается, что ту пуговку, которую позавчера наказал пришить, так и не пришили. Часа через два, напоив и накормив скотину, затащив в дом для топки охапку кукурузных объедков из коровьих яслей, притащив пару ведер воды, он наконец возвращается в дом. Раздевается, ругая холод и зиму, заделывает все щели в дверях, чтобы не дуло, и они снова заперты в доме, и это уже до следующего дня. Иногда пойдет по дороге к колодцу сосед. Сядет, укутанный по-

верх шапки старой шалью жены, расскажет, чем они топили вчера печку и чем собираются ее сегодня топить. Затем, посидев молча еще некоторое время, берет ведро и уходит. И снова тоскливо, неуютно в доме, и время тянется долго, пока не стемнеет, а уж как стемнеет, так это на целую вечность. И опять бесконечная ночь, а назавтра еще один серый день, а между ними, рано утром и поздно вечером, теплая мамалыга, отварная фасоль да соленые огурцы. Кукурузные стебли отсырели в коровьих яслях, горят плохо. В доме полно дыму, а детская душонка мается, и жить ей, бедной, так хочется.

— Отец, а что, долго еще до того самого рождества?!

Онаке улыбается: скажи, чего им захотелось! Спрашивает Тинкуцу, которая жужжит веретеном на печи:

— Ты слышала, о чем эти карапузы заговорили?

Он не столько удивлен, сколько обрадован их вопросом, потому что, хоть и в летах, душа его тоже мается, ему тоже никак не дожидаться рождества. Из того неисчислимого моря праздников, которое церковь навалила на бедных чутурия, Онаке выбрал себе только два — рождество да пасху, но уж любил он их и радовался им, как и его дети. И хотя экономии ради календари они не покупали, а если и ходили в церковь, то ни у него, ни у Тинкуцы не хватало терпения достоять до самого конца службы, когда священник объявлял следующий праздник, Онаке тем не менее всегда знал, на какие именно дни приходится те два любимых им праздника и сколько до тех самых праздников осталось еще ждать. Но хоть и знал, говорить не любил, потому что ребенку время может показаться бесконечно долгим, а огорчать детей не хотелось.

— Ну, отец, сколько еще осталось ждать?

— Да ведь как считать... Если понедельно, с одного воскресенья на второе...

— Ну да, понедельно. Так сколько еще?

— Понимаешь ты, если считать неделями, так может получиться, как у того цыгана, который подрядился понедельно бить поклоны за своего согрешившего кума. Или об этом я уже рассказывал?

У ребятишек загорелись глазки, затаилось дыхание:

— Нет еще. А что было? С поклонами этими?

Помимо того, что он всегда мог в точности сказать, когда наступят праздники, у Карабуша было еще одно великое достоинство: он умел, как никто, скрасить унылый и скучный день, умел скоротать длинную ночь. Он

заговаривал холод, и при его побасенках и печь лучше горела, и мамалыга казалась вкуснее, и огурцы с фасолью как-то шли. И он не жалел себя, а рассказывать ему было о чем. Особенно важно было делать это зимой — пасха, та добиралась легче, она приходила вместе с теплым весенним солнцем, с первыми тропками, с прилетом ласточек, окотом овец, а рождество терялось где-то в снегах и то приближится, то снова нет его и в помине. А когда рождество терялось, Онаке сажал вокруг себя ребятшек, рассказывал массу всяких историй, затем, устав, умолкал.

— Отец, спой нам ту колядку.

Как ни странно, а из того великого множества колядок, которые путешествовали по степи, передаваясь из поколения в поколение, Онаке знал одну-единственную: «Вставайте, вставайте, знатные бояре». Но, раз выбрав, он уже любил ее всей душой. Была эта колядка длинной-нредлинной, пел он ее каждый раз по-новому, и, может, потому детям казалось, что знает он множество колядок. Нуца старалась выучить у него эту колядку целиком, хотя была она девочкой, а девочки, как известно, не ходят с колядками, они ждут дома, когда к ним постучатся. Им суждено оценивать эти колядки и воздавать колядующим по заслугам. И когда она уже подросла, и ее ровесники приходили в ночь перед рождеством, и робко стучали в промерзшее окошко, и тонко запевали «Чьи будут эти палаты, такие высокие и светлые», она их слушала, ни жива ни мертва от волнения. И за расцвеченными морозом окнами в самом деле чудилось ей удивительное царство, а когда колядки шли к концу, она подходила на цыпочках к отцу и тихо спрашивала:

— А этик чем отблагодарить?

Без советов тут было не обойтись, потому что после долгих месяцев бедного однообразия крестьянские домики чудом в один прекрасный день становились полной чашей. Лампады уходили по уголкам светить образам, а в домах царили керосиновые лампы, и в каждой комнате, в каждом окошке свет. Ни мамалыги, ни огурцов уже не было и в помине, им надлежало вернуться потом, после праздников, а теперь со всех сторон расходились по деревне запахи жареного и печеного. В домах тепло и уютно. На столах лежат сложенные горками калачи — есть маленькие, и покрупнее, и уж совсем красавцы, и это не случайно, потому что и колядки разные, и каждому нужно воадать должное. Рядом с калачами орехи, пряники,

кувшин с вином и большая миска с пшеничными зернами — иногда хозяева просили колядующих обсеять зернами овечек в хлеву, корову, лошадок, дабы они здоровели и множились.

В ночь перед рождеством деревни в степи ульями гудят, колядки чередуются со звоном колокольчиков, треском пастушьих кнутов. По всем улицам снуют, репетируя, ватаги колядующих, они несут навизанные на длинные палки калачи, гремят карманами, полными орехов. Встречаясь, ватаги хвастают друг перед другом полученными подарками, наводят справки, в каких домах хозяева более щедры, и ломают головы, как бы прийти поколядовать во второй раз туда, где их особенно радушно принимали.

А уж девушки сидят как на иголках — они теряются в догадках, их распирает от предчувствия, они все превратились в слух, потому что среди колядующих наверняка придет тот, с которым ей жизнь прожить, и очень важно не обидеть его, иначе потом долго он будет вспоминать, как они пришли тогда к ним с колядками, а она вынесла только два ореха и один сплюснутый кадачик. Это будущему-то мужу!

— Отец, а этим что бы такое вынести?

Онаке, конечно, в это не вмешивался, да и Нуца спрашивала больше саму себя и тут же решала, что и как, и выносила на порог калачи, орехи, пряники. А когда под их окнами раздавалась та знаменитая колядка, за которой следила вся деревня, та чудесная песня, от которой душа тает, вместе с дочерью выходил на порог и сам Онаке. Он приглашал колядующих в дом, усаживал, спрашивал о морозе, о родне, наливал им по стаканчику вина, а после того как Нуца раздавала им по крупному и красивому калачу, он, покопавшись, находил в кармане по одному-два лея на каждого. Тронутые таким приемом, ребята просили разрешения поколядовать еще раз, теперь уже в доме. И они пели еще лучше, красивее, и дрожал свет в керосиновой лампе, дрожало вино в стаканах, и Нуца, пугливо прижавшись в уголке, стояла затаив дыхание, и все кружилось перед ее глазами: и песня, и сами поющие, и вино, и пшеница, и слина отца.

**Вставайте, вставайте, знатные бояре,  
И разбудите слуг своих!**

Боже мой, какая уйма времени прошла с тех пор, как далеко ушли от нее рождественские праздники, и кажется просто чудом, что еще и теперь можно встретить лю-

дей из тех давних времен. Жив Онаке, живы и многие из тех, которые когда-то колядовали под окнами его дома, хотя колядовавших теперь уже не узнать и колядки свои они вряд ли помнят. Онаке тоже изменился, постарел, но колядку свою он помнит, и если его хорошенько попросить, он может после стаканчика вина спеть ее с начала до самого конца.

Он редко менял свои привычки, и те два праздника, любимые им в старину, любимыми остались и теперь. К удивлению всей Чутуры, хотя церковных календарей теперь не было и в помине, он по-прежнему знал, на какой день приходится пасха, на какой будет рождество. И хотя подросшая ребятня почти не ходила колядовать и не знала колядок и калачи в домах перестали печь, он по-прежнему ждал рождества, и как только наступал тот знаменитый вечер, шел к Нуце, стучал в окошко и спрашивал, можно ли колядовать. Нуца, ясно, приглашала его, и после стаканчика вина он пел свою колядку. Потом Нуца пела свои, и долго, целый вечер они все вспоминали те далекие рождественские праздники, и, полузабытые, выцветшие в этом море будней, праздники как-то оживали и оставались с ними еще годик-другой.

— Интересно, как он там без нас, бабушка...

Впервые в жизни Онаке не постучал в ее окошко на рождество, и Нуца вдруг подумала: ничто не вечно в этом мире. Старика вдруг может не стать, и уже никто не придет к ней с колядками. Она не знала, какой будет та жизнь, когда к ней не придут с колядками, но хорошей уже быть не могла, и лежа здесь, в роддоме, она вдруг соскучилась по старику. Соскучилась в один миг, и так сильно захотелось видеть его, как это бывало с ней только в далеком детстве, когда отец был единственной надеждой и защитой. А он не приходил. Он не пришел в тот вечер, накануне, когда колядуют дети, и она ждала его весь второй день. Чутура была рядом, по тропинке час ходьбы, погода хорошая, валенки у него были, и она все прислушивалась, перебирая походки всех посетителей роддома, а его все не было.

Так прошел первый день рождества, второй, третий, он все не приходил, а потом и приходило было уже поздно. Наступили холода, завывали метели, степь окаменела. Года четыре подряд зимы были теплые, дождливые, и люди как-то стали забывать, что такое мороз и вьюга. Они и топливом на зиму не особенно запасались, и валенок не покупали, и вдруг настали холода, ворвались в

степь с таким ожесточением, словно мороз карал ушедший из-под его власти народ.

Несколько дней кряду ветер нес по степи мелкий, крупчатый, тяжелый, как песок, снег и все закручивал его высокими столбами, стелил длинными шалами, складывал в горбатые сугробы, потом, раздумав, разрушал и начинал все заново. Замело дороги, деревни. Одни крыши виднелись на местах бывших деревень, да в поле едва выглядывали верхушки телеграфных столбов с белыми фаянсовыми чашечками.

В роддоме стало холодно — кто-то кому-то сказал, а тот забыл передать, и уже нет дров и нет угля. Собрались все в одну палату: и роженицы, и дети, и врачи. Нуца лежала укрытая четырьмя одеялами, согревала своим дыханием сына, а душа ее по-прежнему пела: «Вставайте, вставайте, знатные бояре!»

— Ничего, — шептала она сыну, — вот вернемся и сами пойдем поколядуем деду...

В тот день, когда их выписывали, мороз спал, вьюга стихла, но снегу было так много, что Мирча никак не смог добраться на машине до роддома, и пришлось Нуцу с ребенком вывезти на маленьких санках задом, через улицы, до самого железнодорожного переезда.

— Вы мне только не простудитесь, — уговаривал их Мирча, усаживая в голубую «Волгу», выпрошенную у председателя колхоза специально для этого. — Вы только продержитесь молодцами, остальное — моя забота.

И он в самом деле все хорошо продумал. В машине было тепло, были и шубы, и коврики, и бензином не пахло — машина не шла, снег был глубоким, она бы все равно своим ходом не пробилась, и ее привязали длинным тросом к идущему впереди трактору. Семь километров, отделяющих Чутуру от Памынтен, они проделали часа за два — то трактор глох, то трос срывался, то машину заносило с сугроба на сугроб, и Мирча, раздетый, в одной телогрейке, бегал без конца от машины к трактору, от трактора к машине. Нуца стучала ему в окошко, чтобы он оделся, простудится ведь, но, как и следовало ожидать, мороз его не взял, а она таки простыла. Может, потому, что машина ползла молча и Нуца никак не могла привыкнуть к езде в таких диковинных санях, может, оттого, что ослабла после родов, но с полдороги стучала кровь под подбородком, в том самом месте, где у нее что ни год появлялась ангина. Ребенок, встревоженный дорогой, то плачет, то снова уснет. Нуца держала его на

руках, начинала мурлыкать ему какую-то колыбельную, а затем колыбельная нет-нет да и оборачивалась песней о высоких светлых дворцах.

«Теперь старик, верно, стоит во дворе и ждет нас не дождется...»

Еще издали, из машины, увидев свой двор, полный народу, Нуца содрогнулась. Это был бессознательный, унаследованный от матери страх — если, возвращаясь, видишь толпу у себя во дворе, значит, большое горе в твоём доме. Или пожар, или что-то забирают, или помер кто. Но нет, Мирча спокоен, у собравшихся лица светлые, и царящая там суета не предвещает ничего плохого. Несколько женщин, подпоясавшихся белыми полотенцами, то вбегали в дом, то выбегали, два соседа надрывались под коромыслами, из дымохода валил дым вовсю, а в доме, видать, топили так давно, так долго, что снег на крыше местами начал таять. И это было только начало, потому что во дворе несколько подростков рубили уже хворост, а Параскица стояла рядом и ждала, когда они его нарубят, топить было нечем.

Сидя в машине с сыном на руках, Нуца подумала:

«Едва дождались, пока я разрожусь — душа горела... Что ж, гулять так гулять».

Но произнесла она это про себя как-то мимоходом, безразлично, словно другая женщина возвращалась с сыном из роддома и, увидев, что творится у нее во дворе, радовалась, а в это время сама Нуца, все ее измученное, истосковавшееся существо припало к маленькому окошку «Волги». Она искала во дворе высокую костлявую фигуру старика в серой шапке. Она искала его и среди чужих, и среди близких им людей, искала его за занавесками окон своего дома, искала во дворах соседей, за занавесками их окон, искала вдоль улицы, и за поворотом, и у колодца, там, где вечно застревали мужики. Она искала родного отца, того знаменитого в Чутуре звездочета, который всегда мог сказать, когда наступит рождество, искала того, кто еще помнил колядки и умел пригласить в свой дом и отблагодарить колядующих...

А его не было. Трактор наконец умолк, машина остановилась, чуть не доехав до их калитки. Нуца передала ребенка Мирче, потом и сама вышла. Она улыбалась пришедшим ее встречать соседкам, родне, знакомым, а душа у нее плакала, точно старика и в самом деле не стало и некому уже будет называть ее дом высоким светлым двор-

дом. Она шла за мужем медленно, а идти ей хотелось еще медленнее — она вдруг испугалась этих крестин, она боялась переступить порог своего дома, она могла войти и ничего уже не узнать из всего, что в доме было.

К своему великому счастью, в сенцах она встретила Параскицу. Она молча посмотрела в глаза своей соседке, и безграмотная старушка в одну сотую долю секунды поняла, что Нуце больше всего в жизни хочется побыть наедине, убежать куда-нибудь от всей этой ярмарки, а поняв чье-нибудь горе, Параскица уже не стояла сложив руки. Рядом с кухней в доме Нуцы была маленькая комната — сначала она мыслилась как детская, но детям там не понравилось, они перешли в другую, более просторную, а эта маленькая каморка осталась чем-то вроде кладовой. Параскица тут же убрала ее, затащила туда диван, детскую кроватку, а тепла в доме было не занимать. Приготовив все, она вырвала Нуцу вместе с ребенком из объятий кумушек, улоскила их, а сама стала в дверях и с упрямством своего деда, прослужившего двадцать пять лет в царской армии, отбивала все атаки.

— Нельзя. Чтоб не спазить.

А в доме царил невероятная суматоха. Ни дверь открыть, ни пройти, ни сесть. Горы чистой посуды, ящики с выпивкой, сладости свежей выпечки, сладости вчерашние, горшки с рисовыми голубцами, мясо в разных видах и еще тысяча всяких всячин разложены на окнах, на столах, на полу. И людей кругом битком набито. Все они бегают в поисках главного, ищут хозяина, а его все нет, и они советуются друг с другом, как быть. С одной стороны, они не уверены — хорошо ли будет, как они решили, но времени в обрез, и предстоящая гулянка торопит, взвинчивает их.

Ребенок уснул, и Нуца подумала: хорошо, что спит и не видит, что творится у них в доме. Она сидела такая же печальная, какая вошла, а потом ей вдруг показалось, что ее одурачили. Выманили хитростью на две недели из Чутуры, а в это время голодная свора окружила ее дом. Теперь в сумерках жалеют саранчой, выпьют и сожрут все, что только будет в доме, перетопчут и перекорежат каблуками полы, испоганят мочой весь снег во дворе, а под утро разойдутся, горланя песни, и останется она одна-одинешенька с маленьким ребеночком на руках, и ни тебе радостей, ни праздников, ни рождества.

— Мирча!

В слонном гуле, царившем в ее доме, вдруг наступи-

да глубокая тишина — слышно было только, как трещат хворостины в печи.

Кто-то тихо спросил:

— Что случилось?

Ему ответили шепотом:

— Кума позвала кума.

И только когда Мирча появился на пороге каморки с каким-то длинным шнуром, в дом вернулась привычная суматоха. Мирча стоял, меряя на глазок обрывок шнура, — в последнюю секунду выяснилось, что не горит лампочка в каса маре и нужно было весь шнур заменить.

— Ты меня звала?

А сам прикидывает вершками — хватит ли ему того шнура или не хватит? А если его не хватит, тогда что?

— Мирча, ты мне даже не сказал, сколько народу и кого именно ты пригласил в кумовья.

— Разве не говорил?! — удивился он и снова прикидывает: а может, хватит его, этого шнура?

— Нет. Ты мне не говорил.

— А что же ты раньше не спросила! Теперь я и сам уже не помню. Посмотрим, кто вечером придет — тот, значит, и кум.

— Смотри, не забыть бы кого. Особенно наших старых друзей, тех, что победнее, поскромнее — застенчивого человека ничего не стоит забыть.

— Ну, тех, кто уж совсем застенчивый, я, конечно, не позвал — чего их мучить, вгонять из одной краски в другую.

— А отца позвал?

Она еще не успела спросить, как вдруг поняла, что он не пригласил старика, и пожалела, что спросила. Уже несколько лет, с того самого дня, когда Онаке навестил Мирчу в Хыртопах, они не ладили друг с другом. Сколько раз она пыталась выяснить, что же там между ними произошло, ничего не смогла узнать. Теперь, в роддоме, она подумала, что, может, с рождением сына они помирятся, но нет, видать, они разошлись надолго.

Мирча вдруг улыбнулся — а черт с ним, с этим шнуром. Не хватит, так не хватит. Сказал жене:

— Могу послать за ним.

Все-таки в глубине души он был хорошим человеком, он был готов к примирению, и Нуца, щадя его самолюбие, отсоветовала:

— Ну зачем через кого-то. Придет и сам.

Сказала она все это спокойно, убежденно. Ее спокой-

ствие передалось Мирче, и он, будучи нарасхват, тут же вышел, а Нуца, оставшись одна, пригорюнилась, и предательские слезы начали застилать ей глаза. Чтобы как-то отвлечься, не думать больше об этом, она перепеленала сына, принялась его кормить. Но душа ее металась беспрестанно, какие-то древние причитания прорывались сквозь весь шум, царящий в ее доме, и она подумала: а не случилось ли что со стариком и ей не говорят нарочно, чтобы не расстроить?

Вошла Параскица. Чтобы успокоить себя, Нуца принялась рассказывать ей, как сложно и трудно добрались они из Памынтен в Чутуру, но Параскица слушала плохо. Она была занята, ей было некогда. Она отварила смесь ромашки и еще каких-то цветов, которые, говорила она, помогают от простуды. Напоила горячим отваром Нуцу, укрыла тремя одеялами, и когда по Нуцыному лбу стали катиться крупные капли пота, Параскица прошептала так, чтобы даже малыш не слышал:

— Пойти позвать его?

Мокрые ресницы Нуцы вздрогнули — откуда эта старушка могла все знать? Потом те же мокрые ресницы сказали: пожалуйста, сходите позовите. Параскица тут же, наскоро надев старое пальто, обув глубокие галоши, чиненные и перечиненные множество раз, пошла напрямик, по сугробам. Галоши тут же набились снегом, и старушка вся посинела, окоченела от холода. Другая на ее месте после такой дороги слегла бы на всю зиму, может, и не выкарабкалась бы, но Параскица, перезимовавшая уже столько зим в тех галошах, ничего не боялась. Час спустя она вернулась, посиневшая так, что слова не могла выговорить, но ее глаза светились после удачно завершенного предприятия. Вконец измученная душа Нуцы успокоилась, и она уснула рядом с кроваткой сына.

Первыми появились музыканты. Они приехали на санях, отогрели в сенцах свои трубы, выпили с дороги по стаканчику самогонки, потом вышли во двор и, став полукругом, разразились мелким, буйным танцем, который должен был оповестить всю деревню, что знаменитые крестины в доме Мирчи начинаются. Гости только этого и ждали, тут же стали собираться. Мирча встречал их с присущей случаю церемонностью у ворот, провожал в дом, усаживал, обещал каждому чутуриянину показать сына, а его жене дать подержать на руках малыша.

И с дороги, с холоду, по ступочке, а музыканты только входили в азарт, но все это, конечно, было лишь затравкой, остальное, самое главное, еще должно было произойти.

Все говорили шепотом, прилушываясь к чему-то, и вот тихо заурчали легковые машины. По едва пробитой трактором колее приехали две «Волги» и стали у ворот — одна местная, голубая, другая черная, из района, нарочно на эти крестины приехавшая. Машины стали у ворот, въехать нельзя было, одни сугробы, но Мирча настоял, чтобы машины непременно въехали во двор. И приехавшие на машинах, и сами «Волги» были его гостями, и он должен был их принять с присущим молдаванину гостеприимством. Вызвали кумовьев на улицу, расчистили снег, промерзшие ворота были отчасти раскрыты, отчасти сломаны, и вот наконец обе «Волги» во дворе у самого крыльца.

Крестины начались. И вдруг на одно мгновение все в доме утихло. Наступила минута неловкости, как это бывает всегда, когда собрались гости, но еще не сошлись меж собой, и Нуцыно сердце вздрогнуло от ужаса — господи, вдруг все это рухнет, и крестины будут неудачны, и вся эта трата будет напрасной, и все будет потом осмеяно в деревне! Нужно был Мирча, он единственный мог все спасти, он умел это делать. Нужно было быстро найти его, сказать, какой ужас повис над их крестинами. И его нашли, ему сказали, и вот дверь хлопнула, он вернулся откуда-то. Вошел к гостям, что-то сказал, и сразу все заготовали, и заиграли музыканты, и Нуца облегченно вздохнула — слава богу, пронесло.

А старжка все не было. В доме гремели посудой, пахло голубцами, булькала вино в стаканах, и Нуца успокоилась. Она ждала отца, а его все не было. Она мучилась, как в раннем детстве, и не хватало терпения дожидаться его, ну прямо ни капли терпения не осталось. И когда она, измученная, не знала, куда себя деть, прибежал Мирча. Посмотрел на них долго, испытующе, потом, сложив руки, как при молитве, попросил:

— Хоть на пять минут, но нужно показаться с сыном.

Нуца чувствовала себя еще неважно, но, чтобы как-то убить время до прихода отца, сказала:

— Хорошо.

И тут же встала, притесалась, принарядилась в меру, для приличия. Мирча взял сына, и вот они все трое, встреченные гулом и музыкой, вошли в ту большую ком-

нату, где были накрыты стояы. Нуца еще нетвердо держалась на ногах, и кружилось все вокруг, и мутило ее, но она молилась про себя, просила бога дать ей силы, помочь продержаться эти пять минут, потому что так много сил было потрачено, так много было израсходовано.

— Ваше здоровье, кума!

— А за малыша? Я пью за малыша, за поколение!!

— И да пусть они у вас еще родятся — вон какие молодые и красивые оба. Вам бы рожать их да растить!

— Спасибо, — говорила Нуца в ответ на все эти приветствия. — Вам также желаем всего самого лучшего.

У нее стало туманиться перед глазами, но она всем улыбалась, благодарила всех, искала своей рюмочкой в этом тумане рюмочки своих кумовьев, чокалась с ними, а сама все норовила поближе к двери. Когда поздравления и музыка достигли высшего накала, ее уже не было, она вышла незамеченной. Параскица, обругав какую-то молодуху, что не умеет держать ребенка, забрала его и принесла в маленькую каморку.

Охмелевшие от первых стаканов и от музыки кумовья пустились по бурной реке веселья, забыв и о роженице и о малыше. Нуца, счастливая, что так быстро и легко отделалась, с помощью Параскицы выкупала сына, потом накормила, уложила рядом и дала ему поспать немного на свободе, без пеленок. Потом Параскица ушла, а Нуца, оставшись одна, движимая чувством святого материнского любопытства, принялась разглядывать сына. Там, в роддоме, ей не всегда его давали, да она и постеснялась бы так долго, досыта изучать его, а тут, оставшись одна, она решила найти в чертах этого крошечного существа хотя бы намек на то таинственное будущее, которое его ожидало.

У малыша все было еще слишком крошечным, неоформившимся, все было, как это обычно бывает у ребятшек: лобик, щечки, подбородочек. Но она не могла примириться с этой обыкновенностью. Она уже тысячу раз его разглядывала и искала что-то редкое, ему одному присущее. Ребенок был ее плотью и кровью, а она хороша ли, плоха ли, но единственная, других точно таких женщины в мире нет. И ее ребенок, следовательно, должен быть единственным, он не мог быть похож на всех, и вот снова ее взгляд плавно скользит по крошечному личику. И вдруг точно током ударило. Она их наконец узнала. И лобик, и щеки, и подбородок — все это

было ей до боли близко, знакомо; теперь важно было вспомнить, откуда все это, на кого ее сын похож? Она еще не могла вспомнить, но уже радовалась — и лобик, и щеки, и подбородок были переняты ее сыном у хорошего человека. И вот она вспомнила, и поняла, и стала в один миг счастливой. Да, конечно, малыш был похож на ее отца, на Онакия. Похож он был не на нынешнего Карабуша, морщинистого старика, а на того, молодого, сильного и веселого, которого она едва помнила. Тот же высокий, задумчивый лоб, те же скуластые, упрямые щеки, тот же круглый, терпеливый подбородок. Она долго разглядывала сына, она боялась, что сходство может исчезнуть, как это часто бывает в жизни, но нет, чем больше она всматривалась, тем яснее оно становилось, и ахнула Нуца: боже, до чего живуч, и упрям, и вынослив этот род Карабушей! Когда кажется, что их уже нету, и голосишь по ним, они вдруг снова прорываются к жизни, и шумевшие вокруг Нуцы крестины вдруг обернулись торжеством, и сквозь громкие мелодии музыкантов снова начали пробиваться колядки.

Нет, этим колядкам еще не суждено было уйти навсегда, и Нуца вдруг подумала, что в мире все-таки есть справедливость. Пробирается она порой немислимыми путями, другой раз приостановится, а у нас не хватает сил докопаться до нее, не хватает терпения ее дожидаться; когда она приходит — не умеем радоваться ей, не умеем стать на защиту этой справедливости и погибнуть, если нужно будет, ради нее, но она, конечно же, существует.

Осчастливленная этим открытием, Нуца запеленала сына, точно прятала от мира самое большое богатство свое, затем, прислонившись лбом к тихо посапывающему малютке, уснула, но, не проспав и получаса, проснулась.

«Отец идет!»

Все вокруг шумело и грохотало, надрывались музыканты, трещали от плясок полы, хлопали двери, звенели стаканы, но, прорываясь сквозь весь этот невообразимый шум и гам, Нуцын слух сторожил знакомые шаги, и как только во дворе заскрипел снег от той, знакомой ей походки, у нее, еще не успевшей толком проснуться, сладко екнуло сердце, как это бывало в давнем детстве.

«Отец идет!»

Он не сразу вошел в дом. Сначала осмотрел хозяй-

ство — не забыли ли загулявшие хозяева покормить овец, напоить корову, запереть курятник, затем он долго возился на крыльце, сметая снег со своих валенок, и только потом открыл дверь. В сенцах постоял немного — двери вели в три разные комнаты, и он не знал, за какой из них дочь с внуком. На его счастье, вместе с Нудей, хоть и не так зорко, сторожила Параскица, и как только он вошел в сени, она тут же взяла его за рукав, повела через кухню, и вот он стоит на пороге маленькой комнатки и подслеповато щурится, потому что свет здесь прикрыт, а в полутьме трудно разобрать сразу — спит ли мать со своим сыном или они не спят. Сказал на всякий случай тихо-тихо:

— Добрый вечер.

— Добрый, отец.

Он снял шапку, кожух, вешать их было не на что, все гвозди заняты одеждой гостей, и он аккуратно сложил все на пол, а сам сел на маленькую скамеечку. Он ее очень любил, эту скамеечку. Одет он был в старую поношенную одежду, потому что рождество по новому стилю прошло, по старому еще не наступило, а других причин нарядиться у него, видимо, не было. За окном светила ночь белым снегом, старик сидел на низенькой скамеечке уютно, по-домашнему, и все казалось в порядке вещей — был зимний вечер, и он навестил свою дочь. А Нуца лежала и молча разглядывала его — она очень соскучилась по нему. Спросила:

— Как там наши овечки? Мирча, верно, забыл о них?

Она же бросился защищать зятя:

— Что ты! Они и поены, и корму на два дня.

Помолчав, смущенно улыбнулся и сказал:

— Я их зернами обсеял! Пусть ягнята у них будут хорошие — у тебя, говорят, завелись мужики в доме, а мужику без хорошей шапки нельзя.

Нуца все это забыла, она только теперь вспомнила, что на рождество и на Новый год хозяева просили колядующих бросить по одной пригоршне пшеницы в овечий загон, в коровник, в конюшню. Хороший, ухоженный скот во дворе ей всегда казался высшим признаком благополучия, а этот рождественский обычай представлялся весильным, и она вдруг по-детски в него поверила и обрадовалась, точно благополучие уже наступило.

— А нас с сыном вы не обсеете на счастье?!

— Так ведь рождество-то прошло!

- Что с того! К овечкам-то вы заходили.
- Овцы — другое дело, что они понимают, овцы-то...
- Пожалуйста, обсейте и нас. Мы ведь немалою умнее своих овечек.

Старик достал из кармана пригоршню кукурузы, прошептал что-то, взмахнул рукой, и зерна мягко зашеле-тели. Нуца вдруг услышала себя дежламирующей:

Благословенная рука,  
И зерна вырвались на волю!  
А хваткий сеятель идет  
По свежеспаханному полю..

- Спит? — тихо спросил старик.

Нуца не слышала его — как только он подошел близко, она, не мигая, принялась внимательно разглядывать отца — разглядывала его лоб, и щеки, и подбородок.

- Соскучились мы по вас, отец..

— Да ведь к вам теперь, зимой, стало трудно добираться. А мы, старики, хоть и легки на подъем, но нугливы, часто с подороги возвращаемся..

Параскица, главная кухарка и старшая над обслуживающими стол, несмотря на свои бесчисленные хлопоты, нашла время шепнуть Мирче, что тесть пришел. Мирча, хоть и выпивший, митом выскочил из-за стола — подумать только, притащился старик! Несмотря на их взаимную неприязнь, Карабузи все-таки был самым главным человеком в его жизни, и ему очень хотелось видеть его сегодня в своем доме. Надо было пригласить, усадить за стол; может, и сам Василий Андреевич разговорится заодно с ним — начальство ужас как любит поговорить со стариками относительно тяжелого прошлого и прекрасного настоящего. Не хватало стульев, он тут же бросился, нашел старый табурет, но едва он его затащил — какая-то толстозадая гостья расселась на нем, и Мирча подумал, что так ничего не выйдет, надо сначала старика позвать, а потом искать для него стул.

Крепкий, румяный и счастливый, он буквально влетел в их каморку:

- Папаша!!

Он обнял старика и по русскому обычаю трижды поцеловал его. Онаже смутился — ему всегда казались нелепыми эти мужские лобызания, но он мужественно перенес их и, обнаружив рядом на столешке чашку с недопитым Нуцей отваром ромашки, высоко поднял ее, по-

желав счастья малышу и здоровья родителям, чтобы хватило сил вырастить и воспитать его.

Потрясенный Мирча не сводил глаз с чашечки:

— Отец, что за комедия! Место ваших слов — там, за столом, где гости и вино, а в этой чашке лекарство от простуды. Так неужели вы думаете, что я дожил до такой жизни, чтобы, когда родится сын, угощать ромашковым отваром!

Онаке, скосив глаза, нахмурился — только тут он заметил, до чего заносился его правый рукав. Теперь и этот пиджак истрепался, завтра-послезавтра не в чем будет из дому выйти. А в чашке действительно был отвар.

— Спасибо, куда мне за большой стол. Я зашел так просто, посмотреть, как вы тут, а там, видать, большая гулянка, большое начальство...

Мирча был потрясен:

— Отец, о чем вы толкуете! Собрались несколько наших знакомых, и гулянка самая скромная, вернее, не гулянка даже, а обыкновенные крестины. Что до большого начальства, то Василий Андреевич редкой доброты человек. Это даже не человек, а свежая теплая булка! Вот нарочно...

— Нет, — сказал Онаке, — старики на молодой гулянке только помеха веселью.

Он сидел на своей низенькой скамеечке — седой, небритый, упрямый. Озадаченный Мирча долгим острым взглядом в который раз изучал его заново, и Нуца привстала, ей показалось, что теперь наковец откроется, что же между ними было там, в Хыртопах. Но нет, ничего не последовало. Мирча сказал просто:

— Вы, отец, прожили свое, взяли от жизни то, что было ваше, и никто вам, кажется, не мешал. Так не мешайте и вы нам взять от жизни то, что нам полагается.

Онаке виновато улыбнулся:

— Сохрани меня господь, чтобы я когда-нибудь вмешивался в ваши дела. Я же говорил, что зашел просто так, повидать Нуцу, я ее давно не видел.

Удивленный в высшей степени, Мирча спросил:

— То есть как? Разве вы пришли не на крестины?

— Слава богу, — сказал Онаке с достоинством. — За свою долгую жизнь я еще ни разу без приглашения за чужой стол не залезал.

Большие белые пятна начали расходиться по румянному лицу зятя. Голова сникла, взгляд потух. Все-таки

необъяснима и неограниченна была власть этого старика над ним. Он ворвался в жизнь Мирчи, когда ему захотелось, покинет ее, когда сам найдет нужным, и уже ничего нельзя было с этим поделать.

А тем временем знаменитая гулянка за стеной начала сбиваться со своего настроя, музыканты умолкли, гости приутихли. Еще минута — и они кинутся искать шапки, платки, а их нельзя было пускать по домам: первое условие хорошей гулянки — это чтобы до белого дня. Мирче совсем не хотелось туда идти, он бы их отпустил с миром по домам, но в нем уже жил бригадир, и этот бригадир принимал сегодня в своем доме самого Василия Андреевича.

Онаке опустил голову, а Нуца отвернулась, чтобы не стеснять мужа, не видеть, как он встанет и пойдет исполнять долг службы. Мирча оценил их деликатность, встал и вышел, но минуто спустя вернулся со старой табуреткой, которую он перед тем раздобыл для старика. Поставил ее перед ним, затем снова вышел, принес тарелку с куриным студнем, другую — с голубцами и графин вина.

— Стаканов свободных нет, но вы можете вылить ту настойку из чашки

И ушел. Некоторое время спустя гулянка начала приобретать то, что называется вторым дыханием, входила в новый ритм. Онаке хоть и не пришел на крестины, тем не менее выпил медленно, не скрывая своего удовольствия, чашку вина, потом поел, временами все возвращаясь к графинчику, словно ему все никак не удавалось установить абсолютную ценность этого напитка. Тем временем проснулся внук. Нуца его накормила, перепеленала, и Онаке попросил подержать его на руках.

— Как вырастили тебя, так с тех пор и не качал детей.

Малыш быстро уснул на руках бабушки. Нуца сначала хотела спросить отца, как он находит, на кого малыш похож, но потом раздумала. Это сходство внука с дедом стало для нее самым дорогим и заветным, стало смыслом ее жизни, и она испугалась вдруг, в один миг, потерять все. Не лишенная суеверия, переговариваясь со стариком о том о сем, она начала убеждать себя, что сходство самое отдаленное и нужны будут еще годы и годы, чтобы эта похожесть нашла себя и определилась.

Погоуляв по комнате с малышом, Онаке уложил его рядом с матерью, а сам взял шапку, начал примериваться к ней, словно собираясь надеть и уйти, но уйти он тоже не мог. Он чувствовал всем сердцем, что в этом доме не все ладно, что дочери трудно, но не знал, как ему быть. Они, такие близкие, все время оставались далекими, чужими друг другу, между ними так и не возникло того духовного общения, ради которого родители ходят к своим детям. Ему было очень грустно от этого, Нуца была единственным родным ему человеком в деревне, им бы все сидеть да говорить, а говорить как будто стало не о чем.

— Посидите еще, отец. Ночи теперь длинные, до утра еще далеко.

— И то сказать, пока того рассвета дожدهшься!

Он послушно сел на свое место, благодарный дочери за то, что она попыталась хоть как-то наладить их общение. А как дальше быть, он опять не знал и поэтому, уже сидя на маленькой скамеечке, все еще вертел шапку в руках и примеривался к ней. И тут Нуца спросила:

— Как вам эта зима? Я ее, правда, только из машины видела и даже не знаю — хорошо ли, плохо ли, что столько снега намело?

— Большие метели, говорили старики, — большие початки.

— Да ну ее с богом, — сказала Нуца, — ту вашу кукурузу. Один ее вид нагоняет на меня тоску.

— Вот, знал бы, обсеял бы вас с сыном другим каким зерном. А чего ты против кукурузы ополчилась?

— Бедности боюсь. Избави бог! Думаете, я не помню, как мы, бывало, когда-то жили; дни, а то и недели на одной только мамалыге? И не просто жили, на солнце били таянками по пересохшей земле, чтобы вызвать из сорняков опять ту же кукурузу...

— Ничего, после родов почти у всех баб бывают такие странности в настроениях... Потом отойдешь. Я, помнится, когда-то ее тоже недолюбливал.

— Будет вам на себя наговаривать. Вечно там у вас во дворе шуршит листвой кукуруза. В школе меня, помнится, мамалыжницей обзывали, да и теперь на лицах прохожих, когда они идут мимо вашего дома, нет-нет да и мелькнут ухмылки. И то сказать — у кого возле дома яблоня, у кого виноград — тысячи по три-четыре что ни год выручают со своих приусадебных участков,

а вы на той вашей кукурузе от силы две три-сотни наскребете...

«Господи, — подумал Онаке, — вот и моя дочь стала все пересчитывать на рубли. Да и то сказать, куда она денется от мужа, ибо, как сказано в писании, ты вот есть одна половина, а ты вот есть другая половина...»

— Да если бы та кукуруза, — сказал он вслух, — упала бы в цене, так что стояла бы копейки, я бы все равно ее сеял...

— Вот-вот. В селе так и говорят — Карабуш, мол, из одного только упрямства...

— Дело не в упрямстве.

— А в чем?

— В верности.

— И кому вы ту верность так долго храните?

— Нашим бедным, нашим достойным предкам. Ибо да будет тебе известно, что наше прошлое...

— Да что в нем хорошего, в том нашем прошлом?! Нищета да войны с турками. И еще одна война с турками, и опять новая нищета...

— И все-таки, дочка, и все-таки.. Народ наш выжил благодаря кукурузе и мечте о справедливости. Не дай нам бог забросить стезю своей старой бедности и поддаться соблазну сытой и богатой жизни. Ничто так не опустошает дух человеческий, как нажитый им достаток, и, если все время высчитывать да выгадывать, как бы нам не променять своих ангелов-хранителей на быструю езду в собственном автомобиле.

— Но не вечно же нам трястись в допотопных телегах, как та наша тетка-монашка с берегов Днестра...

— А, нет, потом у нее, после войны, лошадь украли. Ты не поверишь, они там, на Днестре, до сих пор воруют лошадей! Ну а без лошади телега у нее развалилась. Последний раз, перед кончиной, когда она меня навестила, приплелась, бедняжка, пешком с узелком кукурузных зерен... Она называла этот сорт «ханган» и шепотом умоляла меня беречь его, потому что ни у кого этих семян больше не осталось...

— И вы их храните?

— А то как же! Они у меня на чердаке, в глиняном горшочке, и очень тебя прошу, когда меня бог приберет и ты будешь выбрасывать все то немногое, что мне удалось нажить, не забудь тот узелок с кукурузными

зернами... Возьми и береги его тут у себя сколько сможешь — он счастье принесит. А тетку я часто вижу во сне. Вот она идет, уже столетняя, сгорбленная, с узелком зерен к дальнему своему родственнику... Мировая тетка была! Слова лишнего из нее не вытянешь. Дело, дело и только дело. Иной раз, помнится, сядешь с ней рядышком...

Как это с ним всегда бывало, когда на него находило вдохновение рассказчика, слова то лились потоком, то рассыпались ручейками, и каждый ручеек бежал по своему руслу, потом они снова сливались в одно, и река лилась, и веяло от нее прекрасным миром сказок, уюта, доброты. Нуда слушала, зачарованная, и думала, чем бы его отблагодарить, что бы ему в ответ рассказать, но речь отца укачала ее, и она уснула.

За стеной гости вдруг начали петь. Пели русские, украинские песни. Начали было и одну молдавскую — «Поржавели листья виноградики», но бросили ее недопетую. Запевала низким, грудным голосом жена председателя колхоза. Была она баба с лентой, вредная, но голос у нее был удивительный. Ее запевка подстегивала, накаляла, и когда наступал черед подпевающим, сотрясались и окна и двери. Но ни мать, ни ее дитя не слышали этого веселья. Они, передав все заботы и тревоги старику, сладко спали. Часа два старик подремал на низенькой скамеечке, охраняя их покой, а под утро встал и тихо, чтобы не разбудить, оделся и вышел.

На улице было светло и морозно. Онаке глубоко вдохнул в себя холодный, свежий воздух; приободрился, и даже показалось ему, что он не так уж стар. Поставил, размышляя. С некоторой опаской обошел стоявшие у крыльца «Волги», точно это было самое опасное, что подстерегало род человеческий. Аккуратно обогнув их, выбрался на дорогу и медленно зашагал по глубоко пропаханной в снегу трактором колее.

Вокруг стояла глубокая тишина. И ни одной живой души. Деревни и в помине не было. Заваленная высокими сугробами, прихваченная морозом, Чутура вся ушла куда-то вглубь, спала, согретая собственным дыханием, и ни огонька, ни шиточки дыма, ни собачьего лая. Это казалось просто удивительным, потому что время близилось к утру, а чутуряне, приученные за лето отсыпаться коротким крепким сном, вимой изнывали

под гнетом холодных, длинных ночей. Вставали они за-долго до рассвета. Топили печи, скрипели журавлями ко-лодцев, кормили скотину, прочищали в снегу дорожки. Хотя и то сказать — когда как. Иногда деревня любила вставать рано, другой раз заспится.

«Хитра же эта наша Чутура», — не то с осуждением, не то с одобрением подумал про себя Онаке.

Чутуру и вправду последние годы лихорадило как-то. Она жила своим настроением, это и только это было для нее важно. А настроение ведь дело случая — поди погадай, когда и что на тебя налетит. Вдруг в самый обычный, рабочий, хмурый день на Чутуру находило веселье, и она так разгуливалась, что удержу ей не было, и слава об этой ни с того ни с сего налетевшей гулянке шла по всей степи. А другой раз наступит праздник, и чутурянки все, что нужно, сготовят, и вла-сти кого только можно от нарядов освободят, и сами люди приоденутся, принарядятся, и все хорошо, осталось только сесть за стол, налить вино в стаканы, а вот праздновать чутурянам почему-то не хочется. И ходят они унылые, ругаются с женами, грызутся друг с другом, назло самим себе берут лопату или еще что и начинают ту пустяковую работу, у которой даже назва-ния нету, просто лишь бы не праздновать.

С самого начала, как только зашел разговор о кре-стинах в доме зятя, Онаке подумал — что ж, посмотрим теперь, как к этому отнесется Чутура. Он начал после-живать за переходами в настроении односельчан, и, по его расчетам, все шло как нельзя лучше. Накануне крестин под вечер стихла метель, и, как всегда, когда утихали метели, какое-то облегчение наступало в степи, и веселая работа расчищать дорожки будоражила, весе-лила всех. Подумать только, что натворила было эта метель, но черта с два, они заново отыщут в этом снегу и свою скотину, и колодцы, и соседей, а там, глядишь, и их самих откопают.

И вдруг с наступлением сумерек, как только приеха-ли музыканты и заиграли во дворе зятя Карабуша, в сложном механизме, управляющем настроением дерев-ни, что-то с чего-то соскочило, и вот она уже не в духе. Люди укрылись по домам, и когда Онаке собрался к своей дочери, он заметил с некоторым удивлением, что, хотя время было раннее, деревня торопится пораньше лечь спать. Она не видела тех двух машин, с таким трудом пробивавших себе дорогу к дому Мирчи, она не

слышала музыкантов, до нее не доходил шум веселых крестин. Она была почему-то не в настроении. День для нее был обычным зимним днем, и многие из приглашенных на крестины, и все те, кого не пригласили, поспешили на покой. Прохожих становилось все меньше и меньше, огоньки гасли быстро, и деревня начала засыпать под сугробами.

«Злыми стали, черти...»

Она же не осуждал своих односельчан, наоборот, он относился к ним с некоторым пониманием, потому что и у него самого не было никакой охоты веселиться в ту ночь. Он тоже не слышал, как надрывно выли те две «Волги», пробирающиеся на крестины, не слышал медных труб, не видел, как шли односельчане парами к дому его зятя. Ну а то, что он все-таки пошел, так ведь дочь родная, а то, что выпил немного, так ведь рождество и так уж заведено, что если в эту пору родители заходят к своим детям, то их принимают, угощают.

Все это было так, всему были свои объяснения, и при всем том возвращался он грустным, и в голову приходили печальные мысли. Он шел и думал, что в том году колядок в Чутуре почти совсем не слышно было. Уходило из жизни рождество. Такой чудесный праздник, и уходил, а вместе с ним уходило столько веселья для ребят, для взрослых. Хотя, думал он, кто знает, со временем, может, придумают другие веселые праздники, но только пока новых нет, не нужно бы эти забывать. Праздник — прежде всего радость, а радость — это жизнь. Одно без другого не бывает.

Из далекой снежной дали выкатилась луна, и ночь стала светлой, ослепительной, как в сказке. Таких ночей в году бывает мало, крестьяне их, как правило, чувствуют, и просыпаются, и выходят на улицы, и радуются, но теперь Чутура была не в духе, она спала. И так было жалко старому Карабушу — односельчане спят, и пропадает это великолепное царство красоты. Огромная луна, а небо синее, и так много его, этого неба, и так много сини. Кругом светло как днем, но свет необычный, мягкий, золотистый, и от этого все вокруг кажется странным, причудливым, и сама степь похожа на диковинное море, остывшее вместе со своими волнами. А волны эти серебрятся, и каждая снежинка вежится и купается в лунном свете. Длинная, черная тень старика на секунду

наступит, погасит их веселье, а снег скрипит, тень идет дальше, и снова они блещут. Старик вдруг почудилось, что снега поют. У них была своя снежная песня, ее удивительный мотив чем-то напоминал отдаленно наши колядки, и Карабуш подумал, что не будь таким старым, он попытался бы перенять эту песню у белых снегов.

У старика вдруг заболело сердце. Он думал — может, от холода, или от вина, или оттого, что совсем не спал в ту ночь, но, гадая про себя, он отлично знал, что с некоторых пор его сердце жило как-то само по себе: со своими радостями, со своими горестями, которые не всегда были понятны Карабушу. А не поняв боль, ее ведь и лечить трудно, и вот старик идет, и сердце поет, а чем его успокоить, он не знает. Надо просто так идти, думал он, и не мешать той боли, дать ей переболеть себя. И он шел, и все кругом цело о чарующей красоте, а сердце ныло.

Дом уже был близок, а ему домой не хотелось, он думал, куда бы еще свернуть, чтобы побродить, насладиться этой красотой. Отчего-то ему опротивел собственный дом. За то время, пока шел, он возненавидел и его стены, и крышу, и окна. Ему вдруг захотелось свернуть с пути, уйти в мир, найти там других людей, ужиться с ними, построить заново дом и начать жизнь сначала. Но была уже поздняя ночь и было холодно. Руки окоченели до локтей, и уши мерзли, и, хотя ему хотелось идти в другую сторону и начать все сначала, ноги несли к старому дому.

Он уже почти дошел, оставалось не больше ста шагов, но вот он остановился как вкопанный, и вмиг потускнела красота ночи, и сердце замерло, и чувство страха сковало его. Потом, придя в себя, он быстро оглянулся, чтобы найти палку, или камень, или что-нибудь другое, чтобы защитить себя, хотя сам еще не понимал, что произошло. Как нарочно, вокруг — ни палок, ни камней, ни друзей, один снег и сугробы, и только тогда старик увидел открытые настежь двери своего дома. Подкараулили, сволочи, и теперь грабят. Собирают, верно, наспех в мешки его бедные пожитки.

Он снова стал оглядываться — не может быть, чтобы прямо-таки ни палки, ни камня, ни живой души, а их в самом деле не было, и только далеко-далеко слышно было, как запеваает жена председателя колхоза. Он стоял и думал, что ему бы теперь самое время спрятаться, не то воры заметят и прибудут, долго ли пристукнут старика.

Но воров все не было, они не спешили уходить с награбленным добром. Входные двери, раскачиваясь, тихо поскрипывали, и Онаке с чего-то подумал: а может, это все не воры, может, Тинкуца с сыновьями навестила его в этот рождественский вечер. «Господи, я так мало вина выпил, а в голову лезет невесть что...»

Разозлившись на себя, предварительно покашляв и набрав нужную долю храбрости, он пошел дальше, дошел до самого порога, но переступить его ноги не хотели.

«Боятся, сволочи...»

Ноги, особенно коленки, были самой трусливой частью его тела — это он давно подозревал.

— Эй, кто там?!

Три мешка с пшеницей, два с кукурузными зернами, семь каракулевых шкурок, бочонок с брызгой и восемьдесят рублей, припрятанных под стелькой старого ботинка, — все его добро было на месте. Тинкуцы с сыновьями тоже не было, и Онаке стал подумывать: а не оставил ли он сам двери открытыми, когда уходил из дому? Ведь бывает же так, вдруг вышибет память — и хоть ты что!

На этот раз аккуратно прикрыв двери, чтобы не застудить дом, взял железную лопату и принялся прорывать в сугробах дорожки. Чистить снег — эту работу он любил еще с детства. Когда он подрастал, в доме были старшие, чистили снег сами, а Онаке целые дни ходил за ними, выклянчивал лопату. И всю жизнь, когда зимой начинала кружить метель, он думал про себя: где бы лопату достать? Теперь лопата у него была, и он радовался, что кругом такая ночь и работы много, так все хорошо идет. Первую дорожку он прорыл к колодцу, вода — это основа всего. Вторая дорожка пошла к маленькой копне сена, рядом с которой чернели подсолнечные стебли для топки, — ни скотину, ни свою печь забывать не следует. Еще одну тропку прорыл к загону для овец, они хорошие животные. Потом надо было освободить курочек, и, наконец, последнюю дорожку к нужнику — эта последняя не очень удалась, ну, да ничего, сойдет.

Музыканты наконец утихли, в доме Мирчи гулянка подходила к концу, и Чутура наконец начала просыпаться. Дему время — потехе час. Что-то недоброе почудилось Онакию в настроении чутурян, и, едва дождавшись утра, он схватил ведра и засеменял к колодцу. Когда

его интересовало, что думают односельчане, он, вставши чуть свет, хватал ведра и бежал к колодцу. Там последние новости, там высшая политика, ум и совесть села.

— Господи, бедные американцы, что же с ними будет-то!

— А что случилось?

— Как, неужели вы не слышали? Вчера дважды, а некоторые говорят — трижды передавали по радио. С моря целая буря, говорят, какой-то тайфун с жепским именем прошелся по западному побережью — срывало крыши домов и закидывало черт-те куда!

Судьба американского побережья как-то меньше волновала в тот день Карабуша, и, оставив дома полные ведра, он потопал в западную часть Чутуры. Как там ни крути, а у тех родников на западе села собирались наиболее старомодные и, по его представлению, наиболее достойные чутуряне.

— Ну, слава богу, — услышал он у родников. — Теперь жить можно.

— Вы это о чем?

— А говорят, опять увеличат приусадебные участки. А то и правда — ну повернуться негде стало...

Посидев дома в долгом раздумье, Онакий поплелся в восточную часть Чутуры. Соседи, думал он, попросту завидуют и потому делают вид, что ни о каких событиях понятия не имеют. Те, что на западе, еще сто лет будут зализывать старые раны, а тут, на востоке, хоть и победнее, но зато без форсу, без фанаберий. Что на уме, то и на языке.

— Дед, ты куда в такую рань?

— Да вот, по делам...

— А что, ты там поближе к центру живешь — не слышал, в самом ли деле уже завезли?!

— Куда, что?

— Да в кооператив, говорят, поздно вечером завезли.

— Что именно?

— Водку, чего же еще! Эти Морару смурные, они ни в чем меры не знают. А как гулять засели — подмели все вчистую!

«А может, и в самом деле никаких таких событий прошлой ночью не было в деревне? — подумал он. — Ну у бригадира Морару родился сын, ну справляли крестины...»

Вернулся Онаке домой расстроенный, лег, и как-то

все ему вдруг опостылело. Раствориться, исчезнуть, не существовать — вот единственное, чего ему еще хотелось.

## Черные бабочки

С того самого дня Онакию Карабушу стало казаться, что односельчане его как-то стараются обойти, а встретив, как будто не узнавали, и только сильно наморщив лбы и долго почесывая затылки, они наконец начинали его припоминать. Они по-прежнему были с ним дружелюбны, охотно здоровались первыми и дорогу уступали, но, поздоровавшись, уступив уже дорогу, они стояли и как бы думали про себя — слушай, что это за старик и как бишь там его...

«А и поскребите затылки, — думал про себя Карабуш. — И для пальцев и для головы хорошо».

Чутура, конечно, придуривалась. Чутурян можно было упрекнуть в чем угодно: и в бедности, и в глупости, и в трусости, но в том, что они похожи друг на друга, в этом их еще никто не упрекал. Почему-то это было первой заповедью чутурянок — чтобы ее малыш, родившись, совершенно не был похож на других ребятшек, и это им удавалось на славу. Такое человеческое разнообразие вряд ли где еще можно найти — тут и белесые с голубыми глазами, и чернявые, и настоящие цыганята; тут и высокие, тут и низкорослые, и худощавые, и полные собой, и с овальными, и с продолговатыми лицами, но опять-таки каждый был по-своему прыток, у каждого было что показывать и что держать при себе.

Карабуш выделялся среди односельчан своей знаменитой на всю степь походкой. Его всегда узнавали за много верст, и этим он гордился. Шел он медленно, гордо, с некоторой ленцой. У чутурян, как правило, дело не доходило до такой роскоши, чтобы у каждого была еще и своя походка. Люди гоняли сообразно своим заботам — сегодня он бегаёт взмыленный, завтра идет так себе, вполсилы, послезавтра еле перебирает ногами, и вот он снова весь в бегах. Онакию такой порядок вещей как-то не понравился. Он не любил, когда его торопили, не любил, когда его держали за рукав. Лет в шестнадцать он выбрал себе определенный ритм ходьбы, который, казалось, больше всего ему подходит, и это стало его походкой.

Была она у него забавная, и, когда он шел по улице, трудно было сказать — идет ли этот человек с делом каким или просто вышел подышать свежим воздухом и посмотреть, что в мире творится. Односельчан это очень потешало, а может, они завидовали ему и потому много лет подтрунивали над походкой. Карабуш, хитрец каких мало, вместо того чтобы обидеться, смеялся вместе с ними. Потом настал черед прозвищам, без них в Чутуре не прожить. У Карабуша было много прозвищ, и все они так или иначе были связаны с его походкой, но и прозвища успеха не имели. Только много лет спустя нашелся тот мудрый остряк, который, проследив за Карабушем и изучив его походку до тонкостей, однажды, когда было много зевак вокруг, спросил:

— А что, Онаке, дорого обходятся тебе музыканты, которые плетутся за тобой следом и дуют марш за маршем?

Все вокруг загоготали — меткое слово всегда в цене. Походка Карабуша действительно напоминала торжественное шествие свадебного гостя, когда ему играют музыканты марш. Онаке тоже заулыбался — докопались-таки, гады! Запустив под шляпу два пальца, нащупав то роковое место, которое вдруг зачесалось, он печально вздохнул:

— Что тебе, братец, сказать... Денег на них уходит чертова прорва. Не знаю, может, если походить, порасспросить, нашлись бы и другие, чтобы подешевле, да только привязался я к этим трубочам и без них прямо шагу ступить не могу.

На что мудрый и острый на язык чутурянин заметил:

— Смотри, как бы они тебя не надули. А то эти цыгане народ честный до поры до времени. Потом — чуть не так сказал, не так посмотрел, вмиг бросят, и уйдут, и оставят тебя одного на старости лет.

Карабуш устало поднял выцветшие брови:

— С чего это им меня бросать, когда живется им у меня как у Христа за пазухой?

— А ты не обольщайся. Хорошему конца и края нет, а переманивать — на это появились такие мастера...

Некоторая удача да твердость характера помогли, и, удивительное дело, до глубокой старости проходил он своей знаменитой походкой, словно за ним и вправду шли лучшие в стени музыканты. Сколько хлопот, сколько скандалов, сколько неприятностей пришлось из-за этого пережить — один господь знает. И не бегал он по

свету сманивать их у других, и не платил им дармовой копейки, а бед с ними натерпелся — прямо не счесть. То, глядишь, скандалит с Чутурой из-за музыкантов, то повздорит с музыкантами из-за Чутуры, а то сами музыканты с чутурянами сценятся, попробуй разними.

Жизнь прожить — не поле перейти. Но со временем угомонились, отскандалили свое музыканты, и сам он со временем приутих. Они научились ладить меж собой — и понимали друг друга, и прощали друг другу, но была, с самого начала была в их взаимоотношениях одна загвоздка. Онаке был по натуре человеком светлым, открытым, сторонником всего положительного, ну да ведь в жизни всякое случается. Бывает, что и примнут веселый нрав, испортят настроение на долгое время; бывает, что и втянут в какое-нибудь дело, которое положительным может казаться только круглому дураку.

И тут начинались смутные времена в жизни Онакия. Его музыканты были максималистами, они не признавали никаких компромиссов. Они-де, мол, подрядились идти за простым, открытым, веселым парнем и ни о каких резонах и слышать не хотели. Бывали годы, когда бедного Карабуша буквально разрывали на части. Тинкуца вдруг увлеклась возможностью примирить восточную часть села с западной, она верила в союз между Вишнями и Черешнями. Дочери Нуце мерещилась езда в мягком фазтоне. Сыновья пели песни о том, что Европа их зовет на бой, и музыканты грозились бросить бедного Онаке посреди дороги, посреди поля.

Потом пришел черед Мирчи. Музыканты не приняли его с самого начала. Он не добрый, он смурной, сказали они Онакию, а из этих смурных подвалов ангелы не вылетают. Одни бесы оттуда прут. Как будто Онаке не знал и без них, что Морару народ смурной, но выхода не было, и он с чего-то подумал, что накопленного за всю жизнь солнца в поле окажется достаточным, чтобы просветить смурные повадки зятя.

Мирча долго колебался. То он принимая все, что шло от тестя, то вдруг опять не принимал. И все его куда-то несло, все его куда-то подмывало. В рядовых ему не сиделось. Из румынской армии вернулся капралом, из советской — сержантом. Музыканты при встрече с ним брали ему под козырек и не спускали с него глаз, как с самой что ни на есть последней шельмы.

— Не смей! — кричал на них Онаке. — Смеяться над ним — это все равно что смеяться надо мной.

Дело шло к большому скандалу, и Онаке начал принимать сторону Мирчи. Он умел доказывать чужую правоту, умел ставить музыкантов, если нужно было, на свое место, но шло время, Мирча опять выкидывал колена, и снова правыми оказывались музыканты. Но вот Мирча дорвался до хорошей жизни, купил себе мотоцикл, построил дом, и музыканты завопили. То время, пока Мирча укреплялся на поверхности общественной жизни села, было, может, самым трудным в жизни Карабуша. Целые дни и целые ночи в его доме стоял шум. Их было много, этих музыкантов, а он один, и временами они так припирали старика к стенке, что дохнуть было печем. Они корили его, они подсмеивались над ним, и когда он шел навестить дочку, они возвращали его с полдороги, и когда он хотел что-либо передать Нуце, они чуть ли не силой закрывали ему рот, а если он в скромной компании поднимал стакан за здоровье близких, они поровили вылить вино из стакана.

Весть о предстоящей гулянке в доме Мирчи взвизгивала музыкантов до предела. Они и слышать о ней не хотели, будь то рождество или крестины. К тому времени Онаке уже постарел, и музыканты его легко одолевали. Старик не хватало доказательств, не хватало слов, не хватало злости, и они, учуяв свою безнаказанность, просто издевались. Они не пустили его к дочери в район, не пустили сходить помочь зятю, не пустили пойти встретить внука.

И вот настал тот нелегкий зимний вечер. В доме Карабуша тихо, только огонь в печи потрескивает. За весь вечер ни с кем слова не вымолвил. Наступили сумерки, где-то далеко, в том конце деревни, буйная, искрящаяся мелодия возвещала, что начались крестины его внука, а Онакий сидит, топит печь. Тут же стоят, воинственные как никогда музыканты, а над ними царит зловещая тишина. Огромные черные тучи несутся навстречу друг другу. Приближался последний бой.

Карабуш не собирался уступать. И они не собирались. И неизвестно, чем бы все это кончилось, но вот раздался шаг и на пороге появилась Параскица. Она вошла, посиневшая от холода, ее озябшие руки как-то стыдливо потянулись к огню, но она не пустила их, она всплеснула ими, озябшими, над головой и в ужасе пролепетала:

— У вас же одна дочка, Онаке. Одна-единственная!..  
И ушла.

Кончив топить печку, Онаке встал. В доме по-прежнему стояла глубокая тишина, но она уже не пугала его. Нуца была его кровью, у нее родился сын, сегодня был праздник по поводу того, что ветви его же рода разрастались, и он пойдет туда, чего бы ему это ни стоило. Надел пальто, шапку. В сенцах, в темноте, пошарил на пустой бочке, ища замок, где он обычно клал его. И тут в темноте музыканты нагнали его и снова принялись ворчать. Онаке выругал их, впервые в жизни выругал их грубыми мужицкими словами и вышел.

Он ушел, а они остались. К своему несчастью, он забыл запереть дверь дома. Может, потому, что он их выругал, а может, потому, что забыл дверь запереть, они ушли, и когда он вернулся, дом был пустой. Только на второй день он обнаружил на печи маленького цыганенка с барабаном — он бы тоже, наверно, ушел, но, должно, сладко спал, и те не смогли его добудиться.

«Ладно, — подумал Онаке, — в конце концов, им так или иначе нужно было уходить, а с меня, если быть бережливым, хватит и одного музыканта...»

Но, оказывается, Чутура, эти шестьсот строений из побеленной глины, все знает, все помнит, все видит. И сразу же после крестин, рано утром, когда Онаке пошел к колодцу, Чутура уже знала, что времена переменялись, и долго смотрела ему вслед, как бы говоря: ну что, старик, теперь уже не то, что было? И ведь говорили тебе: смотри, Онаке, добром это не кончится, уйдут они, бросят тебя как пить дать — так нет же, не верил...

— Ничего, — говорил Онаке, — один барабанщик у меня все-таки остался, а барабан, если хотите знать, это самое главное в любой музыке...

— Чего, где? А ну давай, показывай его...

Старик кидался за ним, а этот паршивец словно знал, о чем речь. Всю жизнь бегал за ним и бил в барабан, а тут, видите ли, начал стесняться и то забегал вперед, то отставал бог знает на каком перекрестке, то забудет дома барабан. Был он еще малым и глухим, а Чутура — старой и хитрой лисой, если кому надо было задурить голову; и вот начал то один, то другой заманивать цыганенка.

Карабуш стоял и удивлялся — поразительный народ! Последнее отбирают. Отбирают даже то, что им в жизни не пригодится, отбирают только потому, что они мо-

ложе, сильнее, а сильных, конечно, никто не спрашивает, имеют они право или нет... Это была старая истина, она была известна Карабушу давно, да только он каждый раз по-новому на нее натыкался и все никак не мог с ней примириться.

Последовавшие за этим несколько месяцев были для Онакия сплошным мучением. Чтобы как-то уберечь хоть этого последнего музыканта, он старался не особенно мозолить людям глаза, а если и выходил в деревню, был учтив с каждым и у каждой калитки готов был постоять сколько угодно, поговорить о чем угодно, только все было напрасно. Чутуряне, едва завидев его, уже думали про себя — скажи на милость, этот до сих пор все еще шествует! Да на кой ему, этому старому хрычу, барабанщик! У него что, особая ставка?

К счастью, в середине лета правление начало искать сторожа для старых, поломанных, собранных в поле машин. Это железное кладбище чем-то привлекло Карабуша — можно было уехать из Чутуры, дать ей одуматься и в то же время оставаться почти дома. Охотников было много, но правление, обещая полтрудодня на день и уголь для топки печи на зиму, землянку строить не хотело. Пускай, дескать, сами сторожа и строят, делать им там все равно нечего, но строить люди отказывались.

У Карабуша не было никакой охоты возиться с той землянкой, но ему приснился однажды странный сон. Дело представилось таким образом — стояла тихая лунная ночь, он почему-то был один в огромном кукурузном поле, и оттуда-то из невероятной дали все время доносился бередящий душу собачий вой.

— Да это же моя собака! — крикнул он что было сил и почему-то пустился плавать по тому нескончаемому кукурузному полю. Горы початков валились на него со всех сторон, он из-под них с трудом выныривал и при этом истошно вопил: «О-о-олдд-а-а-а...»

Проснувшись, весь в испарине, он тут же выскочил на улицу и крайне удивился тому, что действительно стояла точно такая лунная ночь, какая ему только что приснилась, и ветер доносил с поля сквозь тишину ночи еле слышимый шорох кукурузных полей, и что-то ему еще почудилось в той дальней дали, откуда приходят иногда звуки и голоса, бередящие нашу душу...

На следующий же день рано утречком, недолго думая, он взял лопату, чугунок, выпросил у Нуцы трехно-

гую низенькую скамеечку, на которой любил сидеть, попрощался с соседями, запер дом на замок, псманил за собой цыганенка и отправился в то поле.

Лето было коротким, едва успел старик перекрыть, обжить землянку, и сразу наступила осень, а вместе с осенью в Сорокскую степь приходит время женихов и невест, время свадеб и веселья. Онаке всю жизнь, с каких пор помнил себя, любил бегать по свадьбам. Малышом он шел туда, вцепившись в длиннополюю бабушкину юбку, и возвращался когда с пряником, когда с орехом. Став подростком, он бегал на свадьбы со своими одноклассниками и долго простаивал перед толстым цыганом, у которого была большая, отливающая золотом труба. Он стоял так, не мигая, и все стоял, пока не околеченет, пока не оглохнет от звона меди. Парнишкой он, набрав полное ведро воды, выжидал на перекрестках возвращения молодых из церкви. Когда они проезжали мимо, он, размахнувшись, окатывал копыта лошадей, и, по установленному обычаю, молодые бросали ему в пустое ведро одну-две монетки.

Потом его стали приглашать шафером, и невеста привязывала к его правому рукаву платочек, и целый день он бывал таким счастливым, что весь окружающий мир: и дома, и заборы, и солнце, и лица людей — качался в глазах от волнения. Потом, когда пришло время, односельчане видели его женихом, затем он охотно соглашался быть сватом, примирять враждующие стороны, и с его легкой руки многие находили свое счастье. Свадьбы в его жизни шли вереницей, и, гуляя на чужих, он собирался сыграть три отличные свадьбы в своем доме, но что поделаешь — справил только одну, дочери. Сыновья не вернулись с войны. Но к свадьбам он всю жизнь питал слабость, и на старости лет, когда остался одиноким, его сердце по-прежнему трепетало, как только донесутся веселые затей медных труб.

В разное время он разное любил в свадьбах. Подростком он буквально пьянел от разноцветной многоликой толпы, потом ему нравились девушки, танцы, со временем его начали увлекать молодые кумушки, вина и угощения. А к старости свадьбы начали будить в нем отеческие чувства. Он шел на них и долгие часы просиживал меж стариками, ожидая, когда, по установленным обычаям, настанет время прощания. На пороге родительского дома

невеста прощалась со своими родителями. Музыканты играли грустную мелодию, которая так и называлась — прощание. Невеста что-то шепчет, родители отвечают. И расплачется она, беденькая, пустят родители слезу, а музыканты душу встревожат, и вместе с ними ревет весь женский род Чутуры. Хоть и печально, зато красиво-то как!

Свадьбы всегда были большой слабостью Онакия, и на старости лет, когда он остался совсем один, его по-прежнему тянуло туда. Теперь вот опять наступила осень, время женихов и невест, но эту осень ему суждено провести в поле, далеко от родной Чутуры. Что поделаешь, говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, а он, сеявший всю жизнь вокруг себя семена доброй воли, должен же был когда-нибудь поплатиться!

Да, у него была своя походка, и, боже ты мой, кому она мешала? Разве то, что принадлежит только нам, является укором для других? Неужели и людям присущ закон стадности, и каждая овечка, которая чуть отстала или пасется в сторонке, в конце концов будет наказана?!

Нет, думал Онаке, я свое село люблю, я живу им, но оно надо мной не властно. И я буду ходить под своим именем отпущенным богом шагом, ибо, друзья мои, к чему же тогда жизнь? Любой листочек растет в лесу таким, каким положено ему быть, и никто его не корит, что он не старается быть похожим на другие листочки; любой комок земли, любой камушек на берегу Днестра — все живет в своем обличье, по своим законам, ибо в этом и заложена красота нашего мира.

Единственная оставшаяся радость — это свадьбы. На воскресные дни у него по-прежнему был особый нюх, и, как только наступало воскресенье, ему с самого рассвета слышался топот паферских лошадей, залихватское, задевающее за живое веселье, и приходило то приятное чувство ожидаемого события, которое так будоражит человеческое существо.

— Эге, друг Онаке, пошли на свадьбу! — приглашал он сам себя по воскресеньям и принимался готовиться к предстоящему веселью. Коротко подстригал усы, как это правилось одной вдовушке (потом, правда, выяснилось, что она сплетница и дура, каких мало, но тем не менее он вспоминал ее часто, и эти воспоминания бодрили его). Затем старой шерстяной варежкой наводил умеренный, соответствующий его возрасту блеск на ботинках, надевал шапку так, чтобы было тепло и красиво, и вот он на-

конец выходит из землянки с низенькой скамеечкой о трех ножках.

Выбрав тут же перед землянкой место поудобнее, он сначала хорошо устраивал скамеечку, затем прочно, надолго усаживался, вытирал платочком глаза, чтобы лучше представить себе то, что происходит там, далеко, за холмами. Оттопыривал ладошкой правое ухо, и веселье начиналось. Осенью по воскресеньям что ни деревня, то свадьба, и с раннего утра до полуночи ветер гонял по степи осколки медного то грустного, то нежного веселья.

Сидя на своей скамеечке посреди пустынного, голого, оцепеневшего в ожидании зимы поля, Карабуш прислушивался то к одной, то к другой деревушке и думал, что настоящая свадьба, свадьба в том высшем смысле, в котором разумеют ее молдаване, это прежде всего музыканты. Остальное их мало волнует. Будет ли платье невесты сшито на заказ, или купят его на окраине райцентра в промтоварном магазине, будет ли вино достойно молодых, или разольют по стаканам что под руку подвернется, усадят за главным столом только свою родню или и кого из чужих — все это мало волнует молдаванина, а вот музыкантов ты ему подай. Раздобудь, привези ему таких музыкантов, чтобы он мог всю жизнь вспоминать и хвастать ими. Иначе он обидится, а обидевшись, уже не простит. Целую вечность будет коситься в твою сторону, и даже если тебе случится помирать и ты пожелаешь проститься с ним, он, конечно, придет и простит, но при этом будет обиженно сопеть, как бы говоря: жалко, конечно, хороший человек умирает, но все-таки как он мог додуматься пригласить меня на свадьбу, наняв каких-то заезжих бродяг, вместо того чтобы найти хороших музыкантов?

— А что, молодцы! — говорит Онаке соседу справа, которого там почему-то нет. — Кому нравится, кому нет, а чутуряне знай себе веселятся. Хоть народ они вредный, но веселиться умеют.

Похвалив таким образом своих односельчан, Онаке повернулся всем туловищем и сказал соседу слева, которого тоже что-то не видно было:

— Теперь надо послушать нуелушан. Им, конечно, далеко до наших, но и то сказать — как когда.

Старик жадно вслушивается во все отголоски свадеб, которые ветер носит по полю. Вслушивается и без конца удивляется, потому что музыканты в Сорокской степи — это то великое чудо, которое никому не дано по-



стичь. Десять застенчивых, печальных мужиков сидят на завалинке того дома, в котором справляют свадьбу, и играют, изредка наступая друг другу на ноги. Репертуар у них маленький, пользуются они им плохо. До самой последней секунды сами не знают толком, что именно будут играть, и их песни то промелькнут так, что не успеешь уговорить засмущавшуюся девушку пойти потанцевать, то растянутся так, что кажется, весь мир задохнется в поднятой танцующими парами пыли. Они очень странный народ, эти музыканты. Долго ломаются, когда их приглашают в дом и усаживают за стол, но пьют охотно и едят медленно, задумчиво, как косари во время жатвы.

Вернувшись на завалинку, порозовев от угощения и лихо нахмурив брови, они разбирают свои инструменты, стараются вовсю, но дело у них не ладится, и, обиженные друг на друга, они уныло бреччат. И вдруг — не то ветром их освежило, не то примерещилось что. Разорвав цепи сладкой, сонливой дремоты, вздрогнув единой натянутой струной, оборвав какую-то нудную мелодию и к ее концу тут же приспособив новую, они в одну секунду на ваших глазах становятся богами. Старые, сотни лет известные песни рождаются как бы заново, и рассказывают они о вашей жизни столько таинственного, никому не ведомого, что просто непостижимо — когда, каким образом смогли они пробраться в вашу душу?

Вы стоите очарованный, благодарный, вы готовы на них молиться, и тут — не то другим ветром их обдуло, не то померещилось что, но десять деревенских музыкантов валяются со своих высот и несут чужь несусветную — только и проку, что грохоту много и куражу волю, а красота там и не ночевала.

Онаке улыбнулся:

— Нуелушане, конечно, народ хитрый, умеют веселиться и живут они богато, но хороших музыкантов у них нет.

На своих осенних свадьбах колхозники каждый год гуляют по-разному. Все зависит от урожая, от настроения, от достатка родителей жениха и невесты. Случается, что и по два-три дня гуляют, а бывает, что и за один день справятся — в воскресенье рано утром начнут, а к полуночи того же дня разойдутся.

В ту осень, по расчетам Карабуша, свадеб должно было быть мало. Многие девушки-невесты поуждали учиться, ребят позабирали в армию. К тому же колхоз

пшеницу еще не выдавал на трудодни, а работы в поле было непочатый край. Кукурузу и свеклу еще даже не начали убирать.

Ну, свекла обождет — даже если и промерзнет, ее и мерзлую завод принимает, но кукурузу, святую нашу бедность, куда мы без нее!

Так думал Онаке Карабуш, но мир идет своей дорогой, что ему до рассуждений какого-то там старика. К тому же осень стояла вокруг сытая, села были вокруг богатые, что им эти кормовые початки в поле! И так, ваше здоровье, поклон всем нашим! Села гуляли, и этому, казалось, конца и края не будет. И когда ветер дул с востока, и когда он дул с запада, и когда было полное безветрие, до землянки доходили обрывки буйных, отчаянных мелодий. Они доходили сюда хмельными, хриплыми, но шли и шли, и казалось, нет им ни конца ни края. Колхозники гуляли. Некоторые гуляли просто так, другие справляли свадьбы по воскресеньям, но потом остатки этих свадеб подминали под себя начало следующей недели. День-два они отсыпались, а уже с четверга, с пятницы опять слышны были музыканты, потому что скоро новое воскресенье, новые свадьбы, новые гулянки.

В послевоенное время в Сорокской степи часто стали поддаваться разгулу. Эти бесконечные веселья никогда не нравились Карабушу. В нем глубоко жило строгое чередование будней и праздников, установленное столетиями. После шести рабочих дней одно воскресенье, а потом опять шесть дней труда. Любой перекося его тревожил, ему казалось, что это не к добру. Теперь осень только наступила, а степь гуляла без конца. Умолкли машины в поле, на фермах стоит скот непоеный, некормленный. И кукуруза, и свекла еще в поле, а тут по всей степи из края в край сплошной хмель...

Озабоченный Карабуш прогуливался вокруг своей землянки, изредка поглядывая краешком глаза, дабы кто спяну не спер колесо от поломанной молотилки, и сокрушался оттого, что его землянки загуляли. Сокрушался потому, что осень — это не только время свадеб и веселья, а еще и время тяжелых, трудных раздумий. Осень — это смысл целого года, хитрое переплетение того, чего людям хотелось, с тем, что им удалось. Созрело то, что так долго созревало, уродило то, что должно было уродить. Измотанная жарким летом земля начинает остывать. Стоит грустная, призадумавшись, словно хочет, собрав все свои зеленые дни от самой первой

оттепели до первых утренних заморозков, решить, как же оно все-таки было — хорошо ли, плохо ли?

Это красивое зрелище — бескрайняя, отродившая, задумавшаяся степь, и, глядя на нее, подчиняясь ее духу, и самим крестьянам надлежит в это время ворошить свое житье-бытье. А думать было над чем, потому что сколько горького, сколько светлого, сколько радостного и безысходного было в одном и том же году!

А колхозники гуляли. Небо долгими неделями висело хмурое, но дождей не было, и с оголенных полей ветер гнал тучи пыли. Поля кругом лежали сиротливо, тихо, только по ту сторону оврага шуршали огромные массивы неубранной кукурузы. Онакию эта кукуруза прямо жить не давала. Каждый раз, когда выходил из землянки, он прежде всего видел перед собой это огромное поле неубранной кукурузы, и у него прямо сердце разрывалось. Кукуруза, думал он, это скромная пища, созданная богом, чтобы прокормить бедный люд. Молдаване вместе с этими зернами вышли из небытия, они сотни лет шли, держа за руки, и что случилось, почему один предал другого?!

И ведь уродила как! Высоким золотым перелеском стоят разбежавшиеся во все стороны крепкие еще стебли. Неуклюже, сыто висят крупные початки, а длинные, похожие на сабли гайдуков листья, надломленные жарким летом в знак перемирия пополам, теперь висят, качаясь на одной ниточке. Но мира нет, его нету нигде, нет его и тут, в степи, и стоит слабому ветерку ненароком завернуть в это поле — поднимется такой шум, разбежится волнами такой шорох, точно все предшествовавшие поколения хлебопашцев, обливавшие эту землю своим потом, своей кровью, теперь зывают к нам.

— О-о-олда-а-а!

Карабуша сильно тревожит, что его односельчане затянули с уборкой. Зрелище оставшейся зимовать на корню кукурузы, да еще если это встречает тебя каждый раз, когда открываешь двери, — это невозможная мука для Карабуша. Он может стерпеть от односельчан все, что угодно, может, если нужно, и в одиночку пожить, но видеть, как гибнет то, что земля дала человеку почти задаром, по доброте своей, это было выше его сил. Он не находил себе места и сам себе удивлялся, потому что ведь не он же пахал под эту кукурузу, не он сеял ее, но они все время шли вместе, народ и его поле; почему же они теперь норвят разными путями идти? И куда

дойдет таким образом один? Куда пойдет другой? Обойтись друг без друга они не могут, ибо народу принадлежит вся эта земля, комок за комочком, и небо, и все теплые, весенние дожди, и грохот тракторов, и песни девушек, и все то, о чем те девушки мечтали, пока трудились на кукурузном поле. И даже то, что веками вызревало на этих полях, и даже то, что в будущих веках созреет, — все это его достояние, и потому-то Карабуш так мечется и места себе не находит.

Вечерами, накинув на плечи фуфайку, Карабуш шел смотреть, сколько она сможет еще простоять. Лето было дождливое, кукуруза вымахала в человеческий рост, и увидеть все поле целиком можно, только забравшись на высокий курган, затерянный среди этой кукурузы. Курган был древним, односельчане называли его Господарским и говорили, что под ним клад зарыт. Карабуш хоть и не верил в клады, относился к кургану с уважением, а теперь, на старости, даже сумел приспособить его к делу. Когда шел смотреть, как там кукуруза, он шел прямо к кургану, забирался, кряхтя, на него и долгими часами простаивал там, разглядывая лежавшую кругом степь, чудо его молодости, самый главный смысл его жизни. Он стоял на том кургане долго, пока не опускались сумерки, пока ветер не начинал так бушевать в кукурузе, что становилось невозможно одному человеку.

— О-о-олда-а-а!!

Со временем он даже стал побаиваться входить в это поле кукурузы. Каким-то чужим, странным оно начало ему казаться, а однажды, когда взобрался на курган, ему почему-то казалось, что курган не совсем похож на вчерашний и сама кукуруза что-то не очень походила на настоящую кукурузу. Он все оглядывался и раздумывал, и вдруг все в нем замерло — ему почудилось, что и лежащая кругом степь не та, которую он понимал с детства. Она, конечно, напоминала ту, давнюю, красивую, но, если хорошенько всмотреться, это была совершенно другая степь. И стать у нее была не такая, и полет другой, и небо иначе опускалось над ее далекими кружевными горизонтами. Эта степь была помельче, похолмистей, для такого малого пространства вряд ли стоило родиться, вырастить троих детей и беречь своих музыкантов до семидесяти лет.

И все-таки он родился, и детей воспитал, и до старости дожид, и раз он это сделал, то, надо думать, вокруг него был какой-то мир, который радовался и увлекал его.

Опускались сумерки, а Карабуш стоял и медленно, старательно, метр за метром разглядывал лежавшее кругом поле. Он разглядывал его, словно распахивал борозду за бороздой, и было ему горько-прегорько, потому что это лежавшее кругом холмистое поле была та самая степь, которую он помнил с детства. Только теперь она постарела на семьдесят лет, утомилась, сникла, потускнела, и это тоже было в порядке вещей. Она рождалась заново каждый раз, когда рождался в степи человек, гуляла, росла, мечтала вместе с ним, потом помогала ему прокормить, воспитать семью, а на старости она начинала сникать, свертывать свои просторы, словно готовилась вместе с ним покинуть этот мир.

Онаке вспомнил своего отца и других чутурских стариков, вспомнил, как они в предчувствии своей кончины шли прощаться со своим полем. Тоже, видать, искали степь своей юности. Теперь пришел его черед. Ему шел восьмой десяток, и степь лежала перед ним та и уже не та, своя и уже не своя. Там, где дрожали когда-то в синей дымке дали дальние, теперь клубился туман, и чем дальше он в него всматривался, тем ближе туман к нему подступал. Закачалась, рассыпалась стройная цепочка ракиш, провожавших некогда речку в дорогу. Усохли, вымерли старые степные дороги, похороненные под ровными рядами посевов. Перемучилось, перемаялось, из далеких глубин опустилось новое небо над степью. Поновому нарядилась земля, и светятся по оврагам новые деревни, и новые люди в них живут, а ему, видать, и в самом деле пора...

— Ну что ж, — сказал Карабуш просто. — И на том спасибо.

Было уже совсем темно, кукурузное поле шумело всю, и он спустился с кургана. Возвращался он очень оживленный и заинтригованный предстоящей своей кончиной. Ему вдруг стало любопытно — такого с ним еще не бывало. Вошел в землянку, сел на низенькую скамеечку и, поскольку эта кончина что-то запаздывала, он задремал сидя. На какое-то время ему даже показалось, что он уснул, и снились ему весенний Днестр, шумевший от ледохода, и тихая, лунная ночь, и свежевспаханное поле, и тридцать колоколен, звонивших на всю степь. Потом, скинув с себя эту дремоту, он долго мучился, но не смог припомнить, что же ему снилось, только гул тридцати колоколен остался с ним, изредка перемещаясь из правого уха в левое. Этот звон мучил его долго, всю

ночь и весь следующий день, и никак ему не удавалось избавиться от него. Выйдет на улицу, звон следует за ним, придется по полям, так что уже и ноги не идут, а звон ходит следом; посидит на кургане, когда ветер шумит кукурузой, а слышит только звон; вернется в землянку, ляжет, а звон тут же рядом, и даже бутылка самогонки, которую он держал на черный день, не помогла.

— Вот завалюсь спать и не встану, пока не кончится эта вечерня.

Карабуш хоть и спал на старости мало, но спал хорошо, крепким сном и умел заставить себя уснуть каждый раз, когда это ему казалось нужным. Пробивался он к своему покою удивительно просто — улегшись, он тут же начинал ворошить свою жизнь, припоминал всех обидчиков, которым не сумел вовремя дать сдачи. Кого он только не собирал в землянке — ребятишек, с которыми пас когда-то коров, парней, с которыми соперничал на посиделках, фельдфебелей, капралов, лейтенантов, всевозможных лиц из местного и районного начальства. Собрав их вместе, он плотно прикрывал двери землянки, засучивал рукава, выбирал колун потяжелее и спрашивал тихим, мирным голосом:

— Что же вы, гады, думали — так вам все и сойдет?

Он принимался их лупить, и такого побоища, таких воплей не слышала степь много сотен лет. Карабуш дышал тяжело, крупные капли пота бежали по старым, морщинистым щекам, но воинственный пыл сотрясал все его существо. Измотавшись вконец, он бровью показывал всей своре на выход и, повернувшись на другой бок, засыпал. Засыпал мгновенно и спал долго, вкусно, сном человека с чистой совестью.

Штука была не такая уж хитрая, но на этот раз ему колокола помешали. Они мешали ему вспомнить самых заядлых своих обидчиков, мешали ему вспомнить, когда и чем они его обидели, мешали найти хорошую палку. К тому же и обидчики, которых ему удалось собрать, стояли как казанские сиротки. Поразыскав, Онаке открыл им двери, сказав на прощание:

— Бог с вами, идите, да только смотрите мне!

Сплошной медный звон благословил христианскую доброту Онакия, и все звонили, звонили все тридцать колоколен так, что в конце концов этот звон ему даже стал нравиться. Он подумал — скажи, пожалуйста, что значит,

когда человек крещен! По нему напоследок звонят колокола, чтоб весь мир знал о его кончине, и это было достойно человека, и так ему было приятно от мысли, что когда-то давно в лютую зимнюю стужу родители, завернув его потеплее, понесли в церковь и окрестили.

Он вдруг подобрел как никогда, он начал вспоминать всю свою жизнь, и вспоминалась она ему так ярко, так сочно, словно это было вчера или утром того же дня, и от этих воспоминаний ему стало так хорошо, что он много часов подряд просидел на скамеечке, мягко улыбаясь всему прожитому. Ему было за семьдесят лет, его память хранила неисчислимое море лиц, мыслей, образов, и он наслаждался как никогда, перебирая свое богатство, но вдруг ему показалось, что кто-то тихо поскуливает у дверей.

Он как-то устало, безразлично подумал — бог с ними, пускай плачут. У них своя печаль, у меня своя. Но это поскуливание перешло в горький детский плач, а на детское горе слух Карабуша был всегда очень чуток. К тому же, когда детский плач стих перед новым взрывом, до него донесся шум дождя.

— Эй, кто там? Чего не входишь?

И никого. Дождь шел вовсю, но дверь стояла прикрытая, никто не стучался, и тогда Онаке, поднявшись со скамеечки, открыл.

— Господи, как я его забыл!

Это был он, маленький цыганенок с огромным мокрым барабаном за спиной. Он один не бросил Онакия. Он оставался ему верным до конца, но теперь, почувствовав приближение кончины своего хозяина, всхлипывал. Он плакал и убивался над своей горькой судьбой, потому что в самом деле куда ему теперь деваться — поздней осенью в мокром, одиноком поле?

— Да как ты мог подумать, что я оставлю тебя тут одного!..

Онаке развел огонь, высушил всю его одежду, высушил ему барабан и палочки. К утру дождь стих, но они, пережидая, пока поле просохнет хоть немного, поели теплой мамалыги с брынзой.

— Помнится мне, когда-то было здесь, неподалеку, красивое человеческое поселение с надежным, хорошим народом. Теперь там не то, но я все равно сведу тебя туда и там оставлю. Ты старайся не уходить оттуда, по-

тому что, если когда и будет что хорошее, то, думается мне, на том же самом месте взойдет.

Под вечер, взяв фуфайку, чугунок и трехногую скамеечку, поманив за собой цыганенка, Онаке вышел из землянки и пошел напрямик по мокрому полю к своей родной Чутуре. Шел он медленно, усталой, расслабленной походкой, словно возвращался с пахоты. Поле было трудным, плуг старый, лошади измотанные, и эта растянувшаяся на семьдесят лет пахота изнурила его совершенно. И все-таки он не изменил себе, несмотря ни на что. Он исполнил свой труд, перепахал свое поле, и вот он возвращается к себе домой. Идет медленно, прислушивается к своей ноющей усталости, прощается с лежащими кругом полями и в то же время думает, как хорошо, что человеку не дано до всего докопаться. Вот оно, поле, а вот старик идет. Все кажется простым, а вот поди узнай, что теплится под этими бороздами, попробуй догадаться, откуда идет этот старик и куда он держит путь?

Вечерние сумерки заглатывают наспех, не прожевывая, поле за полем, и вот уже все утонуло в темноте. Виден только пяточок, куда ногой ступить, и шаг получается мягким, робким. Небо синее, огромное, а земли совсем нет, ну ни крошки, только маленький пяточок под ногами. И тишина кругом стоит глубокая, одуряющая, и в этой тишине слышно только, как шумит ветер в качающихся посадках.

И все-таки что там ни толкуй, а красиво, когда идет вот так человек по голым полям, возвращаясь перед самой зимой к себе в деревню. Карабуш идет долго, то дорогами, то тропинками, то пастбищами, то полями. Ему приятно, что он до конца сохранил эту размеренность своей походки, и он бы еще долго так шел, но вдруг его правая рука принялась шарить в кармане в поисках маленького ключа от дверного замочка. Это означало, что деревня где-то совсем рядом. Он не стал оглядываться и гадать — он доверял своей правой руке, она у него была умница и знала лучше, когда дом близок.

И стало ему хорошо. Запахло дымком вечерней топки, ветер доносил собачий лай, слышны были голоса, а он все шел, думая о чем-то своем. И только когда ярко освещенная окраина Чутуры выглянула из-за пригорка совсем рядом, Онаке остановился передохнуть. Повел плечами от приятной осенней зябкости и, вспомнив запасы

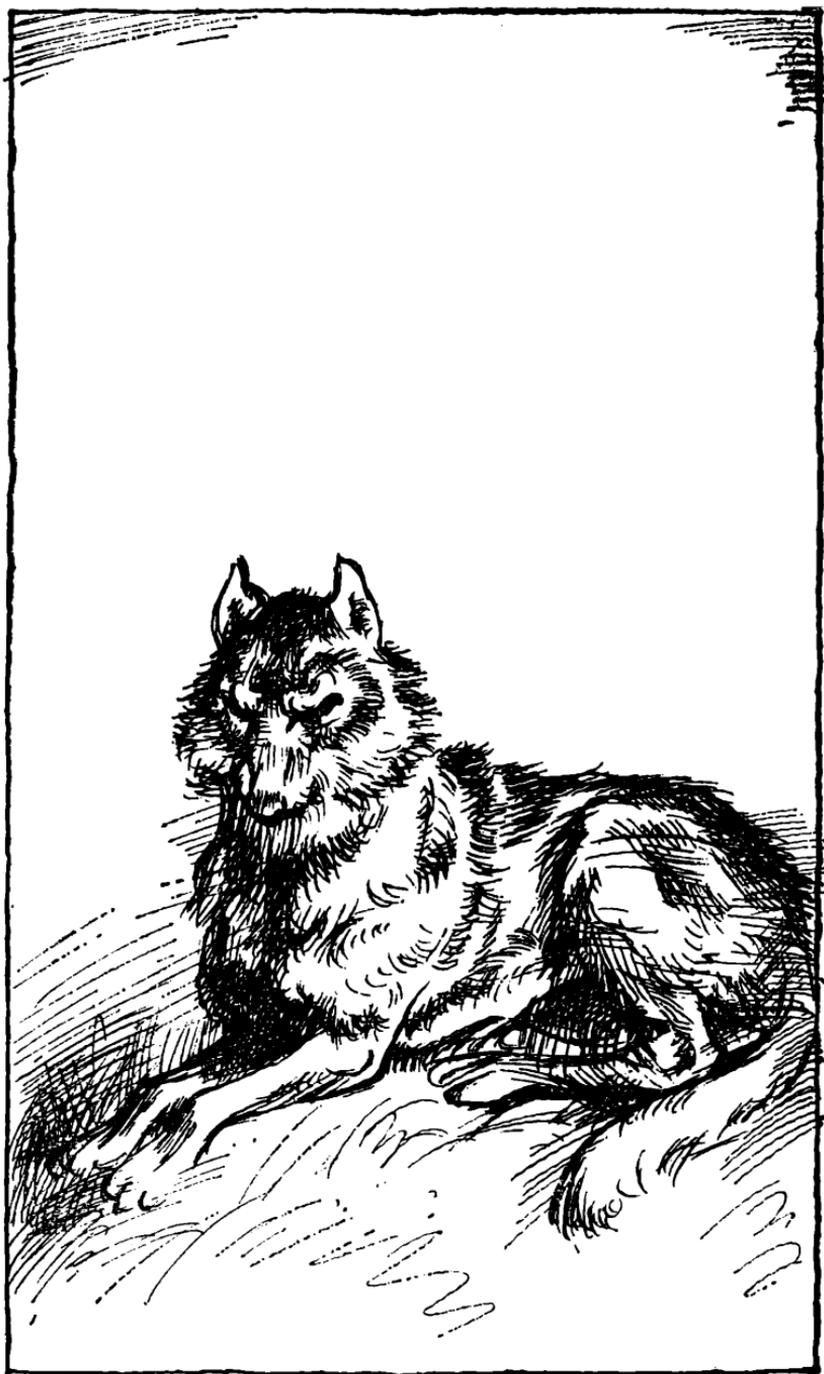
припрятанных на зиму дров и хорошую печку, крикнул от предстоящего удовольствия, как это обычно делают задержавшиеся в пути крестьяне, когда наконец им удастся добраться до своего очага.

Первая спичка оказалась никудышной. Половина головки сразу отлетела; вторая, едва зарумянившись, тут же выдохлась. Онаке подумал, что, верно, опять пойдут дожди — спички и соль задолго до их наступления начинают сыреть. Зато третья оправдала весь коробок. Онаке метил ею в самое нутро разложенных в печи дров, но загорелась только тоненькая щепочка в правом уголке. Огонь всегда любит почудить — ты открываешь ему двери, а он норовит пролезть в окошко.

Горит, однако. Прозрачный, розовый завиток пламени сдуру принимается облизывать огромное, в тысячу раз больше его полено и удивляется, отчего это полено не загорается. Еще бы не удивиться. Правая рука Карабуша привялась хлопать по карманам в поисках спичек, да только эта розовая крошка, в последнее мгновение сообразив, что дело худо, с лету подобрала посильную для себя щепку и, чуть раздавшись в поясе, снова вернулась к тому полену. Упрямство — это не ум, но характер.

А дело тем временем движется. Печь по-прежнему угрюмо молчит, она еще дышит холодом, но щепочки горячих причудливых змеек ручейком потекли под поленья. Тут потолкнутся, да все напрасно, там затрепещут новым дыханием, хотя и не рассчитывали на это. И мечутся, и мечутся, и то свяжутся единым клубком, то, рассорившись, разлетятся кудрявыми брызгами, и уже каждый сам себе голова. Они еще ничего не соображают, ничего не умеют, все эти дурачества перешли к ним по наследству от прошлого огня, шумевшего в этой печи, да только попробуй сказать им об этом. Они ничего не видят, не слышат, они сами себе голова. Все им дается легко, но они этому не рады, им бы только побегать, порезвиться, и, глядя на эти бесконечные дурачества едва занимающегося огня, Карабуш вспоминает свое далекое детство. Каким прекрасным нам видится тогда мир, как ловко нас жизнь заманивает все дальше, вглубь, и в этом есть большой смысл, без этого священного обмана, видимо, и самому огню не обойтись.

За детством ходит юность по пятам и старается прийти пораньше, урвать кусочек, потому что, кто знает, мо-



жет быть, зрелый возраст, в свою очередь, тоже придет раньше, чем ему бы следовало. Юность — это прекрасная пора великого нескончаемого удивления. Казалось бы, до чего все просто — тут печь, тут выходящий через крышу на улицу дымоход, и что же в этом удивительного? А огню вот интересно. То дотянется красной лапкой, то начнет принюхиваться, и вдруг, став на дыпочки, скрутившись жгутом, пламя выскочило на улицу. В доме снова тихо и темно. Кончилась топка, огонь потух. Пламя убежало, но несколько обгорелых поленьев, чуть искрясь, дежурят, освещая в темноте обратный путь, и это было неспроста. Пламя блуждало недолго. Оно вернулось. И страшно, и стыдно, и зябко ему. Огонь принимается повзрослому за дело, и, обхватив посильную для себя охапку поленьев, дышит на них, сжимает, сплетает, увязывает их меж собой, и в этих тяжелых, немислимых трудах, глядишь, и прошла юность.

Теперь в печи сплошной рев. Большие поленья стоят целехонькие, они едва успели обуглиться, а кругом бушует море огня. Пламя то собьется в единый слепящий клубок, то рассыплется брызгами, точно с наковальни, потом стихнет, и в ту секунду немислимой тишины оно молча, упиваясь собой, горит вовсю, и все этому огню мало: мало любви, такой, чтобы испепелиться, мало ненависти, такой, чтобы замертво сразить.

По смуглым морщинистым щекам Карабуша блуждает слезинка. Он смотрит на молодость огня, не мигая, не дыша, потому что молодость — это то великое чудо, которое его всегда завораживало. Всю жизнь, встречая это чудо, он гадал про себя: выдержит ли оно, созреет ли умом и духом, чтобы совладать с отпущенной силой, или надломится, поплатившись гибелью за свое неосмысленное богатство?

Слава богу, обошлось. Отбушевали страсти. Большой венок горячих маковых головок, рассыпанных в печи, все играя тенями, вдруг в какое-то мгновение превратился в рыжую Молду, дремлющую у порога. Мирно лежит на вытянутых лапах такая смурная, такая отчаянная, такая верная голова... Размеренно, в такт дыханию, грещут ноздри, нервно вздрагивают веки, и лохматая, латаная-перелатаная шкура замерла в ожидании прикосновения любящих рук. И в самом деле, старческая рука поднимается с коленей, но нет, нельзя же, она строгая, она этого не любит...

А слезинки текут и текут по щекам Овакия, потому

что две мировые войны, и Тинкуца, и бурный Днестр, и Чутура, и паханое-перепаханое из года в год поле — все это вдруг приняло один-единственный облик. И если бы только одно это чудо было в жизни, то и тогда бы стоило жить! Гремят медью тридцать степных колоколен, да что ему, Карабушу, в этом перезвоне. Он счастлив, он счастлив как никогда: еще минута — и он выйдет на улицу, позовет людей, чтобы показать им это великое чудо, имя которому — Молда. Боже мой, сколько она блуждала по этому краю в поисках хозяина! Искала человека, может, и не очень богатого, и не очень мудрого, но верного, потому что в ее понимании жизнь — это прежде всего верность. И вот она нашла дом Карабуша, пришла к нему, залезла на охапку трухлявой соломы, и люди бог весть из каких далей наведывались, чтобы посмотреть на нее своими глазами, ибо была она в ту пору живой легендой.

Теперь уже мало кто помнит те холодные, те голодные дни, когда налетели серые хищники. А пережившие те времена знают, что все висело на волоске. И, кто знает, как бы все обернулось, если бы не смелость, отчаянность этой рыжей Молды, если бы не ее бесконечная преданность простому роду илугарей.

Карабуш медленно приподнимается со стульчика, он готов позвать за собой собаку, выйти с ней на улицу, показать ее людям, да только вдруг в последнюю минуту залетает невесть откуда маленькая черная бабочка. Залетела в печь и мечется. То опустится на уши, то на хвост верной Молде, да опускаться нельзя, сторишь ни за что, и, едва вытянув ножки, она тут же подбирает их под себя и все летит, мечется. Карабуш прикидывает, как бы ей помочь выбраться оттуда, но пока он примеривался к кочережке, в печь залетела еще одна бабочка. Эти твари слетелись на огонек, с горя что ли спарились, и тут же развелось в печи их многочисленное потомство. Не успел Онаке опомниться, а в печи одни черные бабочки. Они облепили бедную Молду своими черными крылышками, они ее живьем захоронили; стало тихо и пусто в доме.

— Вот ведь пакость какая!

Всему свое время — это была старая как мир истина, но Онакию показалось, что тут что-то не так. Откуда, собственно, берутся эти черные бабочки? Они нам кто — свои или чужие, друзья или враги? Это нужно было обязательно выяснить, и вот он поднимается со своей скамеечки, приносит в дом другую охапку поленьев, и все

начинается сначала. Мелькнет крохотное, всегда счастливое детство, отмается, отлюбопытствует юность, перебудет молодость, потом созреют угли, сложатся в самое что ни на есть для тебя заветное, да только откуда ни возьмись — снова черные бабочки.

Это становится просто непостижимым — откуда, каким образом залетают они к нам? Озадаченный старик снова выходит в сенцы за охапкой дров. К сожжению, летом его не было дома и некому было припасти на зиму побольше топлива. Он сжег и заборы, и калитку, и ворота, и последняя молитва Онакия к небу была относительно дров, хотя бы хворосту, хотя бы самую малость, чтобы понять, что к чему в этом мире, но небо величественно и мудро молчало.

Было бы чем набить печь, он, глядишь, добрался бы до рассвета, но топить было нечем. Поздней ночью, после трезых потухов, печь потухла, а на рассвете скончался и сам Онаке Карабуш. Умер он, сидя на той же маленькой скамеечке, и даже мертвым он продолжала сидеть и будто топил печь. Только низко опущенная на грудь голова, казалось, делала последнюю попытку достигнуть эту удивительную нелепость — с такой доверчивостью мы приходим в этот мир, с такой радостью бросаемся ко всему живому, с такой готовностью отдаем себя малейшей искре, с такой быстротой зажигаемся. Кажется, конца и края нам не будет. Горами завали нас, мы и горы переплавим, в небо нас закинь, и мы по всей голубизне разойдемся, но вдруг налетят черные бабочки, зашьют все своими крылышками, и всему наступает конец.

Сорокская степь...

Наказано было этой земле кормить, и она кормит. Она старательно отдается из года в год стихии изобилия, и нет конца этим тоннам, этим гекалитрам, этим вагонам и цистернам. А за этим изобилием стоит все тот же тихий, замешенный на мягкой латыни говор — язык, умеющий одинаково складно благодарить и проклинать, смеяться и плакать. А вокруг, на сколько хватит взгляда и еще дальше, до самой слезинки, широкие горизонты со сказочно голубыми, мелкими холмиками — не то они на самом деле есть, не то они тебе мерещатся. И меж этими широкими проломами неба — степь.

Сорокская степь...

Здесь все могло быть. Говорят даже, что много тысяч

лет тому назад стояло тут широкое, ласковое море. Но и у морей есть свои сроки, они тоже в положенное время собирают свои пожитки. Ушло и это море, оставив степи в наследство широкий простор с мелкой, едва прописанной волной.

А еще говорят, давным-давно шумели здесь глубокие, дремучие леса. То ли бури их снесли, то ли пожары буйствовали над ними, но пришло время, отцвели они в последний раз, наказав всему земному миру цвести.

А может статься, дымились здесь высокие, всемирно известные горы. Время ли их не пожалело, земле ли не под силу их было нести, но ушли они дорогой гор, и только степные орлы все еще пропадают целыми днями в головокружительной синей высоте, отыскивая древние кручи исчезающих вершин.

Сорокская степь...

Широкое, бескрайнее поле чернозема, чуткое, доброе сердце, жадные до работы руки и сложную, трудную судьбину — это получают степные пахари в день своего рождения, с этим прощаются последним сознанием своим. Большого у них в жизни не было, а меньшего им не хотелось.

*1961—1967, 1982*

## ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Белая церковь» впервые печатался на страницах журнала «Новый мир» № 6—7 за 1982 год. Первое книжное издание — в сборнике, включавшем в себя два романа писателя: «Белая Церковь» и «Бремя нашей доброты», который выпустило издательство «Молодая гвардия» в 1983 году. На основе романа автором была написана пьеса «Обретение», которая поставлена на главной сцене Центрального академического театра Советской Армии.

Роман «Бремя нашей доброты» писался автором на протяжении нескольких лет. Первая книга романа — «Степные баллады» — была впервые опубликована в журнале «Дружба народов» № 1 за 1963 год и выходила затем книжным изданием в издательстве «Молодая гвардия». Вторая часть романа — «Бремя нашей доброты» — также публиковалась впервые в журнале «Дружба народов» № 1 за 1968 год. Обе части романа были опубликованы совместно в приложении к журналу «Дружба народов» (М., «Известия», 1968), а в 1969 году вышли отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия». Впоследствии роман не раз переиздавался, и всякий раз автор вносил в него изменения, уточнения. В наиболее завершенном виде роман был опубликован в книге И. Друцэ «Белая церковь». «Бремя нашей доброты» (М., «Молодая гвардия», 1983).

## СОДЕРЖАНИЕ

### БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

<i>Глава первая.</i> Ничего святого . . . . .	5
<i>Глава вторая.</i> Час умного безмолвия . . . . .	16
<i>Глава третья.</i> Две Екатерины . . . . .	31
<i>Глава четвертая.</i> Запретный плод . . . . .	48
<i>Глава пятая.</i> Вифлеемская звезда . . . . .	65
<i>Глава шестая.</i> Начальник хора . . . . .	88
<i>Глава седьмая.</i> Мера за меру . . . . .	102
<i>Глава восьмая.</i> Блага земные . . . . .	127
<i>Глава девятая.</i> Свершение невозможного . . . . .	144
<i>Глава десятая.</i> Лавры победителя . . . . .	162
<i>Глава одиннадцатая.</i> Возвышение в сан . . . . .	191
<i>Глава двенадцатая.</i> Риск . . . . .	211
<i>Глава тринадцатая.</i> Черниговский колокол . . . . .	229
<i>Глава четырнадцатая.</i> Дань вечности . . . . .	247

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВРЕМЯ НАШЕЙ ДОБРОТЫ

Молда . . . . .	267
Лес ты мой зеленый . . . . .	282
Сеятели и жнецы . . . . .	301
Хорошее настроение . . . . .	314
Летние степные ночи . . . . .	326
Горячие маки . . . . .	341
Счастливые руки землепашца . . . . .	363
Гостинцы детям . . . . .	375
Девушка в белой кофточке . . . . .	385
Тайная вечеря . . . . .	399
Честь дома . . . . .	421
Осенение . . . . .	443
Быть или не быть . . . . .	468
Крестины на славу . . . . .	497
Черные бабочки . . . . .	529

**Друцэ И. П.**  
Д 76 Избранное: В 2-х т. Т. 2. Романы / Оформл.  
Ю. Боярского; Рис. Ю. Иванова. — М.: Мол. гвар-  
дия, 1984. — 555 с.

В пер.: 2 р. 40 к., 120 000 экз.

В обл.: 2 р. 10 к., 80 000 экз.

Во второй том избранных произведений И. Друцэ вошли два романа: «Белая Церковь» и «Время нашей доброты». Действие романа «Белая Церковь» разворачивается в основном в Молдавии во второй половине XVIII века во время русско-турецкой войны. Роман «Время нашей доброты» — о жизни молдавской деревни, действие романа начинается в 1914 году и завершается в 60-е годы нашего столетия.

Д  $\frac{4702010200 - 254}{078(02) - 84}$  82—84

ББК 84Мол7  
С(Молд)2

**ИБ № 3972**

**Ион Пантелевич Друцэ**

**ИЗБРАННОЕ. Т. 2**

**Редактор А. Греницкая**

**Художник Ю. Иванов**

**Художественный редактор А. Романова**

**Технический редактор Е. Михалева**

**Корректор Н. Самойлова**

Слано в набор 19.01.84. Подписано в печать 28.08.84. А00802.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура  
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 29,4.  
Усл. кр.-отт. 29,4. Учетно-изд. л. 31,7. Тираж 200 000 экз.  
(80 001—200 000 экз.). Цена в переплете 2 р. 40 к. (120 000 экз.),  
цена в обложке 2 р. 10 к. (80 000 экз.). Заказ 2116.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства  
и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
В 1983 ГОДУ ВЫШЛИ КНИГИ  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ:**

- Алексеев В. Козероги и прочие. Повести и рассказы.
- Анчаров М. Дорога через хаос. Роман и повести.
- Ардаматский В. Последний год. Роман-хроника.
- Афанасьев А. Встретимся в октябре. Повесть.
- Баженов Г. Пространство и время. Повести и рассказы.
- Бешлягэ В. Боль (перевод с молдавского). Роман.
- Бондарев Ю. Мгновения.
- Василевский Б. Отчет. Рассказы.
- Джумагельдиев Т. Дашрабат, крепость моя (перевод с туркменского). Роман.
- Друцэ И. Белая Церковь. Бремя нашей доброты. Романы.
- Дрозд В. Земля под копытами (перевод с украинского). Повести.
- Залыгин С. Рассказы от первого лица. Рассказы.
- Зурба А. Земля родниковая (перевод с литовского). Рассказы.
- Калве А. Посвящается прошедшей осени (перевод с латышского). Повести.
- Кикнадзе А. Брод через Арагоа. Роман.
- Киреев Р. Подготовительная тетрадь. Роман.
- Коваленко Р. Хоровод. Рассказы.
- Козько В. Колесом дорога. Роман.
- Кондрашов В. Небо выбирает нас. Повести.
- Коновалов Г. Былинка в поле. Роман, повесть, рассказы.
- Косихин В. Последний рейс. Повести.
- Корнюшин Л. Отчая земля. Роман.
- Кравченко Ф. Семья Наливайко. Повесть.
- Кривоносов А. По поздней дороге. Повести.
- Леонов Л. Соть. Роман.
- Марков Г. Грядущему веку. Роман.
- Меньшиков И. Горячее сердце Данко. Повесть, рассказы.
- Почивалов Л. Сезон тропических дождей. Роман.

Петров В. Хрустальный глобус. Повести.  
Рашидов Ш. Веление сердца (перевод с узбекского). Повесть.  
Родины солдаты. Сборник. Повести, рассказы (Библиотека юношества).  
Тунницкий А. Жители нового дома. Повести.  
Уханов И. Эти редкие свидания. Повести и рассказы.  
Черкашин Н. Лампа бегущей волны. Повести и рассказы.  
Чивилихин В. По городам и весям. Путешествия в природу.  
Холендро Д. Плавни. Повесть и рассказы.  
Шишкин А. Преодоление. Повести.  
Шугаев В. Избранное. Повести и рассказы.

**ПО СЕРИИ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА» ВЫШЛИ КНИГИ:**

Елубаев С. На свете белом (перевод с казахского). Повести и рассказы.  
Караваев Г. У меня появился брат. Рассказы.  
Расул-заде Н. Рисую птицу. Повести и рассказы.  
Репина Л. Был смирный день. Повести и рассказы.  
Чохели Г. Послание к елям (перевод с грузинского). Рассказы.